



ВИА С ГОРЫ СКОПИЕ

РОМАН  
ТИМЕНЧИК

# ИСТОРИЯ КУЛЬТА ГУМИЛЕВА



**РОМАН  
ТИМЕНЧИК**

**ИСТОРИЯ  
КУЛЬТА  
ГУМИЛЕВА**



**РОМАН  
ТИМЕНЧИК**

**ИСТОРИЯ  
КУЛЬТА  
ГУМИЛЕВА**



Издано при финансовой поддержке Фонда «История Отечества»  
The book is published with financial support of the “Istoriya Otechestva” Fund



## Роман Тименчик

История культа Гумилева / Ред. В. Нехотин. — М.: Мосты культуры, 2018. — 640 с.

ISBN 978-593273-504-6

В новой книге Р.Д. Тименчика, продолжающей темы, поднятые в его работах «Скандалы Гумилева» и «Читатели Гумилева», рассматривается шестидесятипятилетняя (1921–1986) история памяти о казненном поэте — то подспудной, то вырывающейся из-под пресса; вереницей проходят хранители огня и гасильники, ревнители культа и гонители всех толков. Борьба намеков с умолчанием, несанкционированного цитирования — с запретом, самиздата — с подцензурной печатью составляет скрытую драматургию литературного процесса в словесности советского периода.

В оформлении обложки использованы фрагмент рисунка В.В. Маяковского «Жираф» из альбома В.Ф. Шехтель (1913) и текст перевода на иврит сонета «Я конквистадор в панцире железном...» (Аминадав Дикман, 2003)

На титуле: Гумилев на жирафе (шарж Н.Э. Радлова)

ISBN 978-593273-504-6

© Роман Тименчик, 2018  
© Мосты культуры 2018

*Посвящается Сене Рогинскому*



Гумилев — «искусственный бродит журавь» —  
не пощадили — а ведь это ж что певчую птицу! —  
расстреляли: «нам звуков не надо!» — у! несчастное!

*Алексей Ремизов*





## Самооправдания и предуведомления

Монографическая тема, возглашенная в заглавии<sup>1</sup>, подразумевает, по правде говоря, фолиант почтенной толщины, и тогда предложенная композиция являет собой, говоря словами другого поэта, нет-нет да и мелькающего в дальнейшем изложении, «кол из будущего». И это не монография ни в коем случае, а серия архивно-библиографических этюдов, склоняющихся иногда к стародавнему жанру литературного монтажа, который «явился не только эквивалентом переставшей удовлетворять беллетристики, но и своеобразной научной формой»<sup>2</sup>.

Как ни при какой другой историко-литературной okazji, здесь сейчас следует заблаговременно известить о заведомо кричащей неполноте данного обзора в силу объективных и субъективных причин (достаточно назвать историю рецепции во всех точках русского рассеяния, заслуживающую, пожалуй, отдельной и весьма объемистой книги). Когда б не опасения оттолкнуть более или менее широкую читательскую аудиторию — а на нее отчасти рассчитывает эта книга (и потому в ней иногда воспроизводится, по известной формуле, «давно уж ведомое всем»), — следовало бы вообще вогнать заглавие в академический дательный падеж: «Материалы к истории...»

Но это сочинение, осознанно интродукционное, имеет своей целью обозначить перспективную роль штудий, посвященных жизни поэтов русского модернизма в веках. Когда мы медлим перед неизбывным вопросом: «Как писать историю литературы», мы должны вспомнить о том, что таковая историография складывается из набора бесчисленного количества синхронных срезов этой истории (вплоть до однодневных), этаких, как говорил третий поэт, которому тоже найдется место в нашем обзоре, «окаменелых обломков позапрошлого лета».

И в синхронный тот срез входят пробы литературного воздуха в городах и годах, замер состояния памяти об ушед-

ших писателях, отголоски вчерашнего чтения и предощущение завтрашних открытий. Как в нашем случае — повседневное, хоть и эмоционально разноокрашенное, чаяние скорейшей политической либо эстетической реабилитации поэта на протяжении сорока пяти лет советской истории, ожидание «возвращения» его, может быть, помимо всего прочего, еще и потому, что *возвращение* — часто титульная тема его стихов и одна из ключевых категорий его этоса.

Сегодня, то ли с деланным удивлением, то ли с наскорю запрятым злорадством, следует зарегистрировать переживший все формы остракизма успех поэта, вплоть до посмертного всеуличного триумфа за четыре года до столетия его смерти, когда по б. Ленинграду ходит трамвай с надписанной на боку строфой «Шел я по улице незнакомой...» и когда рэперы вплетают в свой рэп стихотворение «Слово», чей *pointe* «дурно пахнут мертвые слова» легко вписывается в инвективную стилистику баттла, да и сама ситуация предсказана забытыми ямбами рано умершего Бориса Нелепо:

Как резко в тишине пылает слово!  
Так хорошо, когда противник грузен,  
окончить схватку, разрубивши узел  
стихом изысканного Гумилева<sup>3</sup>.

Живучесть стихов «изысканного Гумилева» была обеспечена сочетанием многолетнего стажа запретности с теми особенностями поэтовых свойств, которые ощущались преданными читателями как новаторство. Приведем только одно свидетельство читательской лояльности:

Не может быть и речи ни о каком упадочничестве Иннокентия Анненского в смысле качества его продукции, которая первоклассна и весьма прочна, возвышаясь, заметим мы здесь и подчеркнем, над веяниями моды, хотя он и ни в коем случае не отстал, но скорее всех опередил, будучи в этом отчасти сроден Гумилеву. Оба эти поэта имеют счастливый жребий выглядеть всегда новыми и передовыми. Таково уж свойство того, что можно назвать «абсолютной первосортностью» и «стоянием на высоте»<sup>4</sup>.

Историографии тайного, запретного, воспаленного и неистребимого культа Николая Гумилева на протяжении шести с половиной десятков лет — с 1 сентября 1921-го по 15 апреля 1986-го — посвящено уже с десятков работ, включая статью покойного Арлена Блюма «Игра в аду», публикации Ивана Мартынова, Вадима Крейда, Михаила Золотоносова, Виталия Петрановского, Дмитрия Гузевича, Евгения Голлербаха, Юрия Зобнина, Владимира Енишерлова, Давида Фельдмана, Валерия Шубинского, Аполлона Давидсона, Джастина Доэрти, Ярославы Самохваловой, Натальи Налегач, Ольги Суриковой и других. Погруженный в тему, а то и в сам обсуждаемый культ, читатель иногда не увидит ожидаемых им имен и событий, но о них, он, как правило, прочтет у моих предшественников, — хочется надеяться, и у последователь, — ибо мы взыскуем следующих в этом ряду исследователей, которым откроются новые документы, выпадут новые сближения и обнажатся скрипучие механизмы поворотов читательского внимания. Те, кому заблагорассудится отдаться изучению всего, что было при нас и что с нами вошло в поговорку, должны будут заняться воссозданием неписаного кодекса советского литературного приличия, того, что именно сообщал литературоведам и редакторам женский голос в телефоне по части ужасного имени.

Грядущие архивариусы фактов, описывающие историю советской литературы как набор перманентно эволюционировавших табу, должны быть готовы к тому, что не все запреты и даже не все предписания окажутся отраженными в официальных директивных документах. И степень рекомендуемой агрессивности поношения или благоугодной интенсивности умолчания придется определять для каждого временного среза с помощью разысканных и опознанных в каждом из этих торцов носителей духа сезона, атмосферы года, веяния данного короткого времени.

Нужно будет изучать техники лукавства и обнаруживать трассы вытравленного имени в искривлениях мемуарного сюжета, во вздутиях и провалах повествовательной поверхности воспоминаний, в сбоях исторической причинности в дырявых хрониках протекших времен. Обнажать рубцы,

оставшиеся от цензурных и автоцензурных операций. И чего именно в каждом конкретном году изволили хотеть те власти, которые в 1921 году казнили Гумилева, придется угадывать по отражениям их — возможно, и безмолвных — кивков. Для тенденции нарастающего с годами некоего (с точки зрения советского бонтона) неприличия всякой памяти об этом имени, а то и самого знания имени этого точным эпиграфом был бы диалог из «Села Степанчикова» о песне про комаринского мужика:

— И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню — вы, член благородного общества. Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню?

— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

— Как! я знаю? Обидели! — вскричал вдруг Фома, захлебываясь от злости.

Для начала я, как структуралист по воспитанию, обихаживающий минус-приемы, приветствовал бы реализацию гиперболы составителя гумилевской библиографии: «Попутно отметим, что можно было бы составить и библиографию “Изданий, из которых вычеркнуто имя Гумилева”»<sup>5</sup>.

Многое из того, что содержало это имя, уничтожено еще в рукописях, поэтому говорить как о типологическом, с высокой степенью вероятности, образце заведомо не единичного явления поневоле можно лишь про не столь многое сохранившееся.

Сбор всего-всего, что было наговорено вокруг и около нашего героя, оставляем до будущей «гумилевской энциклопедии». На имя его налипло много фольклорных наростов, беспочвенных фантазий и натужного вранья. В книге «Подземные классики» мне довелось поместить один давний образчик бесталанной лжи, и чтобы не пускаться в унижительные разъяснения в виду очевидности фальшака, но за неимением типографских возможностей похерить эту чушь, пришлось набрать ее вверх тормашками, каковой стернианский прием

нескольких читателей ввел в недоумение. В новой книге я по большей части игнорирую материал такого рода, но для аналитиков постфольклора он прибывает самосильно чуть ли не еженедельно.

Вообще, явление, обозначенное в названии книги, стало бы неплохой поживой для антропологов. Этот аспект культурной истории России можно было бы озаглавить несколько крикливой метафорой «Гумилев как табу и тотем», чтобы обратить внимание на то, что судьба наследия запретного поэта может быть описана в тех же категориях, что и некоторые архаизирующие магические практики современного общества.

Скажем, переписывание/перепечатывание/размножение стихов Гумилева (и в меньшей степени нескольких других поэтов) на протяжении шести десятилетий — это не только преодоление Гутенберга, не только самооборона против книжного дефицита, но и нечто аналогичное бытованию т.н. святых писем.

По материалу к сюжету настоящей книги примыкают ранее опубликованные мною этюды «Читатели Гумилева», «Скандалы Гумилева» и другие, к которым более чем часто будет отсылать подлежащее изложение.

Один итальянский славист рассказывал о Борисе Слуцком, что когда расспрашивал его про популярных советских поэтов, тот перевел разговор на Гумилева. Думаю, что впору будет заключить предуведомление мемом из стихов Слуцкого о русской поэзии, повторявшимся многими нашими современниками, в том числе появляющимися далее на страницах этой книги Владимиром Корниловым и Иосифом Бродским: «Она, как Польша, не сгинела». *Róki my żyjemy*.

- 1 Первый подступ к теме: *Тименчик Р.* К истории культа Гумилева. I // Тыняновский сборник. Вып. 13. М., 2009. С. 298–351. Эта статья была посвящена памяти исследователя творчества поэта — Михаила Эльзона (1945–2006).
- 2 *Аронсон М., Рейсер С.* Литературные кружки и салоны. СПб., 2001. С. 10.

- 3 *Соболев А.* Летейская библиотека. Т. 1: Биографические очерки. М., 2013. С. 279.
- 4 *Ильин В.Н.* Иннокентий Анненский и конец Периклова века России // *Возрождение*. 1965. № 166. С. 48.
- 5 *Воронович В.Н.* Отечественная литература о Н.С. Гумилеве (1905–1988): материалы к библиографии // *Н. Гумилев: Исследования и материалы. Библиография*. СПб., 1994. С. 632.



I

# ANTE MORTEM



Н. ПИРОСМАНИ.  
ЖИРАФ (1905)

Г.П. СТРУВЕ  
(SAINT-  
GERMAIN-EN-  
LAYE, 1932)

В.В. ЖУРИН  
(ПЕТРОГРАД,  
1915,  
ФОТОГРАФИЯ  
Г.ПЕРЛА)

Н.К. ШВЕДЕ-  
РАДЛОВА  
(РИСУНОК  
Н.Э. РАДЛОВА)

**Г**умилев — фигура мифогенная, сплетни и кривотолки, перерастающие в мелкие мифы, окружали его при жизни<sup>1</sup>, чтобы в посмертном его бытии, приближающемся к своему первому столетию, роиться вокруг его имени без признаков усталости жанра<sup>2</sup>.

В становлении мифологизирующего ореола всякого русского поэта играет немалую роль его своего рода двойничество (но и якобы полное отсутствие такового — тоже) со знатными иностранцами. Гумилеву, помимо титула «царскосельского Киплинга»<sup>3</sup>, судьба выделила роль русского Леконта де Лиля, русского Андре Шенье, русского Шарля Пеги, даже — русского Томаса Элиота.

Как писал один из внимательных читателей,

Появление в России такого поэта было далеко не случайно. Поэзия отражала тенденции, которые кристаллизовались в социальной жизни страны. В Западной Европе эти тенденции обозначались раньше, раньше были отражены поэзией. Новая тема вошла в стихи и получила в них права гражданства. Эта тема может быть выражена одним словом политико-экономического словаря: колонии. Но это слово, объясняющее все, в то же время не говорит нам ничего. И нам придется прочесть француза Леконта де Лиля, англичанина Киплинга, немца Брэма, чтобы почувствовать ослепительность солнца, разлившегося над пустыней, аромат пальмовых лесов на берегах голубых заливов, романтику войны с дикими народами, населяющими далекие страны, торжество победы и черный ужас тропической ночи.

Из всех перечисленных поэтов Леконт де Лиль всего ближе к Гумилеву. У Гумилева вообще много — от французской поэзии<sup>4</sup>.

Но русский язык стихов Гумилева — задушевнее хрустально-го французского звона<sup>5</sup>.

Шарль Леконт де Лиля стал метонимией Гумилева, видимо, под впечатлением стихотворения «В узких вазах томленья умирающих лилий...» («О Леконте де Лиле мы с тобой говорили»), которое при разговоре о Гумилеве направляло взоры знатоков к поэзии парнасца<sup>6</sup>, для чего имелись известные биографические основания<sup>7</sup> и что стало штампом в литературной критике<sup>8</sup>, эпоху спустя вызвав раздражение Ахматовой: «Не стоит походя называть Гумилева <...> подражателем Леконт де Лиля и Эредиа. Это неверно, тысячу раз сказано, затрогано такими ручками!»<sup>9</sup>

Знатоки французской поэзии были едины в этом впечатлении:

Холодное признание Леконта

Je ne livrerai pas ma vie à tes huées,  
Je ne danserai pas sur ton tréteau banal  
Avec tes histrions et tes prostituées  
явственно начертано на щите Гумилева...<sup>10</sup>

Как атрибутирующая деталь строчки «креола с лебединой душой» появляются в стихотворении Бориса Горнунга, посвященном «овдовевшей» Ахматовой:

Хлюпали ноги по невидимым лужам,  
Сирена хрипло шофера звала.  
Неоконченный храм сожжен до тла, —  
Наверно Пракситель в агонии не нужен.  
Надменно-сурово вошел в автомобиль,  
И мыслились четко де-Гама, Магеллан,  
И в Черчере собственный смелый караван, —  
Осталось одно: то, что было любить.  
И серые струи упорно цедились  
И также упорно, прищуривши глаз  
На темного спутника, несколько раз  
Цедил он две строчки Леконта де Лиля<sup>11</sup>.

Еще один из подводящих путей к мифологизации поэта — вычленение читателями тотемного двойника в его сти-

хах (вроде поэтов-прототипов хлебниковского «Зверинца», мандельштамовского «Сядь, Державин, развалися, / Ты у нас хитрее лиса», лупологии нескольких акмеистов<sup>12</sup> и проч.). Таковым в итоге читательского плебисцита был избран герой стихотворения, 9 октября 1907 года по новому стилю посланного Гумилевым Брюсову из Парижа:

Я вижу, сегодня особенно грустен твой взгляд  
И руки особенно тонки, колени обняв.  
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,  
И шкуру его испещряет волшебный узор,  
С которым равняться осмелится только луна,  
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,  
И бег его строен, как радостный птичий полет.  
Я знаю, что много чудесного видит земля,  
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран  
Про черную деву, про страсть молодого вождя,  
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,  
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,  
Про стройные пальмы, про запах немислимых трав.  
Ты плачешь?.. Послушай: далеко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф<sup>13</sup>.

Стихотворение заставляло вглядываться в себя не одно поколение читателей от Валерия Брюсова и Алексея Ремизова<sup>14</sup> до Сергея Есенина<sup>15</sup> и Павла Когана, а автора его юная читательница назвала «Дядя изысканный жираф»<sup>16</sup>, а Хлебников — жирафопевцем:

Младой поэт с торчащими усами,  
 Который в Африке  
 Видел изысканно пробегающих жираф к реке...

Поэт, поклонник жираф,  
 Взирал и важен, и самодоволен...

Жирафопевцу внимая, ясница  
 Прислоняет к устам сладкий палец.  
 Ей рассказал, как красива на Нил<e>денница,  
 Устав быть собою, скиталец<sup>17</sup>.

Животное грациозной стройности и неги в «девятнадцатом смешном и страшном веке» стало одним из самых ценных трофеев:

Безмолвно, горделиво, величаво стояла несчастная жертва, порой склоняя гибкую шею к своему преследователю; слезы выступали на ресницах вокруг темных влажных глаз, пока залп за залпом впивались в мускулистую грудь.

И медленно никла его голова,  
 По капле покидала тело кровь,  
 Сквозь бок израненный сочась,  
 Грозы подобно первым каплям.

И вот все его члены охватила конвульсивная дрожь — вздыбилась его шерсть — заколебалась его высокая фигура — и при семнадцатом залпе смертоносного нарезного ствола, словно падающий минарет, роняя свою изысканную голову с небесной высоты, его горделивая плоть распростерлась в пыли<sup>18</sup>.

Гумилев читал о жирафе у своего любимого Майн-Рида, кажется, никогда жирафов на воле не наблюдавшего:

Нет животного грациознее и красивее жирафа. Футов восемнадцати вышиною, если мерить от пятки ноги до головы, жираф кажется, — как сказал бы американец, — первым животным природы. Существует только одна порода жирафов. Всеми в Европе признана красота этого животного, а также необычно-

венная кротость его нрава. <...> При первом взгляде кажется, что передние ноги жирафа вдвое длиннее задних, но это не так. Эта кажущаяся разница происходит оттого, что плечи жирафа слишком высоки сравнительно с задом. Голова очень мала относительно всего туловища и помещена на шею футов шести длиной. Высота животного, если мерить от вершины бедра до задних копыт, редко бывает более семи или восьми футов. Рога у жирафа совсем не похожи на рога других животных: пористые, костистые, покрытые короткой и толстой щетиной, они не могут служить ни для защиты, ни для нападения. Глаза жирафа замечательно красивы. Нежнее и удлиненное глаз газели, они поставлены так, что жираф может смотреть во все стороны, не поворачивая головы. Все чувства у этого животного очень тонки. Жирафы питаются листьями дерева из породы мимоз. Язык служит жирафу для того же, для чего слону хобот; длина этого органа позволяет жирафу ощупывать листья самых высоких деревьев. Кожа жирафа очень толста, часто дюйма полтора толщиной, и так непроницаема, что надо по крайней мере пуль двадцать или тридцать, чтобы свалить это гигантское животное. Боль от ран жирафы переносят молча, потому что вообще они не имеют голоса<sup>19</sup>.

Вероятно, соотнесение Поэта с Жирафом, которому «видней», проистекает из укорененных в культуре семантических переходов<sup>20</sup>. В фантастическом рассказе-сновидении «Четыре зверя в одном» («Four Beasts in One: The Homo-Cameleopard») столь важного для Гумилева автора, как Эдгар По (Ахматова подбирала материал и по этой теме<sup>21</sup>), человек-камелеопард назван «князем поэтов»:

— Слышите вы звуки труб?

— Да — царь идет. Взгляните, народ в экстазе обожания! Идет! — приближается! — вот он!

— Кто? где? царь? — Не вижу, не замечаю.

— Так вы слепой?

— Возможно. Я вижу только толпу идиотов и полоумных, которые кидаются ниц перед гигантским жирафом, стараясь поцеловать копыто животного. Смотрите! Как он ловко лягнул одно-

го проходимца — и другого, и третьего, и четвертого. Право, это животное удивительно владеет своими ногами.

— Проходимца, как бы не так! Все это благородные и свободные граждане Эпидафне. Животное, — говорите вы; смотрите, чтобы вас не подслушали. Разве вы не замечаете, что у этого зверя человеческое лицо? Да, милый мой, этот жираф не кто иной, как Антиох Эпифан, Антиох Знаменитый, царь Сирии и могущественнейший из всех властителей Востока. Правда, иногда его называют Антиох Сумасшедший, но это потому, что не все способны оценить его заслуги. Конечно, он нарядился жирафом и старается как можно лучше разыграть свою роль, но это делается для поддержания царского достоинства. К тому же этот монарх исполинского роста, так что наряд не слишком неудобен или велик для него. Во всяком случае, можно быть уверенным, что он нарядился только по случаю какого-нибудь события исключительной важности. Согласитесь, что избиение тысячи жидов — событие важное. Как величаво он шествует на четвереньках! <...> Толпа называет его «Князем поэтов», «Славой Востока», «Усладой человечества» и «замечательнейшим из жирафов». Она требует повторения и — слышите? — он снова запел. В гипподроме его увенчают, предвкушая его будущие победы на Олимпийских играх.

— Но, Бог мой! Что такое происходит в толпе за нами?

— За нами? — а, да! — вижу. Друг мой, хорошо, что вы заметили вовремя. Укроемся поскорей в безопасное место. Сюда! Спрячемся под аркой водопровода, и я объясню вам, в чем дело. Так и вышло, как я ожидал. Страшная наружность жирафа с человеческим лицом оскорбила чувства зверей. Вспыхнуло восстание, и человеческие усилия бессильны усмирить его. Несколько сирийцев уже растерзаны, и, кажется, четвероногие патриоты решили съесть жирафа. «Князь поэтов» вскочил на задние лапы и удирает<sup>22</sup>.

Заморских жирафов любил рисовать Маяковский, и московская публика узнала новое прилагательное в русском стихе<sup>23</sup> вместе с новым петербургским словом от газетчика, познакомившего ее

с бредом какого-нибудь нынешнего Маяковского или ему подобного «акмеиста»:

Прыгнули первые клубы  
В небе жирафий рисунок готов  
Выпестрить ржавые чубы<sup>24</sup>.

Гумилевская «экзотичность» поддавалась преувеличению в подражаниях, перетекающих в пародии<sup>25</sup>, и наоборот. Один из любопытных образцов домашнего пересмешничества — «Полинеза» 1913 года:

Брови твои — бумеранги из черного дерева,  
Очи — опасней, чем пули отважных британцев;  
Острые груди, как волны у горного берега,  
Ходят высоко, когда изнеможешь от танцев.

Круглый живот твой — не табу ль, где скрылося золото?  
Хочет им каждый из нас обладать и британец...  
Кто же получит его, в утоление голода,  
Будет пьянее тот виски упившихся пьяниц...

Дай же упиться из грудей кокосовой влагою,  
В табу проникнуть сквозь чашу кокосовых прядей...  
Этим нальешь ты мне сердце безумной отвагою, —  
Буду за битву я первым в священном обряде...

Дай же мне, дай тебя сжать, охвативши под мышками,  
Станет в груди оттого хорошо и устало...  
Я ж для тебя схожу в лес за съедобными шишками  
И принесу кенгуру молодого душистого сала<sup>26</sup>.

Гумилев, по выражению Марины Цветаевой (в 1912-м) — «отец кенгуру в русской поэзии»<sup>27</sup> и адресат эпиграммы Вяч. Иванова:

Парнас фауной австралийской  
Брэм-Гумилев ты населил.  
Что вижу? Грязный крокодил



Мутит источник касталийский,  
И на пифийскую дыру  
Вещать садится кенгуру<sup>28</sup>.

Этот кенгуру стал поводом для значительно менее талантливой пародии — отклик в разделе «Арбузные корки» одесского журнала:

В альманахах и иных периодических изданиях часто встречаются стихи Гумилева. Нынче он издал их отдельной книжкой, в полтораста страниц, под названием «Жемчуга»... Но книге более к лицу название: «Черепки». Гумилев — один из стаи признанных импрессионистских «маяков», покушавшихся сокрушить «мир старых звуков»...

Гумилев — типичный павиан, а потому его герои и героини все фаршированы каким-то свинячим сладострастием.

Вот, например, кусочек одного из гумилевских жемчугов (стр. 34), где молодая девушка восклицает:

Я хочу к кому-нибудь ласкаться,  
Как ко мне ласкался кенгуру!

Плачущую девушку Гумилев утешает так, точно перед ним корова:

— Ты плачешь... послушай:

Далеко на озере Чад  
Изысканный бродит жираф...

Последние строки вдохновили нашего друга поэта Picador'a на следующее зоологическое стихотворение:

На озере чад и домочадцев  
Я стройный тоскующий граф...  
В Трансваале — я стал следопытом...  
Изысканный бродит жираф  
И пишет стихи мне копытом  
Далеко, на озере Чад,  
Подобна луна канделябру,  
Собрав домочадцев и чад,  
Читаю, как абракадабру...  
Чуть ночь, — посетит водопой  
Царь Лев — по домашнему Лева,

И он пред звериной толпой  
 Прочтет им стихи Гумилева...  
 Вопит кенгуру, — как дитя,  
 Не хочет к поэту ласкаться:  
 Изменник поэт, не шутя,  
 Стал к музе Рениксы таскаться...

Павианы даже слезы любимой женщины вытирают хвостами животных.

Впрочем, любимая женщина зачастую оказывается козой!

Гумилев проговаривается вскользь такой строфой:

Что ж за тоска нам сердце гложет?  
 Что же пытаем бытие?  
 Лучшая девушка дать не может  
 Больше того, что есть у нее.  
 Вот видите...<sup>29</sup>

Видимо, первой по времени пародией на него был пришедший в редакцию «Весов» сразу по выходе июньского номера за 1908 год «Ответ Н. Гумилеву» от Виктора Николаевича Середы из Гатчины (в случае публикации он просил назвать его «Виктором Николичем»):

Духи ада любят слушать эти царственные звуки,  
 Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.  
 ...  
 На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ  
 И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!  
*«Волшебная скрипка»*

Я боюсь бесславной жизни. Пусть нагрянут все напасти!  
 В нашей власти, в нашей власти скрипкой страсти возродить!

Силой звука, честь — порука! всем волкам заткну я пасти!  
 Мощью взгляда силы Ада мне не трудно победить!

Не страшны мне чары, волки... Но бездушны люди, толки...  
 Я играю гимны Раю, царству светлого Конца,

Я молюсь и замираю, — а кругом презренно-колки  
 Бьются толки, вьются сплетни вокруг тернового венца.

Если б волки, духи Ада!.. В битве струны не сдаются,  
 Всякой буре скрипка рада: смерть героям нипочем.

Но — играю, звуки льются... Вкруг лишь холодно смеются  
 Над ненужным, слишком вышним, в жизни лишним скрипачом<sup>30</sup>.

Проваливающиеся в пародии и в стиховые памфлеты любительские тексты обнажают механизм ученичества у Гумилева. Возьмем, к примеру, автора, сборник которого отмечен одним эпиграфом из Гумилева<sup>31</sup>. В стихотворении «Счастье» берется присущая семантическому потенциалу пятистопного амфибрахия мотивика из топоса «Kennst du das Land, wo...», спроецированная на риторическую схему гумилевского «Озера Чад» («Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман...» и др.), а направление экзотических устремлений переворачивается на противоположное:

У вечных снегов, есть страна...

*Бьернстерне-Бьернсон*

Ты знаешь у вечных снегов голубую страну,  
 В которой владыки одни голубые снега,  
 Где люди не знали совсем голубую весну,  
 Где им никогда не цвели травяные луга.  
 Всегда одинаково мрачен у них небосклон,  
 Всегда одинаково громко поет им метель,  
 Но ты не услышишь от них полусдавленный стон,  
 Как будто их нежит безумья непознанный хмель,  
 Для них нет законов, любви, тихих слов о добре,  
 Для них нету плясок в весеннюю тихую ночь,  
 Они лишь следят, как сиянья в минутной игре,  
 Иль меркнут, иль гонят все темное, мрачно прочь.  
 Но ты их спроси, почему они мрачно живут,  
 Зачем не хотят перейти снеговые хребты,  
 Они не ответят и тотчас беззвучно уйдут,  
 И ты не узнаешь от них заповедной мечты.  
 Поверь, что когда звонкогласно поет им метель,  
 И снежные вихри над ними, как тучи, снуют,  
 Их душу качает, весенний и радостный хмель,  
 Им дикие, жгучие розы, багряно цветут.

Эпиграфы, как приметы формирующейся «школы читателей Гумилева», мы находим у ряда поэтов 1910-х. Это, например, Павел Борисович Файвишевич-Горцев (1892–1986), инженер, коллекционер, изредка печатал стихи и рецензии в периодике 1910-х под разными псевдонимами (Н. Арго, Н.А., Б.К., Г. Франк, Г.Ф.)<sup>32</sup>. Мы его встретим спустя два десятилетия в невероятной гумилевской акции в Ростове<sup>33</sup>.

Следующий выловленный из стихового потока 1910-х эпиграф:

У кого я попрошу совета,  
Как до легкой осени дожить,  
Чтобы это огненное лето  
Не могло меня испепелить?

— из стихотворения Николая Мизинова<sup>34</sup>.

Эпиграф в виде двух строф из «Пятистопных ямбов» — в статье Александра Балагина (Гершановича; 1894–1937) памяти Веры Холодной:

Сказала ты, задумчивая, строго:  
«Я верила, любила слишком много,  
А ухожу, не веря, не любя,  
И пред лицом всевидящего Бога,  
Быть может, самое себя губя,  
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,  
Ни даже сжать холодных, тонких рук,  
Я сам себе был гадок, как паук,  
Меня пугал и мучил каждый звук,  
И ты ушла, в простом и темном платье,  
Похожая на древнее распятие<sup>35</sup>.

Эпиграф у Михаила Боруховича Бараховича (1895–1920)<sup>36</sup>, входящего в сонм расстрелянных советской властью стихотворцев<sup>37</sup>.

Эпиграф «Муза Дальних Странствий. Н. Гумилев» появляется перед соответствующим разделом у будущего «Д. Кле-

новского» — Дмитрия Иосифовича Крачковского (1893–1976), выпускника царскосельской гимназии 1911 года<sup>38</sup>. В его воспоминаниях о 1910-х проходит и герой нашей книги, быстро завоевывавший себе в Петербурге литературную известность:

Хотя я уже писал в то время стихи и зачитывался поэтами, но Гумилевым едва ли бы заинтересовался. Помог случай.

Появилась у нас однажды в семье новая горничная, Зина, хорошенькая черноглазая девушка. О такой, примерно, как она, сказал в свое время Ходасевич: «Высоких слов она не знает, Но грудь бела и высока». Перед тем, как поступить к нам, Зина служила у Гумилевых. И вот однажды, вся зардевшись, показала мне она свое сокровище: тщательно завернутую в бумагу книжечку. Это был «Путь конквистадоров» Гумилева с авторской надписью поэта — первый сборник его еще слабых, полудетских стихов. Книга все же очаровала меня, уже одним своим существованием. Еще гимназист, а напечатал книгу! Это подбадривало меня в моем собственном творчестве. Думаю, что втайне Зина была влюблена в своего прежнего «молодого барина»... Книжечкой его и надписью на ней она гордилась явно. Может быть, никогда ничего гумилевского она больше и не прочла, но в те дни «высокое слово» коснулось ее немудреной девичьей души.

Я стал присматриваться к Гумилеву в гимназии. Но с опаской — ведь он был старше меня на 6 или 7 классов! Поэтому и не разглядел его, как следует... А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато, одет<sup>39</sup>.

О своем понимании поэтического дела прославившегося однокашника он высказался тридцать лет спустя:

Великое дело призван был совершить поэт, и, чувствуя это, демонические силы поторопились оборвать его жизнь и затоптать его труд. Гумилев не успел еще многого сказать, он еще только обратился со словом к миру, но и немного, сказанное им, — высоко и проникновенно. Предсмертные стихи Гумилева — бессмертны. <...> Плохо будем мы чтить и беречь память Гумилева, если упрощенно подойдем к нему только как к поэту мужества

и геройства и проглядим его как поэта-философа, поэта-провозвестника и провидца. Гумилев куда выше, чем принято о нем думать. Но надо обратиться к философским его стихам, чтобы это понять. Не юношеское цветение его геройства составляет наивысшую его ценность, а зрелые плоды его религиозно-философского мировоззрения»<sup>40</sup>.

\* \* \*

Одним из первых слушателей стихов Гумилева был филолог и поэт Владимир Шилейко<sup>41</sup>. На экземпляре гумилевского перевода «Гильгамеша» было начертано

Вячеславу Вячеславовичу Срезневскому

Днем и ночью он пирует с ними,  
Он, кому доверен Урук блаженный

Н. Гумилев  
17 мая 1919

По этому поводу вдова адресата, психиатра В.В. Срезневского Валерия Срезневская сделала запись в 1945 году:

Чтобы была понятна эта надпись, нужно сказать, что Коля приезжал с фронта в Царское Село... и там скучал. Все его корни были в П<е>т<ер>б<урге>. А в 19-ом году он часто приезжал к нам. Он лечился у В.В. от выдуманных нервных явлений, отдыхая от скопляющихся вокруг него грозовых туч с тем гнусным электричеством, которое позже убило его... Он приносил белое вино, тогда уже исчезнувшее для «непосвященных» в тайны подлости и интриг<и, и> распивал его чаще со мной, чем с В.В., и болтал, что попало, зная, что я не ценю, когда стараются быть «значительным и умным». И тут-то он был самим собой — т.е. очаровательным, пародировал самого себя... Жизнь была в нем ключом, и я радовалась этому «буйству жизни» (по выражению Фета), так как, голодая и недомогаясь, я была «бестелесным призраком» и «падающей звездой». Но зато отражение этого яркого солнца поэзии было во сне так искренно, что, вероятно, подкупало, и мой «Гильгамеш» носит подпись: В.В. С. «ассирийский амулет от всех недугов» — «целую ее ручки Н. Гумилев».

В.К. Шилейко тоже приходил ко мне тогда, но его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те горестные дни. Весь он был наполнен «тонким ядом» «не любви, а вдохновенья», сжигая себя на каком-то огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами лихачевской коллекции.

На фоне подонков и серой массы, требующей «вот сейчас, сию минуту» для себя узко-экономического благополучия без цели, «для утробы» — эти два прекрасных цветка многовековой культуры человеческого Духа были так странны, как лилии на снегу в воющей метели и буране, из которого все время выступало оголтелое лицо Пугачева и его банды. В тот страшный год мы были беззащитны и растоптаны... и все-таки мы писали стихи, мы слушали музыку и мы не ели... ни других, ни даже обыкновенного хлеба: его не было. Мы спасали то, что еще можно было спасти...

«Да Святится Имя Твое!»<sup>42</sup>

Выборочно назовем более отдаленных читателей предреволюционного десятилетия.

В коммерческом училище вызревал Глеб Струве (1898–1985)<sup>43</sup>, будущий издатель первого собрания сочинений титульного героя нашей книги.

В 1916 году он поместил в училищном рукописном журнале статью «Н. Гумилев. По поводу выхода его новой книги стихов “Колчан”», где писал:

Первые две книги Гумилева («Жемчуга» и «Чужое небо») — книги исканий, последняя («Колчан») — книга обретения.

Начиная с этого школьного дебюта, он почти семь десятков лет стоял на страже репутации Гумилева.

Поэтический образ Гумилева получился у Познера какой-то упрощенный и лишенный присущей ему на самом деле значительности<sup>44</sup>.

Тхоржевский, должно быть, просто не читал последних книг Гумилева, и в частности «Огненного столпа», а то бы он не го-

ворил, что «непосредственной поэтической “благодати” нет в отточенных до совершенства, до “акмеизма”, сборниках Гумилева», и не приводил бы строк из «Колчана» (1915 г.) со ссылкой на «Огненный столп» (1921 г.). А такое замечательное стихотворение Гумилева, как «Заблудившийся трамвай», даже не упомянуто<sup>45</sup>.

Гумилев получил пол-строки<sup>46</sup>.

Он поверял Гумилевым все новые литературные впечатления:

И думается, что соответственно перефразируя их, он мог бы повторить слова одного замечательного, сравнительно молодого современного английского поэта, автора посвященных Шарлю Моррасу этюдов о Данте, сказавшего, что для того, чтобы бороться с «болезнью века», нужно быть «классиком в литературе, роялистом в политике и англо-католиком в религии». Будучи классиком, монархистом и православным, Гумилев, очевидно, удовлетворял, как и автор вышеприведенной формулы, Томас Стернс Элиот, насущную внутреннюю потребность своей устремленной к порядку и форме личности<sup>47</sup>.

Об одном эпизоде его «борьбы за Гумилева», как впрочем, и за своего отца, упомянем подробнее. Он связан со стычкой с одним из самых частых авторов эмигрантской гумилевиады<sup>48</sup>, который спорил с Петром Струве еще в 1920-е:

Гумилев, которого теперь с легкой руки П.Б. Струве слишком усердно делают «мужем», между тем как этот муж был прежде всего поэтом, «поэтишкой», любившим беспорядочный, божемно-бестолковый быт, как рыба в воде чувствовавший себя в петербургских «пакостных» (по выражению В. Талина) кружках...<sup>49</sup>

Георгий Адамович вернулся к этому спору через четверть века:



Спорят, например, сейчас и о Гумилеве. Позволю себе личное отступление, как говорится «pro domo», — я очень люблю стихи Есенина (не все, главным образом последние) и не люблю стихов Гумилева. Один из моих литературных приятелей на днях говорил мне: «да, да, конечно, но об этом лучше сейчас не писать...» Почему? Да потому, видите ли, что Гумилев в наши дни — знамя, воплощенный лозунг, почти икона, и отсутствие преклонения перед его поэзией может быть истолковано нежелательно. «Ну, вы сами понимаете, как», добавил с несколько смущенной улыбкой мой собеседник. В том, что такое истолкование чисто-литературных суждений в наше время возможно и до крайности вероятно, сомнений у меня нет. Не такое мы еще теперь видим, слышим и читаем! Приятель мой в опасениях своих прав. Но как хочется иногда повторить знаменитое восклицание «тем хуже для фактов», так — и даже много, много чаще, конечно, — надо бы порой сказать «тем хуже для нашего времени», для нашей писательской и околописательской среды, для наших литературных нравов. Пренебрегая осторожными наставлениями и советами, я все же решусь на поступок, очевидно безумный и высоко героический, и выскажу мнение, что Гумилев большим поэтом не был. Был он благороднейшим человеком, был редким умницей, — когда переставал ломаться и во всеуслышание, с высокомерным видом, делать заявления, вроде того, что «шпага моя принадлежит моему государю» или что ему — Гумилеву — поручено Провидением завоевать Индию (это ломание, это вечное и до крайности наивное стремление к позе многих ввело в заблуждение, и Гумилева почти никто из его современников умным человеком не считал. Надо было знать его лучше, надо было хоть раз поговорить с ним наедине, с глазу на глаз, или в обществе ближайших друзей, чтобы оценить его чарующую простоту и необычайную пронизательность). Да, у Гумилева было множество самых разнообразных достоинств. Помимо всего был он мучеником, и я о судьбе его не забываю. Но к поэзии все это отношения не имеет, и стихи Гумилева, в которых запечатлено и его мужество, и его благородство, и его рыцарская, сердечная прямота, все же стихи, так сказать, «приблизительные», и читать или перелистывать их сейчас довольно тягостно. Петр Струве был горячим поклонником Гумилева, и это вполне по-

нятно. Ему нужна была не поэзия, а программа, не волшебство слов, а подходящие его политическим настроениям мысли, чувства и образы, и он нашел у Гумилева то, чего тщетно стал бы искать, например, у Блока. Да это понятно. Но литературный, поэтический восторг в отношении Гумилева понятен не вполне. Удивительнее всего то, что видя все сразу, насквозь, в стихах чужих, безошибочно в них разбираясь («как Бонапарт в военной диспозиции», по чьему-то давнему выражению), Гумилев не отдавал себе отчета ни в своих промахах, ни в общей шаткости и легковесности своих поэтических построек. Зато ученики его не обольщались, и Ахматова или Мандельштам, признавая Гумилева «мэтром», большей частью отмалчивались, когда им нужно было высказать о стихах учителя то или иное мнение<sup>50</sup>.

Глеб Струве написал письмо в газету, которое при печати было сокращено (и это сокращение мы выделяем курсивом<sup>51</sup>):

В «Новом русском слове» от 17 декабря напечатана статья Г.В. Адамовича «К спорам о Есенине», посвященная главным образом развенчанию покойного Н.С. Гумилева как поэта. О вкусах не спорят, и г-н Адамович волен сегодня развенчивать Гумилева как лет двадцать тому назад он развенчивал в «Числах» устаревшего, мол, для нас Пушкина<sup>52</sup>.

*Это развенчание Гумилева звучит, конечно, особенно пикантно, — а г-н Адамович большой любитель литературной пикантности — в устах бывшего акмеиста, члена Цеха Поэтов и «ученика» Гумилева. Это так же пикантно, как и самый переход г-на Адамовича — без всяких околичностей, без всяких <пропуск>, которых могли бы ожидать от него его читатели — в «Новое Русское слово» после четырехлетнего сотрудничества в парижской советской газете г-на Ступницкого.*

*Повторяю: г-н Адамович волен предпочитать Есенина Гумилеву, волен даже бахвалиться (в довольно дурном вкусе) своей смелостью. На эту тему я с ним спорить не хочу — г-н Адамович так быстро меняет (и притом «туда и обратно», так сказать) свои и литературные, и политические симпатии и вкус, что спорить с ним дело праздное — талантливому критику многое прощается.*

Но в своей статье Адамович пишет: «Петр Струве был горячим поклонником Гумилева, и это вполне понятно. Ему нужна была не поэзия, а программа, не волшебство слов, а подходящие его политическим настроениям мысли, чувства и образы, и он нашел у Гумилева то, чего тщетно стал бы искать, например, у Блока». Против этих утверждений г-на Адамовича я считаю своим долгом протестовать, ибо они и неверны, и грубы по форме.

1) Мой покойный отец ценил в Гумилеве (как и в поэзии вообще) вовсе не «программу» или «подходящие» политические настроения, и Гумилев был одним из постоянных и ближайших сотрудников редактируемой им «Русской мысли» еще в России — в этом именно журнале были напечатаны и многие лирические стихотворения Гумилева, и его драматическая поэма «Гондла».

2) Мой отец высоко ценил Блока как поэта, и Блок тоже был до самой революции постоянным сотрудником «Русской мысли», где появилось множество его стихов и первая глава «Возмездия». В отличие от И.А.Бунина, который так решительно разделялся в своих «Воспоминаниях» с «Двенадцатью» (да и с Блоком вообще), мой отец даже в этом произведении Блока, которое «политически» не могло ему нравиться и которое он считал «соблазнительным», видел поэтически значительную вещь. У меня нет сейчас под рукой его отзыва о «Двенадцати» в софийской «Русской Мысли» (как нет и его статьи, вероятно, оставшейся неизвестной г-ну Адамовичу, в которой он дал и свои воспоминания о Блоке и Гумилеве, и характеристику их обоим), но всякому, кто читал «Дневники» Блока, известно, что этот отзыв о «Двенадцати» Блок выписал у себя в дневнике от первого слова до последнего и сделал это явно сочувственно<sup>53</sup>.

Рано ушедший из жизни много обещавший филолог Юрий Никольский<sup>54</sup> 29 января 1915 года писал Любви Гуревич:

Вечером я был у поэтов, т.е. в ром<ано>-германском кружке. Был Гумилев, и война с ним что-то хорошее сделала. Он читал свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истину моменты — недаром Георгий на его куртке. Это было серьезно — весь он, и благоговейно. Мне кажется, что это очень много<sup>55</sup>.

Весной 1918 года он жил в Москве, откуда писал в Петроград Екатерине Малкиной:

Москва — нелепа, старообразна; литераторы в ней все больше провинциальные (интересуются Бальмонтом и Брюсовым, не ведают о Гумилеве и еле нисходят к Ахматовой!)...<sup>56</sup>

В это время Ю. Никольский писал для московской газеты, адресуя «не ведающим о Гумилеве» статью «Будущее поэзии»:

В одной книжке стихов Гумилева (не знаю, где сейчас этот поэт, так единственно прекрасно понимающий некоторые стороны великой войны), в одной своей книжке он пишет, обращаясь к «героине романов Тургенева»:

Никогда никуда не пойдете,  
Коль на карте путей не найдете.

«Героиней романов Тургенева» может быть, по-моему, русская интеллигенция. Особенно убеждает в этом конец стихотворения о чуждом ей безумном охотнике, в пьяном счастье и безотчетной тоске запускаящем стрелу прямо в солнце. Этот стрелок — искусство<sup>57</sup>.

8 июля 1919 года он писал Любви Гуревич из Нижнего Новгорода:

Я хотел Вам написать еще о новой книжке Гумилева «Костер», которую настойчиво еще раз рекламирую, обращая внимание на «Детство», «Ледоход», «Рабочий», «Самофракийскую победу», «Юг», «О Тебе», «Сон». Кроме военных стихов его, я обожаю «Капитанов», «Царицу», «Спойте мне песню о Данте» и «В библиотеке» (все из «Жемчугов»). Все, если забыли, достаньте и перечтите, вспомнив обо мне<sup>58</sup>.

Незадолго до собственной гибели ему удалось проститься с поэтом газетным некрологом (см. Приложение).

Другой читатель из той же филологической среды, автор первого полуакадемического сочинения об акмеистах, статьи «Преодолевшие символизм», о которой академик В. Перетц

сказал ему: «Что это вы из пушек по воробьям»<sup>59</sup>, будущий академик Виктор Жирмунский был не столь увлечен своим героем. О своей статье он вспоминал:

С большим интересом прочитал высказывание Н.Г. о моей статье «Преодолевшие символизм»<sup>60</sup> <...> С Н.Г. я встречался часто, но отношения у нас были скорее прохладные. Я и мои друзья, по-видимому, отталкивались от его чрезмерной мужественности и волевого склада характера, считали его не очень глубоким и тонким, не очень любили как поэта и предпочли бы видеть Ахматову за кем-нибудь другим. Я считал, что он не очень доволен моей статьей, т.к. в ней о нем говорится скорее с холодным уважением, а об Анне Андреевне с увлечением. Тем не менее однажды в 1919 или 1920 г., когда мы вместе шли неясным снежным вечером по Невскому, возвращаясь из горьковского Дома писателей, он сказал мне, что я единственный из современных критиков, который понимает и признает значение акмеизма как нового поэтического направления, и что я мог бы стать «Сент-Бёвом» этого направления <...> Я отшутился, сказав, что для того, чтобы быть Сент-Бёвом, нужно иметь в своем распоряжении «понедельники» (критические статьи С.-Б. выходили каждый понедельник в одной известной парижской газете <...>, а у нас в то время с печатанием было очень слабо!)<sup>61</sup>

Ср. рассказ Иосифа Бродского:

Гумилев мне не нравится и никогда не нравился. И когда мы обсуждали его с Анной Андреевной, я — исключительно чтобы ее не огорчать — не высказывал своего подлинного мнения. Поскольку ее сентимент по отношению к Гумилеву определялся одним словом — любовь. Хотя я и не скрывал, что, с моей точки зрения, стихи Гумилева — это не бог весть что такое. Помню довольно длинный разговор с Ахматовой про микроскоп Гумилева, который к моменту его ареста и расстрела начал стабилизироваться, становиться его собственной мифологией. Совершенно очевидно, что уж кто был убит не вовремя — так это Гумилев. Что-то в этом роде я Ахматовой и сказал. Уже после смерти Анны Андреевны я прочел четырехтомник Гумилева,

выпущенный в Соединенных Штатах. И не переменял своего мнения. Помню, я в те дни зашел к Жирмунскому. И говорю ему: «Вот, Виктор Максимович, я получил книжки, которые могут быть вам любопытны: полное собрание сочинений автора». Автора я не называю и продолжаю: «Мне он не очень интересен, но вам, быть может, понадобится для каких-нибудь академических разысканий. Так что я могу вам совершенно спокойно эти книжки отдать». Жирмунский говорит: «Это кто ж такой?» Я отвечаю: «Вы знаете, мне неловко, но это четыре тома Гумилева». На что Жирмунский мне: «Здрасьте! Я еще в 1914 году говорил, что Гумилев — посредственный поэт!»<sup>62</sup>

Полемическим откликом вписал себя в ряды активных гумилевских читателей поэт Иван Васильевич Грузинов, поспорив со стихотворением «Христос сказал: убогие блаженны...» своим «В ответе» (1913):

Так, Беатриче стала проституткой.  
Но не Христос повинен в этом, верю.  
Христос сказал: вино и хлеб примите;  
Любите лилии, любите птиц небесных.

А мы, сквернящие родную Землю,  
Лишь торгаши бездарные, не боле.  
Мы взвешиваем силы человека.  
Миры хотим измерить и исчислить.

И может ли для нас Земля вновь стать благоуханной?  
И первозданной красотой светиться Небо?<sup>63</sup>

Александр Петрович Дехтерев (1889–1959) — поэт, издавший в Вильно сборник стихов «Неокрепшие крылья» (1906), один из создателей русского бойскаутизма, эмигрант, репатриант, с 1956-го до смерти — архиепископ Виленский и Литовский Алексей<sup>64</sup>. 6 июня 1916 года он записал в дневнике:

Колчан Гумилева ниже его Жемчугов... Мнится, что никогда уже Кузмин не создаст вторых «Сетей» и Гумилев — вторых «Жемчугов»<sup>65</sup>.

К 1938 году относится его необработанное стихотворение:

Мы знаем множество слов,  
Открывающих райские двери...  
Одно из них — Гумилев,  
В нем — как боги — и люди, и звери...

И жемчуг-слово в плену  
У меня, у тебя, у любимой...  
Мы ждем, мы верим в весну —  
В этот зов конквистадора мнимый.

Чужое небо — в душе,  
Как неправда и как сновиденье...  
Сегодня мы знаем уже,  
Что за далью бывает паденье.

Встает перед нами шатер  
В голубой африканской пустыне...  
И пляшет веселый костер  
В своей исступленной личине.

А там... снеговейущий стан  
И колчана поющие стрелы.  
Вдали течет Иордан  
В ароматных коронках омелы.

[Вот — все. О конце не могу...  
В эту ночь тишине послужу я.  
Зимой, на враждебном лугу  
О последней любви расскажу я].

В постскриптуме к стихотворению добавлено:

Поэты, живите, как он,  
Идите воинственным строем...  
Поэт Гумилев — это сон,  
Увиденный юным героем<sup>66</sup>.

Читателем был и не успевший состояться как поэт Виктор Васильевич Журин (1893–1919), студент юридического факультета Казанского университета, погибший подпоручиком армии Колчака под Челябинском. Он посвятил Гумилеву стихотворение в казанском альманахе «Флейты осени» (1914)<sup>67</sup>.

Неуклюжая попытка писать, «как Гумилев», встречает нас в следующей его публикации:

Я — чужеземец в этом мире,  
я всех простил — меня простят.  
Грядущий день звончей и шире  
Сегодня, близкого в закат.

Моя дорога — к новым граням,  
Где светлый расцветет псалом.  
На Божбе Солнце утром взглянем —  
И мы под огненным крылом.

Отраден отдых после бури  
И пристань, и корабль в порту,  
Но сердце тянется к лазури  
За горизонтную черту.

Все, что увижу, мне родное,  
И дали ближе и ясней,  
В сжигающем истомой зное  
Слежу за сменой легких дней.

И на пути моем богатом,  
Считая миги встреч-разлук,  
Я никому не буду братом,  
Но каждому я — верный друг<sup>68</sup>.

Читателями, вернее, слушателями и стихов Гумилева, и его теорий стихосложения были поэты-пролеткультовцы:

При Петроградском комитете организуется литературная студия, где наряду с марксистами преподают: Андрей Белый и расстрелянный впоследствии за контрреволюцию поэт Гумилев<sup>69</sup>.



Эти читатели-слушатели тоже были по-своему весьма активны, как это явствует из записи Корнея Чуковского от 10 апреля 1920 года:

Гумилев имел успех. Особенно аплодировали стихотворению «Бушменская Космогония». Во время перерыва меня подзывает пролеткультский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультцами:

— Вы заметили?

— Что?

— Ну... не притворяйтесь... Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?

— Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать...

— Не притворяйтесь, К.И. Аплодируют, потому что там говорится о птице...

— О какой птице?..

— О белой... Вот! Белая птица. Все и рады... здесь намек на Деникина.

У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал:

— Там у Гумилева говорится: «портрет моего государя». Какого государя? Что за государь?<sup>70</sup>

Речь шла о стихотворении «Дамара. Готентотская космогония»:

Человеку грешно гордиться,

Человека ничтожна сила:

Над землею когда-то птица

Человека сильнее царила.

<...>

А священными вечерами

Над высокими облаками,

Поднимая голову, пела,

Пела Богу про Божье дело.

<...>

А вот перья, что улетели

Далеко в океан, доселе

Всё плывут, как белые люди;  
И когда их довольно будет,

Вновь срастутся бывшие части  
И опять изведают счастье.  
В белых перьях большая птица  
На своей земле поселится<sup>71</sup>.

Действительно, символику белых птиц можно найти в стихах поэтов, воевавших на другой стороне — скажем, у Юрия Сопова (не говоря уже об отождествившей себя с добровольцами Мариной Цветаевой):

Сломлены крылья орлиные —  
В яростном диком бою...  
Грудь прокололи мою...  
Песню свою лебединую  
Я, умирая, пою...

Светлой тоской о несбывшемся,  
Жаждой смертельного сна  
Пусть заражает она,  
Чтобы на смену разбившимся  
Новая встала стена.

Чтобы борцы оробелые  
Злой не боялися мглы,  
Были горды и смелы:  
Чтобы все лебеди белые  
Гибли в бою, как орлы...<sup>72</sup>

Как всегда, несбыточна цель поименно назвать всех рядовых из первого призыва гумилевских читателей и читательниц, но мы можем предположить, что к последним относились поэтессы и прозаики, в какое-то время связанные с Гумилевым близким знакомством.

Так, Ахматова называла в числе адресатов его лирики, говоря о стихотворении «Жестокой», попавшем на зуб текущей критики<sup>73</sup>, — «какая-то лесбийская дама, не то В. Яровая, не

то Паллада»<sup>74</sup>. Как сообщил нам О.П. Ефимов, внук Веры Николаевны Кудрявцевой (1884–1942?), писавшей под псевдонимом «Вера Яровая»<sup>75</sup>, после революции она преподавала французский в начальной школе; «В эвакуации в Миассе во время войны, в голод, пошла собирать грибы и пропала».

Можно назвать и поэтессу, переводчицу Анри де Ренье, актрису Веру Вертер (позже — первую жену Бенедикта Лившица). Это псевдоним киевлянки Веры Александровны Арнгольд-Жуковой (1881–1963), кузины Б.Н. Бугаева (осенью 1914-го ей посвящал стихи Игорь Северянин). Существует инскрипт на «Романтических цветах»: «Вере Александровне Арнгольд-Вертер в знак уважения автор»<sup>76</sup>. Нам известно в копии сообщенное нам Александром Парнисом письмо Гумилева к ней, относящееся к 1908–1910 годам:

Многоуважаемая Вера Александровна,  
бесконечно благодарю Вас за очаровательнейший вечер моей жизни и очень прошу простить мой ворчливый тон в конце. Я в нем сильно раскаяваюсь <так>. Очень хотелось бы встретиться еще раз с моей «Прекрасной Дамой», но предполагаю, что Вы недовольны моим поведением на извозике и не смею себе позволить поймать Вас на слове и быть у Вас сегодня вечером.

Не откажите в прощеньи и в разрешеньи заочно поцеловать Вашу руку

всегда преданному Вам

Н. Гумилеву

Царское Село, Бульварная, д. Георгиевского

Простите, если неверно пишу Вашу <так> фамилию.

К заинтересованным читательницам, безусловно, относились три сестры Аренс: Вера<sup>77</sup>, Зоя<sup>78</sup>, Анна, их брат Лев<sup>79</sup> (и их кузина Лидия). Биолог Лев Евгеньевич Аренс (1890–1967) гордился тем, что помянул Гумилева в «годы безвременщины» (как назвал свою советскую жизнь Борис Пастернак):

«Есть Моисеи посреди дубов,  
Марии между пальм... их души, верно,  
Друг другу посылают тихий зов  
С водой, струящейся во тьме безмерной».

Так поэт воспевал дивную красоту и величие дерев. Сень вековых дубов невольно навевает мысли о мощном былом великолепии лесов, кормильцев наших предков. <...>

Главной породой является дуб, в составе которого значительно преобладает поздно цветущая разновидность: Петровский или поздний дуб, или еще иначе зимняк. Лишь в одном овраге VII квартала командуют над дубом два царственных ясеня, однолетки наиболее старым дубам, коим насчитывается около 250 лет. Ажурная более светлая листва этих гигантов замечательно сочетается с темной зеленью покоренных ими соседних дубов, которые, по выражению Веры Аренс

«Как на картине Рюисдаля  
Чернеют старые дубы.  
Над ними небо цвета стали  
Чуть голубеющей воды»<sup>80</sup>.

Ближайший друг его по Царскому Селу Николай Пунин тоже был придирчивым читателем Гумилева:

Я любил его молодость. Дикое дерзкое мужество его первых стихов. Париж, цилиндры, дурная слава, Гумилев, который теперь так академически чист, так ясен, так прост, когда-то пугал — и не одних царскоселов — жирафами, попугаями, дьяволами, озером Чад, странными рифмами, дикими мыслями, темной и густой кровью своих стихов, еще не знавших тех классических равновесий, в которых так младенчески наивно спит, улыбаясь, молодость. Он пугал... но не потому, что хотел пугать, а от того, что сам был напуган бесконечной игрой воображения в глухие ночи, среди морей, на фрегатах, с Лаперузом, Да Гамой, Колумбом — странный поэт, какие должны в нем тлеть воспоминания, какой вкус на его губах, горький, густой и исчезающий...<sup>81</sup>

\* \* \*

Ахматова не раз утверждала, что у Гумилева до смерти не было никакой славы:

Ахматова говорила мне, что Гумилев очень бы удивился, узнав, что его имя так популярно. Он никогда не был поэтом, которого читают<sup>82</sup>.

Добро Глебу Струве утверждать, что Г<умилев> прославился после «Жемчугов» (1910) и его (Глебины) товарищи по ком<мерческому> училищу зачитывались «Капитанами». Сам поэт прекрасно знал, что такое лит<ературный> успех и еще лучше знал, что успеха не имел. В 1918 г. он писал Лоз<инскому> из Лонд<она>, чтобы тот купил его книги (кажется, «Чуж<ое> небо», П., 1912) и послал ему, уверенный, что их можно достать в любой кн<ижной> лавке<sup>83</sup>.

Свидетельство Ахматовой могло опереться на журнальную заметку:

Поэту Гумилеву понадобился недавно экземпляр его нового сборника стихов «Колчан», напечатанного месяца два тому назад.

Обратился поэт в ближайший книжный магазин, спрашивает:

- Есть у вас «Колчан» Гумилева?
- Никак нет-с. Распродано.
- Неужели распродано?
- Совершенно распродано.
- И в других книжных магазинах нет?
- Нигде нет.

Улыбнулся автор. Пошел в другой книжный магазин: тот же ответ.

Отправился в третий магазин. Там приказчик порылся по полкам, спросил «старшего» и, наконец, ответил:

- Нету-с; распродано.
- У вас распродано или вообще распродано? — поинтересовался автор «Колчана», не выдавая своего «инкогнито».
- Совсем распродано, — решительно заявил приказчик.

Такой же ответ дали Гумилеву еще в двух книжных магазинах.

— «Вот так успех! Я этого и не ожидал!» — подумал поэт и направился к тому книгопродавцу, которому он отдал все издание на склад немедленно по отпечатании.

— Как же это вы не известили меня, что все экземпляры моего «Колчана» распроданы?— начал он с упреком. — Я бы прискупил к новому изданию.

— Как распроданы!!! — воскликнул книгопродавец. — Посмотрите: здесь на полках у меня сколько экземпляров, а в кладовой еще сколько сотен. Можете проверить.

— Как же так? Мне в пяти книжных магазинах ответили, что моя книга распродана.

Книгопродавец улыбнулся.

— Это обычное у нас явление: когда в каком-нибудь книжном магазине не находится налицо той или другой книги, то покупателю отвечают «распродано». Но из десяти случаев — в девяти врут. Вы никогда не верьте, когда вам скажут, что та или иная книга распродана. Просто приказчикам лень ее искать...

Случай с «Колчаном» Гумилева не исключительный. Такие факты бывают сплошь и рядом<sup>84</sup>.

Но при этом Ахматова делала одну оговорку:

— Его ведь тогда в Петербурге мало знали, то есть знали очень хорошо, но только в самом узком кругу. Вожди, конечно, и имени его не слыхивали, об этом нечего и говорить. А читатели — только интеллигенция, узкий петербургский круг. Не спорьте, я вооружена: ни одна книга его не была переиздана. Николай Степанович был человек очень деловитый; если бы он мог — он добился бы переиздания. Но не мог. О нем не появилось ни одной статьи. Правда, на юге существовала его школа; но до Петербурга еще не дошла. Слава ждала его через несколько дней<sup>85</sup>.

«Школа на юге» достойна отдельного изучения, как и вообще очаги возгорания гумилевского культа по городам и весям Евразии и обеих Америк<sup>86</sup> по мере становления литературной самоидентификации местных поклонников и перемещения столичных, будь то Париж<sup>87</sup>, Харбин<sup>88</sup> и Шанхай, Брюссель<sup>89</sup>, Прага<sup>90</sup>, Варшава<sup>91</sup>, Белград, Рига<sup>92</sup>, Вильнюс<sup>93</sup>, Каунас<sup>94</sup> и другие места.

В другой раз Ахматова говорила Нике Глен:

Прижизн<енной> славы не было, вернее была — но — Рос<сия> была перерез<ана> фронт<ами>(южн<о>-р<усская> шк<ола> — Шенг<ели>, Багр<ицкий>— неск<олько><sup>95</sup>.

Про Эдуарда Багрицкого, уже после появления первых его стихотворений в одесском альманахе «Серебряные трубы», забытый поэт Сергей Богомолов (харьковский корреспондент Блока в 1912–1914 годах) писал:

В его экзотике чувствуется влияние русского парнасца Н. Гумилева<sup>96</sup>.

Знавший Багрицкого со школьных лет Б.Б. Скуратов свидетельствовал (в записи не совсем осведомленного работника Института мозга): «Очень сильное впечатление произвели на него “Жемчуга” и “Капитаны” Гумилева и “Кипарисовый ларец” Иннокентия Анненского. Читал эти стихотворения и другим товарищам»<sup>97</sup>, а Валентин Катаев вспоминал о литературном вечере 1914 года:

Он согнул руки, положил сжатые кулаки на живот, как борец, показывающий мускулатуру, стал боком, натужился, вскинул голову и, задыхаясь, прорычал:

— «Корсар»!

Он прочел небольшую поэму в духе «Капитанов». В то время я еще не имел понятия о Гумилеве, и вся эта экзотическая бутафория, освещенная бенгальскими огнями молодого темперамента и подлинного таланта, произвела на меня подавляющее впечатление силы и новизны»<sup>98</sup>.

Если в записи Ники Глен недописанное последнее слово означает «несколько других», то из ранних представителей «Юго-Запада», как назвал эту школу Виктор Шкловский, укажем, например, на Исидора Бобовича — рецензент одесского сборника назвал именно его:

Бабович <так> перепевает Гумилева, но местами говорит собственным языком, неожиданно раскрывая свои впечатления, переплетенные ударными и полновесными образами<sup>99</sup>.

Толчком для суждения о перепевах, видимо, в первую очередь было стихотворение «Искатели жемчуга», неизвестным

для автора образом совпавшее по теме с одноименным стихотворением Гумилева, оставшимся на 80 лет погребенным на альбомных страницах<sup>100</sup>, насыщенное отголосками «Капитанов» («Мы с добычей на берег отлогий / Направляем стремительный путь» и «Кто иглой на разорванной карте / Отмечает свой дерзостный путь»), как, впрочем, и напечатанного в газете блоковского «Соловьиного сада» («Мы ныряем за ценной добычей / В час отлива на зыбкое дно» и «Я ломаю слоистые скалы / В час отлива на илистом дне»):

Утомительный берег покинув,  
Где, как пена на зыби шелков,  
Лишь белеют шатры бедуинов  
Средь гонимых самумом песков,  
Табак контрабандного вьюки  
В переполненный трюм погрузив,  
Мы на палубе старой фелуки  
Отплываем в Персидский залив.  
И на мелях с покорностью бычьей,  
Где свиваются гады в звено,  
Мы ныряем за ценной добычей  
В час отлива на зыбкое дно.  
Под пылающим солнцем полудня  
Берегитесь на мелях, пловцы:  
Восемь ног кровожадного студня  
Простирают к добыче сосцы.  
Там икру свою мечет акула  
Между мшистых подводных камней,  
Где ржавеют мортирные дула  
Наскочивших на риф кораблей.  
И когда под луной меднорогой  
Отдохнет истомленная грудь,  
Мы с добычей на берег отлогий  
Направляем стремительный путь.  
И потом, как быки у цистерны,  
Позабывши жемчужную мель,  
Поглощаем под кровлей таверны  
Мы гранеными кружками эль.



Мы ложимся на мягкое ложе,  
Опершись на плетеный камыш,  
И приносит индус темнокожий  
Нам в дымящихся трубках гашиш.  
Там бенгалька в малиновой феске  
Обнажает кривой ятаган  
И танцует под мерные всплески  
Нарумяненных рук персиян.  
И сжимая под кожей ребра,  
Как смоковница в пьяном костре,  
Извивается смуглою коброй  
На зеленом Кашгарском ковре.  
И колеблется пламенем синим  
Перетянутый поясом стан,  
И тоскуют по желтым пустыням  
Звуки труб и глухой барабан.  
И когда европеец неловкий  
Разорвет ее красную шаль,  
Мы встаем, негодуя с циновки,  
Обнажая дамасскую сталь<sup>101</sup>.

Стихотворением à la Гумилев мог бы сочтен и бобовичский «Гомер»:

До вечерней зари после пира  
Не расходится шумный народ,  
И в золе от разлитого жира  
Все шипит золотистый налет.  
Но угрюмый певец из Кимеи  
Не хмелеет от пенистых вин,  
И скользят, как извивные змеи,  
По челу его нити морщин.  
И от слез, и от едкого пепла,  
И от дыма чужих очагов  
Под седыми бровями ослепла  
Побелевшая влага зрачков.  
С острым запахом козьего сыра  
С дымных пастбищ пришли пастухи,

Чтоб пропела кимейская лира  
Мощью струн золотые стихи.  
И оставили пестрые вьюки  
И канат, заплетенный в узлы,  
Моряки, чьи могучие руки  
Почернели от бурь и смолы.  
Уж вино на остатки курений  
Льют из бронзовой чаши рабы,  
И горят предвечерние тени  
Сквозь залитые кровью столбы  
На обугленном лбу рудомета  
И на пыльном плаще пастуха —  
От земли, золотой от помета,  
И от скал, поседевших от мха.  
— «Бросим крик в побледневшее небо,  
Чтобы в честь Оленийской Козы  
Зачерпнула веселая Геба  
Алый сок виноградной лозы.  
Чтоб, устав от тяжелого зноя,  
В холод вод погрузив языки,  
На помятой траве водопоя  
Наслаждались прохладой быки,  
Чтобы каплями светлого меда —  
Даром пчел из заросшего пня —  
Были вещи песни рапсода  
В тихий час у святого огня»<sup>102</sup>.

Гумилевское влияние можно было бы усмотреть и в более ранних стихах Бобовича — например, в сонете «Первый корабль»:

Мы долго тяжелые бревна  
Сбивали в крутые борта,  
У рей привязали неровно  
Просмоленный угол холста.

Фетиш покровителя-бога  
Был к черному носу прибит.

На два раззолоченных рога  
Повесили бронзовый щит.

Обмазавши жертвенным салом  
Ремнями скрепленный каток,  
Корабль по обветренным скалам  
Мы молча свезли на песок,

Но на берег выброшен валом  
Был лишь кипарисовый бог<sup>103</sup>.

К концу 1910-х<sup>104</sup> влияние Гумилева было буквально разлито в одесском воздухе<sup>105</sup>, наряду, конечно, с почитанием других кумиров обеих столиц:

Мы многое в душе таили  
И многому научены.  
Случайной радостью сходили  
К нам Блока голубые сны,  
Нам Маяковский лирой шумной  
Пел мир горящий и безумный,  
И много экзотичных слов  
Вотще рассыпал Гумилев, —  
И Северяниным одета  
В наряд Пакэновский, смела,  
К нам муза дерзкая пришла...<sup>106</sup>

Конечно, надо назвать В. Катаева, уже прочитавшего Гумилева к 1920 году, в одесском рассказе которого (напечатан в 1922-м) происходит мотивированная лихорадочным бредом встреча двух культовых для русского подростка текстов, «Капитанов» с «Островом сокровищ»:

Наступила ночь. Луна прыгала в черных тучах, волны с грохотом били в корабельные доски. Ванты скрипели, огни святого Эльма голубыми языками мерцали на реях, сэр Генри неподвижно стоял, раскачиваясь вместе с рубкой, на фоне черного неба, а голоса пиратов не смолкали, в тысячный раз повторяя:

Но в мире есть иные области,  
 Луной мучительной томимы.  
 Для высшей силы, высшей доблести  
 Они навек недостижимы.  
 И дружным криком заканчивали:  
 Пьянство и черт сделали свое дело!  
 Пятнадцать человек на ящике мертвеца.  
 Йох-хох-ох, йох-ох-ох  
 И бутылка рому<sup>107</sup>.

а чуть позднее про катаевские стихи современница (ученица Гумилева) говорила:

Честные акмеистические стихи В. Катаева напоминают Гумилева, сдобренного Пастернаком<sup>108</sup>.

В годы междоусобицы, когда «разбухали», по слову Виктора Шкловского, провинциальные центры, имя Гумилева звучало и в Харькове<sup>109</sup>, и в Киеве<sup>110</sup>, и, вероятно, в Баку<sup>111</sup>, где, помимо Сергея Городецкого, некоторое время был активен в литературной жизни друг Гумилева Михаил Струве<sup>112</sup>, и в белой Перми<sup>113</sup>.

Но славы, блоковской славы, не было.

- 1 См.: Тименчик Р.Д. Подземные классики: Иннокентий Анненский; Николай Гумилев. М., 2017. С. 477–478, 511–512.
- 2 Рассказывалось, например, что поэт еще до расстрела покончил с собой (*Гардзонио С.* По поводу «Панорамы современной русской литературы» Алексея Алымова (Б.Н. Ширяева) // Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции / Под ред. А. Данилевского, С. Доценко и Ф. Полякова. Frankfurt/M, 2016. S. 241), что в тюрьме перед казнью он написал «Заблудившийся трамвай» (*Goriely, Benjamin.* Les poètes dans la révolution russe. Paris, 1934. P. 21) или стихотворение «Память» — «перед смертью в Чрезвычайной Комиссии, после раскрытого заговора написанная исповедь Гумилева» (*Рожницын В.* Записки мертвых // Грядущий мир (Харьков). 1922. № 1. С. 109). Или (спутав, вероятно, с Я.С. Аграновым): «расстрелянном Гумилеве (кото-

рого, кстати сказать, по слухам допрашивал небезызвестный литератор и чекист, “формалист” Осип Брик, друг Маяковского)» (Гуль Р. Одвуконь. Нью-Йорк, 1967. С. 308).

«Мне приходилось слышать за достоверное, что Гумилев был “офицером Генерального Штаба”, “резидентом российской разведки во Франции”, “разведчиком международного класса”, доставившим в Петербург “завещание абиссинского негуса”, по которому Абиссиния отходила после его смерти российской короне (по-видимому, в результате ошибочного отождествления с ним героя повести В. Каверина “Большая игра”), и многое другое. Что же касается его трагической смерти, то последнюю объясняли столкновениями Гумилева с Зиновьевым на романтической почве, происками западных разведок...» (Никитин А.Л. Неизвестный Николай Гумилев: исследование и стихи. М., 1996. С. 5). В антологии Жака Давида в жены Гумилеву была определена числимая в живых (умерла в 1934 году) поэтесса Любовь Столица, «наряду с Анной Ахматовой одна из наиболее даровитых современных русских поэтесс» (Anthologie de la Poésie Russe 1900 a nos jours / Choix, traduction et commentaires de Jacques David. Paris. 1948. P. 96). Мифологизация биографии через мотивы поэзии продолжалась все советское и постсоветское время. Так, Алла Андреева, вдова Даниила Андреева, вспоминала: «Помню, как Даниил сияющий вернулся из Ленинской библиотеки, где читал нужные для работы материалы. Он нашел реку, названную в честь Гумилева. Николай Гумилев был любимым его поэтом и любимым образом поэта» (Андреева А.А. Плавание к Небесной России. М., 2004. С. 134). Д.Л. Андреев, таким образом, нашел подтверждение монологу героя стихотворения «У камина»:

«Древний я отрыл храм из-под песка,  
Именем моим названа река...»

Гумилеву приписывали чужие стихи: «Так именно ощущают будущее все, верящие в воскресение сильной своей духовной мощью России. Неверующим мы напомним прекрасные слова русского поэта Гумилева, столь гармонирующие с молитвой Масарика:

Не верь, что неслышанным горем  
Россия дотла спалена:  
То волны бушуют над морем,  
Но дремлет его глубина

(Кускова Е.Д. Томаш Гарриг Масарик и русская интеллигенция// Современные записки. 1930. № 42. С. 112); «Поэзия Гумилева очень созвучна настроениям русской эмиграции. Тем, кто много скитался, подвергался опасностям и привык больше ценить свободу духа, чем тленную оболочку жизни, — стихи Гумилева и понятны, и близки. Они отражают их собственные настроения и наполняют их души успокаивающею примиренностью:

Не верь, что неслыханным горем  
Россия дотла спалена:  
То волны бушуют над морем,  
Но дремлет его глубина»

(Гинс Г.К. Гумилев и Ахматова// День русского ребенка. Юбилейный вып. XV-ый. Сан-Франциско, 1948. С. 65).

В основе этих мелких мифов часто лежит простая ложь. Л. Горнунг записывает в дневнике: «Оказывается, Городецкий говорил (неизвестно, насколько это верно, т.к. Городецкий способен на вранье) ему (Арсу <А.А. Смирнову-Альвингу>), что, узнав об аресте Гумилева, помчался в Москву и достал через одну знакомую у Ленина разрешение перевезти Гумилева из Петербурга в Москву же, но Зиновьеву дали знать сейчас же об этом разрешенье, и он приказал ускорить расстрел» (подготовлено к печати Т.Ф. Нешумовой).

См. также: *Самохвалова Я.В.* Функционирование гумилевского мифа в русской литературе XX–XXI вв.// Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. Сер. «Филологические науки». 2011. № 5(59). С. 119–122; *Самохвалова Я.В.* Специфика иерархии мифологем в биографическом мифе Н.С. Гумилева// Известия Волгоградского. гос. пед. ун-та. Сер. «Филологические науки». 2011. № 10(64). С. 119–122.

- 3 Выражение из стихотворения Владимира Корнилова о Гумилеве. По этой теме см.: *Мартынов И.Ф.* Киплинг и Гумилев — поэты двух империй: К вопросу о судьбе поэтического наследия Р. Киплинга в России// Вестник русского христианского движения. 1987. № 151. С. 166–189. *Hodgson, Katherine.* The poetry of Rudyard Kipling in Soviet Russia// *Modern Language Review.* Vol. 93. № 4. 1998. P. 1058–1071.

Сближая Гумилева с Киплингом, Н. Асеев вопрошал: «Не этому ли стремлению руководить судьбами своего народа, участвовать в дальнейших этапах развития страны обязан Гумилев своей гибелью?» (*Асеев Н.* Работа над стихом. Л., 1929.

- С. 16). Очевидное сближение входило с разными оттенками в социалистический канон: «Какая-то фельдфебельская ограниченность чувствуется в его прославлении вождя, “императора”. Эта ограниченность особенно ярко выразилась в эпоху войны, в его прозаических “Записках кавалериста”, где он прямо гордился своей беспрекословностью и точностью в выполнении приказов начальства. В этом отношении Гумилев наследует традицию певца английского империализма Киплинга» (Волков А. Поэзия русского империализма. М., 1935. С. 133), но «здоровые устремления киплингговской поэтики — то, что в ней было совершенно недоступно хотя бы Н. Гумилеву» (Гутнер М. Поэзия Редьярда Киплинга // Литературный современник. 1935. № 7. С. 186). Вошедшее в набор основных клише о Гумилеве уравнение нуждалось в уточнениях: «Поэзия Гумилева, при внимательном взгляде на нее, поражает противоречием между беспощадной суровостью той жизни, которую она воспеваает, и женственной нежностью самого певца. Ничего подобного мы не найдем в творчестве, например, Киплинга, мужественного от начала до конца — на поле боя и на брачном ложе. Голос Киплинга звучит всегда в унисон с его темой — не только темой данного стиха, но и его темой вообще. Голос Гумилева иногда изменяет тематической интонации. Но в этом разное суровости и нежности, в тех диссонансах, которые здесь возникают, — быть может, все своеобразие и обаяние Гумилева» (Олев Ю. Николай Гумилев // За родину (Рига). 1942. 3 октября).
- 4 Темой «Гумилев и французская поэзия» занималась в 1925 году Ахматова. Сохранились ее конспективные выписки:

«Готье (стр. 203. Как золотая грива льва) [*«Дворец воспоминаний»*, перевод Н. Гумилева] — (С львиной гривой поэт [Н. Гумилев. *Старая дева*]), м.б. Старая дева, Почтовый чиновник, слегка чувствуется в итал. стихотв. (Болонья).

La frégate “La sérieuse” [*Альфред де Виньи. «Фрегат “Серьезная”, или жалоба капитана»*] — Капитаны. Огни святого Эльма светятся (où le feu Saint-Elme a lui), пенителей моря [*«Капитаны. IV: «Для смелых пенителей моря»*] (écumeur de mer) [*Un écumeur de mer, un forban, un pirate*] (сравнить перебои ритма).

Le Déluge [*Альфред де Виньи*] (Потоп, 1826) (Лесной пожар и Сон Адама 09 весна)

La Somnambule [*Альфред де Виньи*] (Избиение женихов)

1909 Alfred de Vigny

О Леконте де Лиле в письме к Брюсову 08

Елоа [Альфред де Виньи] (ангел лег [акростих Н. Гумилева «Анна Ахматова»]) и Орел (1909)

Dolorida [Альфред де Виньи] (Отравленный)»

(ИРЛИ. Коллекция П.Н. Лукницкого. Альбом VII-2; курсивом в квадратных скобках здесь — мои комментирующие вставки). Ср. также письмо Ахматовой Н.Н. Пунину от 12 августа 1925 года: «Ночью с превеликой неохотой читала Бодлера: ученичество у него Гумилева для меня несомненно. <...> хотелось бы успеть посмотреть Леконт де Лиля и Виньи» (Пунин Н. Мир светел любовью: Дневники. Письма / Сост., предисл. и комм. Л.А. Зыкова. М., 2000. С. 254–255).

- 5 Олев Ю. Николай Гумилев // За родину (Рига). 1942. 3 октября. Предположение об авторстве этой статьи: «Уместен вопрос о том, сотрудничал ли Ю. Галь в “Северном слове”? Вполне возможно, но под псевдонимами. Например, там печатались стихи военнопленного солдата Юрия Олева “Ленинград” и “Возле Кавголовского озера. Стихи военнопленного солдата”. Как будто все сходится — Галь был военнопленным из Ленинграда, Кавголовское озеро тоже находится в Ленинградской области, к тому же имя совпадает — Юрий, а в псевдониме Олев столько же букв, как и в фамилии Галь» (Пономарева Г.М., Шор Т.К. Русская печать и культура в Эстонии во время Второй мировой войны (1939–1945). Tallinn, 2009. С. 119). О Юрии Владимировиче Гале (1921–1947), скончавшемся в советском инвалидном лагере для туберкулезников, см., напр.: Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) / Сост. Р. Тименчик и В. Хазан. СПб., 2006. С. 620–621; воспоминания о его советском заключении: «Юра и Соня Спасская [С.Г. Каплун-Спасская] уже сидели на краешке нижних нар и наперебой наизусть читали стихи Мандельштама» (Милютин Т.П. Люди моей жизни / предисл. С.Г. Исакова. Тарту, 1997. С. 237).
- 6 Ср. позднейшее замечание весьма квалифицированной читательницы: «Меня всегда удивляло, что люди не замечали его полной поработченности экзотической поэтикой француза Леконта де Лилля. Редко когда в такой мере один художник так много подражает другому. <...> Кстати, не похож ли на Гумилева безмянный корсар, воспетый полузабытым испанцем Хосе Эспронседой: “Неся громоносные жерла, / По двадцать на каждом борту, / Широкие ветры морские / Ловя в паруса на лету, / Как чайка, летит бригантина, / Чье имя ‘Отвага’ гремит / От вечно живого Марсея / До вечной страны пирамид. / Как в зер-



- кало, смотрится в море, / О чем-то мечтая, луна. / Дитя серебра и лазури, / Плывет под луною волна. / На Азию смотрит Европа, / Стамбул восстает сквозь туман. / На палубу с песней выходит / Бесстрашный корсар-капитан...» (Козловская Г.Л. Шахерезада: Тысяча и одно воспоминание. М., 2015. С. 218–219; вероятно, стихотворение Хосе де Эспронседа, «испанского Лермонтова», цитируется по книге Теодора Шумовского «Арабы и море. По страницам рукописей и книг» (М., 1964. С. 114–115).
- 7 Об «усилении леконт-де-лилевского элемента» у себя Гумилев писал Брюсову из Парижа 14 июля 1908 года (Литературное наследство. Т. 92, кн. 2. М., 1994. С. 480); «АА думает, что на изучение, на чтение, на знание Леконта де Лиля Николая Степановича натолкнул Анненский» (Лукницкий П.Н. Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. Париж, 1991. С. 296); ср.: Островская Е.С. Французские поэты в рецепции И. Анненского. Ш. Леконт де Лиль // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. 2005. № 5. С. 22–37). См. свидетельство Н. С. Войтинской, относящееся к 1909–1910 годам: «[Гумилев] был увлечен парнасцами, знал наизусть Леконта де Лиля, Эредиа, Теофиля Готье» (Лукницкая В.К. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 101); об отношении Вяч. Иванова к парнасцам в 1910-е, окрашенном противостоянием с Гумилевым, см.: Корецкая И.В. Вячеслав Иванов и «Парнас» // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 273–291.
- 8 «Да и гиппопотамы Н. Гумилева никого не удивляют новизной, после великолепных “Слонов” Леконт-де-Лиля» (Львов-Рогачевский В. Символисты и наследники их // Современный мир. 1913. Кн. 7; цит. по: Акмеизм в критике (1913–1917) / Сост. А. Чабан и О. Лекманова. СПб., 2014. С. 253); «И в этой книге [«Колчан»], несмотря на новые формальные успехи и на новую внутреннюю сосредоточенность, поэт остался верен той “неподвижности”, которая была свойственна Готье, Леконт де Лилю или Эредиа» (Чулков Г. Поэт-воин (1916) // Гумилев Н. Незданное и несобранное / Сост., ред. и комм. М., Баскер и Ш. Греем. Paris, 1986. С. 205; Н.С. Гумилев: Pro et contra. Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2000. С. 452); ср.: «Чулков напомнил АА, что свою статью о “Колчане” он не напечатал, потому что она ему запретила. На мой вопрос: “Почему Вы запретили?” — АА ответила, что считала статью плохо написанной» (Лукницкий П.Н. Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой.

Т. II. Париж–М., 1997. С. 61); «История развития этого таланта начинается с махрового эстетизма, воспитанного на французских “парнасцах”, “непогрешимых” Леконте де-Лиле, Эредиа...» (*Бобров С.* Рец. на: Огненный столп. Пг., 1921// Красная новь, 1922. № 3(7). С. 264). «Первая книга Гумилева, слабая, юношеская, подражательная, в которой он пытался эклектировать Брюсова в смеси с Леконт де Лилем и Теофилом Готье, — “Романтические цветы”, вышедшая, кстати, не в России, а во Франции, прошла совершенно незамеченной, ибо в ней он был чистым эпигоном умирающего символизма, чуть подрумяненного холодной изысканностью парнасцев» (*Лавренев Б.* Поэт цветущего бытия / Публ. Б.А. Геронимуса// Звезда Востока. 1988. № 3. С. 149). О влиянии Леконта де Лиль, Эредиа и Анри де Ренье см.: *Strakhovsky, Leonid I.* Craftsmen of the Word. Three Poets of Modern Russia: Gumilyov, Akhmatova, Mandelstam. Cambridge, 1949. P. 13. Затем к этой теме несколько раз возвращались в международной русистике.

- 9 *Ахматова А.* Записные книжки. М.; Torino, 1996. С. 625. Ахматова написала это в полемике с предисловием Глеба Струве к американскому собранию, где говорилось: «Брюсов правильно отмечал, что <...> “Н. Гумилеву часто не достаёт силы непосредственного внушения. Он немного парнасец в своей поэзии, поэт типа Леконта де Лиля...” <...> Сергей Соловьев говорил, что иногда у Гумилева “попадают литые строфы, выдающие школу Брюсова”, и тоже писал о влиянии на него Леконта де Лиля».

Говоря о «таких ручках», я полагаю, Ахматова имела в виду служилую компаративистику официального надсмотрщика за репутацией акмеизма:

«Гумилев подобно французскому парнасцу Леконт-де-Лиле уделил много внимания восточной экзотике. Не только в поэзии, но и в биографиях этих людей есть немало общего. Вождь “Парнаса” не только много писал о Востоке, но много путешествовал по колониальным странам. Из личных наблюдений он внес в свою поэзию многочисленные картины экзотической природы — тропических лесов, джунглей с их обитателями — тиграми, ягуарами, слонами, львами, пантерами. Все эти атрибуты экзотической поэзии Леконт-де-Лиль вошли также в стихи Гумилева. Русский поэт тоже много путешествовал по восточным странам. Он был в Египте, в Абиссинии, на Сомалийском полуострове. Но не только тематическое сходство бросается в глаза при чтении экзотических стихов этих

- двух поэтов. Воспевание звериной мощи, стихийных сил природы, противостоящих изнеженной светской жизни, характерно и для Леконт-де-Лиля, и для Гумилева. В стихотворении “Ягуар” Леконт-де-Лиль улавливает все тонкости поведения этого лесного хищника. Гумилев в одноименном стихотворении почувствовал сам себя “ягуаром”, сгорающим “от бешеных желаний”, ощутившим в сердце “пламя грозного пожара”, “в мускулах — безумье содроганий”. Недаром Гумилев в одном из стихотворений “грустит” о “холодном поэте” Леконт-де-Лиле, с которым он имеет так много общего. Но от своего французского предшественника Гумилев отличается резко выраженным империалистическим восприятием экзотики. Его влечет в восточные страны не только интерес к джунглям и ягуарам, но нечто гораздо более важное — *стремление к покорению диких племен, жажда владычества*. В стихотворении «Африканская ночь» поэт выступает в роли типичного империалистического колонизатора» (Волков А. Поэзия русского империализма. М., 1935. С. 131–132).
- 10 Олидорт Б. Рец. на: Гумилев Н. Костер. П. 1918 // Орфей (Ростов-на-Дону). 1919. № 1. С. 66; строки из сонета «Les montreurs» («Лицдеи» или «Показчики») в переводе И. Анненского: «Мне даже дальний гул восторгов ваших жуток, / Ужель заставите меня вы танцевать / Среди размалеванных шутов и проститутток?»).
  - 11 Гермес. 1923. № 3. С. 82; *Горнунг Б.В.* Поход времени. Кн. 1: Стихи и переводы. М., 2001. С. 44.
  - 12 См.: *Тименчик Р.Д.* Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы. Изд. второе, испр. и расшир. М, 2014. Т. 1. С. 187–188; Т. 2. С. 280–281; см. в «цеховом сонете» 1911–1912 годов: «Владимир Нарбут, волк заправский...» вслед стихотворению В. Нарбута «Волк» («Живу, как волк, в трущобе одичавший...»), «За гремучую доблесть грядущих веков...» Мандельштама и т.д.
  - 13 Переписка [В.Я. Брюсова] с Н.С. Гумилевым / Вступит. ст. и комм. Р.Д. Тименчика и Р.Л. Щербакова // Литературное наследство. Т. 98, кн. 2. С. 448; стихотворение вошло в сборник «Романтические цветы», на своем экземпляре которого Брюсов пометил против слов «мраморный грот»: «На озере Чад???» (*Пуришева К.* Библиотека Брюсова // Литературное наследство. Т. 27–28. М., 1937. С. 674).
  - 14 «Помню (когда уже мы с Ремизовым подружились), он, увидев Гумилева, прохаживающегося вдоль пайковой очереди в роскошной дохе, сказал тихонько, но выразительно: “Искусствен-

ный бродит жираф” (переиначив гумилевскую строчку “Изысканный бродит жираф”)» (*Книпович Е.* Об Александре Блоке: Воспоминания. Дневники. Комментарии. М., 1987. С. 12).

- 15 См.: «— Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил? — напоминает он. — Ну, а тебе известны эти строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв...

— Гумилев?

— Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо бы сказать: “И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими”. Ну, что-то в этом роде: “обняв” или “обнявшие”? Но “обнявшие колени” — ничего не видно, а “колени обняв” — сразу видишь позу...

— И у него на лице такое же озорное выражение, с которым он подкрадывался к спящей девушке, чтобы ее поцеловать...» (*Либединский Ю.* Современники. М., 1961. С. 125–126).

- 16 *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1988. С. 238.
- 17 *Хлебников В.* Неизданные произведения / Ред. и комм. Н. Харджиева, Т. Грица. М., 1940. С. 198–199, 424; то же: *Хлебников В.* Собр. соч. В 6 тт. Т. 3. М., 2002. С. 26, 426.
- 18 *Harris W.C.* The Wild sports of Southern Africa (1839); цит. по: *Spingale C.A.* The Book of the Giraffe. Boston, 1968. P. 92.
- 19 *Майн-Рид, капитан.* Охотники за жирафами: Роман. С рис. Риу. М., 1895. (приложение к журналу «Вокруг света». 1895. № 12). С. 55–56.
- 20 См. о подспудной метафоре в староегипетском языке, основанной на этимологической связи: «пророчествовать, возвещать, видеть и знать раньше других, как жираф» (*Goldwasser, O.* Prophets, Lovers and Giraffes: Wor(l)d Classification in Ancient Egypt. Wiesbaden, 2002. P. 5).
- 21 *Кравцова И.Г.* Н. Гумилев и Эдгар По: Сопоставительная заметка Анны Ахматовой// Н. Гумилев и русский Парнас: Материалы научной конференции 17–19 сентября 1991 г. СПб., 1992. С. 51–57.
- 22 *По Э.* Собрание сочинений. Т. 2: Повести и рассказы, притчи и сказки / Пер. М.А. Энгельгардт. СПб., 1896. С. 276–277.
- 23 Потом в «Леопарде» Гумилева появятся строки:
- У жирафьего колодца  
Я окончу жизнь мою.
- 24 *Эрь [Редер Г.М.].* Отголоски дня// Московский листок. 1913. 1 марта.

- 25 Подборку пародий на Гумилева см.: Русская литература XX века в зеркале пародии: Антология / Сост., вступит. ст., ст. к разделам, послесл., комм. О.Б. Кушлиной. М., 1993.
- 26 С.А.К. [Ковалевский С.А.]. Кальян: Стихи. Баку, 1923. С. 22. Сергей Александрович Ковалевский (1889–1975), геолог, студент петербургского Горного института.
- 27 Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах / Сост. Е.Б. Коркиной. М., 1999. С. 144.
- 28 Мочалова О. Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 107, 282.
- 29 Южная неделя. 1912. № 5. С. 12–13; Picador — Виктор Владимирович Круковский.
- 30 ИРАИ. Ф. 240. № 128, 204.
- 31 Эпиграф — строки из стих. «Возвращение Одиссея» (1910): «Пусть незапятнано ложе царицы, / Грешные к ней прикасались мечты» (*Гартевельд* М. Ночные соблазны. СПб., 1913. С. 19); о Михаиле Вильгельмовиче Гартевельде (1895 — ?) см. наши комментарии: Литературное наследство. Т. 92, кн.3. М., 1982. С. 153, 443. См. его автобиографию (1915): Русская интеллигенция: Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С.А. Венгерова. Т. 1. СПб., 2001. С. 284. В этой справке о себе он писал: «Я символист. Моя поэзия себе ставит целью духовное оправдание человека». В журнале «Гиперборей» его стихи были отвергнуты (*Тименчик* Р.Д. Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 150). Послереволюционная судьба его нам неизвестна. О цитируемом сборнике Рюрик Ивнев писал: «Сначала о недостатках, которых в книге, к сожалению, много. Главным минусом книги является необдуманное, неглубокое обращение со словами и образами. Часто, в ущерб смыслу и необходимости, автор берет слова исключительно, чтобы заполнить строчку. Большинство таких принятых слов только портят общее впечатление и оставляют какой-то неприятный осадок при чтении книги. Все эти “сады томительных цветов”, “все благостные боги”, “огнеяркие дни”, “солнечные мечты”, конечно, производят впечатление на восприимчивую душу Гартевельда, но если бы они преломились бы в его сознании в менее трафаретные образы, было бы лучше и для автора, и для читателей. Но все же в Гартевельде чувствуется, хотя и не совсем выявившаяся, восприимчивая душа поэта» (Златоцвет. 1914. № 10. С. 18; подпись: «Мак»).
- 32 См. его письмо П.Я. Заволокину (РГАЛИ. Ф. 1068. Оп. 1. Ед.хр. 166); ср.: *Масанов* И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей в 4 тт. Т. 4. М., 1960. С. 142), в част-

- ности, он рецензировал первый сборник В. Нарбута. Перечень его публикаций в журнале «Весна» (он здесь, видимо, неверно разделен на двух однофамильцев «Горцевых») см.: *Соболев А.Л.* Весна. Орган независимых писателей и художников: Аннотированный указатель содержания. М., 2012. С. 138; здесь, в частности, его посвящение Блоку: *Арго Н. [Файвишевич П.Б.]*. В степи. Ал. Блоку («Тянется пыльная лента дороги...»)// *Весна*. 1911. № 22. С. 9.
- 33 См.: *Спиченко Н.М.* Памяти П.Б. Горцева// *Невский библиофил: Альманах*. Вып. 7. СПб., 2002. С. 93–102; см. о нем как о коллекционере и авторе экслибрисов: *Минаев Е.М., Фортинский С.П.* Экслибрис. М., 1970. С. 75.
- 34 *Мизинов Н.* Смена зорь: Сборник лирики. Изд. 1-е. М., 1918. С. 13; ср.: «Рифмовать размеренные строчки еще не значит быть поэтом. Стихотворения Мизинова какие-то “беллетристические” картинки, эскизы, написанные хореем или ямбом, в которых есть типичные для юношества лирические “разочарованность и грусть”» (*З.* Рец. на: Мизинов Н. Смена зорь// *Понедельник Власти народа*. 1918. 13 мая / 30 апреля).
- 35 *Парус (Баку)*. 1919. № 1. С. 1. Строфы эти были обращены к Ахматовой. Отметим, что в литературном сознании эпохи присутствовало сближение героинь киноактрисы и лирической героини «Четок»:
- «Опустив глаза, она растерянно хлопала себя по руке длинными черными перчатками.  
Изорвала перчатки немодные,  
С криком страсти запахнула манто,  
Так играла Вера Холодная,  
Так теперь не играет никто, —
- прочитал Алексей.
- Что это? — недовольно спросила Надя. — При чем тут Ахматова?
- К тому, что вы играете, а играть могла только Вера Холодная. Вы должны быть естественной» (*Резникова Н.* Измена// *Рубеж (Харбин)*. 1934. № 51. С. 2–3).
- 36 *Барахович М.* Ночное небо: Стихи. Пг., 1917. С. 17. Ср. отзыв Давида Выгодского: «Многочисленные эпитафии из Бальмонта, Блока, Гумилева и других говорят о большой начитанности автора в современной поэзии. Однако стихи его не говорят даже и об этом» (*Летопись*. 1917. № 2–4. С. 453).
- 37 Биография его восстановлена в кн.: *Посадсков А.Л.* Издательство «Факел» и его сотрудники: страница из истории российской печати XX века. Новосибирск, 2013.

- 38 *Крачковский Д.И.* Палитра: Стихи. Пг., 1917. С. 27. О теме Гумилева в стихах и прозе Д. Кленовского см.: Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна). С. 299–301, 306–308, 668, 671–674. Об истории «крылатого слова» «Муза дальних странствий» и записи о нем в соответствующем словаре Н. и М. Ашукиных см. письмо в редакцию пензенского преподавателя И. Романихина (Книжное обозрение. 1989. 10 ноября).
- 39 *Кленовский Д.* Поэты Царскосельской гимназии // Новый журнал. 1952. № 29. С. 137–138. См. также: *Раскина Е.Ю.* Образ Н.С. Гумилева в поэзии русской эмиграции «первой волны» (<https://gumilev.ru/about/207/>).
- 40 *Каренин Д.* [*Крачковский Д.И.*]. Подлинный Гумилев// Посев. 194-. № 33(82). С. 10.
- 41 Ср.: «второй муж Ахматовой, ассириолог Шилейко, бывший также и поэтом, пожалуй, не менее одаренным, чем Гумилев, стихи которого, к сожалению, так еще и не собраны» (*Райс Э.* История русской литературы и литературная критика: По поводу «Истории русской литературы» проф. Ло Гатто // Возрождение. 1966. № 172. С. 57); «очень оригинального, хотя очень мало пишущего поэта» (*Мирский Д.С.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зернова. Лондон, 1992. С. 754). Из самой новейшей литературы о нем см.: *Попова Н.И., Позднякова Т.С.* Золотая клинопись фонарей в Фонтанке: Анна Ахматова и Владимир Шилейко. СПб., 2016.
- 42 Сообщено И.Г. Кравцовой. «Стану буйства я жизни живым отголоском» — из стихотворения Фета «Моего тот безумства желал...», которое ценила Ахматова и однажды взяла из него эпитафию «Этой розы завои». Николай Петрович Лихачев (1862–1936) — создатель музея палеографии.
- 43 Многочисленные материалы из Коллекции Г. Струве в Гуверовском архиве цитируются в данном издании без отяжеляющих архивных сигнатур.
- 44 *Струве Г.* Рец. на: *Pozner V.* Panorama de la littérature russe contemporaine. 1929// Россия и славянство. 1929. 6 апреля. Заметим, что автор «Панорамы» был знаком с Гумилевым, который вписал 21 июня 1920 года в его альбом то ли неопознанный перевод, то ли стилизацию английской баллады (*Парнис А.* «Зачем так опрометчиво я взял твою тетрадь...»: Блок, Маяковский, Ходасевич и другие в парижском альбоме. Очерк первый// Опыты (Пб.; Париж). 1994. № 1. С. 169–170). По воспоминаниям Г. Адамовича: «...стихи ведь были увлекательны, остроумны, и даже

такой взыскательный судья, как покойный Гумилев, их высоко оценил — в особенности удачнейшую “Балладу о дезертире”» (Современные записки. 1929. № 38. С. 525); потому эта баллада в газетной публикации была посвящена «памяти Н. Гумилева» (Голос России. 1922. 12 марта).

- 45 *Струве Г.* Рец. на: Тхоржевский И. Русская литература // Новый журнал. 1948. № 18. С. 344.
- 46 *Struve, Gleb.* Рец. на: Hoffmann M. Histoire de la Littérature Russe, Edit. du Chêne, Paris, 1946 // Erasmus: Speculum scientiarum. International bulletin of contemporary scholarship. Vol. 1. 1947. № 1. С. 286.
- 47 *Струве Г.* Гумилев // Россия и славянство. 1931. 29 августа.
- 48 Представительная, хотя по неизбежности, и не абсолютно исчерпывающая сводка высказываний Г. Адамовича доступна по композиции О.А. Коростелева «От Цеха поэтов к «парижской ноте» (Георгий Адамович о Николае Гумилеве)» ([www.emigrantika.ru/publications/686-nota](http://www.emigrantika.ru/publications/686-nota)).
- 49 *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 3 октября.
- 50 *Адамович Г.* К спорам о Есенине // Новое русское слово. 1950. 17 декабря.
- 51 Восстанавливается по оттиску машинописи (с не вписанной латиницей) из архива Г. Струве.
- 52 Ср. например: «Пушкина точил червь простоты. Не талант его ослабел, — нет. Но, по-видимому, не хотелось ему того, чем этот талант удовлетворялся раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, если бы Пушкин жил, — кто знает? — но пути его не видно, пути его нет (в противоположность Лермонтову). «Полтава» еще струится, играет, «блистает всеми красками». Но в «Медном всаднике» нет уже внутренней уверенности. Рука опытнее, чем когда бы то ни было, но ум и душа сомневаются, и все чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть отдает будущим Брюсовым. А в последних стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул с одной ступеньки на другую, докатился бы и до конца: это — к великой чести Пушкина, как и всех, кому хоть вдалеке мерещится «непоправимо-белая страница», после которой еще можно жить, но уже нельзя писать» (*Адамович Г.* Комментарии // Числа. 1930. № 1. С. 142–143; «непоправимо-белая страница» — из стихотворения Ахматовой «Вечерние часы перед столом...»).
- 53 *Струве Г.* По поводу статьи Г. Адамовича // Новое русское слово. 1951. 7 января.



54 См. о нем статью С.В. Шумихина (при участии Р. Тименчика): Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 324–327. Из молодых петербургских филологов на защиту Гумилева выступал в 1911-м и лингвист Лев Якубинский в письме в редакцию газеты «Речь», возражая против рецензии А.М. Василевского на альманах «Северные цветы»: «Творчество Гумилева крепло под влиянием Брюсова, но Брюсова второго периода. Стихотворения Гумилева, помещенные в “Сев<ерных> цв<етах>”, производят приятное впечатление, а “Паломник” прямо хорош слитною торжественностью темы и ритма» (РГАЛИ. Ф. 1666. Оп. 1. Ед.хр. 2471. Л. 2).

Среди петербургских филологов одним из первых полагается назвать Константина Мочульского, который, по-видимому, курировал издание «Французских народных песен» (см. Приложения; предисловие см.: *Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии*. М., 1990. С. 253–255), о которых писал по выходе книжки: «Слова Гумилева — остаются русскими, приобретая особенности “галльской” речи. Простонародные выражения, поговорки и каламбуры он воспроизводит непринужденно, иногда, пожалуй, бесцеремонно, но в результате — впечатление безыскусственности и искренности тона, делающие эти незатейливые песенки художественными» (Звено. 1923. 2 апреля). Другим ревнителем посмертной судьбы Гумилева был Григорий Лозинский, который был причастен к изданию книги «К синей звезде». Именно ему писала Елена Дюбуше, адресат гумилевской лирики, о том, что часть дохода должна пойти Льву Гумилеву (сообщено Г.Г. Суперфином).

55 *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 319.

56 Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4. С. 326.

57 РГАЛИ. Ф. 1345. Оп. 1. Ед.хр. 394. Л. 4; цитируется стихотворение «Девушке» («Мне не нравится томность...»).

58 РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед.хр. 162. Л. 48об.

59 *Ахматова А.* Записные книжки. С. 557.

60 «Я прочел статью Жирмунского. Не знаю, почему на нее так ополчались. По-моему, она лучшая статья об акмеизме, написанная сторонним наблюдателем, в ней много неожиданного и меткого. Обо мне тоже очень хорошо, по крайней мере, так хорошо еще обо мне не писали. Может быть, если читать между строк, и есть что-нибудь ядовитое, но Вы же знаете, что при этой манере чтения и в Мессиаде можно увидеть роман Поль

- де Кока» (Из письма к Ларисе Рейснер: *Гумилев Н. С.* Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. М., 2007. С. 202).
- 61 *Жирмунская Т.* «Простота сего урока...» // Вопросы литературы. 1994. Вып. IV. С. 304.
- 62 *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 250–251.
- 63 *Грузинов И.* Собр. соч. / Сост., послесл., комм. О.В. Демидова. М., 2016 С. 22.
- 64 *Лавринец П.* Послесловие // Смерть Андрея Белого (1880–1934). Сборник статей и материалов: документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / Сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина. М., 2013. С. 789–792; *Тименчик Р.Д.* Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим–М., 2008. С. 36–49.
- 65 Личный фонд в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук Литвы в Вильнюсе. АД-17. С. 91.
- 66 *Там же.* АД-271. Лл. 2–3.
- 67 «Из цикла “У вечернего окна” (“Мы красивую книгу откроем..”)». Перепечатано в кн.: Образ Гумилева в советской и эмигрантской поэзии / Сост., предисл., комм. В. Крейда. М., 2004. С. 45. Из педантизма отметим опечатку: «И над книгой мы будем молчать» вместо «мечтать».
- 68 *Провинциальная муза.* Казань, 1918. С. 25–26.
- 69 *Соколовский М.* У истоков трамбовского движения // Рабочий и театр. 1932. № 29–30. С. 11; ср.: «Давно ли Андреи Белые и Гумилевы читали лекции в пролеткультах, учили рабочих поэтов писать стихи, а теперь какой-нибудь “плебей” А. Крайский сам читает лекции по литературе» (*Кумов С.* Боевой участок литературного фронта // Литературный еженедельник. 1923. № 14–15. С. 12); А. Крайский (Алексей Петрович Кузьмин; 1891–1941) в числе прочего рассказывал студийцам о Гумилеве, который «из ледяных глыб высекает идеальные формы» (Звенья: Альманах литературного кружка Университета имени Зиновьева. Л., 1923. С. 4). См. о А. Крайском: *Соболев А.А.* Летейская библиотека. Т. I. М., 2013. С. 176–187; ср. также: «Появляются среди студий: расстрелянный Гумилев, старик Кони, читающие о русской литературе <...> Понимали же, Господи, Гумилева... матросы Балтфлота!» (*Белый, Андрей.* О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Вступит. ст., сост., подгот. текста и комм. А.В. Лаврова. М., 1997. С. 203).
- 70 *Чуковский К.* Собр. соч. в 15 тт. Т. 11. М., 2006. С. 295. Возможно, о том же чтении вспоминал Георгий Иванов: «Помню, как

- глухой шум прошел по переполненному рабочими залу, когда Гумилев прочел: Я бельгийский ему подарил пистолет / И портрет моего государя» (*Иванов Г. О Гумилеве // Современные записки. 1931. Кн. 47. С. 316–317*).
- 71 Ср. об этом стихотворении: «волнует нас странной и убедительной тональностью (повествование как будто ведется самими туземцами, а не каким-нибудь европейцем» (*Оцуп Н.А. Николай Гумилев: Жизнь и творчество. СПб., 1995. С. 83*). Источники стихотворного сюжета, насколько нам известно, еще не прослежены.
- 72 Белая лира: Антология поэзии Белого движения / Сост., вступит. ст. В.В. Кудрявцев. Смоленск, 2006. С. 304–305; то же: *Штырбул А.А. Дожить до сентября. Судьба поэта Юрия Сопова: историко-литературное исследование с приложением самого полного собрания произведений Ю. Сопова. Омск, 2015. С. 246–247*.
- 73 См. об этом стихотворении: «Но и для них, как для Пшибышевского, евангелие должно начинаться словами: “в начале был пол”. Они не станут, как В. Брюсов, утверждать, что их влечет “тайна зачатий”. Но это только потому, что им не нужно совсем оправданий; за них просто факт соответственного “звериного” влечения. Поэтому в “вершинной” поэзии Гумилева вы найдете, к большому своему изумлению, то, что, казалось бы, давно уже умерло. Вот лирика полового извращения на мотив из Кузьмина <так>. Но этого мало. Поэт хочет быть универсальным и добавляет лирику противоположного извращения» (*Редько А. У подножия африканского идола. Символизм. Акмеизм. Эго-футуризм // Акмеизм в критике (1913–1917). С. 267*).
- 74 *Ахматова А. Записные книжки. С. 361*.
- 75 См. о недолгой литературной деятельности Яровой: *Тименчик Р. Из именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 5. Симферополь, 2007. С. 188–189*.
- 76 О ее романе с Гумилевым (по сообщению О. Анстей) см.: *Новый журнал. 1997. № 207. С. 264*.
- 77 Письма Гумилева к Вере Евгеньевне Аренс (в замужестве Гаккель; 1883–1962) впервые опубликованы: *Гумилев Н. Неизданное и несобранное. Париж, 1986. С. 117–118*; то же: *Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. С. 116, 121–122*. В 1912 году Вера Аренс писала в дневнике: «...хочу, чтобы на могильном камне

были вырезаны слова Н. Гумилева о моей красоте» (Сто одна поэтесса Серебряного века / Сост. М.А. Гаспаров, О.Б. Кушлина, Т.А. Никольская. СПб., 2000. С. 15). См. о ней статью В.А. Черных: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 103. Ср. также наши комментарии: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях// Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 27–28; *Тименчик Р.Д.* Из «Именного указателя к «Записным книжкам»: «Завистницы, соперницы, враги»// «Я всем прощение дарую...»: Ахматовский сборник / Сост. Н.И. Крайнева. М.-СПб., 2006. С. 498–500.

Ср. запись в ее дневнике от 29 мая 1945 года: «Вчера была у Ахматовой. Специально для того, чтобы показать ей материалы о Н.Г. Встреча была интересной (два хищника с двух сторон ручья, увидевших в воде отражения потустороннего и ощетинившихся в меру). По существу потом, а важнее, что будь Ахматова простой испанской табачницей (девушки с фабрики), она бы ловко дралась и царапала соперниц, хорошо бы носила свою желтую шаль и нервно откусывала бы стебли роз (или что там полагается) в ожидании своего контрабандиста. Ну что же, эта нервная сила, властность и сдерживаемая злость пленяют не меньше, чем ее ум, образование, культура и стихи. Но в стихах она покорная, покинутая, печальная. В жизни — сейчас покорившая, отнявшая, победившая, но остановившаяся» (Горняцкая правда: Газета Санкт-Петербургского горного института. 1992. 13 ноября).

- 78 «Зоя Аренс призналась, что в страшные времена сожгла два письма Н.С.» (*Ахматова А.* Записные книжки. С. 366).
- 79 См. запись его беседы с А.К. Станюковичем в августе 1966-го: Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 28–29.
- 80 *Аренс Л.Е.* «Лес на реке Ворскле» (Памятник природы)// Украинский охотник и рыболов (Харьков). 1925. № 10. С. 11.
- 81 *Лукницкая В.К.* Материалы к биографии Н.С. Гумилева // *Гумилев Н.С.* Стихотворения и поэмы. Тбилиси, 1988. С. 33 (Век XX. Россия–Грузия: сплетение судеб).
- 82 *Шкловский В.* Время поэзии наступило // Вопросы литературы. 1965. № 2. С. 30.
- 83 *Ахматова А.* Записные книжки. С. 639.
- 84 *Скромный Л.* «Издание распроданное» // Журнал журналов. 1916. № 23. С. 14.
- 85 *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 2: 1952–1962. М., 1997. С. 453.

- 86 См., например, из курьезов стихотворение «Милый мальчик (Подражание Гумилеву) (“Ты придешь ко мне, мой мальчик! Ты придешь ко мне, я знаю...”»)» (Орлов Н. Лирика: Избранные произведения. Сан Павло, 1954. С. 42; сообщено Е. Васиной).
- 87 См. в стихах молодых поэтов:

Мы вслушивались в медленное слово,  
 В земной любви открывшееся нам.  
 Бодлера, Тютчева и Гумилева  
 Читали вместе мы по вечерам.

О, первые таинственные строки!  
 О, посвященья трепетной рукой!  
 Мы понимали смутные намеки,  
 Был каждый стих наш — разделенный строй.

И от шумливой жизни урывая  
 Хотя бы день, хотя бы только час,  
 Воистину мы достигали рая,  
 Стихами обступающего нас.

(Мандельштам Ю. Элегия // Перекресток. 2. Париж, 1930. С. 26).

И вовсе не высокая печаль,  
 И не отчаянье сдвигало брови...  
 Весь вечер ныли, долго пили чай,  
 И долго спорили о Гумилеве.

Бросали столько безответных слов,  
 Мы ссорились с азартом, и без толку.  
 Потом искала белый том стихов  
 Повсюду — на столе, в шкафу, на полках.

И не наша. И спорили опять.  
 Стихи читали. Мыкались без дела.  
 И почему-то не ложились спать,  
 Хоть спать с утра мучительно хотелось.

День изо дня, — и до каких же пор?  
 Все так обычно, так совсем не ново,  
 И этот чай, и этот нудный спор  
 О Блоке и таланте Гумилева.

(Кнорринг И. Два стихотворения // Последние новости. 1931. 19 февраля).

- 88 См. о группе молодых поэтов в 1930-е: «Но за кем же идти? За футуристами? За символистами? За акмеистами? Во всем этом заплеталось слишком многое — Маяковский с его большевизмом, Блок с его вопросами, никогда не разрешенными, лишь задуманными смертью, — выбор языка, — у кого учиться — у “московской просвирни” или у “блистательного Санкт-Петербурга”? В конце концов остановились на Петербурге и на акмеистах — поэзия для поэзии, строгая школа, мужественное стремление к “акмэ”, пусть недосыгаемому, — все равно, чем труднее, тем лучше. Так в Чураевке создавалась литературная студия “Цех поэтов”, с Гумилевым — духовным вождем и императором, управлявшим, из-за гроба, крошечной монархией внутри либеральной республики» (Крузенштерн-Петерец Ю. Чураевский питомник (О дальневосточных поэтах) // Возрождение. 1968. № 204. С. 63).

Здесь же вышла книга: Гумилевский сборник: Поэты Харбина в память кровавой даты умерщвления большевиками Николая Степановича Гумилева. Харбин, 1937. В ней была подборка посвященных памяти Гумилева стихотворений Арсения Несмелова, Георгия Мурашева, Валерия Перелешина, Лидии Хиндровой, статьи Василия Обухова («П. Сухумский») и Натальи Резниковой. И этому предлежало слово атамана Семенова:

«Я приветствую решение группы харбинских писателей издать сборник, посвященный памяти Н.С. Гумилева, русского поэта и офицера, мученической смертью запечатлевшего долг воина и национального певца.

В то время, когда среди русской эмиграции на Западе уже раздаются голоса о том, что поэзия Гумилева “устарела”, что его творчество будто бы никому уже не нужно, Гумилевский сборник, издаваемый харбинцами, — явится лучшим возражением людям, забывшим о том, что дал Гумилев и что еще даст ей из-за гроба.

Мы — на чужбине, но и на чужбине сердца наши — *русские*.

И разве не звучат нам великим обетованием, живой волей к жизни и победе изумительные слова Гумилева:

Словно молоты громовые,  
Или воды гневных морей, —  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей!

В самой музыке этих слов — трубы военного марша, движущего колонну на сближение с врагом...

Сближение — бой — победа.

Та самая победа, о которой так хорошо сказано Гумилевым:

И как сладко рядить победу,  
Словно девушку, в жемчуга.  
Проходя по дымному следу  
Отступающего врага!

Вот пятнадцать лет минуло со дня кровавой расправы большевиков над большим русским поэтом... На Дальнем Востоке не издано еще ни одной книги, посвященной его творчеству. Поэтому трудное в беженских условиях дело издания соответствующего сборника — нельзя не приветствовать и не помочь ему всячески». См. по этой теме: *Штейн Э.* Николай Гумилев и поэты русского Китая // *Рубеж (Владивосток)*. 1998. № 3. С. 35–36.

89 Здесь, например, кроме Марии Малиной-Онацкой, автора первой в мире диссертации о Гумилеве и — после войны — невестки Гумилева Анны Фрейганг, обитал еще комичный персонаж, который в стихотворении «Великому Бальмонту» писал:

Я безусловно эксцентричен.  
Как бездна адская глубок.  
Мечтой узорной экзотичен,  
На Гумилева есть намек...  
В ней океан, а в нем акулы —  
Гроза антильского пловца,  
Дворец эмира Хабибуллы  
И одалиски без конца!

(*Любищев Дмитрий, корнет*. Клуб четырех. Брюссель, 1932. С. 3; ср. рецензию Юрия Мандельштама (Молва. 1933. 20 августа); в сборнике имеется стихотворение «Oscar Wilde», в стихотворении «Азарт поэта» — строки: «Азарт поэта — холодным страхом / Из души обдал Пое Эдгар»; автор рекомендовал себя на обложке: лицензиат богословских, философских и исторических наук, кандидат дипломатических знаний.

90 Здесь Альфред Бем сказал в День русской культуры 10 июня 1936 года:

«Говоря о посмертной судьбе Гумилева и Блока, не могу не отметить, что в эмиграции наоборот, особенно в последние годы, сильнее звучит блоковская струя. Влияние Гумилева, одно время довольно значительное, сейчас мало заметно. Во всяком случае, на более выдающихся эмигрантских поэтах. И в

этом есть какая-то закономерность, вообще пушкинская струя в эмиграции не так сильна, как лермонтовская.

В то время, как в сов. России сейчас культ Пушкина стоит на очень большой высоте, в литературных кругах эмиграции ему до известной меры противопоставляется культ Лермонтова. Укажу хотя бы на роман Юр. Фельзена “Письма о Лермонтове”. Не хочу здесь подробнее вдаваться в анализ этого любопытного явления, так как это толкнуло бы меня на путь полемики, чего я хотел бы избежать. Но я считаю себя обязанным все же на это указать.

В заключение я должен повторить, что я не противопоставляю Гумилева — Блоку или наоборот. Моя задача — дать их сравнительную характеристику и показать, как сложилась их дальнейшая судьба. Для нас и Блок и Гумилев одинаково дороги: один, как блестящий завершитель целого периода русской литературы, другой, как зачинатель, как отважный и мужественный искатель новых путей.

Помянув их в День Русской Культуры, мы исполнили только свой долг» (*Бем А. Судьба двух поэтов // Меч. 1936. № 31. С. 5*).

- 91 См. хотя бы статьи в газете «За свободу» к 10-летию кончины: *Луганов А. [Вебер-Хирьякова Е. С.] Божий воин (2 сентября); Гомолицкий Л. Крылатый брат (27 сентября); Нальянч С. Гумилев (1 октября)*.
- 92 См. статьи в Приложении.
- 93 См. о чтении стихов Гумилева к 15-летию его смерти: *Лавринец П. Состав и формы деятельности Виленского содружества поэтов // Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции. Сб. статей под ред. А. Данилевского, С. Доценко и Ф. Полякова. Frankfurt/M, 2016. S. 108*.
- 94 Из этого города происходила израильская поэтесса Лея Гольдберг, которая одну из первых своих публикаций в палестинской печати посвятила русскому поэту: «В русской литературе, среди русских писателей есть физиономии, личности и явления. К физиономиям относятся: Гоголь, Аполлон Григорьев, Леонид Андреев, а также в известной степени — Лермонтов и... Маяковский. Личности — это Пушкин, Гончаров, Толстой, Иванов, Александр Блок. Явления — это Достоевский, Розанов, Андрей Белый, Николай Гумилев. Решающим тут является не талант, а самобытность — в том, как проявляет себя вовне литературное произведение или сам писатель. Термин “явление” ввела и применила к В. Розанову Зинаида Гиппиус, и употребление это-



- го термина сильно облегчает понимание писателя. А Николай Гумилев всей своей жизнью безусловно доказал, что он — явление <...> он сбежал — в Африку, охотиться на львов, и неожиданно застрял там, как Поль Гоген на своих южных островах. Он сблизился с неграми, сражался во главе одного негритянского племени против другого. Стал национальным героем того племени, которое возглавил, и негры пели славу ружью под названием маузер и вождю Гумилеху. А он слагал стихи о любви к Африке, напоминающие самые пламенные и экзотические строки Песни Песней, — и ненавидел Африку, потому что не мог жить без [мостов?] и туманов города, глядящего на Финский залив, — и вернулся, и разгуливал по улицам родины гордый и чужой, словно на чужбине. Он был увенчан легендами и стихами и охвачен новой тоской» (*Гольдберг Л. Огненный столп* (15 лет со дня смерти Николая Гумилева) Амуд га-эш // Давар. 10.02.1936. С. 3.; цит. по: *Гольдберг Л. Йоман сифрути* (Литературный дневник): Избранные газетные очерки. Т. 1: 1928–1941 / Сост., ред. и примеч. Г. Тикотский, Х. Бар-Йосеф. Бней-Брак, 2017. С. 107–108 (иврит); перевод З.Л. Копельман; исправлена опечатка газетного набора).
- 95 Записи Н.Н. Глен (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме).
- 96 Бюллетени литературы и жизни. 1915. № 10. С. 218. Ср.: «в эгофутуристской манере с налетом гумилевской экзотики» (*Никонов В. Статьи о конструктивистах. Ульяновск, 1928. С. 51*). Историк поэзии утверждает о сборнике «Серебряные трубы»: «большинство из них до последней запятой подражают Гумилеву» (*Марков В. История русского футуризма / Пер. с англ. В. Кучерявкина, Б. Останина. М.; СПб., 2000. С. 320*). Земляк-поэт С. Кесельман пародировал анонс «Серебряных труб»: «Главный поэт сборника Эдуард Багрицкий (Дзюбин). Пишущий под псевдонимами 1) Н. Гумилев, 2) Теофиль Готье, 3) Леконт де Лиль, 4) Бодлер, 5) там видно будет» (*Лушчик С.З. Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов // Дом князя Гагарина: Сб. науч. ст. и публикаций. Вып. 3, ч. 1. Одесса, 2004. С. 172*). Ср. также: «В книге несколько подражаний “Незнакомке” Блока, несколько — Брюсову, есть Северянину и Гумилеву. И ничего свежего, почти ничего — “своего”» (*Пяст В. Рец. на: Шелковые фонари // Отклики. 1914. 5 июня*); о «явных реминисценциях из поэзии Гумилева» (*Бобович Б. Начало Э. Багрицкого // День поэзии. М., 1965. С. 248*).
- 97 *Спивак М.Л. Эдуард Багрицкий: мемуары для служебного пользования, или Посмертная диагностика гениальности // Литературное обозрение. 1996. № 5/6. С. 205.*

- 98 Катаев В. Встреча // Красная новь. 1935. № 12. С. 9; то же: Эдуард Багрицкий: Воспоминания современников. М., 1973. С. 57.
- 99 Петроник [Краснов П.Б.]. Рец. на: Чудо в пустыне. Одесса. 1917 // Южный край (Харьков). 1917. 23 октября. Об Исидоре Вульфовиче Бобовиче (1894–1979) см. справку С. Лущика: «Родился в Одессе, окончил гимназию в 1912 году с золотой медалью. Учился в Новороссийском университете на юридическом факультете (1912 — нач. 1917). В октябре 1913-го отправил письмо А. Блоку, оставшееся без ответа. В 1914–1918 годах изредка печатал стихи и статьи в одесской периодике, выступал на литературных вечерах. Вскоре оставил литературную деятельность, но до старости продолжал сочинять стихи “для себя”. По-любительски занимался также живописью, около двух месяцев посещал в 1918 году “Свободную мастерскую” художника А. Нюренберга. И. Бобовичу посвящен в 1917 году ироничный акrostих П. Сторицына:

Искатель странных приключений  
Сидит на банковской скамье,  
И видит, как проходят тени,  
Дробясь в конторской полутьме <...>

Уехал из Одессы в 1922-м, работал банковским служащим в Жмеринке, Самарканде, Ташкенте, несколько раз приезжал в Одессу в отпуск. Оставил рукопись воспоминаний, не издана» (Лущик С.З. Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов. С. 210). О Петре Борисовиче Краснове (1895–1962) — авторе двух стихотворных сборников см.: *Поберезкина П.Е. Вокруг Ахматовой*. М., 2015. С. 205–214.

- 100 Записано в альбом Н.В. Анненской в январе 1906-го; впервые предано тиснению: Неизвестные письма Н.С. Гумилева / Публ. Р.Д. Тименчика // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1987. Т. 46. № 1. С. 54.
- 101 Чудо в пустыне. Одесса, 1917. С. 15–16. Перепечатано, как и «Искатели жемчуга», из сборника «Седьмое покрывало» (Одесса, 1916) с легкой правкой; о соответствующей топике в русской поэзии XX в. см. работу «Водолаз в русской поэзии» (в книге Ю. Левинга «Революция зримого», в печати). Не менее заставляет думать о «гумилевщине» напечатанное недавно по рукописи стихотворение Бобовича «Опий»:

Мы бросили древние горы,  
Кочевья косматых быков,  
Чтоб снова слепило нам взоры  
Багряное море песков.

И вечных желаний сосуды,  
Мы медленно шли на Восток,  
И мерно шагали верблюды,  
Взрывая сыпучий песок.

Сквозь джунгли и дикие топи  
Мы шли к золотистой реке,  
Чтоб вечный божественный опий  
Куриль на горячем песке.

И там, где нежней и бессильней  
Склонились к воде тростники,  
Под шелковой тканью курительней  
Дымятся для нас чубуки.

Над диким узором палатки  
Колеблется полог паров.  
О, запах смертельный и сладкий  
О, желтое пламя костров!

Но в трубках последняя мука,  
Дымится расплавленный яд,  
И тигры сквозь чащу бамбука  
Глядят на кровавый закат.

(Луцкич С.З. Чудо в пустыне. С. 212).

102 Чудо в пустыне. Одесса, 1917. С. 15–16.

103 Южная мысль. 1915. 22 марта.

104 Еще в 1914-м влиятельный в этом литературном поколении одесский поэт Георгий Цагарели информировал местную публику: «Много писали и спорили в прошлом году об “акмеистах”. Никаких новых принципов акмеисты не внесли в поэзию; они только резче подчеркнули то, к чему сознательно или бессознательно стремится каждый истинный художник, а именно: возможно яркое и глубокое выражение полноты бытия, наивысшего расцвета жизни. Судьба “акмеизма” довольно любопытна: с одной стороны он будто бы до сих пор остается голой теорией, то есть будто бы нет “акмеистических” произведений, с другой стороны под понятие “акмеистический” можно подвести целый ряд произведений писателей, ничего об “акмеизме” не слышавших. Заслуга “акмеистов” все же велика: они содействовали оживлению интереса к реальной жизни и расцвету

неореализма» (*Цагарели Г.* Русская поэзия // Южная мысль. 1914. 1 января).

- 105 Когда трагически погиб поэт Анатолий Фиолетов, некролог ему открывался цитируемым по памяти эпиграфом из «Одержимого»: «Так вот он странный паладин / С душой, измученной нездешним» (*Немировская Е.* Памяти Анатолия Фиолетова // Универсальная библиотека. Одесса, 1919). Особо следует отметить содержательную рецензию Константина Мочульского на сборник «Костер» (Одесский листок. 1919. 2 марта/17 февраля), положения которой потом повторены в эмигрантских статьях и рецензиях К.В. Мочульского о Гумилеве.
- 106 *Оль-Оль.* Веселый фельетон // Огоньки (Одесса). 1918. № 31. 14(1) декабря. С. 16. В 1947-м поэт и переводчик Давид Бродский отвечал на вопрос, какие одесские поэты были особенно известны в 1915–1920 годах: «Долинов (школа Северянина), Анатолий Гамма, Ал. Соколовский (школа Брюсова), Б. Бобович (школа Блока), Ю. Олеша (Блок, Брюсов), В. Катаев (школа Бунина), Адалис (школа Брюсова, Гумилева), З. Шишова (подражала тогда Ахматовой и др.)» (*Резников Л.Я.* Эдуард Багрицкий. Очерк жизни и творчества. Л., 1948 (диссертация на соискание степени кандидата филологических наук).
- 107 *Катаев В.* Сэр Генри и черт // Москва. 1922. № 7. С. 12; ср.: «Fifteen men on the dead man's chest— / Drink and the devil had done for the rest— / ...Yo-ho-ho, and a bottle of rum!»
- 108 Отзыв Веры Лурье о стихах В. Катаева в «Лефе» (Последние новости (Париж). 1924. 3 апреля), речь о стихотворении «Война»:

Мы выпили четыре кварталы.  
Велась нечистая игра.  
Ночь перемешивала карты  
У судорожного костра...

и т.д.

Не об этого ли рода синтезе писал Иннокентий Оксенов, говоря о Катаеве и Адалис: «наперебой усердно переписывают современных поэтов с накреном на Пастернака...» (*Иноков А.* [Оксенов И.]. Рец. на: Россия. № 5 // Литературный еженедельник. 1923. № 14–15. С. 22).

- 109 См. рецензии в Приложениях.
- 110 В Киеве тогдашние мэтры на час его не очень жаловали. Илья Эренбург говорил, «что невозможно читать Гумилева, так как достаточно уже одного Брюсова» (*Н.У.* [Ушаков Н.]. Киев и его

окрестности // Ветер Украины: Альманах ассоциации революционных русских писателей «АРП». Кн. 1. Киев, 1929. С. 122). По поводу «Костра» и «Фарфорового павильона» он тогда же писал: «Гумилев в “китайских” и прочих стихах тоже [как Волошин] пробует в шляпке заняться ювелирной работой. Но для этого ему не достает многого» (*Эренбург И.* На тонущем корабле // Ипокрена (Харьков). 1919. № 4. С. 28). «Бритый, с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный, Лившиц в Киеве держал себя как “мэтр”: молодые поэты с трепетом знакомились с ним, его реплики и приговоры падали, как нож гильотины: “Гумилев — бездарность”. “Брюсов — выдохся”. “Вячеслав Иванов — философ в стихах” (*Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 11).

Тем не менее сформировавшийся там в это время Юрий Терапиано на всю жизнь стал одним из самых настойчивых проповедников наследия Гумилева в эмиграции. Приведу только два из его стихотворений, не оживленных в последние годы обожателями Гумилева:

Как сладко мне звучало: «Эзбекие,  
 Большой каирский сад, луною полный...»  
 Он раньше на пятнадцать лет увидел  
 Италию, Египет и Левант,  
 И черный Материк. В полдневных странах  
 О суете земной он мог забыть;  
 Откосы гор, поросшие цветами,  
 Великие равнины и моря,  
 Озера, водопады, скалы, реки  
 Встречали Гумилева стройным метром.  
 Ток ветра музыкальный пролетал —  
 И боль рассеивалась облаками,  
 Обиды затихали в шуме леса,  
 А ночь, как нигерийский водопад,  
 Росой его и светом окропляла.

Герой любимый мой! Среди пустынь,  
 Ты русским странником, поэтом русским,  
 Останешься. В кочевьях дикой Галлы,  
 О древних грезя царствах и царях,  
 К подножию деревьев великанов  
 И розовых Харарских снежных гор  
 Ты вел наш русский строй, твой звонкий голос

Скандировал с уступа на уступ  
 Под рев Замбези мерные размеры —  
 И открывался Божий мир тебе,  
 И ангелы в пути тебя встречали.

Все было впереди: война, любовь,  
 Свист вражьи пули над вспененной Двиною,  
 Далекий путь к союзным берегам  
 Прекрасной Франции. Темно и страшно  
 Поэтом быть рожденным. Но страшной  
 Песков и скал пустыни Ленинграда:  
 Был мор и трус на берегах Невы,  
 Был голод, люди двигались, шатаясь —  
 И оборвался стройный звон стиха —  
 Не на горе, в цветущей дикой щели,  
 На темном полигоне, в пыльной яме,  
 Лежало тело. А душа всходила  
 Сквозь черные и страшные круги,  
 Наполненные душами убитых,  
 Что жизнью не изжили — выше, выше!

(Терапиано Ю. Поэту // Последние новости. 1931. 30 августа).

Приносить тебе на Пасху будут  
 Красное яичко от меня.  
 Верховому твоему верблюду  
 Дам в походе торбу ячменя.

Маузер заржавленный прочищу,  
 Пыль сотру с уланского седла,  
 Шляпу сняв, пройду по пепелищу  
 Вдоль вокзала Царского Села.

И, быть может, глядя с парохода,  
 В глубь зеленых киммерийских вод  
 Спутнице сорокового года  
 Расскажу про двадцать первый год.

(Терапиано Ю. Стихи Гумилеву // Возрождение. 1971. № 228. С. 148).

- 111 Указанная по ошибке как некролог и приписанная Вяч. Иванову (Мартынов И.Ф. Поэтические отклики на гибель Гумилева // Вестник Русского христианского движения. 1987. № 2(150).

- С. 178) хроникальная заметка в газете «Бакинский рабочий» от 5 октября 1921 года, подписанная «Немо» (А.Г. Журбенко), к сожалению, перекочевала и в библиографию литературы о Гумилеве, см.: *Лукницкий П.Н.* Труды и дни Н.С. Гумилева / Под общ. ред. Ю.В. Зобнина. СПб., 2010. С. 821.
- 112 Ср. свидетельство М.А. Зенкевича: «Маяковский — это личность трагическая... Гумилев его почему-то не любил. Даже когда мы первые его стихи читали с Мандельштамом и говорили Гумилеву, что вот интересный поэт, — он отвечал: “Ерунда, наш Струве — и то лучше его”» (Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Сост. О. Фигурнова, М. Фигурнова. М., 2002. С. 29). См. стихотворение М. Струве «Н. Гумилеву»:

Я принял весть о гибели твоей  
 Не горькими бессильными слезами,  
 Но твой завет торжественный храня,  
 Ее я принял крепким сердцем мужа —  
 Я знаю — так довольней будешь Ты.

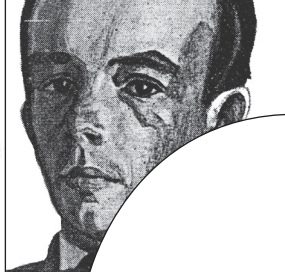
И вот, замкнувшись в четырех стенах,  
 Я верю, что беседую с Тобой.  
 Услышь мой голос, тот же, что всегда!  
 С Тобою говорю, как в Петербурге  
 За чаем иль за дружеским вином.

<...>

Иль, может быть, слова мои земные  
 Тебе уже чужды и незнакомы.  
 Прости тогда, что я Тебя тревожу.  
 Но большего сказать я не умею  
 Моим земным невнятным языком.

(Русская мысль. 1921. № 10–12. С. 36–37).

- 113 См. о концерте в присутствии А.В. Колчака: «Очень интересен был выбор г-жи Казанской-Радловой, продекламировавшей стихотворение Гумилева» (Освобождение России (Пермь). 1919. 21 февраля). Наталья Эрнестовна Радлова-Казанская (1887–1938), театральная педагог; ее невестка, Надежда Константиновна Шведе-Радлова (1895–1944), жена Н.Э. Радлова — автор портрета Гумилева, написанного приблизительно в то же время и уничтоженного в 1937 году.



II

## КАЗНЬ



Е.Г. ПОЛОНСКАЯ  
(РИСУНОК  
Н.П. АКИМОВА,  
1927)

ГЕРАСИМ ЛУГИН

М.А. СТРУВЕ  
(РИСУНОК  
С.Ю. СУДЕЙКИНА)

А.Л. ЛАВУАЗЬЕ

С о дней Февральской революции русское общество волновали аналогии с Великой французской и соответствующие мрачные прогнозы. Примеры тому многочисленны, воспользуемся — чтобы назвать еще одного поэта, оставленного своим веком в неизвестности, — стихотворением ставропольца Леонида Пивоварова «Революция» (1918):

Красней огня и пурпура багровой,  
Она идет сквозь бледные года.  
Паденье власти может быть без крови,  
Но революция бескровной — никогда.

И гильотины стонущая сталь,  
И виселиц безмолвная работа,  
И голова маркизы де Ламбаль  
Кровавая на пике санкюлота, —

Всё для нее! Историю творит  
Она мечем безжалостным и грубым:  
Дарует жизнь и без вины казнит,  
Несет свободу, шествуя по трупам.

И ныне Русь увидела воочью  
Ее кровавое и страшное лицо.  
Живую плоть бесстрастно мелет в клочья  
Истории слепое колесо.

Пир революции! Брат убивает брата...  
За цепи прошлого неутоленно мстя,  
Бушует чернь. И как во дни Марата,  
Не отличить убийцу от вождя!

Земля скорбит... Одета в траур вдовий,  
 Изнемогает русская земля.  
 Нас обмануло солнце февраля!  
 Мы захлебнулись в море братской крови<sup>1</sup>.

Историческая память подсказывала имя химика Антуана Лорана Лавуазье, взошедшего на гильотину под апокрифическую ремарку предтрибунала «Республика не нуждается в ученых». Это имя прямо сопряжено с гумилевским в позднейших стихах под названием «Революции»:

Но есть бессилье роковое  
 В делах твоих любимых чад:  
 Твое решение простое:  
 Ты — «шаг вперед и два назад».

И вот итог твоей работе,  
 Итог один во все века:  
 Лавуазье — на эшафоте,  
 И Гумилев — в тюрьме Чека,<sup>2</sup> —

и подспудно, думается, во вложенных в уста романских персонажей рассуждениях современника и знакомца Гумилева:

Иван Терентьевич вдруг вспыхнул:

— Как это вышло с Лавуазье? Один из тогдашних <...> заявил, как пишут историки: «Республика не нуждается в ученых». И большого ученого казнили. А наша революция прощает ученым многие тяжкие прегрешения, зовет на помощь, и это позор, что есть среди нас такие, которые колеблются, а то и просто идут против народа, марают всех нас своим поведением<sup>3</sup>.

Еще ближе лежало имя Шенье. Иван Бунин, трезво вглядывавшийся в аналогию между двумя революциями, в 1919-м излагал по французскому историку Жоржу Ленотру хронику дня 25 июля 1794 года:

В самом деле, как раз в этот самый час Андре Шенье обрел полную свободу: в этот час телега с двадцатью пятью обезглав-

ленными трупами, среди которых был и труп Андре, покинула площадь, где совершались казни, и направилась за Париж, к одной заброшенной каменоломне. В эту каменоломню уже шесть недель подряд, изо дня в день, валили казненных, и возле нее с утра до вечера предавались своему отвратному занятию некие люди, которые снимали с трупов окровавленную одежду и швыряли их затем в братскую могилу. Так же, конечно, поступили эти люди и с одним из самых великих поэтов Франции, посмевающим «не приять революции», не преклониться перед ее идолом.

Спустя семь лет Юлий Айхенвальд констатировал:

Каждая революция должна, по-видимому, иметь своего Андрэ Шенье. До казни Гумилева казалось, что в России на эту печальную честь может притязать именно Блок.

<...> Пять лет уже прошло, как они умерли, два русских поэта. Различна была их поэзия, их жизнь, их смерть. Но когда вспоминаешь о них, то к ним обоим хочется применить то восклицание, которым их общий русский родоначальник мысленно проводил образ Андрэ Шенье, падающего под ножом гильотины:

Плачь, Муза, плачь!..<sup>4</sup>

На этом сближении строилось также стихотворение бывшего недолгого участника Цеха поэтов, посвящавшего тогда Гумилеву стихи:

### **Черный рыцарь**

*Н. Гумилеву*

Как сегодня в замке душно...  
Как печален мой светлый взгляд...  
Под горой, в тоске равнодушной,  
Все шумит седой водопад.

Вижу в стекла высоких окон: —  
В белой пене спят берега,  
Ночь из блекло-цветных волокон  
Ткет покров на лес и луга.

Сон мне странный сегодня снился:  
 Белый рыцарь на белом коне  
 С Черным рыцарем грозно бился  
 На холодной, мертвой луне.

И кружились кони и ржали,  
 Как бойцы, искали побед.  
 Но у Белого на забрале  
 Заструился кровавый след.

Белый пал и задел за стремя...  
 И взметнулся конь на дыбы...  
 И сказал мне Черный: время  
 Наступает твоей Судьбы.

Поднял шлем. Забудь о потере...  
 Ты узнаешь меня, — смотри!  
 Я увидела тленный череп...  
 И шепнул мне ветер: умри<sup>5</sup>.

Вадим Шершеневич откликнулся:

Когда-то имя Арельского стояло рядом с Северянином. Теперь поэт ушел в «цех поэтов». <...> «Черный рыцарь» не только посвящен Гумилеву, но целиком и взят из него. Трудно понять, какое отношение имеет автор к акмеизму. В этой книге он реалист, иногда символист, чуть-чуть мистик, чуть-чуть футурист — где ж акмеизм? Впрочем, все недостатки книги можно с успехом отдать именно акмеизму<sup>6</sup>.

«Грааль Арельский» (С.С. Петров) вступил в Цех поэтов в январе 1912-го, вместе с Георгием Ивановым покинув эго-футуристский кружок, и в Цехе, видимо, всегда вспоминали об этом акте «спасения». С. Городецкий записал в альбом Ф.Ф. Фидлера 7 марта 1914 года по поводу Г. Иванова и Грааль Арельского:

Двух мальчишек-футуристов  
Цех поэтов-акмеистов  
Спас от гибели прескверной<sup>7</sup>.

Стихотворение поэта с кощунственным — как полагал Александр Блок — псевдонимом стало, наверное, лучшим из его стихотворных сочинений (автобиографический роман его «Поэты», где, может быть, нашлось место и Гумилеву, пропал бесследно):

Нет, ничем, ничем не смыть позора,  
Даже счастьем будущих веков!  
Был убит Шенье 8-го термидора,  
23-го августа — Гумилев.  
И хотя меж ними стало столетье  
Высокой стеною звонких дней,  
Но вспыхнули дни — и в русском поэте  
Затрепетало сердце Шенье.  
Встретил смерть и он улыбкой смелой,  
Как награду от родной земли.  
Грянул залп — и на рубашке белой  
Восемь роз неожиданно расцвели.  
И, взглянув на небосклон туманный,  
Он упал, чуть слышно простонав,  
И сбывшись его стихи, — и раны  
Обагрили зелень пыльных трав.  
Все проходит — дни, года и люди —  
Точно ветром уносимый дым.  
Только мы, поэты, не забудем,  
Только мы, поэты, не простим<sup>8</sup>.

Поистине от сближения невозможно было уклониться. Памятен и пассаж из «Сумасшедшего корабля» Ольги Форш:

Только корабельцам все еще была нова и тяжело переносима мысль, что поэзия не осязается сейчас как самодовлеющая, целеустремленная сила и что если поэт окажется плохим политиком, как некогда Андре Шенье, поэта не спасут никакие прекрас-

ные книги стихов. Твердили окаменело, с непроходящей болью, вспомнив вдруг об ушедшем, почему-то не из последнего его «огненного тома», где столько, подобно Лермонтову, есть предчувствий собственной гибели, а из его цикла шуточной мелочи.

В советские времена эту аналогию бесперечь выжигали<sup>9</sup>.

Стихотворением Стефана Стефановича Петрова мы открыли здесь, как принято это именовать, венок посмертных подношений Гумилеву<sup>10</sup>, не приводя многожды перепечатывавшихся и ставших предметом литературоведческого разбора<sup>11</sup>.

В Саратове стихотворение опубликовал Герасим Левин («Герасим Лугин»; 1900–1941), незадолго до того познакомившийся с Гумилевым в своей московской поездке:

Пронин обитал в небольшой комнатке, в прошлом не то ателье фотографа, не то мастерская художника. Единственное, что врезалось в память, — это обилие стекол — стеклянная стена, стеклянное окно в потолке — и живопись Судейкина. Картин у Пронина больше, чем стульев. Пошли ли стулья в печь, отапливалось ли зимою это ателье мебелью, — или вообще стульев не было, — не знаю. Но Пронина это не смущало, так же как не смущал неожиданный приход гостей, появление новых лиц. Кое-как разместились вокруг самовара — Гумилев, <...>, Бруни, Пронин. Позднее пришли Федор Сологуб с Ан. Н. Чеботаревской. И до утра, вкруговую, читали стихи, запивая их чаем и какой-то терпкой кислятиной. Кислятину эту гостеприимный Пронин именовал вином. Эти часы у Пронина стали памятными не потому, что в них были Гумилев или Сологуб, — этим часам я обязан встречей с Бруни<sup>12</sup>.

Стихотворение Г.А. Левина, возможно, свидетельствует, что до Саратова дошел вышедший осенью в Петрограде «Огненный столп»<sup>13</sup>:

После смерти стал милей и глуше  
Вещий голос, а стихи желанней,  
«Мы меняем не тела, а души»,

И горим в огне воспоминаний.  
В ранней смерти благодать примиренья,  
Пурпур крови, белый хлеб причастья,  
Вспомним, вскинем строф крылатых звенья  
И замкнем звенящих рифм запястья.  
Муза Странствий не раскрыла тайны,  
Гости сильной, сказочной зимы мы,  
Смертью ранней и необычайной  
Воссиял нам столп неопалимый<sup>14</sup>.

Стихотворение это не вошло в единственный поэтический сборник Г. Левина-Лугина, погибшего в советском лагере<sup>15</sup>.

В Казани писала Вера Ключева:

#### Расстрел (Гумилев)

Прохожу на ступени быстро,  
Заплетая ночные тени.  
А в ушах одинокий выстрел,  
Подкосивший его колени<sup>16</sup>.

В Новороссийске откликнулся — поверх классовых барьеров — комсомолец Геннадий Фиш, стихотворение которого сохранилось в альбоме его тогдашнего литературного наставника Евгения Архиппова:

Смерть, развеянная во все стороны.  
Пригород. Огороды.  
Петербургский осенний рассвет...  
Что жалко?  
Но куда будут слетаться вороны?  
Где будут плакать галки?  
Здесь во имя свободы  
расстрелян поэт.  
Нетерпеливо хрипел автомобиль,  
поджидая, пока окончат «дело».  
А у того, кто любил,  
в эту ночь голова поседела.  
— Дашь? — Зашелестели шины.



– В город, Гороховая, 2.  
 Подшивающий дела к архиву мужчина  
 синюю папку подшил, взглянув едва.  
 А потом ветер пел, дик и зол.  
 Вечер был что ли, день или ночь?  
 Расстрелян. Раздет. Совсем гол.  
 – Кто идет? — Свои. — Своих нет.  
 Прочь!<sup>17</sup>

В Москве стихотворение «Памяти Николая Степановича Гумилева» пишет Владимир Шишов:

Les voix des limbus de poste  
 J'écris pour que le jour où je ne serai plus  
 On sache comme l'air et le plaisir m'ont plu,  
 Et que mon livre porte à la foule future  
 Comme j'aimais la vie et l'heureuse Nature.

*Comtesse Mathieu Noailles*

Лелея асфodelей плен  
 В глаз<ах> рисованных зимою,  
 Ты за пурпурною кошмою  
 В глухом скрываешься тепле.

И если иней серебрит  
 Слепые версты удивленья  
 Ты в шкуры прячешься олени,  
 Немотствующий сибарит!

Пусть Калорифером озон  
 Среди обойных траекторий  
 Раскинется бумага в просторе  
 Ты евфонический газон

Едва ль сомнешь средь этой тьмы  
 Как прежде хладно-безупречен;  
 И лишь вратет мгновенный тмин  
 В магнитах невозможной встречи<sup>18</sup>.

и включает в свой триптих Николай Панов (Дир Туманный):

**Баллада об ушедших**

Подернутые крепом имена:  
Один — поэт вскормленный городами,  
Под знаком снега, розы и вина  
Слагавший песни о Прекрасной Даме.  
Он первый революцию постиг, воспел,  
как миннезингер некий  
И душу всю вложив в последний стих,  
Ушел в страну умолкнувших навеки.

Второй чеканил сталь холодных строф —  
Поэт-эстет с душой авантюриста,  
С пером средневековых мастеров  
И с внешностью английского туриста,  
Он в реве львов звенящих рифм искал,  
Переплывал тропические реки,  
Пал, как Шенье. И с пулей у виска  
Ушел в страну умолкнувших навеки.

И третий пел настойчиво и зло  
День изо дня угрюмей и упорней —  
Скитаясь в дебрях непонятных слов,  
Созвучных слов откапывая корни.  
Косноязычный знахарь-Велемир —  
Он шел всю жизнь к какой-то новой Мекке  
И, приоткрыв завесу в новый мир,  
Ушел в страну умолкнувших навеки.

О, граждане! Дни обгоняют дни,  
Мы слышим весть о каждом человеке,  
В котором бил размерных слов родник —  
Ушел в страну умолкнувших навеки!<sup>19</sup>

Цикл некрологических стихотворений создает Лев Горнунг:

**Колокольня***Н.В. Волькенау*

Медный колокол на башне...

*Н. Гумилев*

Безумных слов разнузданный табун  
Он укротил рукою своевольной  
И все собрал, безжалостно, как гунн,  
На привязи, под старой колокольной.

С тех пор слова его — колокола —  
Поют зарей над заходящим миром,  
Когда встает густеющая мгла  
Да запад опьяняется эфиром.

Но никого в года великих смут  
Не миновало мщенье гильотины.  
Пусть гении для смертного умрут,  
Чем смертные в своих подвалах гинут.

И он ушел, пленительный звонарь,  
Как ветер севера, холодный и безбольный,  
И только звезды да луны фонарь  
Плывут в ночи и бредят колокольной<sup>20</sup>.

Вот уж год, как нет его на свете,  
Круглый, скоро прокатился он,  
А в ушах наматывает сети  
Закаленный и чеканный звон.

Я читаю медленно и грубо,  
Временами тороплюсь скорей,  
И «Болонью» тихо вторят губы —  
Пятистопный золотой хорей.

И звучат томительно и кротко  
Образы, волнующие кровь:

«Подошла неслышною походкой,  
Посмотрела на меня любовь».

Все стихи его, без исключения,  
Я люблю, наверно навсегда,  
И не лучше ангельское пенье  
В райских упоительных садах.

Их читать ничто не помешает,  
Не заставит никогда забыть,  
Неужели их не всякий знает,  
И не каждый сможет полюбить.

\* \* \*

*Это сделал в блузе светло-серой.  
Невысокий старый человек.*

Пробил час и старая Россия  
Повернулась красным колесом. —  
Не приход обещанный Мессии  
Это был, и не намек о нем.

То народ-титан распутал сети,  
Без труда, как ворох паутин,  
И шутя сломал тиски столетий,  
Всё сметая на своем пути.

Был он мастер «ремесла святого» —  
Офицер последнего царя —  
С помощью отточенного слова.  
Обо всем стихами говоря.

Но погиб, посту не изменяя,  
Сохраняя твердость до конца,  
Ничего врагам не выдавая  
Мускулами своего лица.  
И рабочим старым отлитая  
Пуля просвистела не с холмов,

Не к Двине, а, гулко замирая,  
У холодных невских берегов.  
И в глазах померкших — вестник рая —  
Промелькнул крылатый серафим.

Не в побоище на поле бранном,  
Не с победой при звучаньи труб,  
А в столице северной туманной  
замерла улыбка мертвых губ.

Так он кончил с верой и надеждой  
Свой недолгий, плодотворный век.  
Это сделал в кожаной одежде  
Зачерствелый, злобный человек<sup>21</sup>.

В московском машинописном журнале «Гермес» была также помещена совместная статья Бориса Горнунга и Максима Кенигсберга «Август 1921 года», посвященная Блоку и Гумилеву, где о последнем говорилось:

Он твердой и уверенной стопой шел к созданию ренессанса в русской поэзии. Пути искания традиций: парнасцы, восток, Готье, Пляда, Кузмин — все это перегорало и перерождалось в его лирике. Спокойное и уверенное мастерство, четкость мысли и слова — это элементы классического стиля, но еще не классицизм и Возрождение. «Прекрасная ясность» Кузмина и логическая строгость Ахматовой — это лишь первые шаги, лишь первые светочи по дороге к царству Слова. Они еще не могли стать канонами. Поэзия Гумилева пошла дальше по этому пути. В широком всеобъемлющем его творчестве, охватывавшем почти все виды словесного искусства, создан выход к новому классическому канону. Для этого он обладал силой Ронсара и Дю-Белэ, и пафос автора «*La Défense et illustration de la langue française*» был очень сродни и ему<sup>22</sup>.

В бумагах Льва Горнунга сохранилось и переданное им мне стихотворение Николая Бернера:

**Памяти Н.С. Гумилева**

Пусть разгильдяями прозвали нас,  
Но разгильдяйство наше знает цену  
Тому художнику, кто в страдный час  
От натиска толпы спасал камену.

Кто среди нас не утратился кар  
Бича Безбожного Савонаролы, —  
Себя не помня, ринулся в пожар,  
Опустошающий Христовы доли.

Конечно он, по прозвищу эстет,  
Столь родственный изысканному Уайльду,  
И до конца хранящий пиетет  
К надменному и доблестному скальду.

Но тверд и стоек он, как монолит, —  
Так злостью накаляется железо.  
Мы помним Францию — еще звенит  
Наперекор казарме марсельеза.

Один из трех достоин был тогда  
И барм венца и вольного закона...  
Ах, только наша пьяная орда  
Не породила на пути Дантона.

*Июнь 1924<sup>23</sup>*

Инициаторша кружка московских акмеистов Сусанна  
Укше написала три стихотворения памяти Гумилева:

Я не знаю, где его могила...  
Кто укажет, как ее найти,  
Чтоб добыть у ней священной силы  
Для его волшебного пути.  
Только раз глубоко приклониться  
В мягкий шелк зеленого ковра, —  
И я знаю — запоют страницы  
Небывалых грез из-под пера.  
О далеких заповедных странах,

Куда белый воин не ступал —  
О газеллах солнечных Ирана,  
О дворце, где жил Сарданапал,  
О пустыне желтой и безлюдной,  
Где земля рождается в огне,  
Об усталых медленных верблюдах  
С драгоценной ношей на спине.  
Я полжизни отдала б за это —  
Через год закрыла бы глаза,  
Чтобы сны убитого поэта  
Золотому солнцу рассказать.

1923

Здравствуй, ветер, вольный и холодный,  
У широкой, роковой реки.  
Сколько ночью оторвалось лодок —  
И в порту крестились старики.  
Ветер! Ветер! Ты ходил дозором  
Возле шхер финляндских поутру,  
Заливая радужным узором  
Посинелый молчаливый труп.  
Ты не видел русского поэта?  
Был он строен, тонок и высок.  
Был расстрелян позапрошлым летом —  
Я не знаю, в сердце ли, в висок?  
Если видел... Слушай, ветер милый,  
Там, где сосны шепчутся, шурша,  
Приготовь веселую могилу  
На песке в зеленых камышах.  
И укрой замученное тело  
Влажных кружев пенною каймой,  
И венец у раны закоптелой  
Золотыми брызгами омой.  
О страна, которой нет любимей,  
Спой ему, как прежде пела мать,  
И шепни ласкающее имя,  
То, с которым легче умирать.

1923

Лишь одно бы принял я не споря —  
Тихий, тихий золотой покой,  
Да двенадцать тысяч футов моря  
Над моей пробитой головой.

*Н. Гумилев*

О мать-земля! Беглец упрямый,  
Я всюду гость незримых стран.  
Но сделай так, чтоб вместо ямы  
Мне стал могилой океан.  
И, охватив волну руками,  
Я вспомню о тебе, земля,  
Когда меня с тяжелым камнем  
В пучину бросят с корабля.  
Там, растянувшись в мягкой тине,  
Окутан влажною травой,  
Я буду видеть купол синий,  
Разверзнутый над головой.  
В моем серебряном чертоге,  
В безмолвии и тишине,  
Я буду говорить о Боге,  
И рыбы приплывут ко мне.  
Там я чудес увижу много,  
Каких не знает мир земной.  
Седое брюхо осьминога  
Проколыхнется надо мной.  
И вечно зрячими глазами  
Сквозь пласт литого хрусталя  
Я прослежу за парусами  
Пробег любого корабля.  
И хорошо, сорвавшись в небель,  
Смотреть на мир не день, не три,  
А вечно видеть звезды в небе  
И крылья утренней зари.

*Май 1926<sup>24</sup>*

Стихотворение «Здравствуй, ветер, вольный и холодный...» было оглашено ею в кружке «Зеленая лампа» 12 марта 1927 года. В июне Укше показала по этому поводу на допросе в ОГПУ, что в августе 1921-го гостила у профессора В.В. Свят-



ловского на Валдае, узнала там о расстреле, и что читала это стихотворение и ранее в «Литературном особняке», где

мне кто-то из присутствующих (матрос) сказал, что: «У нас в Питере сажали на баржу и вывозили в море и там расстреливали их. Что, наверное, никакой могилы и нет» <...> Свое стихотворение о Гумилеве я прочла потому, что считаю его лучшим<sup>25</sup>.

В Оптиной пустыни были написаны два стихотворения (второе осталось незавершенным) бывшего члена Цеха поэтов Николая Бруни:

### Крестный ход

*Памяти Н.С. Гумилева*

За нами высились белые стены,  
Ковали воздух колокола,  
А вниз в долину снежной пеной  
Толпа восторженно текла.

Толпа раскинулась метелью  
По осиянным, осенним полям —  
Это люди и ангелы пели  
Дальнему лесу и небесам!

О том, что вечны древние вёсны,  
Что орлей юностью дрогнет Русь  
И что грядет жених некосный,  
Сказавший миру: «Я вернусь...»

Над пеплом отбушевавших пожаров,  
Над позором разрытых могил  
Встает, как века, высокий и старый,  
Трубящий Архангел Гавриил.

И ветхий днями, осиянный  
Сединами родных снегов,  
Поднимет в этот день желанный  
Детей и старых из гробов.

Освобожденные, мы шагаем  
За берегами русских рек.  
И вот неслыханные дали  
Нам открывает новый век! —

Уже под нами не Россия,  
Отпрянули горы и берега  
И выше всех, как весна — Мария! —  
Лилии, розы и снега.

*Оптина Пустынь. 1922*

### **Памяти Николая Гумилева**

Здесь возможно ли нам ошибиться,  
Не туда по ошибке свернуть —  
Электрическая колесница  
Ей железом начертан путь.

Только вдруг озверевшее время  
Выйдет из берегов,  
Как Нева из гранита, и выбросит бремя  
Вспененной памяти, трепет снов

И заботы, и дневники! И закружит  
Затопит! Верите ль — этот закат  
(Смерть вы хотите сказать) кровавая лужа  
Рука вина и проклятий — Ад!

Но это, клянусь, — это правда: величье  
Друга жизни дороже! Святая честь  
Золота звезд и чего бы еще — без различья  
Царств, океанов — всего не исчезть!

Так и стоял он, как из гранита.  
Время, крутясь, пенили кровь и вино.  
Это всесветная тень! Тень паразита  
В пресловутое лезла окно,

С головою дымящей залитых пожарищ  
Муза, плачь!  
Клянусь, он сказал: нет, гражданин палач,  
Я вам не товарищ.

Я рыцарь Девы. Воин небесных стран  
Я...<sup>26</sup>

Наконец, стихи поэтов, числившихся учениками убитого мастера<sup>27</sup>, начиная с «Памяти Н. Гумилева» Николая Тихонова, стихотворного диптиха, в смысловой стройке которого участвовали гумилевский «Леопард» 1920 года (с его несбывшимся предсказанием «У жирафьего колодца / Я окончу жизнь мою»), зенкевичевская «Смерть лося» 1912 года и герои Кнута Гамсуна:

## I

Серый лось защемил рога,  
Глаза от боли мутны —  
Ляжет мертвым к ногам врага,  
Победившей его сосны.

А был он строен и горд,  
Кидаясь в широкий гон,  
И воплем собачьих орд  
Охотник славил его.

Я плакал о той сосне,  
Я сам умирал, как лось —  
И мне в зеленой стране  
Охотником быть пришлось.

## II

Любовь не глядит назад  
Она всегда, как стрела.  
Ты помнишь об этом, брат,  
Упрямый поручик Глан?

Я встретил одну из Эдвард  
На своем коротком веку,  
А в Хараре живет леопард  
С гумилевской пулей в боку<sup>28</sup>.

Стихи Веры Лурье, Иды Наппельбаум вошли в антологию Вадима Крейда. Стихи об учителе были написаны и другой сестрой Наппельбаум — Фредерикой (они не вошли в посмертный, 1993 года, сборник ее стихов). Первое из этих стихотворений так и названо — «Памяти Николая Гумилева»:

Где-то есть пустыня золотая,  
Из которой солнце встает,  
В этот час оно поднимаясь  
Озарило иначе ее.  
А на севере море зашумело  
И серее стала трава;  
Он ушел спокойный и смелый  
И унес золотые слова.  
Будет память крепка, как камень,  
Будет ясен веками след,  
Незабываемыми словами  
Он мечтал о синей земле.  
И тот, кто сегодня позабудет,  
Вспомнит, вспомнит потом...  
Много ли знали люди,  
Много ль знали о нем.  
В час этот, час последний  
Вспомнил ли, полюбил  
Эту родную зелень,  
Дальний, широкий Нил,  
Город наш, шумами полный,  
И грозную тишь пустынь,  
Радостно ли ушел он  
В синюю, синюю синь.

Стихотворение датировано 2 сентября 1921 года, то есть следующим днем после сообщения в «Петроградской правде» о казни участников Таганцевского заговора.

В том же сентябре появляются у нее и другие стихотворения (тоже не публиковавшиеся):

Стали дни тяжелей и короче  
Эти серые, серые дни  
И протяжнее стали ночи  
И спокойней стали они.  
Сердце вспомнит, но не повторит,  
Не вернет бывшего назад,  
Было легче горячее горе,  
Когда мрак застилал глаза.  
Синим светом оно опалило,  
А теперь тишина, тишина,  
И веселье мое через силу  
И печаль моя не ясна.

\* \* \*

Луна очерчена широким кругом,  
Стою одна в ночной осенней мгле.  
Нам завещал ушедший, был он другом,  
Томление о голубой земле.  
Но я люблю благую эту зелень  
И звон ветров, высоких и лихих,  
И каменность в моем застывшем теле  
И о земле прозрачные стихи.  
А ты тоскуешь не о синем мире,  
Не о Венере дальней и родной,  
О девушке, играющей на лире  
Холодную, бестрепетной рукой.  
Я знаю, дрогнут, дрогнут эти струны  
И звук прольется, но не для тебя,  
Она поймет такой же ночью лунной,  
Как тяжело жить, тоскуя и любя.  
И вспомнит вновь она твою тревогу  
И тишину своих спокойных дней,  
И позовет на светлую дорогу  
Томления о голубой земле.

*20 сентября 1921 г.*

\* \* \*

Каждой радости час положен,  
Он ушел в осеннюю муть,  
И теперь ничто не поможет —  
Не вернуть ее, не вернуть.  
Сердце странные дни забудет,  
Эти думы все об одном.  
И тоскует, словно о чуде,  
О небывшем счастье моем.

*18 сентября 1921 г.*

\* \* \*

Я помню: май был холоден и строг,  
Бежали тучи синею дорогой,  
Весенний ветер мне помочь не мог,  
И ветры осени мне не помогут.  
Опять в Неву широкую смотрю  
И в небо серое и голубое,  
Заледенели руки на ветру,  
И сердце чувствуется, как чужое.  
В ресницах сухость затаенных слез,  
Опять, опять холодное затишье;  
Какую горесть этот год принес,  
Какой печалью этот воздух дышит.

*Сентябрь 1921 года<sup>29</sup>*

Поминальное стихотворение Елизаветы Полонской содержит внутренний драматизм — ему предшествовала ссора с Гумилевым по поводу одного ее стихотворения<sup>30</sup>:

Пусть целует и пьет кто захочет,  
Не хочу ни любви, ни вина.  
Я бессонною светлою ночью  
И певучей строкою пьяна.

И встает над страницей бумажной  
Пенье лютни и яростный вой,

Низкий голос сухой и протяжный,  
Анапестов магический строй.

Да, поэмы такой безрассудней  
И печальней не встретилося мне.  
Лебеденок уродливо чудный,  
Народившийся в волчьей стране.

И мне видится берег разрытый,  
Низкий берег холодной земли,  
Где тебя с головой непокрытой  
Торопливо на казнь повели,

Чтоб и в смерти надменный и гордый  
Увидал перед тем, как упасть,  
Злой оскал окровавленной морды  
И звериную жадную пасть<sup>31</sup>.

Завершить демонстрацию поминальных стихов пришлось бы напоминанием о том, что в силу самой темы у многих из них было немало шансов не сохраниться. Скажем, Вера Кровицкая запомнилась мемуаристу на прощальной вечеринке в гимназии М.Н. Стоюниной осенью 1922-го:

Сильно запала минорная нота, внесенная бывшей ученицей Коровицкой <так>, поэтессой из свиты Гумилева, не побоявшейся прочесть несколько скорбных стихотворений, написанных ею год назад под впечатлением расстрела ее учителя. Вряд ли подобные выступления прошли бы безнаказанно года три спустя, когда ГПУ усовершенствовало свой сыскной аппарат<sup>32</sup>.

Такова же история стихотворения Георгия Шенгели, надписывавшего свой сборник «Норд»:

Многоуважаемому Павлу Николаевичу Лукницкому товарищу по общей любви к Н.С.Г.

Г. Шенгели. 29./22/VI<sup>33</sup>

С ним как будто произошла история с вызовами на допросы после чтения в Коктебеле в 1924-м стихотворения памяти Гумилева<sup>34</sup>. Это чтение описано во включенном в дневник Максимилиана Волошина рассказе М.С. Волошиной:

Шенгели прочел несколько стихов. Затем его начинают просить прочесть стихи памяти Гумилева. Просит М.М. Шкапская. Г<еоргий> А<ркадьевич> стесняется, говорит: «Это ведь ненапечатанное — может многим не понравиться». Я: «Тем более... Здесь цензуры нет». Ш<енгели> читает хорошее стихотворение, где говорится о том, что приговор поэту писали «накокаиненные бляди»... Но что же им до того, когда им светит «вершковый лоб Максима».

«...А позвольте спросить, что это: “вершковый лоб Максима”?» — спрашивает Б<орис> Н<иколаевич> Бугаев> срывающимся голосом. «Лоб Алексея Максимовича Пешкова», — хладнокровно и раздельно отвечает Ш<енгели>. «Как, так говорят о Русском Писателе — в твоём доме, Макс! Нет, этого я не могу допустить»... — «Да, но вы живете в обществе, где не только говорят, но где расстреливают поэтов», — отвечает Шенгели на этот вызов.

Тук, тук, тук... Он (Б<орис> Н<иколаевич>) бегом сбегает с вышки по лестнице. Я (гов<орит> Маруся) бегу за ним, застаю его в его комнате на палубе. Горит свет, и он сбрасывает книги, тетради и рукописи в чемодан, раскрытый на полу<sup>35</sup>.

Само это стихотворение пока не разыскано<sup>36</sup>.

Мы не знаем, например, отзывался ли стихами на смерть Гумилева Константин Липскеров. В несколько загадочной надписи, чего-то вроде конспекта будущего стихотворения, на обложке книги Константина Липскерова «День шестой» (М.; Пг., 1922) слышится, может быть, игра в загробный диалог, восполняющий прежнюю, не совсем удачную пробу заочного разговора московского поэта с петроградским (в рецензии на «Колчан»<sup>37</sup>):

Да! Бог не сотворил ничего злого... Зло пребывает во вне — через навык и это мой первый день. Рад нашей встрече, мой милый



Николай Степанович. P.S. Н. Гумилеву, барак № 3. К. Липскеров. 1922 год<sup>38</sup>.

О ряде других обстоятельств, сопутствовавших резонансу (но и отсутствию такового тоже) казни поэта — о «гносной статье» (по выражению Ахматовой) Александра Тинякова и его куплетах «Заговорщики» («И за подлые деянья / По заслугам воздадим!»), о роли стихотворения «Рабочий» в становлении посмертного мифа<sup>39</sup>, о сходстве стихотворения «Рабочий» со стихотворением Н. Черкасова «Философия», о табу на имя Гумилева с первых же месяцев после убийства и о нарушителях его (А.Л. Слонимский), о бунте Василия Князева при скорбном известии, о слухах о спасении и бегстве, о скандале вокруг печатки в романе Эренбурга «Рвач» и т.д., — см. нашу статью «К истории культа Гумилева. I»<sup>40</sup>. Из намеченных в ней тем выделим историю посмертных поношений со стороны гумилевского знакомца по Парижу 1917-го Никандра Алексеева<sup>41</sup> и сюжет о реакции встреченных в кафе «Стойло Пегаса» имажинистов на эту смерть (в связи со стихотворением В. Шершеневича «Ангел катастроф»), о которой рассказывал в своих корреспонденциях английский писатель Карл Эрик Бехгофер<sup>42</sup>.

- 1 Белая лира: Антология поэзии Белого движения / Сост. В.В. Кудрявцев. Смоленск, 2006. С. 499.
- 2 *Нарциссов Б.* Стихи. Нью-Йорк, 1958. С. 60.
- 3 *Слонимский М.* Верные друзья: Роман // Звезда. 1951. № 7. С. 36; см. воспоминания М.Л. Слонимского: Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 155–157.
- 4 *Айхенвальд Ю.* Литературные заметки // Рувль. 1926. 11 августа.
- 5 Русская молва. 1912. 25 декабря; *Грааль Арельский.* Летейский брег (1910–1913). СПб., 1913. С. 30.
- 6 *Шершеневич В.* Литературные тени // Нижегородец. 1913. 24 августа.
- 7 Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века) / Сост. М.И. Гилельсона и К.А. Кумпан. Л., 1988. С. 668.

Существование С.С. Петрова в Цехе было небезоблачным. 29 февраля 1912 года Городецкий на рукодельном бланке Цеха поэтов (изображение лиры) писал С.С. Петрову по поводу по-

явления его подписи в «Нижегородском листке» от 5 февраля под программой «Академии Эгопоэзии» среди «ректориата»: «Ваше письмо будет принято во внимание, и в окончательном виде решение сообщу Вам 2 III. Исключаемым всегда представляется видимость личного почина. О поспешности Вы говорить не можете, поэтому> что> Вам было сделано предупреждение. С<ергей> Г<ородецкий> (Собрание М.С. Лесмана). Памятуя о его эгофутуристском прошлом, контакты с ним пробовал наладить В. Шершеневич — см. два его письма: *Тименчик Р.* К истории культа Гумилева. I // Тыняновский сборник. Вып. 13. М., 2009. С. 333–334.

- 8 Поэзия узников ГУЛАГа: Антология / Сост. С.С. Виленский. М., 2005. С. 244–245. И.Н. Розанов записал 3 сентября 1921 года в дневнике: «...от Ю.И. А<йхенвальда> услышал о расстреле Гумилева. “Я думал, — сказал он, — что рус<ским> Андре Шенье будет Блок, а оказалось вот кто настоящий А. Ш<енье>”» (*Богомоллов Н.А.* А. Ахматова в дневнике И.Н. Розанова (1914—1924) // Русская литература. 2016. № 3. С. 215). В 1922 году Михаил Зенкевич делал свои переводы «Ямбов» Андре Шенье. Ср. также: «...мы узнали из советских газет, что Николай Степанович Гумилев расстрелян в большевистском застенке. Трудно передать то чувство, которое охватило всех, с литературой связанных, при этом известии. Пожалуй, только стихотворение Марины Цветаевой, посвященное Андрею Шенье, может передать и горечь, и глубокий смысл наших тогдашних переживаний:

Андрей Шенье взошел на эшафот,

А я живу, и это — смертный грех...»

(*Бем А.* Памяти Н.С. Гумилева (1921–1931) // Руль. 1931. 27 августа). Ср. также: *Кондратьев А.* Андре Шенье русской революции // Слово (Рига). 1926. 15 августа). О переплетении мотива Шенье с единожды упомянутым Гумилевым в прозе Юрия Анненкова см.: *Данилевский А.* Автобиографическое и прототипическое: «Повесть о пустяках» Юрия Анненкова // Диаспора. Новые материалы. I. Париж; СПб., 2001. С. 274–276.

- 9 См., например, отповедь славистке Людмиле Кёлер: *Нольман М.* Гибельный альянс науки и антисоветизма // Вопросы литературы. 1973. № 6. С. 173; о ней как распознавательнице гумилевского влияния см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики: Иннокентий Анненский; Николай Гумилев. М., 2017. С. 561.
- 10 См. раннее версифицированное изложение некрологического канона:

Овеянные ветром моря  
Борцы сжигали скучный порт,  
Чтоб бросить золото и горе  
В раструбы путевых ботфорт.  
И ты от женщины певучей  
Средь темных скал над дымной кручей,  
Где бьется пленный водопад.  
Суровый львиный взгляд — с тобою!  
Ты им глядел в печальный миг,  
Когда трубою золотою  
Воззвал на брань архистратиг.  
Ты в бурю алую народу  
Принес свой гордый скифский лук,  
Припал к седлу, забыл свободу  
И жил для крови и разлук.  
Так ты ли, мировые брани  
Впивавший сердцем, словно мед,  
Не встанешь в жуткий час страданий,  
Когда отчизна — кровь и гнет?  
Где на погосте спят во схиме  
Молитвенники древних лун —  
Поет средь синей хвои, в дыме  
Пожаров русских Гамаюн.  
Рыдает, клювом сердце ранит,  
Поет кровавою слезой,  
И Ярославны вопль туманит  
Правеж, что русской был землей.  
— Тебе ль молчать, впивавший бури?  
Тебе ль не встать на палачей?  
И вот блестят, как очи фурий,  
Отверстия ружей... Ночь ночей.  
За час, когда в глухом подвале  
Шепталась с палачами смерть  
И вспоминались жизни дали,  
И раскрывалась в свете твердь —  
Тебе Руси любовь и слезы,  
Молитва горестных сердец,  
И чистых душ святыя грезы,  
И славы пламенный венец.  
Как ты, за Русь оденем латы,  
Как ты, пойдем в кровавый бой

И радостно зажжем стигматы  
Над жизни сонною рекой.

(Ждановский К. Памяти Гумилева // Русская правда (Париж). 1922. № 1. С. 22).

- 11 Самая полная книжная подборка — «Образ Гумилева в советской и эмигрантской поэзии», антология, составленная Вадимом Крейдом и выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 2004 году. Здесь собраны в числе прочих стихотворения Д. Андреева, П. Булыгина, Б. Волкова, В. Гарднера, Э. Голлербах, Е.И. Дмитриевой, Д. Кленовского, В. Корнилова, М. Колосовой, В. Лурье, Н. Моршена, И. Напельбаум, А. Несмелова, И. Одоевцевой, Н. Оцупа, Вс. Рождественского, Н. Станюковича, М. Струве, М. Тарловского, Н. Туроверова, Г. Эристов. По материалам этого сборника (хоть и без всяких ссылок на него) скомпилирована глава о поэтическом памятнике Гумилеву в кн.: *Доливо-Добровольский А.В.* Семья Гумилевых. Кн. 1: Николай Гумилев: поэт и воин. СПб., 2005. С. 622–673 (с бессмысленным отнесением к Гумилеву стихотворения Георгия Иванова «Закат золотой. Снега...» и со спутанными Глебом Струве и Михаилом Струве).
- 12 *Левин Г.* Московские ночи / Републ. и прим. Р. Тименчика; предисл. Ю. Абызова // Даугава (Рига). 1988. № 11. С. 105–111. Ср. в «Трудах и днях Гумилева», составленных П.Н. Лукницким, запись о Москве в начале июля 1921-го со слов О.А. Мочаловой: «После Союза писателей вместе с Н.А. Бруни, О.А. Мочаловой и неким Левиным был у Б. Пронина» (*Лукницкий П.Н.* Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 705). Николаю Бруни Г.А. Левин посвятил стихотворение, вошедшее в его сборник «Тридцать два». Заметку Г.А. Левина о Мандельштаме в латышском журнале 1929 года см.: *Тименчик Р.Д.* Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 233–235.
- 13 Ср. об аналогичном событии в Тифлисе: «Чтение “Огненного Столпа” произвело на всех присутствующих потрясающее впечатление. Чудесно хорошо читал Борис Агапов. Мы как бы присутствовали при рождении “Слова” с большой буквы, при рождении Великого Поэта» (*Эристов Г.* Тифлисский Цех поэтов (Из воспоминаний) // Современник (Торонто). 1962. № 5. С. 32. О Георгии Арчиловиче (Захарьевиче) Сидамон-Эристове (1902–1977), ушедшем с немцами из Крыма, жившем затем в Италии, выпустившем там несколько сборников стихов и неоднократно под разными псевдонимами писавшем о Гумилеве,

см.: Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) / Вступит. ст., сост., подгот. текста и прим. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006. С. 784–785; Пасквинелли А. Георгий Эрстов, русский поэт в Милане // Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции: Международная научная конференция / Сост., научная ред. М.Г. Талалая. М., 2006. С. 304–319; Равдин Б. Памятка читателю газеты «Парижский Вестник» // Vademesum: К 65-летию Лазаря Флейшмана. М., 2010. С. 481, 490–491; Равдин Б.А. Глеб Глинка: Утраченный эпизод биографии // Venok: Studia slavica Stefano Garzonio sexagenario oblata. Stanford, 2012. Р. 307–309; Гардзонио С., Поляков Ф. Хроника большого времени: Заметки о биографии Георгия Эрстова // eSamizdat 2014–2015 (X). Р. 77–80.

См. также стихотворение Г. Эрстова «У Китайгородской стены в 1925 г.»:

Вдоль стены букинистов ряд,  
Молча ищу Гумилева.  
Таков уж нынче обряд,  
Здесь понимают с полслова.

Чирикнул шалун-воробей,  
Он не боится Лубянки,  
Ему не понять, хоть убей,  
Ужаса этой «стоянки».

Осторожно, из-под полы,  
Даст мне заветную книжку  
Старик, осмотрев все углы,  
Будто карманный воришка.

Дома дверь запрю на замок  
(Здесь моя Броселиана),  
Чтоб сосед-партиец не мог  
В музу стрелять из нагана.

(Эрстов Г. Синий вечер. Милан, 1956. С. 68). «Броселиана» — отсылка к стихотворению Гумилева «Дева-птица»).

- 14 Левин Г.А. Н.С. Гумилеву // Культура (Саратов). 1922. № 1. С. 7.  
15 Об этой книге начинавший тогда поэт писал, апеллируя к Гумилеву: «Может быть, мы все это слышали когда-то. Может быть, надо осудить за это. Гумилев сказал: “Лишь девственные наименования поэтам разрешаются отсель”. Но, строгий, он

простил: “бледно-розовый цветок целуя”, быть может, “не свершим преступленья”. Лугин знает, он повторяет нежные слова: “любовь всегда одна и та же” — как прекрасно в этом сонете “любовь” и “кровь”, насколько лучше, чем “любовь” и “стихов”. Вот, “стихи”, он так часто повторяет “стихи”, поэт должен бояться этого слова. Это не целомудренно. — (Шкловский, отрицатель нецеломудренного, не первый, конечно, забудется); не целомудренно в стих. “Ты уедешь” — это обнажение приема. В книге много “сделанных” стихов, это не плохо, но это не те “царственные стихи”, что Теофиль Готье называл вечными; может быть, странно это “Безрадостней”, такое есенинское: разве так можно теперь писать. В сонете, надписи на томе Шекспира, такое ученическое задание — Назовите имена главных героев Шекспира, — может быть, это уже не творчество. У Блока нет таких стихов, Блок останется вечен, даже если его перестанут читать. Может быть, повторяя Гумилева, мы можем стать эпигонами Брюсова: Лугин родился поэтом, но не поэтом написана эта книга. Это стало стихами после. Есть фраза Делакура: “Нужно хорошо знать технику, чтобы в момент творчества забыть о ней”. Лугин о ней не забыл, как не забывал Брюсов. Может быть, он слишком стихотворец.

Вот, цитаты. Или Баратынский, или Сюлли Прюдом, не помню, писал о своих стихах: “Лучшее осталось во мне, моих истинных стихов никогда не будут читать”. Эти ненаписанные стихи — писал он — слышны лишь самому поэту, они “неведомы другим”. Но их чувствуешь за стихами того же, напр. Блока, Кузмина; “За тридцатью двумя” я не почувствовал их; “Тридцать два” волнуют потому, что они похожи на самое любимое.

Вот все об этой книжке — по поводу ее. Ее все-таки можно читать, ее хорошо читать — даже после Гумилева, после многих. Кажется, это Малларме: “Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля”. Знаю усилие стиля и в писарских писаниях; но, может быть, мастерство может одухотвориться: еще Гюго “заполнял поэзией расстояния между рифмами”; так сыплют землю на речное дно, чтобы построить мост. По этому мосту гулко идти, проступают, звеня шпалы; мне сладко самое звучание, форма, отлитое, техника. Мост кончится, я знаю, но не томят, “содрогаясь гулко, виадуки”, выверенные пиррихии и пэоны» (Чиннов И. Рец. на: Г. Лугин Тридцать два. Берлин, 1930 // Мансарда (Рига). 1930. № 2. С. 30–31).

- 16 Вера Ключева. Рукописный сборник стихотворений «Стихи. II» («Акция ЛТ»: Аукцион 17 мая 2008 г. М., 2008. С. 42); о Вере Николаевне Ключевой см.: *Соболев А.Л. Летейская библиотека. Т. I: Биографические очерки. М., 2013. С. 162–175.*
- 17 РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 166 (сообщено Т.Ф. Нешумовой).
- 18 РГАЛИ. Ф. 2283. Оп. 1. Ед. хр. 146 (приложено к письму Амфиану Решетову; предназначалось для невышедшего номера журнала «Маковец»; о Владимире Ивановиче Шишове см.: *Соболев А.Л. Летейская библиотека. Т. I. С. 406–417. Анна де Ноай (Anna, Comtesse Mathieu de Noailles; урожд. княгиня Бибеско Бассараба де Бранкован; 1876–1933) — французская поэтесса румынского происхождения, иногда сравниваемая с Ахматовой (в частности, Георгием Адамовичем).*
- 19 *Панов Н. (Д. Туманный). Человек в зеленом шарфе: Вторая книга стихов (1924–1927 гг.). М., [1928]. С. 32–33; 3 декабря 1924 года автор записал в альбом «акмеисту» Н.Н. Минаеву вторую строфу (Минаев Н. Нежнее неба: Собр. стихотворений / Сост., комм. А.Л. Соболев. М., 2014. С. 590). В 1961-м незнакомый Ахматовой читатель Ю.И. Бродский из Сталина (Донецка) писал о том, как услышал это стихотворение от поездного попутчика, и спрашивал, неужели она не напишет о Гумилеве (РНБ. Ф. 1073. № 1373).*
- 20 *Гермес. 1923. № 4. С. 43.*
- 21 *Гермес. 1922. № 3.*
- 22 *Горнунг Б. Поход времени: Статьи и эссе / Сост. и прим. М.З. Воробьевой. М., 2001. С. 215–216; ср. в воспоминаниях Ольги Арбениной о Гумилеве: «Вообще мы говорили обо всем: и о войне, и об Африке, и о царице, и о Ронсаре, и Дю Белле» (Гильдебрандт-Арбенина О. Девочка, катящая серсо...: мемуарные записи, дневники. М., 2007. С. 103).*
- 23 *См. о статье Н.Ф. Бернера «Памяти Гумилева», к третьей годовщине его смерти, которая предназначалась для четвертого номера журнала «Гермес», но «так и не увидела свет»; А. Устинов указывает, что эта «статья сохранилась в собрании Л. Горнунга», датируя ее 1924 годом: Устинов А. Две жизни Николая Бернера // Лица: Биографический альманах. Вып. 9. СПб., 2002. С. 26). Ранее Н. Бернер отзывался о военных стихах Гумилева: «приторно-патетичны» (Бернер Н. Война и поэзия. // Песни Жатвы. М., 1915. С. 25).*

- 24 Укше С.А. «Стихов серебряные звенья...»: Избранное / Предисл. Е.В. Алехиной. Сост. Ю.В. Алехина. Прим. В.И. Безъязычного, Ю.В. Алехина, Е.В. Алехиной (при участии В.И. Масловского). М., 2007. С. 95, 201–202. Ср. также в письме С. Укше Н.Д. Телешову от 18 апреля 1944 года: «Покойный Пяст незадолго до смерти квалифицирует меня моим знакомым как лучшую поэтессу после Ахматовой» (РГАЛИ. Ф. 499. Оп. 1. Ед.хр. 75. Л. 160б).
- 25 *Виноградов В.К.* «Зеленая лампа» // Независимая газета. 1994. 20 апреля.
- 26 *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 8. Симферополь, 2010. С. 42–43. См. о нем: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 330–331 (статья К.М. Поливанова); *Нерлер П.* 100 лет: Н.А. Бруни // Памятные книжные даты. М., 1991. С. 130–132; *Губерман И.* Штрихи к портрету: Роман. М., 1994.
- 27 Некоторые из них уже подвергались исследованию: *Rohling H.* Auseinandersetzung mit dem Tod: Zu Vera Louries Gedichten uber Gumilev // Georg Mayer zum 60: Geburtstag. Munchen, 1991. S. 133–141; *Doherty J.* Three Poetic Responses to the Death of Nikolay Gumilev // Slavonica. 1996. Vol. 3. Issue 2. P. 27–48 (Ахматова, Н. Оцуп, Георгий Иванов). Опыт прочтения стихотворения К. Вагинова «Грешное небо с звездой Вифлеемской» как перекликающегося с «На далекой звезде Венере» и, таким образом, как возможного отклика на смерть Гумилева (*Anetone A.* Konstantin Vaginov and the death of Nikolai Gumilev // Slavic review. 1989. Vol. 48. № 4. P. 631–636), пока представляется неубедительным. См. также о стихотворении Леонида Липавского памяти Гумилева:

Слушай: Там, в лесах араукарий,  
Там, где Рак проводит красный тропик,  
И летит на выдолбленной лодке  
Мертвый, покидающий страну, —  
Сон бежит в запутанные чащи,  
По пятам за ним охотник скачет,  
Но темны леса в дремучем мире,  
Да хранит тебя Господь повсюду...

(*Валиева Ю.* Липавский Леонид Савельевич 1904–1941 // Литературный Санкт-Петербург. XX век: Энциклопедический словарь. В 3 тт. Т. 2. СПб., 2015. С. 479).



- 28 Тихонов Н. Из могилы стола / Сост. И. Чепик-Юренева. М., 2005. С. 272–273; исправляем очевидную ошибку публикатора, прочитавшего «поручик Глас». Напрашивающееся сближение лирического героя Гумилева с гамсуновским лейтенантом оспаривалось одним из бывших подсоветских читателей: «Может быть, действительно в Гумилеве соединился поэт и воин, муж и ребенок. Иначе, откуда эта чистота взгляда на мир, простота и благородство восприятия жизни? Вспомним названия его книг: “Огненный столп”, “Колчан”, “Капитаны”, “Жемчуга”, “Шатер”. Как интригующи эти заглавия для подростка, начитавшегося Луи Буссенара и играющего в индейцев! Но они дороги и для нас, взрослых и усталых людей, давно знающих, что Буссенар был ловкий выдумщик, а индейцы превратились в рабов американских дельцов и огненной воды. В чем же здесь секрет, в чем тайна покоряющего обаяния гумилевской поэзии? Ответ на этот вопрос мы найдем, только непосредственно вступив в необычайный замороженный мир его поэтической фантазии. Оказавшись под звездным шатром этого мира, мы увидим, что нас ведет в его дебри не гамсуновский лейтенант Глан, у которого биологическое жизнелюбие господствует над всем остальным, а человек, спустившийся с вершин современной культуры к первобытной наивности и силе бытия» (*Рудин Д. [Александров Р.]*. Поэзия доблести // Новое слово. 1943. 15 марта). Об авторе см.: *Равдин Б.* Русская печать на оккупированной территории СССР и в Германии. Материалы к словнику псевдонимов: Н. и Р. Александровы // История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой. М., 2012. С. 324–343. См. также эпиграф к стихотворению «Мужайтесь! Ночь без конца...»: «И верблюдов велел положить, и ружью / Вверил вольную душу мою» (*Тихонов Н.* Из ранних стихов // Литературная газета. 1986. 3 декабря).
- 29 РГАЛИ. Ф. 3113. Оп. 1. Ед.хр. 84 (Альбом. Стихотворения. Май 1920 — ноябрь 1934).
- 30 См.: «Для чаепития объявили короткий перерыв, после которого Сологуб, Блок и Кузмин ушли. Председательствовать остался Гумилев — я узнала его резкий и насмешливый голос. Когда очередь дошла до меня, он предложил мне прочесть новое стихотворение. Не задумываясь, я прочла только что написанное стихотворение, — довольно наивное; по тому времени оно, может быть, показалось кощунственным. Началось оно так:

Я не могу терпеть младенца Иисуса  
С толпой его слепых, убогих и калек,  
Прибежище старух, оплот ханжи и труса,  
На плоском образе влачащего свой век.

Почти всем выступавшим аплодировали, даже самым слабым. Но когда я прочла эти стихи, наступило гробовое молчание. Я почувствовала, что все находившиеся в комнате возмущены и шокированы. Зоря <Берман> под каким-то предлогом поторопился выйти в переднюю... Гумилев встал и демонстративно вышел» (*Полонская Е.* Города и встречи: Книга воспоминаний / Вступит. ст., сост., подг. текста, комм., послесл. и подбор иллюстраций Б.Я. Фрезинского. М., 2008. С. 360).

- 31 *Полонская Е.* Стихотворения и поэмы / Вступит. ст., сост., подгот. текста и прим. Б.Я. Фрезинского. СПб., 2010. С. 142–143.
- 32 *Лосский Б.Н.* Наша семья в пору лихолетия 1914–1922 // Минувшее. Вып. 12. Париж, 1991. С. 134. О Вере Яковлевне Кровицкой (род. в 1903 году, судьба после 1927-го неизвестна) см.: *Дмитренко А.* «Колыбелью мне была Россия...» // Санкт-Петербургский университет. 2001. № 8(17); на рукописи ее стихотворений, поданной при поступлении в Союз поэтов, Н. Тихонов написал: «Принять в Союз можно. Пусть будет одним “неоклассиком” больше» (*Кукушкина Т.А.* Всероссийский союз поэтов. Ленинградское отделение (1924–1929): Обзор деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 98).
- 33 Коллекция П.Н. Лукницкого (РО ИРЛИ).
- 34 *Шаповалов М.* В «четырнадцатизвездном созвездии» (Поэт Георгий Шенгели) // Лепта. 1996. № 20. С. 167; ср. нашу заметку о Г. Шенгели: Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леонovichа Гаспарова. М., 2006. С. 626.
- 35 *Волошин М.А.* Собр. соч. Т. 7, кн. 1. М., 2006. С. 360–361. М.М. Шкапская, попросившая прочесть криминальное стихотворение, потом писала Горькому о коктебельском житье-бытье: «И все лето шли бои между старым и новым миром, — новое так трудно и так больно дается. И в этом отношении — в смысле защиты — совершенно изумителен был Белый» / (*Купченко В.* «Мы избрали иную дорогу»: Письма Марии Шкапской М.А. Волошину // Русская мысль. 1996. 7–13 ноября).
- 36 *Перельмутер В.* Пушкинское эхо: Записки. Заметки. Эссе. М.; Торонто, 2003. С. 295.

37 «Новый сборник Гумилева обладает и достоинствами, и недостатками его предыдущих книг, и, хотя достоинства в нем разбросаны не скупо, недостатки его обнаруживаются с большей очевидностью. С одной стороны, какою-то вялостью размягчены его строфы, с другой — в этой книге есть стихи подлинной лиричности, которые не могли быть написаны Гумилевым раньше. Эта неравномерность качественная, думается нам, обусловлена внутренней растерянностью автора, колеблющегося между образцами парнасцев, романтиков и лириков и как бы жонглирующего ими, их выбирая. Все неудачи книги обусловлены этой неуверенностью. В самом деле, стихи чисто описательного, “парнасского” типа лишены четкости письма и проникновенности из-за какой-то романтической, может быть, небрежности переживания, которую позволяет себе в них Гумилев.

Его же лирические вещи, еще сохраняя искусственность стихов иного порядка, представляются вследствие этого мало убедительными и случайными. Возможно, что ищущее непостоянство поэта поможет ему остановиться на чем-нибудь новом и подлинно своем. Позволяют нам думать так некоторые превосходные стихи и того, и другого характера, встречающиеся в книге» (Русские ведомости. 1916. 13 апреля).

38 *Кельнер В., Новикова О.* Инскрипты литераторов и литературоведов в фондах Российской национальной библиотеки // Новое литературное обозрение. 2005. № 74. С. 617.

39 Ср.: «Ей стала близкой та, отзывающаяся цыганщиной, истерическая, чуть-чуть трупная струна, которая слышалась кое-где в искусстве; со стола ее посмертно улыбался Есенин; она могла прочесть наизусть те стихи, в которых Гумилев якобы дважды предсказал свой конец» (*Мальшикин А.* Люди из захолустья. М., 1938. С. 39).

40 Тыняновский сборник. Вып. 13. М., 2009. С. 298-351. По теме обходов запрета на Гумилева см. также материал разделов «Persona non grata» и «Его читатели» книги: *Зобнин Ю. Н.* Гумилев — поэт Православия. СПб., 2000. С. 19-53.

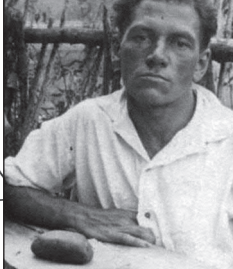
41 Писавшего с попыткой беспомощной шутки про «покойного (расстрелянного за участие в заговоре проф. Таганцева) Н. Гумилева, в жизни — контрреволюционера, а в поэзии — служителя чистого искусства, этого “изысканного жирафа”.

На озере гад  
Изысканный бродит жираф»

(Новая жизнь (Псков). 1922. № 1–2. С. 168). Ср. одно из последующих выступлений Н.А. Алексеева: «Товарищи, я приведу вам интересный пример. Я тоже лысый, из старых писательских кадров. Мне вспоминается 17-й год в Париже, когда мы затеяли издавать журнал “На чужбине”, который являлся бы некоторым разведчиком революции в искусстве. На организационном собрании был приглашен известный поэт Гумилев, расстрелянный в 20 году <так> в Петрограде за участие в контрреволюционном заговоре. Поэт — фашист, поэт — не революционер, но, правда, большой крупный мастер. Гумилевский <так> пришел на это собрание, и когда ему стала известна цель организации такого журнала “На чужбине”, что этот журнал должен быть революционным разведчиком в искусстве, то, ни слова не говоря нам, он идет к вешалке и берет пальто. К нему подходит Ромов, который сейчас в Москве, и говорит: “Николай Степанович, подождите, почему Вы уходите?” На это Гумилевский <так> ответил зло, но остро: “Из обоза второго разряда не создашь командных разведчиков”. Силы были, правда, небольшие, слабые, но революционные. Гумилевский <так> пошел вначале сюда, зная наперед имена тех, кто там будет, а когда стала известна цель собрания, он решил отмежеваться (*Голос: Ошибочка вышла.*). Да, вышла ошибочка» (Государственный архив Новосибирской области. Ф. 272. Оп. 1. Д. 420. Стенограмма вечернего заседания I съезда писателей Западно-Сибирского края 20 июня 1934 года; сообщено И. Лощиловым). Сергей Матвеевич Ромов (настоящее имя Соломон Давидович Роффман, 1883–1939) — художник, искусствовед; расстрелян). Во время ждановской кампании Н. Алексеев говорил: «...я доволен, что у нас в Сибири нет ахматовых и зощенко. Но отголоски есть» (*Озеров Л. Дверь в мастерскую.* Париж; М.; Нью-Йорк. 1996. С. 125). См. о нем: *Степанов Е.Е. Поэт на войне: Николай Гумилев, 1914–1918.* М., 2014 (по указателю).

- 42 «Но всем этим молодым людям — большинству из них только пошел третий десяток — еще далеко до таких достижений последних трех-четырёх лет, как стихи покойного Александра Блока, “Андрея Белого”, Валерия Брюсова, покойного Николая Гумилева, зверски убитого в прошлом месяце в Петрограде как участник скандального “Заговора шестидесяти одного” — когда 48 мужчин и 13 женщин, из среды специалистов и профессоров, были казнены за совместный с секретными службами Америки и Финляндии заговор против большевистского правитель-

ства, — Волошина и других. <...> Гумилевым, Волошиным и еще одним-двумя авторами созданы великолепные лирические стихотворения, мучительные по пронизывающей их подспудно печали. <...> Горький теперь — человек с расстроенными нервами, всеми ненавидимый и подозреваемый. Большевики не верят, что он действительно с ними, а все другие литераторы презирают его за молчаливое согласие с жестокостью и гнетом, практикуемыми правительством, которое тот то и дело поддерживает. Именно он принес в Москву ужасную весть о смерти Гумилева; и прибыл он туда в прискорбном состоянии. Как он может писать в подобных обстоятельствах? Ведь сегодняшняя Россия даже хуже, чем тюрьма, — это сумасшедший дом! На всей литературе лежит печать безумия; и хотя любому студенту, изучающему литературу и искусство, известно, что безумие подчас порождает странно прекрасные произведения, они остаются редкими жемчужинами в горах бесполезного щебня. Так и в России сегодня» (*Beckhofer C.E. What Russia Reads Today // The New York Times. 1921. October 30*).



III

## УЧЕНИКИ И ВОЛОНТЕРЫ

**Л.В. ГОРНУНГ**

**Н.С. ТИХОНОВ**

(ШАРЖ

Н.Э. РАДЛОВА)

GIRAFFA  
CAMELOPARDALIS

**Б.М. ЭЙХЕНБАУМ**

(ШАРЖ

Н.Э. РАДЛОВА)

**В** списках питомцев Гумилева встречаются лишние. Таким был Л. Страховский, проживший свою литературную жизнь под знаком воспитанничества у синдика Цеха поэтов:

...не берусь судить о его прежней поэтической линии, но «Долг Жизни» сам Гумилев бы милостиво благословил, предварительно разобрав по всем правилам,

— Что лучшее в «Долге Жизни?». Это, конечно, композиционная стройность и прочность, — то, что всегда так приветствовал Гумилев, забота о хороших рифмах, волевая направленность, наличие «да» и «нет», сдержанный, но серьезный лиризм. <...> Отмечу стихотворения: «Музе», «Неизбежное», стихи, посвященные Лицею, стихи о Лондоне, «Путь», «Обедня», «Весна», «Пасха» —

...Я — плохой, отверженный, ненужный,  
Все же помню, и забыть нет сил,  
Как сияет в полночь крест жемчужный,  
Вьется в выси дым кадил.

и стихотворение «Моей любви», которое цитирую полностью:

Моя любовь, как снежная вершина,  
Бела, далека, холодна.  
Моя любовь, как горная стремнина,  
Неисчерпаема до дна.  
Моя любовь, как яркий день весенний,  
Незабываемо ясна.  
Моя любовь, как осени последней  
Глоток янтарного вина.  
Все в ней, и ею все, как я, объято  
В неисчислимости огней.  
Моя любовь восхода и заката  
Вся для меня и весь я в ней.



Это и ряд других стихотворений Страховского были бы «как дома» в «Гиперборее» и «Цехе поэтов»<sup>1</sup>. [Терапиано Ю. Школа]

«Страховский — просто самозванец», — определила Ахматова в 1963-м<sup>2</sup>. Владимир Набоков писал о нем как о гарвардском лекторе в 1943 году:

Леонид Страховский (в двадцатых годах, в Берлине, писавший стихи под акмеистов и подписывавшийся «Леонид Чацкий») занимает студентов собственными поэмами, которые он их заставляет учить наизусть, и все рассказывает о большом своем друге и сподвижнике Гумилеве (которого он вряд ли когда-либо видел), так что Гумилев стал в некотором роде посмешищем у студентов<sup>3</sup>.

Впервые Страховский написал о своем «большом друге» в некрологе в 1921 году:

Я вспоминаю аллеи Летнего сада, весенний ветерок с Невы, трамвайные звонки с Марсова поля, статуи, посеревшие от времени, и тихий сарказм гумилевской речи. Это был апрель 1918 года — наша последняя встреча... Гумилев говорил о большевиках иронически, без ненависти<sup>4</sup>.

Эту заметку, раскрыв свой старый псевдоним, он процитировал в книге 1949 года «Мастера слова. Три поэта современной России. Гумилев. Ахматова. Мандельштам»<sup>5</sup>, которую читала Ахматова<sup>6</sup> (она потому считала, что настоящее имя автора — Шацкий, а это псевдоним в честь грибоедовского героя, которым он пользовался до 1924 года<sup>7</sup>. В книге сообщалось:

Знав Гумилева лично и принадлежа как стихотворец к его школе, я предлагаю это исследование в качестве дани его памяти и сильного вклада в наши знания о той эпохе русской литературы между 1905 и 1917 годами, того славного «ренессанса», который столь многим Гумилеву обязан.

Когда я впервые встретил Гумилева, ему было тридцать, но выглядел он старше. Первое впечатление было — сдержанная

мощь. Держал он себя спокойно, почти стеснительно, однако чувствовалась внутренняя сила, безграничная отвага бойца. При этом в нем было и нечто очень человеческое, очень нежное. Смеялся он редко, но когда смеялся, это был радостный смех ребенка. Он любил жизнь страстно, глубоко. Возможно, именно поэтому предпочитал компанию людей моложе себя.

Предпочитая выглядеть серьезным, он не чуждался юношеских выходок и импульсивных вспышек веселья. Когда мы, ученики, собирались в его студии, никогда не было известно, чем этот вечер закончится. Он мог весь уйти на чтение и обсуждение стихов, но мог и прерваться для игры в пятнашки или поездки к цыганам в Новую деревню. Или, как случилось однажды, завершиться неожиданным визитом к царско-сельским друзьям, когда мы, прихватив несколько бутылок шампанского, отправились на вокзал, затем ехали в поезде, и, наконец, устроившись в пару саней, бесшумно понеслись по тихим заснеженным улицам царской резиденции. И все это время (даже до того, как было откупорено шампанское) мы были опьянены самим присутствием Гумилева, его спокойной, но искрящейся речью, его добродушным сарказмом и блистательными остротами.

Сопоставив эти два фрагмента, Ахматова писала:

St[rakhovsky] пишет, что видел Н.С. в последний раз в Летнем Саду в апреле 1918 г. Это не невозможно. Н.С. действительно вернулся в П[етербург] в апреле 18 г. после годового отсутствия. Но когда же и в какой стих[отворной] студии Г[умилева] учился Ст[раховск]ий? Сами-то студии начались после апреля 18 г. Таким образом, все ученичество, которым автор так гордился, отпадает. Воспоминания о студийных занятиях, очевидно, почерпнуты у действительных участников этих занятий (стр. [?]) Оцупа, Одоевцевой, может быть, даже уже за границей. Всего забавнее, что прославленный, старейший и т.п. Гарвардский университет печатает это под своей маркой.

Еще Свифт предупреждал, что существуют люди, точно знающие, что говорил король наедине премьер-министру. К этим людям принадлежит и St[rakhovsky]. Он знает, что говорил

Н.С. следователю на допросах. (Мы вот не знаем, что говорили на допросах Пильняк и Бабель.)

Развязность, бесцеремонность и гомерическое вранье в этой книге могут равняться только постыдным мемуарам «Петербургские зимы» Георгия Иванова, где Блок едет в свою саратовскую деревню (подмосковную: ст. Подсолнечная, Шахматово), а Комаровский почему[-то] стал рыжим<sup>8</sup>. [Впервые по листку]

Рассказ о поездке в Царское Село — видимо, отголосок (скорее всего вымышленного) эпизода из «Петербургских зим» о ночной вылазке Цеха поэтов<sup>9</sup>, а об игре Гумилева в «кошки-мышки» со студистами «Дома искусств» Страховский, например, мог знать изустно или из публикаций известной ему по Берлину Веры Лурье<sup>10</sup>.

Позднее Страховский сообщал, что его единственная встреча с Гумилевым («краткое знакомство», сводившееся к одной прогулке сквозь Летний сад) состоялась 13 мая 1918 года, когда действительно никаких поэтических студий еще не было:

Первая часть утренника закончилась первым публичным чтением поэмы Блока «Двенадцать», эффектно продекламированной его женой, которая выступала под своей сценической фамилией: Басаргина. По окончании этого чтения в зале поднялся бедлам. Часть публики аплодировала, другая шикала и стучала ногами. Я пошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за Блоком, но он с трясущейся губой повторял: «Я не пойду, я не пойду». И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом и сказал: «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали». После этого он повернулся и пошел к двери, ведущей на эстраду. Это был Гумилев.

Вернувшись в зал, который продолжал бушевать, я увидел Гумилева, спокойно стоявшего, облокотившись о лекторский пюпитр, и озиравшего публику своими серо-голубыми глазами. Так, вероятно, он смотрел на диких зверей в джунглях Африки, держа наготове свое верное нарезное ружье. Но теперь его ору-

жием была поэзия. И когда зал немного утих, он начал читать свои газеллы, и в конце концов от его стихов разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами. После этого, когда появился Блок, никаких демонстраций уже не было<sup>11</sup>.

После этой публикации к Страховскому обратился Сергей Маковский, но мемуарист (напоминавший: «Как Вам, наверно, известно, я был одним из последних учеников Гумилева») отвечал 5 июня 1952 года:

Я очень польщен Вашим желанием включить в Ваши воспоминания о Н.С. Гумилеве мое свидетельство о нем, но я принужден отклонить Ваше предложение, ибо собираюсь об этом писать в своих воспоминаниях, когда им наступит срок<sup>12</sup>.

Хронологические нестыковки и разночтения в разных вариантах воспоминаний заставляют усомниться в присутствии мемуариста в артистической на описываемом вечере «Арзамаса» и даже высказать предположение, что источником его рассказа послужил не напечатанный еще к тому времени очерк Анны Андреевны Фрейганг-Гумилевой, вспоминая об этом вечере:

Помню, как однажды Коля, такой бодрый и веселый, пришел к мужу и ко мне в комнату и пригласил нас в Тенишевское училище на литературное утро. Выступали там — Коля, А.А. Блок, жена Блока — Любовь Дмитриевна и молодые поэты. Зал был переполнен. Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла «Двенадцать». Когда она продекламировала последние слова поэмы: «В белом венчике из роз, впереди — Исус Христос», — в зале поднялся сильный шум. Одни громко аплодировали, другие шикали, свистели, громко кашляли. Творилось что-то ужасное! Зал еще бушевал, когда мы увидели с мужем, что на эстраду не спеша поднимается наш Коля. Мне было за него как-то не по себе. Мы сильно за него волновались. Коля поднялся на эстраду и стал. Он стоял спокойно, выдержанно. Ждал, пока публика перестанет бушевать. Мало-помалу шум

улегся. Коля подождал еще некоторое время. И только когда все успокоились, он стал читать свои «Персидские газэллы». После него выступил А. Блок. Только на следующий день Коля нам рассказал, что А. Блок отказался сейчас же после поэмы «Двенадцать» выйти на эстраду. Тогда Коля решил его выручить и вышел раньше времени, не по программе<sup>13</sup>.

Таким образом, утверждение републикатора: «Знакомство Л. Страховского с Гумилевым, напротив, было кратковременным. Зато эпизод, рассказанный Страховским, — один из самых волнующих во всех биографии поэта», нуждается в оговорках<sup>14</sup>.

\* \* \*

В 1922 году в Петрограде выходит сборник — как выразились конкуренты по ниве поэзии — «прилизанной молодежи с дряблым, медлительным языком, перешедшим к ней в наследство от Гумилева»<sup>15</sup>. Он содержал стихи участников кружка, о котором признанная душой этой компании Фредерика Наппельбаум сочиняла шуточные стихи:

Вновь полон гордый Петроград  
Литературными речами.  
У Акмеизма новый сад  
Взращен за твердыми стенами.  
В нем опытный садовник Гум  
Один боролся с непогодой...<sup>16</sup>

Предисловие к сборнику гласило:

Понемногу у тех случайных слушателей, которые пришли в Дом Искусств осенью 1920 года заниматься у Н.С. Гумилева, появилась потребность более близкого и замкнутого общения друг с другом — таким образом зародилась Звучащая Раковина.

Естественно, что у кружка нет никакой поэтической платформы, нет общего credo.

То, что объединяет нас, гораздо интимнее, — это большая и строгая любовь к поэзии и самый живой интерес к проявлению ее у каждого.

Звучащая Раковина очень легко и радостно объединяет и символистов, и акмеистов, и романтиков.

Вот этой-то широкой беспартийностью своих взглядов Звучащая Раковина может быть более всего обязана своему почетному синдику Гумилеву.

Должно быть, на первый взгляд все эти стихи не покажутся такими разнородными, каковы они есть, а, напротив, подверженными влиянию общей школы, и только внимательный глаз заметит отличительные черты не только разных индивидуальностей, но и течений<sup>17</sup>.

На это предисловие, написанное, вероятно, Идой Напельбаум, возразил начинающий тогда критик Илья Груздев, в ту пору находившийся под воздействием идей ОПОЯЗа:

Та или иная группа может образовать школу, если поэты, ее составляющие при индивидуальной свободе, будут пользоваться некоторыми одинаковыми приемами.

Приемы эти бывают обычно самого общего (иногда идеологического) характера, хотя авторам они и могут казаться самыми реальными и основными.

Если же программа школы детализируется, новаторство ее членов иссякает, все большее и большее число приемов становится общеобязательным, тогда школа превращается в «цех», не в метафорическом значении этого слова, а в буквальном.

Авторы сборника напрасно опасаются, что стихи их покажутся «подверженными влиянию общей школы» (предисловие). Школа Н.С. Гумилева (тоже не в переносном, а в прямом значении слова — авторы сборника получили от мастера первые уроки поэтической грамотности) не обязала их общностью письма.

Нового «цеха», во всяком случае, не образовалось, — к лучшему<sup>18</sup>.

Илья Садофьев скорее склонен был подчеркивать «общность письма»:

Стиль преобладает пластический, есть живописцы, но звуковой инструментовки не слышно, стиль песенный почти не имеет места, что лишь ярче подчеркивает школу их учителя Н. Гумилева.

Правда, Вагинов, у которого такой палец, что только ахнешь:  
 Мой палец <так> сияет звездой Вифлеема  
 В нем раскинулся сад, и ручей благовонный звенит,  
 И вошел Иисус, и под смоквой плакучею дремлет  
 И на эллинской лире унылые песни твердит...

и все же поэт с таким пальцем в другом стихотворении за-  
 поино тянет «Яриду» Городецкого. Но в общем чуть ли не с каж-  
 дой страницы глядит лицо Гумилева.

Лучшая архитектоника и более близкое родство с Гумилевым  
 у Ф. Наппельбаум, она из них лучший стихотворец и пожалуй,  
 наиболее сомнительный поэт. <...> То, о чем сказано в предисло-  
 вии, что «у кружка нет никакой поэтической платформы, нет об-  
 щего *credo*» — спора не вызывает, но почему сборник озаглавлен  
 «Звучащая Раковина» — совершенно не понятно. В предисловии  
 дано объяснение, что своим названием «она обязана своему  
 почетному синдикату», — не верю, ибо звучание для него было  
 притчей во языцех, чего не скрывают и его единомышленники  
 из «Цеха» № 3, называя это его «органическим недостатком»<sup>19</sup>.

Георгий Адамович, может быть, поспешив с неутешитель-  
 ными прогнозами относительно всех участников сборника,  
 нашел парадоксальную положительную составляющую в учи-  
 тельстве Гумилева:

Гумилева часто упрекали за его работу в студии, из которой  
 впоследствии образовался кружок «Звучащая раковина». Это  
 были его непосредственные ученики, ученики в самом точном  
 смысле слова. Он в течение двух лет объяснял им механизм  
 искусства. Всякий, кто бывал в их кружке или кто прочел издан-  
 ный «Звучащей раковиной» сборник, знает, что это типичные  
 эпигоны, без всяких «надежд впереди», аккуратные и посред-  
 ственные работники. Гумилеву на это указывали и с ехидством  
 говорили, что он и его поэтика не способны создать ничего жи-  
 вого. Он и сам поглядывал на своих студентов с недоумением:  
 все в них было ему не по душе. И, кажется, это огорчало его.

Но вот что могли бы понять обличители Гумилева, всех на-  
 правлений и оттенков.

Подлинных дарований никогда и нигде не бывает больше, чем несколько на целое поколение. Если поэт создает школу и все его ученики кажутся даровитыми, живыми, обещающими, то такому поэту грош цена: он втирает очки в глаза, он обманщик. Он учит приемам, которые лишь скрывают сущность искусства. Оперирующий такими приемами стихотворцев легко может не только обольстить, но и обольщаться. Надо целиком восстановить значение слова «вдохновение» и надо еще раз повторить, что поэтами рождаются. Настоящий поэт, если и не тяготится всем богатством находящихся в его распоряжении средств, то во всяком случае не дорожит ими. Он знает, что весь смысл творческого «пути» в постоянном отказе от всех побрякушек искусства, от всего, чем обыкновенно занимается и за что хвалят поэтов критики: от удивительных рифм, от неожиданных образов и прочая, и прочая. В первые свои годы он учится владеть этим, но во все последующие он учится обходиться без этого. Это как бы скорлупа на «вдохновении», которую надо снять. Искусство тем чище, чем беднее на вид.

Не совсем то, но что-то очень похожее на это — говорил Гумилев своим ученикам: он учил их простоте. Он внушал им, что поэзию нельзя ни украшать, ни принаряживать. Конечно, из двадцати его студентов девятнадцать наверно не были поэтами. Окажись среди них хоть один поэт, и то было бы большой удачей. Если бы Гумилев, посвятив их в тайны современной поэтической кухни, рекомендовал их вниманию все ее рецепты, критика вероятно была бы в восторге: какая смелость, какая новизна горизонтов!

Но он убедил их не быть фальшивомонетчиками, и они его послушались. Это лишний «лавр» Гумилева<sup>20</sup>.

Сестры Фредерика и Ида Наппельбаум даже хотели в январе 1922-го зарегистрировать издательство (на имя своего отца, известного и признанного новой властью фотографа Моисея Наппельбаума) под именем «Огненный столп», но разрешения не получили<sup>21</sup>.

Культом Гумилева было сцементировано и петроградское объединение «Мастерская слова» 1923 года. О нем рассказа-



ла его бывшая участница Дагмара Гревениц<sup>22</sup>, числившаяся в исчезнувших после войны<sup>23</sup>. В «Мастерской» одним из самых заметных был Николай Леопольдович Браун<sup>24</sup>. Неудивительная в дебютанте невнятность отличает его стихотворение с эпиграфом без имени автора:

Но забыли мы, что осиянно  
Только слово среди земных тревог,  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что Слово это — Бог.

#### «Слово»

Слово, Слово, гулкое, как трубы,  
Ковкое, как слиток золотой,  
Ты для губ, еще слепых и грубых,  
Только знак холодный и сухой.

Выпал нам косноязычный жребий,  
Чтоб о Слове думать не могли:  
Руки гнуть тревогами о хлебе  
В долах невозделанной земли.

Но, как сладкое напоминанье,  
Чтоб высокий звук не умирал,  
Иногда улавливал избранник  
Отзвуки далекого костра.

И когда он лютней звонкорогой  
Выходил на площадь колдовать,  
Говорили: «Осиянна Богом  
На челе прозрачная печать».

Ныне Богом ты не будешь, Слово,  
И косноязычные рабы  
Уж металл выковывают новый  
Для золотозвончатой трубы<sup>25</sup>.

К нему, как и к другим советским поэтам, с самого начала своего литературного пути поставленным под знак этого имени и из-под полы представлявшимся поклонниками рас-

стрелянного, молчаливо предъявлялось требование публичного отречения от Гумилева. К середине 1930-х, сопровождаемый напоминаниями о гумилевской тени на своих стихах<sup>26</sup>, Н.А. Браун предпринял попытку громогласного отмежевания от своих враждебных учителей<sup>27</sup> (впрочем, видимо, не совсем успешную, ибо С. Городецкий свою книгу в 1936 году надписывал: «крепкому таланту Николая Брауна с просьбой преодолеть акмеизм»<sup>28</sup>):

Лирика должна стремиться к глубине, к раскрытию мировосприятия поэта. Возьмите ту же лирику классиков. Посмотрите, с какой силой художника раскрывает свое отношение к миру Тютчев. Возьмите книги враждебных нам поэтов Гумилева или Ходасевича. Откройте какую-нибудь книгу Гумилева, допустим, «Костер» на первой странице. Прочитайте первые строки.

Я знаю, что деревьям, а не нам  
Дано величье совершенной жизни,  
На ласковой земле, сестре звездам,  
Мы на чужбине, а они в отчизне.

Земля — чужбина. Отчизна — где-то там. Просмотрите «Тяжелую лиру» Ходасевича. В невероятно злых и обреченных стихах от стихотворения к стихотворению он раскрывает свое отношение к миру, отношение субъективиста, индивидуалиста, идеалиста:

Пробочка над крепким йодом!  
Как ты скоро перетлела!  
Так вот и душа незримо  
Жжет и разъедает тело.

Давайте противопоставим им наше оптимистическое, материалистическое раскрытие мира!<sup>29</sup>

Появившийся в Петрограде (на военной службе) после смерти Гумилева поэт Александр Викторович Маслов, взявший себе псевдоним «А. Миних»<sup>30</sup>, ранее входил в литературные объединения, ориентированные на почитание акмеистов<sup>31</sup>. Видимо, речь о нем шла в письме, полученном М. Осоргиным из Москвы, где рассказывалось о приеме новых членов в Союз поэтов:

Из десяти только один — с дарованием настоящим. Еще юноша, лет 22, из армии. Но очень уж чувствуется в нем Питер и Гумилев<sup>32</sup>.

Питерская пресса писала о нем:

У Александра Миниха мы находим то же требовательное, горячее приятие жизни, тот же пафос нашего поколения:

Я — сильней любимцев Гумилева

(Да и много нынче нас таких).

Нам потребно огненное слово

И клейменный лютой силой стих<sup>33</sup>.

«Ода молчанию» принадлежит А. Миниху, поэту не маститому, но уже с сединой. Стихи построены искусно, но холодны и окаменелы по построению. Страшно, что с первых шагов молодой поэт уже стал эпигоном акмеизма, «любимцем Гумилева»<sup>34</sup>.

Литературный паспорт Маслова-Миниха долго еще ставил вопрос о совмещении поэтики и идеологии. Если Сергей Городецкий в 1926-м похвалил его за то, что «наполняет акмеистическую форму революционным содержанием»<sup>35</sup>, то Н.Л. Степанов, в идеологически более строгое время, предупреждал:

Однако следует указать, что механическое совмещение стиха акмеистов с новой революционной тематикой (как это было в творчестве Германа, Шенгели, Нарбута, Миниха) неправильно и ведет к идеологическому искажению действительности<sup>36</sup>.

Именно репутация посмертного «любимца Гумилева» привлекла к А. Миниху внимание московских акмеистов.

\* \* \*

Петербуржец Владимир Пяст сообщал как о курьезе:

Эрберг в Москве акмеист. Конечно, это не наш поэт-философ К.А. Эрберг, а свой, московский. Вообще, и акмеисты в Москве имеются. К ним принадлежит и известнейшая из тамошних поэтесс Адалис<sup>37</sup>.

Олег Ефимович Эрберг (1898–1956), один из творцов советского литературного ориентализма, был обозначен «акмеистом»<sup>38</sup> в сборнике московского Союза поэтов, и о его стихотворении —

В тумане фонари тяжелы и неярки.  
Как душу уберечь от томной мокроты?..  
И вечер звезды выбросил в Гайд-парке  
из «Общества презренья бедноты».  
Напудренный парик в Вестминстерском аббатстве  
на шторах хартий золотых пустынь, —  
аббат о кознях лунных мастурбаций  
читает внятно мерную латынь.  
Расскажут мясники туманной кровью с крыш, как  
в воловьих шкурах индульгенцию таят.  
И над парламентом алжирская мартышка  
кривлялась, как ирландский депутат.  
И каждый кэб кричит аббату: «Авва»,  
и шепчет брань молитвою бичей,  
и желто-грязная и мутная канава  
качала ватных королевских голубей.  
Какой квартал игрушечный мне снился?  
Какой удел таинственный мне дан?  
И вот аббат звездой перекрестился,  
принявши Темзу за Иордан<sup>39</sup>, —

Георгий Иванов написал:

Акмеист г. Олег Эрберг, делая окрошку из всех поэтов от Гумилева до Константина Липскерова...<sup>40</sup>

«Адалис» — псевдоним А.Е. Ефрон, успевшая познакомиться с Гумилевым в последнее его пребывание в Москве в июле 1921-го<sup>41</sup>, осенью того года числилась «неоакмеисткой»<sup>42</sup>, как и Павел Антокольский<sup>43</sup>. Но собственно «Московская группа акмеистов», куда и был призван А. Миних, обра-

зовалась в 1923-м. Как показывала поэтесса Сусанна Укше на допросе 25 июня 1927 года:

Первоначально она состояла из Н.Н. Минаева, Марианны Ямпольской, меня и Надежды Пресман, потом был приглашен Пеньковский, но он скоро уехал. Хотели мы пригласить в руководители кого-нибудь из основоположителей акмеизма: приглашали Мандельштама, но он отказался; пригласили Зенкевича. Он согласился бывать, но руководящей роли не играл и на наших собраниях был очень редко — последнее время не бывал. Потом еще к нам вступил Д.С. Усов. Потом мы подумали о расширении группы и пригласили поэта Миниха, которого нам хвалили как прекрасного поэта с акмеистическим уклоном. Он был 2 раза и уехал. Он привел Марка Тарловского.

Тарловский бывал на заседаниях и участвовал на нашем вечере в Цекубу, но другим говорил, что себя причисляет к конструктивистам. Группа официально не была зарегистрирована. В московскую группу акмеистов входят:

1. Пресман-Фридман Надежда Зиновьевна, живет на Б. Дмитровке.
  2. Яковлева-Ямпольская Мария Николаевна, Малая Кисловка, около филармонии.
  3. Минаев Николай Николаевич.
  4. Тарловский Марк.
  5. Зенкевич Михаил Александрович, Мясницкая улица.
  6. Усов Дмитрий Сергеевич.
  7. Миних, уехал из Москвы.
  8. Пеньковский.
- Собирались иногда у меня, иногда у Пресман.  
Записано с моих слов верно. С. Укше<sup>44</sup>.

Николай Николаевич Минаев (1895–1967)<sup>45</sup>, тоже, кажется, увидевший Гумилева в последний московский приезд (ему в альбом вписано «Хокку»<sup>46</sup>), напечатавший в своем сборнике «Прохлада» программную строфу

В уединеньи золотом —  
О, легкий взор, в нее не падай! —

Душа укрылась, как щитом,  
Акмеистической прохладой  
(1922),

поставил этой строфой на себе печать, которую обыграл Сергей Городецкий, надписавший на своей «Весне безбожника» (М., 1925):

Акмеисту (классическому) Николаю Минаеву противоядие против акмеизма эпигонского. С. Городецкий. 15.IV.27<sup>47</sup>,

и которая заставляла искать у московского акмеиста влияния петроградского гостя:

У Минаева ориентализм от Гумилева, но с собственной юмористикой:

Когда простую жизнь я скукой рассеку  
И мне надоедят стихи, дела и лица,  
Я брошу всех и все, поеду в Мексику,  
Чтоб телом и душой кой-как расшевелиться.

Из Калифорнии, минуя Гуаймас,  
У Рио-дель-Норте, восточней Аризоны  
Я в прерию вступаю, где рыщут и сейчас  
Искатели следов, индейцы и бизоны.

Я буду обсыхать и греться у костра,  
Спать где-нибудь в кустах, закутавшись брезентом,  
И подкупив бродяг десятка полтора,  
Провозглашу себя техасским президентом.

И даже может быть кого-нибудь убью,  
Иль к первой встречной вдруг  
воспламенев не в меру,  
Я потащусь за ней через Колумбию  
Куда-нибудь на юг, в Бразилию иль в Перу<sup>48</sup>.

Одна из участниц московского кружка, Надежда Зиновьевна Пресман (в замужестве Фридман; 1897–1956), впоследствии переводчица (Н. Зими́на) и библиограф, просто была влюблена в мертвого поэта, как фиксирует дневник Тараса Мачтета:

25 декабря 1921 г.

...о желании принадлежать Гумилеву, о зависти к Ахматовой, у которой было, по ее словам, много романов.

...если бы Гумилев не умер, я бы поехала к нему.

2 января 1922 г.

...и опять Гумилев, Гумилев.

— Если бы он был жив, я бы поехала к нему в Петроград<sup>49</sup>.

\* \* \*

В уже переименованном Петрограде тоже сложился кружок, для которого была важна память об убитом. Близкий к участникам кружка автор газетной статьи о Гумилеве (см. Приложения), историк Лев Семенович Гордон, выезжая из города, где гумилевское слово было частью его жизни<sup>50</sup>, написал стихотворение «Сентиментальное прощание»:

*Владимиру Алексееву*

К чужим краям судьба несет меня  
И в памяти, печалью перевитой,  
Печать руки над головой коня  
И голос ваш, о невские граниты.

Какие встречи будут впереди!  
Но мне милей прощальные недели,  
Родной земли прозрачные дожди,  
Под тучами — Италия Растрелли.

На Мойке Пушкин жил, и над Невой  
Онегин встретил в первый раз поэта...  
Не в силах ты, о бедный голос мой,  
Припомнить то сверкающее лето!

Здесь тополя на площади хранят,  
И передали мне, с молочным маем,  
И память декабристов, и сенат,  
И строгие морщины Николая.

Мой Петербург, где умер Гумилев,  
Где люди ночью говорят о Блоке...  
И снятся мне у новых берегов  
Твои горбатые мосты и доки.

Верь, город мой, мне не забыть тебя,  
Я так и Музе Дальних Стран отвечу,  
И уплывая в дальний путь, скорбя,  
Я радуюсь, предвидя нашу встречу!

27 Августа 1923<sup>51</sup>

Прямая ученица Гумилева писала о его книжке:

стихи вполне акмеистического толка, очень культурные, доброкачественные и даровитые <...> хороша петербургская закваска, поэтическая четкость и простота<sup>52</sup>.

Владимир Сергеевич Алексеев (1903–1942), адресат гордого послания, — выходец из кружка «Мастерская слова», сын философа С.А. Аскольдова (Алексеева), чья любовь к Гумилеву вылилась впоследствии в обзорную статью о нем (см. Приложения) и который рассказывал о сыне: «Когда мы жили с ним вдвоем в 1918–1919 годах, он вечно декламировал Блока, Гумилева (его любимый поэт и отчасти учитель), Соловьева и др.»<sup>53</sup> Алексеев писал в 1922 году работу о Гумилеве, куда вставлял и свои воспоминания<sup>54</sup>.

Владимир Смиренский, другой участник кружка «Неоклассики»<sup>55</sup>, в это время переживал увлечение Анной Энгельгардт (Гумилевой), и В. Алексеев обращался к нему:

Я прихожу к тебе мечтать  
И в темноте библиотеки  
На перемятую тетрадь



Спокойно опускаю веки.  
 Мне дорог этот странный плен,  
 Объятый нежностью суровой:  
 Я думаю об Анне N,  
 А ты — об Анне Гумилевой<sup>56</sup>.

При такой поглощенности участников кружка Гумилевым не удивительно, что его имя вспомнилось слушателям на первом публичном выступлении «неоклассиков»:

...когда началось чтение стихов, то в памяти одни за другими всплывали воспоминания о крупных русских поэтах.

Вот не отсюда ли Блок черпал свое вдохновение, когда писал стихи о России?.. А вот откуда заимствовал Сологуб свои утонченные образы, свой скупой словарь... А вот где Гумилев добыл яркие краски своей поэтической палитры... Стихи моментами хорошие и искренние, но не проще ли было бы для торжества этой искренности перевернуть формулы декларации и честно признаться в своем подражании? Но организованное выступление на литературную арену требует манифеста. А все литературные манифесты, как известно, составляет бывший титулярный советник Поприщин. Он пишет их все по одной схеме: «В Испании найден король, он отыскался. И этот король — я!»

Прения, развернувшиеся вокруг прочитанного, сводились к уличению неоклассиков в подражательности<sup>57</sup>.

Из «Мастерской стиха» произошел и первый гумилевед, несостоявшийся его текстолог.

В 1925 году в хронике одного из ленинградских журнальчиков появилось сообщение:

Н.П. Дмитриев работает над «Историей гумилевского текста»<sup>58</sup>.

Николай Петрович Дмитриев (1903–?), посещавший лекции Гумилева (и передавший П.Н. Лукницкому свои конспекты), выступал как участник гумилевской «Звучащей раковины»:

### Сердце

Сердце, сердце маленькая птица,  
Залетевшая в печальный дом,  
В чуждом теле, как в глухой темнице,  
Ты тоскуешь, плачешь о родном.

А года летят, как хлопья снега,  
И морщины изрывают лоб,  
Ум живет, не ведая ночлега,  
Сердце ж легкое готовит гроб.

Вынет мир из глаз остекленелых,  
Вспыхнет отблеском в сухих перстах  
И, потом, прощаясь с холодным телом,  
Поцелует мертвого в уста.

### Осень

Когда заразный ветер мечется в откосах  
И крутит листьев окровавленную стаю,  
То в голосах твоих, торжественная Осень,  
Я голоса другие вспоминаю.  
О, горечь памяти, — взыскующая пена...  
Червонный плющ средь опустевших башен,  
И скорбь врывается в ликующие стены  
Румяным яблоком в позолоченной чаше.  
И в ветках охмелевших золото Гекаты.  
Хозяева к зиме готовят шубу лисью,  
А мастер старый на шкатулке розовой  
Столярным циркулем вычерчивает листья<sup>59</sup>.

Последнее стихотворение, как показалось Льву Горнунгу, «сильно зависит от Г. Иванова»<sup>60</sup>. Возможно, подлинная его фамилия (или, наоборот, псевдоним) — Н. Круггель, тезка го-голевского шулера («Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки»). В журнале «Красный студент» (1923. № 6–7. С. 9) стихи Н. Дмитриева и Н. Круггеля помещены рядом<sup>61</sup>. Он и позднее выступал как поэт, например:

Трава и ночь вдоль пыльных стекол,  
 Вдоль колеса скрипучей мглой — и вот  
 По зеленым избегающий высоко  
 На полчаса тянулся небосвод.  
 А было так: за царскосельской чащей  
 Курчавый выродок: «Люби и пой  
 Не скифских муз, но девушкой звенящей  
 Войдет в стихи, в горбатый голос твой»<sup>62</sup>.

Он учился в Петроградском университете и в Институте истории искусств, был там сотрудником II разряда<sup>63</sup>, участвовал в семинаре Эйхенбаума и Тынянова, занимался «литературным фоном» — О. Сенковским, журналистикой начала XIX века, попал в «гимн формалистов»:

Сегодня Дмитриев и тот,  
 без долгих споров, верьте мне,  
 растопит скептицизма лед  
 в сорокаградусном огне<sup>64</sup>.

Порывы его в области методологии были многообещающие. 7 февраля 1924 года Эйхенбаум записывал:

Вчера было интересное собрание моего семинария в Инст. Ист. Иск. Во время прений Н.П. Дмитриев заговорил о том, что надо от «описаний» пойти куда-нибудь дальше, что пропадет «организованное целое», когда вытаскивают и обнажают отдельные приемы, что надо выяснять изобразительную функцию и т.д. Было общее возбуждение. Я говорил о том, что я понимаю эмоцию нового поколения, которое должно сделать что-то свое, и что возможна реакция. Н.П. отрещивался от реакции — углубление. А дело все-таки в этом — то, о чем я писал в предисловии к «Анне Ахматовой»<sup>65</sup>.

1 июня 1925 года Дмитриев писал Льву Горнунгу:

Я слышал от Павла Николаевича Лукницкого (мы работаем с ним вместе), что Вы собираете печатный материал по Н.С. Гумилеву. Работа, совпадающая с моей.

Я лично знал Николая Степановича, люблю его стихи, занимался у него в студии (вы, наверное, слышали о «Звучащей раковине». Я был участником кружка до распада). Сейчас собираю материалы о акмеистах. Известно, что журналы, альманахи и т.д., не имеющиеся в ленинградских библиотеках, могут найтись в Москве и наоборот. Во 2-х, в работе порознь — медленный темп. Предварительный, никчемный просмотр отнимает много времени. Итак: — мое мнение — общее дело (собрать все о Н.С.) главное в работе, а конкуренцию к черту!.. Я надеюсь, вы согласитесь с этим. И я надеюсь работать с вами в контакте, а не порознь.

И еще надеюсь — вы не откажете в ответе на мое письмо.

Мой адрес: Ленинград. Новая Деревня. Новодеревенская набережная. Д. 13-б. кв. 2 Николаю Петровичу Дмитриеву или другой: Загородный пр. д. 10, кв. 10 — мне же.

P.S. Пишите, каких книг или матерьялов вы не достали, и вообще о вашей работе. Я постараюсь достать и выслать. Меня интересует ваша библиография к 1908–1910 году; к сборнику «Костер» 1918<sup>66</sup>.

Чертыханье в адрес конкуренции, видимо, связано с уловленным им недружелюбным отношением П.Н. Лукницкого, скептическую позицию которого разделяла Ахматова:

О Н.П. Дмитриеве, который ищет «каноническую запятую» у Н. Гумилева. АА иронически: «Скажите ему... Пусть не ищет каноническую запятую. Жалко ведь его, бедного... Н.С. запятых никогда не ставил... — Серьезней: — Хотя... Кажется, *какие-то* знаки он все-таки ставил, потому что я помню, как он однажды бранил меня за то, что у меня после каждой второй строки точка»<sup>67</sup>.

Ко мне явился Н. Дмитриев. Я окончательно не могу разговаривать с этим безмозглым дураком, который торчал у меня часа полтора<sup>68</sup>.

О Дмитриеве: «И такой человек хочет писать о Гумилеве».

Но зато о Дмитриеве ни я, ни АА не можем сказать ничего хорошего.

Сегодня, работая с Горнунгом, я на примерах материалов, доставленных мне Дмитриевым, показал Горнунгу всю его не-

брежность, неспособность и недопустимое отношение к работе. У АА мы с Горнунгом говорили обо всем этом. АА слушала, молча соглашаясь, что репутация Дмитриева как «историка» или «исследователя» литературы загублена для нас навсегда. И в заключение АА добавила только: «Да... У него заяц в голове...»<sup>69</sup>

Материалы о Гумилеве, собранные Н. Дмитриевым, нам неизвестны. Во второй половине 1920-х он занимался журналистикой, печатался в «Красной газете»; был арестован 27 ноября 1930 года и определен коллегией ГПУ на три года лагеря. Все его бумаги изъяты при обыске. В издательство «Федерация» он сообщал, что сидит в Кемии по статье 58–10, и предлагал «издание эссе-романа по типу “Двенадцати стульев” — “Дело об Александре Македонском”, над которым я собираюсь работать»<sup>70</sup>.

В 1934 году, освободившись, Дмитриев сообщал в анкете, что заканчивает книгу о Беломорстрое для Детгиза и подготавливает книгу по истории цыганской песни в России<sup>71</sup>. Эти начинания, как и многие иные, анонсированные им, не завершились.

\* \* \*

В 1923 году в Петроград приехал из Ташкента Борис Лавренев, завершавший «гумилевский этап» своего стихотворчества. Его тоже можно было бы присоединить к списку первых исследователей «поэта цветущего бытия», как назвал Лавренев свою ташкентскую статью, увидевшую свет только в 1980-х. Статья была подписана одним из его ташкентских псевдонимов Incitatus, заимствованным у Василия Комаровского. В ней советский военнослужащий писал:

Отлитая неведомым рабочим пуля унесла заговорщика Гумилева, но и прекратила творческую жизнь Гумилева-поэта. В этом трагедия революционного времени.

По странной иронии судьбы революционер духа, искатель, скиталец, дерзкий конкистадор, охотник и дикарь в поэзии, воспевший революционера духа и подвижника культуры Колумба, оказался в жизни в стане тех, кто всеми силами стремится за-

тормозить дерзание расцветающей новой эры, буйной жизни, о которой с таким творческим экстазом пел Гумилев. <...> Одиноким прошел Гумилев свой поэтический путь, пережив тяжелую жизненную драму, которая может быть и заставила его очертя голову броситься к бесцельной и бессмысленной гибели.

Статья эта — единственное, что было завершено в его замысле, о котором он писал знакомому ему по Ташкенту Павлу Лукницкому:

...я работаю над творчеством Гумилева. Особенно над ритмической. Если Вы читали книгу Корнея Чуковского об Александре Блоке, Вы помните главу об инерции звука. Вот по части этой инерции у Николая Степановича очень много интересного, но только в обратную сторону. Блок музыкален и гармоничен. Сами собой звуковые повторы у него складываются в неразрывный узор и дают для каждой вещи определенный лейтмотив, основную кайму звуковой мелодии. Гумилев дисгармоничен по преимуществу, и это обстоятельство придает его стихам не легкий оттенок итальянской благозвучности, а каменную силу и крепость скрябинских диссонансов. Вообще об этом в письме рассказать трудно, т.к. пришлось написать бы страниц 40–50, чтоб только это рассказать. А сколько других интереснейших открытий! Если бы у меня было только время работать. А его совсем нет<sup>72</sup>.

Переместившись в бывшую северную столицу, Лавренев дарит тетрадку своих стихов — сборничек «Кочевье. 1917–1922» поэтессе Людмиле Поповой, отмеченную в это время «манерой классического гумилевско-ахматовского акмеизма»<sup>73</sup>. И стихи эти не оставляют никаких сомнений в том, кто сквозь них проступает:

Грозные годы бурелома!  
Гневом, болью, яростью дыша,  
Вашим вихрем огненным влекома,  
Окрылялась песнями душа.

Были дни распада и гниенья,  
Тленьем зараженные слова,  
Но в уста палящий ветер мщенья  
Так светло меня поцеловал.

И неопикуемого света  
Ринулся в глаза мои поток.  
Брызжущая пламенем комета  
Бурею промчалась на восток.

Небывалое землетрясение  
Прокатилось бешено кругом  
Это, родина, — твое крещение  
Дерзким, очистительным огнем.

Все, что мукой было и позором,  
Черных лет смятение и стыд,  
Сметено смертельным приговором,  
Этот пламень все испепелит.

Подошли предсказанные сроки,  
Мечь судьбы ничем не отвратить,  
Знаю я, что нужно быть жестоким,  
Чтобы после милосердным быть.

### Дар песен

Нам песен дар и творчества пыланье  
Как память о покинутом даны,  
И, дети несказуемой страны,  
Мы на земле храним ее в сознанье.

Нам тягостно земное прозябанье,  
Мы родине немислимой верны,  
Нисходят к нам торжественные сны,  
И древний гул томит воспоминанье.

Размеренная музыка стиха —  
Лишь музыки надмирной отраженье.

К иному равнодушна и глуха,  
Душа миров воспринимает пенье,

И, ветром вечности пьяны, в разлуке  
Зов памяти мы воплощаем в звуки.

### **Родная страна**

Только людям дана прапамять  
(Звери помнят один лишь век),  
Чтобы видеть древнее пламя  
Сквозь времен неустанный бег.

За томление, за земное,  
И за скорби земной питье  
Нам в награду дано двойное  
Опьяняющее бытие.

Каждый час мы помним и знаем,  
Что земля — мгновенный приют  
Наш — была светописным раем  
И мы жили в этом раю.

Не затем ли я так ликую,  
Что, сквозь звенья повторной лжи,  
Вижу пальмы и жизнь иную,  
Жизнь, которой когда-то жил.

Небо — пламень, дрожащий воздух,  
Океан зеленый у ног,  
И бунтует в янтарных гроздьях  
Золотистым соком вино.

В мире области нет священной...  
О, родная моя страна!  
В ней восстану юный, весенний  
От земного, душного сна<sup>74</sup>.



Этот период лавреновского писания смущал его первого биографа, вынужденного искать извинительных разъяснений:

Только ли тут — могущественная эстетическая традиция, которая алчно пожирала живого писателя и заставляла его писать эпигонские стихи явно гумилевской ориентации? Не без этого, конечно. Но почему в таком случае он пришел к Гумилеву?

Его биография говорит нам: он не был политическим сторонником певца русского империализма, и если бы этот певец встретился ему на одном из боевых украинских полустанков, он бы, не задумываясь, нашел, как ему следует поступить. Но в «мужественном романтизме» Гумилева с его культом сильной героической личности, в его поэзии волевого индивидуализма — он несомненно находил отклик на свои собственные чувства и мысли, ибо он тоже воспринимал мир прежде всего в движении; он также любовался человеком как аккумулятором силы и энергии, он тоже готов был прославить мощную личность только за то, что она мощна, за то, что она «беспокойна», за то, что она выше «средней посредственности», за то, что ей свойственна ненависть к тихой обывательщине, за то, что она противостоит «бескрылому мещанству»<sup>75</sup>.

В другую эпоху, в 1951 году, эти разъяснения вызвали раздражение у экспертов МГБ:

Зел. Штейнман. Навстречу жизни. <...> восхваляет акмеиста Гумилева, расстрелянного за контрреволюцию еще в 1921 году<sup>76</sup>.

Перечень добровольцев гумилевского культа в 1920-естественно завершить именем Павла Лукницкого<sup>77</sup>, о котором еще в самом начале его розыскной деятельности Б.М. Эйхенбаум записал 6 февраля 1925 года в дневнике:

Вчера был у меня П. Лукницкий — показывал материал, собранный им по Гумилеву. Основательно.

Деятельность эта была пресечена его арестом и трехдневным заключением в 1929 году. Можно предположить, что попавшая тогда в руки ОГПУ копия трагедии Гумилева «Отравленная туника», сделанная П.Н. Лукницким, была использована как часть «легенды» разведчика. Она была доставлена в Париж из СССР вторично отправившимся в эмиграцию в 1930-м масоном и советским агентом М.М. Артемьевым-Бренстедтом, рассказавшим при этом, что в СССР «один человек сохранил весь архив Гумилева — это стоило ему 3-х лет тюрьмы»<sup>78</sup>.

Мне П.Н. Лукницкий рассказывал, что, когда он был в ГПУ, ему доброжелательно посоветовали тогда уж собирать материалы о Сергее Есенине. Любопытным образом о точно таком же совете, данном в КГБ спустя лет сорок, сообщил мне коллега, собиравший материалы об Ахматовой.

- 1 Терапиано Ю. Школа Гумилева // Новое русское слово. 1955. 2 октября. Рецензируемая книга открывалась посвящением:

Памяти  
безукоризненного поэта,  
совершенного кудесника русского слова,  
дорогого и уважаемого  
Друга и Учителя  
НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА  
с чувством  
глубочайшего смирения  
посвящаю я  
эти стихи.

- 2 Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino, 1996. С. 318. О Леониде Ивановиче Страховском (1898–1963) см: Г.С. [Струве Г.П.]. Л.И. Страховский // Русская мысль. 1963. 14 мая; Струве Г. К истории русской зарубежной литературы. Мелочи из копилки моей памяти. Л.И. Страховский — Л. Чацкий // Новое русское слово. 1972. 25 июня; Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) / Вступит. ст., сост., подгот. текста и прим. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006. С. 741; Словарь поэтов русского зарубежья. СПб., 1999. С. 230–231.

- 3 Друзья, бабочки, монстры: Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967) / Вступит. ст., публ. и комм. Р. Янгирова // Диаспора: Новые материалы. I. Париж; СПб., 2001. С. 481.
- 4 *Chatsky L. N. Goumilev // Russian Life (London). 1921. № 2–3. P. 72.*
- 5 *Strakhovsky, Leonid I. Craftsmen of the Word. Three poets of Modern Russia: Gumiliov. Akhmatova. Mandelstam. Cambridge, 1949.*
- 6 См. запись от 3 января 1957 года, когда Ахматова говорила о книге «с отстоявшейся гневной горечью»: «Предполагает, что автор — Шацкий, а написано со слов женщины. <...> Придуманно, будто я отсутствую в лирике Гумилева, будто он меня никогда не любил! <...> Я думаю, все это идет от Одоевцевой, которую Николай Степанович во что бы то ни стало хотел сделать поэтом, уговаривал не подражать мне, и она, бедняжка, писала про какое-то толченное стекло, не имея ни на грош поэтического дара» (*Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2: 1952–1962. М., 1997. С. 234–235*). Ср. запись в дневнике Б.М. Эйхенбаума 23 ноября 1956 года: «Вчера вечером был у Анны Андреевны Ахматовой (до того я был у нее в Москве на Б. Ордынке в марте — носил ей экземпляр “Лит. Москвы” от Зои). Она просила меня зайти, чтобы посоветоваться насчет книги Леонида Страховского, вышедшей в издании Гарвардского унив-ета (в серии “The Craftsmen of word”) и посвященной трем русским поэтам: Ахматовой, Гумилеву и О. Мандельштаму. О ней говорится как о великом поэте, но в биографической части сообщаются всякие чудовищные “гадости” (как она выразилась). Она думает, что тут [не?] без Георгия Иванова (его “Петербургских зим”). У Страховского есть что-то и о наших с ней выступлениях 1921 года — будто бы это были ее (Ахматовой) провалы. Она не знает, как протестовать против всего этого» (РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед.хр. 250; сообщено В.В. Нехотиным).
- 7 *Страховский Л. Письмо в редакцию // Руль. 1924. 14 сентября.*
- 8 Впервые по листку, сохранившемуся у Л.Д. Большинцовой, опубликовано В.Я. Виленкиным: *Ахматова А. Листки из дневника // Вопросы литературы. 1989. № 2. С. 212; см. также: Тименчик Р. К вопросу об источниках для жизнеописаний Гумилева и Ахматовой // Ахматовский сборник. I. Париж, 1989. С. 252.*
- 9 *Иванов Г.В. Сочинения в 3 тт. Т. 3: Мемуары; Литературная критика. М., 1994. С. 118–119.*
- 10 *Лурье В.И. Воспоминания о Гумилеве/ Публ. Н.М. Иванниковой // De Visu. 1993. № 6. С. 8, 10.*

- 11 *Страховский А.* Рыцарь без страха и упрека (Памяти Н.С. Гумилева) // Возрождение. 1951. № 16. С. 162–163.
- 12 РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед.хр. 432. Лл. 1, 5; последующие опыты мемуаристики Страховского нам неизвестны, архив его пока не разыскан; очерк 1951 года с некоторыми изменениями был перепечатан в издававшемся им журнале: Современник (Торонто). 1961. № 4. С. 59–61.
- 13 См.: *Гумилева А.* Николай Степанович Гумилев // Новый журнал. 1956. № 46; то же: Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., авторы комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 61–77; Н.С. Гумилев: pro et contra. СПб., 2000. С. 215–233. Менее вероятно использование мемуаристкой публикации А. Страховского, хотя в такого рода заимствованиях обвинял ее Георгий Иванов: «Эта дама на старости лет пишет чепуху: все не так и все не то. Совсем это не бесхитростные воспоминания, как писал [Г.] Аронсон. Напротив. Дело в том, что Гумилев с братом был в прохладных отношениях и общались они мало. Масса выдум<анного>, а иногда и прямой лжи. Вероятно, ей так кажется теперь. Явно она, пища, “работала по материалам”, шлифуя цитатами свою ерунду. Для будущего биографа Гумилева это не пособие, а “совсем наоборот”» (Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз: Переписка 1953–1958 годов. СПб., 2010. С. 428). Мы в свою очередь склонны с сомнением отнестись к свидетельству Георгия Иванова, писавшего в рецензии на американскую книгу А. Страховского: «В начале 18 года Гумилев познакомил меня с молодым поэтом Леонидом Страховским. Поэт был очень молод, был в сущности еще подростком — революция застала его на школьной скамье, и теперь в большевистском Петербурге он беспечно “донашивал” “контрреволюционную форму” Александровского лица. Несмотря на юность, он был сдержан, серьезен и много говорил о поэзии, обнаруживая настоящие познания и вкус. Гумилев явно ему покровительствовал. Стихи молодого Страховского нравились Гумилеву — он называл их “акмеистическими” — в устах Гумилева серьезная похвала» (Возрождение. 1950. № 9).
- 14 Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Ред.-сост. В. Крейд. Париж; Нью-Йорк; Дюссельдорф, 1989. С. 12.
- 15 *Дмитревский М.* [Четвериков Б.Д.]. Литературный молодняк // Литературный еженедельник. 1923. № 27. С. 6.

- 16 *Наппельбаум Ф.* Звучащая раковина // Петербургский текст. Вып. 2: Из истории русской литературы XX века. СПб., 2003. С. 271–272.
- 17 Звучащая раковина: Сб. стихов. Пб., 1922 (на обложке: 1921). На титульном листе: Памяти нашего друга и учителя Н.С. Гумилева. Состав: стихи: Ф. Наппельбаум, Д. Горфинкеля, В. Лурье, В. Миллера, Т. Рагинского-Корейво, О. Зив, А. Столярова, Н. Радищева [Н. Чуковского], И. Наппельбаум, К. Вагинова, А. Федоровой, Н. Дмитриева, Н. Суриной, П. Волкова.
- 18 *Груздев И.* Рец. на: Звучащая Раковина: Сборник стихов. П., 1922 // Книга и революция. 1922. № 7. С. 6); ср.: «Это кружок молодежи, пока ничем не проявивший себя. Это все бывшие ученики Гумилева» (*Павлович Н.* Гостиница для путешественников в прекрасном. 1922. № 1. [ненум. стр.]).
- 19 *Садофьев И.* Мертвая и живая литература // Литературная неделя. 1922.11 июня. Видимо, И. Садофьева возбуждали сантехнические коннотации титула. Справки о «Звучащей Раковине» см.: *Грудцова О.* Довольно, я больше не играю...: Повесть о моей жизни / Публ. Е.М. Царенковой, предисл. и прим. А.Л. Дмитренко // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 19. М.; СПб., 1996. С. 114–116.
- 20 *Адамович Г.* Литературные заметки // Звено. 1924. 1 сентября; ср.: «Где его ученики? Бездарным выучка не помогла, а одаренные разбрелись по своим дорогам. <...> средний уровень поэтической “грамотности” повысился — это очень вероятно, только это касается общего образования. А не стиля. Ученики Гумилева тверды в грамматике, чувствительнее к русскому языку — но гумилевской школы нет и “стиля эпохи” не получилось» (*Мочульский К.* О литературной критике // Звено. 1923. 12 ноября).
- 21 Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1, ч. 2: Москва и Петроград 1921–1922 гг. / Отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 2005. С. 287.
- 22 *Гревениц Д.* Мастера слова // Литературный современник (Мюнхен). 1952. № 4. С. 71–72.
- 23 «...ее величали у нас “баронессой” <...> след этой простой и доброй русской женщины затерялся» (*Вагнер Н.* Начало пути // Звезда. 1978. № 1. С. 188; эти воспоминания содержат подробности о «Мастерской слова»).
- 24 Он был на нескольких гумилевских лекциях в студии стихосложения; конспекты он сжег (*Браун Н.Н.* Золотое сердце Рос-

- сии: о Николае Гумилеве // Посев. 2012. № 12. С. 21). По устному свидетельству Александра Кушнера, Н.Л. Браун, говоря о своей любви к Гумилеву, вынужденной оставаться тайной, неизменно подчеркивал, что зато, в отличие от своего ленинградского коллеги по поэтическому цеху, тоже вынужденного умалчивать о запретном имени, никогда не был стукачом.
- 25 Красный студент. 1923. № 4. С. 16. Рецензент, обозревавший этот журнал, замечал: «Лучшее стихотворение его это “Слово” Н. Брауна, хотя в нем чувствуется сильное влияние Гумилева» (С-в. Общедоступный журнал // Литературный еженедельник. 1923. № 19. С. 15; криптоним, возможно, принадлежал Илье Садофьеву).
- 26 О влиянии Гумилева («любви к предметности и прочности слова») см.: Степанов Н. Рец. на: Браун Н. Новый круг // Звезда. 1928. № 7. С. 160. Впрочем, в это время отмечается скрещение влияний: «Переход Брауна в последние годы на линию Тихонова и Пастернака <...> вышел сейчас на трудный путь смешения разных стилевых систем» (Орлов В. Николай Браун // Смена. 1928. 25 июля).
- 27 Ср. его диалог-полемику с В. Ходасевичем в стихотворении «Русский иностранец» с эпиграфом «Под европейской ночью черной заламывает руки он»: «Я иду заодно и дотла — / С зачинателями, / Чекистами, / Выметалами барахла / <...> / Руки выломай, вырви прочь, — / Все равно — мы ворвемся и грохнем / В европейскую черную ночь» (Браун Н., Гитович А., Прокофьев А. Приказ о мобилизации. Перераб. и доп. изд. Л.; М., 1933. С. 20).
- 28 Филиппов Г. Николай Браун. Л., 1981. С. 53.
- 29 Браун Н. Поэзия большой силы. Переработанное выступление на съезде писателей // Литературный Ленинград. 1934. 8 сентября. Первоначальная версия: Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 648.
- 30 Он один из главных героев доклада Всеволода Рождественского «Петербургская школа молодой русской поэзии», прочитанного в 1923 году в Пушкинском Доме (Записки Передвижного театра. 1923. № 62. С. 1–3). См. о нем, без вести пропавшем на войне: Железнов П. В бою он стал политруком // Строка, оборванная пулей. Московские писатели, павшие на фронтах Великой Отечественной войны: Дневники, Письма. Очерки. М., 1976. С. 433–436.
- 31 См. сообщение в хронике: «На юге России под знаком “Алтаир” объединилась группа поэтов-акмеистов и неоклассиков, в ко-

- торуую вошли: Александр Миних, Евгений Нежинцев, Николай Нольден, Петр Рыжей, Рафаил Скоморовский и Николай Ушаков» // Пролетарская правда (Киев). 1922. 17 мая; Петр Рыжей — один из «братьев Тур», о цитате из «Капитанов» в их очерке см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. М., 2017. С. 543, 592; «Николай Нольден» — по-видимому, Юрий Нольден («Юрий Трубецкой») возможно, речь шла о поиске им псевдонима с именем «Николай» — ср. к этому объявление: «20 апреля в четверг в помещении Литстудии союза совработников состоится 4-я лекция поэта Николая Снежина на тему: “Сущность Акмеизма” начало в 9 ч. вех. вход для членов студии свободный» (В литстудии совработников // Пролетарская правда (Киев). 1922. 19 апреля). О Нольдене-Трубецком см.: *Хазан В.* «Но разве это было все на самом деле?» (Комментарии к одной литературно-биографической мистификации) // *A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes.* Stanford, 2006. P. 464–489.
- 32 *Адресат* [Осоргин М.]. Российские литературные новости (по частным письмам) // *Дни.* 1925. 22 февраля; впрочем, еще ранее тому же адресату сообщали из советской столицы о поэте Минихе: «чувствуется “петербургская школа”, но приятно и бодро» (*Адресат* [Осоргин М.]. В литературной Москве (по частным письмам) // *Последние новости.* 1924. 7 декабря).
- 33 *Оксенов И.* Крепкое ядро (О поэтах-космистах) // *Литературный еженедельник.* 1923. № 10. С. 12; ср.: «Сейчас, на бесплодном поле современной лирики группа космистов, вооруженная технически не хуже “любимцев Гумилева”, выступает боевым революционным отрядом» (*Оксенов И.* За нами (Литературные портреты) // *Литературный еженедельник.* 1923. № 11. С. 6).
- 34 *Мечиславцев* [Свентицкий А.В.]. Маленький обзор // *Литературный еженедельник.* 1923. № 24. С. 12; ср. также в т.н. «Материалах вскрытия» Максимилиана Волошина: «7/IX <19>30. Вчера вечером чтение Гумилева. Читают Рождественский и Миних».
- 35 См. подробнее: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 520.
- 36 *Степанов Н.* Поэтическое наследие акмеизма // *Литературный Ленинград.* 1934. 20 сентября.
- 37 *Пяст В.* Кунсткамера // *Жизнь искусства.* 1921. 18 октября.
- 38 Замечу, что слово выпадало из активного оборота даже у петроградских наборщиков — см. к примеру: «В качестве свадебного генерала открывает парад Мандельштам, честно предста-

- вительствующий аннекетов» (Д.В. [Выгодский Д.]. Всероссийский Союз поэтов. Второй сборник стихов // Петербург. 1922. № 2. С. 21). Впрочем, уже и в 1915 году приходилось объяснять сатирические строки 1913-го «При мне Гумилев создавал акмеизм, / Писал манифест Городецкий»: «Акмеизм — модный волчок, пущенный г. Гумилевым за ниточку г. Городецкого и вертевшийся две недели, но не без пронзительности» (*Измайлов А. Осиновый кол: книга пародий и шаржа: 2-й томик «Кривого зеркала»*. Пг., 1915. С. 73).
- 39 Сопо: Первый сборник стихов. [М., 1921]. С. 29.
- 40 *Иванов Г.* Рец. на: Сопо. Сб. 1 // Альманах Цеха поэтов. Кн. 2. Пг., 1921. С. 78.
- 41 *Лукницкий П.Н.* Труды и дни Н.С. Гумилева / Под общ. ред. Ю.В. Зобнина. СПб., 2010.. С. 705–706; ср.: «Ночевать шел во Дворец Искусства, пришлось перелезть через железную ограду. Встретился в доме с Адалис и долго с ней ночью разговаривал. О ней отозвался: Адалис — слишком человек... А в женщине так различны образы — ангела, русалки, колдуньи... У вас в Москве нет легенд, сказочных преданий, фантастических слухов...» (*Мочалова О.* Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 39); незадолго до этого Адалис писала В.Я. Брюсову: «...из нынешних поэтов ценю только Вас, кроме Мандельштама и Пастернака» (НИОР РГБ. Ф. 386. К. 74. № 8. Л. 9).
- 42 Так она была объявлена на вечере поэтических школ и групп 17 октября 1921 года «Неоакмеисты: Адалис» (*Брюсов В.Я.* Собр. соч. в 7 тт. Т. 6. М., 1975. С. 353). Ср.: «Адалис сняла с себя ярлык неоакмеистики и заявила себя синтетисткой, очевидно под влиянием недавнего выступления Брюсова в Союзе поэтов» (*Фефер В.* Смотри поэтических школ // В Политехническом «Вечер Новой Поэзии» / Сост. Вл.Б. Муравьева. М., 1987. С. 334). Позднее Адалис вспоминала: «Пишущей эти строки тоже попадало в юности от Владимира Владимировича [Маяковского] за стихи, написанные в странном и ложном жанре “нео-акмеизма”. То были искусственные стишки, в которых автору не терпелось показать недавно приобретенную “образованность”» (*Адалис А.* Слово о великом // Литературная газета. 1940. 20 марта). Ср. позднейший отзыв о ней: «метод стилизации, метод воскрешения основных принципов акмеистической лирики» (*Степанов Н.* Заметки о стихах. «Поэзия чувства» и «поэзия мысли» // Литературный современник. 1935. № 5. С. 179).



- 43 Ср.: «Но невольно задаешься вопросом: почему П. Антокольский “нео-акмеист”?» (*Шамурин Е.* Рец. на: Художественное слово. № 1, 2. // Казанский библиофил. 1922. № 3. С. 86). К теме Антокольского как «акмеиста» критика возвращалась не раз: «Если в драматической поэме “Конквистадор” подражание Гумилеву в выборе таких “красивых” слов, как “сезамы”, “грифы”, “владыки”, “яшма” и др. «оправдывается» романтической тематикой:

Я дам тебе сокровища Голконды,  
Ключи от всех сезамов дам тебе.  
Я посажу тебя на трон из яшмы,  
И смирно лягут бронзовые грифы  
У ног владыки. Слышишь, как звенят  
Тяжелые дублоны и флорины?

“Действующие лица”, 1932 г.

то в его стихах, посвященных советской действительности, эта бутафорская красивость словаря сталкивается со всем смыслом стихотворения:

Я тебе покажу, как летит бревно.  
Оседлав транспортер и воду отфырков, —  
Зная, что пропадать все равно, —  
И крутится и крикает корообдирка.

Здесь технические термины так же эстетизованы, как в других его стихах исторические и географические слова. Это связано с поверхностно-романтическим мелкобуржуазным пониманием социалистического строительства. Но Антокольский не одинок в своем эстетизме, он только лишь наиболее последователен. Следы словесного эстетизма, влияние словаря акмеистов мы можем найти у многих советских поэтов...» (*Степанов Н.* О словаре современной поэзии // Литературная учеба. 1934. № 1. С. 37); «Некоторые же из принципов поэтики акмеизма отрицательно сказались впоследствии в творческой практике отдельных советских поэтов: Полонской, Антокольского, Вс. Рождественского и др., определяя их эстетизм и уход от реалистической правдивости искусства» (*Степанов Н.* Советская поэзия за 20 лет // Литературная учеба. 1937. № 10–11. С. 142).

- 44 *Виноградов В.К.* «Зеленая лампа»: Продолжение темы «Михаил Булгаков и чекисты» // Независимая газета. 1994. 20 апреля. О визите С. Укше к Мандельштаму в Москве см. в письме Е.А. Рейснер к Ларисе Рейснер от 28 декабря 1922 года: «Стук

в дверь. М<андельштам> вскакивает, оказывается — пришла Суза от имени “Акмеистов-москвичей” с просьбой М<андельштаму> руководить ими... “Никаких акмеистов-москвичей нет, были и вышли питерские акмеисты, прощайте”» (*Богомолов Н.А.* Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 587).

45 См. монументальное издание: *Минаев Н.Н.* Нежнее неба: Собр. стихотворений / Общая ред., сост., подгот. текста, биогр. очерк и комм. А.Л. Соболева. М., 2014.

46 Хокку.

Вот девушка с газельими глазами  
Выходит замуж за американца...  
Зачем Колумб Америку открыл?!

5 июля 1921 Н. Гумилев

(РГАЛИ. Ф. 1336 (Альбомы разных лиц). Оп. 1. Ед.хр. 36. Л. 3).

47 Библиотека Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля.

48 *Искона* [*Грузинов И.В.*]. В хвост и в гриву [Рец. на: Поэты наших дней. М., 1924; корректура] // Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 4. [ненум. стр.].

49 *Дроздков В.А.* Dum spiro spero: О Вадиме Шершеневиче, и не только: Статьи, разыскания, публикации. М., 2014. С. 758, 759.

50 Он писал о Тенишевском училище: «В его зале Мейерхольт ставил «Балаганчик» Ал. Блока, здесь одержимые красотой играли — нет, творили, “Гондлу” Ник. Гумилева...» (*Гордон Л.С.* Письмо о Петербурге // Накануне. 1923. 28 октября).

51 *Гордон Л.* Оттепель. Берлин, 1924. С. 23. Историк-медиевист Лев Семенович Гордон (1901–1973) выехал в августе 1923-го за границу как советский работник (тогда и написано цитируемое стихотворение), служил переводчиком Торгпредства в Лондоне. По возвращении в 1926 году дважды арестовывался и отправлялся в заключение: «...вдруг стал читать неизвестные мне стихи:

— Лишь одно я принял бы не споря:

Тихий, тихий неземной покой

Да двенадцать тысяч футов моря

Над моей пробитой головой.

Я спросила:

— Это Гумилев?

— Да. Только не помню — Лева или Николай.

Я (нерешительно):

— Ну, Леве уж куда...

Папа:

— Нет, он тоже спо-соб-ный...

- И потерял сознание» (*Козырева М.* Из цикла «Портреты» // Звезда. 1997. № 6. С. 54); см. о нем: Сотрудники РНБ. СПб., 2003. С. 159–164 (очерк Л. Вольфцун); *Поляков Ф.* Русский Берлин в архиве Рейнгольда фон Вальтера // *Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана.* М., 2010. С. 301–302. См. также: *Рубинчик О.* Das Ewig-Weibliche в советском аду // *Наше наследие.* 2004. № 71. С. 107–120.
- 52 В.А. [*Дурье В.И.*]. Рец. на: Гордон Л. Оттепель. // *Дни.* 1925. 8 марта.
- 53 *Аскольдов С.А.* Из писем к родным / Публ. А. Сергеева // *Минувшее.* Вып. 11. М.; СПб., 1992. С. 297.
- 54 См. описание вечера в «Доме искусств»: «Нельдихен будет читать свои стихи о том, как он томится на дежурстве в казарме и как разбивает казенную икону, висящую в углу, потому что никакого Бога нет. “Разбить икону глупо и легко, а написать хорошее стихотворение трудно”, — резонно заметит Гумилев. Но вот уже собралась публика, наверху открыли зал, и Николай Чуковский собирает билеты, значит надо отправляться наверх. И слоняясь поверху в ожидании начала, видны целые вереницы поэтов — Николая Оцупа, Всеволода Рождественского, сумасшедшего Пяста. Вечер открывает Гум. Кланяясь на многочисленные хлопки, он читает на бис лучшие стихи из предполагаемой книги “Огненный столп”. Читает их медленно, уверенно, немного певуче, видимо, сам с наслаждением перебирая красивые аллитерации своих строк» (*Дмитренко А.А.* Из поэтического архива В.С. Алексеева // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год.* СПб., 2002. С. 425).
- 55 Критика относил Владимира Викторовича Смиренского (1902–1977) к приверженцам соседнего культа:  
«Его литературная линия — линия так наз. “неоклассиков”, линия эпигонов классического стиха, линия, в первую голову, — Ходасевича.

Здесь придется сделать маленькое отступление. Владислав Ходасевич, как известно, находится за границей. Сейчас нам неинтересно, обусловлена ли его эмиграция какими-нибудь политическими соображениями. Важно то, что советскому читателю Ходасевич — талант острый и несомненный — в равной мере чужд и своей надломленной интеллигентской психикой,

и своим старанием обойти полным пренебрежением всю техническую сложность новой поэзии. Результат его влияния на В. Смиренского оказывается опасным для ученика.

Попробуем доказать. В январской книге прекратившего свое существование журнала “Россия” Ходасевич в 1924 году поместил типичное для него стих. “Что ж? От озноба и простуды —”. Может быть, читатель вспомнит, о чем идет речь. Поэт сидит в берлинском ресторане. За окном, “как бы в аквариуме темном”, проходят трамваи. “В вагонных окнах отразилась поверхность моего стола”

И, проникая в жизнь чужую,  
Вдруг с отвращением узнаю  
Отрубленную, не живую,  
Ночную голову свою.

А теперь — покажем В. Смиренского в стих. “Зима”:

А у ворот передо мною —  
Большое узкое окно, —  
И в нем — безумное, чужое —  
Лицо мое отражено...

На наших глазах литературный последователь оказывается побежденным болезненной психикой своего учителя...

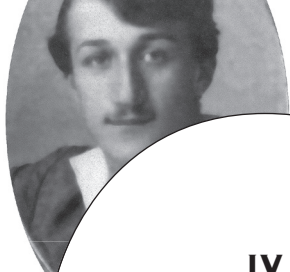
Заметим, что такие мотивы В. Смиренский разрабатывает нередко и иногда с достойной самого Ходасевича язвительной остротой и умением пользоваться прозаизмами (смотрите хотя бы стих. “Август, — а в густой аллее...”). Но если он не поймет всей ложности выбранного им литературного пути, поэзия его окажется ненужной здоровому читательскому большинству. А это будет досадно уже потому, что В. Смиренский может писать стихи более чем неплохие» (*Поступальский И.* Рец. на: Смиренский В. Осень. Стихи. 1921–1926 гг. Л., 1927 // Печать и революция. 1928. № 1. С. 184–185).

- 56 *Дмитренко А.А.* Из поэтического архива В.С. Алексева. С. 405. Ср. ответ В.В. Смиренского на анкету: «В Петербурге много говорят о моем увлечении вдовой поэта Н.С. Гумилева. Так это правда. Все же остальное, что обо мне говорится, за исключением слухов о моем необычайном таланте, — наглая и ненужная ложь» (РГАЛИ. Ф. 1068. Оп. 1. Ед.хр. 148. Л. 60б; указано А.А. Соболевым). О стихах Владимира Смиренского, обращенных к Анне Энгельгардт, см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 602.

- 57 А.Ш. [Шварц А.?). В союзе писателей. Неоклассики // Ленинград. 1925. № 27. С. 12–13; об истории кружка см.: Палей А. Встречи на длинном пути. М., 1990. С. 82–87.
- 58 Просвещенец. 1925. № 9. С. 17.
- 59 Звучащая раковина. С. 85–86.
- 60 Горнунг Л. Рец. на кн.: Звучащая раковина. // Гермес. 1922. № 3. С. 439.
- 61 Не с этим ли связано его стихотворение «Двойник» (Красный студент. 1923. № 6. С. 8)? В этом же журнале (1923. № 5. С. 11) рассказ Дмитриева «Человек» в духе «Серапионовых братьев». В проекте «Северного альманаха» (1923) фигурирует его сочинение «Душа человека голенища лакова» (Дмитренко А.А. Из поэтического архива В.С. Алексева. С. 405).
- 62 Собрание стихотворений. Л., 1926. С. 19; см. отзыв В. Орлова о «гумилевском арсенале» в его стихотворении в сборнике «Ларь»: Тименчик Р.Д. Подземные классики. С. 555, 618; см. также справку А.Л. Соболева в его «Летейской библиотеке» (запись 32, 21 февраля 2009 года): «Н. Вагнер вспоминал: “Браун однажды привел меня в ‘Мастерскую слова’ Я не помню точно, кто числился тогда мэтром этого литературного объединения. Если не ошибаюсь, некий Дмитриев. <...> Я не запомнил его выступлений и литературных установок, но страстным борцом за слово, помнится мне, он был.” Ему было уготовано место в программных выступлениях обериутов: Хармс помещает его в список предполагаемых членов “Фланга Левых”, потом в реестр “Матерьял к изданию”, затем в раздел “Живопись”; зовет его на “читку” по окончании “Комедии города Петербурга»» (<http://lucas-v-leijden.livejournal.com/74400.html>).
- 63 Поэтика: Временник Отдела словесных искусств. IV. Л., 1928. С. 155.
- 64 Гимн формалистов / Публ., сопроводит. текст и комм. К. Кумпан и А. Конечного // Natales grate numeras? Сборник статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. СПб., 2008. С. 288.
- 65 РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед.хр. 245 (сообщено В.В. Нехотиным); ср.: «Десять лет — цифра сакральная: именно столько дарит история каждому поколению. Потом приходит “племя младое” — и начинается сложная, иногда трагическая борьба двух соседних поколений. “Племя младое” выросло на наших глазах за эти десять лет. Мы становимся старшими. Оно еще учится у нас, но для того, чтобы потом делать по-своему» (Эйхенбаум Б. Анна Ахматова: Опыт анализа // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 75).
- 66 РГАЛИ. Ф. 2813. Оп. 1. Ед.хр. 13.

- 67 Лукницкий П.Н. Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I: 1924–1925 г.г. Париж, 1991. С. 26.
- 68 Лукницкий П.Н. Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I. С. 225.
- 69 Лукницкий П.Н. Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II: 1926–1927. Париж–М., 1997. С. 70, 94.
- 70 РГАЛИ. Ф. 625. Оп. 35. Ед.хр. 1. Лл. 36–38.
- 71 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 69.
- 72 Лавренев Б. Поэт цветущего бытия / Публ. Б.А. Геронимуса // Звезда Востока. 1988. № 3. С. 148–152.
- 73 См.: Тименчик Р.Д. Подземные классики. С. 618–619.
- 74 День поэзии 1982. Л., 1982. С. 329–331.
- 75 Штейнман З. Навстречу жизни: О творчестве Б. Лавренева. Л., 1934. С. 10–11; о Зелике Штейнмане ср. рассказ о книгах из тюремной библиотеки, составленной из отобранного при обысках: «Среди этих книг оказался, в частности, первый том из так и неизданного двухтомника Эдуарда Багрицкого, который был тогда моим любимым поэтом. В углу титульного листа книги сохранилась надпись “Зелик Штейнман”. Зная, что известный ленинградский критик Зелик Штейнман вернулся из лагерей в Ленинград, я “зажилил” эту книгу и привез ее в Питер. Придя на встречу с ним, чтобы вернуть книгу, я с горечью и сожалением услышал его страстную речь о том, что сажали правильно, что Сталин был гений и тому подобное» (*Городницкий А.М.* И жить еще надежде. М., 2001. С. 132).
- 76 «Подвергнутая экспертизе литература...» / Публикация Е.М. Царенковой и А.А. Дмитренко // In Мемогіам: Сборник памяти Владимира Аллоя. СПб., 2005. С. 414.
- 77 См. в выверенном очерке его биографии, написанном Т.М. Двинятиной: «Кратковременные аресты в 1927 и 1929, так же как и общий усилившийся партийный нажим на лит-ру, заставляет Л. переосмыслить и резко изменить свою жизнь. В конце окт. 1929 выбор сделан: “Я понял: мировая коммунистическая революция, которая сейчас совершается, — права, и дело ее священное. <...> И я рад, что могу быть полезным»» (цит. по: Лукницкая В.К. Перед тобой земля. С. 108–109). В апр. 1930 он уезжает с геологоразведочной партией на Памир» (Литературный Санкт-Петербург. XX век: Энциклопедический словарь. В 3 тт. Т. 2. СПб., 2015. С. 507).
- 78 Марина Цветаева, Николай Гронский: Несколько ударов сердца. Письма 1928–1933 годов / Подгот. текста Бродовской Ю.И.,

Коркиной Е.Б. М., 2003. С. 184. Об М.М. Артемьеве см.: «Чрезвычайно активным советским агитатором среди масонства является М.М. Бренстэд, бывший сотрудник “Возрождения”, пишущий под псевдонимом “Артемьев”. По паспорту он датчанин, благодаря чему имеет возможность легко передвигаться по всей Европе»// *А.Б.В. Сеть НКВД во Франции // За свободу.* 1947. № 18. С. 13); *Хенкин К.* Охотник вверх ногами. М., 1991. С. 17; *Никитин А.А.* Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. М., 2000 (по указателю: «Артемьев М.», «Брендстедт М.М.»). Ср. также историю миграции вариантов оригинала: «28 февраля [1928]. Позавчера — неприятность — открытка от А.Н. Гумилевой с просьбой принести ей рукопись “Отравленной Туники”. Вчера был у нее. — “Тунику” на верное исчезновение, на пропажу, принес ей. Она все так же ужасна — кукла с коротким заводом. И труслива и идиотична» (*Лукницкий П.Н.* Дневник 1928 года: Асуміана 1928–1929 / Публ. и комм. Т.М. Двинятиной // *Лица. Биографический альманах.* 9. СПб., 2002. С. 357). См. также предложенную Н.М. Аничковой Литературному музею в июле 1938-го «напечатанную на машинке “Отравленную тунику” Гумилева. Поправки в тексте сделаны рукой Гумилева» (РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед.хр. 3067). Филолог Наталия Милюевна Аничкова (1896–1975), в 1949–1955 годах — в Унжлаге.



IV

# ГОДЫ БЕЗВРЕМЕНЩИНЫ



ЖИРАФ, ПАЛЬМА  
И ДВУГОРБЫЙ  
ВЕРБЛЮД  
(РИСУНОК  
В.В. МАЯКОВСКОГО,  
1913)

Н.Я. РЫКОВА

Л.В. РОЗЕНТАЛЬ

М.А. ТАРЛОВСКИЙ

**В** 1927 году советская литература отмечала свое первое десятилетие, перебирала отсевшихся, того

не слитого с эпохой дооктябрьского человека, последним блестящим выражением которого явились книги Гумилева «Огненный столп» и Ахматовой «Anno Domini MCMXXI»<sup>1</sup>.

Эти два списанных с парохода современности поэта провозгласили итоговыми характеристиками по случаю протекшей декады:

Содержание поэзии Гумилева, быть может, самого даровитого из них, — блуждания по экзотическим странам, Египту и Абиссинии, и его книги стихов в большинстве случаев — музеи, где собраны редкие растения, редкие звери и люди, леопарды и змеи, дикие воины в леопардовых шкурах и причудливые пейзажи. Быть может, этим объясняется его влюбленность в монархию, в гербы и геральдические книги, его политическая наивность фантазирующего реакционера. Так же далека от современности поэзия другой представительницы акмеизма, Ахматовой...<sup>2</sup>

Есенинщина — это самое распространенное племя эпигонов. Другая часть эпигонов — «наследники акмеизма». Как известно, акмеизм оказался только поправкой к символизму. И хватило его лет на 10. Приблизительно до 1922 года. Тогда сошел со сцены Гумилев, замолчала Ахматова, и «Грифельной одой» прорвался к иным берегам Мандельштам<sup>3</sup>.

Но в том же году у акмеизма ненадолго нашелся молодой и энергичный защитник — Всеволод Саянов:

Ежели верно утверждение о том, что первоочередное литературное наследие, — наследие эпох подъема буржуазии, то я, на основании заполненной мной краткой анкеты, требую зачисления по той же графе акмеизма. Буржуазная природа акмеизма и личная судьба его вожаков меньше всего нас должны смущать при этом: любому здравомыслящему человеку вполне понятно, что и Пушкин никогда не был коммунистом. Эпигонской поэзии конца девятнадцатого века символисты противопоставили совершенно иное отношение к слову: любовь к необычным словосочетаниям, к «красивым, часто бессодержательным словам» была естественной реакцией на крайности эпигонской поэзии, жившей совершенно утратившими остроту словосочетаниями, превратившейся в «поэзию штампов». Два десятилетия символизма, изменив отношение к стиху, как это ни странно, подготовили реставрацию классической поэзии. Если, как это доказал Жирмунский («Валерий Брюсов и наследие Пушкина»), обращение символистов к родникам классицизма было неудачным, то три крупнейших поэта акмеизма — Гумилев, Ахматова и Мандельштам — сумели овладеть реалистическим методом классической литературы.

Выше было показано, в силу каких социальных предпосылок случилось это превращение. В этом отношении характерны прежде всего высказывания самих акмеистов. <...> Впрочем, вопрос об истинном отношении акмеистов к наследию Пушкина ждет еще своего исследования, аналогичного тому, которое сделал с Брюсовым Жирмунский. Однако и сейчас можно утверждать, что реалистичность показа мира, точное значение вещей — несомненное устремление к эпосу, — вот качества, которыми мог похвастать акмеизм и в которых больше всего нуждается современная поэзия. Правда, все те достоинства, которыми обладали акмеисты, есть и в классической поэзии, но следует помнить, что акмеизм учел сложные события истории русского стиха, которые случились после Пушкина, в частности, вобрал в себя наследие символизма<sup>4</sup>.

Присущие каждому юбилею пролетарской революции ожидания амнистий сподвигли ленинградских писателей, как возмущенно докладывал «напостовец» Семен Родов, на

демонстративное предложение, написанное в день 10-летия ГПУ [20 декабря 1927 года] в Ленинградскую Федерацию советских писателей, чтобы ФСП возбудило ходатайство о предоставлении пенсии вдове Гумилева<sup>5</sup>.

В том же году те же лица предприняли попытку переиздания в СССР парижского сборника стихов Гумилева. Ахматова писала П.Н. Лукницкому ранней осенью 1927-го:

Борис<оглебский> был в цензуре, где будто узнал все о Синеи звезде<sup>6</sup>.

В это же время происходило обсуждение возможности оказать помощь детям классового врага на собрании писателей, где выступил Н. Брыкин:

Я был удивлен, когда Федин выступил в защиту Гумилева. Я помню, что когда мы были на фронте, — в 1920 г. я был в 7 действующей армии, Федин же был редактором в той же 7 армии, армия боролась против белых и уничтожила контрреволюцию, — в это время в тылу Гумилев организовывал восстание против сов. власти, и если бы восстание удалось, Гумилев повесил бы и меня и Фебина в числе еще двух тысяч человек. Какая же тут может быть речь о гуманности. Ее нет и не может быть<sup>7</sup>.

В юбилейном году была замечена еще одна попытка протащить хвалу Гумилеву («бессовестная апология царскосельской обстановки (не музейной, а бытовой), Анненского, Гумилева, “утонченности”, “благородства”, — всего того, что, по словам автора, завешено сейчас “завесой из домотканой холстины”», «молился же он за Гумилева и Анненского»<sup>8</sup>, — несмотря на авторские ужимки и усилия

того тщания, с каким сочинитель «Города муз» избегает в своем изложении двусмысленных оборотов речи, неоднократно навлекавших на него перуны бдящих блюстителей. Скажешь иной раз слово, как будто приятное, а оно, оказывается, черт знает, до чего непристойно<sup>9</sup>.

Речь о книге Эриха Голлербаха, у которого в прошлом было и знакомство с Гумилевым, и прижизненная статья о нем, и конфликт, и воспоминания<sup>10</sup>. В соответствующем разделе повествования одиозное имя умолчано:

В те же годы, когда творил Комаровский, пытаюсь выразить стихами неугасимое свое томление, крепло и росло дарование другого поэта, которому суждена была широкая известность, но который погиб так же рано, как Комаровский, пережив его всего на семь лет.

Он еще в гимназические годы проникся поэзией Анненского, приветившего его талант, и впоследствии с нежностью вспоминал о днях, когда он, «робкий, торопливый, входил в высокий кабинет», где ждал его «спокойный и учтивый, слегка седеющий поэт» и где для него звучала музыка еще неизвестных миру стихов. Это были встречи двух муз, двух зорь, и «руки одна заря закинула к другой» (Блок). Это чувство выразил Анненский в надписи на своей книге, подаренной молодому поэту:

«Меж нами сумрак жизни длинной,  
Но этот сумрак не корю,  
И мой закат холодно-дынный  
С отрадой смотрит на зарю».

В дальнейшем, при всей разности поэтических темпераментов учителя и ученика, элегические мелодии Анненского не раз проскальзывали в лирику «конквистадора». И могло ли быть иначе, если он дышал воздухом тех же парков, где меланхолические вечера простирают над темными кущами свои серо-сиреневые крылья и последние лучи умирающего солнца золотят замшелые руины? Разве не Анненским навеяно это ощущение (такое явственное под шатрами вековых лип), что «деревьям, а не нам дано величье совершенной жизни», и разве не голос Анненского, разве не его тоска слышится в строках, повторяющих знакомое сравненье:

«Как этот ветер грузен, не крылат!  
С надтреснутою дыней схож закат,  
И хочется подталкивать слегка  
Катящиеся еле облака...»

Но поэту-акмеисту был тесен мир царскосельских образов, его влекла экзотика, ему хотелось кружиться в водовороте жиз-

ни, и он изменял Царскому Селу — то ради шумных кабачков Монмартра, то ради глухих дебрей Африки, то ради древней земли, «где гиппогриф веселый льва крылатого зовет играть в лазури». Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений, он с одинаково жадным любопытством вскрывал себе вены, пробовал топиться в Сене, затягивался дымом опия, бросался в огонь сражений.

Многие зачитываются в детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Эмаром, но кто осуществляет в своей «взрослой» жизни этот героический авантюризм? Он — осуществил. Его увлекали опасные затеи, далекие путешествия, он скитался по южным морям, по тропическим странам и привозил оттуда «кльки слонов», «меха пантер», «картины абиссинских мастеров», персидские миниатюры. Над ним трунили, упрекали в позерстве, называли «изысканным жирафом», смеялись над его «экспериментами». Он же презирал благополучных обывателей, из вежливости отшучивался, а в душе злился, «как идол металлический среди фарфоровых игрушек».

Казалось, что в царскосельском парке он прислушивается не к шороху листвы и журчанию каскадов, а к далекому грохоту Кагула и Чесмы, о которых гласят надписи обелисков. И на войну он пошел потому, что искренно не понимал, как можно

«жить в покое

И не ждать ни радостей, ни бед,

Не мечтать об огнезарном бое,

О рокочущей трубе побед...»

<...> «В шуршании широкошумных лип

Мне слышится его тягучий голос»,

и в полумраке вечера встречается — в который раз... давно разлученная, но навсегда неразлучная пара. У него осанка прусского лейтенанта, белесоватые глаза глядят и не глядят, веки розовы от ветра и словно не мигают. Длинная шея зябко втянута в воротник пальто. Голос прыгает от низких нот почти к дискантам, растягивая слова и проглатывая их, как устрицы<sup>11</sup>.

Солидным, но от этого не более успешливым, был проект гумилевского соратника по акмеизму Владимира Нарбута.

В возглавлявшемся им московском издательстве «Земля и фабрика» в 1927 году начали планировать том избранного Гумилева со вступительными статьями ленинградцев — представителей правоверного ЛАППа Александра Зонина, Геннадия Фиша и Бориса Соловьева<sup>12</sup>. Обиженный непривлечением к этому плану П. Лукницкий записывал:

1928. 23 января. Вечером в М<раморном> Д<ворце> были Мандельштамы — «великолепные, толстые, здоровые» — после нескольких-то месяцев пребывания в Сухуме. О.М. шутил, говорил пустяки, был весел. И только когда разговор зашел об издании книги Н.Г. в ЗИФе, О. Мандельштам, тоном величайшего благородства (зачем? никто ведь из него этого благородства не выдразнивал...) стал говорить вещи такие, из которых А.А. поняла всю некрасивую роль О.М. в этом деле. Совершенно очевидно, что О.М. хочет заработать и только о своем заработке думает, когда прикасается к этому делу. Было очень тяжело разговаривать с ним — и очень неприятно. Фальшь, фальшь, и совсем не тонкая<sup>13</sup>.

На планы печатать Гумилева резко реагировал Маяковский. В январе 1929-го на вечере в Харькове он отвечал на вопрос из зала:

— Ну, что же, стихи он умел сочинять, но какие: «Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя». Говорят: «Хороший поэт». Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом<sup>14</sup>.

И в сентябре того же года говорил на пленуме правления РАППа после доклада Г. Горбачева:

Вот говорят относительно поэтессы Цветаевой: у нее хорошие стихи, но идут мимо. Отсюда вывод: надо дать Цветаевой <пропуск в стенограмме>, чтобы не шли мимо. Это полонщина, которая шла «сама по себе», которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые «сами по себе хороши». А я считаю, что вещь, направленная против Советского Союза, направлен-

ная против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить (*Горбачев: «Это клоповый примитивизм»*)<sup>15</sup>.

Соперничество Маяковского с Гумилевым за влияние на умы молодых поэтов стало к юбилею послеоктябрьской словесности очевидным фактом:

любопытно было бы сравнить влияние Маяковского со следом, оставленным в революционной поэзии Гумилевым, этим страстным борцом против символизма, одним из лучших представителей строго формального подхода к стиху. Гумилев — этот поэт мужественности, в душе которого «победа, слава, подвиг» звучали, «как трубы медные, как голос Господа в пустыне», был предтечей целого направления. В стихотворениях пролетарских писателей, у какого-нибудь Гастева или Казина легко найти отзвуки героической романтики Гумилева...<sup>16</sup>

О нелюбви Маяковского к Гумилеву<sup>17</sup> (среди немногого объединяющего их назовем любование красотой жирафа) известно со слов Лили Брик. В доме Бриков, видимо, было навсегда установлено то отношение, которое зафиксировано в статье Осипа Брика «Хлеба!», напечатанной в декабре 1915-го, когда он, став продюсером Маяковского, представлял «Облако в штанах»:

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Мы ели пирожные, потому что нам не давали хлеба. И какой только пакостью не кормили нас предприимчивые кондитеры. «Пирожные! самые обсахаренные, самые свеженькие, тают во рту. Пожалуйста! Снежные буше Блока, вкуснейшие эклеры Бальмонта, не прикажете ли свешать фунтик карамели без начинки “Акмэ” новой фабрики Гумилева, бывшего старшего приказчика т<оргового> д<ома> В. Брюсов с братом. Фабрика оборудована по последнему слову техники; все машины выписаны из-за границы. Очень рекомендую». И наконец, наинovelшее достижение кондитерского искусства «Мороженое из сирени». Сосали, пережевывали, захлебывались, глотали эту сахарную снедь, вымазывая па-



токой губы и души. Потом валялись на всем, что помягче: куда деться от тошноты<sup>18</sup>.

Лиля Брик сообщала:

Гумилева читал мало и не очень любил. Помню только:

А в заплеванных тавернах  
От заката до утра  
Мечут ряд колод неверных  
Завитые шулера.

и

Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так что сыпется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет.

Чтобы сбить с этих строк их романтическую красоту, он последнюю строку читал гнусаво шепелявя:

С розоватых брабантских манжет<sup>19</sup>.

Заметим, что приведя именно эту строфу, критик с изощренной стиховой интуицией Сергей Бобров в 1922 году говорил о поэзии Гумилева как «весьма увлекательной по форме (имевшей серьезное влияние на следующее поколение, до Маяковского включительно)»<sup>20</sup>.

Бытовала еще легенда, которая не кажется невероятной, о том, что Маяковский в последние свои дни читал строфу из «Я верил, я думал...»:

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,  
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае  
На пагоде пестрой... висит и приветно звенит,  
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи<sup>21</sup>.

Очень может статься, что он, любивший мурлыкать песни Вертинского, воспроизводил песню «Китай» на слова этого гумилевского стихотворения.

Маяковский, изначально не любивший человека, чью национализированность (так что Лиле Брик пришлось заменять рус-

ский *Наш на N французский*) и шепелявость передразнивал (хоть и заслушался как будто «Заблудившегося трамвая»<sup>22</sup>), подружившись с чекистом Я.С. Аграновым, причастным к ликвидации поэта, в известном смысле обязан был длить по-смертную слежку за врагом.

Процитируем сводку Миливое Йовановича:

Все его высказывания об авторе «Заблудившегося трамвая» говорят о пренебрежительном к нему отношении. В тезисах выступления Маяковского, устроенного «Комсомольской правдой» 10 сентября 1928 года перед его поездкой за границу, вопрос «С чем ездил Гумилев?», проиллюстрированный цитатами из «Капитанов» и «Галлы», означал осуждение Гумилева за его якобы «поэтический колониализм». В статье «За что борется Леф?», опубликованной в первом номере журнала «Леф» за 1923 год, антивоенная позиция футуристов противопоставлена «бряцанию войнопевцев», среди которых Маяковским упомянут и Гумилев. Наиболее резко по отношению к Гумилеву выступил Маяковский в своей речи на Втором расширенном пленуме Правления РАПП в конце сентября 1929 года, когда началась жесточайшая расправа с так называемыми «попутчиками». Полемизируя с попытками (в частности, критика Полонского) переиздать стихи убитого поэта, он со всей прямоотой революционного фанатика заявил: «А я считаю, что вещь, направленная против Советского Союза, направленная против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить». Из приведенного выше следует, что Гумилев для Маяковского был лишь врагом, причем врагом идеологическим, и что такое его отношение перечеркивало все возможные заслуги Гумилева перед русской поэзией<sup>23</sup>.

Одним из договоривших за Маяковским (едва ли не цитируя его же приказы по армии искусств) был Петр Незнамов, которому вообще были присущи запальчивые заявления<sup>24</sup>:

В поэзии у нас сейчас провозглашено не мало врагов-друзей. Их, с одной стороны, принято слегка приканчивать, а с другой — творчеству их рекомендуется подражать. Таков Гумилев. В ли-

тературе он живет недострелянным; и в ней сейчас бытуют не только его стихи, служащие часто молодым поэтам подстрочником, но и его формулировки. О поэтическом призвании Гумилев писал когда-то так:

Высокое косноязычье

Тебе даровано, поэт...

— и был по-своему логичен. Буржуазная формула поэта некогда ушла от таковой же формулы дипломата. Принципиальная невнятица поэта стоила здесь последовательного недоговаривания дипломата, больше всего боявшегося разоблачения неравноправных тайных договоров. Но одно дело — недоговаривать в условиях капиталистического общества, и другое дело — косноязычить во время социалистической стройки<sup>25</sup>.

Затем на десятилетие в советском литературоведении Гумилев становится фигурой на заднике, обеспечивающем негативный фон для Маяковского на авансцене<sup>26</sup>.

Симметрично, и в эмиграции находились блюстители чистоты антитезы:

В эмиграции, особенно новой, считается признаком хорошего тона доказывать, что есть «нечто общее в судьбе наших больших поэтов: Блока, Гумилева, Мандельштама, Кузмина, Есенина, Маяковского, Пастернака, Клюева, Цветаевой, М. Волошина...» Между тем ни одна из этих судеб не похожа на другую, а некоторые совершенно по-разному обработаны советским режимом. Первый и наиболее яркий пример — контрастирующие судьбы двух антиподов: Гумилева и Маяковского. <...> От одного сравнения этих судеб на фоне непрекращающихся и по сей день травли и вывода в расход всех инакомыслящих, можно придти в отчаяние и вместе с Гумилевым воскликнуть:

Как не погнулись, о горе,

Как не покинули мест

Крест на Казанском Соборе

И на Исакии крест?<sup>27</sup>

Возражавший Маяковскому («клоповый примитивизм!») Георгий Горбачев, аттестуемый соратниками по борьбе за

пролетарскую литературу как «формалист-эклектик»<sup>28</sup>, был неоднократно замечен в пристрастиях к вождю акмеистов.

Старый марксист Л. Войтоловский выговаривал ему:

Горбачев — типичный литературный эклектик (критик-соглашатель), с одинаковой готовностью цитирующий и Плеханова, и Эйхенбаума, и Троцкого, и Третьякова, и Арватова, и Буша, и Гумилева. <...> Чтобы приютить под одной кровлей «марксистского метода» Троцкого и Эйхенбаума, Плеханова и Гумилева, необходима слишком большая собственная оригинальность. А Г. Горбачев чересчур легко подчиняется авторитету чужого слова. Любая фраза рождает в нем струю созвучных строчек<sup>29</sup>.

Гумилева он всегда выделял среди своих литературных неприятелей:

Без бога, как известно, и Сонечке Мармеладовой было бы трудно блюсти свою «чистоту особенную» добродетельной и богобоязненной проститутки. Внутренние эмигранты любят поэтому мотивы божественные, ища утешения в небесном от бед земных. И потому мистикой полны многие из посвященных этим эмигрантам сборников стихов (Ахматова, Кузмин, даже крепкий и здоровый, не трус и нытик, а боец контр-революции, полный физиологической жажды жизни — Н. Гумилев)<sup>30</sup>.

Быть может, именно то, что Н. Гумилев из всех поэтов-акмеистов почти один не остался чужд социальной борьбы, современности (хотя участвовал в ней как контрреволюционер), предохранило его талант от вырождения в комнатной атмосфере акмеизма. В «Огненном Столпе», стихах Гумилева, изданных в 1921 г., наряду с упадочными «Персидской миниатюрой», «Слоненком», имеются сильные, бодрые мотивы свежей, ненадломленной, даже первобытной силы («Память», «Леопард»). Особенно интересны стихи «Мои читатели» и строки «Души и тела»:

— Люблю в соленой плескаться волне,  
Прислушиваться к крикам ястребиным,  
Люблю на необъезженном коне

Лететь по лугу, пахнущему тмином.

И женщину люблю...

— Но я за все, что взяло и хочу,  
За все печали, радости и бредни,  
Как подобает мужу, заплачу  
Непоправимой гибелью последней.

По этим строкам можно судить о высоком мастерстве лучших стихов Гумилева, с их ясным, кратким, выразительным и удивительно четким стилем, с их простотой, так трудно достигаемой.

Характерно, что Гумилев, быть может, под влиянием своего нежелания видеть ненавистную ему революционную современность, усилил ранее слабые элементы импрессионизма и смешение реальности с мистикой в своих последних стихах («Заблудившийся трамвай», «У цыган»). <...> Он всегда оставался верным учеником Брюсова, влюбленным в историю, мифологию, экзотику, строгим блюстителем канонических поэтических форм. Гумилев отрекся от символизма к 1910-м гг., но никогда не отделался от него. Главные темы Гумилева это — обычные романтико-героические темы, взятые из прошлого или из жизни далеких экзотических стран. Они своеобразно преобразованы грубоватым, несколько примитивным, мироощущением автора, отразившим в наклонности к некоей джек-лондоновской авантюристике американский дух, проникший в капиталистическую Россию. Но в суровом чувстве долга, в ожидании неизбежной губительной расплаты за радости жизни, в мистическом ожидании «суда божия» после смерти, в любви к внешней пышности обстановки и к торжественности выражений — сказались настроения наиболее крепкой духом части обреченного историей дворянства.

Стилизация же Кузмина или умнейшая игра Мандельштама в сдвиги времен и мест, все это — творчество какого-то второго, отраженного порядка. Это — тонченное «блюдо» для книжников, для филологов, хитрое сочетание форм, приемов, мотивов старой поэзии<sup>31</sup>.

Интерес и известное уважение к Гумилеву сквозило, даже когда он «крыл» (его любимое слово в переписке) модернист-

тов. Видимо, не без этой связи в историко-революционном романе его приятеля Леонида Грабаря, посвященном «Г. Горбачову-“Моржу” <так>», появляется в эпизодах 1917 года знакомая тень:

Летом Миша <...> в Царском <...> слушал стихи Сергея, начавшего неожиданно для всех, в том числе и для себя, их писать, видел высокого, худого и прямого человека с громадным кадыком, выпиравшим из тугого стоячего воротника. Сергей, да и все окружающие, были почтительны с этим человеком и, затаив дыханье, слушали его рассказы о знойных и странных странах, его стихи, пряные и грубые, как жизнь в пустыне<sup>32</sup>.

За попытки вносить эстетический момент в классовые оценки Горбачев и был ругаем собратьями по идеологии:

Только формалистской установкой нашего «левого» критика можно объяснить его барски-эстетское отношение к литературе по линии оценки им лишь того, что имеет с его точки зрения «чисто литературное» значение и «двигает вперед» литературу. Не касаясь вопроса об оценке чисто литературного значения буржуазно-дворянской литературы периода империалистической войны и подготовки к ней, отмечу только, что Горбачев из-за своей эстетской установки обходит почти совершенно наиболее заостренный классово-«агитационный» период буржуазно-дворянской литературы. Да и при всей своей любви к «художественным ценностям» Горбачев проспал, по существу, крупнейшего художника-империалиста, Н. Гумилева, сумевшего, по мнению требовательного критика, лишь в «нескольких стихотворениях передать пафос личного военного героизма офицера и дворянина» <...>.

Немудрено после этого, что Горбачев почти обходит молчанием деятельность буржуазно-дворянских писателей и в период пореволюционный, на том основании, что одни из этих писателей «не оригинальны» (Бальмонт), другие упражняются «в еле прикрытых поэтической формой базарных ругательствах против большевиков (Гиппиус), третьи «замкнулись в искусственный мир» и стараются не замечать «что вот-де произошла ре-

волюция» (акмеисты). Однако даже те стихи, которые приводит Горбачев (не говоря уже о многих других), говорят не о замалчивании, а об активной борьбе с революцией, хотя бы и «абстрагированным от реальной пролетарской революции образом». Горбачев даже не поднимается до понимания того, что сама эта «абстрагированность» есть лишь особая форма классовой борьбы, объясняемая конкретно-исторической расстановкой классовых сил<sup>33</sup>.

Теснимый более ортодоксальными товарищами, прова-ренный в чистках Горбачев задумался о перестройке (арест вскоре после убийства Кирова оборвал всю его деятельность). Он писал Г. Лелевичу:

15 марта 1931

Писать ли (вернее брать ли обязательства написать к сроку) «Имп<ериализм> и рус<скую> литературу»? Есть установка — развенчать рантьерски-буржуазный, деклассирующееся-дворянский, паразитирующе-«гуманистический тож» — интеллигентский символизм и акмеизм (империалистически-феодалный (?)), как культурное наследство, разрушить обаяние этого последнего буржуазного соблазна в литературе. Есть темы: 1) Акмеизм (Гумилев и Ахматова), 2) Брюсов и предчувствия социальной катастрофы, 3) Дворянская эсхатология (Блок, Белый, Вл. Соловьев сравнительно с Л. Толстым, Тютчевым и как ни странно Мстиславским), 4) Исторический роман символистов, 5) Реализм 10-х и Шмелев, 6) Хлебников. И позднее «народничество» на славянофильской подкладке (тут и Блок, и Ремизов, и Мережковский с Гиппиус), 7) Попутчики пролетариата (Серафимович, Вересаев и т.п.), 8) Вырождение народничества в литературе (Ст<епняк> Кравч<инский> — Ропшин-Мстиславский), 9) Мировоззрение и стиль символизма. Но лучше все это писать не торопясь и осторожно перерабатывая.

Ne c'est pas?

29 мая 1931

Чешутся руки написать совсем новые статьи о Брюсове, Блоке, акмеистах, неореалистах. Теперь в Гихле нет Добина, ниже Чумандрина. Пойду потолкую.

15 июля 31

Подписан договор на «Империализм»<sup>34</sup>.

Другим, помимо Маяковского, влиятельным недоброжелателем Гумилева был Федор Раскольников, у которого образ покойного был связан, как нетрудно видеть по его письмам к уходящей от него обожаемой Ларисе Рейснер, с загробной ревностью, и сам уход ее был для него, не чуждого ханжества<sup>35</sup>, «рецидивом гумилевщины»<sup>36</sup>. О том, не виновен ли он в гибели Гумилева, начали без особенных оснований гадать не сегодня<sup>37</sup>, а довольно давно, и устами весьма ненадежными<sup>38</sup>.

Предлогом для атаки на ненавистного предшественника стали стихи молодого поэта Марка Тарловского, которого в это же время Э. Багрицкий поощрял за то, что «гумилевская пышность ощущается в книге стихов уже не так резко, акмеизм звучит в ней подспудно»<sup>39</sup>. Гумилевские истоки многих стихотворений первой книги Тарловского были обнажены, — как, скажем, «Канцона вторая» («Маятник старательный и грубый, / Времени непризнанный жених, / Заговорщицам секундам рубит / Головы хорошенькие их) — вслед за «часами», анимированными по И. Анненскому:

...Качаются гири-подвески,  
Как ядра в тяжелой мошне,  
И маятник, мужески-резкий,  
О ласке мечтает во сне.

Он ходит от края до края,  
И каждые тридцать минут,  
В торжественной страсти сгорая,  
К нему обольстительно льнут —

И боем, во тьме напряженным,  
Летучую нежную плоть  
Он милым нетронутым женам  
Пытается проколоть.

Под музыку стона и дрожи  
Великое множество дней



Он с ветреной вечностью прожил,  
Ни разу не слившись с ней.

И в комнатах тихого дома,  
Не знающий отклика зов,  
Звенит вековая истома  
До гроба влюбленных часов!<sup>40</sup>

Ф.Ф. Раскольников угадал уязвимую точку М. Тарловского, автора стихотворения, написанного в июле 1929-го в Коктебеле по поводу двадцатилетнего юбилея пребывания Гумилева в волошинском доме и заканчивавшегося строками про «нездешней розни власть»:

Под этим низким потолком  
С тюремным вырезом для света,  
Здесь жил поэт. И самый дом  
Уже тогда был Дом поэта.

Что́ было видно из окна,  
Высокого и чуть косо́го? —  
Безоблачная глубина,  
Да горы, да соседки — совы...

Он слушал моря мерный вал,  
А, может быть, не слушал даже,  
И капитанов воспевал,  
Душой с отважными бродяжа.

Свой лучший отдых от стихов,  
От музыки, иногда докучной,  
Он видел в битвах пауков,  
Плененных им собственноручно.

Он их, наверно, уважал,  
Сидельцев спичечных коробок, —  
Он сам от битвы не бежал  
И в этой битве не был робок,

Когда безумные полки  
 Георгиевских кавалеров  
 Запрыгали, как пауки,  
 В тазу неслыханных размеров,

Когда нездешней розни власть,  
 Дразня дерущихся тростинкой,  
 В нем воскресила злую страсть  
 Тарантульского поединка.

И свой его народ разъял,  
 Свой Бог поправ, как тунеядца!  
 Мы все расстреляны, друзья,  
 Но в этом трудно нам сознаться...<sup>41</sup>

Спустя три года М. Тарловскому пришлось обороняться от нападок доказывающих свою лояльность ровесников:

Геннадий Фиш так рвал мне брюки, что если бы он меня при этом укусил, то я поехал бы в Пастеровский институт делать прививку от бешенства<sup>42</sup>.

Геннадий Фиш, напечатавший в ленинградском сборнике «Собрание стихотворений» (1926) стихи о героическом эпизоде биографии Льва Троцкого, должен был клеймить подражания Гумилеву, ибо сам был в них ранее замечен — влияние Гумилева и Тихонова констатировал у него М. Зенкевич<sup>43</sup>, а стихотворение «Златоуст» («Моросит над горой Таганай, / Моросит над горой Косотур, / Златоустовский день узнавай, / День весомых температур»<sup>44</sup>) «сразу переносит к “Сентиментальному путешествию” Гумилева»<sup>45</sup>.

В Москве Тарловский отбивался от А. Селивановского и А. Суркова:

Никогда Гумилев непосредственно на меня не влиял. Я его воспринял через посредство таких акмеистов, как Мандельштам, Зенкевич, Нарбут. <...> Мне могут пришивать только техническую зависимость от Гумилева <...> Тов. Сурков, когда говорил о вступительном стихотворении к книге «Бумеранг», сказал: «Не

надо ли искать в буквах Н. и Г. намека на инициалы одиозного поэта?»... Если бы я назвал книгу «Лязг», «Мозг», «Вдрызг», то, может быть, сказали бы, что это — Зинаида Гиппиус...<sup>46</sup>

Вступительное стихотворение, о котором идет речь, — медитация над фоносемантикой слова «бумеранг»:

Два слитных гласных суть дифтонг,  
 А два согласных — аффриката.  
 Связь «н» и «г» звучит как гонг,  
 Как медный звон в момент заката.  
 Филологический инстинкт  
 Не спас нас от чужого ига,  
 И через титул (твой Ating)  
 Дань гуннам ты приносишь, книга.  
 В моем ферганском Sturm und Drang  
 Сквозит изгнанничество Гейне,  
 И бури слова *бумеранг*  
 Еще по-рейнски лорелейны<sup>47</sup>.

Надо сказать, что, подозревая австралийскую глоссу в отдаленной отсылке к экзотизму автора «Шатра» и «Кенгуру» (хотя, курьезным образом, бумеранг скорее связан с опиской Гумилева, замеченной еще Б.В. Томашевским в 1909 году<sup>48</sup>), А. Сурков невольно совпал с ходом ассоциаций эмигрантского поэта, этим словом открывшего свое посмертное подношение Гумилеву:

Бумеранг чертит в воздухе круг,  
 режет стебли травы пахучей;  
 черный маузер — испытанный друг  
 замолчал у песчаной кручи.  
 Я не вижу того, кто стоит  
 и не верит молчанию леса...  
 У него туго стянутый щит  
 белой краской в круги изрезан...  
 Знаю, завтра, спугнув тишину,  
 у костров островерхих хижин

будет петь, как, смотря на луну,  
пестрый зверь мои кости лижет<sup>49</sup>.

Надо полагать, что М. Тарловский, видимо, памятуя об этой атмосфере цитатного сыска, спустя тринадцать лет при обсуждении рукописи Арсения Тарковского в Клубе писателей не назвал имени Гумилева (ограничился И. Анненским и Блоком), в то время как Павел Шубин сказал: «Я прощупываю то Анненского, то Блока, то Гумилева»<sup>50</sup>.

Ф.Ф. Раскольников писал о Тарловском в ставшей маленькой сенсацией статье<sup>51</sup>:

Его даже нельзя назвать попутчиком. Не в обиду ему будь сказано, он до сих пор проявил себя типичным эпигоном дворянской и буржуазной поэзии. Наибольшему влиянию в отношении формы и содержания он подвергся со стороны Гумилева. <...> Раболепно подражая своему учителю Гумилеву, он весьма удачно митирует его стиль.

У Гумилева имеется следующее четверостишие:

Очарован соблазнами жизни,  
Не хочу я растаять во мгле;  
Не хочу я вернуться к отчизне,  
К усыпляющей мертвой земле.

Марк Тарловский, взяв это эпитафией, пишет не то вариацию, не то продолжение гумилевской строфы:

Не хочу, чтоб меня хоронили,  
Как обломок, в былом отжитой,  
Как потомка дворянских фамилий,  
Измельчавших в борьбе с нищетой.

Кроме стиля Тарловский заимствует у Гумилева его образы. Гумилев был романтик, находившийся под сильным влиянием французской поэзии середины XIX столетия. Он любил экзотические страны, пустыни, населенные несущимися на свободе дикими зверями: слонами, жирафами, барсами и пантерами. Основной образ поэзии Гумилева — это конквистадор, завоеватель и колонизатор новых земель.

Фантастическая экзотика в духе Гумилева в высшей степени свойственна Марку Тарловскому. Вот, например, стихотворение

«Последнее чудо». Мрачная фантазия Тарловского рисует ему в будущем жуткую картину, как одичавшее стадо людей будет охотиться на последнего слона, еще оставшегося в живых на обледенелой земле.

<...> Некритические перепевы Гумилева, как и следовало ожидать, не прошли для Тарловского безнаказанно. Как всякий писатель, Гумилев не был поэтом вне времени и пространства. Он являлся представителем своего класса, своей эпохи. Талант Гумилева сложился между двух войн и революций. Расцвет его творчества приходится на 1905–1914 гг.

Потерпев поражение на полях Маньчжурии, русский империализм<sup>52</sup> лихорадочно готовился к мировой войне. Царизму в его воинственных устремлениях нужны были свои трубадуры. Во время мировой войны для этого было создано «Лукоморье», оптом и в розницу покупавшее поэтов и писателей для прославления подвигов царизма и для подъема патриотических чувств. Таков был социальный заказ правящего класса той эпохи — поместного дворянства. Гумилев задолго до 1914 года отдал свое перо для прославления империализма, для создания завоевательной и авантюристической психологии. Когда Гумилев писал свой «Путь конквистадоров», когда он вынашивал и создавал свой основной образ европейского колонизатора, он поэтически оформлял идеологию дворянства и буржуазии, охваченных страстью империалистических завоеваний, стремящихся к выходу в Средиземное море, к захвату Константинополя и проливов. Гумилев был поэтическим выразителем идей, настроений и чаяний тех классов, которые осуществляли политику русского империализма. Не случайно, как только вспыхнула мировая бойня, Гумилев принес на алтарь царизма не только перо, но и шпагу, добровольно отправившись на фронт — сражаться за грабительские цели русского империализма. Но в то же время Гумилев был выдающимся мастером стиха.

Ученически копируя образцы своего предшественника, Марк Тарловский не мог освободиться от его зловредного идеологического влияния и пришел в советскую литературу с багажом гумилевского наследия, который ему следовало бы оставить за дверями<sup>53</sup>.

Но вскоре после публикации этой статьи Ф.Ф. Раскольников, находившийся на дипслужбе в Эстонии и наслаждавшийся там эмигрантской прессой<sup>54</sup>, дождался появления настоящих аргументов против мертвого соперника. Они нашлись в мемуарах Георгия Иванова и А.В. Амфитеатрова, напечатанных в рижской газете «Сегодня» к 10-летней годовщине расстрела Гумилева. В оперативно написанной для серии «Литературное наследство» статье Ф.Ф. Раскольников подытоживал:

И Амфитеатров, и Георгий Иванов рассказывают, что к этому времени усилились религиозные и монархические настроения Гумилева. Идя по улице, он широко крестился на церкви, и афишируя своим монархизмом, заявлял: «Я — монархист». Эти настроения, приведшие Гумилева к активному участию в контрреволюции, вполне логически вытекают из всех его политических устремлений, как апологета русского империализма.

Религиозные и монархические нотки звучат в целом ряде поэтических произведений Гумилева. Эпигон дворянской поэзии Гумилев идеологически был вполне подготовлен для контрреволюции. В его участии в Таганцевском заговоре не было ничего неожиданного. Кронштадтское восстание 1921 года окрылило надеждой контрреволюционного поэта. Ему представлялось, что наступают последние дни советской власти. Он стал писать белогвардейские прокламации. По признанию Амфитеатрова, во время «вольнки» в Ленинграде Гумилев, между прочим, вел антисоветскую работу на Трубном заводе.

В этой статье «Таганцевская загадка» Амфитеатров отступает еще на один шаг и уже допускает возможность организационных связей Гумилева с Таганцевым, но «рассудку вопреки, наперекор стихии» отрицает существование Таганцевского заговора.

«Ну, а прокламации Гумилева и его пропаганда в Красной Армии? — задает себе вопрос Амфитеатров и отвечает: — Не сомневаюсь, что он и прокламации писал (кто же в этом не упражнялся из литераторов противобольшевиков? Только редко кто, написав, не спешил уничтожить). И с красноармейцами разговаривал, клоня речь к «разрушению существующего строя».

Очень может быть, что это он делал по распоряжению «главы заговора», в порядке конспиративной дисциплины, и исполнял распоряжение с удовольствием, так как дисциплину любил» («Сегодня». 1931, № 295).

Амфитеатров притворяется непонимающим, что писание контрреволюционных прокламаций и ведение антисоветской агитации среди красноармейцев и рабочих под руководством «главы заговора» с соблюдением конспиративной дисциплины — составляют необходимые и достаточные условия участия в белогвардейском заговоре.

Отныне можно считать установленным активное участие Гумилева в контрреволюционной Таганцевской организации, которое обнаруженное советской властью, теперь признано самими белогвардейцами, которые прежде лицемерно и ханжески отрицали участие Гумилева в каком-нибудь политическом заговоре<sup>55</sup>.

Какую-то часть пишущего молодняка удерживал от идолатрии почти официальный «постпопутчик» акмеизма Э. Багрицкий, одобрительно отзывавшийся о нем в Одессе:

Акмеизм, провозглашенный Гумилевым и Ахматовой, нашел в Инбер верную и способную последовательницу<sup>56</sup>,

и написавший в Москве на своей книге «Юго-Запад»

тов. Поступальский — акмеизм не умер. Э. Багрицкий<sup>57</sup>

Разъяснение самонаречению акмеистом у Багрицкого давал после его ухода уже перестроившийся на социологический лад князь Д. Святополк-Мирский:

Багрицкий и впоследствии причислял себя к акмеистической школе, противопоставляя ее футуристической. Акмеизм был несомненно буржуазным течением, но в нем было здоровое ядро, продолжавшее одну сторону творчества Брюсова и отражавшее сознание наиболее здоровой части буржуазии. Реакция против символизма, желание говорить о предметах как реальных са-

могущественных предметах, а не как о символах абстрактных идей, стремление видеть мир как бы «только что созданным», борьба с «клише», установка на сюжетность и на поэзию действия, а не «переживания», — во всем этом было так много здорового, что поэты русской буржуазии, начавшей загнивать, прежде чем она успела созреть, могли только мечтать об этом, но не могли осуществить этого. Поэтому мы видим у акмеистов резкий разрыв между практикой и теорией. Ведущие поэты акмеизма совершенно не выполняли его требования. Абстрактные, расплывчатые, туманно-религиозные образы наводняют стихи Ахматовой, Гумилева («Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня»), Мандельштам вместо конкретных предметов давал однословные сцепления ассоциаций. У Нарбута и Зенкевича мы находим действительное выполнение акмеистической программы, и совершенно не случайно, что именно из всего «цеха поэтов» именно эти двое оказались советскими поэтами. Программа акмеизма, при всей своей ограниченности (она исключила социальную тематику), оказалась не по плечу упадочной российской буржуазии. Лучшие ее стороны оказались жизнеспособными только в руках поэтов-интеллигентов, нашедших новый источник жизненных сил в пролетарской революции. Так, установка акмеистов на сюжетность получила реальное воплощение только у Тихонова<sup>58</sup>.

Здесь придется привести самую длинную цитату в нашей композиции, предоставив место воспоминанию Семена Липкина, отшлифованному до блеска одесского рассказа:

Продолжая громко и трудно дышать, он довольно быстро перелистал тетрадку и вдруг вонзил в меня птичий недвижный взгляд:

— Вы тут заявляете: «Лишь в движенье мы жизнь постигаем и преобразуемся в нем». Испоганили Гумилева, обокрали его: «Ах, в одном божественном движенье косным нам дано преображенье».

— Я поэта Могилева никогда не читал.

— Могилева? Ой, поцайло! Вы вообще каких-нибудь поэтов читали? <...>



Багрицкий достал из нижнего ящика несколько тоненьких книжек.

—Теперь я вам прочту Гумилева, чтобы вы его больше не путали с городом из черты оседлости. Четыре года назад Петроградская Чека его расстреляла.

—Как Андре Шенье?

—Вот-вот. Бойтесь этого поэта. Гумилев так завораживает, что вы теряете самого себя. Я сам только недавно вырвался из его колдовского плена. Помните «Страшную мечь» Гоголя? Поверьте мне на честное слово, что Гумилев такой же колдун, как-то описал великий хохол, равного которому я не знаю никого в мировой литературе. Гумилев сознавал, что в нем есть нечистая сила: «Милый мальчик... на, владей волшебной скрипкой и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача».

Он начал чтение с «Капитанов». Господи, милый Бог, что со мной стало! Какие необыкновенные слова я услышал в этом нищем сарае на нищей, жалкой городской окраине! «Арабы-скитальцы, искатели веры, и первые люди на первом плоту». А какие удивительные рифмы — «обнаружив — кружев», «области — доблести», «хартий — карте». Таких слов, таких рифм не было у тех поэтов, которых я знал. А «Заблудившийся трамвай»? «Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон!» Я даже такого слова не слышал — вагоновожатый, у прежних поэтов его не было, не могло быть, а в Одессе водителя трамвая почему-то называли «ватман».

Разумеется, Багрицкий понял, что со мной происходит. Он так и задумал. Воткнув свои толстые пальцы с длинными, пушкинскими ногтями в мою густую шевелюру, он сказал:

— Я вам дарю «Жемчуга», «Колчан» и «Огненный столп» — последнюю, лучшую его книгу. Я не хочу их держать у себя. Хватит. Мне с ними душно. Я хочу дышать свежим, соленым ветром новой жизни.

<...> По совету Багрицкого, я сорвал с себя бант и перевязал им три гумилевских книжечки. Я возвращался домой по безмолвным улицам полуночной майской Молдаванки, порой сверкали запоздалые, недоступные для меня трамваи, а в душе сиял другой, не электрический свет, сияли музыка и счастье.

Предсказание Багрицкого сбылось. Несколько лет я жил, заколдованный Гумилевым. Конечно же я выучил все три книги

наизусть, иначе и быть не могло, я читал Гумилева всем знакомым и полужнакомым.

Гумилев долгие годы находился у нас под запретом, да и сейчас в печати его имя упоминается кисло и нехотя, поэтому исследователи обдуманно не замечают его огромного воздействия на советскую поэзию. Если у Маяковского советская поэзия заимствовала его беспрекословную, не рассуждающую подчиненность, служебность Государству, его приземленность, его фельетонную, плакатную броскость, схоластику мышления и лишь некоторые — считанные — взяли на вооружение его великолепную версификацию и опять же плакатные, резкие образительные средства, то Гумилев привлек к себе советских стихотворцев воинской мужественностью, ясностью, наглядностью деталей, блеском классически-прозрачного стиха. Тихонов, Саянов, Сурков, Симонов и множество менее известных — подражатели Гумилева. Для них благородный стиль Гумилева то же самое, что греческие колонны для сталинской архитектуры. Я хорошо помню, что для интеллигентных группок начинающих стихотворцев моего поколения наиболее привлекательными из числа старших современников были не Ахматова, не Мандельштам, не Кузмин, не Ходасевич — их понимали и ценили единицы, — а гораздо более левые Пастернак, Сельвинский, Цветаева, чей голос доходил из-за рубежа, и рядом с ними — Гумилев. <...> Между прочим, у Гумилева нет ни одной строки, «направленной против Сов. Союза». Маяковский произнес эти слова за полтора года до самоубийства, он с острой болью чувствовал, что теряет уважение, интерес к себе и уже не в силах кощунственно «сделать максимально дрянной» поэзию тех авторов, кого любили, ценили и знатоки, пусть весьма немногочисленные.

Еще раз забегу далеко вперед. В 1949 году арестовали моего приятеля Р.Д. Морана, журналиста и переводчика. Ему дали восемь лет, но отсидел он только пять благодаря зачетам: последние каторжные свои годы он работал слесарем на строительстве Волго-Донского канала. Вернувшись, он мне рассказал, что на Лубянке ему предложили прочесть показания Павла (фамилию не называю, может быть, еще жив), нашего сотоварища по одесскому литературному кружку, ныне члена Союза писателей. Вызванный по делу Морана как свидетель (чего?), он показал,

что «Моран — друг Липкина, который в молодости, в Одессе, пропагандировал стихи белогвардейца Гумилева, расстрелянного советской властью». В каком-то смысле доносчик не соврал. Он и сам полюбил Гумилева, услышав от меня его стихи.

Сейчас в моих глазах Гумилев не высится в первом ряду поэтов двадцатого века, в том ряду богов, в котором я вижу Анненского, Ахматову, Блока, Бунина, Мандельштама, Пастернака и Ходасевича. Гумилев принадлежит к полубогам. Но в те начальные мои годы, когда Багрицкий умно и увлекательно объяснял мне истинность, красоту, значительность этих поэтов, да и других, мне незнакомых, — Бенедиктова, Случевского, Кузмина, Ключева, Нарбута, — долго еще Гумилев оставался для меня самым дорогим.

Багрицкий, открывший мне Гумилева, только и делал тогда, что его развенчивал<sup>59</sup>.

При знании о первоначальной поэтической генеалогии Э. Дзюбина-Багрицкого в его ранний одесский период гумилевские реминисценции в его стихах обнаруживались без особых усилий:

...насыщенность стихов Э. Багрицкого чувственными, предметными деталями сближает его с отличительными признаками того же акмеистического мироощущения. Действительно, когда мы читаем у Э. Багрицкого:

Это стремглав, на удачу, в прорубь,  
 Это, деревянные вздувая ребра,  
 В гору вылетая, гремя под гору,  
 Дом пролетает тропой недоброй —

нам вспоминаются и Мандельштам, впервые пожелавший «из тяжести недоброй» создать прекрасное, писавший о городе, чувствующем «свои деревянные ребра», и Гумилев, у которого древние кумиры «смеются усмешкой недоброй», и плотоядная выразительность стихов Нарбута или Зенкевича...<sup>60</sup>

Благорасположенному критику пришлось прибегнуть к весьма изощренному доказательству историко-литературной теоремы, чтобы развести два имени:

Хотя вопрос о литературных влияниях и не имеет той решающей роли, которую ему часто приписывают, но все же на поэтической генеалогии Багрицкого следовало бы несколько остановиться. Ее чаще всего ведут от акмеистов. Думается, что это не совсем так. Во всяком случае, основная группа акмеистов осталась Багрицкому чуждой. Ни лирическая интимность Ахматовой, ни пассаистический артистизм Мандельштама не связаны внутренне с его творчеством и не отразились на нем. Больше проявилось влияние Гумилева (всего отчетливее в «Голубях»), да и то следы его довольно поверхностны, и то, что приписывают ему, можно объяснить непосредственным воздействием французских парнасцев и символистов, проводником поэтических принципов которых Гумилев в значительной мере и являлся (недаром ведь было Блоку так «скучно» его читать: он находил для себя в нем мало нового; Гумилев старался играть роль акмеистского Брюсова — и стал им). С большим правом можно говорить о влиянии боковой «линии» акмеизма (Нарбут, Зенкевич), на что правильно указал рецензент «Звезды»<sup>61</sup>. Натурализм Нарбута, густые краски Зенкевича не раз вспоминаются при чтении Багрицкого («Весна», «Трясина»). С другой стороны, ясно заметно увлечение романтиками: английскими (от Вальтер Скотта до Киплинга), немецкими, и — через романтиков — народной поэзией. В Багрицком произошел как бы сплав «младших» акмеистов со старыми романтиками. Говорить о нем как о «чистом», чуть ли не типичном акмеисте нельзя: самый принцип акмеизма враждебен его романтической поэзии. Последователей акмеистов у нас теперь много, но это — другая школа (Ушаков, Тарловский и др.)<sup>62</sup>.

Багрицкий отнекивался от былых увлечений публично и выразительно — запомнилось отражение изменения его привязанностей в двух вариантах «Стихов о поэте и романтике».

Первый, «подлинный» вариант был, по-видимому, сообщен Багрицким Кузмину, как можно умозаключить по воспоминаниям О.Н. Арбениной («А какие чудесные строки его памяти у Багрицкого! Я за них полюбила Багрицкого»<sup>63</sup>):

Депеша из Питера: страшная весть  
 О том, что должны расстрелять Гумилева.  
 Я мчалась в телеге, проселками шла,  
 Последним рублем сторожей подкупила,  
 К смертельной стене я певца подвела,  
 Смертельным крестом его перекрестила.

И на него же откликнулся в «Ответе Эдуарду» (1928) Николай Дементьев:

Вы правы в одном, фантазер Эдуард,  
 Романтики старой приемыш и бард:  
 За это, сумбурным прошедшее сном,  
 За время смертей и побед  
 Не счесть их, уволенных без орденов,  
 Без пенсий за выслугой лет.

Обугленный мир малярией горел,  
 Прибалтики снежный покров  
 Оттаивал кровью, когда на расстрел  
 Пошел террорист Гумилев<sup>64</sup>.

Созданный, по-видимому, по настоянию Корнелия Зелинского цензурный вариант:

Депеша из Питера: страшная весть  
 О черном предательстве Гумилева.  
 Я мчалась в телеге, проселками шла;  
 И хоть преступленья его не простила,  
 К последней стене я певца подвела,  
 Последним крестом его перекрестила...  
 Скорее назад!

В незавершенной поэме «Февраль», над которой Багрицкий работал в последнюю зиму перед смертью, он соединил имя разлюбленного им поэта с отвергнутым буржуазным уютом:

За столом велась беседа. Трое  
 Молодых людей в земгусарской форме,  
 Барышни, смеющиеся скромно.  
 На столе — пирожные, конфеты.  
 Я вошел и стал в изумлении...  
 Черт возьми! Какая ошибка!  
 Какой это чайный домик!  
 Друзья собрались за чаем.  
 Почему же я им мешаю?..  
 Мне бы тоже сидеть в уюте,  
 Разговаривать о Гумилеве,  
 А не шляться по ночам, как сыщик,  
 Не врыватья в тихие семейства  
 В поисках неведомых бандитов...<sup>65</sup>

Багрицкий отрекался с шиком — так, чтобы это запомнилось:

Однажды довольно известный поэт, примыкавший к конструктивистам, прислал Багрицкому стихотворение «Разговор с Н. Гумилевым». Там были строки:

Лестно вам, что в антикварной чаше  
 Книги ваши ценятся весьма,  
 Что болеет молодежь все чаще  
 Принципами вашего письма...

— Часто болеют старики, а не молодежь,— сказал Багрицкий. — Гумилев был любимым поэтом юнкеров и гардемарин. «Принципы его письма» были известны еще Теофилю Готье.

В начале тридцатых годов действительно возникла была мода на стихи Николая Гумилева. Его книгами бойко торговали букинисты. Многих привлекала холодная отточенность и экзотическая красочность этого крупнейшего поэта-бутафора. Багрицкий сам в юности отдал дань акмеистической школе, знал, насколько ограничен и враждебен революции ее кругозор, но считал, что мы — молодые поэты — и сами, придет время, хорошо во всем разберемся. Он только легонько подталкивал нас к иронической, критической оценке того, что, по его мнению, было уже пройденным этапом, но могло дать нежелательный рецидив!<sup>66</sup>

Видимо, со слов того же А. Коваленкова писал М. Беккер в статье «Работа Эдуарда Багрицкого с молодыми поэтами»:

О Гумилеве он буквально говорил следующее: «Гумилев — поэтизированная география. Гумилев — поэт юнкеров»<sup>67</sup>.

Багрицкий отслеживал компрометирующее влияние в сочинениях молодых поэтов, например, Сергея Маркова. Сергей Николаевич Марков (1906–1979) в ту пору писал «акмеистические», «предметные» стихи, например, «Круглый двор»:

Павлиньих стекол дребезжащий ряд  
Горит и множит сомкнутые грани;  
В них пудренные женщины сидят  
И зреют прокаженные герани;

Пылают голубые зеркала —  
Советники стареющих предплечий,  
А на балконах спрятанная мгла  
Гудит, поет, ворчит по-человечьи.

Заря отметит погребенье дня;  
Тоске вечерней здесь помогут сами  
Худые пожиратели огня  
И скрипачи с кровавыми глазами.

Они придут, и дымные дворы  
Покорны будут их нехитрой муке,  
Певцы расстелют рваные ковры  
И вывернут чудовищные руки.

Вечерний гром! Стремятся с высоты  
Шары незримых людям миллиардов,  
Сейчас на крышах длинные коты  
Похожи на ублюдков леопардов.

И дождь бежит с уступа на уступ,  
Поет поток, и черный желоб режет

Агония водопроводных труб  
Стучащих крыш томление и скрежет!

Но вот дрожит непрочное тепло,  
Шары умолкли, вывернуты лузы,  
Факир глотает круглое стекло,  
Похожее на зерна кукурузы.

Я улыбаюсь. Чахлая трава  
К дождю взывает: «Возвратись, обрызни!»  
Я отыскал высокие слова  
В суровых рощах низкорослой жизни<sup>68</sup>.

По признаку эстетической симпатии с сибирским поэтом познакомился Павел Антокольский, записываемый критикой в акмеисты, что в этом сезоне не порицалось<sup>69</sup>. П.Н. Лукницкий записывал в дневнике 19 июня 1929 года:

У П. Антокольского. <...> Читал им мои стихи по просьбе Павла Григорьевича. Пришел С. Марков, тоже читал стихи. Чай с конфетами. Антокольские предпочитают акмеистические стихи другим<sup>70</sup>.

Багрицкий отрезал о рукописи сборника «Тавро», которую он забраковал:

Книга Маркова является типичным продолжением гумилевской линии в современной поэзии. <...> Ни о какой классовой установке в книге Маркова нет и речи. Стихи написаны академично...<sup>71</sup>

И в этом случае Багрицкий попал в точку — у Сергея Маркова есть стихотворение, которое сперва стало известно лишь по пересказу в протоколе допроса поэта Е.Н. Забелина, с распознаваемой цитатой из «Заблудившегося трамвая»:

Везут Гумилева в «черном вороне» по Ленинграду, вдали виден Исаакиевский собор — последний оплот православия, и вот на гранит падают мозги желтым виноградом<sup>72</sup>, —



— но затем было выявлено и опубликовано:

Расстрел Гумилева  
 Часы протяжно и долго били,  
 День прибавился к календарю.  
 Черные крылья автомобиля  
 Сейчас унесут, унесут зарю.

Пять патронов, скрытых в железе,  
 Синий свинец и белая сталь.  
 Черных людей Чад и Замбези  
 И Тамариндов высоких жаль.

Люди тебя убьют, не жалея,  
 Мозг виноградом облепит гранит,  
 Бронзовый Петр, попирающий змея,  
 Заговори языком пирамид<sup>73</sup>.

Того же Сергея Маркова в своей борьбе против «гумилевской строфы»<sup>74</sup> отметил Андрей Белый. Его окончательное мнение о лидере акмеизма, которого он числил в своих запаздывающих последователях<sup>75</sup>, по-видимому, навсегда сложилось после петроградской поездки 1920-го. Тогда И.Н. Розанов в дневнике за 16 июля передавал монолог Белого:

...необходимо вернуться к предметам, нащупать их, произвести осмотр инвентаря. Это уже пытался отчасти сделать «акмеизм». Он постарался расширить круг (нет остроты у акмеистов) у акмеистов есть географические завоевания. (Африка и пр.). Они пытаются взять землю с птичьего полета <...> Но акмеизм не имеет серьезного значения. Возникновение его и самое наименование случайно. Я помню, как в кабинете Вяч. Иванова в разговоре с Гумилевым я предложил ему название «адамизм», а Вяч. Иванов «акмеизм». Теперь в Петрограде Гумилев играет большую роль. Ходит гордо и каждым движением и взглядом говорит «я — метр! я — метр!» — и это крайне неприятно. Думаю, что пора метров проходит безвозвратно. Мы накануне (нам «угрожает») великого поэта, и монументальной поэзии, накану-

не русской «Илиады» и «Одиссеи». Многогранность школ залог этого славного будущего<sup>76</sup>.

И Гумилев призывал учеников дистанцироваться от звезды символизма:

Строгий и сухой на похвалу Гумилев говаривал о Белом: «Этому писателю дан гений». И всегда при этом добавлял: «Но гений свой он умудрился погубить»<sup>77</sup>.

Евгений Архиппов писал одному из своих корреспондентов:

И неверным я считаю в энциклике Гумилева отлучение Белого от акмеистов и поддержание бодрости школы путем запрещения читать Белого. Это запрещение передается теперь наследникам Г<умиле>ва<sup>78</sup>.

Вспоминая в советские годы юного парижского Гумилева в карикатурных тонах<sup>79</sup>, Белый, ценивший ранее версификационное мастерство Гумилева<sup>80</sup>, атаковал и академический «гумилевско-майковский»<sup>81</sup> стих (в разборе поэмы Г. Санникова<sup>82</sup>).

О новонайденном им пассаисте в лице Сергея Маркова из Сибири Андрей Белый писал:

Вглядываясь и вслушиваясь в стихи, объединенные циклом «Меридианы», получаешь впечатление, что автор талантлив, что работать ему над стихом стоит; но именно — много работать, потому что каждое стихотворение оставляет впечатление прибранного наряда определенного стиля, в котором одни части (строчки) уже оригинальны и самостоятельны, другие — заплата на «стиле»: они — беспомощны; а большинство — «стиль», т.е. штамп, вдумчивое воспроизведение классических традиций, подновленных техническими заданиями первого десятилетия нового века. Гумилев, стоявший во главе школы, — не идет в счет; в нем «школа» — не школа, а самостоятельный, оригинальный подход к стиху. Гумилев — крупный поэт; и «школа»

в нем — оригинальность его личных достижений: но будущего, конечно, такой подход к стиху не имеет; «школа» Гумилева, т.е. ряд приемов, им внедренных в сознание «учеников», не только не откровение, но — «ревизия» в истории новейшей поэзии; у него нет оригинального собственного содержания; но, как «ремесло», она вооружает просто умением складывать слова и обтесывать образы.

Нет поэта, который бы в юности не отправлялся от той или иной школы своего времени (и — Пушкин); «Гумилев» ли, «Брюсов» ли, «Маяковский» ли — не все ли равно? Есть период в развитии поэтического таланта, в который он непроизвольно становится «школьником» — Маяковского ли, Гумилева ли; оба любили слова; у обоих можно многому поучиться; «школа» как сюжетно-идеологическое направление — одно; «школа» как эпоха учебы, эпоха овладения умением писать стихи, другое; для большого поэта она — необходимая печка, от которой танцует он; автор «Меридианов» от Гумилева танцует; и это ни плохо, ни хорошо: это показывает, что он еще в школьном периоде. <...> Остается пожелать, чтобы автор 1) до конца овладел приемами той «школы», которую себе выбрал (Гумилев, отчасти Тихонов и т.д.); 2) освободился бы в умении владеть техникой от «школы» как таковой; тогда лишь про него можно будет сказать, что он «зрелый поэт»; пока же остается впечатление — неопределенности (может развиваться, может и засохнуть в «приеме» и только)<sup>83</sup>.

И все же на строфах Гумилева учили технике стиха рабочую молодежь:

Кто взойдя на трепещущий мостик  
Вспоминает покинутый порт,  
Отряхая ударами трости  
Клочья пены с высоких ботфорт.  
Или бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет —  
Так, что сыплется золото с кружев  
Розоватых брабантских манжет <так>.

Здесь эта пластическая до скульптурности обрисовка капитанов — клочья пены и розоватые манжеты — эта тяжелая «вещ-

ность» стиха, нарочитая, подчеркнутая рифмой, куда выделены именно «вещные» слова (трость, ботфорты, пистолет и т.д.), позволяет Гумилеву с чрезвычайной четкостью и силой дать нужные ему образы, свое отношение к прошлому и культ этого прошлого. Чехов, как-то возвращая рукопись начинающему автору, согнул ее пополам и посоветовал автору любую ее половину сжечь, т.к. по его словам рассказ нужно было сделать вдвое короче. Вот это умение найти нужное слово, отбросив, может быть, десяток предшествовавших ему — и приведет к сжатости, к той лаконичности, которая всего ценнее в литературном произведении, потому что нужное слово заменит десять лишних<sup>84</sup>.

В 1930-е стихи Гумилева «по-прежнему не переиздаются»<sup>85</sup>, — и такая фраза будет проходить рефреном еще с полвека. Но старые издания перечитываются наново<sup>86</sup> читателями 1910-х (об этом — очерк Л.В. Розенталя в Приложениях) и находят новых читателей<sup>87</sup>. Геолог А.Л. Яншин (1911–1999), которому коллега прочел в 1929-м «На полярных морях и на южных...», вспоминал:

Я очень заинтересовался этим поэтом и стал разыскивать его книги в букинистических ларьках и киосках, которых тогда в Москве было довольно много, потому что распродавались частные библиотеки. За две-три зимы я собрал почти всего Н.С. Гумилева. Не было у меня только самого раннего сборника его стихов «Путь конквистадоров». Неожиданное открытие я сделал в туалете той коммунальной квартиры, в которой жил. В сумочке для туалетной бумаги лежали вырванные кем-то из журнала листки с полным текстом поэмы «Гондла»<sup>88</sup>.

В это время «Капитаны» поминаются положительным героем, студентом 1914 года, в успешном историко-революционном романе —

— А я сегодня достал «Жемчуга» Гумилева, — сказал Андрей. — Вечером читать будем. «Капитаны» — прекрасно. Смелая вещь. Кажется, паруса над тобою шумят, шелестят. Приходите<sup>89</sup>, —

чтобы после 1934-го исчезнуть из всех (включая постсоветские) переизданий (зато через 30 лет автор назовет другой свой роман «Шелестят паруса кораблей»).

Может быть, отражением успеха Гумилева и у демократического слоя читательниц служил изложенный ямбом ответ на письмо, присланное студентками рабфака имени Молотова при Институте цветных металлов имени М. Калинина в редакцию «Крокодила»:

«Вы слишком злы. Вы не поете  
 Легко, лирично и тепло, —  
 На каплю лирики берете  
 Вы публицистики кило!  
 А ведь у вас бывают строчки, —  
 Сказать без лести и любя, —  
 Как жемчуг в серой оболочке...  
 Зачем вы губите себя?  
 Ваш стих всегда кого-то ест.  
 Как это вам не надоест?»

<...>

Чем дальше мы от молодежи,  
 Тем меньше трепетных стихов,  
 И лишь чужак спокойно может  
 Писать стихи для стариков...  
 Я с молодежью связан прочно,  
 Хоть мне и не семнадцать лет,  
 И на письмо с упреком срочно  
 Даю рабфаккам ответ.  
 По их словам, я зол и сух  
 И к голосам природы глух.

Ах, милые мои, родные!  
 Ну, как еще мне вас назвать?  
 За эти строчки молодые  
 Готов я вас расцеловать...  
 Лимонный холодок рассвета  
 И гладь прудов, и рыбий клев, —  
 Я мог бы вам воспеть все это,

Хоть в красках я не Гумилев.  
Я жизнь люблю не меньше вас  
И знаю силу милых глаз!<sup>90</sup>

В 1932-м голос читательской общины обрел вдруг едва ли не беспрецедентное отражение на бумаге. В ростовской многотиражке Северо-Кавказского краевого отдела Всероссийского общества коллекционеров «Северо-Кавказский Коллекционер»<sup>91</sup> в № 7–9 за 1932 год П.Б. Файвишевич-Горцев обнародовал «Материалы к библиографии Н. Гумилева». В предисловии он писал:

Речь может идти лишь о том, чтобы дать некоторые материалы для этой библиографии и тем заложить первый камень в систематическом изучении того книжного и журнального наследства, которое осталось после покойного поэта — поэта, не получившего у нас широкого признания, но в свое время достаточно известного в качестве основателя и главы литературной школы «акмеистов» и сохранившего все же и по настоящее время достаточный круг ценителей и поклонников его большого и своеобразного таланта (об этом свидетельствует, между прочим, исключительная трудность нахождения книг Н. Гумилева на букинистическом книжном рынке и их высокая «антикварная» расценка).

Материалами для этой работы послужили, главным образом, книжные собрания автора и еще одного ростовского коллекционера (А.А. Кондратовича). <...> Не могу здесь же не выразить своей благодарности т. Г. Эристову, также собирающему материалы по библиографии и поэзии Н. Гумилева, поделившемуся со мной рядом интересных сведений, в частности о рукописи Н. Гумилева «Отравленная туника»<sup>92</sup>. <...> Я буду очень признателен за всякие дополнения, исправления и указания и буду очень рад, если моя работа окажется толчком, вызвавшим к жизни дальнейшие работы и исследования, посвященные Н. Гумилеву.

В следующем выпуске (№ 10–12 за 1932 год) появилось добавление к «Материалам». На сей раз П.Б. Горцев констатировал:

Лучшим подтверждением того, как много может дать специальная систематическая работа по библиографии Гумилева, служит помещаемое ниже первое добавление к ранее опубликованным материалам, составившимся почти случайно, без специального обращения к источникам, только по тем материалам, которые, можно сказать, сами попадались под руку, сколько же еще новых и интересных материалов найдется при «настоящей работе по» Гумилеву!

Я не теряю надежды на то, что сам еще смогу заняться этой работой, как только удастся найти для нее время. Во всяком случае, очень рад, что помещенная в прошлом номере «С.-К.К.» моя работа вызвала отклики и исследования по библиографии Гумилева; в этом же номере помещена интересная и содержательная статья Георгия Эристова «Николай Степанович Гумилев», кроме того, обещает прислать дополнения известный искусствовед: Э.Ф. Голлербах. Надеюсь, что эти отклики не последние.

Но отклики стали последними<sup>93</sup>. Георгий Эристов писал далее на страницах этого же номера, уже звуча анахронизмом в воздухе 1932 года:

...давно уже настало время для серьезного, всестороннего изучения жизни и творчества Н.С. Гумилева, одного из замечательных и крупнейших художников и мастеров слова в русской поэзии начала текущего столетия. <...> Без преувеличения можно сказать, что почти все созданное в русской поэзии в 1930 гг. носит печать влияния этого исключительного мастера формы. Молодые поэты, выступавшие в течение последнего десятилетия, находились под перекрестным влиянием лучших достижений футуризма и Гумилева, с преобладанием влияния последнего по мере изживания футуристических традиций. Автор настоящей заметки работает над изучением в течение целого десятилетия (с 1923 г.), в частности, им собран значительный материал по этике и словарю поэта. Работая с 1918 по 1922 г. сначала в акмеистическом «Тифлисском цехе поэтов», а затем (с 1921 г.) в «Закавказском Отделении Всероссийского Союза писателей и поэтов», автору удалось собрать и использовать в своих изысканиях интересные материалы, связанные с акмеизмом вообще и с

творчеством Н.С. Гумилева в частности. <...> Систематическое изучение и просмотр журналов, альманахов, ежемесячников, газет, воспоминаний и пр. периодических и непериодических изданий только за время с 1918 по 1933 гг., несомненно, даст еще огромный материал для биографии, библиографии и пр. разделов по изучению творческого наследства и жизненного пути Н.С. Гумилева<sup>94</sup>.

Другим голосом, говорящим от имени разрозненных в советском пространстве, затаивших историческую обиду читателей, было стихотворение переводчицы и литературоведа Надежды Рыковой, тогдашний облик которой не без легкой иронии вспоминает историк Игорь Дьяконов:

Надежда Януаревна Рыкова, женщина тощая, вумная, с тиком и нервным подхихикиванием. Она была из воспитанниц Института истории искусств, одного из недолговечных высших учебных заведений первых лет советской власти. Оно дало Ленинграду немало интеллигентных и талантливых женщин — литературоведов и искусствоведов, они же нередко славились как приверженцы свободы любви и матерщины. <...> она читала мне стихи обэриутов, неизвестные мне стихи Ахматовой и Гумилева<sup>95</sup>, Волошина...<sup>96</sup>

Стихотворение 1933 года «Реквием» эпитафией имело строки о картинах Фра Беато Анжелико:

И так не страшен связанным святым  
Палач, в рубашку синюю одетый...  
*Н. Гумилев*

Не налетало конных и копейных  
Крылатых сил, не бился в камне крик,  
Когда тоской булыжников шоссейных  
Загромычал под утро грузовик.

Серело, как обычно, на рассвете,  
Но новый день людей, тревог и дел  
Застыл и сжался: быть за все в ответе  
Он, этот день, не мог и не хотел.



Спасенье, чудо — это слишком много.  
Нужна была б архангельская рать,  
Чтоб тверже верилось и в мир, и в Бога,  
И так не страшно стало б умирать.

Крепчало утро. Пронесилась хвоя.  
Звезда... земля... Какого черта? Вот:  
Машина, стоп! Винтовками конвоя  
Подперт, готовый рухнуть небосвод.

Какой язык для памяти уместен?  
«Есть мир, есть бог» ... Конец. И только тут  
Рванулся день, забуксовав на месте  
Неугомонной стрелкою минут.

Рванулся день — и лег. И плоско, плоско  
Лежал, и все поскуливал, пока  
Не стал ничем — отрепьями, обноской,  
Отброшенной шофером папироской  
У поджидавшего грузовика.

А мы? Во сне, во сне мы чистим латы  
И точим меч, и примеряем шлем.  
Бывает привкус у такой-то даты,  
Который не изгладится ничем.

Но есть ли воды глаже нашей суши?  
Ведь негашеной известью давно  
Засыпаны расстрелянные души,  
Игравшие, как небо, как вино.

Да, мы без душ. Но все-таки, лукавый,  
Печальный брат мой, общностью вины  
Клянусь тебе: мы правы, правы, правы,  
Что помним даты и что видим сны<sup>97</sup>.

Влияние Гумилева видится в стихах советских поэтов и местным критикам<sup>98</sup> —

За последние годы Сурков упорно учился, ликвидируя бескультурье, мешавшее ему писать. Он учился владеть стихом у мастеров прошлого, но в процессе этой учебы он приобрел и излишний пиетет перед лириками предреволюционных годов. Иногда он им попросту подражает <...> Иногда Сурков слепо ведет стихотворение в гумилевском ритме. Между тем и Гумилев, и Ахматова — лирики, довольно равнодушные ко всему, кроме себя (чего, конечно, нельзя сказать о Блоке). Именно этим лирикам-акмеистам и была свойственна равнодушная манера перечислять явления, проходившие перед их холодными глазами. Сурков, учась, перенес эту манеру и в свои стихи<sup>99</sup>,

и эмигрантским —

Даже Ник. Асеев, поэт, примыкающий к футуристическому крылу русской поэзии, и тот неожиданно заговорил акмеистическим языком. <...>

Меня застрелит белый офицер  
 Не так — так этак.  
 Он, целясь, — не изменится в лице:  
 он очень меток.

И на суде произнесет он речь,  
 Предельно краток,  
 Что больше нечего ему беречь,  
 Что нет здесь прятков.

Что женщину я у него отбил,  
 Что самой лучшей...  
 Что сбились здесь в обнимку три судьбы, —  
 Обычный случай!

Но он не скажет, опустив глаза, —  
 Что всех красивей, —  
 Она была — пятнадцать лет назад  
 Его Россией.

<...> Интонация, словесный материал, поэтический жест — все здесь от Гумилева. Спорить с этим, думаю, не будет и совет-

ская критика. Вряд ли она сможет оспаривать и вообще сильное влияние Гумилева на современную поэзию в сов. России<sup>100</sup>.

Вероятно, наиболее заметным событием посмертной судьбы Гумилева в повседневной советской жизни 1930-х стало появление его стихов в докладе Николая Бухарина о поэзии на Первом съезде советских писателей<sup>101</sup>.

В период предсъездовских дискуссий вставал вопрос о наследии акмеизма, с которым решительно расправился начинавший тогда критик:

Русская буржуазно-дворянская литература эпохи империализма наименее исследована марксистским литературоведением. Понять историческое значение наследства символизма и акмеизма, наиболее выдающихся буржуазных литературных течений эпохи империализма, можно лишь с классово-исторической позиции. Этого не сделал т. И. Оксенов<sup>102</sup>, выступивший в «Литературном Ленинграде».

Акмеизм наиболее полно и последовательно выразил идеологию русской буржуазии эпохи столыпинщины, когда она выступила руководящей силой русского империализма. Так же как раньше символизм, теперь акмеизм стал «модным», господствующим течением буржуазной поэзии. Правда, организационно, как школа, акмеизм не был столь многочисленным, как символизм. Но принципы акмеизма получили признание в творческой практике буржуазных поэтов. Список акмеистов не по кличке, а по существу можно было бы значительно расширить. <...> Идеи «лязгания мечей» и «свистящих пуль» нашли наиболее полное выражение в поэзии вождя акмеизма Н. Гумилева.

Неправильно представлять новое акмеистическое или нео-реалистическое направление в поэзии как целиком жизнерадостное, оптимистическое. А именно это утверждение вытекает логически из определения акмеизма как идеологии «поднимающейся буржуазии». Не говоря уже о таких поэтах, как Ахматова, Волошин, Анненский, даже у Гумилева, этого «конквистадора в панцире железном», мотивы мистики и обреченности являются составной частью творческого метода. Недаром Гумилев говорил, что «жизнь и боль у подлинного поэта неразрывны». Чувст-

во боли и ущерба проявляется на всем творческом пути Гумилева. Он пугается своих «дум», которые, как «коршуны зловещи и угрюмы», «требуют мести». И даже в наиболее «оптимистический» период своего творчества, в период империалистической войны, Гумилев наряду с «победно-патриотическими» стихами писал такие строки:

Я не прожил, я протомился  
Половину жизни земной,  
И, господь, вот ты мне явился  
Невозможной такой мечтой.

При оценке творческого метода акмеизма эту упадочную сторону необходимо постоянно иметь в виду.

В одной из своих статей поэт и теоретик акмеизма Г. Иванов ставит знак равенства между акмеистом и реалистом. Жирмунский на страницах «Русской мысли» развивал подобную точку зрения. Этой же позиции придерживалось и большинство буржуазных критиков.

Можно ли на самом деле говорить о реализме акмеистов? На наш взгляд, нельзя. Никто из акмеистов не был и не мог быть реалистом. <...> Слов нет, акмеисты сделали шаг вперед от символизма к изображению «этого мира, звучащего и красочного». Но каков мир в представлении акмеистов? В действительности «мир» столыпинщины далеко не был «красочным» и привлекательным, а, наоборот, безобразным, отвратительным миром нагайки и каторги. Идеализация столыпинской действительности у акмеистов и к ним идейно примыкающих поэтов — это чудовищная лакировка действительности, сознательное извращение ее в интересах класса, предпочитающего ложь правде.

У акмеистов мы находим тот же разрыв между жизнью и искусством, что и у символистов, правда, выполняющий иную функцию.

На примере творчества Гумилева и Ахматовой мы видим, что мистицизм был неотделимой частью их метода. Акмеистам, так же, как символистам, присущ доведенный до аристократической утонченности эстетизм.

Все это обуславливает специфичность декларированного акмеистами реализма или, вернее, ставит его за пределы реализма. Нужно ли доказывать, что акмеистический реализм для поэзии

социалистического реализма настолько же враждебен, как и реакционный романтизм символистов?

И. Оксенов в отмеченной статье правильно указывает, что акмеисты утверждали предметность и конкретность в поэзии. Но он очень легко и доверчиво переносит эти «достоинства» в арсенал советской поэзии. Во-первых, следует учесть известный разрыв между теорией и практикой акмеизма; во-вторых, нужно рассматривать эти атрибуты акмеистической поэтики, вернее, творчества поэтов-акмеистов, в связи с их мировоззрением. Конкретность и предметность стихов акмеистов всегда отвечала конкретным классовым идеям. Говорить о конкретности вообще это значит самому продемонстрировать отказ от конкретности. Так и поступает т. Оксенов.

Вряд ли также акмеистическая «конкретность» может предохранить молодых советских поэтов от поэтической «рыхлости», как думает тов. Оксенов. Думается, что с таким же успехом можно говорить о положительном воздействии поэзии символистов против тенденций бытописательства и эмпиризма в советской поэзии.

Некритически относясь к наследию акмеизма, т. Оксенов заносит по ведомству «акмеистичности» (как он выражается) одно из основных качеств советской поэзии.

Так, он замечает по поводу стихотворения Саянова «Золотая Олекма»: «Акмеистичность этого замечательного стихотворения в его необычайной четкости, ясности и простоте, в соединении мужественной лирической интонации с обилием конкретных деталей внешнего мира. Короткая цитата не может, конечно, дать представление о том, как в этих стихах черта за чертой возникает законченный реалистический образ старого приискателя-партизана» (подчеркнуто нами. — *А.В.*).

Выходит, что «необычайная четкость», ясность, простота и, наконец, законченность реалистичности образа — все это от акмеизма.

Проблема наследия акмеизма для советской поэзии стоит, конечно, иначе и гораздо сложнее, чем это кажется т. Оксену<sup>103</sup>.

Однако Н.И. Бухарин подсказками газеты не воспользовался, акмеизм разоблачать не стал, а наоборот, с приличествующими оговорками процитировал Гумилева:

Между тем совершенно очевидно, что необходимо какое-то выделение особых свойств поэтической речи, поэтического языка и соответственного поэтического мышления, ибо мышление прочно и неразрывно связано с языком. Уже в старинной индийской поэтике имелось развитое учение Анандавардханы (X в. до н. эры) о двойном, «тайном» смысле поэтической речи. По этому учению не может быть названа поэтической речь, слова которой употреблены только и исключительно в прямом, «обычном» смысле. Что бы ни изображала такая речь, она будет прозаической. Лишь тогда, когда она, через ряд ассоциаций, вызывает и другие «картины, образы, чувства», когда «поэтические мысли сквозят, как бы просвечивают через слова поэта, а не высказываются им прямо», — мы имеем истинную поэзию. Таково учение о «дхвани», поэтическом намеке, скрытом смысле поэтической речи. Подобные теории сочетались неоднократно с мистической интерпретацией поэтического творчества и поэтического переживания как касания «иных миров». В древнем Китае мы знаем в числе прочих целый блестящий поэтический трактат, поэму Сыкун Ту «Категории стихотворений», написанный на тему о божественном поэтическом вдохновении, где «Истинный Владыка», «Изначальный Предок», «Созидатель Превращений», «Духовидный Преобразователь», «Небесный Станок», «Чудесный Механизм», «Высшая Гармония» и т.д. и, наконец, «Черное Небытие» — Великий Дао — невыразимо живет в поэтическом «наитии». Уходя глубокими корнями в магию слова, подобные представления нередко приводили и к прямому обожествлению слова, превращаемого в мистическую сущность. Так, у одного арабского философа имеется интерпретация «Слова» с большой буквы, греческого λόγος, не как разума, возведенного в степень мирового Демиурга, а как воплощения волеизъявления, творящего мир.

Но самое характерное, что, как ни странно, эта магическая или полумагическая интерпретация — словесного искусства и поэтического искусства — через огромный круг времен перекинулась в нашу эпоху, и мы сравнительно недавно в нашем буржуазном литературоведении и в нашей буржуазной поэтике имели подобную интерпретацию поэтического творчества. Это выражено в наше время Н. Гумилевым в поэтической форме:

В оный день, когда над миром новым  
Бог склонял лицо свое, когда  
Солнце останавливали словом,  
Словом разрушали города.

<...>

Но забыли мы, что осиянно  
Только слово средь земных тревог,  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что слово — это бог.

В свое время К. Бальмонт, несомненно, мастер слова, дал этой фетишизации речевых рефлексов «теоретическое» обоснование в работе: «Поэзия как волшебство», самое название которой ясно указывает соответственный строй идей: «Мир нуждается в образовании ликов, — утверждает он, — в мире есть чародеи, которые магической своей волей и напевным словом расширяют и обогащают круг существования». Если этот поэт, по самой своей структуре неспособный к логическому мышлению, дает в «доказательство» своих тезисов лишь вереницу нарочито подобранных впечатляющих образов, долженствующих заменить мысль, то А. Белый сделал когда-то попытку философского углубления той же темы, причем фетишизация слова достигла его поистине гималайских высот. «Если бы не существовало слов, — писал он, — не существовало бы и мира. Мое “я”, оторванное от всего окружающего, не существует вовсе; мир, оторванный от меня, не существует тоже; “я” и “мир” возникают только в процессе соединения их в звуке». Так, пытаясь подойти к проблематике поэтической речи, авторы различных теорий впадали в чистейший мистицизм. Разумеется, на то были свои причины, причины большого социально-исторического характера, и их довольно легко нащупать и вскрыть. Но в данное время нас это не интересует: мы хотели лишь указать на самое наличие такого рода постановки вопроса, и притом в различные эпохи и в различных странах.

Конечно, подобные точки зрения, поскольку они идеалистичны и мистичны, никак и никоим образом не могут быть приемлемы для нас. Они — какое-то рафинированное варварство, резко противоречащее всему научному опыту. Но самым своим существованием они подчеркивают проблему специфичности

поэтического мышления и поэтической речи, «тайну» «ведовства» и «волшебства», покрывало которой мистики набрасывают на головы своих читателей, запирая на все замки двери рационального познания<sup>104</sup>.

Видимо, рапповским литераторам, уже отученным от подсовывания гумилевской техники для литучебы<sup>105</sup>, надо было оперативно выступить с поправкой к ослабившему бдительность Н. Бухарину, что и сделал Александр Безыменский прямо на съезде:

Я думаю, что надо говорить не только о советских поэтах (в прямом и точном смысле этого слова), но и о тех поэтах, которые являются рупором классового врага, а также о чуждых влияниях в творчестве поэтов, близких нам. Я думаю, что не надо пространенно доказывать, что в своей борьбе с нами классовый враг до сих пор использует империалистическую романтику Гумилева и кулацко-богемную часть стихов Есенина. У врага есть и еще способы отравлять наше сознание через поэтические произведения...<sup>106</sup>

Уже после съезда, где Бухарин ни слова не сказал об акмеизме как методе поэтической технологии, бывший молодопоязовец Николай Степанов попытался замолвить слово за постсимволистский пафос акмеизма:

В поисках путей преодоления абстрактного, бесцветного, инертного стихового слова поэты снова обращаются к стихам акмеистов, к принципу «предметности» слова, принципам четкой композиционной структуры стиха. Об этом говорилось в статье И. Оксенова, напечатанной в «Лит. Ленинграде». Однако Оксенов отнюдь не достаточно подчеркнул отрицательные стороны поэтики акмеизма, не вскрыл чуждости и враждебности идеологических позиций этой школы.

Возникший в 1909 году почти одновременно с футуризмом акмеизм выражал идеологию русской буржуазии эпохи империализма. Отражая активность и агрессию империализма, акмеисты противопоставили «звериную силу», «цельность», «перво-



бытность» — мистицизму и неврастении символистов.

Колониальная экзотика в стихах Гумилева, культ языческой Руси у Городецкого, эпикуреизм Кузмина, не говоря уже о патристических стихах акмеистов в период мировой войны, достаточно убедительно свидетельствуют о классовой природе акмеизма.

Гумилев в одной из своих статей указывал, что в отличие от символизма, «направившего свои главные силы в область неведомого», акмеисты «полагают, что непознаваемое по самому смыслу этого слова невозможно познать». Отказ от познавательной роли искусства связан был с общей эмпирической и гедонистической философией акмеизма. Отказываясь от абстрактности образа и слова, акмеисты и создали принцип «предметного» слова, сюжетной и композиционной ясности и стройности стиха. В известной мере эти принципы могут быть использованы и в советской поэзии. Поэтому мы никак не можем согласиться со статьей Волкова в «Литературной газете», который, полемизируя с Оксеновым, категорически отрицал какую бы то ни было ценность акмеистического наследства. <...> Отказ от познавательной роли искусства, рантьерский гедонизм и эпикуреизм способствовали возникновению эстетизма, являвшегося характерной чертой творчества акмеистов. Ранние стихи Гумилева и все творчество Кузмина — идут под знаком этого эстетизма. Обилие «красивых» экзотических слов (географических и исторических названий), декоративная пышность образа, риторическая декламация особенно отчетливо сказались в ранних стихах Гумилева.

Вы все, паладины зеленого храма,  
Над пасмурным морем следившие румб,  
Гонзальво и Кук, Лаперуз и де-Гама,  
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Нужно, однако, учесть как отличие между отдельными представителями акмеизма, так и эволюцию, проделанную ими с 1909 года. В творчестве Нарбута и Зенкевича были очень сильны элементы стихийного материализма, благодаря которым и оказалась возможной перестройка их творческого метода.

Эстетизм акмеистов, подхваченный эпигонами из «Цеха поэтов», прежде всего сказывается в отношении к слову, в отрыве

слова от мысли, в создании экзотической тематики и особого «поэтического» языка <...> Акмеистическая культура слова может быть полезна поэзии социалистического реализма лишь в той мере, в какой «предметное» слово будет освобождено от эстетизма и внешней декоративности, столь свойственной стилю акмеистов. <...> Нельзя вместо <...> традиционных поэтических «роз» подставлять описание фрезерного станка, нельзя культивировать систему равноценности предметов, характерную для акмеизма. Если самая тяга к «предметности» и композиционной сложности стиха и является «здоровым» началом в современной поэзии, то нужно прежде всего помнить, что стихи в нашу эпоху никак не могут быть просто красивыми и декоративными украшениями, что они в советской литературе имеют значение совсем не то, какое приписывали им акмеисты<sup>107</sup>.

Воспроизведенное в бухаринском докладе «Слово», теперь обретшее миллионы читателей, порождало реакцию удивленных этим цитированием советских граждан, вроде решения отправить «Слово» по принадлежности классовым врагам в поэме Льва Длигача «Ять», где бичуется белая эмигрантская печать:

Слово извлекли из чемодана,  
И оно валяется у ног,  
«...И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что слово — это бог...»<sup>108</sup>

В первоначальном, досъездовском варианте поэмы этой цитаты не было:

Многие слова они забыли,  
Многих не сумели уберечь.  
От чужой сухой дорожной пыли  
Сохнет волос и тускнеет речь.  
Опьяненные густым туманом,  
Терпким запахом чужой земли,  
Из крошечной пасти чемодана  
Скомканное слово извлекли.

Жажда прошлого неуголима,  
Жизнь проходит смутно, как во сне.  
Там лежит щепотка нафталина,  
Здесь кружит густой московский снег<sup>109</sup>.

Название сборника вкупе с гумилевской цитатой вызвало сомнения — не связано ли оно с другим гумилевским стихотворением, так что благорасположенному критику специально пришлось разъяснять:

Прежде всего следует расшифровать название этого сборника. Речь идет о «чувстве хозяина одной шестой и гражданина всех шести шестых мира», как выразился Яков Ильин в «Большом конвейере», слова которого поставил эпиграфом к первому сборнику своих стихов Лев Длигач<sup>110</sup>.

И при регистрации всех опасений обжечься о клятое имя не стоит забывать о многолетнем советском двоемыслии. Характерен рассказ, относящийся к 1930-м, о машинистке высокопоставленного чиновника, который запирает ее в своем кабинете, где она под видом секретных документов перепечатывала для него Гумилева, Волошина, Ахматову, оставляя себе копию, с которой знакомила желающих<sup>111</sup>.

Анафематствуемое созвездье букв вызывало маленькие взрывы, возмущавшие гладь советской печати. В рецензии Вс. Рождественского на книгу А. Гитовича в числе прочего говорилось:

В этой небольшой книге собраны стихи последних четырех лет, и уже самый отбор их указывает на скупость и требовательность автора. Целеустремленность вообще характерна для поэзии Ал. Гитовича. Он, по-видимому, твердо знает и объем своих сил и конечную их цель. Волевая напряженность строфы, деловая сухость стилистики, «командирский язык» и преднамеренная ограниченность темы дают крепкий костяк его стихам. Их можно было бы упрекнуть в отсутствии оттенков, в скованности заранее заданных себе интонаций, в еще непреодоленных до конца следах ученичества (Тихонов периода «Браги» и в особенности

Н. Гумилев), но уже никоим образом нельзя было бы поставить им в вину вязкую расплывчатость образа и чрезмерную интонационную щедрость, столь характерную для многих не берегущих своего слова современников.

А. Гитович сух, прям, упорен; стихи его действенны, как формула приказа или уверенная команда. Для своей военной темы он нашел нужную ему оправу. И ему, как ворошиловскому стрелку, прежде всего дорога точность. Собранность и цельность — вот первое впечатление от книги. Но значит ли это, что все приемы бесспорны и что тема, намеченная поэтом, исчерпана им до конца, взята в единственно верном и необходимом ему разрезе? Нашел ли он собственный голос, преодолел ли влияние тех, кто учил его первым шагам? Сумел ли он, столь близко подойдя к традиции акмеизма, разрешить ее на советском материале, — примерно так, как попытался это сделать — и небезуспешно — В. Саянов в своей «Золотой Олекме»?<sup>112</sup>

Рецензент проходил в инстанциях политического сыска как неблагонадежный:

На ряде крупных ленинградских заводов и фабрик руководителями литературных кружков являются социально враждебные и антисоветские лица: Рождественский — поэт, руководит кружком при клубе им. Ленина, в прошлом тесно связанный с Гумилевым — расстрелян по Таганцевскому делу; Ходасевичем — эмигрантом, Клюевым — заключен за к[онтр]р[еволюционную] деятельность в концлагерь, О. Мандельштамом, высланным за к[онтр]р[еволюционную] деятельность. Рождественский — автор ряда контрреволюционных стихотворений, которые распространяет в рукописном виде<sup>113</sup>.

Необязательно, но, возможно, именно с этой информацией (хотя, может быть, и с пожеланием Николая Тихонова) связана поправка, напечатанная журналом в мае 1935-го:

От редакции. В рецензии Вс. Рождественского на книгу А. Гитовича «Стихи», помещенной в «Звезде» № 1 за 1935 г., по ошибке редакции допущено следующее выражение: «Только тогда “ро-

мантический” голос поэта, многому учившийся у мужественности Н. Гумилева и Н. Тихонова, найдет выход к подлинному реализму» и т.д. (стр. 251). Такая редакция фразы дает повод к совершенно неправильной трактовке творчества классово-враждебного писателя Н. Гумилева и проводит недопустимую аналогию между его творчеством и творчеством советского писателя Николая Тихонова<sup>14</sup>.

В заметке «Постыдная история» Нины Берберовой (но, может быть, и самого Ходасевича) излагался этот эпизод:

В первой книжке журнала «Звезда» была помещена рецензия Всеволода Рождественского на книгу стихов довольно посредственного поэта А. Гитовича. Между прочим, в этой рецензии было сказано: «Только тогда “романтический” голос поэта, многому учившийся у мужественности Н. Гумилева и Н. Тихонова, найдет выход к подлинному реализму». Фраза, как видит читатель, довольно неуклюжая: голос чему-то учится и к чему-то собирается найти выход. Дело, однако, не в том. Три месяца спустя редакция спохватилась (или ей на это указали), что недопустимо самое сопоставление Гитовича и Тихонова с Гумилевым. Поэтому в четвертой «Звезде» появилась редакционная заметка о том, что «такая редакция фразы дает повод к совершенно неправильной трактовке творчества классово-враждебного писателя Н. Гумилева и проводит недопустимую аналогию между его творчеством и творчеством советского поэта Николая Тихонова». Надо заметить, что «ответственным», т.е. синекурным, редактором «Звезды» состоит Г.Е. Белицкий, фактически же его заменяет некто другой, как сам Николай Тихонов, — человек, обязанный Гумилеву всем своим литературным бытием. Весной 1921 года Всеволод Рождественский принес Ходасевичу на суд несколько стихотворений никому неизвестного поэта Николая Тихонова. Ходасевич нашел их неинтересными и написанными «под Гумилева», к которому и посоветовал обратиться. Гумилев стихи очень одобрил (на наш взгляд — опрометчиво) и в течение нескольких месяцев, до самого своего ареста, оказывал Тихонову всяческое покровительство. С этого и началась «карьера» Тихонова, который теперь бесстыдно от Гумилева отрекается<sup>15</sup>.

Как быстрая реакция на этот эпизод последовало отгораживание Тихонова от «поэтического фашизма Гумилева»<sup>116</sup> и, возможно, санкционированное Тихоновым и, по-видимому, анахронистичное усматривание в его «Походной тетради» 1916–1917 годов восстания против «милитаристской и ультрапатриотической лирики Гумилева»<sup>117</sup>.

\* \* \*

В 1936 году началась кампания против формализма в искусстве, и оказалось, что на цветке историко-литературной науки отразился цвет флага над крепостью города. Повинность папинодии стояла перед мэтрами.

Эйхенбаум, как и все в то время, почувствовал в новой кампании не каприз вождя, а нечто более значительное. Понимал ли он тогда, в марте 1936-го, конечную цель идеологической войны против формализма в литературе? Его ближайший друг Тынянов был в это время превознесен критикой за первую часть «Пушкина» и тем самым освобожден от унизительной обязанности публично каяться в формализме. Виктор Шкловский покался легко и остроумно, так что его даже ставили в пример другим.

Эйхенбаум отнесся к критике формализма серьезно. В своем выступлении на писательском собрании в Ленинграде — выступлении, которое, как и следовало ожидать, «не удовлетворило собравшихся», он остался верен историческому подходу к своему времени. Соглашаясь с тем, что формальный метод сегодня не нужен, он предложил собранию отнестись к нему исторически, понять причины его возникновения и его роль в литературе:

Я считаю, что все ошибки формализма, которые сейчас совершенно ясны, от которых, в сущности, жизнь ушла в сторону, это ошибки не от легкомыслия и не от равнодушия, это ошибки скорее от страсти, и скорее ошибки от того, что они неизбежны были, как всякие исторические ошибки <...> От них отказываться, в сущности, можно только так, что я делал свое историческое дело, которое теперь прекращено, история пошла другими путями, и одно из двух, либо я, стоя упорно и упрямо на тех воззрениях, прекращаю свое дело и ухожу в сторону, либо, наоборот, не хочу прекращать, потому что я понял, что это была истори-

ческая ошибка, это была другая эпоха, и теперь я готов делать иначе<sup>118</sup>.

И тут возник снова беглый ученик Эйхенбаума и Тынянова. Репутация у него в те годы была неважная. Вспоминал Н.И. Харджиев:

Я был свидетелем одной сцены в редакции журнала «Литературный критик», который тогда был либеральным, и Платонов писал для него статьи под псевдонимом Человеков. Был такой мутный аферист Дмитриев, принадлежал даже к молодым опозовцам, собирал, кажется, автографы, потом был в ссылке одно время, потом сгинул, исчез, как привидение. Так Дмитриев рассказал, что он встретил Платонова, и тот ему жаловался, что не может писать, что его не печатают, и это было рассказано в присутствии Платонова, который вышел в другую комнату и сказал, что он никогда не видел этого человека и незнаком с ним, и того с позором выгнали<sup>119</sup>.

Н. Дмитриева втащил в активный литературный процесс разоблачитель акмеизма А. Волков. В «Литературном Ленинграде» о его книге писал Давид Тмарченко, критикуя ее за вульгарный социологизм, не признающий противоречия между художественными и политическими взглядами:

Что символизм и акмеизм отражали идеи и настроения русской буржуазии и дворянства эпохи империализма — это не подлежит сомнению. Но только ли в этом объективная значимость этих поэтических направлений? <...> Впрочем, для иллюстрации того, что собственно понимает Волков под «отвлеченной эстетикой», приведем один пример. На стр. 144 Волков цитирует стихотворение, кончающееся так:

Что, если над модной лавкою  
 Мерцающая всегда,  
 Мне в сердце длинной булавою  
 Опустится вдруг звезда?

И сопровождает цитату «критическим комментарием»:

«Поэт совершенно не считается с реальными закономерностями действительности, чем и объясняется возможность его фантастического предположения»<sup>120</sup>.

«Глубина» этой «критики» может служить образцом той скучной и вульгарной жвачки, которая, очевидно, должна означать «философско-эстетический» анализ.

С такой же «глубиной» Волков подходит и к проблеме наследства. Не мудрствуя лукаво, он объявляет: «к началу XX столетия дворянская поэзия окончательно выродилась и потускнела, потеряв свою идейную и художественную ценность».

Так вульгарный социологизм приводит к левацкому безоговорочному отрицанию художественного наследства.

Вот почему крайне удивляет самый факт появления книги Волкова «Поэзия русского империализма». При всем отставании литературной науки эта работа значительно ниже общего уровня советского литературоведения<sup>121</sup>.

Тем временем появилась рецензия А. Дымшица, пожизненного соратника литературоведа Волкова:

Написанная на основе ленинского учения об империализме и ленинской схемы русского исторического процесса конца XIX и дооктябрьских лет XX в., эта книга является первой попыткой марксистско-ленинского изучения стиля поэзии русского империализма. <...> Благодаря тому, что эта книга лишена академической замкнутости в постановке вопроса и связывает изучаемую проблему с задачами советской поэзии, правильно критикуя ложную теорию об «учебе у акмеистов», она должна встретить горячий интерес у наших поэтов<sup>122</sup>.

Ленинградская газета отозвалась на рецензию, которая «расхваливает книгу сверх всякой меры»:

Неуменьше анализировать художественное произведение, в корне ложная трактовка соотношения формы и содержания — все это по мнению рецензента «Резца» — «мелкие недостатки» правильной методологии Волкова<sup>123</sup>.



На атаку «Литературного Ленинграда» А. Волков хотел ответить статьей, посланной в «Литературную газету»:

Под флагом критики моей книги Д. Тамарченко защищал те взгляды на наследие декаданса, которые высказывали формалисты и их последователи<sup>124</sup>.

Статья Волкова отправилась в корзину, но его тезис было доверено развить первому гумилеведу, и Н. Дмитриев к месту вспомнил своих учителей:

Одно время среди некоторых литераторов были модны разговоры о «красоте». Теоретики «красивости» предлагали свои «эстетические» рецепты преодоления отставания нашей литературы и критики. Это была попытка под флагом «новых» задач литературы и критики протащить старые, потрепанные формалистские теории отказа от публицистичности критики, преподнести в качестве достижений культуры затрепанные обноски буржуазной культуры.

В те дни в унисон с этими формалистскими веяниями «Литературный Ленинград» провозгласил лозунги, зовущие советскую поэзию на путь акмеизма. Критик Н. Степанов писал: «Принципы акмеизма приобрели за последнее время особенно большое значение... Акмеистическая культура за последнее время начинает вытеснять футуристическую» (в понятие футуристическая культура включалось и наследие Маяковского).

По его мнению, наши поэты в поисках путей «снова обращаются к стихам акмеистов». Другой критик, И. Оксенов, ориентировал советскую поэзию на «акмеистический реализм», считая, что «предметность, усвоенная на примерах произведений акмеизма, может стать ступенью к той подлинной конкретности, которая является необходимой предпосылкой к реализму в поэзии».

С тех пор авторы формалистических теорий не пересматривали своих взглядов. Более того, Н. Степанов снова воспроизвел их в статье о советской поэзии в одном из номеров журнала «Литературный современник» за 1935 год, что вызвало справедливую критику т. Плиско в «Литературной газете». Теории эти

и по сей день живы среди некоторых критиков, считающих себя хранителями поэтических традиций символизма и акмеизма.

В книге А. Волкова «Поэзия русского империализма» дается отпор подобным «теоретикам» и вскрывается «родословная» этих запоздалых ревнителей декаданса, вроде Жирмунского и Эйхенбаума. Еще до революции ориентировали они поэзию на акмеистов, выставляя буквально те же достоинства поэзии акмеистов: предметность, конкретность и т.д., что и их «новейшие» продолжатели<sup>125</sup>. Блок формализма с акмеизмом вытекает из самого эстетского, формалистского существа акмеизма.

Естественно поэтому, что книга пришла не по душе многим из вольных или невольных поборников декаданса. Их глашатаем выступил Д. Тмарченко на страницах газеты «Литературный Ленинград» от 3 марта с.г. Тмарченко под флагом критики книги А. Волкова защищает те взгляды, которые высказывали формалисты и их последователи о символизме.

Тов. Тмарченко считает «криминальным» следующее положение книги А. Волкова: «К началу XX столетия дворянская поэзия окончательно выветрилась(?) и потускнела, потеряв свою идейную и художественную ценность». Тмарченко приводит эту цитату как пример «левацкого отрицания художественного наследия». Видимо, по мнению Тмарченко, следовало бы говорить о расцвете дворянской литературы в эпоху империализма, т.е. повторять версии «Золотого руна» и «Аполлона». Ленинские взгляды о загнивании и упадке идеологии (и в частности, литературы) в эту эпоху, видно, не поняты т. Тмарченко. Рекомендуем ему повнимательнее изучить их, а также ознакомиться с докладом А.М. Горького на съезде советских писателей, содержащим множество ценных указаний на сей счет<sup>126</sup>. В противоположность этим взглядам Тмарченко считает, что «в поэтическом наследии этой эпохи почетное место принадлежит символизму».

Почетное место! Каемся, мы думаем «немножко» иначе. А. Волков говорит о реакционном романтизме символистов, противопоставляя его революционному романтизму Горького. <...> Тмарченко в корне неправильно понимает проблему наследия. Мы являемся наследниками всей культуры прошлого. Но значит ли это, что мы должны одинаково относиться к Пушки-

ну и Мережковскому, Лермонтову и Вяч. Иванову, Некрасову и Бальмонту? <...> В борьбе за народное искусство социалистического реализма ориентация на декаданс вредна. Мистический индивидуализм, эстетизм, формализм поэзии декаданта чужды советским поэтам. <...> Отрыв художественного метода от мировоззрения поэтов декаданта неизбежно приводит Тамарченко к формалистским рассуждениям о поэтике. Этим ограничивались обычно и формалисты. Все работы формалистов о символизме и акмеизме целиком отвечают рецепту Тамарченко: они говорят о поэтике — форме художественного произведения изолированно от мировоззрения и политических взглядов художника. Буржуазно-формалистские традиции здесь особенно сильны, и марксистскому исследователю приходится преодолевать их. Тамарченко же ни словом не обмолвился, что книга «Поэзия империализма» направлена против формалистов. А главное — Тамарченко совершенно не понял проблематики книги и вульгаризировал взгляды на символизм и акмеизм.

Таким образом он выступил в достойной сожаления роли борца с книгой, направленной против попыток эстетской ориентации нашей поэзии на декаданс, против формалистской трактовки поэзии декаданта<sup>127</sup>.

Дальнейшая биография несостоявшегося гумилевского текстолога теряется в неизвестности. Книжка его о журналистике Пушкина не вышла. Перед войной им написаны в соавторстве две книги для детей, последнее известие у нас о нем — в письме из эвакуации к опекавшему его одно время Виктору Шкловскому<sup>128</sup>.

- 1 Оксенов И. Литература десятилетия // Красная газета. Веч. вып. 1927. 6 ноября.
- 2 Коган П. Поэзия (1917-Х-1927) // Красная новь. 1927. № 11 С. 195; характеристика эта приглянулась П.Н. Милюкову, процитировавшему ее без ссылки: «Творчество Белого, вписавшего самостоятельную страницу в развитие русского романа, для П. Милюкова только “виртуозная игра на утрированной новизне внешней формы”. <...> Менее понятно, почему столь суровой оценке подпали и акмеисты. Вероятно, потому, что вся

их деятельность, как школы, ограничилась пределами поэзии. Сейчас, после недавних дней чествования памяти Н. Гумилева, почти насмешкой звучат слова, нашедшиеся у П. Милюкова об акмеизме и его лучшим представителе, авторе “Колчана” и “Огненного Столпа”. Акмеисты, по словам П. Милюкова, “дальше сообщения смысла отдельным словам не идут, и стихи их недаром сравнивали с ‘музеями, где собраны редкие растения, леопарды и змеи, дикие воины в леопардовых шкурах и причудливые пейзажи’. Гумилев и собирает этот экзотический материал, путешествуя по Египту и Абиссинии”. Вот и все, что нашлось для Гумилева, точно дальше своих первых книг он и не пошел. А ведь именно в акмеистах П. Милюков мог почувствовать это стремление к возвращению поэзии в мир реальности, придание ей жизненности и внесение мотивов современности. Устанавливая преемственность литературы прошлого с нашими днями, он мог бы оттенить, что современная советская поэзия, особенно времен гражданской войны (см. в особенности стихи Н. Тихонова — сб. “Брага” или выбранные стихи в альманахе “Пчелы”, изд. “Эпоха”, Берлин, 1923 г.), самым тесным образом связана с акмеизмом и, в частности, с поэзией Н. Гумилева. Но это автор, по своему нерасположению к поэзии, просто просмотрел» (*Бем А.* Письма о литературе: Об упадочном периоде русской литературы [Рец. на: П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Том второй. Вера. Творчество. Образование. Часть первая. Церковь и религия. Литература. Юбилейное издание. Париж, изд. Современные записки, 1931] // Руль. 1931. 10 сентября).

- 3 *Друзин В.* О многих поэтах: В порядке дискуссии // Ленинградская правда. 1927. 26 июня.
- 4 *Саянов В.* К вопросу о судьбах акмеизма // На литературном посту. 1927. № 17/18. С. 19; материалы последовавшей за этим выступлением дискуссии (статью Г. Лелевича и ответ на нее В. Саянова) см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. М., 2017. С. 565–572.
- 5 Докладная записка в Оргбюро ЦК ВКП(б) (не позднее марта 1928 г.) // «Счастье литературы»: Государство и писатели, 1925–1938. Документы / Сост. Д. Бабиченко. М., 1997. С. 52.

Если доносчик имел в виду Ахматову (а не А.Н. Энгельгардт), то история с ее пенсией началась в 1925-м — 5 марта 1925 года секретарь местного отделения Всероссийского союза писателей М.В. Борисоглебский сообщил главе отделения

Федору Сологубу: «Посылаю Вам с этим письмом черновик Вашей бумаги об А.А. Ахматовой, отзывы Эйхенбаума и Горбачева и черновики ходатайства в Секцию Научных Работников и Комиссию по предоставлению персональных пенсий при Наркомпросе. По исправлении не откажите переслать мне ходатайства для переписки набело. Что же касается отправки в Москву, то не думаете ли Вы, что было бы лучше подать его лично, когда Вы будете в Москве, вместе с ходатайством о П.В. Быкове. Если же Вы найдете это излишним, сообщите, пожалуйста, Ваше распоряжение об отправке их почтой».

Черновик гласил: «Л<енинградское> О<тделение> П<равления> В<сероссийского> С<оюза> П<исателей>, обратив внимание на крайне стесненное материальное положение [своего <зачеркнуто в черновике>] и болезненное состояние высокоуважаемого члена Союза, известнейшей и талантливейшей из современных поэтесс Анны Андреевны Ахматовой, и находя, что Ахматова, выдающийся мастер стихотворной речи, превосходная выразительница глубоких переживаний, встретила для своего творчества отклик в самых широких кругах читателей и дала несравненные образцы поэтического слова, по которым будут учиться трудному [иск<зачеркнуто в черновике>] и [ответственному и <зачеркнуто в черновике>] необходимому для народа искусству стихосложения многие поколения поэтов, полагает, что Анна Ахматова как общественно-ценная в высокой степени литературная работница, заслуживает государственной поддержки. Поэтому Л<енинградское> О<тделение> В<сероссийского> С<оюза> П<исателей> ходатайствует перед Вами о причислении Ахматовой в IV разряд деятелей литературы и о назначении ей академического обеспечения. При этом Л<енинградское> О<тделение> П<равления> В<сероссийского> С<оюза> П<исателей> представляет Вам следующие свои соображения, побудившие означенное Правление возбудить это ходатайство».

Из отзыва Б. Эйхенбаума: «Первая книга стихотворений А. Ахматовой “Вечер” вышла в свет в 1912 г. Эта книга... На фоне... Впечатление... Намеченные... “Четки”... Сжатость... Поэзия... (Однако — пропустить). Третья... Покинув... В ее... Рядом...

(Революция — пропустить) (Небольшие)... Сборники (в середине пропустить: не ---но). (Некоторое и все и критике —

пропустить). (Как бы — что — пропустить). В истории (и будущем — молчанием — пропустить). Сверх... Два.. (О конце ...пропуст<ить>). Такой... Современность... Малейшая... Анна Ахматова... Мы... <...>».

«Л<енинградское> О<тделение> П<равления> В<сероссийского> С<юза>П<исателей> позволяет себе выразить надежду на особо внимательное отношение Ваше к ходатайству об уважаемой и любимой носительнице этого большого литературного имени. Всероссийскому Союзу Писателей хорошо известны просвещенные заботы Советской власти, направленные в сторону народного просвещения во всех его видах, и Л<енинградское> О<тделение> П<равления> Союза питает уверенность, что это его ходатайство соответствует общему направлению правительственной политики в области народной культуры. При этом прилагается отзыв критика Горбачева» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. № 874. Лл. 5–6).

7 марта Ф. Сологуб отвечал М. Борисоглебскому: «...думаю, что ходатайство об Ахматовой и Быкове мы обязаны направить немедленно. Для ускорения дела я поступаю так: дам сегодня моей переписчице переписать бумаги об Ахматовой, подпишу их и пошлю Вам» (ОР РНБ. Ф. 92. Оп. 1. № 284. Л. 3). Предполагалась получить и подпись Е. Замятина в числе прочих руководителей Отделения (Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина / Сост. Л.И. Бучина, М.Ю. Любимова. Вып. 3., ч. 1. СПб., 1997. С. 287). Ср.: «Союз хлопочет о пенсии по болезни. АА не хотела. Сологуб позвал к себе и выругал, — и АА подписала бумагу, а теперь это идет в Малый Совнарком. Пенсия по 6 разряду. Все равно не дадут, а будут говорить, что выпрашивала...» (Лукницкий П.Н. Асуміана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I: 1924–1925. Париж, 1991. С. 208).

Заведующий отделом музеев и Художественным отделом Главнауки Наркомпроса П.И. Новицкий констатировал безуспешность ходатайства и рекомендовал медицинское переосвидетельствование, которое Ахматова прошла, и обеспечение Центральной комиссии улучшения быта ученых было ей назначено (Лукницкий П.Н. Асуміана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II: 1926–1927. Париж–М., 1997. С. 214, 197). О следующем раунде хлопот (уже за восстановление снятого обеспечения) см.: Соболев А.Л. Тургенев и тигры. М., 2017. С. 196–234.

- 6 Н. Гумилев, А. Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005. С. 266.

- 7 *Лукницкий П.Н.* Дневник 1928 года: Асуміана, 1928–1929 / Публ. и комм. Т.М. Двинятиной // Лица: Биографический альманах. Т. 9. СПб., 2002. С. 391.
- 8 *Михайлов А.* Рец. на: Искусство. Журнал ГАХН; Художник. Сборник по вопросам изобразительного искусства // На литературном посту. 1928. № 11–12. С. 117; *Михайлов А.* Мелкий разносчик поповского товара (о «работах» Голлербаха) // На литературном посту. 1929. № 1. С. 60. Не отвлекаясь на реконструкцию основной программы журнала «На (литературном) посту», воспользуемся басней Ю. Ван-Везена (Юрия Тынянова):
- В писательский союз милиционер пришел  
И говорит: «Товарищ председатель,  
Я — писатель,  
Прошу меня внести в свой протокол.  
На днях я даже юбилей мой справил:  
За нарушение трамвайных правил,  
Я, стоя на посту,  
Записываю штрафов в день по сту».  
— «Вы точно, друг, писатель, —  
Ему ответствовал смущенный председатель, —  
И в список вас  
Внесу тотчас, —  
Но только вот беда какая:  
Ведь форма-то у вас другая».
- (РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед.хр. 486).
- 9 *Голлербах Э.* Город муз. Изд. второе. Л., 1930. С. 16.
- 10 См.: *Голлербах Э. Н.С. Гумилев* (к 15-летию литературной деятельности) // Вестник литературы. 1920. № 11. С. 17–18 (то же: *Н.С. Гумилев: pro et contra.* СПб., 2000. С. 467–468); *Голлербах Э.Ф. Н.С. Гумилев / Подгот. текста Е.А. Голлербаха, предисл. и комм. Ю.В. Зобнина; Зобнин Ю.В., Петрановский В.П.* К воспоминаниям Э.Ф. Голлербаха о Н.С. Гумилеве: Суд чести // Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография. СПб., 1994. С. 577–605.
- 11 *Голлербах Э.* Город муз: Детское село, как литературный символ и памятник быта. Л., 1927. С. 56–60, 63–64; к строке «С надтреснутою дыней схож закат» сделана сноска: «Позже и у Рождественского появился закат, похожий на «разрезанную дыню» (“Бахчисарай”)». На титуле: «Издание автора». Цензурное разрешение: Ленинградский Гублит № 40027.

Во втором издании во фрагменте о Гумилеве многое дописано; поздний отзыв Ахматовой: «Рассказ Голлербаха в “Городе муз” о Гумилеве недоброжелателен — сравнение его с прусским лейтенантом оскорбительно» (*Будыко М.И.* Загадки истории. СПб., 1995. С. 366); «В дыхании широкошумных лип...» — из стихотворения Э. Голлербаха:

Мечтала здесь задумчивая Анна  
И с ней поэт изысканный и странный, —  
Как горестно и рано он погиб!..

В шуршании широкошумных лип  
Мне слышится его тягучий голос,  
И скорбных галок неумолчный скрип  
Твердит о том, чье сердце расколосось.

- 12 *Двинятина Т.М.* Н.С. Гумилев в литературном сознании конца 1920-х годов (Из комментария к дневнику П.Н. Лукницкого) // Печать и слово Санкт-Петербурга. Сб. науч. трудов. Петербургские чтения 2003. СПб., 2003. С. 190. Видимо, уверенность в предстоящем в ближайшее время издании отразилась в одной из статей С. Малахова (см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 547). 12 февраля 1928 года Лукницкий написал Л. Горнунгу: «Слышали ли Вы что-нибудь о предполагаемом издании избранных стихов Н.Г. в “ЗИФе”? Я в этом издании участия не принимаю. Авторских (наследникам) “ЗИФ” платить не собирается. Будут вступительные статьи, вероятно, напостовцев. Зенкевича об этом издании спрашивать напрасно: его не посвятили в курс дела». Л. Горнунг отвечал 14 марта: «Вы пишете об избранных стихах в ЗИФе. Ничего не слышал. Я вообще не слишком рад, что напостовцы (“Жизнь искусства”, “На литературном посту”) взялись пересматривать вопрос об акмеизме. И несвоевременно это, да и просто ни к чему, особенно под их углом зрения. Об акмеизме теперь можно говорить даже не в истории литературы XX века, а просто в биографии Н.С., как вообще единственного, может быть, настоящего акмеиста» (Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография. С. 549–550).
- 13 Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого / Публ. В.К. Лукницкой, пред. и прим. П.М. Нерлера // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М., 1991. С. 131.
- 14 *Орлова Р., Копелев А.* Мы жили в Москве, 1956–1980. М., 1990. С. 265. Лев Копелев вспоминал: «Роман Самарин был старше



меня на год, но образованнее на много лет. Сын профессора литературы, он рос в благодатной тени отцовской библиотеки. Роман открыл мне Гумилева. И меня завоевали навсегда стихи о капитанах, о Нигере, о храбрецах и таинственных дальних краях. Ахматова была для нас жена Гумилева, которая тоже писала стихи» (*Там же*).

- 15 *Маяковский В.В.* Полн. собр. соч. в 13 тт. Т. 12. М., 1959. С. 391; слова о «максимально дрянном» Гумилеве были приведены в публикации стенограммы: *Маяковский В.* О некоторых вопросах поэзии. На пленуме правления РАПП // На литературном посту. 1930. № 19. С. 67; ср. отклик Г. Адамовича: «Стихи Гумилева должны быть изъяты из продажи: это ясно... Но Маяковский этих ограничений не желал. Он рекомендует сделать гумилевские стихи “максимально дрянными”. Как, собственно?» (*Сизиф [Адамович Г.В.]*. Отклики // Последние новости. 1931. 19 февраля).
- 16 *Слоним М.* Десять лет русской литературы // Воля России. 1927. № 10. С. 72.
- 17 О знакомстве их Ахматова рассказывала Лукницкому: «Маяковский очень хотел познакомиться с Н.С., и Н.С. передала это. Н.С. сказал, что ничего против не <имеет>, но только если Маяковский не говорил дурно о Пушкине. Передавшему это Н.С. поручил узнать, оказалось, что Маяковский не говорил дурно о Пушкине, и знакомство состоялось» (*Лукницкий П.Н. Асупиана*. Т. I. С. 12). Ольга Мочалова вспоминала о Гумилеве: «Шутил над стихами Маяковского, где М. увидел божество и побежал посоветоваться к своим знакомым» (*Мочалова О.* Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 39) — стихотворение «А все-таки» («Улица провалилась, как нос сифилитика...»):
- Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!  
 Меня одного сквозь горящие здания  
 проститутки, как святыню, на руках понесут  
 и покажут богу в свое оправдание.  
 И бог заплачет над моею книжкой!  
 Не слова — судороги, слипшиеся комом;  
 и побежит по небу с моими стихами под мышкой  
 и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
- 18 *Взял.* Барабан футуристов. Пг., 1915. С. 12.
- 19 *Брик Л.* Маяковский и чужие стихи (Из воспоминаний) // Знамя. 1940. № 3. С. 182; первую строфу, надо понимать, Маяковский приговаривал за карточным столом.

- 20 *Бобров С. Н.* Гумилев. «Огненный столп» // Красная новь. 1922. № 3. С. 264.
- 21 *Азарх-Грановская А.В.* Воспоминания; Беседы с В.Д. Дувакиным / Комм. В. Хазана и Г. Казовского. М., 2001. С. 76–77.
- 22 Ср. записанные в 1923-м Л.В. Горнунгом воспоминания С.М. Богомазова о гумилевском выступлении на вечере в Политехническом музее в Москве в ноябре 1920-го: «Во время чтения “Трамвая” в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Он прислушался, подался вперед и так замер до конца стихотворения» (Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., авторы комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 257). Маяковский и Лиля Брик появились на этом вечере, вероятно, из-за их знакомого М. Кузмина (см.: Гумилев и Кузмин на «Вечере современной поэзии» в Москве 2 ноября 1920 г. / Публ. С.В. Шумихина // Н. Гумилев и русский Парнас. СПб., 1992. С. 110–111).
- 23 *Йованович М.* Избранные труды по поэтике русской литературы. Белград, 2004. С. 215–216.
- 24 См., напр., его стихотворение «Буйное настроение» в читинском альманахе «Пестрые щупальца» (1920):  
 Ругался стозвонко, высматривал стооко,  
 О чьих-то мозгах кричал бараньих,  
 Вспомнился Блок — тишайший, а я и Блока  
 Выкупал в потоке брани.
- (*Трушкин В.* Из пламя и света. Иркутск, 1976. С. 148). Ср.: «И, надеюсь, даже П. Незнамов не плюнет на могил у товарища своим “творянским” credo:  
 Неужели ж не жить и не радоваться,  
 Если Блока сглодала цинга?»
- (*Итин В.* Рец. на: Камены. Чита // Сибирские огни. 1922. № 5. С. 185); «Какой-то “творянин” под Хлебникова “творянствует”:  
 Выметай... метлой — так надо!  
 Не жалея, не жалея пинка...  
 Неужели ж не жить и не радоваться,  
 Если Блока сглодала цинга?»
- (*Н.Л. [Лернер Н.О.]*. Рец. на: Камены. Чита // Книга и революция. 1923. № 2(26). С. 64). Незнамов (Лежанкин) Петр Васильевич (1889–1941) — левовец, автор сборников «Пять столетий» (1923) и «Хорошо на улице» (1929), погиб в народном ополчении.

- 25 *Незнамов П.* Система девок // Печать и революция. 1930. № 4. С. 77; по памяти приведено восьмистишие «Ни шороха полных далей...».
- 26 См., напр.: *Малкина Е.* Маяковский и буржуазная дворянская эстетика // Литературный современник. 1938. № 4. С. 205, 210, 212; о прогрессивности аллегоризма и гиперболизма Маяковского «в сравнении с формами распада, “объективизма” в упадочном искусстве Запада и в произведениях позднего Гумилева, Мандельштама, Вагинова» см.: *Обломиевский Д.* Путь поэта // Литературный современник. 1935. № 3. С. 195.

«Поэтический образ Маяковского также строится на принципе вещности, предметности. Если внимательно приглядеться к ранним его стихам и поэмам, то не трудно заметить, что в них идет своеобразный процесс опредмечивания, овеществления, в результате которого даже отвлеченные понятия приобретают вес, объем, форму, протяженность, обращаются в предметы быта, обихода, вовлекаются в круг ординарных бытовых связей. Но тогда как в поэзии акмеистов или их французских и итальянских собратьев эта вещьность, эта предметность, эта наглядность является источником эстетического переживания, выражает “непосредственное упоение бытием”, в поэзии Маяковского этот мир вещей оборачивается против поэта всем своим хаосом, всем ужасом, всей тяжестью существования, в котором человек оказывается только придатком вещи, калечащей, уродующей, убивающей его. Мертвый инвентарь городского быта и городской цивилизации, все то, что вызывало такие плоские восторги у итальянских футуристов, вступает в страшный заговор, направленный против человека. У раннего Маяковского был свой идеал “естественного человека”, решительно, однако, непохожий на того “Адама”, о котором настойчиво и упорно говорили акмеисты. “Естественный человек” акмеистов или герой поэм и романов итальянского футуризма — это все тот же одержимый зоологическими инстинктами колониальный завоеватель, отвратительная bestia, которая собственное свое одичание пытается выдать за необычайную “цельность” природы» (*Коварский Н.* Маяковский и проблема культуры // Литературный современник (Л.). 1938. № 4. С. 185–187).

Как враждебные вылазки после смерти Маяковского рассматриваются вечера О. Мандельштама и то, что «размножается рукописным способом интимная лирика Гумилева» (*Буз-*

ник В.В. Лирика и время. М.; Л., 1964. С. 109 — последнее со ссылкой на воспоминания Александра Коваленкова).

- 27 *Забезинский Г.* О судьбах поэтов. Антиподы // Новое русское слово. 1952. 27 января.
- 28 *Селивановский А.* К характеристике некоторых этапов напостовской борьбы // На литературном посту. 1931. № 1. С. 16.
- 29 *Войтоловский Л.* Рец. на кн.: Горбачев Г. Очерки современной русской литературы. Л., 1924 // Печать и революция. 1924. № 5. С. 269–270; Лев Наумович Войтоловский (1875–1941) был автором «разоблачительного» отклика на «Жемчуга»: «Все решительно таинства постиг, очевидно, Н. Гумилев. Маги, кудесники и чародеи, зелья и наговоры, “немыслимые травы” и “нездешние слова” так и кишат в его стихах. Одному лишь таинству он не сумел научиться — таинству неподдельной поэзии.

Юный маг в пурпуровом хитоне  
Говорил нездешние слова,  
Перед ней, царицей беззаконий,  
Расточал рубины волшебства.

Его маги то и дело швыряют пригоршнями рубины, бриллианты и изумруды. Вся книга стихов так и названа “Жемчугами”, которые разделены Н. Гумилевым на три сорта: “жемчуг черный», “жемчуг серый” и “жемчуг розовый”. Одним словом, с виду совсем как у настоящих венценосных поэтов. Я старательно приглядывался к этим “сокровищам немыслимых созданий”, как называет их автор, и должен с прискорбием засвидетельствовать, что эти камни — фальшивые. Да и откуда им взяться — настоящим жемчужинам? Жемчуг, как известно, добывают на глубине, а у Гумилева все плоско, однозвучно, медлительно, вяло и докучно, как осенние капли» (*Войтоловский Л.* Парнасские трофеи // Киевская мысль. 1910. 11 июля; Н.С. Гумилев: pro et contra. С. 371).

- 30 *Горбачев Г.* Художественная литература буржуазно-кулацкого «окружения» // Под знаменем коммунизма (Пг.). 1922. № 1(22). С. 107.
- 31 *Горбачев Г.* Современная русская литература: обзор литературно-идеологических течений современности и критические портреты современных писателей. Л., 1928. С. 21, 14.
- 32 *Грaбарь Л.* Семейная хроника. Кн. 1. Л., 1929. С. 64; о цитатах из Гумилева в его прозе см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 594.
- 33 *Малахов С.* Методология проф. Горбачева // Звезда. 1931. № 6. С. 191.

- 34 РГАЛИ. Ф. 1392. Оп. 1. Ед.хр. 49. Лл. 134, 136–137; ср. в письме к Г. Лелевичу без даты: «Писать ли книгу?/ Гумилев и поэзия 1914–16 г.г. (империализм в чистом виде)» (РГАЛИ. Ф. 1392. Оп. 1. Ед.хр. 48. Л. 170). При очередной чистке Горбачев был сброшен в отдел рукописей Публичной библиотеки, и оттуда писал 30 октября 1932 года, когда «копал» архив Ремизова: «В общем — омерзительная литературная сволочь заправляла российской словесностью в 1900–910-х. И как ближе были к истине все наши старики от В<ладимира> И<льича> до Плеханова». Тогда же (20 ноября 1932 года) он пришел к выводу: «Гумилев — феодальный конквистадор — и даже профессиональный гвардеец и палач — на службе буржуазии» (РГАЛИ. Ф. 1392. Оп. 1. Ед.хр. 49. Лл. 175, 170).
- 35 Ср.: «На днях кто-то делал характеристику Фед. Фед. Раскольникову и назвал его Иудушкой Головлевым» (Дневник Рюрика Ивнева (1930–1931) // Река времен: Книга истории и культуры. Кн. 2. М., 1995. С. 206).
- 36 *Раскольников Ф.Ф.* «...Партия мне безгранично доверяет»: письма Ф.Ф. Раскольникова Л. Рейснер [1923] / Публ., коммент. И. Коссаковского // Советская культура. 1988. 30 апреля. В декабре 1921-го Раскольников писал своему подчиненному по советскому посольству в Афганистане: «Знаете ли вы, что застрелилась А..... Городецкий, по газетам, умер в Персии. О Гумилеве вам известно». В ответ на возражения адресата он писал в мае 1922-го: «Относительно Сергея Городецкого и А. (вы оказались правы). Я был введен в заблуждение» (*Никулин Л.* Записки спутника. Л., 1932. С. 228–229).
- В сентябре 1921-го прошел слух о том, что кроме Блока и Гумилева ушли из жизни Городецкий и Ахматова, по поводу чего поэт Вячеслав Ковалевский сказал: «Золотой падёж» (*Ахматова А.* Requiem. М., 1989. С. 36). Ср. запись в дневнике И.Н. Розанова: «3-го дня умерла Анна Ахматова, и Полонский просил Сергея Боброва отзыв его о “Подорожнике” переделать в некролог. О Гумилеве Полонский сказал, что об этом мерзавце не стоит и говорить, что-то в этом роде...» (*Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, С. 157–158).
- 37 *Топольский В.Д.* Убийство поэта // Наше наследие. 2017. № 121. С. 78–95.
- 38 *Трубецкой Ю.* История одной гибели (Годовщина смерти Гумилева) // Голос народа (Мюнхен). 1952. 24 августа.

- 39 В.Г. Неизвестная рецензия Э. Багрицкого // Вопросы литературы. 1970. № 10. С. 244–245. Речь шла о рукописи второго его сборника (потом названного «Бумеранг») по сравнению с первым, «Ироническим садом». Ср. о влиянии Гумилева и Игорь Северянина на Тарловского — «эстетизм как маска аполитического мещанина» (Малахов С. Буржуазная реакция в современной поэзии // Молодая поэзия: Сб. статей. Л., 1930. С. 118). См. также: Книгин И.А. Книга М.А.-В.Тарловского «Иронический сад» в литературной критике 1928 года // Эпоха «Великого перелома» в истории культуры. Саратов, 2015. С. 201–209. См. о его месте в эволюционном ряду, выстроенном Корнелием Зелинским: «Поэтическая реакция против футуризма пошла по двум линиям: назад к акмеизму и вперед к конструктивизму. С одной стороны, началась реставрация старинной и исконной поэтической певучести, борьба за право на поэтическую позу, за поэтические котурны. Эта струя выходит на поверхность в самых разнообразных личинах, от революционной романтики до гитарного интерьера и от традиционных голубых поэтизмов до гумилевствующих эпигонов. Прозрачный акмеистический воздух движет и гордый корабль Багрицкого, и надувает паруса Светлова, шевелит Жарова, гудит в мансарде Пастернака. Но он же, этот дух акмеизма, надувает десятки мелких пузырьков мещанского болота и пускает воздушные шарлиеры имени Гумилева, играющие свободным полетом нетрудных чувств и необязательных мыслей, воздушные шары а-ля Тарловский» (Зелинский К. Поэзия как смысл. М., 1929. С. 294–295); «шарлиер» (charlière) — аэростат.
- 40 См. отклик в печати: «Готовы признать “свежесть” выдумки М. Тарловского, но вместе с тем сомневаемся в целесообразности печатать плод явно нездоровых эротических эмоций» (Николаев Я. [Шапириштейн-Эльсберг Я.Е.]. Рец. на: Недра. Кн. 14 // На литературном посту. 1928. № 7. С. 80).
- 41 Купченко В.П. Неизвестное стихотворение о Николае Гумилеве // Русская мысль. 1993. 22 января; Давыдов З. «Мы все расстреляны, друзья...»: Коктебельские стихи Марка Тарловского // Окна (Тель-Авив). 1997. 19 июня. Ср. позднейшее стихотворение Б. Куняева «Комната Гумилева в доме Волошина» (Нева. 1987. № 5. С. 64).
- 42 Перельмутер В. Торжественная песнь скворца, ода, ставшая сатирой // Вопросы литературы. 2003. № 6. С. 41.
- 43 Печать и революция. 1928. № 4. С. 197.

- 44 *Фиш Г.* Контрольные цифры. Л., 1929. С. 5. Ср. у Гумилева:  
 Чайки манят нас в Порт-Саид,  
 Ветер зной из пустынь донес,  
 Остается направо Крит,  
 А налево милый Родос.
- 45 *Друзин В.* Среди стихов // Звезда. 1929. № 6. С. 195. В. Друзин продолжает: «“Опыт этой зимы”... стихи Пастернака, “Глаза” и “Весна” имеют слишком много следов Ходасевича, вплоть до совпадения отдельных строчек (“Весь мир в своей шумящей славе”) — см. “Звезды” Ходасевича. Именно эта зависимость мешает Фишу в его стремлении ввести новые темы, новый материал, новый производственный словарь. Пока что отдельные элементы его стихов живут обособленной жизнью. Здесь нужны дополнительные усилия, чтобы преодолеть эклектизм. Иногда акмеистические традиции заводят Фиша в чистопробный акмеизм (и идеологически: любование показной стороной Петербурга — именно Петербурга, хотя Фиш и именует его Ленинградом) — таково стих. “Возвращение”». Приведем этот текст:

Пожалуй, пространств мне не надо,  
 Степей и лесов и морей —  
 Бродить по торцам Ленинграда  
 Отраднее песне моей.

Смотреть, как кипит под мостами  
 Невы голубое литье.  
 Как дразнит за теми домами  
 Неверное небо мое.

Как солнце уходит к заливу,  
 И грузные тучи растут,  
 И кони с чугуною гривой  
 Встают на дыбы на мосту.

Такое не может присниться.  
 И даже дожди не вредят —  
 Приневская наша столица  
 Единственный мой Ленинград.

Мне тысячи древних и тихих,  
 Воинственных слаще имен —

Захаров, Фомин, Воронихин,  
Растрелли, Тома-де-Томон.

С высоких лесов перекрытий  
(Такие родней мне леса)  
Я улицы вижу в граните  
И быстрые яхт паруса.

Бегут за трамваем моторы,  
Мостят городские края,  
По каменным этим просторам  
Любимая ходит моя.

(*Фиш Г.* Контрольные цифры: Стихи. Л., 1929. С. 59–60).

46 *Перельмутер В.* Торжественная песнь скворца. С. 41.

47 Примечание М. Тарловского: «Ating — по-узбекски “твое имя”».

48 «...стихи Гумилева — непролазная риторика. Вообще Гумилев, после успехов, становится неопрятным. Напр. в новелле «Скрипка Страдивариуса» (№ 7) имеются такие пассажи: говоря о бумеранге, он пишет: “Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный”. Как известно — бумеранг возвращается лишь в том случае, если не достигает цели, т.к. всякий удар расстраивает правильность его движений. Далее: “Через 5 дней сторож нашел его мертвым от жажды и ночью закопал во рву, как скончавшегося без церковного погребения”. Неужели для того чтобы скончаться, нужно быть предварительно погребенным?» (Литературное наследство. Т. 98, кн. 2. М., 1994. С. 478). Речь идет о фразе из рассказа «Скрипка Страдивариуса»: «Я побывал даже в Австралии. Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг — великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный». Ср.: «Здесь допущена очень большая невнимательность, необъяснимая именно у Гумилева, с его широкими познаниями и специальным интересом в области этнографии. Бумеранг, как известно, действительно возвращается к бросившему его, но возвращается именно в том случае, когда не попадет в цель. Да иначе и быть не может: препятствие — в данном случае “голова врага” — прекращает либо



изменяет движение летящего тела, поэтому бумеранг, попав в цель, либо тут же упадет, либо, скользя по цели, пролетит еще некоторое расстояние по уже, конечно, не рассчитанной первоначально траектории. Разбив голову врага, он наверняка упадет тут же» (*Дерман А. Промахи мастеров // Красная новь. 1932. № 12. С. 187*).

- 49 *Болесцис [Дзевановский Н.В.]*. Н. Гумилеву // Студенческие годы (Прага). 1923. № 5(9). С. 1. О Николае Вячеславовиче Дзевановском (1897–?) см.: Поэты пражского «Скита»: Стихотворные произведения / Сост., вступит. ст., комм. О. Малевича. СПб., 2005. С. 48–71, 506. Ср. также в стихотворном «портрете» Эрика Голлербаха: «Что, если вдруг, приняв Неву за Ганг, / ты на фелуке уплывешь скользящей / или метнешь свистящий бумеранг/ в аэроплан, над городом парящий?» (Новая русская книга. 1922. № 7. С. 40) и в пародии К. Мочульского на Гумилева: «Мы шли по стране Утанги, / Мы не знали других дорог, / Там грозили нам бумеранги / Из туземных плоских пирог» (Звено. 1923. 19 февраля).
- 50 *Тарковская М.* «Из тени в свет перелетая...»: Неизданная книга Арсения Тарковского // Грани. 1998. № 188. С. 85–86.
- 51 «Раскольников уже успел написать о нем статью как о новой восходящей звезде, что многим казалось преждевременным» (*Зайцев П.Н.* Воспоминания. М., 2008. С. 164).
- 52 Как следствие марксистских дискуссий 1920-х, к исходу десятилетия в основном закрепилась следующая социологическая схема размежевания символизма и акмеизма: «...в процессе завоевания буржуазией экономического господства и вытекавшего отсюда стремления к политической власти и к выходу на мировые рынки буржуазии понадобились такие писатели и художники, которые бы целиком отражали ее новые интересы и соответствовали новому этапу формирования ее классовой идеологии.

Поэтому русская буржуазия перестала субсидировать все те журналы и издательства, вокруг которых группировались символисты. Конечно, такие факты, как закрытие в 1909 г. “Золотого руна”, издававшегося богачом Рябушинским (братом крупного промышленника), и в 1910 г. центрального органа символистов «Весы», издававшегося купцом С.А. Поляковым, прекращение издательской деятельности “Скорпиона” и “Трифа”, а наряду с этим — возникновение нового журнала “Аполлон” (в котором основной тон задавала группа Гумилева), — были не

случайным, а глубоко обоснованным социально-политическим явлением. Интересы русской буржуазии требовали от искусства уже не символистических “туманов”, а ясности и твердости, непосредственного и активного участия в классовой борьбе за ее интересы. На это большинство символистов оказалось неспособным, тем более что интеллигентско-дворянские тенденции в их среде были очень сильны. Некоторые из символистов (в том числе и Блок) не раз высказывались против буржуазной эксплуатации, сытости и пошлости, правда, в довольно умеренной и не опасной для буржуазии форме.

Зато акмеисты, пришедшие во главе с Н.С. Гумилевым, стали создавать литературу, целиком соответствующую интересам русского капитализма на новом этапе его развития. Они поспешили восстать против символистских неясностей, выдвинули совершенно иные методы отношения к действительности, стали проявлять любовь к вещам, к “простой и грубой прелести” мира. Наконец, в то время, как большинство символистов не пошло по линии прославления войны и захватнических тенденций русской буржуазии, акмеисты оказались проповедниками империализма. Они в полной мере соответствовали русскому капитализму в наиболее империалистической его форме» (Александр Блок о литературе / Ред., вступит. ст. и коммент. В.В. Гольцева; предисл. П.С. Когана. М., 1931. С. 328–329).

- 53 *Раскольников Ф.Ф.* Очерки современной поэзии: 1: Марк Тарловский // Красная новь. 1931. № 1. С. 164–169. Вообще-то Раскольникову понравились «Индюк» и «Сентиментальное путешествие» (Раскольников Ф.Ф. «...Партия мне безгранично доверяет» // Советская культура. 1988. 30 апреля).
- 54 «С большим интересом ждал появления очередного номера “Современных записок”, “Чисел”. Мы с радостью читали новые вещи Бунина, Зайцева, Шмелева, Ремизова, открывали новых писателей — Набокова, Алданова, Нину Берберову, новых поэтов — В.Ходасевича, Поплавского» (*Расколькова (Канивез) М.В.* Тень быстротечной жизни. М., 1991. С. 74).
- 55 *Раскольников Ф.* Гумилев и контрреволюция // Литературная учеба. 2006. № 5. С. 189–190. Статья была анонсирована в «Литературном наследстве» (Литературное наследство. Т. 2. М., 1932. С. [267]), но не появилась ни в одном из томов.
- 56 *Desi [Багрицкий Э.]*. Рец. на: Инбер В. Бренные слова: Третья книга стихов. Одесса, 1922 // Театр (Одесса). 1922. № 2. С. 16.

- 57 Про книги: Каталог аукциона № 6. 2 апреля 2001. С. 1.
- 58 *Мирский Д.* Об Эдуарде Багрицком // Литературная газета. 1935. 15 февраля. Тема «Багрицкий и акмеизм» была сравнительно богато представлена в советском литературоведении. Ср. в статье Виктора Шкловского о Багрицком: «Реальное содержание через реальное удивление не могло прийти от акмеистов, которые, мечтая прикоснуться к миру, прикасались к Царскому селу, и “обновляли” его, замечая золотой калач над булочной Голлербаха» (*Шкловский В.* О надежде, о памяти, о будущем // Литературный Ленинград. 1936. 20 февраля; «калач» метит в строку Вс. Рождественского «Над Голлербахом золотой калач еще скрипит, как в “Незнакомке” Блока»). Продолжение дискуссии: «Багрицкий ценен для нас не как “ассимилятор” Гумилева, Брюсова, затем Нарбута и Сельвинского” (цитата из Зелинского), а как революционный поэт» (*Азаров В.* Альманах «Эдуард Багрицкий» // Литературный Ленинград. 1936. 20 февраля). См. в ненапечатанной содержательной статье про «разницу роли предметности метафоры в поэзии Багрицкого и акмеистов. У последних предметность, пресловутая “вещность” — формальный прием, к которому прибегают безотносительно к теме и идее, у Багрицкого — результат определенного философского мироощущения» (*Лубэ С.* «Происхождение»: Эюд о Багрицком — РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 3. Ед.хр. 264. Л. 343об). Использование слова «акмеизм» как инонаименование Гумилева приводило, естественно, к противоречиям в схеме, что и отметил, сделав вид, что не понимает причины этого, Корнелий Зелинский в рецензии на книгу Иосифа Гринберга о Багрицком, отзываясь на помилование Ахматовой Сталиным: «Несмотря на ряд верных замечаний относительно псевдореалистичности “акмеистского эпитета” и вообще различия в подходе к миру у акмеистов и у Багрицкого, вся глава в научном отношении мало весома. Давно настала пора пересмотреть наше школьное отношение к литературным течениям. Нельзя брать в одной плоскости Ахматову и Гумилева (в качестве “поэтов русского империализма”), как нельзя ставить на одну доску футуризм Маяковского и Крученых» (Литературное обозрение. 1941. № 2. С. 54). О преодолении Гумилева см. во вступит. статье Ю. Севрука в кн.: *Багрицкий Э.* Собр. соч. в 2 тт. / Под ред. И. Уткина. Т. 1. М.; Л., 1938. С. 11–12. Ср. обсуждение этого вопроса в советских изданиях эпохи «оттепели»:

«Ранние стихи Багрицкого, напечатанные в одесских сборниках и относящиеся к 1915 году, несли на себе печать сильных литературных влияний, среди которых преобладали влияния современных ему модернистских направлений. Стилизации в духе Вяч. Иванова, Н. Гумилева, М. Кузмина перемежались с опытами под И. Северянина и В. Шершеневича. Наибольшее воздействие на творчество молодого поэта оказали стихотворные формы акмеистов. Эти влияния толкали его в сторону эстетизма, вычурности и того ложноромантического пренебрежения к реальному миру, с которым впоследствии Багрицкий повел ожесточенную борьбу» (*Синявский А.Д.* Эдуард Багрицкий // *История русской советской литературы*. М., 1958. Т. 1. С. 309); «Весь творческий путь даже тех советских поэтов, которые на ранних этапах испытали на себе влияние модернизма, определялся решительным его преодолением. Весьма показателен в этом отношении хотя бы творческий путь Эдуарда Багрицкого. Некогда отдав немалую дань увлечению ранним творчеством Н. Гумилева, Багрицкий впоследствии решительно преодолел это влияние» (*Соловьев Б.* Поэзия и ее критики: Полемиические заметки // Октябрь. 1963. № 7. С. 204); «Антиобщественные настроения Гумилева были глубоко чужды Багрицкому с самого начала его пути. Это тем более важно, что Багрицкий превосходно знал стихи Гумилева и ценил в них романтику увлекательных путешествий, не опошленный эстетством романтический пейзаж, чутко воспринимал игру цветовых оттенков. Практическое решение проблемы колорита уже в те годы отчетливо разделяло Багрицкого и Гумилева. <...> Опасная для художника жажда личной славы, постепенно переходившая в холодный и жестокий индивидуализм, оказалась сильнее романтических устремлений “мореплавателя и стрелка”, а свое желание стать “царем и богом” Гумилев осудил слишком поздно. Молодого Багрицкого привлекала способность Гумилева любить “ветер с юга”, “в каждом шуме слышать звоны лир” и резко отталкивал антигуманизм, высокомерное желание называть мир “ковриком под ногами”» (*Рождественская И.С.* Поэзия Эдуарда Багрицкого. Л., 1967. С. 26–27).

См., наконец, рассуждения переводчика Николая Любимова: «Много было разговоров о “неоакмеизме” Багрицкого — разговоров, в сущности, зряшных. Правы были критики, доказывавшие, что акмеистическое бездушие как нельзя более чуждо такому страстному поэту, как Багрицкий. Сам Багрицкий

не отрицал известной (крайне ограниченной) положительной роли акмеизма в том, что он объявил борьбу символистским штампам. Багрицкий ценил — и ценил высоко — отдельных поэтов, в свое время примкнувших к акмеизму, но не за то, что они исповедовали акмеистскую веру, а за то, что они — настоящие поэты. На мой вопрос, кого Эдуард Георгиевич считает ближайшими, непосредственными своими учителями, он назвал как раз двух бывших акмеистов — Зенкевича и Нарбута. О Михаиле Александровиче Зенкевиче он говорил с сердечностью необычайной — так говорят об учителе благодарные ученики. Стихи Нарбута и — в особенности — Зенкевича показывают, насколько разноголос был акмеистический стан. Эти стихи темпераментны. В них — “плоти запах”, языческое ликование при виде всякой земной твари, упоение животворящим буйством стихий. В мастерской этих близких ему по духу поэтов Багрицкий учился, в частности, натюрмортной и анималистической словесной живописи» (*Любимов Н. Неувядаемый цвет: Книга воспоминаний. Т. 1. М., 2000. С. 401*).

- 59 *Липкин С.* Вторая дорога: Зарисовки и соображения. М., 1995. С. 21, 25–27; «поцайло» от поц (идиш, רֶפֶץ). О Багрицком как представителе «школы Гумилева» см.: *Тименчик Р.* Путеводитель по «Записным книжкам» Ахматовой // *Пермяковский сборник. Ч. 2. М., 2009. С. 566–571*.
- 60 *Поступальский И.* Поэзия Э. Багрицкого // *Печать и революция. 1928. № 5. С. 124; цитата из «Вступления» к сборнику «Шатер».*
- 61 *Друзин В.* Рец. на: Багрицкий Э. Юго-Запад. М., 1928 // *Звезда. 1928. № 6. С. 131*.
- 62 *Лежнев А.* Литературные будни. М., 1929. С. 149–150; о Николае Ушакове писал И. Поступальский: «Акмеизм, уже ушедший в историю литературы, — отличная школа для современных поэтов. От акмеиста требуется строжайшая дисциплина. А наши молодые поэты как раз страдают литературной расхлябанностью. <...> Современным поэтам можно всячески рекомендовать первоначальную учебу у акмеистов. Но, усвоив то лучшее, что имеется в их произведениях, надо сломать каноны, надо переработать стих, уже обогащенный опытом превосходной поэтической школы. Так поступил умнейший поклонник русского акмеизма — Тихонов. Так поступил Асеев, не скрывающий своей близости к акмеистам и сейчас» (*Поступальский И.* О стихах Н. Ушакова // *Печать и революция. 1928. № 1. С. 100*).

- 63 *Гильдебрандт-Арбенина О.* Девочка, катящая серсо...: мемуарные записи, дневники. М., 2007. С. 226. Подробнее об истории двух вариантов см.: *Гришунин А.А.* Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. С. 62–63; *Сарнов Б.* Перестаньте удивляться! М., 1998. С. 45–46; *Воронин Л.* Страшная смерть скрипача // НГ-eklibris. 2016. 25 августа; цензурный вариант стихов Багрицкого см: Бизнес: Сборник Литературного Центра конструктивистов. М., 1929. С. 104.
- 64 Про Николая Дементьева печатно было удостоверено, что он «учился у Гумилева» (*Красильников В.* Молодые поэты // На литературном посту. 1926. № 7–8. С. 39). Н. Дементьев был студентом Высшего литературно-художественного института имени В.Я. Брюсова, и там, вероятно, тоже не обошлось без моды на Гумилева. Р.Я. Райт-Ковалева, туда ходившая, рассказывала мне (как о запомнившемся скандальном происшествии) о чтении кем-то из абитуриентов своего стихотворения памяти Гумилева.
- 65 Эдуард Багрицкий: Альманах. М., 1936. С. 139–140.
- 66 *Коваленков А.* Хорошие, разные. М., 1962. С. 35–36. Вс. Саянова он поддержал как «начавшего работать под влиянием акмеистов, с трудом избавившегося от их влияния и сейчас заговорившего своим настоящим голосом» (*Азаров В.* Ветры нашей молодости. Л., 1987. С. 166).
- 67 *Беккер М.* О поэтах: Литературно-критические статьи. М., 1961. С. 24.
- 68 Новый мир. 1988. № 9. С. 136.
- 69 «Оригинальность Антокольского в том, что он, опираясь на акмеизм, формально “снизил” Пастернака. “Пастернакипь” очень хорошо спаяна у Антокольского с совершенно другим непастернаковским мировосприятием» (*Шемшелевич Л.* Рец. на: Рождественский В. Гранитный сад: Книга лирики, 1925–1928. Л., 1929; Антокольский П. 1920–1928: Стихотворения. М.; Л., 1929 // На литературном посту. 1929. № 21–22. С. 83).
- 70 *Лукницкая В.К.* Перед тобой земля. Л., 1988. С. 82.
- 71 *Азаров Вс.* Багрицкий и современность // Новый мир. 1948. № 7. С. 207.
- 72 Растерзанные тени: Избранные страницы из «дел» 20–30-х годов ВЧК-ОГПУ-НКВД... / Сост. Ст. Куняев, С. Куняев. М., 1995. С. 86.
- 73 День поэзии 1999. М., 1999. С. 192.
- 74 Ср. запись Ахматовой: «Вот что значит увозить свой последний день в эмиграцию, да так и жить в нем до смерти, еще раз

- доказал Ходасевич, когда он, жалуясь, что поздно родился и не был “на четыре года старше Блока”, утверждает: “Я же явился в поэзии как раз тогда, когда самое значительное из всех современных течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло”. Написано это в 1931 г <оду>, т.е. в начале того десятилетия, когда гумилевская строфа *faisait figure* среди тогдашней молодежи. А ему с его последним днем (1923!) казалось, что из акмеизма ничего не вышло, и он навсегда забыт» (Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 5).
- 75 Ср., напр.: «Вместо “теургического” искусства любить дам и мальчиков, я провозгласил: рано при таком понимании соборного искусства вылезать из “только искусства”; я провозглашаю: школу, учебу, ремесло, прием, стиль; впоследствии пассажи с Гумилевым на этой тактической ревизии строят свою школу (через 3 года)» (*Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 445).
- 76 НИОР РГБ. Ф. 653. К. 4. № 3. Л. 50б. Сообщено Н.М. Иванниковой. Ср. в печатном виде в «берлинской редакции»: «выскочило откуда-то слово “акмэ” (острие); и Иванов торжественно предложил Гумилеву статью “акмеистом”» (Эпопея. Кн. 4. Берлин, 1923. С. 161). В советской редакции: «С шутки начав, предложил Гумилеву я создать “адамизм”; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово “акмэ”, острие: “Вы, Адамы, должны быть заостренными”» (*Белый А.* Начало века. М., 1933. С. 24). Ср. отражение этого эпизода в строфах о Башне Вяч. Иванова в «Поэме о трех городах» В. Пяста:
- Там зародился, по Белому, дик и неистов,  
Бунт двуголовый (читай — «манифест» акмеистов).
- (Литературный факт. 2017. № 4. С. 297).
- 77 *Оцуи Н.* Андрей Белый // Числа. 1930. № 4. С. 213.
- 78 По предположению Т.Ф. Нешумовой, об «отлучении Белого» Архиппов узнал воспринял из устных рассказов Вс. Рождественского (*Архиппов Е.Я.* Рассыпанный стеклярус: Сочинения и письма / Под общей ред. Т.Ф. Нешумовой. Т. II. М., 2015. С. 307).
- 79 «Однажды сидели за чаем; я, Гиппиус; резкий звонок; я — в переднюю двери открыть: бледный юноша, с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре — шарк — в дверь.

— Вам кого?

— Вы... — дрожал с перепугу он, — Белый?

— Да!

— Вас, — он глазами тусклил, — я узнал.

— Вам — к кому?

— К Мережковскому, — с гордостью бросил он: с вызовом даже.

Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:

— Гумилев.

— А — вам что?

— Я... — он мямлил. — Меня... Мне письмо... Дал вам, — он спотыкался; и с силою вытолкнул: — Брюсов.

Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения:

— Что вы?

— Поэт из “Весов”.

Это вышло совсем не умно.

— Боря, — слышали?

Тут я замаялся; признаться, — не слышал...

<...> В канун нового года висел между кресел, вперясь в синий сумерок, черный вошел силуэт. — “Смерть!”

Он сунул тетрадку: из синего сумрака:

— “Это — стихи мои”.

Я же, не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движением руки.

Не везло с Гумилевым!» (*Белый А. Между двух революций.* Л., 1934. С. 172–173, 178). См. запись в дневнике литературоведа Лидии Андриевской от 28 августа 1935 года: «На Гумилева пасквиль самый недостойный. Достойнее было бы промолчать вовсе» (*Андриевская Л.М. Странички из дневника, 1934–1941.* СПб., 2006. С. 24).

- 80 См. отзыв о стихотворении «У камина»: «Гумилев, еще не успевший себя зарекомендовать так, как Кузмин, делает быстрые и успешные завоевания в лирике. Его стихи становятся все интересней и по форме, и по содержанию. Одно из напечатанных им стихотворений останавливает внимание новизной ритмов. Эта новизна достигается применением двух пэонов третьих в первой строчке двустушия, контрастированный применением пэона первого в первой половине второй строки» (*Белый А. Десять лет «Северных цветов» // Русская мысль. 1911. № 10. 3-я паг. С. 24).*



81 Ср. опыт сближения двух этих имен: «Из отшедших ныне в другой мир Майков был первым поэтом, которого я встретил на своем жизненном пути, а Н.С. Гумилев последним. Внешнего сходства между ними не было: напротив, антиподы. Но внутренним обликом “сверхчеловек белокурой расы” Гумилев и черненький олимпиец Майков — близкие родные: дед и внук. *Mutatis mutandis* в эпохе и поколении, оба они преемственные жрецы одного и того же храма, священнодейцы и мистагоги одного и того же культа и ордена. Разные мотивы и формы творчества, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения — Пегас на крепкой узде! — та же рассудочность средств, та же осторожная смелость образов (“семь раз отмеряй, один отрежь”) и тот же, при совершенном изяществе, несколько ремесленный холод. Как Майков, так и Гумилев принадлежали к типу благородных аристократических поэтов, неохотно спускающихся с неба на землю, от идеала к факту, упорно стоящих за свою привилегию “вещей” — глаголать языком богов. Пушкин рассказывает о ком-то из своих сверстников, кажется, о Дельвиге, что тот гордо хвалился: — “В стихах моих может найтись бессмыслица, но проза — никогда!” Рассудочная проверка своих вдохновений счастливо избавляла Майкова, и Гумилева (как и Дельвига) от бессмыслицы, но думаю, что оба они тоже охотно приняли бы Дельвигову характеристику и для себя. Но никогда не согласились бы с другим афоризмом того же Дельвига, что — “чем ближе к небу, тем холоднее”. Оба, и Майков (потомок Нила Сорского), и Гумилев (по фамилии явно семинарского происхождения, дворянин из недавних, по всей вероятности, нашего, “колокольного” родословия), были чрезвычайно религиозные люди, православные строгого византийского чина. Оба — твердые, убежденные монархисты, откровенные сторонники самодержавия. Скажут:

— Но Гумилев был авантюрист, влюбленный в экзотические приключения, тогда как Майков — образец уравновешенного петербуржца-бюрократа, очень добросовестный и аккуратный чиновник в комитете иностранной цензуры...

Да ведь не всегда он был уравновешенным обывателем и аккуратным чиновником, а смолоду тоже побродяжил по белу свету, художником с эскизною книжкою, полотном, складным мольбертом и ящиком красок. Конечно, римская Кампанья и Аbruццы, где он скитался, ближе центральной Африки, куда забирался Гумилев. Но, в исторической перспективе, пешее

блуждание в полудиких тущобах горной Италии тридцатых–сороковых годов прошлого столетия едва ли не такая же авантюра, как сейчас побывать на Конго или у истоков Нила. Так что, поскольку романтическая авантюра необходима для поэта, имела она и в прошлом будущего чиновника Майкова, когда он писал “Фортунату”, “В остерии”, “Кампанья ди Рома” и т.д. С другой стороны взять, Гумилев погиб, далеко не изжив своей молодости, и как знать, во что отлился бы его характер к тому возрасту, в котором Майков обрел свою чиновничью аккуратность и обывательскую уравновешенность. Задатки же положительных бюрократических качеств — исполнительность и способность, даже любовь к дисциплине, точность и срочность в работе, строгая отчетность при очень хорошем умении считать и правильной самооценке — были свойственны Гумилеву в весьма высокой степени, что подтвердит каждая издательская фирма, любая школа, студия, курсы, имевшие с ним дело. Уже кажется, в советском Петрограде, при совершенном расстройстве путей сообщения, мудрено было быть аккуратным во времени, и получасовые, даже часовые опоздания на заседания, лекции, концерты, уроки ставились ни во что. А желал бы я знать, когда и где Гумилев не был минута в минуту к назначенному сроку? откуда он уходил, не исполнив принятой на себя обязанности до конца? Нет, он совсем не принадлежал к сонму тех растрепанных и расстегнутых поэтов, которые считают необходимым элементом дарования хаос в наружности, в образе жизни и в мозгах, а, напротив, был — и по внешности, и в мысли, и в чувстве, — *tiré à quatre épingles*. Даже не изжитый им еще молодой снобизм оригинальных выходов, странной одежды и т.п. не выходил из строго обдуманых рамок приличия и хорошего тона. Уж как только не чудасило и не кривлялось, каких штук и фокусов не выкидывало литературное и, в особенности, стихотворческое поколение его ровесников и сверстников, чтобы “огорошить буржуа” и тем стяжать себе известность хотя бы шута горохового, хотя бы Геростратову славу. Но кто и когда видал Гумилева в смешном, принижающем, недостойном его положении? Он был поэт-джентльмэн — и даже не современный, а двадцатых, тридцатых годов прошлого века джентльмэн. И, гораздо больше Онегин, чем Ленский... Самое убеждение его, что, вопреки общему предрассудку, поэты вовсе *non nascuntur, sed fiunt*, и что всякий человек в состоянии выработать из себя школу и усердием недурного поэта, — самое

дерзновенное убеждение это, так раздражавшее Блока, Ахматову и др., — в сущности говоря, плод чисто петербургской бюрократической мысли. И, если мы с этой точки зрения начнем вглядываться в произведения Майкова ли, Гумилева ли, то не замедлим заметить, что, по крайней мере, в половине, если не в двух третях своего литературного наследства поэт сороковых годов XIX века и поэт первых десятилетий века двадцатого дружественно сходятся на почве фактурного принципа. Один предшественник, другой преемник. Разница лишь в том, что Майков даже самому себе, не то что людям никогда не сознался бы в “делании стихов”; а Гумилев не только гласно сознавался, но ставил его себе задачей, гордился удачным выполнением и приглашал всех желающих у него, мастера Гумилева, стихотворству учиться. Но тут уже опять корень не в существовании двух поэтов, а в исторической перспективе: в перерождении нравов, взглядов, в переоценке ценностей» (*Амфитеатров А.* Из литературных воспоминаний // Руль. 1923. 1 августа; tiré à quatre épingles — «как с иголки»; non nascuntur, sed fiunt — «поэтами не рождаются, а становятся»).

В кружке акмеистов Майков был не в чести: Мандельштам уверял, что для своей антологии русской поэзии он не мог найти у этого поэта ни одного стихотворения (*Мандельштам Н.* Вторая книга. М., 1990. С. 72). Ср. шуточную угрозу, видимо, М.А. Лозинского, по поводу интертекстуальных штудий: «Я Вас из Ломоносова и из Майкова выведу» (*Лукницкий П.Н.* Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I: 1924–1925. Париж, 1991. С. 306). Ср.: «Новое поколение поэтов, Толстой, Майков, Полонский, Фет, не обладало ни гением своих предшественников, ни шириной их поэтического кругозора. Современная им западная поэзия не оказала на них сколько-нибудь заметного влияния, ясность пушкинского стиха у них стала гладкостью, лермонтовский жар души — простой теплотой чувства» (*Гумилев Н.С.* Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 280). Ср. также о принадлежности «к лагерю т. наз. “старой школы”, где Майкова чтут выше Тютчева, Бунина выше Блока...» (*Иванов Г.* О новых стихах // Дом искусств. 1921. № 2. С. 98).

- 82 О стихе Гумилева: «...анализ его выявляет подлинную скульптуру, свойственную классикам, в то время как классический стих на Брюсове — как на корове седло. Зато нет у Гумилева тех истинно новых ритмов, какие свойственны Брюсову эпохи “Tertia Vigilia”; их поздней подхватил футуризм» (*Белый А.* Поэма о хлопке // Новый мир. 1932. № 11. С. 231).

- 83 Из писем Андрея Белого 1927–1933 гг. / Предисл. и публ. Т.В. Анчуговой // Перспектива-87: Советская литература сегодня. М., 1988. С. 493–495.
- 84 Тимофеев А. Письмо из редакции // Литературная учеба. 1930. № 6. С. 49; прилипчивая строфа про манжеты приобретала в те годы антипатичный оттенок: «Со всех страниц буржуазной военно-морской поэзии неизменно встает перед нами тот образ надменного лейтенанта, который в последний раз в России воспет Н. Гумилевым... В золотых кружевах, в розоватых брабантских манжетах неизменно преподносит буржуазная поэзия морских офицеров, а тему матросского бунта или осведчала с высоты капитанского мостика, или абсолютно замалчивала» (*Лейтес А.* Литература двух миров. М., 1934. С. 144); «Своих мореплавателей с “острым, уверенным взглядом”, усмиряющих “бунт” на борту корабля, Гумилев противопоставляет тем, у кого грудь пропитана “пылью затерянных хартий”. Это брошенное мельком, но чрезвычайно характерное для поэта презрение к демократизму социально очень выразительно» (*Волков А.* Поэзия русского империализма. М., 1935. С. 128).
- 85 Правда, к концу десятилетия прошел слух: «В той же “Библиотеке поэта” кроме чудом проскочивших томиков Сологуба и Анненского был запланирован сборный томик поэтов-акмеистов. Его, однако, в последнюю минуту отменили, а за Сологуба и Анненского кому-то пришлось отвечать» (*Кленовский Д.* Казненные молчанием (О судьбе некоторых русских поэтов) // Грани. 1954. № 23. С. 110).
- 86 См. запись 1931 года:
- «Как тихо стало в природе!  
 Вся зренья она, вся — слух.  
 К последней страшной свободе  
 Склонился наш дух.
- До чего созвучны мне эти гумилевские стихи, точно я сама их написала, точно родились они в тайниках моей души... И еще есть у него две “мои” строчки:
- Неведомых материков  
 Мучительные очертанья.  
 И еще:  
 В час моего ночного бреда  
 Ты возникаешь пред глазами —  
 Самофракийская Победа  
 С простертыми вперед руками

- (Малахиева-Мирович В.Г. Хризалида: Стихотворения / Сост. Т. Нешумова. М., 2013. С. 501–502).
- 87 Ср.: «Году в 32-м я слышала на улице разговор. Шел изящный гражданин с интересной спутницей, он рассказывал о Гумилеве. “Это наш поэт?” — ласково спросила она» (Мочалова О. Голоса Серебряного века. С. 41).
- 88 Академик Александр Леонидович Яншин: воспоминания, материалы: В 2 кн. / Отв. ред. Б.С. Соколов. Кн. 1. М., 2005. С. 105–106.
- 89 Лебеде́нко А. Тяжелый дивизион. Изд. 2-е. Л., 1933. С. 15.
- 90 Кумач В. Ответ на письмо (Вы слишком злы, Вы не поете...) // Крокодил. 1933 № 23. С. 5; ср.: «Как высоко ценил он мастерство Иннокентия Анненского, Н. Гумилева» (Данилин Ю. Воспоминания о Лебедеве-Кумаче // Москва. 1982. № 9. С. 184).
- 91 Основана в 1928 году. Выход прекратился после роспуска Всероссийского общества коллекционеров (в 1932-м вышли последние регулярные номера). См.: Глейзер М.М. Северо-Кавказский отдел ВОК и его газета «Северо-Кавказский коллекционер» ([www.numbon.narod.ru/NB/1995/nb5-1995.pdf](http://www.numbon.narod.ru/NB/1995/nb5-1995.pdf)).
- 92 Ср. там же далее: «Отравленная туника. Рукопись. (Драматическая поэма в диалогах, типа “Дитя Аллаха” и примерно того же объема. Содержание поэмы — любовь араба к дочери византийского императора. Сведения об этой рукописи почерпнуты из сборника “Репертуар” — см. дальше — и от т. Г.А. Эрística, которому посчастливилось этим летом в Кисловодске видеть и прочесть копию рукописи у проф. В.И. Попова)». Всеволод Иванович Попов (1887–1950-е) — кисловодский педагог, знакомец М.А. Волошина и Е.Я. Архиппова (см.: Архиппов Е.Я. Рассыпанный стеклярус. Т. I–II. М., 2016, по указателю). Сам Е.Я. Архиппов писал А.В. Звенигородскому в 1942-м: «Читал трагедию Николая Степановича, не напечатанную при жизни: “Отравленная туника”» (Там же. Т. II. С. 582).
- 93 К продолжению гумилевских разысканий П.Б. Горцева, видимо, относится ответ ему из Справочного бюро связи (Фонтанка, 46) от 9 августа 1933 года: «Голлербах — в Москве не проживает. Адрес писательницы Анны Ахматовой не значится. По Адресному Бюро Анна Андреевна Горенко (Ахматова) не значится» (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ф. 5. Оп. 1. Ед.хр. 53).
- 94 Эрística Г. Николай Степанович Гумилев (Материалы к библиографии) // «Северо-Кавказский коллекционер» (Оттиск стен-

газеты Севкавказрайотдела ВОК). 1932. № 10–12(56–58). С. 10.

- 95 Напомним о затвердевавшем в это время советском каноне: «Гумилев, Ахматова, Андрей Белый не дали ничего существенного и принципиально нового за годы гражданской войны. Печать классовой злобы к пролетарской революции лежит на утонченных строчках “Огненного столпа” или “Подорожника”» (*Тарасенков А.* Полдень лирики // Литературная газета. 1934. 20 мая).
- 96 *Дьяконов И.* Книга воспоминаний. СПб., 1995. С. 237–238. Ср. далее:

«Но как-то на веранде “Корабля” кто-то высказал в шутку мысль, что писателям надо выдавать единые знаки различия, как в армии: “ромбы” генералитету, “шпалы” старшему, “кубики” среднему и “треугольники” младшему комсоставу — или писсоставу. Кто-то — чуть ли не я — предложил вместо геометрических фигур помещать поэтам в петлицу лиру. Это предложение сейчас же уточнили: лиры — генералитету, гитары — старшему поэтическому составу, мандолины — среднему, балалайки — младшему. Все тут же увлеклись раздачей знаков различия ныне здравствующим поэтам. Все согласились на лиру или две Пастернаку и Тихонову, и на одну лиру — после долгих и ожесточенных споров — Маршаку. Четыре гитары получили Борис Корнилов и Павел Васильев. Вера Инбер и Александр Безыменский получили что-то вроде трех или двух мандолин, Жаров и Уткин — по три балалайки, и тому подобное.

Вдруг Н.Я. Рыкова встрепенулась: “Есть еще один генерал, три лиры! Мандельштам! Это — белый генерал, но все-таки генерал. Белый — но генерал”, — повторила она, нервно хихикая.

От этого предложения мне вдруг сделалось жутко, хотя до 1937 еще оставалось три года.

Про Белого и Ахматову, кажется, и не вспомнили. Их как бы уже и не было в русской литературе» (*Там же.* С. 247).

Ср. запись беседы с нею в 1995-м: «В 1944 году я по своей глупости, неосторожности и доверчивости попала на пять лет в лагерь. Забудьте о том, что кто-то за что-то попадал... <...> Тихонов был единственный, кто мог бы помочь мне, если бы захотел, но он никогда этого не делал, ни для кого» («Пусть вдали догорает кровавое пламя...» / Записал А. Дмитренко // Вечерний Петербург. 1995. 13 февраля).

О Рыковой см. также: *Басалаев И.М.* Зарисовки с натуры // О Всеволоде Рождественском: Воспоминания. Письма. Доку-

- менты. Л., 1986. С. 43; Рыкова Н. Из воспоминаний щепки // Распяты: Писатели — жертвы политических репрессий / Автор-сост. З. Дичаров. Вып. 4: От имени живых... / СПб., 1998. С. 171–179.
- 97 Рыкова Н. Стихи прошедших лет: 1922–1988. СПб., 1993. С. 62–63.
- 98 Поднимался вопрос об опасности налета «солдатчины» на военной романтике: «Здесь сказывается влияние Киплинга, часто преломленное через Гумилева» (Молчанов Н., Князев Ф. Красноармейская лирика // Литературный Ленинград. 1934. 10 февраля).
- 99 Дементьев Н. Об Алексее Суркове // Красная новь. 1935. № 10. С. 207.
- 100 Бем А. Судьба двух поэтов // Меч. 1936. № 31(118). С. 5. В той же статье Альфред Бем находил, что «Луговской очень близок гумилевской манере», приводя в доказательство:
- Работники песков, воды, земли,  
Какую тяжесть вы поднять могли!  
Какую силу вам дает одна —  
Единственная на земле страна!  
Я сердце дам за каждого из вас,  
Идущие в шеренге дней и масс.  
Я сам иду, как взводный, впереди.  
Работы много — отдыха не жди.  
Я говорю — и знаю цену слов —  
За каждого из вас я умереть готов.  
У нас у всех — одна, одна, одна —  
Единственная на земле страна!
- 101 Перед съездом в самиздате появились сатирические стихи неопознанного подпольного любителя на темы советской литературы, в том числе «На смерть Сергея Есенина»: «Наши дни становятся, как ночи, / Злостный недруг царствует во мгле. / Их немало преданных разбою, / Чтоб опять пресечь твой новый путь, / То ли петлей крепкою льняною, / То ли пулей гумилевской в грудь» (Материалы к съезду советских писателей / Публ. П.Л. Вахтиной и Л.Б. Вольфсун // Звезда. 1995. № 4. С. 206).
- 102 Иннокентий Оксенов писал об акмеизме еще в пору актуального бытования его лозунгов:
- «Известно, что акмеизм хотел стать полярной противоположностью символизма. Поэты-акмеисты и слышать не хотели о какой-то тайне, лежащей за пределами явлений. Мир прекра-

сен; в мире как будто нет трагизма; чего же боле? Акмеисты избрали своим патроном первозданного человека — Адама, упивающегося красотой природы.

Но забыли акмеисты, что, согласно учению астрологии, земной человек Адам есть вместе с тем и Адам Кадмон, или Космос: что микрокосм есть символ макрокосма (бытие есть символ деятельности).

Неожиданно близок к акмеистам оказался А. Тиняков, писавший на страницах журнала “Дневники писателей” следующее: “Нельзя быть поэтом, если любить только одну поэзию, одни стихи”. Может быть, и нельзя. И тут же г. Тиняков для примера приводил, что Лермонтов любил “войну и дуэли”(?)... Оставим Лермонтова в покое, мы верим, что военные подвиги Гумилева и Бенедикта Лившица совершались не только ради “упоения в бою”...

“Любовь к жизни для поэтов то же, что аромат для цветов”, — писал г. Тиняков. Мы бесконечно далеки от какой-либо апологии пессимизма, но нам приходит на память поистине благоуханное творчество Сологуба и его слова:

...и вы хотите, люди, люди,  
Чтоб я земную жизнь любил!

Идеология г. Тинякова и акмеистов неминуемо приводит к эстетизму — явлению вредному и уже изжитому (ибо эстетизм есть исключительная любовь к “жизни” или к “красоте” как таковым).

Акмеизм не оправдал возлагавшихся на него надежд. Творчество выдающихся его адептов (Гумилев, Городецкий, Ахматова) было воспоено животворным молоком символизма; этой пище акмеисты всем обязаны; но они уподобились блудному сыну. Внешняя особенность акмеизма та, что он более эпичен» (*Оксенов И.* Взыскательный художник: О творчестве современном и грядущем // *Новый журнал для всех.* 1915. № 10. С. 42; то же: *Акмеизм в критике, 1913–1917* / Сост. О.А. Лекманова и А.А. Чабан; Вступит. ст., прим. О.А. Лекманова. СПб., 2014. С. 428–429.

- 103 *Волков А.* Социалистический реализм и поэзия буржуазного декаданса // *Литературная газета.* 1934. 16 июля.
- 104 Первый всесоюзный съезд советских писателей, 1934: стенографический отчет. М., 1934. С. 480–481; о реабилитации эстетического анализа поэзии у Н. Бухарина см.: *Перхин В.В.* Русская литературная критика 1930-х годов: критика и обществен-



ное сознание эпохи. СПб., 1997. С. 106–107. Бухарин пропустил мимо ушей замечание Карла Радека, который в своем докладе на съезде произнес: «Могут быть очень талантливые писатели, которые выразят в образах мечту фашистского головореза, которые опишут, как белая бестия бьет кнутом по лицу народную массу, и это, может быть, будет большим художественным произведением. Мы имели такого писателя в России — Гумилева, который выражал конквистадорское, империалистское, колонизаторское в русской буржуазии. Он был крупным писателем и с точки зрения искусства давал и мог дать большие образы. Но возьмите этого Гумилева и дайте его без всяких комментариев нашему рабочему, нашему крестьянину. Он скажет вам: вот сволочь, как издевался над человеком» (Первый всесоюзный съезд советских писателей. С. 307). О проблеме отношения большевистского руководства и поднацистской печати к Гумилеву см.: *Голлербах Е.* Appassionato: Ленин как читатель Гумилева // Звезда. 1991. № 8. С. 188–194.

- 105 См. пародию на конструктивистскую «Литконсультацию» в книге С. Шевцова «Напостовский свисток» (М., 1932):

Дорогой товарищ,  
 крестьянский поэт!  
 Вы пишете — это похвально,  
 Но в ваших стихах  
 Конструктивности нет.  
 И образы не локальны.  
 Нельзя писать «золотые облака».  
 «Золотые» — буржуазное слово.  
 Нужно учиться у Пастернака,  
 У Сельвинского и Гумилева.

- 106 Первый всесоюзный съезд советских писателей. С. 550.
- 107 *Степанов Н.* Поэтическое наследие акмеизма // Литературный Ленинград. 1934. 20 сентября. Названы статьи И. Оксенова «Советская поэзия и наследие акмеизма» (Литературный Ленинград. 1934. 24 мая) и А. Волкова «Социалистический реализм и поэзия буржуазного декаданса» в «Литературной газете». На следующую статью Н. Степанова (Заметки о стихах // Литературный современник. 1935. № 1) откликнулся выпускник Института красной профессуры: «Для т. Степанова есть только два вида поэтической направленности советской поэзии: футуристическая и акмеистическая. Пора увлечения футуристическим видом поэтической направленности прошла. На-

ступила пора акмеистического вида поэтической направленности. “Еще несколько лет назад, когда раздавался зычный голос В. Маяковского, в практике современной поэзии господствовали методы, канонизированные лефовцами и восходившие к дореволюционному футуризму. Сейчас же, наоборот, начинает преобладать обращение к акмеистам, оглядка на классиков, проникают в поэзию ‘простые’ размеры, не выходящие по странице лестничными уступами”(?!). Это — вреднейшая теория. <...> Выступление т. Степанова симптоматично. Это — голос противника революционной политической поэзии, уверовавшего в мирное вращение нашей поэзии в добротный буржуазный акмеизм и не признающего неизбежности столкновения двух мировых систем, двух антагонистических мировоззрений» (Плиско Н. «Тем не менее...» // Литературная газета. 1935. 24 марта).

Н. Степанов отвечал на обвинения Н. Плиско (« что я “тащу поэзию к акмеизму” »): «Отрицательное отношение к акмеизму высказано мною в статье о “наследии акмеизма” (Литературный Ленинград. № 48 за 1934 г.). В “критикуемой” Н. Плиско статье я не только не призываю к акмеизму, хотя и констатирую наличие акмеистских тенденций в советской поэзии, но указываю на эпигонство и литературные реминисценции, связанные с акмеизмом, приветствую то обстоятельство, что “советская поэзия сумела разбить замкнутый круг ‘поэтических’ тем, отличавший поэзию символистов, акмеистов и т.п.” (Л<итературный> С<овременник>, стр. 149)» (Степанов Н. Заметки о стихах: «Поэзия чувства» и «поэзия мысли» // Литературный современник. 1935. № 5. С. 184).

108 Длигач А. Шестое чувство. М., 1936. С. 13.

109 Новый мир. 1932. № 12. С. 89.

110 Л<ей>тес А. «Шестое чувство» // Литературная газета. 1936. 5 октября. Ранее Лев Михайлович Длигач (1904–1949) писал: «Анна Ахматова, болезненно пытавшаяся выйти за пределы свойственной ей укромности, осталась позади. Гумилев, последние годы кружившийся спиралью в заблудившемся трамвае, исчерпался» (Длигач А. Рец. на кн.: Кузмин М. Эхо. Пб., 1921 // Пролетарская правда (Киев). 1922. 3 сентября).

111 Дражевська А., Соловей О. Харків у роки німецької окупації 1941–1943: Спогади. Нью-Йорк, 1985. С. 20 (сообщено О.В. Пашко).

112 Звезда. 1935. № 1. С. 250.

- 113 Докладная записка Управления НКВД по Ленинградской области А.А. Жданову «Об отрицательных и контрреволюционных проявлениях среди писателей города Ленинграда», 28 мая 1935 года // Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике, 1917–1953 / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М., 1999. С. 262.
- 114 Звезда. 1935. № 4. С. 271.
- 115 *Гулливер*. Литературная летопись // Возрождение. 1935. 5 сентября.
- 116 *Оксенов И.* От «Походной тетради» к «Стихам о Кахетии» // Литературный современник. 1935. № 12. С. 186.
- 117 *Гутнер М.* «Стихи о Европе» // Литературный современник. 1936. № 12. С. 171). О Михаиле Наумовиче Гутнере (1912–1942) см.: Мастера поэтического перевода: XX век / Прим. Е.Г. Эткинда и М.Д. Яснова. СПб., 1997. С. 817.
- 118 *Серман И.* Б.М. Эйхенбаум и проблема истории // *Revue des Études Slaves*. 1985. Vol. 57. Fasc. 1. P. 79; цитируется выступление: *Эйхенбаум Б.* Жизнь ушла в сторону от формализма // Литературный Ленинград. 1936. 1 апреля; о риторической тактике уклонения в этом выступлении Эйхенбаума см.: *Тоддес Е.А.* Б.М. Эйхенбаум в 30–50-е годы (К истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // Тыняновский сборник. Девятыне Тыняновские чтения. М., 2002. С. 564.
- 119 *Врубель-Голубкина И.* Разговоры в зеркале. М., 2014. С. 41.
- 120 Впрочем, не исключено, что Мандельштам, исправивший в 1937 году эту последнюю строфу стихотворения «Я вздрагиваю от холода» —

Что, если, вздрогнув неправильно,  
 Мерцающая всегда,  
 Своей булавкой заржавленной  
 Достанет меня звезда?

— по-своему реагировал на замечания А. Волкова, книгу которого читал вместе с С.Б. Рудаковым.

- 121 *Тамарченко Д.* «Причудливая призма» (О книге А. Волкова «Поэзия русского империализма») // Литературный Ленинград. 1936. 3 марта.
- 122 *Ал. Д-ц [Дымшиц А.А.].* Поэзия русского империализма // Реф. 1936. № 5. С. 24.
- 123 *А.Д.* Литературный дневник: Оправдание вульгаризации // Литературный Ленинград. 1936. 20 марта.

- 124 Волков А. О формалистствующих эстетях и ориентации на декаданс (РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 1. Ед.хр. 286. Л. 25); там же он сообщает о формалистской трактовке поэтики акмеизма в книге Н.А. Коварского о Н. Тихонове. Жалоба на охаивание из номера в номер книги А. Волкова содержалась в другой статье, присланной в газету и тоже оставшейся в корзине: *Цехновицер О.* «Литературный Ленинград» (орган ленинградского отделения ССП) — РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 1. Ед.хр. 280. Л. 11; ср. другой ее вариант, где процитирован отзыв Н. Дмитриева о А. Волкове, наряду с критикой ленинградской газеты за похвалы «Голубой книге» М. Зощенко и «Городу Эн» Л. Добычина: *Цехновицер О.* «Литературный Ленинград» // Литературная газета. 1936. 5 июня.
- 125 Ср. в «Преодолевших символизм» Жирмунского: «...в молодой поэзии открывается выход во внешнюю жизнь, она любит четкие очертания предметов внешнего мира, она скорее живописна, чем музыкальна. В художественном созерцании вещей человеческая личность поэта может потеряться до конца; во всяком случае, она не нарушает граней художественной формы непосредственным и острым обнаружением своей эмпирической реальности»; «Для молодых поэтов, преодолевших символизм, всего более знаменательно постепенное обеднение эмоционального, лирического элемента. Там, где еще сохранилась богатая и разнообразная жизнь, она уже не выражается в непосредственной, из глубины идущей песенной форме, как нераздельное проявление целостной личности: переживания конкретны и определены, отчетливы и раздельны».
- 126 Н. Дмитриев имеет в виду прежде всего такие ценные замечания: «Время от 1907 до 1917 года было временем полного своеволия безответственной мысли, полной “свободы творчества” русских литераторов <...> и — в общем — десятилетие 1907—1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции. <...> Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса-Ленина-Сталина и как это реализуется трудом на фабриках и на полях, — трудом, который организует, которым руководит новая сила истории — воля и разум пролетариата Союза Социалистических Республик» (Первый всесоюзный съезд советских писателей, 1934: стенографический отчет. С. 12, 18).

- 127 *Дмитриев Н.* Неправильная ориентация // Литературная газета 1936. 5 апреля; Д. Тамарченко ответил заметкой «Безответственная критика» (Литературный Ленинград. 1936. 26 апреля).
- 128 «По нелепой случайности я попал в этот город с дюжиной писательских семейств <...> Жизнь здесь ужасная. Есть нечего. Денег нет. <...> Если можно, Виктор Борисович, вызвать меня в Москву на любую работу, то очень прошу сделать это. Кроме Вас, у меня нет даже знакомых. <...> При мне жена — Жукова Мария Евстигнеевна» (РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед.хр. 566).



Е.С. ДОБИН  
(ШАРЖ  
Н.Э. РАДЛОВА)

DANSE MACABRE  
(КСИЛОГРАФИЯ,  
1493)

Ю.Н. КУПРЕЯНОВ

GIRAFFA  
CAMELOPARDALIS

**15** апреля 1936 года, пятидесятилетним днем рождения первого жениха датировала Ахматова свое «Заклинание»:

Из тюремных ворот,  
Из заохтенских болот,  
Путем нехоженым,  
Лугом некошеным,  
Сквозь ночной кордон,  
Под пасхальный звон,  
Незванный,  
Несуженый, —  
Приди ко мне ужинать.

Год спустя, когда в тюремные ворота, по слову Ахматовой, «шли уже заключенных полки» и когда горели бумаги советских писателей (как объяснял В.А. Каверин в перестройку следующему поколению, — «в которых, разумеется, не было ничего преступного, — как это делали многие, почти все, не зная, что может случиться в ближайшую ночь»), Тынянов сказал: «Не только люди, память гибнет»<sup>1</sup>.

Летом 1936-го Лев Горнунг спросил Ахматову, «где находится собранный нами гумилевский материал. Она ответила, что передала его в очень надежные руки»<sup>2</sup> — возможно, речь шла о договоренности с Сергеем Рудаковым, с которым она познакомилась в Воронеже незадолго до того, как заклинала тень Гумилева явиться на ужин. Рудаков собирался пристально заниматься изучением Гумилева. Переданное С.Б. Рудакову лишь частично сохранилось. Гумилевские материалы в личных архивах были первыми кандидатами на сожжение. В 1937-м Дориана Слепян уничтожила письмо и книжку с дарственной надписью<sup>3</sup>, а поэт М. Фроман — принадлежавший



его жене И. Наппельбаум портрет Гумилева работы Н.К. Шведе-Радловой. Но и исчезнувший портрет фигурировал в обвинении ей в 1951 году<sup>4</sup>. Гумилев был частичной причиной многих посадок<sup>5</sup> — в деле критика Льва Гладкова (1913–1949), арестованного 16 июля 1937-го, значился поднятый им тост за Гумилева<sup>6</sup> — автором доноса считалась «Екатерина Шевелева, заслуженная стукачка и провокаторша, сейчас подвигающаяся в движении демократических женщин»<sup>7</sup>.

Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какие статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи, проявляю ли к ним интерес. Я рассказал ему, что жил в Москве, учился в Третьем московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М.С. Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки — или почти все — были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось чтение стихов А. Ахматовой и Н. Гумилева<sup>8</sup>.

См. также воспоминания Николая Мартыненко:

Я был арестован в начале 1941 года за чтение стихов запрещенных поэтов — Есенина, Гумилева, Клюева, Мандельштама. Я был в то время курсантом 3-го Ленинградского артиллерийского училища. Суд состоялся 20 мая 1941 г. в здании на Дворцовой площади. Военный трибунал приговорил меня к 8 годам ИТЛ и 4 годам поражения в правах. О том, что 22 июня началась война с Германией, в нашей камере не знали, весть об этом пришла к нам значительно позже<sup>9</sup>.

Алексей Алексеевич Крюков, 21-летним юношей арестованный в 1932-м по «Делу о литературных кружках», посылал за границу для публикации свои переводы на французский из Гумилева и Ахматовой. Получив 10 лет лагерей, бежал из Кеми в Финляндию, был изловлен, погиб в лагере в 1940 году

(справка П.Л. Вахтиной). В 1934-м несколько месяцев провела в заключении переводчица Эльга Львовна Линецкая (урожд. Фельдштейн; 1909–1997), репрессированная как участница молодежного кружка, один из членов которого подписал показания на следствии: «При встречах <...> я читал им произведения Гумилева Н. (расстрелянного органами ГПУ, по слухам, за участие в Кронштадтском восстании), Анны Ахматовой. Произведения этих писателей <...> имеют антисоветский характер»; участники кружка сговорились показывать в случае ареста: «Читали художественную литературу: Генри, Твена, Пастернака и др. и ни в коем случае не указывать Мандельштама, Гумилева и Ахматову»<sup>10</sup>.

Гумилев, вписанный в обвинительные заключения, стал и одним из самых популярных в лагерях поэтом. Жена Даниила Андреева прибыла в Потьму в 1949 году на 25-летний срок:

Я не знаю, как мужчины начинают лагерный путь, а женщины почти сразу начинают петь и очень скоро танцевать, как ни странно это звучит. Буквально с первых дней лагеря мы пели, читали стихи, просто удивительно, до чего они оказались нужны. Вспоминали, кто что мог. Я, конечно, стихи Даниила, но не только. Кто-то вспоминал Пушкина и еще удивительно — «Капитанов» Гумилева. Для меня так и осталось загадкой, почему именно они оказались так нам нужны, нужнее хлеба. Мы по строчке вспоминали это стихотворение. Почему в этих промерзших бараках на сплошных нарах так необходимо было бормотать:

На полярных морях и на южных,  
По изгибам зеленых зыбей,  
Меж базальтовых скал и жемчужных  
Шелестят паруса кораблей.

Для чего нам так нужны были эти шелестящие паруса? Господи! Как же нас спасали «Капитаны»! Как это происходило, я так и не поняла, и кому ни пыталась рассказать — никто не понимал. Может быть, точнее всех сказал об этом один мой друг, очень хороший поэт: «Знаешь, может быть, в чем тут дело? В ритме». Может быть, ритмы гумилевских «Капитанов» помогают человеку жить. Возможно, он прав<sup>11</sup>.

«Капитанов» мы слышим на лесоповале в рассказе з/к Нины Гаген-Торн «О стихах»:

— Перекур! — объявлял Порфирыч, когда кончали с деревом.

— К костру пойдём! — отвечала Марина и бежала по узенькой тропке между снежных стен туда, где стоял столбик дыма. Она подбрасывала свежих ветвей, и в солнечном свете бледным золотом начинал прыгать огонь.

Подходили другие пильщики.

— Олюшка, — просил кто-нибудь, — начинайте... Диккенса!

— Послушайте лучше «Капитанов», — предложила Лена Одинцова. Вскочив на пень и подняв вверх голову, она начинала читать:

Или бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так, что сыплется золото с кружев  
Розоватых брабантских манжет.

Порфирыч сидел и молча курил. Он удивленно посматривал, как от стихов светлели, менялись лица женщин, уходили они в другой, непонятный мир.

— Эх, бабы, бабы, — думал он, — надо же беднягам тешиться<sup>12</sup>.

Константин Старокадомский писал Ахматовой в ноябре 1960-го:

Будучи несправедливо осужденным, я прожил 12 лет на Крайнем Севере в тяжелых условиях, оторванным от книг и искусства. Никогда не забуду и, пожалуй, не сумею Вам передать, что означала в нашей жизни поэзия — единственно доступный нам вид искусства. Конечно, печатных сборников мы не имели — ходили по рукам рукописные сборники стихов. Среди них — Ваши, Вашего мужа и Ал. Блока были на первом, самом почетном месте. Это была единственная ниточка, связывавшая нас в полярной ночи (в прямом и переносном смысле) с миром большого искусства<sup>13</sup>.

Григорий Александрович Костюк (1902–2002), украинский литературовед, вспоминал, как в лагере в Воркуте они

с К. Старокадомским составляли рукописный сборник любимых стихов:

Среди многих русских поэтов особое внимание наше было сосредоточено на воспроизведении стихов Николая Гумилева. Восстановление его более длинных стихотворений «Шестое чувство» и «Заблудившийся трамвай» было для нас тяжелым, но волнующим и радостным трудом. Много помогал нам также частый участник наших «литературных вечеров», профессор русской литературы Смоленского педагогического института Македонов. Он был хорошим знатоком Серебряного века русской литературы и в наших припоминаниях Гумилева, а также А. Ахматовой много нам помог. Часто приходил к нам Сергей Малахов, когда-то довольно известный поэт ленинградской группы «Молодая гвардия»<sup>14</sup>.

Нина Гаген-Торн вспоминала о тюремной камере:

Впитывали и твердили стихи те, что на воле никогда и не думали ни о стихе, ни о ритме. Теперь каждый день стали просить: «Прочитайте что-нибудь!» И я читала им Блока и Пушкина, Некрасова, Мандельштама, Гумилева и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна — прояснились глаза. Каждая думала уже не только о своем — о человеческом, общем<sup>15</sup>.

В «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург возникает необытие стихотворения «Мечты» («За покинутым бедным жилищем...»):

...по вечерам гудит железная бочка и булькает в большом чане кипятик. У меня всегда есть возможность укрыться от стужи, а перед сном я могу даже позволить себе роскошь — почитать стихи, всласть начитаться, забравшись на вторые нары в гости к Лене Якимец. Вот сегодня, например, мы заговорщическим шепотом *выдаем* друг другу Гумилева. Как он утешает здесь! Как отрадно вспомнить здесь, на Эльгене, что далеко-далеко, на озере Чад, изысканный бродит жираф. Так и бродит себе, милый, пятнистый, точно ничего не случилось. Потом, перебивая друг

друга, вспоминаем от начала до конца стихи о том, как старый ворон с оборванным нищим о *вострогах* вели разговоры. Это самое главное: уметь помнить о восторгах даже на верхних эльгенских нарах...

Старый ворон в тревоге всегдашней  
Говорил, трепеща от волнения,  
Что ему на развалинах башни  
Небывалые снились виденья.

<...>

Что в полете воздушном и смелом  
Он не помнил тоски их жилища  
И был лебедем, нежным и белым...

Лена засыпает, а я договариваю:

Принцем был отвратительный нищий...

Мне-то хорошо: я со вторым разводом. А Лене — с первым. Это в половине шестого утра. Свинцового эльгенского утра<sup>16</sup>.  
[Гинзбург Е.]

В архиве «Мемориала» хранится составленная в лагере Софьей Сергеевной Потресовой и Верой Федоровной Берсеновой тетрадь с восстановленными по памяти стихами русских поэтов XX века — и большое место занимает в них Гумилев<sup>17</sup>.

Можно видеть, что удавалось прочесть, услышать или, наконец, вспомнить в лагере — как Юлиану Константиновичу Тарновскому в Норильске:

#### Роза 2

Недаром с самой звонкой птицей,  
Поющей летом у ручьев и рек,  
Тебя привычно славит человек,  
Как красоту, что может только сниться.

Твои листки — как Библии страницы,  
А лепестки — нежней любимых век.  
Уж сколько раз сменялся веком век,  
А ты была и есть — цветов царица.

Тебя воспел в стихах своих Ронсар,  
И ты пленила Гумилева зрелость.  
Покажется, наверно, бедным дар,

Что принести тебе возьму я смелость,  
Решившись посвятить цветку сонет  
В таком краю, где роз в помине нет<sup>18</sup>.[]

Гумилев занимал своими стихами почетное место в репертуаре заключенных — как у Платона Набокова в 1951 году в Озерлаге:

Как в бреду под конвоем шагаем,  
К рыку злобных овчарок глухи,  
И, как собственные стихи,  
Гумилева беззвучно слагаем...

Вот и Киплингу вторим сурово,  
И — плевать, что там ждет впереди.  
Мы — соавторы вечного Слова,  
А оно подтверждает: Иди!<sup>19</sup>

Смерть Гумилева, на несколько десятилетий ставшая темой подпольной подсоветской поэзии<sup>20</sup>, привела его тень в стихи лагерных поэтов — у Лазаря Шерешевского (1926–2008) в подвале контрразведки Смерш в 1944-м:

Да, с дороги сбился я большой  
И пошел извилистою тропкой  
С детской искаленной душой,  
Чуткой, неустойчивой и робкой...

Рухнул вниз в стремительном пике,  
Как машина, потеряв пилота,  
И стою сегодня в тупике,  
Погружаясь в мутное болото.

Не понять им истины такой:  
 Черт не страшен так, как намалеван.  
 Машет тонкопалою рукой  
 Мне кровавый призрак Гумилева.

Стукнет в капсуль спущенный боек,  
 И за все, что душу пропитало,  
 Я последний получу паек —  
 Девять грамм горячего металла.

и как зловещее предсказание — у Виктора Хородчинского (расстрелян 5 октября 1937 года), племянника Ю. Мартова, в Челябинском политизоляторе:

И меня расстреляют.  
 Печален, спокоен,  
 Я пройду сквозь тюремную сизую муть.  
 Пред взводом поставят.  
 И точен и строен  
 Ряд винтовок поднимется, целя мне в грудь.  
 Мимолетно припомню судьбу Гумилева,  
 Лица милых расстрелянных где-то друзей.  
 На солдат посмотрю —  
 Будут странно суровы  
 И угрюмо-бездушны глаза палачей.  
 И спешащим вдогонку годам отгремевшим  
 Будет страшен секунд утомительный бег.  
 Залпа я не услышу.  
 Лицом побледневшим  
 Вдруг уткнусь в окровавленный  
 Колющий снег.

\* \* \*

По другую сторону колючей проволоки стихи Гумилева находили читателей в новом поколении<sup>21</sup>. Типическая биография читателя русских стихов в этом поколении изложена в позднейшем письме Евгения Тимошенко<sup>22</sup> к Ахматовой:

Просьба у меня к Вам небольшая, но прежде чем выразить ее я хочу коротко рассказать о себе. Когда-то я писал стихотворение, посвященное Вам:

...Знаю Вас, потому что я тоже  
Много разных писал стихов,  
Правда, я Вас намного моложе,  
Я рожденья двадцатых годов...

Да, я родился до революции, начал учиться в девятнадцатом году в далеком, глухом городке Западной Сибири на берегу дикого Иртыша.

С поэзией я начал знакомиться в школе по стихам Пушкина, Лермонтова, Плещеева, Кольцова, Некрасова, Фета...

Отец очень хорошо декламировал Апухтина, Полонского... Мне нравились стихи, нравились простотой, душевностью, возвышенностью чувств, гражданским пафосом...

Я сам старался писать, подражая Никитину, Фету, — но из меня, вероятно к счастью читателей, поэта не получилось. Я очень скоро понял, что уметь рифмовать — это не значит уметь писать стихи. Поэтического видения мира, — так сказать, синтеза, составления из элементов поэтического восприятия окружающей жизни художественных образов — у меня не оказалось, хотя понимать, принимать передаваемое, настраиваться на волну передаваемых ощущений, — я, мне думается, могу. <...> А потом... в мою жизнь прочно вошли поэты современники. Эта поэзия соответствовала духу того времени, времени еще не погасшей романтики революционных лет, времени еще не отзвучавшего гимна...

«смело товарищи в ногу,  
духом окрепнем в борьбе...»

В стихах тех лет было что-то новое (может быть, непоэтическое в классическом понятии), но страстное, возбуждающее, зовущее, смелое... <...> Нам нравились стихи И. Уткина, А. Жарова...

«Надо чтоб пела и жглась  
и никогда не скользила,  
По голубой гололедице глаз  
Наша гражданская сила...»

\* \* \*



«...Гармонь, гармонь  
 Гуляют песни звонко  
 За каждый покачнувшийся плетень...»

\* \* \*

«Слушайте — грусть о металле  
 Льется по нашей стране  
 Стали, побольше бы стали...»

Весною, прощаясь с зимними лыжными прогулками, с пургой, с темными звездными морозными ночами, мы, смотря на потемневшие дали, распахнутые оттепелями, хором декламировали:

«...И поклонилась бродягам сосна  
 И зазвенели стеклянные груды,  
 Это весна, это весна  
 Зимнюю била посуду...»

Шли годы...

Умер отец, и я переехал к родным его в Детское Село.

«...Смуглый отрок бродил по аллеям  
 У озерных грустил берегов...»

Я ошеломленный бродил по аллеям Александровского парка, забирался в глушь Павловских лесов, впитывая в себя еще не успевшие выветриться от времени шорохи, следы былого —

«...Здесь лежала его треуголка  
 И растрепанный томик Парни...»<sup>23</sup>

Это был 1931 год...

Передо мной открылось новое в поэзии. Я поднимался на гребень волны, ощущая в себе мгновенья, в которые я приближался к интуитивному восприятию тайн гармонии...

«А там, в полях необозримых,  
 Служа небесному царю,  
 Чугунный правнук Ибрагимов  
 Зажег зарю...»<sup>24</sup>

Я много читал и, именно в то время, познакомился со многими, до тех пор, неизвестными для меня поэтами и вдруг...

«...На полярных морях и на южных,  
 По изгибам зеленых зыбей,  
 Меж базальтовых скал и жемчужных  
 Шелестят паруса кораблей...»

И вдруг...

«...Точно молоты громовые  
Или реки гневных морей, —  
Золотое сердце России  
бьется в груди моей...»

Это были стихи Николая Гумилева. Они произвели на меня большое неизгладимое впечатление. Этот поэт в моем внутреннем поэтическом мире занял место рядом с Лермонтовым, Некрасовым, Блоком. С тех пор я, по мере возможностей своих стал собирать стихотворения Николая Гумилева<sup>25</sup>.

Гнездовища любителей Гумилева, как следовало ожидать, можно было обнаружить в послекировском Ленинграде, прежде всего в Ленинградском университете<sup>26</sup>. Вспоминал о своем однокурснике литературоведе Юрии Давыдовиче Левине (1920–2004) Владимир Марков:

Левин с благоговением показывал свои томики Гумилева, к которому мы были равнодушны<sup>27</sup>.

Владимир Федорович Марков (1920–2013), историк футуризма, навсегда остался к любимцу Ю.Д. Левина равнодушен. Д.И. Крачковский-Кленовский писал Маркову в декабре 1953-го в ответ на неизвестное нам письмо: «Вы ошибаетесь, предполагая, что я Вас “запрезираю” за то, что Вы не любите, а только цените Гумилева», и продолжал 14 января 1954 года:

Я не совсем согласен с Вами, что общение Гумилева с Богом, его прикосновение к нему было скорее внешним, чем внутренним. Мне кажется наоборот (но это, конечно, недоказуемо), что Гумилев в церковь не ходил, а внутренне Бога ощущал и к нему прикасался (слово «Бог» надо тут понимать, конечно, в самом широком смысле). Ведь «шестое чувство» и есть некое внутреннее прикосновение к Богу<sup>28</sup>.

И композитор Владимир Дукельский (Вернон Дюк) пенял ему:

В карман не лезете за словом,  
Чините суд над Гумилевым:  
«От Гумилева где же прок?  
Глубок и прочен только Блок,  
А Хлебников безгромно истов;  
Сухие вирши акмеистов  
Убрать долой. Пригоден нам  
Из них лишь Осип Манделъштам.  
Для снобов, теток, ловеласов  
Противоядие — Некрасов»<sup>29</sup>.

Свое итоговое мнение об акмеизме В.Ф. Марков изложил публично:

За акмеизмом не было настоящей идеи, а была невнятная тенденция к реставраторству, что и позволяет его легко ассимилировать массам и второстепенным поэтам. Большевики сперва обманулись «созвучностью» футуризма. Их ввели в заблуждение технологический колорит футуристических программ и «революционное» поведение самих поэтов. Но когда большевики правильно учуяли в футуризме ненавистный им «идеализм», они с ним быстро расправились. Характерно, что тогда поэты бросились в объятия именно к акмеизму, как к эстетике более благополучной, дающей основу для приемлемой, доходчивой, «реалистической», «красивой» поэзии. Эта тенденция ясно определяется в 30-х гг. Алигер, Берггольц, Симонов, поздний Тихонов, поздний Заболоцкий, не считая многих других, менее значительных поэтов, — почти все акмеисты поневоле, отказавшиеся от «езды в неизвестное». Акмеизм не разъедает душу поэта. Ирония литературной политики большевиков в том, что, ратуя за повышение «идейности», они загоняют поэзию в пределы, где идея родиться не может, где конец — поэтическое бесплодие. Иногда кажется, что не умри Гумилев в подвалах Чеки, акмеизм мог бы стать официальной литературной теорией, и не надо было бы изобретать «социалистического реализма». В эмиграции акмеизм победил, потому что не было футуризма; в СССР акмеизм победил, потому что футуризм был задушен. Но это не победа поэзии<sup>30</sup>.

В Москве читатели Гумилева прослеживаются в разных молодежных компаниях.

Во-первых, это ИФЛИ, где «Гумилев «котировался» тогда выше Анны Ахматовой»<sup>31</sup> и где пылким его поклонником слыл Сергей Наровчатов. Знакомые его вспоминают, что

Однажды летом втроем (третий — Виталий Злыднев) катались на лодке по Чистым прудам; Наровчатов упоенно читал вслух где-то раздобытый им томик полузапрещенного тогда Гумилева<sup>32</sup>.

и как он читал «Рабочего»<sup>33</sup>, и что он назвал свой сборник «Костер» в честь гумилевского<sup>34</sup>.

Во-вторых, Литературный институт, про который говорил Семен Кирсанов:

Замечательно талантливый человек там есть — Кульчицкий. Как он пишет!<sup>35</sup>

Внимание Михаила Кульчицкого рано было привлечено к Гумилеву. Подруга его детских лет вспоминает о его («сероглазого») разговоре с П. Постышевым:

— О чем же вы спорили? — осведомился Постышев, и от его глаз к вискам побежали веселые лучики.

— О Багрицком, — солидно пояснил сероглазый. — Он говорит, что Багрицкий слизывал у Гумилева!

— Неверно, — серьезно сказал Постышев. — Багрицкий — самобытный поэт. И что такое «слизывал»? Списывал, что ли?

— Нет, подражал.

— Не думаю...

— Павел Петрович! — Сероглазый бычком, исподлобья поглядел на Постышева. — Вы скажите: нужны поэты?

— Конечно.

— А почему нам не дают поэтическую комнату? У всех есть — у ботаников, у химиков... Даже кто марки собирает, и тем дали. Одни мы...<sup>36</sup>

Кульчицкий описал свой сон после чтения стихов Гумилева (правда, не только его, но, например, и Пастернака — «Сколько им / Сыпан зимами с копыт / Кокаин», и Андрея Белого — «— Коловерть, — Сумасшедшая, злая... Смерть...»):

**Раненый Гумилев (Во сне)**

Вот так: кубанка волос  
И шпор — серебро? мороз?  
Зимы кокаин и сон.  
Ты в жизнь или смерть влюблен?

На сердце ладонь положи,  
Ответь, что влюблен ты в жизнь, —  
Угарно кричит коловерть.  
Я знаю, что это смерть.

(Конечно, твои слова  
Не будет никто целовать)

*23 июня 1939 г.*

Имитированные логические скачки стихотворения отчасти проясняются строками в его поэме «Бессмертие (Из записок вечного студента)», в которых, кстати, видно, что имя Иннокентия Анненского воспринято харьковским юношей не со слуха, а из книг (может быть, из стихотворения Маяковского «Надоело»):

И обезьяне смерти — сну  
Не верил я, как нас учили.  
Кузмин, Анненский, Гумилев,  
Есенин, Киплинг, Блок, Багрицкий  
Колодой томиков стихов  
Придут в мою игру и в тридцать<sup>37</sup>.

В ИФЛИ, а потом и в Литературном институте учился Павел Коган, автор «Бригантины», которому, как вспоминали однокашники, досталось за «капитана, обветренного, как скалы» — гумилевщина, гриновщина, душок «смуглых Джеков»

и песенок Изы Кремер<sup>38</sup>. Павлу Когану принадлежит присягающее свой генеалогии стихотворение «Поэту», завершающееся цитатой из «Жирафа»:

Эта ночь раскидала огни,  
Неожиданная, как беда.  
Так ли падает птица вниз,  
Крылья острые раскидав?  
Эта полночь сведет с ума,  
Перепутает дни — и прочь.  
Из Норвегии шел туман.  
Злая ночь. Балтийская ночь.  
Ты лежал на сыром песке,  
Как надежду обняв песок.  
То ль рубин горит на виске,  
То ль рябиной зацвел висок.  
Ах, на сколько тревожных лет  
Горечь эту я сберегу!  
Злою ночью лежал поэт  
На пустом, как тоска, берегу.  
Ночью встанешь. И вновь и вновь  
Запеваешь песенку ту же:  
Ах ты ночь, ты моя любовь,  
Что ты злою бедою кружишь?  
Есть на свете город Каир,  
Он ночами мне часто снится,  
Как стихи прямые твои,  
Как косые ее ресницы.  
Но, хрипя, отвечает тень:  
«Прекрати. Перестань. Не надо.  
В мире ночь. В мире будет день.  
И весна за снега награда.  
Мир огромен. Снега косы,  
Людам — слово, а травам шелест.  
Сын ты этой земли иль не сын?  
Сын ты этой земле иль пришелец?  
Выходи. Колобродь. Атамань.  
Травы дрогнут. Дороги заждались вождя...

...Но ты слишком долго вдыхал болотный туман.  
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя»<sup>39</sup>.

К раннему этапу истории Литературного института относится эпизод, о котором вспоминал Константин Симонов:

...вдруг меня после занятий вызвали к Ставскому, сказали, чтоб я немедленно шел к нему в Союз писателей. Членом Союза я тогда еще не был, был просто студентом, автором нескольких циклов стихов в журналах и одной поэмы.

— Ну, рассказывай, что ты там за несоветские разговоры ведешь в Литинституте. Собираешься ехать писать об Орджоникидзе, а в разговорах восхваляешь белогвардейщину, — примерно так начал Ставский, а я буквально онемел от неожиданности, потому что никаких несоветских разговоров ни с кем не вел, никакой белогвардейщины не восхвалял и вообще не понимал, что произошло.

— Вот я имею такие сведения о тебе, — сказал Ставский, — давай выкладывай правду — это единственный способ разговора, который у тебя со мной возможен. <...> Разговор продолжался минут десять, может быть, пятнадцать и кончился тем, что я так и не признал того, чего не мог признать, не рассказал того, чего не мог рассказать, потому что этого не было, а Ставский рассердился и сказал, что раз так, то те трое поедут, а ты не поедешь. Нечего тебе писать об Орджоникидзе, раз ты не хочешь даже здесь со мной начистоту разговаривать. Пропагандирует, понимаешь, контрреволюционные стихи, а собирается ехать по следам Орджоникидзе. Это он сказал уже под конец вслед мне.

<...> Вдруг я вспомнил — меня осенило — вспомнил два или три разговора, совсем недавние, в последние вечера с нашим новым руководителем семинара, недавно пришедшим и разговаривавшим по душам то с одним, то с другим из нас, очевидно, знакомясь с нами, так мы это понимали. <...> Когда я сказал, за что и почему мне нравится Киплинг, он стал меня спрашивать: а как я отношусь к Гумилеву. К Гумилеву я относился довольно равнодушно, из акмеистов любил Мандельштама. У Гумилева мне нравилось несколько стихотворений, а вообще его стихи казались мне по сравнению с Киплингом более эстетизирован-

ными, менее солдатскими и менее мужественными. В общем, Киплинг заслонил для меня Гумилева, хотя, казалось бы, по моим вкусам поэтика Гумилева должна была бы мне нравиться. Дальше, после этого разговора о Гумилеве («Ну, это напрасно, что вам не нравится, не привлек вас к себе Гумилев, хотя он и контрреволюционер, но поэт, и как поэт он вам не может не нравиться») началось чтение стихов Гумилева, которые мой собеседник помнил наизусть. Что-то я знал, что-то я не знал, что-то мне понравилось, что-то я вспомнил из того, что мне нравилось и раньше — «Заблудившийся трамвай», «Леопард», еще что-то, уже не помню что, — и я сказал о том, что мне, конечно, нравятся эти стихи Гумилева, но я больше все-таки люблю Киплинга.

Вот примерно и весь разговор, который мог вызвать ту, последнюю фразу Ставского, брошенную мне вдогонку. Никакого другого разговора ни с кем другим не было. Просто-напросто не было. Значит, этот человек, новый руководитель семинара, совершил подлость, сказал не то, что было на самом деле. Ведь он сам пристал ко мне с Гумилевым, сам говорил мне, что он, хотя и контрреволюционер, но хороший поэт, сам читал мне его стихи, сам меня вызвал на то, чтобы я сказал, что, да, у Гумилева есть, конечно, хорошие стихи, хотя я все-таки больше люблю Киплинга.

Зачем же он все это рассказал Ставскому совсем не так, как это было на самом деле? Он, сам втянувший меня в этот разговор, рассказал о нем так, что Ставский вызвал меня, требовал, чтобы я признался в каких-то несоветских разговорах, и в результате не поверил мне и исключил меня из поездки с товарищами на Северный Кавказ, куда я так хотел ехать. Зачем ему это понадобилось? Выслужиться, что ли, он хотел, показать, какой он бдительный, или ему еще зачем-то понадобилось наговорить на меня, но почему, я ему ничего плохого не сделал, он ко мне как будто бы хорошо относился.

У нас после этого было, к счастью, всего одно семинарское занятие, но я не мог себя заставить смотреть на этого человека, мне было тяжело его видеть. Я поспешил поскорее уйти, чтобы он не успел заговорить со мной. Потом я, думая об этой, хорошо и надолго запомнившейся мне истории, видел в ней провокацию, при помощи которой он, очевидно, укреплял или хотел



укрепить свое собственное положение, в чем-то несчастный, очевидно, или в чем-то запутавшийся человек, вдобавок ко всему еще и тяжело больной, еле передвигавшийся. Больше я его не видел. Когда мы вернулись к занятиям осенью, он исчез, был арестован и, наверное, умер где-то там. Я никогда больше не слышал ни от кого его фамилии<sup>40</sup>.

Мы можем сделать предположение о том, кто из преподавателей Московского вечернего рабочего литературного университета был этим знатоком Гумилева — Юрий Добранов, автор рецензии на литературный раздел Малой советской энциклопедии:

Заметка о Гумилеве настолько любопытна, что ее следует привести целиком:

«Гумилев, Николай Степанович (1886–1921) поэт и критик, главный представитель акмеизма. Холодный, рассудочный лирик, мастер строгой формы. Сборники стихов: “Романтические цветы”, “Чужое небо”, “Колчан”, “Огненный столп” и др.» (том 2, стр. 706).

Скажите, ориентирует или дезориентирует читателя такая заметка? Гумилев широко известен в литературных кругах как последний, самый яркий из писателей певец русского империализма, как активный враг революции; формальное влияние его не изжито и по сей день: в современной советской литературе ряд поэтов, даже и пролетарских, не говоря уже о попутчиках, не изжили влияния Гумилева. МСЭ покойно смазывает все это и делает из активного империалиста безжизненную восковую фигуру, определяя его с завидной лапидарностью — «холодный, рассудочный лирик, мастер строгой формы»<sup>41</sup>.

Юрий Николаевич Добранов (настоящая фамилия Кривоногов, 1898–1937) был расстрелян в конце того года.

Литинститутский кружок описан в газетном репортаже с собрания литературной группы при Госиздате, где каждый должен был прочесть стихи любимого поэта, и избравший Гумилева по причинам, о которых остается догадываться, по имени не назван:

Первым выступил юноша, который прочел стихотворение Ник. Тихонова (о том, что мать всегда будет ждать ушедшего в жизнь сына). Он же вслед за этим прочел стихотворение Тютчева («День пережит — и слава богу»). Затем было прочитано стихотворение Блока («Похоронят, зароят глубоко»). Следующий (Лебедев) прочел стихи азербайджанских поэтов XIV века. За ним Абросимов стал читать Есенина: «Отговорила роща золотая», «Вечер черные брови насупил». Кружковец Бондаревский при этом очень горячился: его смущала манера чтения, он считал, что такие стихи надо читать с особым чувством, и сам вскоре выступил с любимыми есенинскими стихами. Следующий читал стихи Гумилева «Рабочий». П. Железнов прочел стихотворение Уткина «Комсомольская песня». Попова читала стихи Одоевцевой (?) и Марины Цветаевой. Стихи Марины Цветаевой и Ин. Анненского читал Подделков <так>. Шевелева читала «Пирушку» Светлова и — первое за вечер! — стихотворение Пушкина («Пророк»). Из Пушкина еще кто-то прочел восемь строк («Что пройдет, то будет мило»). Опять Есенин, Цветаева, Гумилев... «Хорошо бы Лермонтова», — тоскующе сказал кто-то. Железнов, сбиваясь и перевирая, прочел тогда «Выхожу один я на дорогу».

Уткин, который вел собрание, сказал:

— Было бы хорошо, если бы кто-нибудь мог прочитать Маяковского.

Один из участников встал и прочел, перевирая текст, «Вошел к парикмахеру...». Лебедев прочел «Гимн судьбе» <так>. Абросимов пытался прочесть «Солнце», но прервал ввиду явного незнания текста.

Все!

В заключение маленькая деталь: эта молодежь получает «воспитание» в Литературном институте союза писателей<sup>42</sup>.

В-третьих, московский пединститут, где ценители Гумилева собирались вокруг Николая Глазкова, изобретателя формулы «самсебяздат»:

Ко времени поступления в институт поэтические вкусы мои были весьма эклектичными. Я чтит Маяковского, Есенина, Гумилева, а

вместе с тем мне нравился салонный Виктор Гофман, с книжечкой которого я случайно познакомился, а из современников — Виктор Гусев («Как мы певали, Маша!») и Лебедев-Кумач<sup>43</sup>.

В декларации Глазкова — предисловии к рукописному журналу 1939 года говорилось:

Поэтическое здание веков — небоскреб. Пушкин и классика — фундамент. Блок, Гумилев, Хлебников, Маяковский, Пастернак — лучшие этажи. Мы — строители очередного этажа, в настоящего время самого верхнего<sup>44</sup>.

И еще одно место — «Арбузовская студия», театральная студия режиссера В. Плучека и драматурга А. Арбузова, в которой занимались, например, А. Гинзбург (А. Галич)<sup>45</sup>, Всеволод Багрицкий<sup>46</sup>, которого в детстве отец убаюкивал чтением «Дракона»<sup>47</sup>. [Бондарин].

Руководитель студии записал в дневник в феврале 1940-го:

За последнее время стал много читать особенно стихи. Валя [Плучек] и Анна [А.Н. Богачева, жена] упрекают в эстетских вкусах (Гумилев, Ахматова, Цветаева, Г. Иванов, Волошин, М. Кузьмин <так>, Верлен, Рембо, Бодлер, Эредия). Может быть...

«Путешествие в страну Эфира» Н. Гумилева с необычайным искусством пропагандирует наркотики. Но почему так бледна агитация разумных идей в нашей литературе?<sup>48</sup>

\* \* \*

К 20-летию революции вспомнили о подзабытом акмеизме:

Между двумя революциями возникло движение акмеизма (в основном, нашедшее свое выражение в поэзии Гумилева, Ахматовой и др.). <...> Акмеисты говорили, что борются за здоровое начало, за ясность в поэзии. Но в то же время они подчеркивали звериное начало в человеке, искали того же "сверхчеловека", воспевали культ животной силы, т.е., по существу, сходились с символистами в ярко подчеркнутом индивидуализме и имморализме<sup>49</sup>.

Ученик Тынянова и Эйхенбаума, впрочем, мог писать об имморалистах сравнительно спокойно:

Акмеизм представляет собою ту литературную школу, которая в наиболее резкой и отчетливой форме выражала те же настроения, что и французская или итальянская литература. Как и западные свои собратья, акмеизм выступает против декадентства, против мистической метафизики символистов. В борьбе с символизмом акмеисты создают своеобразный идеал «естественного человека», чья активность, чья воля и мужество, чья инстинктивная звериная мудрость противопоставлены спекулятивному, созерцательному пафосу символизма. Отрицая туманную мистику символизма, акмеисты боролись «за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету-землю». Так возникает принцип вещности, предметности в поэзии акмеизма, принцип, противоположный символистскому «*de la musique*», принципу слова-намека, слова-символа. Так возникает подчеркивание в стиховом образе элементов живописной или графической наглядности в отличие от «теории соответствий», созданной символистами, от попыток передать тему в ритмическом и музыкальном движении стиха. Как известно, именно против этой музыкальности резко выступали акмеисты.

Влюбленность акмеизма в звучащий, красочный мир является признаком все того же направления в искусстве, которое чувственно-наглядные элементы явления превращает в самодовлеющую ценность, в объект эстетического переживания. Даже сферу идеологии акмеизм пытается превратить в вещь, единственное назначение которой заключается в том, чтобы служить источником чувственно-эстетического наслаждения:

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать... (Гумилев)<sup>50</sup>

Место акмеизму нашлось и на страницах учебника литературы XX века, написанного исключительно интеллигентным москвичом, бывшим гахновцем, знатоком, музыкантом, балетоманом, искусствоведом, коллекционером картин эпохи «Мира искусства» (ему принадлежал и судейкинский портрет

О. Глебовой-Судейкиной в роли Путаницы 1910 года, оживающий в «Поэме без героя») Борисом Васильевичем Михайловским (1899–1965). Вердикт был неутешительным:

Если лучшие писатели символизма пришли к революции, искренно были ею захвачены, стремились осмыслить ее (хотя обычно и не приходили к правильному пониманию), то акмеисты большей частью оставались глухи или враждебны к революции. Одни отгораживались от нее (как, например, Кузмин, Ахматова и др.); Северянин эмигрировал; Клюев, Клычков явились рупором кулацкой идеологии; Гумилев скатился в лагерь активной контрреволюции и окончил жизнь как участник белогвардейского заговора<sup>51</sup>.

Книге Михайловского оппонировала ставшая блоковедом подруга молодости Глеба Струве<sup>52</sup> и Юрия Никольского:

Совершенно непонятно полное пренебрежение к Есенину, которому посвящено ровно 5½ строк и который причисляется Михайловским к акмеистам. Правда, не один Есенин попал в акмеисты — кого только там нет! Клюев, Клычков, Радимов, Ауслендер, Столица, Игорь Северянин и многие другие. Создается впечатление, что акмеизм — это какая-то братская могила, куда попали все, кто не уложился в рамки других течений. Самое печальное, что зачисление Есенина, Клюева и Северянина в акмеисты вовсе не является персональным грехом Михайловского: то же мы видим и в вузовских программах последних лет. Тем решительнее следует с этим бороться. Нельзя на основании того, что эго-футуристы «воспевали прелести буржуазной паразитической жизни», называть их акмеистами. Что же касается Есенина и Клюева, то правомерно было бы говорить о их связи с символизмом, но отнюдь не с акмеизмом. Впрочем, сам Михайловский в другом месте опровергает свое утверждение об акмеизме Есенина (стр. 346).

Глава об акмеизме — самая неудачная в книге. Существенным ее недостатком является то, что акмеизм никак не соотнесен с символизмом. Если бы автор не ограничивался характеристикой этого течения (кстати, во многом ошибочной),

но дал бы акмеизм в его развитии, ему пришлось бы показать и генетическую связь акмеизма с символизмом и то, как, начав с ревизии символизма, акмеизм в конце концов стал клониться к символизму<sup>53</sup>.

В рецензии не упомянуто имя Гумилева, ухаживавшего за Е. Малкиной в 1918-м, о чем выразительно свидетельствует сохранившееся его письмо<sup>54</sup>. Е. Малкина в пору этой рецензии встречалась с Ахматовой и, видимо, не без разговоров о 1910-х и Блоке, которым она занималась. Юбилей — шестидесятилетний — Блока ожидался в 1940 году, и с прицелом на него были два сочинения, прозаическое и стихотворное, в каждом из которых должен был появиться его антагонист Гумилев.

Прозаическое, рассказ «Чудесный гость», с вольными и грубыми сдвигами противу реалий и злобными укусами эмигрантов, принадлежал Леониду Борисову (несколько раз видевшему Гумилева и записавшему четверть века спустя по просьбе А.К. Станюковича воспоминания о нем<sup>55</sup>):

Происходило собрание поэтов.

Первым явились и сели за столик неразлучные Жоржик Иванов, Жоржик Адамович и Николай Оцуп. Иванов, тонкогубый, узкоплечий, жеманный, поигрывал кончиком языка, складывал губы бантиком и на русскую речь приятелей отвечал на французском, шепелявя и помаргивая. Адамович тщился быть серьезным, академичным, но это ему не удавалось: крохотное, собранное в кулачок лицо напоминало мордочку комнатной собачки, злой и хитрой, Оцуп наблюдал за отражением своим в зеркале, оправлял брюки (упаси, боже, от вздутия в коленях!) и наманикюренным ногтем мизинца легонько проводил по лбу. Это был жест Бодлэра, Уальда, Малларме. У Николая Оцупа и у двух Жоржиков был только один непокупной, свой жест: они все трое затыкали уши пальцами, когда слышали пение революционных песен. Выражение их лиц при этом было страдальчески-брезгливым. Все трое были розовы, нарядно одеты, все трое курили отличные папиросы и с каким-то неподражаемым, завидным шиком целовали руки женщинам, — то одна, то другая

подходила к ним, протягивала руку, кокетничала, жеманилась не по-людски. Мордочки у женщин были лисьи, кошачьи. От их чисто вымытых рук и хорошо проглаженных шелковых платьев веяло началом столетия, при взгляде на них нельзя было сказать, что за окном осень восемнадцатого года, гражданская война...

В одиночестве прохаживался Кузмин — сатир в пиджачке и помятых брючках, поэт и переводчик, немножко прозаик и чуточку композитор, скрытно, но от всего сердца ненавидевший и здешних стихослагателей и здешних дам — жен, любовниц, сестер и просто знакомых всех местных Жоржиков и Оцупов.

Черной бабочкой перелетала с места на место Одоевцева, пышноволосяя поэтесса с огромным бантом на затылке, в лаковых туфлях на породистых, длинных ногах. Она всем и каждому (а всех и каждого здесь было много, и кто их звал и зачем они пришли — неведомо) читала свои новые стихи, играла глазами, смеялась, веселилась.

Ахматова, спокойная, сосредоточенно наблюдающая за всеми, сидела вдали, у окна, и курила, не затягиваясь, дешевые папиросы. К ней не подходили, но с уважением невольным кланялись ей и столь же невольно любовались ею. Она сидела как на портрете Альтмана.

Несколько видных поэтов вошли сразу и сразу же разбрелись по комнатам. Группа поэтов вовсе не видных высокомерно переступила порог, и все они поодиночке присосались к видным, дабы все видели и знали. Дама толстая, работавшая в журналах тонких, вошла под руку с дамой тонкой, сотрудницей журнала толстого. Белый веер раскрылся со свистом, дама толстая прикрыла им лицо, — она боялась длинноногого веселого критика, лет десять тому назад разгромившего сборник ее стихов.

Явились прозаики, критики, пришел репортер и с ним фотограф. Явился мэтр акмеистов Гумилев, и все Оцупы и Жоржики Ивановы кинулись ему навстречу.

— Пора начинать, — сказали они.

Растворилась дверь, и в зал вошел Блок. Белый свитр под бедным пиджаком, на ногах валенки. Поредевшие волосы кое-где отливали сединой. Блок был прост, и была в нем некая пленительность — в глазах, усталых и потухающих, в губах, плотно сомкнутых, в походке, гордой и самолюбивой. Прищурил глаза;

высоко неся голову, он прошел к окну. Два Жоржика и один Николай спрятали руки в карманы и прошли мимо Блока. Оцуп задел его плечом и не извинился. Он знал точно, за что именно невзлюбил он Блока, — и за то, что тот написал «Двенадцать», и за то, что недавно на одном собрании Блок в шутку расшифровал фамилию Оцуп: общество целесообразного употребления пищи.

Блок знал, за что не любит его Гумилев. И все же Блоку было грустно наблюдать и знать, что позади Гумилева выстраивались все те, кто ненавидел советскую власть, все те, кто желал ей гибели.

«Они все погибнут, сгинут, но прежде предадут», — думал Блок.

Поэты и прозаики демонстративно не здоровались с Блоком. Клевета и сплетня уже бежали за его именем. Он ожидал этого, к этому готовился и потому не обижался и не печалился. Сам мэтр акмеистов небрежно кивнул ему и, садясь на председательское место, негромко сказал своему соседу:

— Грустно, но ничего не поделаешь. Всем хочется масла и булок.

— Но он прогадал — ему не дают ни того ни другого, — отозвался сосед мэтра и неосторожно щелкнул вставными зубами.

Мэтр поморщился, пожалел, что вступил в беседу, — он был брезглив.

Блок шел по залам, глаза его были широко раскрыты, губы плотно сжаты. Он оглядывал публику, кланялся встречным и думал: «А этот тоже подлец? Или дурак?»

Подлецов и дураков оказалось больше, чем он ожидал. Даже наиболее близкий друг, подвижной, стремительный человек, спрятался от Блока. И не потому, что он осуждал его, нет, — просто это объяснялось: не подает руки вон тот, не здоровается вот этот, — значит, в этом остракизме что-то есть. Следует выждать, а Блок добрый, он простит.

«Никому не прощу! — подумал Блок. — Кто они такие, все эти господа? Чем служили они родине нашей? Что принесли они родному народу? Бойкий язык, гнусенький либерализм, — золотые ложки к мужицкому обеду».

Толстая дама бочком-бочком проползла между колонной и стенкой. Блок задержал даму, схватил ее за локоть.



— Марья Павловна! Сколько лет! Сколько зим!

И сию же минуту отпустил ее: дама закатила глаза под лоб, на лице ее выступила испарина, рот раскрылся и засверкал.

— Дура! — с наслаждением прошептал Блок и на один момент испугался за себя: как жить ему среди подлецов и дураков?

«И эта баба считала себя солью земли, — размышлял он, заходя в соседние маленькие зальца. — Эта баба была по щекам своих кухарок, читала романы и сама писала стишки. И ее печатали, и она толковала о судьбах России!..»

На мгновение ему стало страшно. Но он повеселел опять.

«Как хорошо, что все это кончилось! Пропел петух, — и Марья Павловна мечется, как ведьма перед рассветом!»

Так думал он и все ходил, ходил, ходил из одного зала в другой. Болела голова, — дурно спалось в эту ночь. Ныл зуб, и не было лекарства, испортилась бормашина у знакомого зубного врача, и негде и некому было починить ее. Хотелось есть. Он пошел к буфетчице Розе, спросил:

— Что у вас сегодня, Роза?

У Розы были лепешки из пшена, бледный чай, овсяные колбашки, картофельные котлеты, селедка, вобла. Но едва он приступил к скромной трапезе, как его пригласили в зал заседания. Он встал, вскинул голову и пошел. Ни на кого не глядя, он сел поодаль ближе к окну, закрыл глаза и стал про себя читать «Мцыри» Лермонтова.

Через полтора часа ему сказали, что он избран председателем Петроградского союза поэтов. Он поблагодарил, изумился, и снова ему стало скучно.

— Пусть Блок будет председателем, — сказал и еще раз щелкнул фарфоровыми зубами сосед мэтра акмеистов.

Поэты расходились. Гасли огни. Роза убирала в шкаф селедку и лепешки. Тощий, голодный кот бродил по залам и кричал не по-кошачьи<sup>56</sup>.

Стихотворное панно 1940 года о тех же временах и событиях — с присутствием Гумилева среди персонажей — принадлежало Надежде Павлович. Одна из главок ее поэмы о Блоке называлась «Без божества, без вдохновенья»:

Союз поэтов выбрал Гумилева,  
А Блок за неспособность был смещен.  
И Гумилев спокойно и толково  
Внедрял свой поэтический канон.  
< ... >

Три гостя утром посетили Блока.  
Хозяин встал и не просил их сесть.  
— Союз поэтов виноват глубоко,  
Вернитесь к нам и окажите честь

Быть снова председателем Союза.  
Кругом враги. Они вас не поймут.  
У вас, у нас одно служенье музам,  
Один язык и величавый труд.

Сомкнем ряды! За нами вся культура,  
А что у них, у этих пришлых, есть? —  
Но Блок смотрел внимательно и хмуро,  
Но Блок молчал, не предлагая сесть,

И усмехнулся: — Николай Степаныч!  
Ошиблись вы. На месте вы своем.  
Мы разных вер, мы люди разных станов,  
И никуда мы вместе не пойдём.

От жизни отвернулись вы с презреньем,  
Давно пустой вы стережете храм,  
Без божества, без вдохновенья!  
Скажите, что мне делать там?<sup>57</sup>

В варианте 1940 года — пятая главка «Союз поэтов»:

И отутюжен, вымыт, брит,  
Склонялся Адамович,  
Изящный стих, как смокинг сшит,  
Остроты наготове.

И Пяст топорщился в углу,  
Сердитый и смущенный,  
А Гумилев шел в этот клуб  
С враждою затаенной.

И странно было увидеть  
В холодном гневе Блока.  
Умел он в споре промолчать  
Презрительно жестоко.

И волновалась молодежь,  
И спорила часами  
О том, что все мечтанья — ложь,  
Что стукнулись мы лбами,

Что Блок совсем сошел с ума,  
Совет читать в районы,  
И что поэзия сама  
Создаст себе законы.

Что Маллармэ и Гумилев  
Стоят, как боги, рядом,  
Пусть Горький за большевиков  
— Нам Горького не надо.

Прочтем стихи! — По одному  
Прочли стихотворенью.  
Москвы я помню кутерьму  
И братское волнение.

А здесь — молчит угрюмый зал.  
Глухое состязанье.  
Здесь Гумилеву Блок внимал  
В безмолвном отрицаньи.

И, молча, Блока слушал «Цех»,  
Так чуждо, так прилично.  
Был Гумилев надменной всех  
В учтивости столичной.

Как два клинка, как два меча  
Стихи скрестились к бою...  
— Два мира бьются и молчат,  
Два мира пред тобою.  
.....  
.....  
«Революционный держите шаг!..  
Неугомонный не дремлет враг...»<sup>58</sup>

Ахматова говорила Сергею Спасскому о поэме Павлович:

А поэма... Есть неплохие места. Но она мне двух глав не читала. Там об уходе Блока из Союза поэтов. Мне рассказывали. Блок противопоставляется остальным, как представитель нового мира. Ну кому это нужно? И все было совершенно не так<sup>59</sup>.

Сама Надежда Павлович писала З.Г. Минц 9 января 1964 года:

Я с [Ахматовой] не переписываюсь и не общаюсь, она в обиде за Гумилева в моей поэме<sup>60</sup>.

В числе многих внешних раздражителей (в том числе связанных с литературой к 10-летию смерти Маяковского), вызвавших приход в конце 1940-го «Поэмы без героя», были и топорная квазибиографическая проза Борисова, и при-  
страстная, лойяльная эпопея Павлович.

\* \* \*

В последние дни тридцатых годов с Ахматовой произошло нижеследующее, рассказанное ею Сергею Спасскому — 31 марта 1941 года:

...мне посоветовали, чтоб избавиться от бессонницы, пить чай в шесть часов, а в двенадцать ложиться. Я так и поступила. И представьте, действительно стала засыпать. И вот однажды (это было, кажется, сказала она, 25 дек<абря>), чувствую, начинает что-то звучать. Я подумала — не хочу, и легла. Но звучит все настойчивей. Тогда я встала, заварила крепкого чаю и пи-

сала всю ночь. К утру все было готово... А мой сосед, Николай Николаевич [Пунин], сказал про нее — это *danse macabre*. И это займет место в мировом искусстве среди произведений такого рода<sup>61</sup>.

В этой «пляске смерти» (*danse macabre*) то в одном, то в другом из скелетов уже первые слушатели захотели увидеть первого ахматовского мужа.

Эту дьявольскую Гофманиану  
Разглашать я по свету не стану,  
И других бы просила. Постой!  
Ты как будто не значишься в списках  
В арлекинах, паяцах, Лизисках  
— Полосатой наряжен верстой.  
Размалеванный пестро и грубо  
Ты — ровесник Мамврийского дуба  
Вековой собеседник луны.  
Не обманут притворные стоны,  
Ты железные пишешь законы,  
Хамурабы, Ликурги, Солоны  
У тебя поучаться должны.  
Существо это странного нрава,  
Он не ждет, чтоб подагра и слава  
Впопыхах усадила его  
В юбилейное пышное кресло,  
А несет по цветущему вереску,  
По пустыням свое торжество.  
И ни в чем не повинен: ни в этом,  
Ни в другом и ни в третьем — поэтам  
Вообще не пристали грехи.  
Проплясать пред Ковчегом Завета  
Или сгинуть. Да что там... Про это  
Лучше их рассказали стихи.  
Крик: «Героя на авансцену!»  
Не волнуйтесь, дылде на смену  
Неприменно выйдет сейчас...<sup>62</sup>  
Что ж вы все убегаете вместе...

Ахматова пересказывала Сергею Спасскому «фабулу» этого начала поэмы:

Праздник. Маски. Commedia dell'Arte, которой тогда увлекались. Собираются гости. Ждут героя. Героя нет. Но приходит незваный гость. Это просто поэт. Он существовал всегда. Он — само мироздание. Поэтому он родственник <так> Мамврийского дуба. В Библии есть такой образ. Все разбегаются, поэт остается перед пустой сценой<sup>63</sup>.

В «Intermezzo», написанном 3–4 января 1941 года, прозвучал манок:

Не отбиться от рухляди пестрой.  
 Это старый чудит Калиостро  
 За мою к нему нелюбовь.  
 И мелькают летучие мыши,  
 И бегут горбуны по крыше,  
 И цыганочка лижет кровь<sup>64</sup>.

Читатели резко отсылались к финалу гумилевского стихотворения «У цыган»:

Что ж, господа, половина шестого?  
 Счет, Асмодей, нам приготовь!  
 Девушка, смеясь, с полосы кремневой  
 Узким язычком слизывает кровь.

(впоследствии Ахматова эту отсылку закрепила авторской сноской). Смысл этой цитаты, как и многое другое, услышанное автором вокруг нового 1941 года, раскрылся самому автору через два десятилетия, когда оказалось, что речь шла о литературной генеалогии и композиционном механизме «пестрой рухляди», что было сформулировано как «Связь с Поэмой в поздней фантастике “Заблудившегося трамвая“ <...> “И цыганочка лижет кровь”». Цитата была сугубой, «сгущенной», потому что гумилевская фантазмагория в свою очередь хранила память о финале сонета Георгия Иванова «Романтическая таверна» (1913):

А с земляного пола  
Осколком девочка выскребывает кровь<sup>65</sup>.

5 июня 1941 года Ахматова читала новую вещь И. Эренбургу, он пометил в записной книжке: «Поэма-реквием о Гумилеве»<sup>66</sup>. Так началась многолетняя читательская охота за ускользающим призраком в главной поэме Ахматовой. Двадцать лет спустя она признавала: «Того же, кто упомянут — в ее заглавии и кого так жадно искала сталинская охранка, в Поэме действительно нет, но многое основано на его отсутствии»<sup>67</sup>.

Поэт, который «просто поэт. Он существовал всегда. Он — само мироздание», улавливает черты мифов о поэтах всех времен и народов, начиная с эпических героев, спускавшихся в преисподнюю («Гильгамеш ты, Геракл, Гесэр»). Можно разглядеть в нем намеки на образ поэта у Хлебникова: как в несении торжества по пустыне в «Одиноким лицедеем» —

И пока над Царским Селом  
Лилось пенье и слезы Ахматовой,  
Я, моток волшебницы разматывая,  
Как сонный труп, влачился по пустыне,  
Где умирала невозможность,  
Усталый лицедей,  
Шагая направо. <...>  
И волей месяца окутан,  
Как в сонный плащ, вечерний странник  
Во сне над пропастями прыгал  
И шел с утеса на утес.  
Слепой, я шел, пока  
Меня свободы ветер двигал  
И бил косым дождем — ...

так и в посмертном явлении в жилище автора, как в «Песни смущенного» (1913), которую Ахматова считала посвященным ей:

А странно: костяком  
Прийти к вам вечерком

И, руку простирая длинную,  
Наполнить созвездьем гостиную<sup>68</sup>.

Ахматовская поэма строится на сближении атрибутов разных прототипов в поле одного персонажа. Прототипы могут сближаться как в силу их дружественности (Мандельштам, цитирующий монолог «Гондлы» в поле персонажа «драгунский корнет»<sup>69</sup>), так и потому, что общим гласом почитаются антиподами<sup>70</sup>: Тынянов говорил в 1924 году о «молчаливой борьбе Хлебникова и Гумилева»<sup>71</sup>, и сближение и разведение этих имен мы находим в знаменитой статье Романа Jakobсона «О поколении, растратившем своих поэтов»:

Хлебников и Маяковский дали лейтмотив словесному искусству современности. Именем Гумилева означена побочная линия новой русской поэзии — ее характерный обертон<...> Расстрел Гумилева (1886–1921), длительная духовная агония, невыносимые физические мучения, конец Блока (1880–1921), жестокие лишения и в нечеловеческих страданиях смерть Хлебникова (1885–1922), обдуманное самоубийство Есенина (1895–1925) и Маяковского (1893–1930). Так в течение двадцатых годов века гибнут в возрасте от тридцати до сорока вдохновители поколения, и у каждого из них сознание обреченности, в своей длительности и четкости нестерпимое. Не только те, кто убит или убил себя, но и к ложу болезни прикованные Блок и Хлебников именно погибли.

Увидеть Гумилева в маске «существа странного нрава» можно было при минимальном напряжении толковательского инстинкта. Вот как этот интерпретационный процесс излагал впоследствии шанхайский поэт Михаил Волин (Волдченко):

... я пришел к убеждению, что под этой маской выведен Гумилев<sup>72</sup>, только очень искусно завуалированный. Ахматова преднамеренно ведет мысль читателя в другие русла. Строчка — «Полосатой наряжен верстой» как бы подсказывает высокий рост маски, вроде бы намекая на Маяковского, на самом же деле



здесь передается идея пространства, путешествий, непоседливости... Полосатые «версты» на российских дорогах, если я не ошибаюсь, сами по себе были невысоки, память сохранила мне иллюстрации к стихам Пушкина «Только версты полосаты падаются одне...».

Все описание маски прекрасно подходит к облику Гумилева. Это он учил, как надо жить и писал железные законы этического и морального кодекса:

<...>

Я учу их как не бояться,

Не бояться и делать то, что надо. <...>

Кто другой, кроме Гумилева, так любил учить и в стихах и в жизни?..

Единственно, что выводит мысль из равновесия, это строка: «размалеван пестро и грубо»... Но если она не подходит к Гумилеву, то в равной мере не подходит и к Волошину. Я пришел к выводу, что этой строчкой Ахматова передает экзотичность, «африканщину» известных стихов Гумилева, которые она не любила, ревнуя Гумилева к его бесконечным странствиям...

Как и Волошин, так и Гумилев были молоды в 1913 году и никак не могли быть «ровесниками мамврийского дуба»; но Гумилев, всю свою жизнь погруженный в метафизику, которая прекрасно уживалась в нем с религиозностью, был ровесником мамврийского дуба «возрастом души». Недаром в одном из своих стихотворений он восклицает:

Когда же наконец восставший

От сна, я буду снова я,

простой индеец, задремавший

в священный вечер у ручья?

В заключительных строках: «существо это странного нрава» и т.д. маска почти снимается: — облик Гумилева очень точно нарисован словами. Это конечно не Волошин, безвыездно живший в Коктебеле много лет, а Гумилев, пересекавший моря и пустыни, «нес по пустыням свое торжество»... Гумилев конечно не ждал, «чтоб подагра и слава усадили его в юбилейные пышные кресла». Он знал, что умрет рано в «дикой щели, утонувшей в глухом плюще».

Гумилев не был верным мужем или заботливым отцом, — грехов перед Ахматовой у него накопилось много, но она все ему прощала, зная, что «поэтам вообще не пристали грехи...»<sup>73</sup>

Запутанные интертекстуальные нити ахматовской поэмы «о поколении, растратившем своих поэтов» неизбежно вели к тому, что образ «поэта мироздания» иррадиировал в поля других персонажей, как зафиксировано в разговоре 1944 года с квалифицированной читательницей:

— Что вы хотели мне сказать о поэме? — прерывает Ахматова и смотрит, смотрит...

Приношу рукопись, разворачиваю, говорю. Слушает. Потом начинает отрицать — нет, это не о Гумилеве, кто мог так подумать! Это просто о том, о чем и написано, — о гусарском корнете и об одной актрисе.

«При чем же тогда признание автора в зеркальном письме?» — думаю я, но пока не говорю ни слова.

<...>— Разве так я бы написала о Коле!! Я бы говорила о нем другими словами. Разве можно сказать о нем «гусарский корнет со стихами»... Я бы оскорбила его<sup>74</sup>.

Это же относилось к появившемуся в «Поэме» после войны персонажу «Гость из будущего», как свидетельствует письмо дочери Льва Гордона Марианны Козыревой к Лидии Чуковской в мае 1985-го:

Но «...звук шагов, тех, которых нету, по сверкающему паркету и сигары синий дымок...» все равно будет для каждого свой. Для меня и тех, кто читал вместе со мной, это все равно был расстрелянный Гумилев. Не он, так не он. Разве это так важно?<sup>75</sup>

И теми же читательскими миражами было ведомо писательское начальство, когда речь зашла о первой публикации поэмы. Как вспоминал Ефим Добин, в конце 1945 года в поисках «черного» рецензента к нему обратился директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Н. Брыкин:

«Д-дело это, понимаешь, с-сложное, — сказал он, по обыкновению заикаясь, — и нужно подойти к нему серьезно, оч-чень серьезно». В общем, дал понять, что поэма таит в себе немалые опасности. А вызвал он меня потому, дескать, что именно я, буд-то бы «опытный редактор» и «авторитетный критик», сумею разглядеть все подводные камни. Как бы мимоходом упомянул Гумилева<sup>76</sup>.

Е. Добин в своем отзыве от этих намеков отбивался:

В поэзии законны различные пути. Лишне доказывать право на существование поэмы «музыкального» рода с дальними ассоциациями и колеблющимися очертаниями образов, если она создана стильным <так> поэтом. Издание «Поэмы без героя» не вызывало бы, конечно, никаких сомнений, если бы не один вопрос, связанный с расшифровкой реальных событий, которая характерна для поэмы. Скажу прямо, это вопрос о том, не нашла ли себе место в поэме записанная «симпатическими чернилами» тема смерти Гумилева.

Просмотрим все куски поэмы, которые могут навести на мысль, что они связаны с этой темой.

...с этой рамой  
Из которой глядит тот самый,  
До сих пор не оплаканный час...

После лестницы плоской ступени,  
Вспышки <так> газа и в отдалении  
Ясный голос:  
«Я к смерти готов...»  
Шутки ль месяца молодого?  
Иль <так> вправду там кто-то снова  
Между печкой и шкафом стоит.  
Бледен лоб и глаза закрыты...  
Значит, хрупки могильные плиты,  
Значит, мягче воска гранит...

Эти строчки явно связаны со следующими (из 4 главки первой части):

...стройная маска  
 На обратном «Пути из Дамаска»  
 Возвратилась домой не одна.  
 Уж на лестнице пахнет духами,  
 И драгунский корнет со стихами  
 И бессмысленной смертью в груди  
 Позвонит, если смелости хватит...  
 Он тебе, он своей «Травиате»  
 Поклониться пришел... Гляди, —  
 Не в проклятых Мазурских болотах,  
 Не на синих <так> Карпатских высотах...  
 Он — на твой порог...  
 поперек.

Это тот самый трагический эпизод, датированный 1913 годом, где скрестились судьбы корнета и актрисы. Такая повторяющаяся деталь, как «лестницы плоской ступени» (из первого отрывка), как «вспышки газа», говорят о том, что в обоих отрывках речь идет об одной и той же смерти. Этим дается достаточно ясный ответ на вопрос, поставленный выше.

Еще один отрывок:

Так <так> за островом, так <так> за садом  
 Разве мы не встретимся взглядом  
 Не глядевших на казнь очей.  
 Разве ты мне не скажешь снова  
 Победившее  
 смерть  
 слово  
 И разгадку жизни моей.

Человек, склонный в недомолвках искать обязательно что-то непозволительное, быть может, постарается в этом отрывке увидеть скрытую тайнописью тему гумилевской смерти. Имеются ли для такого чтения какие бы то ни было доказательства, документы? Никаких. Этот отрывок взят из 3-ей главки первой части. Главка имеет подзаголовок «Петербург в 1913 году». Время, к которому она относится, отчетливо обрисовано в стихах.

И всегда в духоте морозной  
 Предвоенной, блудной и грозной  
 Потаенный носился гул.

В тот канун мировой империалистической войны, что достаточно проясняет интересующий нас вопрос.

Я несколько раз перечитывал «Поэму без героя». Эстетическое наслаждение от ее поэтических красот все усиливалось. Но в то же время я придирчиво искал ответ на возникшие подозрения. И никаких убедительных доказательств, что в зашифровках поэмы таятся враждебные нам мысли и намеки, я не нашел.

Считаю, что «Поэма без героя» — замечательное поэтическое произведение, — и ее нужно издать<sup>77</sup>.

Издание полного текста поэмы в СССР затянулось на два десятилетия, и при жизни Ахматовой этого не случилось. Еще в пору т.н. оттепели Л. Чуковская записывала в дневнике:

Я думаю, что с ждановщиной в самом деле велено не считаться, то есть печатать Ахматову разрешено (вот и печатают стихи во многих местах), но «Поэма» сама по себе, безо всякого Жданова ставит их в тупик. Лагеря они там, к счастью, не чувят, но какую-то крамолу чувствуют. Может быть, опасаются, что там где-то упрятан Гумилев? Под чьею-то Маской? (2 декабря 1962 года).

И что в «Поэме без героя» может понять Кожевников, сколько бы раз он ее ни читал? Он будет читать ее слева направо, справа налево, производя единственную работу, на которую он способен: сыск. Он будет выяснять, не спрятан ли где-нибудь под новогоднюю маску Гумилев. Не найдет, но, на всякий случай, не напечатает (29 декабря 1962 года)<sup>78</sup>.

- 1 *Каверин В. Юрий Тынянов // Новый мир. 1964. № 10. С. 241–242.*
- 2 *Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 205.*
- 3 *Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., авторы комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 196.*
- 4 *Наппельбаум И. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. СПб., 2004. С. 191–195; фотографию этого портрета, сделанную М.С. Наппельбаумом, см.: Панорама искусств. Вып. 11. М., 1988. С. 186.*

- 5 7 июля 1931 года Максимилиан Волошин записал в дневнике: «Лучше “расстреляться” по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. И довольно».
- 6 *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. М., 2017. С. 595.
- 7 *Гладков А.* Дневник 1967 года // Новый мир. 2015. № 6. С. 153.
- 8 *Лесняк Б.* Из воспоминаний о В. Шаламове // День поэзии. 1988. М., 1988. С. 57; Борис Николаевич Лесняк (1917–2004), фельдшер, инженер-химик, литератор, арестован 1 ноября 1937 года, в 1938-м встретился с В.Т. Шаламовым на Колыме
- 9 *Мартыненко Н.* Тот август 1941 года // Распятые. Вып. 2: Могилы без крестов. СПб., 1994. С. 91.
- 10 *Разумов А.* По материалам дела молодежной контрреволюционной группы Левитина // Эльга Львовна Линецкая: Сборник / Сост. М. Яснов. СПб., 1999. С. 105, 107.
- 11 *Андреева А.* Плаванье к Небесному Кремлю: Мемуары вдовы поэта Д. Андреева. М., 1998. С. 159.
- 12 Поэзия узников ГУЛАГа: Антология / Сост. С.С. Виленский. М., 2005. С. 264–265.
- 13 См. подробнее: Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. М.М. Кралин. Л., 1990, с. 542–543; *Тименчик Р.* «Из именного указателя» к «Записным книжкам» Ахматовой // Memento vivere: Сборник памяти Л.Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 547–548.
- 14 *Костюк Г.* Зустрічі і прощання: Спогади у двох книгах. Кн. 1. Київ, 2008. С. 570 (перевод П.Е. Побережкиной).
- 15 *Гаген-Торн Н.И.* Memoria. М., 1994. С. 108.
- 16 *Гинзбург Е.С.* Крутой маршрут / Предисл. В. Аксенова. New York, 1985. Т. 2. С. 21; ср.: «Помню интеллигентную, но совсем, как видно, помешанную женщину, которая выражала свой протест тем, что никогда не мылась и не меняла одежды. Я узнала от нее много прекрасных стихов Гумилева» (*Улановская М.* Конец срока — 1976 год // Время и мы. 1976. №9. С. 168); ср. также воспоминания о том, как в 1950-м в лагере под Дзержинском знаменитый генетик В.П. Эфроимсон читал наизусть Гумилева (*Белинская Л.* «Двойной портрет» В.А. Каверина // Памятные книжные даты 1991. М., 1991. С. 187).
- 17 *Шенталинский В.А.* Преступление без наказания: Документальная повесть. М., 2007. С. 418. См. иллюстрации на вклейке и биографическую справку в Приложениях.
- 18 *Тарновский Ю.* Заполярные стихи // Даугава. 1988. № 9. С. 86;

Ронсар — «Mignonne, allons voir si la rose...» («Пойдем, возлюбленная, взглянем / На эту розу...»), Гумилев — «Роза» (из сборника «Костер»):

Ее ведь смею я почтить сонетом:  
Мне книга скажет, что любовь одна  
В тринадцатом столетии, как в этом,

Печальней смерти и пьяней вина,  
И, бархатные лепестки целуя,  
Быть может, преступленья не свершу я?

- 19 Стихи Лазаря Шерешевского, Платона Набокова, Виктора Хородчинского цит. по: Поэзия узников ГУЛАГа: Антология. С. 117, 657, 929.

- 20 См. стихи неизвестного нам автора:

Нам Лубянка привалом служила.  
Выдающийся в ней поэт  
Поднял трудный багаж пассажира  
С подорожной на много лет.

(цит. в: *Борисов Л.* Наша элита // *Огни* (Зальцбург). 1948. 25 апреля). Ср. в сочинении неопознанного подпольного любителя «На смерть Сергея Есенина»:

Наши дни становятся, как ночи,  
Злостный недруг царствует во мгле.  
Их немало преданных разбою,  
Чтоб опять пресечь твой новый путь,  
То ли петель крепкою льняною,  
То ли пулей гумилевской в грудь.

(Материалы к съезду советских писателей / Публ. П.Л. Вахтиной и Л.Б. Вольфсун // *Звезда*. 1995. № 4. С. 206).

- 21 См., например в стихах киевлянки Ольги Анстей (Штейнберг; 1912–1985):

Благодарю, благие словотворцы,  
Вы, чада света... И за них, за всех  
Сопутников моих благодарю, —  
За тех советских хлопцев, что в тетрадку  
Под партой списывают Гумилева,  
За тех, кто в бункерах читали Блока  
На память...

(*Анстей О.* На юру. Питтсбург, 1976. С. 56–57). Один из сотен таких новых «советских» — Иосиф Моисеевич Ливертовский (1918–1943), который «...часто повторял излюбленное четве-

ростишие: “Но забыли мы, что осиянно / Только слово среди земных тревог, / и в Евангелие от Иоанна / сказано, что слово это Бог”» (Юдалевич М. «Вы видите порывистых людей...» // Воспоминания о Леониде Мартынове. М. 1989. С. 28), см. о нем: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 252–255. Ср. тревожный сигнал в установочной статье: «... часто молодые, убивая последние деньги, платят по пятьдесят рублей за сборники стихов Гумилева или Иннокентия Анненского, читают их запоем, заучивают наизусть, обходя творчество поэтов более значительных и более ценных» (Воспитывать писателей-большевиков // Литературная учеба. 1935. № 2–3. С. 8).

22 См. о нем в последней главе.

23 О типичном и предсказуемом искажении этого стиха («томик» вместо «том») см.: Тименчик Р.Д. Что врано: Статьи о русской литературе прошлого века. М., 2008. С. 576.

24 Строфа Марины Цветаевой.

25 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1204.

26 См. свидетельство о предвоенном втором курсе славянского отделения филфака:

«Конечно, несмотря на все запреты, студенты увлекаются кто Гумилевым, кто Ахматовой, кто Волошиным» (Бушман И. Преступные музы // Голос народа (Мюнхен). 1952. 28 сентября; среди студентов курса, кстати, назван «признанный критик Юра Л.» — т.е. Ю.М. Лотман); Ирина Николаевна Сидорова-Евсеева, в замужестве Бушман, Филиппова (1921–2010?) — поэтесса, литературовед.

Собственно говоря, одним из носителей памяти о Николае Гумилеве был Лев Гумилев. О его конфликте с Львом Пумпянским в стенах университета впервые печатно рассказал читателям на оккупированных территориях — с домыслами и преувеличениями — Борис Филиппов: «Он был студентом. Однажды на лекции по новой русской поэзии откормленный и вседовольный Лев Пумпянский заговорил об акмеистах. Поток грязи изливался из отвисших уст лектора. И особенно на Николая Гумилева и Анну Ахматову. Унижалось их творчество, чернилась личная жизнь, рассказывались грязные, скабрзные анекдоты об их отношениях. Юноша не выдержал. Он, свято чтивший память своего расстрелянного отца, горячо привязанный к матери, встал на защиту родителей» (Филиппов Б. Как напечатали Анну Ахматову // За Родину (Рига).



1943. 2 сентября). См. рассказ самого Л.Н. Гумилева: «Лектор стал потешаться над стихотворениями и личностью моего отца. “Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира... Вот он — пример отечественного Тартарена!” Не выдержав, я крикнул профессору с места: “Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!” Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: «Кому лучше знать — вам или мне?» Я ответил: “Конечно, мне”. В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, многие из них знали, что я — сын Гумилева. Все на меня оборачивались и понимали, что мне действительно лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского...» (Лавров С. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., 2000. С. 65–66). Лев Гумилев был и распространителем стихов своего отца — стихотворение отца он подарил своей приятельнице, и оно было принято публикаторами в одном из изданий наследия Льва Гумилева за стихи сына.

- 27 Марков В. Et ego in Arcadia... // Новый журнал. 1955. №42. С. 174; Марков В. О русском «чучеле совы». Новосибирск, 2012. С. 35. Ю.Д. Левин был сыном Давида Самуиловича Левина (1891–1928), завхоза «Всемирной литературы», к которому Гумилев в 1919-м обращал свою полушуточную мольбу о дровах:

Левин, Левин, ты суров,  
Мы без дров,  
Ты ж высчитываешь триста  
Мерзких ленинских рублей  
С каталей  
Виртуозней даже Листа.

- (Левин Ю.Д. Николай Гумилев и Федор Сологуб о дровах // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1996. Т. L. С. 646–648).
- 28 «...Я молчал 20 лет, но это отразилось на мне скорее благоприятно»: Письма Д.И. Кленовского В.Ф. Маркову (1952–1962) / Публ. О.А. Коростелева и Ж. Шерона // Диаспора. II. Новые материалы. СПб., 2001. С. 589–590; ср. в письме Кленовского от 10 июля 1950 года: «Вы перечислили все варианты любви к нему: и за то, мол, любят, что расстрелян, и за то, что пишет “понятно”, и за то, что был мужествен, и даже за то, что царско-

сел (не в мой ли огород камешек?) Не спору, что 99% почитателей Гумилева любят его по одной из этих причин. Но я к ним не принадлежу. Вы забыли единственную причину, по которой его, с моей точки зрения, только и стоит любить. Я имею в виду его попытки прикоснуться к “мирам иным”, наметившиеся в 10–15 предсмертных его стихотворениях. Только за них (в сочетании с большим словесным мастерством) я его и люблю, остальное в нем терплю» (*Там же*. С. 664).

- 29 *Дукельский В.* Послания. Мюнхен, 1962. С. 15; но, как замечал Ю. Иваск о первом стихотворном сборнике Маркова, «кое-что навеяно Блоком, Кузминым, Гумилевым» (*Марков В.* Стихи. Мюнхен, 1947. С. 25). Возможно, имеются в виду, например, строки из итальянских стихов:

В Бергамо, на Piazza del Duomo,  
 Есть капелла — там, где вход в собор.  
 Солнце жжет с ленивою истомой,  
 И доносятся орган и хор,  
 приводящие на память гумилевскую «Пизу»:  
 Солнце жжет высокие стены,  
 Крыши, площади и базары.  
 О, янтарный мрамор Сиены  
 И молочно-белый Каррары!

Видимо, зная о марковском «равнодушии», имя своего учителя сознательно помянула И. Одоевцева: «Хотя Владимир Марков, поэт новой эмиграции, стоит в стороне от “парижской ноты”, но внутренне, в смысле вкуса и мастерства, он приближается к поэтам не только парижским, но и к поэтам конца петербургского периода. Можно с уверенностью сказать, что Гумилев пришел бы в восторг от “Гумилевских романсов” за то новое и неожиданное, что они вносят в нашу поэзию» (*Одоевцева И.В.* О сборниках издательства «Рифма» // *Современник* (Торонто). 1960. № 2. С. 62).

- 30 *Марков В.* Мысли о русском футуризме // *Новый журнал*. 1954. № 38. С. 180. Ср. также, видимо, ему принадлежащие стихи на случай:

Сосне на мутном Конго не расти  
 И тигру под Архангельском не рыскать.  
 Мне не с руки осваивать пути,  
 По-гумилевски наслаждаясь риском.

(*В.М.* Эмигрантам в квадрате // *Эхо* (Регенсбург). 1946. 28 сентября).

- 31 *Девекин В.* Утерянный автограф // Воспоминания о Сергее Наровчатове. М., 1990. С. 63.
- 32 *Федосюк Ю.А.* Короткие встречи с великими. М., 2011. С. 63.
- 33 *Васильева Л.* Счастье // Воспоминания о Сергее Наровчатове. С. 236–237.
- 34 *Наркирьер Ф.* «В те дни, когда в садах Лицея...» // Воспоминания о Сергее Наровчатове. С. 91. См. также в воспоминаниях Василия Бетаки: «Наровчатов очень ярко высветил мне Гумилева, которого я тогда и полюбил, обратил мое внимание на лучшего раннего Тихонова, и как-то раз повел меня к этому старому поэту в гости, предупредив, чтобы я разговаривал, если придется говорить о тихоновских стихах, только о тех стихах старика, которые мне и вправду нравятся. Я из любопытства пошел, но *того* Тихонова не увидел, как ни старался. Передо мной был прилизанный и розовый советский чиновник в отставке. Единственное, что косвенно напоминало о том, что передо мной гумилевский ученик, было присутствие крупной серой совы. Она неслышно и даже глаз не раскрывая, перелетала то с чернильного прибора на плечо хозяина, вцепляясь коготками в толстый свитер, то обратно с плеча на прибор» (*Бетаки В.* Снова Казанова (Меее...! МУУУ...! А? РРРЫ!!!). München, 2011. С. 140).
- 35 Обсуждение книг о Маяковском. Расширенное заседание Президиума ССП. 23 ноября 1940 года (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 496. Л. 71); там же С. Кирсанов говорил: «Если подражание Гумилеву или даже заимствование, то это позволено, а Маяковский изображается закапсьюлированным в самом себе, запечатанным в самом себе и изолированным от своего продолжения».
- 36 *Немёнова Л.* Хочу рассказать о друге // Молодой коммунист. 1964. № 6. С. 61–62.
- 37 *Кульчицкий М.* Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте. Харьков. 1991. С. 33, 79. Ср. запись из дневника Кульчицкого за 1 апреля 1937-го: «Есенин: “глотка перерезана зари”. Это голодно и крепко. Но лучше стихи сравнивать с кораблями. Бриг Киплинга, галера Гумилева, бригантина Грина, дубок Багрицкого, дачная лодка с балдахинном Ахматовой, челн Хлебникова» (цит. по: *Сухих И.* От стиха до пули // Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 27).
- 38 *Львовский М.* Слово о песне // Комсомольская правда. 1962. 2 октября.

- 39 Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. С. 146–147.
- 40 *Симонов К.М.* Глазами человека моего поколения. М., 1988. С. 61–64.
- 41 *Добранов Ю.* Русская литература в МСЭ // На литературном посту. 1931. № 20–21. С. 70.
- 42 *Трегуб С., Бачелис И.* Наверстать упущенное // Литературная газета. 1940. 15 марта; Борис Петрович Лебедев (1911–1945) — автор сборника «Баллады и стихи» (1940). Евгений Павлович Абросимов (1911–1943) пал смертью храбрых на фронте; Анатолий Яковлевич Бондаревский (1905–1971) попал в плен, сотрудничал в поднацистской печати, был выдан из Западной Германии в Советский Союз, находился в заключении, впоследствии издал сборник стихов «Весна в глазах» (М., 1964; редактор М.А. Зенкевич).
- 43 *Шахов Б.* Беглый набросок с Николая Глазкова // Воспоминания о Николае Глазкове. М., 1989. С. 75.
- 44 *Там же.* С. 80; см. воспоминание о библиотеке родственников Глазкова в Горьком, где хранились «старые антологии»: «Сколько новых, совершенно неведомых мне имен русских поэтов прошлого выплывало из небытия: Виктор Гофман, Гумилев...» (*Заславский Р.* Мой стародавний друг // *Там же.* С. 174).
- 45 Ср. в его песне «Кресты» (1969): «Таким же неверно-нелепым / Был давний тот август, когда / Над черным бернгардовским небом / Стрельнула, как птица, беда».
- 46 См. списки стихотворений «Нигер», «Сентиментальное путешествие», «Заблудившийся трамвай», «Пьяный дервиш» в бумагах В.Э. Багрицкого (РГАЛИ. Ф. 2805. Оп. 1. Ед.хр. 73).
- 47 *Бондарин С.* Гроздь винограда: Записки. Рассказы. Повесть. М., С. 109.
- 48 *Арбузов А.Н.* Воспоминания и размышления. СПб., 2013. С. 169–170.
- 49 *Литератор.* Двадцать лет советской литературы // Новый мир. 1937. № 11. С. 312.
- 50 *Коварский Н.* Маяковский и проблема культуры // Литературный современник (Л.). 1938. № 4. С. 185.
- 51 *Михайловский Б.В.* Русская литература XX века. М., 1939. С. 348.
- 52 Глеб Струве, знавший ее по Выборгскому коммерческому училищу, писал Владимиру Вейдле в 1974 году: «Катя Малкина, которая оставила несколько работ (о Блоке и др.), ее как курсист-

- ку очень ценил Эйхенбаум; она погибла довольно трагически: в 1945 — была убита вломившимся в ее квартиру бандитом» («Откликаюсь фрагментами из собственной биографии...»: Эпизод переписки Г.П. Струве и В.В. Вейдле / Публ., подг. текста, предисл. и комм. Е.Б. Белодубровского // Новый мир. 2002. № 9. С. 136).
- 53 *Малкина Е.* Рец. на: Михайловский Б.В. Русская литература XX века. М., 1939 // Ленинград. 1940. № 19–20. С. 36.
- 54 См. его признания: «Вы написали и о моем огромном усилии воли, и о Ваших колебаниях, которые я, конечно, видел. Приходило ли Вам в голову, что мое усилие воли я направил только на себя и в Ваших колебаниях стал на сторону Вашего теперешнего решения? Нет, очевидно, я просто не понял всей средней части Вашего письма. Все эти дни я ждал, что Вы подадите мне весть о себе, и мы встретимся. Я прекрасно знал, что Вы скажете “нет”, и почувствовал, что это “нет” будет для меня ослепительнее и нужнее самого ясного “да”. Огненное искушение, о котором говорит апостол Петр, предназначено мне, а не Вам» (*Гумилев Н.С.* Письмо к Е.Р. Малкиной / Публ. М.Д. Эльзона // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 г. СПб., 1996. С. 215–218; *Гумилев Н.С.* Полн. собр. соч. Т. 8. М., 2007. С. 212–214). См. автограф Гумилева на оттиске «Дитя Аллаха» из «Аполлона»: «Е.Р.М. Ведь не сравнятся и цветы с моею новою царицей. Н.Г.» (*Сеславинский М.* Гумилев на книжной полке // Про книги: Журнал библиофила. 2011. № 4. С. 15).
- 55 Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., авторы комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 166–168; 28 июня 1966 года Борисов писал А.К. Станюковичу: «Что касается Николая Степановича, то его я видел часто не только в двадцатом году, но много раньше — и в восемнадцатом и в девятнадцатом; хорошо знал его жену Анну Николаевну. На некоторых литературных вечерах присутствовал Всеволод Александрович Рождественский; он, наверное, рассказывал Вам подробности встреч со своим мэтром, — то же расскажу и я (с некоторыми искажениями подробностей — в сторону ИСТИНЫ: В.А.Р. мастер врать, когда вспоминает...). Я в состоянии в ближайшее время написать для Вас страниц 7–8 моих воспоминаний. Предупреждаю, — они чисто восторженны, буквальны (глядел в рот мэтру, а придя домой — слово в слово записывал сказанное им), в них нет ничего значительного: болтовня, несколько “литературных вопросов”, как теперь

принято говорить (всё вопросы и вопросы!)). Сопоставление ряда мемуарных и полумемуарных опытов Л. Борисова заставляет думать, что сказанное о Вс. Рождественском можно было отнести и к нему.

- 56 Впервые этот рассказ напечатан в журнале «Резец» (1939. № 7. С. 7–10), затем вошел в сборник Л. Борисова «Незакатное солнце» (Л., 1940), перепечатан в кн.: *Борисов Л. Избранное*. Л., 1957. С. 217–228.
- 57 *Павлович Н.* Воспоминания об Александре Блоке // *Новый мир*. 1946. № 7–8. С. 122. По поводу этой публикации О.Н. Арбенина записала 30 марта 1947 года: «У Над<ежды> Павлович в стихах весьма нелестные строчки о Гумилеве... но, как ни странно, напечатано все же — ведь его фамилия одна должна нагонять страх» (*Гильдебрандт-Арбенина О.* Девочка, катящая серсо...: мемуарные записи, дневники. М., 2007. С. 226).
- 58 РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 443. Лл. 4, 10.
- 59 *Timenchik R.* Сергей Спасский и Ахматова // *Toronto Slavic Quarterly*. Vol. 50. 2014. P. 125–126.
- 60 Научная библиотека Тартуского университета. F. 135.
- 61 *Timenchik R.* Сергей Спасский и Ахматова. P. 125–126.
- 62 См.: *Королева Н.В.* Анна Ахматова. «Души высокая свобода...»: Творческий путь поэта. М., 2016. С. 328.
- 63 *Timenchik R.* Сергей Спасский и Ахматова. P. 109.
- 64 *Королева Н.В.* Анна Ахматова. «Души высокая свобода...». С. 331–332.
- 65 См.: *Тименчик Р.* К анализу «Поэмы без героя. 3» // «Я всем прощение дарю...»: Ахматовский сборник. СПб., 2006. С. 457–459.
- 66 Комм. Б.Я. Фрезинского в кн.: *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. Т. 2. М., 1990. С. 424.
- 67 Впервые напечатано нами: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1984. № 1. С. 71 (с купюрой по условиям времени: опущены слова «сталинская охранка»). Последним по времени сочинением на эту тему стал эпилог в кн.: *Степанов Е.Е.* Поэт на войне: Николай Гумилев, 1914–1918. М., 2014. С. 640–672.
- 68 См. подробнее: *Тименчик Р.* К анализу «Поэмы без героя». 2 // Материалы XXV научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1970. С. 42–45; *Тименчик Р.* Несколько примечаний к статье Т. Цивьян // Труды по знаковым системам. Вып. 5 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 284). Тарту, 1971. С. 278–280.

- 69 Фраза «Я к смерти готов» (Тименчик Р, Топоров В, Цивьян Т. Ахматова и Кузмин // Russian Literature. Vol. 6, Issue 3. 1978. July. P. 300).
- 70 Сюда относится, например, и отмеченная Т.В. Цивьян реминисценция в поле персонажа «Демон-Блок»: «С мертвым сердцем и мертвым взором / Он ли встретился с Командором» — ср. гумилевское: С тусклым взором, с мертвым сердцем в море броситься со скалы, / В час, когда, как знамя, в небе дымно-розовая заря...» (Цивьян Т. Заметки к дешифровке «Поэмы без героя» // Труды по знаковым системам. Вып. 5 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 284). Тарту, 1971. С. 270).
- 71 *Тынянов Ю.Н.* Поэтика; История литературы; Кино / Изд. подг. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. М., 1977. С. 180. См. также: «Поиски “эстетического камня” привели искусство в дебри субъективизма. Как объединить теперь единым императивом стихи Гумилева и Хлебникова?» (Крейслер Дм. Принципы новой музыки // Жизнь искусства. 1923. № 37. С. 13). Одно из проявлений посмертной борьбы — стихотворение Тихона Чурилина 1935 года «Песнь о Велемире <так>»:

    Был человек, в мире Велемир,  
    В схиме Предземшар с правом всепожара.  
    И над ним смеялись Осип Эмильич,  
    Николай Степаныч и прочая шмара.

(Стихи Тихона Чурилина, М., 1940. С. 16). Ранее он писал: «Н. Гумилев, начавший типично как символист, ученик Брюсова, отказавшийся от символизма в 1910 году, акмеистически выявил себя грубоватой опрошенностью, авантюризмом “джек-лондонского” типа в темах своих стихов — но привлек сюда экзотику Африки, Абиссинии, Китая или героическую романтику давно прошедших времен и по существу своему остался тем же символистом. Окончил упадочническим эстетизмом; в социальной борьбе участвовал контрреволюционным актом; умер в 1921 году» (Чурилин Т. Будем изучать русскую художественную литературу. Дооктябрьский период // На вахте (Грозный). 1924. № 3. С. 13). В свое время книгу Т. Чурилина «Весна после смерти» (1915) Гумилев оценил весьма уважительно (Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 193–194), и автор писал в ответ: «Много было рецензий, почти все “доброкачественные”, иногда пышно-дифирамбические, но слово сказали Вы один» (Чурилин Т.В. Встречи на моей дороге / Вступит. ст., публ. и коммент. Н. Яковлевой // Лица: Биографический аль-

- манах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 421). О восхищении Гумилева чурилинскими стихами вспоминал Георгий Иванов (*Ivanov G., Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln-Weimar-Wien, 1994. S. 3*).
- 72 Автор откликается здесь на статью Ольги Анстей «Златоустая Анна всяя Руси» (Новый журнал. 1977. № 127), где высказано предположение, что «существо странного нрава» подразумевает Максимилиана Волошина. А М. Волин в связи со строкой «Вековой собеседник Луны» вспомнил слова знакомого ему по Шанхаю Виктора Горенко: «Но он много рассказывал о Гумилеве, которого очень любил, о своей сестре и ее жизни с Гумилевым. "Придешь бывало к ним, а Аня сидит пригорюнившись... А где Николай Степанович? — Спит, — отвечает сестра, — вчера опять всю ночь с луной беседовал"... Жизнь Ахматовой с Гумилевым не была счастливой. Достаточно вспомнить, что в 1910 году, в год их женитьбы, Гумилев, оставив жену, едет в длительное путешествие в Абиссинию».
- 73 *Волин М.* Об одной маске Ахматовой // Новое русское слово. 1977. 16 октября.
- 74 *Островская С.К.* Дневник / Вступит. статья Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и комм. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. М., 2014. С. 528, 530.
- 75 М. Козырева писала о Льве Гумилеве: «Он был сыном человека, которого любила моя мать» (Вспоминая Л.Н. Гумилева. СПб., 2003. С. 155), — речь идет о М.М. Тумповской (см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 447–465).
- 76 *Ефимов Е.* «Большая ответственность: не создавать легенд»: К.И. Чуковский и Л.К. Чуковская о книге Е. Добиная «Поэзия Анны Ахматовой» // Вопросы литературы. 2001. № 6. С. 277.
- 77 Рецензия сохранилась в бумагах А.А. Прокофьева. См. подробнее: *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // From Medieval Russian Culture to Modernism: Studies in Honor of Ronald Vroon. Frankfurt/M, 2012. С. 275–286. Александр Прокофьев жаловался на заседании правления Ленинградского отделения ССП 19 августа 1946 года: «Разве не является чувством потери ответственности многословная рецензия члена правления Ефима Добиная о поэме Ахматовой "Поэма без героя", где он рекомендует ее к изданию, поэму, зашифрованную самой поэтессой. Она сама здесь говорит — не знаю, почему (думаю, что здесь можно думать об издеватель-



стве над нами): “признаю — я применяла симпатические чернила, я зеркальным письмом писала”. Даже не надо через лупу это рассматривать. И в предисловии было сказано, что “я ни одного слова не изменю”, затем есть французский эпиграф “все правы”, все это настораживало рецензентов, но член правления, коммунист Добин на 5-ти страницах горячо рекомендовал к изданию эту поэму...» (Хроника того августа // Петербургский журнал. 1993. № 1–2. С. 40). И в Москве в те же ждановские месяцы повторил: «...поэтессы, у которой в силу разных причин надежд на перестройку и поворот к актуальным темам нет. В своей последней поэме с названием “Поэма без героя” у нее есть, например, такие строчки:

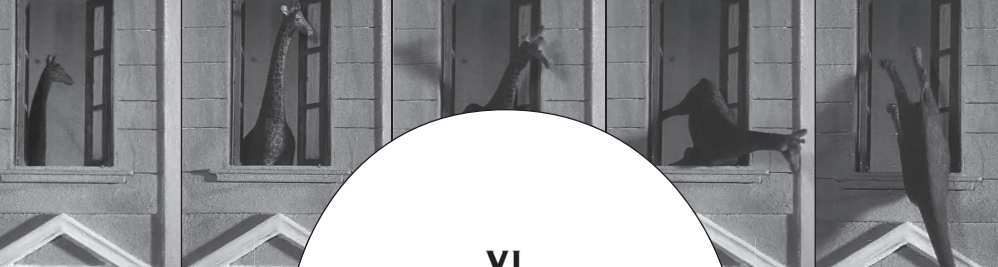
Но признаюсь, я применила

Симпатические чернила.

Я зеркальным пером <так> пишу

И в то же время наш критик Ефим Добин рекомендует эту поэму печатать без всяких изъятий в советском издательстве. Это даже не политическая, а физическая слепота» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 771. Л. 98).

- 78 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М, 1997. С. 559, 573.



VI

**ПО ОБЕ СТОРОНЫ  
ЛИНИИ ФРОНТА**



L'ÂGE D'OR (КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА)

**С** началом войны ленинградцы стали вспоминать стихи Гумилева как эпиграфы к свалившимся на них испытаниям.

7 июля 1941 года Софья Островская фиксирует в дневнике:

Я сама себя мобилизовала и сама себя еще раз назвала солдатом. Забавный солдат, считающий своим достоинством сделанную безмятежность духа и несделанное философское отношение к возможным опасностям.

Когда жужжат аэропланы и начинается стрельба, солдат этот искренно восхищается искусством и читает вполголоса Гумилева и Р.-М. Рильке, Блока и свои собственные стихи.

И, думая иногда о том, что и ему, может быть, как и другим, суждена гибель, жалеет о немногом: о стихах, которые он мог бы написать; о повестях, которые он мог бы создать; о новых созвездиях, которые он мог бы увидеть; о далеких землях и о чужих морях, на которые он мог бы взглянуть, и о Синей Птице, к которой — может быть — ему было бы дано прикоснуться еще раз.

И в ночь на 29 ноября 1941-го:

Теперь о жизни дальней: тревоги дневные — часов по пять подряд (сегодня: от 12 до 17), с эффектными бомбардировками. Неизвестно, почему сидим дома и не ходим в убежище, хотя разницы между дневной опасностью и ночной опасностью нет никакой.

При свете дня, однако, большая опасность никогда не кажется большой и страх всегда уменьшается. Таковы древние законы человеческой психики.

Голод как голод. Появляются заменители (мы — тоже Европа!). Вместо хлопкового масла сегодня давали повидло (мы не получили). Вместо мяса дают рыбные консервы (мы не получали

и не получим — в очередь нужно становиться с 5 утра, и то уже будешь восьмисотым или тысячным! Если так будет дальше, мне придется либо заниматься такими очередями и потом умереть от легочного заболевания, либо не заниматься такими очередями и потом прозаически умереть от голода!).

Не спасешься от доли кровавой,  
 Что земным предназначила твердь.  
 Но молчи: несравненное право  
 Самому выбирать свою смерть! (Н. Гумилев)

Для осуществления возможности этого несравненного права я берегу очень сильные снотворные. Дозы у меня серьезные, и я не нарушаю их во имя будущего даже при моей теперешней бессоннице, физически изнуряющей меня гораздо больше, чем когда бы то ни было. Мой добровольный уход из жизни может быть вызван только двумя причинами:

1) если я решу добровольно ускорить медленное умирание от голода,

2) если я окажусь в заваленном убежище и пойму, что раскопками заниматься больше не будут.

Увы, увы, дорогой читатель, от несчастной любви я жизнь самоубийством не покончу.

О голоде дальше: за три большие (компотные) серебряные ложки я получила три кило картофеля при обещании, что добавят еще. Когда и сколько — неизвестно.

В городе едят кошек. Это не фраза и не слух<sup>1</sup>.

Ольга Берггольц записывает 31 мая 1942-го:

Вчера было совещание писателей армии, города и флота.

Объективно — грандиозно. В блокированном городе художники собираются, как бойцы, обсудить свой опыт, наметить дальнейшие пути борьбы славнейшим людским оружием — словом.

Солнце останавливали словом,  
 Словом разрушали города.

А субъективно — плохо прошло. Неделовито, неподъемно. Эти тупые «руководители» — Маханов, Фомиченко, — чем они

могут зажечь? Да и личный писательский состав — в основном — сер и лениво-мыслящ.

Я тоже выступала плохо, почти без подъема, потому что в середине совещания совершенно очевидна сделалась его никчемность. Я вообще не люблю этого организованного лицемерия, хотя на этот раз его было значительно меньше, чем в <нрзб> время<sup>2</sup>.

Литературные вкусы Зеленого формировали стихи матери и ее уникальная памятливость на русскую поэзию XX в. В «военный год» был «материнским словом явлен клад»: «В кромешном мраке нам звучало “Слово” / И мудрые поэмы Гумилева»<sup>3</sup>.

Во время войны Гумилева читали в самых разных концах страны:

В эвакуации в Горьковской области Вениамин Айзенштадт с удивлением обнаружил в местной библиотеке книги поэтов Серебряного века — от старших символистов до Гумилева и Мандельштама, книги, которые по ошибке не были уничтожены. Все свое время он переписывал каллиграфическим почерком эти стихи»<sup>4</sup>.

15 ноября 1942 года в Москве демобилизованный с фронта Генрих Горчаков записывает:

За последнее время до черта читаю книг — как некогда, лет десять назад. Прочел книги самые разные. И Гумилев, и Кронин, и Стендаль...<sup>5</sup>

Астрофизик И. Шкловский вспоминал:

Еще с военных времен я полюбил замечательного поэта, так страшно погибшего в застенках Петроградского Большого Дома, главу российского акмеизма Николая Степановича Гумилева<sup>6</sup>.

Врач Г.М. Сагалов переименовал Э. Багрицкого:

А в походной сумке спички и табак,  
Гумилев, Ахматова, Пастернак<sup>7</sup>. [Письмо к Ахматовой]

Но значительно лучше документирована читательская рецепция Гумилева по другую сторону линии фронта, где в Русской освободительной армии «самыми любимыми поэтами были Киплинг и Гумилев»<sup>8</sup>. Он становится героем русской прессы на оккупированных землях. Здесь о нем пишет будущий соиздатель четырехтомного американского собрания сочинений Борис Филистинский-Филиппов, с минимальным, пожалуй, по мерке оккупационной прессы расизмом («большевики — во главе с юркой, суетливой фигуркой по-барски пришепетывающего Ленина и мефистофельской бородкой Лейбы Троцкого»), но приперчивая идеологией и эстетикой национал-социализма:

Но мир, в котором «не живут цветы», который утопает в торгашестве и ростовщичестве, — измельчавший мир плутократизма... Нет, все заел «американизм» жизни. Даже девушка, прекрасная девушка

Выходит замуж за американца...

Зачем Колумб Америку открыл?

воскликает поэт. <...> Наступают дни, когда возрождающаяся Новая Россия должна вспомнить того, кто в гнилой, отравленной ажиотажем атмосфере предвоенных спекуляций воспевал голубую лилию смелых, решительных открывателей новых путей; кто звал свою родину и все европейское человечество, всех потомков «из расы завоевателей смелых, вносящих над Северным морем широкий крашенный парус» — выйти на новую дорогу и построить новую, могучую Европу<sup>9</sup>.

Этот список украшает имя выдающегося философа Сергея Аскольдова (Алексеева). Встречавшийся с ним в годы войны Лоллий Львов писал Глебу Струве 21 октября 1947 года:

Он был страстным поклонником Гумилева. Читал о нем лекции и напечатал статью о нем и его «Гондле».

В Одессе возникает идея издать сборник Гумилева согласно пожеланиям читателей:

В небольшом книжном магазине «Культура», помещающемся в доме № 3 по Греческой площади, всегда много покупателей. В большинстве это молодежь, интересующаяся стихами Есенина, Гумилева и других авторов, бывших в советские годы под запретом<sup>10</sup>.

Шестидесятистраничный сборник в пятистах экземплярах, изданный неким Вячеславом Вячеславовичем Радоминским, не расходился, и для исправления своего финансового состояния Радоминский решил на издание еще и сборника стихов Есенина<sup>11</sup>. Сборник снабжен анонимным предисловием «О доблести, о подвигах о славе»<sup>12</sup>:

Сейчас, когда все подлинно русские люди и по ту и по эту сторону фронта с нетерпением ждут гибели ненавистного большевизма, когда приходит время решительной борьбы за Новую Россию, стихи Николая Гумилева звучат для нас с новой силой.

Нам дорога мужественная поступь его зрелого стиха, смелое разрешение лирического сюжета и прежде всего его постоянный страстный призыв к дерзновенному героизму:

Как трубы победы, вещает Георгий:

— «От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,  
Но сильного слезы пред Богом неправы,  
И Бог не слышал твоего отреченья,  
Ты встанешь завтра, и встанешь для славы». —

Постоянное общение со смертью закаляет воина, радует и манит его своей опасной игрой:

Смерть пришла, и предложил ей воин  
Поиграть в изломанные кости.

И вместе с поэтом не хочется верить, что есть еще маленькие и ничтожные душонки, предпочитающие отсиживаться где-то в стороне от великих наших дней.

Неужель хоть одна есть крыса  
В грязной кухне иль червь в норе,  
Хоть один беззубый и лысый



И помешанный на добре,  
Что не слышат песен Уллиса,  
Призывающего к игре?<sup>13</sup>

Николай Степанович Гумилев родился в 1885 году в Кронштадте. Сын морского врача. Поэт. Основатель литературной группы акмеистов. По окончании политехнического института много путешествовал по всему земному шару. В 1917 году был адъютантом при командующем русскими войсками во Франции. В 1921 году арестован в Ленинграде и вместе с членами лево-эсеровской антибольшевистской группы профессора Таганцева 1 сентября 1921 года расстрелян большевиками за участие в кронштадтском мятеже.

Советские читатели мало знали поэзию Николая Гумилева. Его стихи не издавались в Советском Союзе и все же русская молодежь разыскивала стихи Гумилева. Платили букинистам от 50 до 100 рублей за томик. <...> Поэзия Гумилева поднимала и звала в неведомые дали, к подвигам и славе.

Многих Гумилев очаровывал стихами о кочевой жизни в джунглях Африки. Он охотился на львов в Абиссинии, дрессировал крокодилов в Америке. Он сочетал в своих стихах женственную нежность подлинного лирика с суровостью джеклондонского Вульф-Ларсена<sup>14</sup>.

Андрей Дмитриевич Баясный, до войны сотрудник кафедры украинской литературы в Одесском Университете (по сведениям покойного одесского краеведа С.З. Лущика, закончил с жизнью после войны в Румынии) написал рецензию на это издание (см. Приложения).

Ряд фактов, связанных с наследием Гумилева в годы войны, нуждается в уточнении, — как утверждение о том, что в Германии с началом войны «была запрещена русская музыка (например, П.И. Чайковский), появились списки запрещенной русской «великодержавной» литературы (в том числе и стихи Гумилева), эти книги были изъяты из библиотек»<sup>15</sup>. Некоторые сотрудники поднацистской печати видели помеху популяризации Гумилева в происках советских агентов:

Рождественские и пасхальные статьи в «Заре» и «Добровольце» давались полностью в духе антирелигиозного «учебника» Ем. Ярославского и ничего общего с христианством не имели. В статьях о русской литературе трактовались как национальные таланты коммунистические поэты и писатели, как напр. Маяковский, статью о котором давал сам Зыков. Статей по литературе противоположного значения ни в «Заре», ни в «Добровольце» не было. Они не допускались туда. Как напр. статьи двух крупных журналистов о Гумилеве и Волошине были им возвращены со ссылкой на запрет со стороны немцев. Это было ложью, позже обе статьи были беспрепятственно напечатаны в зоне оккупации, в газ. «Голос Крыма». Мой вывод: Зыков умело и талантливо внедрял в сознание бойцов РОА формулу «советское есть русское и иного русского нет», т.е. дублировал советскую пропаганду того времени<sup>16</sup>.

Из попавших в немецкий плен или вывезенных в Германию вышли основные пропагандисты Гумилева т.н. второй волны эмиграции: уже действовавший в этом качестве в СССР, но скрывавший свою советскую биографию Георгий Эристов<sup>17</sup>, земляк Гумилева по Царскому Селу Алексей Плюшков-Угрюмов<sup>18</sup>, А. Альтаментов-Касим<sup>19</sup>, и самый долгожитель из них — В. Рудинский (Д.Ф. Петров), так откликнувшийся на статью за подписью «Г. Варягин» в 24 номере журнала «Вече»:

А хуже всего — умолчание при разборе откликов на творчество Гумилева за рубежом, о 2-й эмиграции; для г-на Варягина есть только 1-я и 3-я. Между тем, то издание Гумилева, которое было осуществлено «в трудные послевоенные годы», было осуществлено новым эмигрантом, В. Завалишиным. Новые эмигранты Д. Кленовский и Н. Моршен посвятили ему прекрасные стихи, а лучший из поэтов нашей волны, И. Елагин — чудесное четверостишие в стихотворении «Авторские права»<sup>20</sup>. Я бы мог, пожалуй, добавить, что и сам, moi qui vous parle опубликовал в разное время о Гумилеве с десятков статей в «Русской жизни», в «Нашей стране», в «Новом русском слове» и даже в «Новом журнале», чем заинтересовал покойного литературоведа Г. Струве, с которым завязалась у меня переписка. Но уж ясно, что я — слишком

малая величина, чтобы г-н Варягин (чье настоящее имя невольно угадывается) удостоил меня своим вниманием. В целом же, несомненно, именно в нашей, 2-й эмиграции появился культ Гумилева, любовь к нему и понимание его. Затусшевывать сие — глубоко фальшивая позиция. И зачем это делается? Кому оно нужно?<sup>21</sup>

О том же вспоминал НТСовский руководитель:

В так называемых «Ди-Пи-лагерях», в которых формировалась «вторая эмиграция», именно Гумилева перепечатывали своими силами, наряду с букварями и учебниками по вождению и уходу за автомобилями. Гумилев был поэтическим кумиром не только для выросшей за границей молодежи из «первой» или «старой» эмиграции. Он стал кумиром и для многих тогда еще «новых» эмигрантов. Стихи Гумилева выучивали наизусть, им подражали в плохих и неплохих юношеских и неюношеских стихотворениях<sup>22</sup>.

К этой же волне принадлежал историк Николай Ульянов, автор содержательной статьи о Гумилеве (см. Приложения). Его позиция была полемичной по отношению к эмигрантскому хорошему тону:

У известной части эмиграции есть своя политграмма, не менее плоская и не менее пошлая, чем политграмма советская, только с другим знаком. Есть и свой «социальный заказ». Не этим ли объяснить постепенное обволакивание имени поэта грязноватой оболочкой дешевого политиканства? Он — и великий патриот, и рыцарь монархии, и чуть ли не столп православия, и певец подлинной России, не в пример большевизантствующему Блоку. И все потому, что кончил дни в чекистском застенке — факт, по-видимому, глубоко посторонний его биографии и особенно его поэзии<sup>23</sup>.

А по советскую сторону линии фронта к концу войны стали усиливаться порывы к преодолению политических и эстетических табу, к ревизии советского канона 1930-х. В конце

декабря 1943-го В.П. Друзин, некогда призывавший учиться у акмеистов<sup>24</sup>, но потом исправившийся, писал А. Дымшицу:

Кажется, теперь мы с Вами сойдемся в некоторых оценках. Я, как и Вы, признаю значение творчества Демьяна Бедного, Надсона в тех пределах, о которых Вы написали столь удачно в своем письме. Больше того — хорошие стихи есть и у Ивана Захаровича Сурикова. С другой стороны, пора воздать должное Гумилеву, Ахматовой, Хлебникову и еще некоторым, в свое время охаянным в качестве «декадентов». Все хорошие русские поэты нужны нам для будущего. На понятии «декадентства» усиленно спекулировали те, кто не имел вкуса и не различал плохие стихи от хороших. Огульное зачисление в «декаденты» таким «критикам» помогало уваливать от задач подлинного анализа творчества крупных поэтов наших начала XX века. Вы предвидите в будущем литературоведческие бои. Но за что они должны идти? По-моему, за честное, глубокое, всестороннее изучение нашей замечательной русской литературы. И здесь будет сильнее тот, кто лучше сумеет показать творческие достижения наших поэтов, прозаиков, драматургов. Что здесь может показать Плоткин? Он сейчас на безрыбье рак, ну а когда вернутся с фронта люди — ему же придется потесниться<sup>25</sup>.

В 1943-м только что освободившийся политзаключенный Игорь Поступальский считает возможным поставить в рукописи, которая должна заработать ему право на возвращение в советскую литературу, стихотворное рассуждение о Гумилеве:

У меня задолженность пред миром,  
Мне дано работы на сто лет.  
И открыты книги Гумилева  
Посреди моих бумаг и карт...  
У поэта много есть чужого,  
Но в ином он близок мне, как брат.  
Беспокойной жаждою влекомый,  
Я люблю стихов его чекан.  
Ничего, что мало мне знакомы

Горы, степи, дебри, океан!  
Но все чаще, чаще и упорней  
Вспоминаю я конец его:  
Как смотрел он, воин непокорный,  
На врага прямого своего!  
Был он смел и был неукротим он...  
Что ж кастраты-критики молчат  
Об его пути неумолимом  
На последний гибельный парад?  
Упаду, смертельно затоскую,  
Прошлое увижу наяву...  
Но на этом линию двойную  
Строго и ревниво оборву.  
Я уже свободен от приязни  
Ко всему, что ржаво и старо...  
Отчего же этой темной казни  
Я готов завидовать порой?  
Что меня избавит от наследства  
Класса, породившего меня?  
Слишком трудно встретить сердцеведа,  
Кто бы мог без слов тебя понять!..<sup>26</sup>

Можно предположить, что биография Гумилева, боевого офицера и русского патриота, давала основания для некоторых надежд на амнистирование его военной лирики в годы приближающейся победы в Отечественной войне. Наличие таких надежд и скоро выяснившуюся их беспочвенность демонстрирует следующий эпизод.

Всеволод Рождественский в 1944-м пишет воспоминания, несколько удивляющие слушателей. Л.В. Шапорина записала 27 декабря 1944 года о посещении Дома Писателей:

Вс. Рождественский читал свои стихи и отрывки из «Повести моей жизни». Стихи у него прекрасные, и проза очень хороша. Меня удивила его наблюдательность, его внимательное отношение к людям. Критики нашли, что у него недостаточно критическое отношение к явлениям. По-моему, в этом благородном тоне, таком человеческом, главная прелесть этих, таких не

советско-подхалимных записок. Он много говорит о Гумилеве, не лягая его, как, вероятно, нужно бы истинно советскому гражданину<sup>27</sup>.

Незадолго до этого чтения, 8 декабря 1944 года, Вс. Рождественский писал С.К. Островской для передачи Ахматовой, что в его мемуарах «нет ни единой пугающей ее вещи? Ни “детства” А.А., ни “цветов в царскосельском саду”, «нет и ни единого слова об ее отношениях с Ник.Ст., очень сложных, запутанных и, по правде говоря, неясных для меня самого»:

Ее имя проходит мельком, только как упоминание, в двух местах повествования. При описании одного поэтического вечера в Университете, еще во времена Первой германской войны, где присутствовали все представители тогдашнего поэтического Олимпа, говорится: не было только одной Ахматовой, чей портрет, выставленный недавно, и т.д. В другой раз очень силуэтно, и тоже только как беглое упоминание, проходит на похоронах А.А. Блока. <...> А о Н.С. речь идет только как о поэте (уже упомянутый университетский вечер, несколько бесед с Блоком, которых я был свидетелем<sup>28</sup>, — и все)<sup>29</sup>.

Затем Рождественский сдал рукопись в издательство «Советский писатель». Рецензентами были В.В. Ермилов и Е.Ф. Книпович. Первый написал 25 июня 1945 года:

Огромное, доминирующее место в этой первой половине книжки занимает О. Мандельштам, — первый из учителей автора, сыгравший, по словам автора, решающую роль в его литературной судьбе, и Гумилев, для портрета которого автор не жалеет восторженных слов. Думается, что такой акцент на этих двух фигурах представляет собою политическую бестактность: вряд ли это замечание нуждается в аргументации. Да и кроме того, столь подробный рассказ об этих фигурах и их окружении не может представить интерес для сколько-нибудь широких читательских кругов и может рассчитывать на отклик у узкой группы литераторов, которым, впрочем, все сказанное автором и без того известно.

И о главе о Блоке:

Кроме того, опять-таки в этом очерке невероятно большую роль играет Гумилев, так что правильнее было бы называть очерк «Блок и Гумилев». Понятна роль Гумилева в литературной судьбе автора, но это не может оправдать такую гипертрофию Гумилева в книжке.

Е.Ф. Книпович, памятная по дружбе с Блоком<sup>30</sup>, была еще резче:

А сейчас, не в обиду будь сказано, та картина формирования советской литературы, которая объективно возникает на страницах книги, до ужаса похожа на аналогичную картину, нарисованную в книгах о советской литературе профессора Боура<sup>31</sup> и прочих просвещенных американцев. Почему им хочется сделать нашу литературу «поаполитичней» и «побеспартийней», я понимаю. А вот зачем это надо автору — я не знаю.

Отсутствие исторической перспективы заставляет В. Рождественского без конца возиться со всякой мелкой дрянью. Какое мне, советскому читателю, дело до Оцупа, до Георгия Иванова, Георгия Адамовича, Ирины Одоевцевой, Валериана Чудовского и прочих мелких бесов всех мастей, завершивших свой путь либо в эмиграции, либо за закрытой дверью пропыленных интеллигентских квартир? Но еще горше читать те страницы, которые посвящены Гумилеву.

У поэзии Гумилева и в наши дни есть довольно много поклонников. Мне кажется, что масштабы и значение поэзии Гумилева многими преувеличиваются. Но это — особое дело. Здесь, на почве истории литературы, можно спорить. Но как человек, личность, гражданин Гумилев, по-моему, не имеет права присутствовать в книге советского автора. По той простой причине, что он — белогвардеец, враг, контрреволюционер, казненный советской властью. И уж тем паче, в дни отечественной войны не надо было пытаться «перекинуть эмоциональный мостик» между патриотизмом этого «рейхсверовца» и нашим советским патриотизмом, между его мечтой о «войне до победного конца» и нашей победой.

*Это был Николай Степанович Гумилев. Его тотчас же провели к столу президиума. Он сел с краю, положив на стол защитную военную фуражку. Когда подошла его очередь, Гумилев встал по-военному прямо, касаясь узкими необычайно красивыми пальцами самого краешка стола и до конца не изменил позы. Ровный, ничем не окрашенный голос, глухо отзвучивал под старыми сводами. Невнятное, чуть шепелявящее произношение заставило предельно напрячь слух. Но не прошло и двух минут, как властная категорическая интонация сковала общее внимание. Строфа ложилась точно и уверенно. Гумилев, читал, ничем не выдавая волнения, даже несколько лениво и снисходительно; только где-то там, в глубине его притупленного взгляда, порою возникала и таяла насмешливая острая искра. Некрасивое, тронутое фронтовым загаром лицо озарялось тогда улыбкой простоты, молодости и силы. И это были уже не комнаты, а полные ветрового беспокойства слова:*

*Та страна, что могла быть раем,  
стала логовищем огня.  
мы четвертый день наступаем,  
мы не ели четыре дня.*

*.....  
Словно молоты громовые  
или воды гневных морей,  
золотое сердце России  
мерно бьется в груди моей.*

*И так сладко рядить Победу,  
словно девушку, в жемчуга,  
проходя по дымному следу  
отступающего врага.*

В. Рождественский заменил точками то четверостишие из стихотворения Гумилева, в котором содержится поминовение Боженьки<sup>32</sup>. Это — жаль. Картина была бы еще более яркой. Впрочем, на мой взгляд, хорошо и так. <...> Я думаю, что в виду всего вышеизложенного, мемуары В.Рождественского надо считать несостоявшимися<sup>33</sup>.



Приводимый Книпович эпизод из мемуаров Вс. Рождественского не увидел света никогда. А любителей акмеизма в следующем году ждали новые сенсации.

- 1 *Островская С.К.* Дневник / Вступит. ст. Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и комм. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. М., 2014. С. 247–248, 266–267; этот же финал стихотворения «Выбор» звучал ей за двенадцать лет до блокады. «Беспрерывно и неотступно в ДПЗ в марте 1929 года, камера № 32» (Там же. С. 614).
- 2 Ольга: Запретный дневник. Дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы О. Берггольц. СПб., 2010. С. 111; в бумагах О.Ф. Берггольц сохранились переписанные печатными буквами «Слово», «Шестое чувство», «Ольга», «Память» и другие стихи Гумилева, целиком «К Синей звезде» (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед.хр. 72); разумеется, стихи Гумилева могли подвернуться на язык и по менее экзистенциальным поводам, как, скажем в 1943-м по случаю награждения орденом В. Евгеньева-Максимова: «До сих пор у нас ордена получали главным образом три категории: охранители (военные), производители (рабочие и ученые технического свойства) и развлекатели (артистки и артисты). То, что теперь вспомнили дисциплину, которую “ни съесть, ни выпить, ни поцеловать”, — я считаю прямо новым этапом нашего культурного развития!» (*Тимофеев Л.* Дневник военных лет // Публикация О.Л. Тимофеевой // Знамя. 2003. № 12. С. 157).
- 3 *Горелов А.* Зеленой Кирилл Владимирович (1935–2004) // Литературный Санкт-Петербург. XX век: Энциклопедический словарь. В 3 тт. Т. 2. СПб., 2015. С. 81.
- 4 *Пробштейн Я.* Блаженный // Новый журнал. 2005. № 240. С. 194.
- 5 *Горчаков Г.* Судьбой наложенные цепи: От Колымы до Иерусалима. Иерусалим, 1997. С. 180; «Горчаков» — псевдоним Генриха Натановича Эльштейна (1919–2016), литературоведа, в 1944 по 1951 годы в заключении, затем — ссыльнопоселенец.
- 6 *Шкловский И.* Эшелон: невыдуманные рассказы. М., 1991. С. 120.
- 7 Письмо врача Г.М. Сагалова к Ахматовой от 4 марта 1965 года (ОР РНБ. Ф. 1073. № 985). Г. Сагалов вытеснил из оригинала Тихонова с Сельвинским. Он сообщал также: «Более четверти века назад я был у Вас в гостях на Фонтанке, в Шереметьевском

- <так>. Меня привела к вам женщина по имени Паллада. Еще два раза я приходил в Ваш дом к Ник. Ник. Пунину». Примерно в те же дни он писал в редакцию «Нового мира» по поводу публикации Пастернака в журнале: «Конечно, Пастернак украшает номер! Обедняет, что нет ни одной иллюстрации. А можно было дать к семидесятипятилетию со дня рождения и пятилетию со дня смерти (30 мая) рисунок или фото с изображением поэта (но это мое личное мнение)» (РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 10. Ед.хр. 251. Л. 45).
- 8 *Даров А.* Приблудные сыны // *Мосты.* 1968. № 13–14. С. 84; ср. рассказ о журналисте из РОА Юрии Гаркуше, носившем с собой книжечку Гумилева (*Польская Е.* Это мы, Господи, пред Тобю. Невинномысск, 1998. С. 28).
  - 9 *Филистинский Б.* Поэты — жертвы большевизма // *За Родину* (Псков). 1943. 2 ноября; «не живут цветы» — из ст-ния «У меня не живут цветы...»; «из расы завоевателей» — из ст-ния «На Северном море».
  - 10 *У книжного прилавка* // *Молва* (Одесса). 1943. 7 марта.
  - 11 *Смирнов В.* Реквием XX века. Ч. I. Одесса, 2001. С. 214.
  - 12 Текст этого предисловия совпадает с публикациями: *Шматов Г.* О доблестях, о подвигах, о славе. Ко дню смерти Н. Гумилева // *Заря* (Берлин). 1943. 1 сентября; *Шматов Г.* Ко дню смерти Николая Гумилева // *Буг.* 1943. 17 сентября.
  - 13 Нельзя не отметить, что это цитата из стихотворения «Снова море», написанного именно в Одессе в 1913-м (*Тименчик Р.Д.* Подземные классики. М., 2017. С. 488–489).
  - 14 Почти во всех встречающихся ныне экземплярах этого издания предисловие вырезано, см.: *Голубовский Е.* Загадки «одесского» Николая Гумилева // *Южное сияние* (Одесса). 2013. № 3. С. 196–197; *Голубовский Е.* Глядя с Большой Арнаутской. Одесса, 2016. С. 151–155.
  - 15 *Рар Л., Оболенский В.* Ранние годы (1924–1948): Очерк истории Народно-Трудового Союза. М., 2003. С. 133. Ср. также: «Во время германской оккупации в одном свободном от большевиков городе группа местных поэтов задумала издать избранные стихи Гумилева. По отдельным кое у кого сохранившимся книгам и спискам составили сборник. Книга была уже набрана, но в последнюю минуту все погубил какой-то тупоголовый зондерфюрер, которого случайно обошли, исхлопатывая разрешение. Он заартачился и наложил свое вето. Да вдобавок еще, просматривая корректуру, наткнулся на стихи о Юдифи и Олоферне.

- (Ужас! Прославление еврейства!), а дальше — на стихи о масонах (второй жупел для нацистов!) — чуть даже дела не пришел инициаторам издания!» (*Кленовский [Крачковский] Д.* Казненные молчанием (О судьбе некоторых русских поэтов) // *Грани.* 1954. № 23. С. 109).
- 16 *Алымов А. [Ширяев Б.]*. Тайна майора Зыкова // *Часовой.* 1950. № 10. С. 20.
- 17 См., напр.: «Гоголь так определяет назначение поэта: “Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще”. Поэтому “чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели бога, дерзавшие произносить имя его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок бога человеку”. Почти сто лет спустя другой великий истинно русский человек выразил эту истину бессмертными стихами (Н. Гумилев. “Слово”). <...> В творчестве для русского человека открывается ослепительный свет, побеждающий мрак душевной ночи. “Стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека”. То самое шестое чувство, о котором Н. Гумилев незадолго до своей трагической смерти писал» (*Барятинский Г. [Сидамонов-Эристов Г.]*. Осмеянный пророк // *Современник (Симферополь)*. 1943. Август. С. 24–25).
- 18 В бумагах А. Плюшкова в Русском архиве в Лидсе хранится изготовленный в ди-пийском лагере на множительном аппарате сборничек «Стихотворения Николая Гумилева» на 32 страницах (и такого же формата «Стихотворения Сергея Есенина»).
- 19 «Касим» — псевдоним Андрея Ивановича Альтаментова (1893–1956). См.: *Касим*. Памяти поэта // *На переломе (Мюнхен)*. 1946. № 8. С. 26–27.
- 20 Стихотворение Ивана Елагина:
- Я сегодня прочитал за завтраком:  
«Все права сохранены за автором».  
Я в отместку тоже буду щедрым —  
Все права сохранены за ветром,  
За звездой, за Ноевым ковчегом,  
За дождем, за прошлогодним снегом.  
Автор с общественным весом,  
Что за права ты отстаивал?

Право на пулю Дантеса  
 Или веревку Цветаевой?  
 Право на общую яму  
 Было дано Мандельштаму.  
 Право быть чистым и смелым,  
 Не отступаться от слов,  
 Право стоять под расстрелом,  
 Как Николай Гумилев.  
 Авторов только хватило б,  
 Ну, а права — как песок.  
 Право на пулю в затылок,  
 Право на пулю в висок <...>.

- 21 *Рудинский В.* Обзор зарубежной печати // *Голос Зарубежья.* 1987. № 44. С. 36; «угадывается» имя Е.А. Вагина. Предисловие В.К. Завалишина см. в Приложениях.
- 22 *Редлих Р.* Возвращение поэзии Гумилева // *Посев.* 1986. № 8. С. 46.
- 23 *Ульянов Н.* Скрипты: Сборник статей. Эрмитаж, 1981. С. 50. К порой эпатажному монархизму Гумилева см. свидетельство о начале 1910-х: «Когда-то поэт Гумилев (расстрелянный в свое время в СССР), вернувшись в Петербург из Парижа, к моему удивлению говорил: “И что это говорят, что французы веселый народ? Их веселье наносное, они тоскуют”. На мой вопрос, о чем же французы тоскуют, он отвечал: “О своих королях”. Тогда мне это мнение показалось диким. Ведь Франция — страна революции и ярых республиканцев» (*Рындина Л.* Письмо из Парижа // *Наша страна* (Буэнос-Айрес). 1949. 20 августа).
- 24 См.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики (по указателю).
- 25 *Огрызко В.* Пусть ничего душа не позабудет // *Литературная Россия.* 2015. 3 мая; источник выписки: РГАЛИ. Ф. 2843. Оп. 1. Ед.хр. 121. Л. 23. Ср. об эстетическом двоемыслии В. Друзина в письме А. Горелова А. Рубашкину от 10 июля 1981 года: «<...> Тихонов, <...> Федин, <...> Саянов, <...> Друзин, еще с 26–27 года уверявшие меня, что “пролетпоэты” — калифы на час, а подлинная поэзия — Гумилев, Ахматова, Пастернак, Мандельштам» (*Нева.* 2002. № 11. С. 185).
- 26 *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 583–584.
- 27 *Шапорина Л.В.* *Дневник.* Т. 1. М., 2011. С. 459.
- 28 Этот фрагмент был вскоре обнародован: «Особенно интересно было видеть его в разговоре с Гумилевым. Они явно недолюбливали друг друга, но ничем не высказывали своей неприяз-

ни: более того, каждый их разговор представлялся тонким поединком взаимной вежливости и любезности. Гумилев рассыпался в изоциренно-иронических комплиментах. Блок слушал сурово и с особенно холодной ясностью, несколько чаще, чем нужно, добавлял к каждой фразе: “уважаемый Николай Степанович”, отчетливо, до конца выговаривая каждую букву имени и отчества. Отношение их друг к другу не было равным. Гумилев действительно высоко ценил Блока как поэта, был автором восторженной статьи о нем в журнале “Аполлон”, и вместе с тем ему было чрезвычайно досадно, что Александр Александрович не разделяет его взглядов на поэзию. Блок отдавал должное эрудиции Гумилева, но к гумилевским стихам относился без всякого энтузиазма. “Это стихи только двух измерений”, — заметил он как-то, не то с досадой, не то с чувством какой-то внутренней обиды.

Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилев отошел в сторону явно чем-то раздраженный.

— Вот смотрите, — сказал он мне. — Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия...

— Да, но вы беседовали с ним необычайно почтительно. И ничего не могли ему возразить.

Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня.

— А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?

Как-то Гумилев подарил Блоку свою недавно вышедшую книгу, тут же набросав на первой странице несколько слов почтительного посвящения. Блок поблагодарил его. На другой день он принес Гумилеву свой сборник “Седое утро”. И когда Гумилев торжественно развернул его, мы все с недоумением прочли следующую надпись:

“Глубокоуважаемому и милому Николаю Степановичу Гумилеву, стихи которого я всегда читаю при свете дня”.

Гумилев усмехнулся иронически и недовольно. Он-то во всяком случае не считал, что для стихов нужны сумерки или лунный свет» (*Рождественский В. Александр Блок // Звезда. 1945. № 3. С. 109–110*).

29 *Островская С.К. Дневник. С. 679.*

30 См. воспоминания о похоронах Блока: «Удивительны были глаза Е. Книпович — в ней была какая-то для меня таинст-

венность» (Берберова Н. Неизвестная Берберова. СПб., 1998. С. 140).

- 31 С.М. Боура (Sir Cecil Maurice Bowra; 1898–1971) — британский филолог-классик, переводчик и составитель нескольких антологий русских поэтов Серебряного века. В лондонском журнале «Horizon» (1940–1949) опубликовал среди прочего рецензию на «Сборник стихов» (М., 1943), составленный В. Казиным и В. Перцовым, — с неприятным для глаз В. Ермилова и Е. Книпович напоминанием о Мандельштаме:

«Наконец появилась возможность увидеть связную и полную картину той поэзии, которая создана при советской власти. Многие годы нам приходилось полагаться на не слишком осведомленные мнения и на те случайные пути, какими русские книги оказываются в Англии. Тогда как эта антология действительно показывает, что такое советская поэзия. Она включает стихи пятидесяти трех авторов, каждый из которых представлен щедро. Начинается она с Октябрьской революции 1917-го, заканчивается 1943-м. Конечно, для истории любого искусства четверть века — срок короткий, и едва ли можно ожидать, чтобы книга включала стихи равноценно высокого качества. Однако то, сколь много хорошей поэзии появилось в России за это время, приятно удивляет. Возможно, большая ее часть и не выдержит испытания временем, но сейчас, когда Россия во многом остается для нас неизвестной землей, весьма полезно получить столь глубинное и откровенное знание о ней.

Антология строго придерживается заданных в ней хронологических рамок. Сюда не вошла даже революционная поэзия, созданная до октября 1917-го, и напрасно было бы искать «Наш марш» Маяковского или «Волю всем» Хлебникова — слишком рано были написаны оба стихотворения. Но это компенсируется присутствием того, ожидать чего было трудно — и тем более приятно видеть. Представлено почти все написанное Блоком после 1917-го — «Двенадцать», «Скифы» и «Пушкинскому Дому». Здесь есть апокалиптическое стихотворение друга Блока, антропософа Андрея Белого, где Россия названа Мессией грядущего дня. Есть несколько интересных стихотворений старого символиста Валерия Брюсова. Анна Ахматова, столь долго приговоренная к молчанию, блистательно возвращается с пятью стихотворениями, четыре из них написаны совсем недавно и убеждают, что она не потеряла ничего из прежних обаяния и мастерства. Всего же удивительнее, что представлено и

двадцать одно стихотворение Есенина, включая замечательное “Письмо матери” и превосходную подборку его последних стихов, когда он ощутил себя выброшенным и презираемым — но обрел новые величие и пафос. Конечно, есть и упущения. Возможно, отсутствие Санникова и не слишком большая потеря, однако некогда казалось, что он обладает подлинным лирическим даром. Но здесь должен был быть Мандельштам. Его “*Tristia*” 1923 года — великая поэзия, напряженная, образная и ни на кого не похожая. Возможно, Мандельштам стал жертвой неодобрения властей. Если и так, то настало время простить его и вернуть на законное место. Рядом можно видеть множество авторов знакомых и незнакомых, времен тех или иных. Лидирует по занимаемому месту, конечно, Маяковский — более ста страниц. Подборка из его обширного наследия сделана хорошо, хотя и хотелось бы увидеть больше его экзотических ранних вещей и хотя бы одну из его поэм о любви. Неплохо представлены как странный и будоражащий Каменский, реалистичный и образно насыщенный Тихонов, так и множество молодых поэтов, нашедших себя уже на этой войне. В итоге получилась книга, очень разнообразная по содержанию и возбуждающая любопытство.

Перед нами картина поэзии, испытавшей жестокие перемены и полностью изменившей свой характер. Первыми поэтами Революции стали как символисты, так и футуристы. Символисты, видевшие в 1917-м начало Иной Земли, быстро утратили свои иллюзии, придя к молчанию или же к смерти. Футуристы, отчасти унаследовавшие у Маринетти культ насилия, любовались Революцией и страстно принимали ее. В лице Маяковского они имели лидера, знавшего, как приспособить свое искусство к текущему моменту и оставаться в центре общественного внимания. Их главным даром было умение передавать предельное волнение, дух риска. “Ночь перед Советами” Хлебникова и поэма Каменского о Степане Разине полны своеобразного героического величия, подлинно эпического духа. За этим, вскоре угаснувшим импульсом в начале 1920-х последовала новая фаза, когда поэзия была оптимистичной и динамичной, но еще не сдала своей независимости социальному заказу. Главными фигурами этого времени стали Пастернак и Тихонов. Первый, один из величайших поэтов, работающих сейчас в Европе, обладает исключительной чувствительностью и чудесным даром визуальности; второй, солдат и человек действия, придает

своим стихам и балладам о жестокой жизни специфический блеск и витальность. В конце 1920-х поэзия оказалась жертвой политики. Лучшие из поэтов ушли в переводы, и их оригинальное творчество теперь стало незначительным по объему. Писать такие стихи, каких требовала власть, было нелегко, а написанное оказывалось малоинтересным. В 1930-м опустил руки даже Маяковский, явно ощущали те же самые препятствия свободному выражению и его подражатели вроде Асеева и Безыменского. Накануне этой войны ситуация начала улучшаться, и с 1942 года хлынул поток совершенно новой поэзии. Это поэзия простая и прямая. Она обращена непосредственно к сердцу и написана языком сегодняшнего дня. Естественно, в основном это стихи о войне, но они столь искренние и глубоко чувствующие, что одной только актуальностью темы этого не объяснить. В лице Симонова Советы, похоже, получили молодого поэта, который может стать мастером.

Такая эволюция от апокалиптического величия символизма и анархического насилия футуризма к простой, аккуратной поэзии свидетельствует о проблеме, с которой Советам пришлось столкнуться в литературе, равно как и в других искусствах. Поскольку они убеждены, что все искусства служат социальному заказу и должны иметь политический характер, то рискуют разрушить их или, по меньшей мере, опустить до унылой посредственности. В годы пятилеток так и случилось. Однако положение спасла преданность нескольких больших фигур. Новая советская поэзия и хороша, и доступна. Технический уровень удалось восстановить через изучение русской классики, связь поэзии с жизнью и поэзия сохранилась, поскольку работающие сейчас поэты молоды, сформировались уже при Советах и знают то, о чем пишут. Они действительно естественны и просты, им не трудно писать стихи, обращенные к каждому. Как советские фильмы сочетают весьма высокий уровень профессионализма с искренностью и целостностью, — похоже, недостижимыми для Голливуда, — так и у советских поэтов, учившихся своей технике у Пушкина и Лермонтова, есть прямота и правда; и это позволяет предположить, что их страна вновь на пороге очередного творческого периода развития литературы» (*Bowra C.M. An Anthology of Soviet Verse // Horizon: A Review of Literature and Art. Vol. X. 1944. № 58. October. P. 288–289*).

Эта рецензия была замечена и переведена для внутренних нужд Союза писателей (РГАЛИ. Ф. 631 .Оп. 14. Ед.хр. 334); в



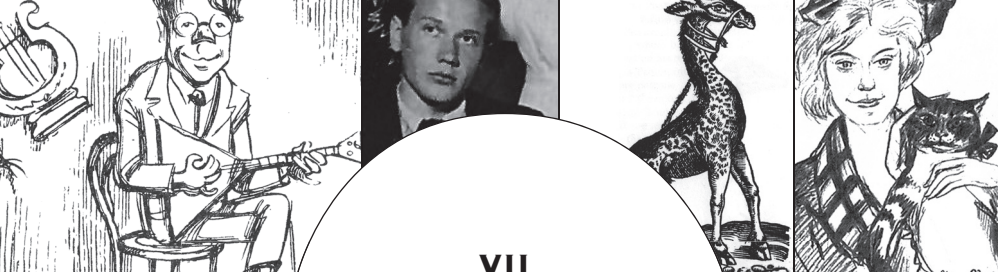
справке о самом журнале «Горизонт» сообщалось: «В редакционных комментариях также звучат явно антисоветские ноты» (РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 14. Ед.хр. 254).

32

Но не надо яства земного  
В этот страшный и светлый час,  
Оттого что Господне слово  
Лучше хлеба питает нас.

(«Наступление»).

- 33 РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 10. Ед.хр. 9. Лл. 40б.-5, 13; ср. во внутренней рецензии Е.Ф. Книпович на рукопись книги Арсения Тарковского того же предждановского времени: «А. Тарковский принадлежит к адептам того “черного пантеона”, который воздвигнут в умах и сердцах довольно многих его сверстников. Гумилев, Мандельштам, Ходасевич соблазнили немало народу не только своим несомненным мастерством, но и своим сомнительным стоицизмом и скептицизмом, якобы “мужественной” позой перед лицом трудной и сложной жизни. Очень импонирует некоторым молодым поэтам это якобы “хозяйское”, а на деле снобическое отношение к искусству, которое заключается в творчестве этих поэтов» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 10. Ед.хр. 10. Л. 57).



VII

# ЖДАНОВ И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ

**ИРИНА  
ОДОЕВЦЕВА**  
(РИСУНОК  
В.А. МИЛАШЕВСКОГО)

GIRAFFA  
CAMELOPARDALIS

**А.Д. СИНЯВСКИЙ**

**В.М.САЯНОВ**  
(ШАРЖ  
Н.Э. РАДЛОВА)

**В** августе 1946-го, предвкушая либерализацию победного СССР, в Париже в доме А.В. Руманова эмигранты устроили прием в честь московских гостей К. Симонова и И. Эренбурга. Вероятно, фигура К. Симонова, в которой иные эмигранты видели аватару Гумилева<sup>1</sup>, навела Ирину Одоевцеву на мысль о сюрпризе:

Минутный соблазн: а не прочесть ли мне «Балладу о Гумилеве»? — отпадает сам собой. Ведь этим я погубила бы весь «блестящий прием» и невероятно огорчила бы милого Руманова и его не менее милую жену<sup>2</sup>.

Гости вечера не знали, что в Ленинграде Андрей Жданов уже произнес первую из своих исторических речей, перед которой получил справку из местного МГБ:

Начав свою литературную деятельность в 1910 году, Ахматова еще до Октябрьской революции завоевала популярность, как талантливая поэтесса и виднейшая представительница литературного направления акмеизма, одним из основоположников которого является ее бывший муж — поэт ГУМИЛЕВ. <...> О личной жизни поэтессы в прошлом и в настоящее время нам известно следующее: первым ее мужем был известный поэт, глава литературного направления акмеистов, ГУМИЛЕВ Николай, который разошелся с ней в 1917 году. В 1921 году ГУМИЛЕВ, как активный участник эсеровского восстания, был арестован и осужден к расстрелу<sup>3</sup>.

Жданов, по мнению его биографа, мог слышать о Гумилеве от Кардовских, знакомых и соседей его дяди по Переславлю-Залесскому<sup>4</sup>. Однако в докладах Жданова имя первого мужа Ахматовой и главы литературного направления акмеистов не

прозвучало (в городе, где еще жили поклонники Гумилева<sup>5</sup>), о чем Ахматова помнила все последние двадцать лет своей жизни:

Рассказывала еще, что какие-то «радикалы» из какой-то римской газеты брали у нее интервью и «написали гадости».

— Моего мужа в этой статейке назвали снобом. Такого не говорили даже те, кто его убил. Даже, кажется, Жданов не говорил.

Слово «Жданов» она произносит как-то особенно<sup>6</sup>.

Итак, персонально про «участника эсеровского восстания»<sup>7</sup> в исторических докладах ничего не было сказано, так что ссылаться на священные писания зрелого сталинизма не получалось, и потому, когда в феврале 1952-го комиссия ЦК обнаружила в проекте словника Большой советской энциклопедии тревожное имя, специалисты постановили:

творчество которого ничем не примечательно<sup>8</sup>.

Территория СССР от этого имени была зачищена, оставалось только навести порядок на пространстве соцлагеря, как это случилось с польской антологией русской поэзии<sup>9</sup>, о чем оповестил в молодости прошедший через школу Гумилева<sup>10</sup> поэт Леонид Первомайский.

Отрывистая брань в адрес русского модернизма взывала к услугам экспликаторов и толкователей, и проникнувшийся затребованной ответственностью Всеволод Вишневский<sup>11</sup> спустя два года в письме к поэту Всеволоду Азарову набросал программу экспликации<sup>12</sup>:

В Вашей работе о Багрицком Вы стремитесь облагородить Багрицкого, увести его от противоречий литературных групп, подлинных литературных драм, срывов и проч. Багрицкий вырастает в некоего «победителя», пришедшего к Коммунизму. Все это, дорогой Всеволод, антиисторично. Вы изымаете пору акмеизма, а Багрицкий делал Гумилева учителем, писал о нем, «прощал» ему... Годами... В этом письме я намерен показать Вам подлинный путь, подлинную генеалогию декадентов, апо-

литичных поэтов и пр., в которых много лет обретался и Багрицкий...

Генеалогию Вишневский повел от Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме:

Вот они враги Революции, враги Коммуны, враги движения масс... «Учителя» поколений эстетов, международных снобов, педерастов и прочей сволочи. Это они передали «эстафету» гг. Анри де Ренье (которого взасос читали любители изданий «Academia»), Аполлинэру и пр. Не стоит останавливаться на Гюисмансе, Метерлинке... Смешно, странно, но все эти господа сидят в эстетике ряда поколений, — вплоть до молодежи нашей. Неслучайно говорил А.А. Жданов речь свою. Не случайно, держась за сердце, говорил он мне и Н. Тихонову осенью 1946 года о всей этой декадентской «школе», о том, что ее надо уничтожить и о том, что надо НАСТУПАТЬ. <...>

Брезгливой проходкой отметил Вишневский Бальмонта, Брюсова, Волошина<sup>13</sup>, Мережковского, «путаников» Вяч. Иванова и Андрея Белого и своих замученных современников («Белый увлек своими поучениями и нервным “обрывистым” стилем Пильняка, Клычкова, Арт. Веселого...»), оставив до будущего случая иных (в том числе Мандельштама<sup>14</sup>, которому по семейным обстоятельствам он помогал<sup>15</sup>). Наконец, подобрался он к Гумилеву, который некогда посвящал стихи мачехе «Воли Вишневского» Лидии Аренс<sup>16</sup>:

Все сказанное тут о декадентах БЫЛО... Придут коммунисты историки, марксисты и напишут. Для этого институт мировой литературы и очищен от аполитичных профессоров. Может быть сразу все, что я тут намечаю, не пройдет... Это письмо — план «генеалогического» литературного анализа ВЕКА, план анализа декадентской «истории». Документы же об упадочниках, отравителях душ, антипатриотах, убийцах Русской традиции — налицо. Надо читать их и вслух разбирать их.

К теме: «В свое время» пришли на смену Бальмонтам: Гумилев, Городецкий, Эйхенбаум, Томашевский и прочая, и прочая...

Все они делали свое дело. Одни расстреляны, другие в щелях, третьи пакостят, четвертые перестроились... Все это точная история, Всеволод. Гумилев вошел в душу Багрицкого. Вы это «скромно» умалчиваете. Не хотите вести НАСТОЯЩЕГО разговора. Перелистайте «Аполлон»... Хорошая бумага. «Чисто эстетическая» программа... У кого из белогвардейцев Петербурга не было «Аполлона» в шкафах!.. Помню — как эти «чистые эстеты» стреляли в деятелей Октября. Посидев на «башне» у Вяч. Иванова (Таврическая улица), сии эстеты пачками пошли в контрреволюцию. Помнить это полезно.

«Заветы» символистов, шепотом почтительно произносимые имена сгнивших парижских пьяных «мэтров» и пр. — все еще произносились, долго, до наших современных дней...

В очередь за «символистской славой» пристроился и Иннокентий Анненский, почтенный директор Царскосельской гимназии (или реального — не помню). Ему надо было писать по вечерам «вакхические драмы» (на них кидался начинавший тогда режиссуру Таиров). Писал Анненский о «больной душе наших дней» и тиранил все учебное заведение (в период Кассо). Писал, обнажая свои неврастенические «изгибы», писал о тоске, о страхе жизни, о «сладостном гашише бреда» и требовал, чтобы мальчики были нравственны и порядочны. Писал о мире «обиженных недоушевленных предметов»... Бедные стулья и столы, умученные декадентом в синем мундире г. Анненским, чьим учителем — конечно — был Бодлэр, Верлэн и см. выше — всю вековую обойму.

Сего забытого символиста-поэта, тайного «вакхического» блудника, автора «НИКТО», конечно, начали подымать в 1923 г. <так> Юношам: Багрицкому и пр. нужно было дать духовную пищу. Тарасенковым нужны были поучения и сборнички для библиотек. Как же иначе!.. Брюсов шептал, Луначарский подписывал и все «воскресало»... И. Анненский шел к молодежи. В 1948 году это НЕ ПОВТОРИТСЯ. Будем выбивать зубы нещадно.

Что моя генеалогия, Всеволод, поучительна? Прибавьте в список и мадам Гиппиус. (Выше я помянул ее.)

Это все литература, направление, школа. Надо все знать. Понимать. Изолированных явлений: вот де родился такой талантливый мальчик Багрицкий в Одессе — нет, не бывает... Мальчик был смолоду отравлен. Кем? — Гумилевым.

«Эстафета» символистов попала в руки Гумилеву. Сын морского врача. Из Кронштадта. Ученик И. Анненского, психо-директора Царскосельской гимназии. Этот мир я знаю по Петербургу.

Двадцати лет, едва кончив гимназию, юноша мчится галопом в Париж, поклониться «мэтрам»... Кланялся два года. Возвращается затем к Анненскому и Вяч. Иванову — в СПб и Царское. Пора реакции. 1906 год. С запасом «свежих впечатлений» кидается в «Аполлон». Надо же учить новое поколение! (Багрицкого в том числе.) Женится на Ахматовой. Сплошные психо-«эротические кошмары», достаточно рассказанные Ахматовой, так и не излечившейся ни от этой любви, ни от этой «поэзии»...<sup>17</sup> Дальше: Петербургский университет, конечно и тут: изучение французской поэзии. Надо же быть последовательным учеником. Нужны культы парижан... О, Бодлэр, Верлэн и пр. и пр. (См. сначала.)

Гумилев — организатор группы «акмеистов». Путешественник — от Академии наук (?). Достаточно протекций из Царского села и пр. В 1914 году, бросив университет, идет добровольцем в Лейб-гвардии Гусарский полк (стоял полк в Царском). Война, неудовлетворение. Вот Франция, французы, ах!.. Гумилев уходит с русским экспедиционным корпусом во Францию. В Париж к «мэтрам» — о, Бодлэр, Верлэн и пр. и пр. Блок в 1920–21, перед смертью, в личном письме упрекал Гумилева: «Акмеизм, иностранщина». Сурово ОСУДИЛ поэзию Гумилева. Гумилев в 1918 г. возвращается в Сов. Россию. Готовый контр-революционер. Я думаю: французский агент. Предатель России, народа. Арестован. Расстрелян в Петрограде в 1921 г.

Написал я эту биографию весьма сжато. Большого не стоит. (И это ему, предателю, шпиону Багрицкий послал прощальный поцелуй...) Вы и про это умолчите или «обойдете»?.. Так сказать, подальше от «реального мира»? Вот какие вещи бывают в жизни, Всеволод.

Гумилев — тяжелая помесь. Это продукт «расцвета» Петербурга, поры балканских войн, канунов первой великой войны — продукт символизма — чистейший. Поэт империализма, поэт жадности, крови, чувственности, конквистадорства, бальмонтизма, бодлэрианства, уайльдизма и пр.



Химический чистый враг наш. Он ничего не взял, не принял от народа, от солдат, от окопов. Он любит прошлое. Он за «сильную личность». Он ненавидит массу. В «Рабочем» он почуял врага и написал, что рабочий льет пулю, «которая отыщет грудь мою». Он хочет, чтобы «Солнце сожгло настоящее, но помиловало прошедшее» (царскосельское)...

Сюда — ступенями ниже — жизнь втиснула и Вс. Рождественского. Он не может сбросить царскосельских воспоминаний, старого строя поэзии, символизма, акмеизма. Не может, даже честно прожив 30 советских лет... Тут явления мы наблюдаем сложные, вековые...

Суть жизни и трагедии Багрицкого именно в попытках высвободиться. И в постоянных срывах, провалах в черный мир, вошедший в душу и литературными и социально-биологическими путями. Вы же пишете что-то совсем другое. Вот-де как лихо шел Эдуард, красноармеец, боец, к победам, «к победителям»...

Вы, значит, не понимаете проблем интеллигенции. Задумайтесь. Вам это необходимо.

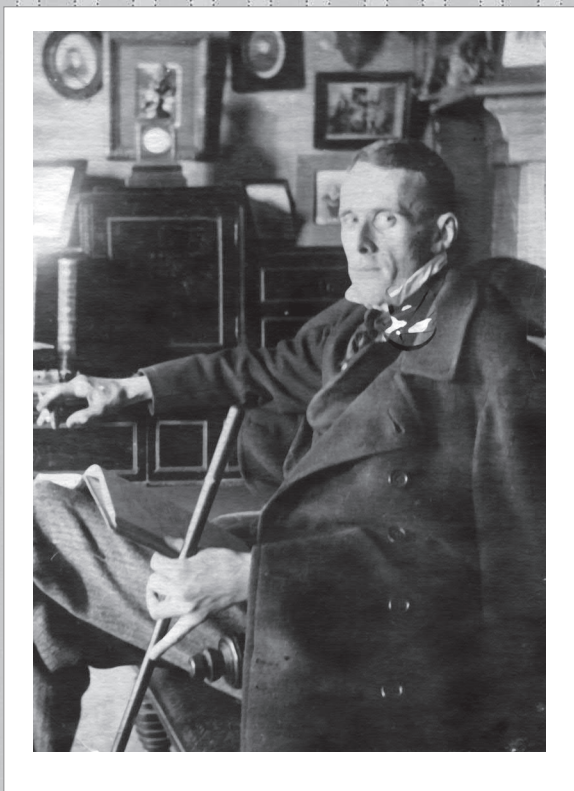
Гумилев неслучайно ведь писал о своей породе: «Все мы святые и воры, все мы смешные актеры» (о, Бодлэр, о Верлэн! и пр. и пр.). Это ведь гг. символисты благословили чванного д'Аннунцио и прочих «грядущих» фашистов.

Это Гумилев пытался научить расейского промежуточника-интеллигента, «когда свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не надо бояться, не бояться и делать, что надо»... Попробовал учить в 1918–21 гг. Мы уже тогда кончили, НАУЧИЛИ. Большевики научили, а не Гумилевы... (Научили багрицких, рождественских и многих, многих других — со всеми их затяжными рецидивами, с которыми еще придется встречаться и бороться.)

Вот о чем говорил А.А. Жданов. Вот как я читаю сжатые абзацы его речи (раздел о декадентах).

Академическая наука хладнокровней, но не с меньшей брезгливостью разоблачала копающихся, как говорил А.А. Жданов, «в своих мелких душонках»:

Гумилев подчеркивал не столько враждебность, сколько ответственность акмеизма по отношению к символизму, как новую



**Ю.Н. КУПРЕЯНОВ (СЕЛИЩЕ, 1928)**

«К синей звезде» (Рукописная книга работы Ю.Н. Купрянова)



Мирон и Евгений Сорока,  
в ташкентской библиотеке не-  
известны "на переклад"  
Робинзон Крузо " в 6 томах  
Слов. Петербург. —  
— гора по кривой линии  
Слов. с названием Мирон —  
Спартеус.

15/33 W. J. J. J. J.  
XII

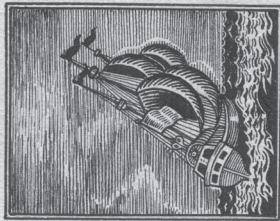
Н. ГУМИЛЕВ

# К СИНЕЙ ЗВЕЗДЕ



МЕДГОРА

1933



Из букета целого сирени  
Мне досталась лишь одна сирень,  
И всю ночь я думал об Елене,  
А потом томился целый день.  
Все казалось мне, что в белой пене  
Исчезает милая земля,  
Расцветают влажные сирени  
За кормой большого корабля.  
И за огненными небесами  
Ово мне задумалась она,  
Девушка с газельими глазами  
Моего любимейшего сна.  
Сердце прыгало, как детский мячик,  
Я как брату, верил кораблю,  
Оттого, что мне нельзя иначе,  
Оттого что я ее люблю.



Мы в аллеях светлых пролетали,  
Мы летели около воды,  
Золотые листья опалили  
В синие и сонные пруды.

И причуды и мечты и думы  
Поверяла мне она свои,  
Все что может девушка придумать  
Об еще неведомой любви.

Говорила: Да, любовь свободна,  
И в любви свободен человек,  
Полько то лишь сердце благородно,  
Что умеет полюбить навеки.

Я спотрел в глаза ее большие,  
И я видел милое лицо  
В рамке, где деревья золотые  
Сводами сдвинулись в одно кольцо

И я думал — нет, любовь не это!  
Как пожар в лесу, любовь судьбе  
Потому что даже без ответа  
Я отныне обречен тебе.



Вероятно в жизни предвдущей  
Я зарезал и отца и мать,  
Если в этой — Боже прислушай! —  
Плак позорно осужден страдать.  
Каждый день мой, как мертвец, спокойный,  
Все дела чужие, не мои,  
Лишь томление вове не достойной,  
Вовсе платонической любви.  
Ах, бежать бы, скрыться бы как вору  
В Африку, как прежде, как тогда,  
Лечь под царственную сикомору  
И не подниматься никогда.  
Бархатом меня покроет вечер  
И луна оденет в серебро,  
И выть может, не припомнит ветер,  
Что когда то я служил в бюро.



Мой альбом, где страсть сквозит без меры  
В каждой мной отточенной строфе,  
Дивный покровительством Венеры  
Сласся он от ауто-да-фа.

И потом — да славится наука! —  
Будет в библиотеке стоять  
Вашего расчленивого внука  
В год две тысячи и двадцать пять.

Но американец длинноносый  
Променяет Фриско на Шамбов,  
Сердцем вспомнив русские березы,  
Звон малиновый колоколов

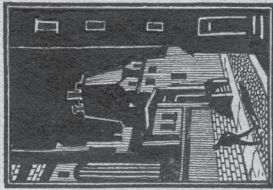
Гостем явит он себя достойным,  
И узнав, что был такой поэт,  
Мой (и Ваш) альбом с письмом пристойным  
Он отправит в университет.

Мой винограф будет очень счастлив,  
Будет удивляться два часа,  
Как осел, перед которым в ясли  
Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,  
Фоллиант почтенной толщины:  
"О любви несчастной Гумилева  
В год четвертый мировой войны".

И когда тогдашние Лигейи  
С взорами, где ангелы живут,  
Со щеками лепестка свежее  
Прочитают сей почтенный труд,

Каждар подумает уныло,  
Легкого презренья не тая:  
— Я в американца не любил,  
А любил бы поэта я.



Застонал я от сна дурного  
И проснулся, смертно скорбя,  
Снилось мне: ты любишь другого,  
И что он обидел тебя.

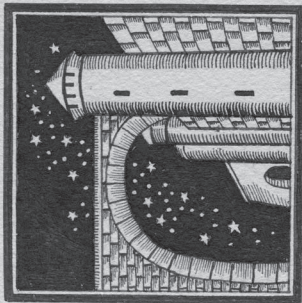
Я вежал от моей постели,  
Как убийца от плахи своей,  
И смотрел, как тускло блестели  
Фонари глазами зверей.

Ах, наверно таким бездомным  
Не блуждал ни один человек,  
В эту ночь по улицам темным,  
Как по руслам высохших рек.



Вот стою перед дверью твоею,  
Не дано мне иного пути,  
Хоть и знаю, что не посмею  
Никогда в эту дверь войти.

Он овидел тебя, я знаю,  
Пусть все это было лишь сном,  
Но я все-таки умираю  
Под твоим закрытым окном.



Пролетела золотая ночь  
И на миг замедлила в пути  
Мне, как другу, захотев помочь,  
Ваши письма думала найти.

—Ме, что Вы не написали мне...  
А потом присела на кровать  
И сказала, «Знаешь, в тишине  
Хорошо бывает помечтать!»

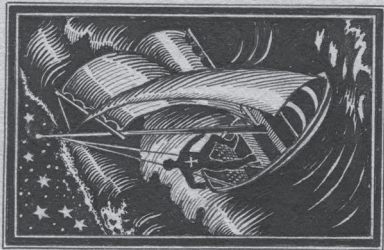
«Ма, другая, вероятно, зля,  
Ей с тобой встречаться даже лень,  
Польви меня, ведь-я светла,  
Шак светла, что не светлей и день».

Много расцветает черных роз  
"В потайных косячках у меня,  
Словно крыла пламенных стрелок,  
Пляшут искры синего огня."

Пот же пламень и в глазах твоих  
"В миг, когда ты думаешь о ней,  
Для тебя сдержжу я вороных  
Неподатливых моих коней."

Ночь, мою, не мучь меня! Мой рок  
Слишком и без этого тяжел,  
Неужели, если Выл' я ног,  
От нее давно б я не ушел?

Смертной скорбью я теперь скорблю,  
Но какой я дам тебе ответ,  
Прежде чем ей не скажу "люблю",  
И она мне не ответит "нет".



Отвечай мне, картонажный мастер,  
Что ты думал, делая Альбом,  
Для стихов о самой нежной страсти  
Молчиюю в настоящей том?

Картонажный мастер, глупый, глупый,  
Видишь, кончалась морь страда,  
Быви милой были слишком склыпы,  
Сердце не дрожало никогда.

Страсть пролегла песней лебединой,  
Никогда ей не забыть опять,  
Так же как и женщине с мужиной  
Никогда друг друга не понять.

Но поет мне голос настоящий,  
Голос жизни близкой для меня,  
Звонок, словно водопад гремющий  
Словно гул растущего огня.

В этом мире есть большие звезды,  
В этом мире есть моря и горы,  
Здесь любила Беатриче Данта,  
Здесь Ахейцы разорили Трою.  
Если ты теперь же не забудешь  
Девушку с огромными глазами,  
Девушку с искусными речами,  
Девушку, которой ты не нужен,  
По и жить ты значишь не достоин."



Храни твой, Господи, в невесах,  
Но земля тоже Шбой примет.  
Расцветают липы в лесах,  
И на липах птицы поют.  
Переброшен к нам светлый мост,  
И тебе о нас говорят  
В ереницы Ангелов-звезд,  
Что по разному все горят.  
Если, Господи, это так,  
Если праведно я пою,  
Дай мне, Господи, дай мне знак,  
Что я познал волю Швою.  
Перед той, что сейчас грустна,  
Покажись, как Пеззиримый Свет,  
И на все, что спросит она,  
Ослепительный дай ответ.  
Ведь отрадней пення птиц,  
Благотатней ангельских труб,  
Нам дрожание милых ресниц  
И улыбка любимых губ.

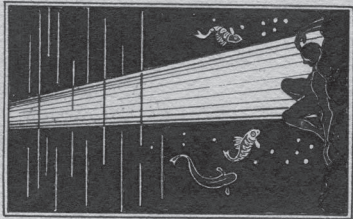


В этот мой благословенный вечер  
Собрались ко мне мои друзья,  
Все, которых я очеловечил,  
Выведа их из небытия.  
Гондла разговаривал с Гафризом  
О любви Африза и своей,  
И над ним склонялись по карнизам  
Головы волков и лебедей.  
Муза Дальних Странствий обвиняла  
Зюю, как сестру свою теперь,  
И лизал им ноги невивавый,  
Золотой и шестикрылый зверь.

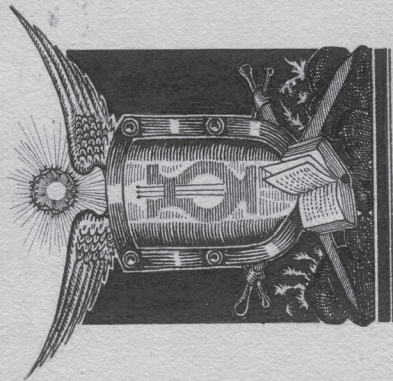
Мик Ачи подсели к капитанам,  
Чтоб послужать о морских делах,  
И перед любезным Дюн Жуаном  
Франни сладкий чувствовала страх.  
И по стенам начинались танцы,  
Двигались фригуры на холстах,  
Обезумели камбоджианцы  
На конях и боевых слонах.  
Забивались вышитые птицы,  
А дракон плясал уже без сил,  
Даже Будда начал шевелиться  
И понохать розу попросил.  
Приглашенные на торжество,  
Словно апельсины восковые,  
Ме, что подаю на Рождество  
"Лише крики, смолкните напевы!"  
"Я вскричал —" и Буддем все грустны,  
Потому что с нами нету девы,  
Для которой все мы рождены."  
И пошли мы, пара вслед за парой,  
Словно фантастический эстамп,  
Через переулки и бульвары  
К тупику близ улицы Декамп.  
Неужели мы Вам не приснились,  
Милая, с таким печальным ртом,  
Мы, которые всю ночь толпились  
Перед занавешенным окном.



Пы не могла, иль не хотела  
Мою почувствовать истому,  
И вое дурманящее тело  
И сердце бережешь другому.  
Зато, когда перед бедою  
Я овезилню, стиснув зубы,  
Пы не придешь смочить водою  
Мои заплекшиеся губы.  
В часы последнего усилья,  
Когда и ангелы забвещут,  
Кого и сияющие крылья  
Передо мной не затрепещут.  
И в встречу радостной победе  
Мое ликующее знамя  
Пы не поднимешь в реве меди  
Своими нежными руками.  
И ты меня забудешь скоро,  
И я не стану думать, вольный,  
О милой девочке, с которой  
Мне было нестерпимо больно.



Нежно не бывала я отрада  
Прикоснувшись к моему плечу  
И теперь мне ничего не надо,  
Ни твоя, ни счастья не хочу.  
Лишь одно бы принял я не споря,  
Лихий, тихий, золотой покой,  
Да двенадцать тысяч футов моря  
Над моей провитой головой.  
Что же думать, как бы сладко не жила  
Лют покой и вечный гул томил,  
Если б только никогда я не жила,  
Никогда не пел и не любил.



Ты пожалела, Ты простила,  
И даже руку подала мне,  
Когда в душе, где смерть бродила,  
И камня не было на камне.  
Как победитель Благородный  
Предоставляет без сомненья  
Почу, кто был сейчас свободный,  
И жизнь и даже часть имения.

Все, что бессонными ночами  
Из тьмы души я вызвал к свету,  
Все, что даровано богами,  
Мне, воину, и мне поэту,  
Все, пред твоей склоняясь властью,  
Все дам и ничего не сирочу  
За ослепительное счастье  
Хоть иногда повить с тобою.

Лишь песен не проси ты милых,  
Таких, как я слалал—когда то,  
Мы знаешь, я и петь не в силах  
Скрипящим голосом кастрата.

Не накажи меня за эти  
Слова, не ввергни снова в бездну,  
Когда-нибудь при лунном свете,  
Рав истомленный я исчезну.

Я повету в пустынном поле  
Через канавы и заборы,  
Забыв себя и ужас боли,  
И все условия, договоры.

И не узнаешь никогда ты,  
Что в сердце не вошла тревога,  
В какой болатине промятой  
Моя окончилась дорога.



Временами не справляясь с тоскою  
Я не в силах смотреть и дышать,  
Я глаза закрываю рукою,  
О тебе начинаю мечтать.  
Не о девушке тонкой и томной  
Как тебя увидали бы все,  
А о девочке милой и скромной,  
Наклоненной над книжкой Юссе.  
День, когда ты узнала впервые,  
Что есть Индия, чудо чудес,  
Что есть тигры и лавины святые,  
Для меня этот день не исчез.

Иногда ты смотрела на море,  
И над морем вставала гроза,  
И совсем наступающее горе  
Наполняло слезами глаза.  
Почему по прибрежью везломным  
Не взноситься дворцам золотым?  
Почему по светящимся волнам  
Не приходит к тебе серафим?  
И я знаю, что в детской постели  
Не спалось вечерами тебе,  
Сердце билось и взоры блстели,  
О большой ты мечтала судьбе.  
Утокнув с головой в одеяле,  
Шы хотела быть солнца светлей,  
Чтобы люди тебя называли  
Счастьем, лучшей надеждой своей.  
Этот мир не служавил с тобою,  
Шы внезапно прорезала тьму,  
Шы явилась спящей звездой,  
Но не всем, только мне одному.  
И теперь ты не та, ты забыла  
Все, чем прежде ты думала стать...  
Где надежды? Вся жизнь — как могила.  
Счастье где? Я не в силах дышать.  
И таинственный твой собеседник,  
Вот, я душу мою отдаю  
За твой маленький, снятый передник,  
За разбитую куклу твою.



Я вырван был из жизни тесной,  
Из жизни скудной и простой,  
Швоей мучительной, чудесной,  
Неотвратимой красотой.  
И умеря.... и видел пламя,  
Невиданное никогда,  
Пред ослепленными глазами  
Светилась синяя звезда.  
И запах огненной и слаще  
Всего, что в жизни я найду,  
И даже лилии стоящей  
В Высоком Ангельском саду.  
И вдруг из глуби осиянной  
Возник обратно мир земной,  
Ты птицей раненой неожиданно  
Загребетам предо мной.  
Ты повторяла — я страдаю"  
Но что же делать мне, когда  
Я наконец так радко знаю,  
Что ты лишь синяя звезда.



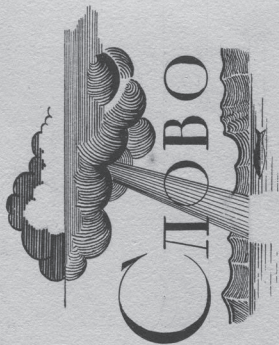
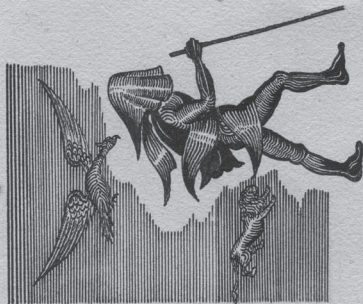
# ПАМЯТЬ

Полько змѣи сбрасываютъ кожи,  
Чтобъ душа старела и росла,  
Мы, увѣи, со змеями не схожи,  
Мы меняемъ души, не тела.

Память, ты рукою великанши  
Жизнь ведешь, какъ подъ хвосты коня,  
Мы расскажемъ мнѣ о тебѣ, что раньше  
В этомъ телѣ жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,  
Полюбившій только сумракъ рощ,  
Листъ опавшій, колдовской ребенок  
Словомъ останавливавшій дождь.

Крикну я... но разве кто позовет.  
Чтоб моя душа не злела?  
Польку змеи сбрасывают кожи,  
Мы меняем души, не тела.



В оный день, когда над миром новым  
Бог склоня лицо свое, тогда  
Солнце оставивалом Словом,  
Словом разрышам города.

И орел не взмахивал крылами,  
Звезды жались в ужасе к луне  
Если точно розовое пламя  
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,  
Как домашний подъяремный скот,  
Потому что все оттенки смысла  
Умное число передает.

Патриарх седой, севе под руку  
Покоривший и добро и зло,  
Не решаясь обратиться к звуку,  
Прострэнно на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно  
Полно Слово средь земных тревог,  
И в Евангелии от Исаида  
Сказано, что Слово это Бог.

Мы ему поставили пределом  
Скучные пределы естества,  
И как пчелы в улье опустелом,  
Дурно пахнут мертвые слова.



Шел я по улице незнакомой  
И вдруг услышала вороний гай,  
И звоны люти и дальние громы...  
Передо мной летел трамвай.

Как я вскинул на его подножку —  
Было загадкою для меня,  
В небе огненную дорожку  
Он оставал при свете дня

Мчался он бурей темной, крылатой,  
Он заблудился в бездне времен,  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!

Поздно. Уже мы обогнали стену,  
Мы проскочили сквозь рошу пальм,  
Через Неву, через Нил и Сену  
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,  
Бросил нам вслед пытливым взгляд  
Нищий старик — конечно тот самый,  
Что умер в Бейруте год назад.

Где? Так темно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:  
Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.

Вывеска, кровью налитые буквы  
Гласят — зеленная — знаю, тут  
Вместо капусты и вместо брюквы  
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, слицом как вишня,  
Голову срезал палач и мне,  
Она лежала вместе с другими  
Здесь в ящичке скользком, на самом дне.

А в переломе забор досчатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!

Машенька, здесь ты жила и пела,  
Мне, жениху, ковер ткала,  
Где же теперь твой голос и тело,  
Может ли быть, что вы ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,  
Я же с напуганною косою  
Шел представляться Императрице  
И не увиделся вновь с Шобой.

Понял теперь я: наша свобода  
Малько оттуда вьющийся свет,  
Люди и тени стоят у входа  
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,  
И за мостом летит на меня  
Благоник длань в железной перчатке  
И два копыта его коня.

Верной твердыню православыя  
Врезан Исакий в вышине,  
Плам отслужу я молебен о здравии  
Машеньки, и панихиду по мне.

И все же навеки сердце угрюмо,  
И трудно дышать и больно жить...  
Машенька, я никогда не думал,  
Что можно так любить и грустить.



Полный, казался он как в дурмане,  
Зубы блестя из под хищных усев,  
На ярко красном его доломане  
Сплетались концы золотых шнуров.

Струна... и гортанный вопль, и сразу  
Сладостно так залила кровь моря,  
Так убедительно поверил я рассказу  
Про иные, родные мне края.

Веще струны — это жили вычи,  
Но горькой травой питались выки,  
Гортанный голос — жаловы девичьи  
Из под зажимающей рот руки.

Пламя костра, пламя костра, колонны  
Красных стволов оглушающий гик,  
Ржавые листья топчет гость влюбленный,  
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

Капли крови текут с усов колючих,  
Томно ему, он сыт, он опьянен,  
Ах, здесь слишком много вузнов гремучих,  
Слишком много сладких, паучих тел.

Мнели видеть его в дыму сигарном,  
Где провки хлопчат, люди кричат,  
На мномом столе чубуком янтарным  
Злого сердца отстукивающим такт.

Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,  
Встань перед ним как комета в ночи,  
Сердце крылатое в груди косматой  
Выврви, вырви сердце и растопчи.

Шире, все шире, кругами, кругами,  
Ходи, ходи и рзкой мани,  
Плак пар вечерний плаваает лугами,  
Когда за лесом огни и огни.

Вот струны — выки и слева и справа,  
Рога их — смерть и мычанье — беда,  
У них на пастбище горькие травы,  
Колочий волчец, лобинь, лебеда.

Хочет встать, не может... Кремень зубчатый,  
Зубчатый кремень, как гортанный крик,  
Под бархатной лапой, грозно подъятой,  
В его крылатое сердце проник.

Рухнул грудью, путая аксельбанты,  
Уже ни пить, ни смотреть нельзя,  
Засуетились официанты  
Пьяного гостя унося.

Что ж, господа? Половина шестого,  
Счет, Асмодей, нам приготовь!  
Девушка, смеясь, с полоссы кремневой  
Ужим язычком слизывает кровь.



Колдовством и ворожбою  
В тишине глухих ночей  
Леопард убитый мною  
Занят в комнате моей.

Люди входят и уходят,  
Позже всех уходит та,  
Для которой в жилах бродит  
Золотая темнота.

Поздно. Мыши засвистели,  
Глазо кракнул, домовой  
И мурлычет у постели  
Леопард убитый мною.

По ущельям Доброврана  
Сизый стелется туман,  
Солнце красное, как рана  
Озарило Добровран.

Запах меда и вербены  
Ветер гонит на восток,  
И ревет, ревет гиены,  
Зарывая нос в песок.

Брат мой, враг мой, стоны слышишь?  
Запах чужей? Видишь дым?  
Для чего ж тогда ты дышешь  
Этим воздухом сырым?

Нет, ты должен, мой убийца,  
Умереть в стране моей  
Чтоб я снова мог родиться  
В леопардовой семье.

Неужели до рассвета  
Мне ловить лукавый зов?  
Ах, не слушай я совета,  
Не спалил ему усов.

Молько поздно! Вражья сила  
Одолела и близка,  
Вот затылок мне сдавила  
Мочно медная рука.

Пальмы... с неба страшный пламень  
Жжет песчаный водоем...  
Данакиль припал за камень  
С пламенеющим копьем.

Он не знает и не спросит  
Чем душа моя горда,  
Молько душу эту бросит  
Сам не ведая куда.

И не силах я бороться,  
Я спокоен, я встаю.  
У журафьяго колодца  
Я окончу жизнь мою.



Старый вояка в Адис-Абебе,  
Покоривший многие племена  
Прислам ко мне черного копьеносца  
С приветом составленным из моих стихов.  
Человек, среди толпы народа  
Застремивший императорского посла,  
Подожел пожать мне руку,  
Поблагодарить за мои стихи.  
А лейтенант, водивший канонерки  
Под огнем неприятельских батарей,  
Целую ночь над южным морем  
Читал мне на память мои стихи.



Много их сильных, злых и веселых,  
Убивавших слонов и людей,  
Погибавших от жажды в пустыне,  
Замерзавших на кромке вечного льда,  
— Верных нашей планете

Сильной, веселой и злой —  
Возят стихи мои в седельной сумке,  
Читают их в пальмовой роще,  
И не забывают на тонущем корабле.  
Я не оскорблю их неврастений,  
Не уличаю душевной теплотой  
Не надоедаю многозначительными намеками  
На содержание выеденного яйца,  
Но зато, когда кругом свищут пауки,  
Когда волны ломают борта, —  
— Я учу их как не бояться,  
Не бояться и делать что надо.  
И когда девушка с лицом прекрасным,  
С единственно дорогим во вселенной,  
Скажет: „Я не люблю вас.“ —  
Я учу их как улыбнуться, уйти  
И не возвращаться больше.  
И когда настанет их смертный час,  
И ровный красный туман застелет взоры —  
— Я научу их сразу припомнить  
Всю жестокою минулою жизнь,  
И предстант пред ликом Бога,  
Ждать спокойно его суда.



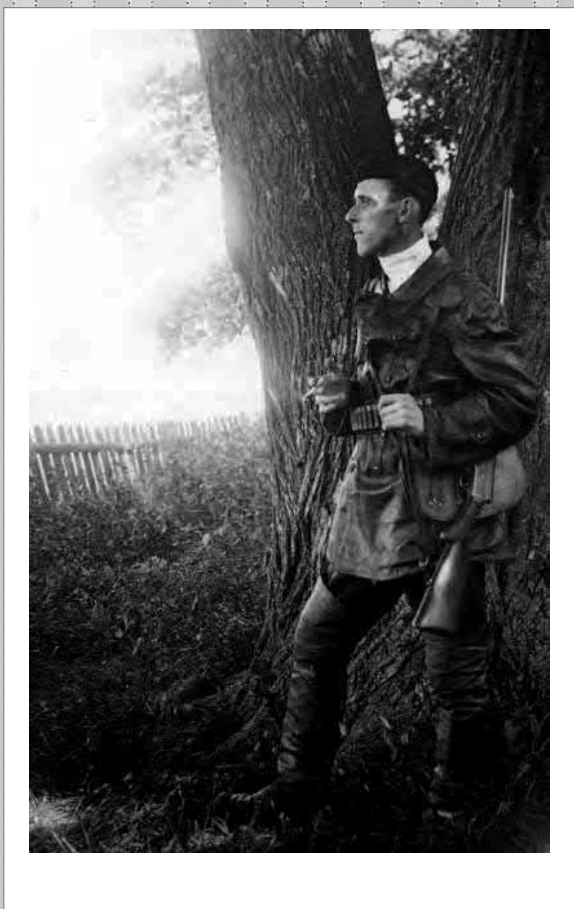
Словы на кипарисах  
И над озером луна,  
Камень черный, камень белый,  
Много выпил я вина.  
И не сейчас бутылка пела  
Громче сердца моего:  
— Мир лишь луч от лика друга,  
Все иное тень его.

Винчерпия взломля я  
Не сегодня, не вчера,  
Не вчера и не сегодня  
Пьяный с самого утра,  
И хожу, и похваляюсь,  
Что познал я торжество:  
— Мир лишь луч от лика друга,  
Все иное тень его.

Я бродяга, я трушобник,  
Непугливый человек,  
Все, чему я научился,  
Все забыл теперь навек,  
Ради розовой улыбки  
И напева одного:  
— Мир лишь луч от лика друга,  
Все иное тень его.

Вот идуча по могилам,  
Где лежат мои друзья,  
О любви спросить у мертвых  
Неужели мне нельзя?  
И кричит из ямы череп  
Шайну гроба своего:  
— Мир лишь луч от лика друга,  
Все иное тень его.

Под луною всколыхнулись  
В дымном озере струи,  
На Высоких кипарисах  
Замолчали соловьи,  
Лишь один запел всех громче,  
Мот, не левший ничего:  
Мир лишь луч от лика друга,  
Все иное тень его.



**Ю.Н. КУПРЕЯНОВ НА ОХОТЕ**



Да! Губы твои в перину и поцелуи  
 Твоею елей бескаменным — тучной  
 Звонкой в шлохих чехлих в фортель  
 Темб, обличенной в мерятамель,  
 Как **мобель**, для тех широк инос,  
 Он поименно другой гдольной, бранель,

Я шлохик, гдоль в стар мезам,  
 Как ступня, каминная шир,  
 Встрече шлохик бисро и шир,  
 Как шлохик сох в шлохик, то шлохик  
 Мне шлохик: — Не шлохик о шлохик,  
 Кто шлохик шлохик шлохик. Шлохик! —

— 0 —

О Н. Тумилев

Каминная.

На каминной шлохик и на шлохик,  
 Ты шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Мне шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Шлохик шлохик шлохик шлохик.

Там шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 О шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Для шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Кто шлохик шлохик шлохик шлохик.

15 Это море по шлохик шлохик  
 Как по шлохик шлохик шлохик  
 Кто шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Не шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Кто шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Кто шлохик шлохик шлохик шлохик.

Он шлохик шлохик, в шлохик,  
 Кто шлохик шлохик шлохик шлохик.  
 Но в шлохик шлохик шлохик шлохик,  
 Кто шлохик шлохик шлохик шлохик.  
 — 0 — Н. Тумилев.

Соннцентабельное путешествие

Серебрян молодой зори  
 Озаряется небосвод  
 Меж Станциумом и Сатурн  
 Тробируется паролот.

Как деифрины шлохик шлохик,  
 И так радостно шлохик шлохик  
 Молодые шлохик шлохик  
 От шлохик шлохик шлохик шлохик.

Вот, как горяж шлохик шлохик,  
 Поднялись две шлохик шлохик,  
 Это Тришцево шлохик шлохик,  
 Вырастают из шлохик шлохик.

В шлохик-шлохик шлохик шлохик  
 Или красных шлохик шлохик шлохик,

Круны 2... Но после 150 миллионов  
 медяков мед не нужен...  
 Творено гден сапачамаот ревен,  
 Дно менасен гжен, не меда.

— 6 —

М. Тумовел.  
 О ~~добротел~~ мисел мпелбат.

Мед а но гунга негнатаровот.  
 И легга реарвет доповел рпат,  
 И гломн вномни, и гжеме рпум  
 Треларо менио ремен мпелбат.

Рар а берони не ево не гнорен  
 Тарно гарагено гже мени.  
 И догитте орениво гоповел  
 Он венелбат и мр елене гже.

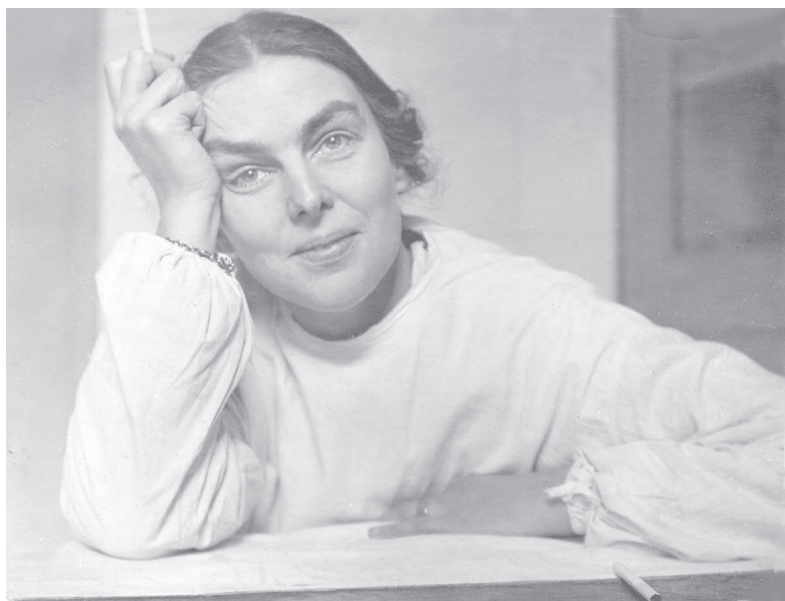
Митарас он дигит, менелот, ернатарот,  
 Он гасонгасел д дегне дегнен.  
 — Очинадитте, беронобовенелот,  
 Оеманолуина естрас ларон!

Турогно, гже мн обонгрен етенг,  
 Мн мпачоронен еллоге ппелы марон  
 регес желт, регес мн и енг  
 Мн мпачорен не тпен мачинен.

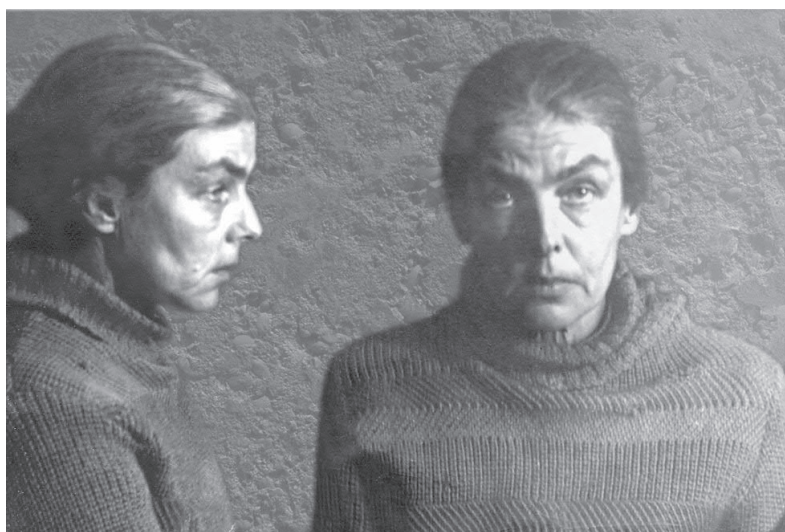
22. II. 1945.  
 22. II. 1947.

ES





**В.Ф. БЕРСЕНЕВА (1928)**

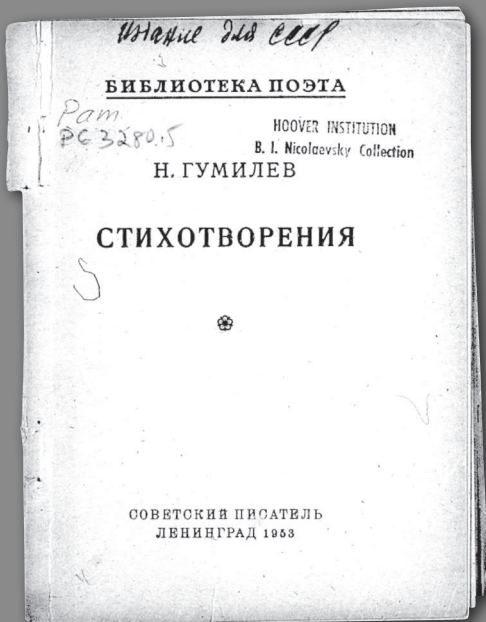


**В.Ф. БЕРСЕНЕВА (МАГНИТОРСКАЯ ТЮРЬМА, 1942)**

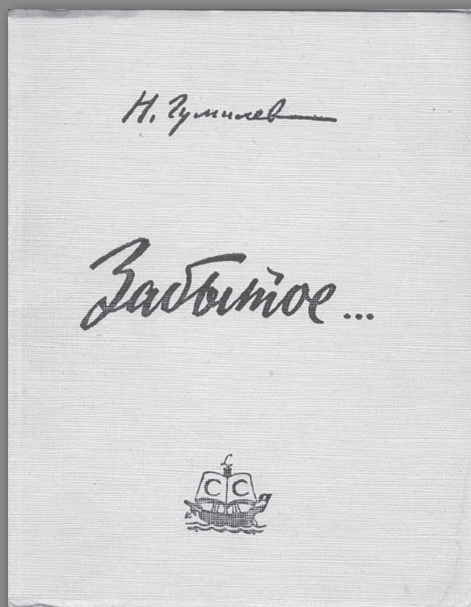


**С.С. ПОТРЕСОВА  
(СИБЛАГ, ИТЛ ОРЛОВО-РОЗОВО,  
1946)**





КНИЖКА-ПОДДЕЛКА НАРОДНО-ТРУДОВОГО СОЮЗА



МОСКОВСКАЯ КНИЖКА-ПОДДЕЛКА (1963)



**СЕСТРЫ АРЕНС (СЛЕВА НАПРАВО):**

**ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА,**

**ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА,**

**АННА ЕВГЕНЬЕВНА.**

1909 (СНИМОК: Б. МИЩЕНКО).



**МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ  
ЛОЗИНСКИЙ (1904, ВЕСНА).**



**Николай Николаевич Пунин.**  
(ФОТОГРАФИЯ  
ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕЛА).



**НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ.**  
1914 (снимок А. Городецкого).



**ФРАГМЕНТ ФОТОГРАФИИ С ГРУППОЙ  
«ЗВУЧАЩАЯ РАКОВИНА»  
(ЗИМА 1920–1921 ГОДОВ).**



**АННА ИВАНОВНА ГУМИЛЕВА.**  
1882  
(СНИМОК Г. М. ПЕРЛА).



**ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ЛУКНИЦКИЙ.**

7 ФЕВРАЛЯ 1929 ГОДА

(СНИМОК Б. А. ЛАВРЕНЕВА).





**ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ АДАМОВИЧ**  
В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ: 1917.



**ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ТЮЛЬПАНОВА.**  
12 ОКТЯБРЯ 1910 ГОДА.



**ЭРИХ ФЕДОРОВИЧ ГОЛЛЕРБАХ.**  
1910-Е.



**НИКОЛАЙ АВДЕЕВИЧ ОЦУП.**  
ФОТО ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕЛА.



**АННА НИКОЛАЕВНА  
ЭНГЕЛЬГАРТ.**



**ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  
ГИЛЬДЕБРАНДТ-АРБЕНИНА.**  
1924.



**ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВИЧ  
ШИЛЕЙКО.**



**ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВИЧ ШИЛЕЙКО**  
1910-е.





**ПАЛЛАДА ГРОСС.**  
1948 (СНИМОК М.П. СЕГАЛЯ).

стадию его развития. Греческое слово «акме», от которого произошло название нового направления, означало: «высшая степень чего-либо — цвет, цветущая пора» — так объяснял Гумилев. Один из запоздалых рыцарей буржуазного декаданса, Гумилев давал клятву на верность принципам символизма, изощрялся в надругательствах над великими традициями русской литературы, с аристократическим высокомерием противопоставлял искусство действительности, объявлял себя сторонником воинствующего идеализма.

Русский символизм, — писал он в 1910 году, — явился следствием зрелости (! — *В.Л.*) человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление.

Акмеисты считали необходимым внести поправки в поэтику символизма, в систему его изобразительных средств: ценя в искусстве значение символа, они заявляли о том, что не желают отказаться от иных приемов поэтического изображения. Другая поправка к поэтике символизма утверждала «прекрасную ясность» в противовес поискам смутных, неопределенных оттенков в изображении «миров иных». Символизм не удовлетворял Гумилева своим витанием в области неведомого в то самое время, когда нараставшая революция грозила потревожить условия буржуазного бытия. Акмеизм стремился свести искусство с неба на землю, заставить полюбить позорную, мерзкую действительность. Это привело к возрождению самого низменного натурализма у многих акмеистов. Вот как восхвалял принижение человека в стихах одного из своих соратников:

«Он вполне доволен землей, но у нас не хватает духу упрекнуть его за это самоограничение, потому что земля воистину добра к нему и открывается перед ним полно и интимно... И как напоминание о большой и забытой нами истине, звучит его предостережение человеку:

Стихии куй в калильном жаре,  
Но духом, гордый царь, смирись  
И у последней слизкой твари  
Прозренью темному учись!»  
«Слизкая тварь» учит человека!

Высочайшее духовное творчество человека низведено на роль животного инстинкта в стихотворениях Гумилева и его

последователей. Полемизируя, как и Леонид Андреев, с горьковской идеей возвеличения человека, Гумилев имел наглость представлять себя бойцом «за культурные ценности»<sup>18</sup>. [Перцов В. С. 190–191]

[...]

В последовавших за докладом Жданова проверках, чистках рядов, покаяниях и отмежеваниях имя не названного в проскрипционных перечнях возникало: например, Вера Инбер<sup>19</sup> заявляла:

Гумилев говорит:

Я не прожил, я протомился половину жизни земной...

Но мы-то живем, мы не томимся, мы наполняем ее творческим содержанием<sup>20</sup>.

Семен Кирсанов нашел время и место еще раз побороться с агентурой акмеизма в лице Н. Тихонова:

Получилось, что приятельское отношение не только к лицам, но к явлениям, течениям, вкусам, акмеизму и серапионовщине сочеталось с неприятельским отношением к Маяковскому и ко всему тому, что пахло Маяковским. Вот почему, когда молодые поэты приходили в редакции и приносили стихи, похожие на Маяковского, это в корне пресекалось. Считалось, что подражать Гумилеву или Ахматовой хорошо, а следовать Маяковскому плохо. Именно благодаря взглядам и вкусам бывшего председателя Союза могли развернуться в нашей поэзии те школы, которые были уже разгромлены. Запахло дурным символизмом, плохим подражанием эпигонам Блока, Гумилева, Ахматовой и т.д. Вот какие стихи стали появляться в 1945 году на страницах наших журналов:

Лежу на песчаном пригреве,  
Как море раскинувшись сам,  
Зеленые кони деревьев  
Все скачут по дальним холмам. <...>

Это уже звучит как пародия на декадентские стишки десятых годов этого столетия, что-то есть прутковское в самом слоге

этих стихков, и это напечатано в «Звезде» в 1945 году и подписано Николаем Тихоновым. <...> Я приведу другие стихи:

Я люблю тебя той — без прически,  
 Без румян — перед ночи концом,  
 В черном блеске волос твоих жестких,  
 С побледневшим и строгим лицом.

Стихи, которые счел необходимым опубликовать Николай Тихонов в год окончания войны, поражают своей декадентской пустотой<sup>21</sup>. < ...> Если бы т. Тихонов своим творчеством и поощрением возрождению акмеистических школ не содействовал, то такого распространения акмеистическая школа не получила в сегодняшнее время<sup>22</sup>.

Вишневский записал в дневнике:

Были заостренные речи: Кирсанов умело цитировал Маяковского — тот бил и Бальмонта, и Ахматову, и Зощенко. Остро, зло... Напоминания были. Кстати: но нападки на поэзию Тихонова были у Кирсанова грубы, демагогичны. — Не беглецу и трусу судить о воине-поэте. О своих пораженческих стихах («Венок сонетов») Кирсанов и не заикнулся. Он держался за Маяковского...<sup>23</sup>

В Ташкенте, оскоромившемся благополучным пребыванием там Ахматовой в годы эвакуации, разоблачением местного акмеизма занимался связанный со спецслужбами и начинавший как поэт А.В. Станишевский (писавший под псевдонимом Азиз Ниалло):

Под большим влиянием А. Белого находился возникший в 1910 году кружок, оформившийся окончательно в 1912 году как течение акмеистов. Основателями акмеистов были Гумилев, Осип Мандельштам и начавшая тогда печататься под псевдонимом Анны Ахматовой молодая тогда поэтесса Анна Андреевна Горленко <так>. Немного позже к ним присоединилась поэтесса Черубина де Габриак. <...> Это отнюдь не означало, что акмеисты признали свой творческий крах и решили прекратить литературную деятельность.

Они пытались возродить «неоакмеизм» и ареной своей деятельности избрали на этот раз Ташкент, где с 1928 года подвизалась одна из наиболее активных акмеисток — поэтесса с очень вычурным псевдонимом Черубина де Габриак, а попросту говоря Елизавета Николаевна <так> Васильева. У профессора СОГУ <так> В. Успенского стал собираться под ее руководством литературный кружок, в котором выделялись поэты Краковский и Кошеваров.

Они распространяли рукописный сборник стихов Черубиной <так> де Габриак и рукописный же сборник произведений Сергея Кошеварова, который начинался поэмой, посвященной Гумилеву<sup>24</sup>.

В наскаках и покаяниях эпохи околождановских идеологических чисток Гумилев часто выступал под псевдонимом «акмеизм». Всеволод Саянов, в литературное досье которого была занесена популяризация акмеизма<sup>25</sup>, понукал поэтов, входивших когда-то в состав «молодого объединения»:

Акмеистические тенденции были особенно сильны в их творчестве. Народная песенная мощь, богатство русского фольклора, живая разговорная речь были чужды их стихотворному строю. Они не пытались продолжить бессмертные традиции Некрасова, и образ живого человека современности редко входил в их стихи. Мне кажется, что сегодня нужно было бы выступить Александру Гитовичу и рассказать о том, в чем он ошибался и как он свои ошибки хочет преодолеть. Акмеистический груз не дает ему возможности воплотить в поэтической форме богатый материал жизненных наблюдений. Сама отсталая акмеистическая форма, которая чужда новому содержанию, на протяжении многих лет задерживает творческий рост поэта <...> Вадим Шефнер тоже погряз в акмеистическом болоте<sup>26</sup>.

Гитович, еще ранее, зная, что тень Гумилева нависала над его репутацией, предпринял контрвылазки:

А. Гитович решительно не соглашается с мнением [А. Тарасенкова], что в поэме С. Кирсанова «Небо над Родиной» виден значительный шаг вперед в творчестве этого поэта.

— Можно ли нам, русским поэтам, которым дан могучий арсенал поэтических средств, — замечает А. Гитович, — всерьез говорить о «новаторстве» Семена Кирсанова? Беда некоторых поэтов и критиков состоит в том, что, оставаясь наедине, они предпочитают Гумилева и Цветаеву, а выходя на трибуну, клянутся Маяковским! Когда Кирсанов называет себя последователем Маяковского, — это неправда!

Отставание поэзии по мнению А. Гитовича связано с тем, что в отличие от прозы, поэзия на протяжении многих лет подвергалась вредному влиянию декадентства. Многие поэты, даже лучшие из них, теряли драгоценное время в поисках мнимого новаторства.

— Постановление ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», — подчеркивает А. Гитович, — сыграет величайшую роль в дальнейших судьбах нашей поэзии<sup>27</sup>.

Впоследствии тематика его стихов спасла его от проскрипций<sup>28</sup>.

Возвращаясь к титульной теме книги, заметим, что стихи «предателя, шпиона» все же жили в эти смрадные годы — и нарочно, и ненароком.

В самом начале 48-го года мы проходили педагогическую практику; руководили ею двое: тот самый декан <факультета языка и литературы Сталинабадского пединститута> Семен Корнейч <Семен Корнильевич Гречишко> и Александра Павловна Белякова (не уверен, что не ошибся, припоминая ее отчество), очень опытная и умелая учительница той школы, где мы давали уроки. Как-то стояли наши руководители и из нас, практикантов, кое-кто в школьном коридоре, и А.П. сказала мимоходом нашему декану: «Сегодня с утра у меня в ушах звучат стихи — две строчки:

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае...».

И тут же заговорили о чем-то другом. Я специально не вслушивался, но не слышать не мог. Чьи это стихи — я тогда знать не мог, но подумалось: «хорошие стихи», и запомнилось двустихие на годы, пока я смог встретиться с ним в вернувшихся в наш обиход книгах Н. Гумилева. И учительница, и декан были в возрасте меж сорока годами и пятьюдесятью. Их молодость при-

шлась на годы, когда Гумилева издавали обильно и прижизненно, и посмертно, и молодое поколение — особенно те, кто жадно приникали к книжной культуре, — зачитывались его стихами. Как стихи запомнились, так и перемена в облике не учительницы Александры Павловны, а декана Семена Корнеича. Его лицо, всегда однообразно бедное выражениями чувств, теперь светилось какою-то восхищенной и доброй улыбкой<sup>29</sup>.

Руководитель литературного кружка в Тбилиси Г.В. Крейтман давал читать их своим питомцам, в числе которых был Булат Окуджава<sup>30</sup>. Будущий биограф Цветаевой Ирма Кудрова училась в одном классе с дочерью критика А.В. Амстердама, которая «знала наизусть массу стихов, да еще тех поэтов, о которых я вовсе не слыхала (Гумилев, например), либо только слышала (Ахматова)»<sup>31</sup>. Дочь Льва Никулина вспоминает:

Папа заметил нашу тягу к чтению и стал прививать нам любовь к поэзии. Наверное, ему просто не хватало аудитории. Он ничего не объяснял, просто лежал на диване и читал стихи вслух по памяти. Редко называл поэтов. Сначала из кабинета доносился его голос. Из любопытства мы с Сашей прислушивались. Потом входили, садились напротив и слушали, пока он не уставал и не начинал покашливать. Иногда проговаривался: «Гумилев, Ходасевич, Саша Черный». Ни слова о Мандельштаме, хотя часто читал его стихи, и они нам с сестрой нравились. Но потом строго наказывал и школе ничего о том, чьи стихи мы слышали, не говорить. «Если не хотите, чтобы у нас с мамой были неприятности». Так что держать язык за зубами нас учили с детства<sup>32</sup>.

Конечно, многое зависело от состава домашних библиотек<sup>33</sup>. Дочь Николая Вирты свидетельствует: «“Анна Снегина” Есенина читалась нами из-под полы, о Гумилеве большинство из нас знать не знало»<sup>34</sup>.

В 1951 году в Союзе писателей В. Луговской рассказывал о встрече с активом Центрального детского театра:

В большинстве это были именно рабочие ребята, но они достают томики Гумилева, переписывают стихи Гумилева, переписи-

сывают Ахматову, раннюю ее лирику и т.д. Категорически надо поставить этот вопрос, и поставить, не стыдясь: нужна лирика, и нужно, чтобы она была в журналах<sup>35</sup>.

Владимир Солоухин в комсомольском патруле Литинститута читал Б. Сарнову и А. Рекемчуку «Заблудившийся трамвай» и «Снилось мне, что ты любишь другого, и что он обидел тебя»<sup>36</sup>. Любовь к последнему стихотворению В. Солоухин делил с Наумом Манделем (Коржавиным):

Для того, чтобы защитить любовь — тоже нужна была эта сила, вбирающая мужество и мужественность. Ярким ее проявлением были для меня строки Гумилева, внешне вовсе не победительные:

Заметался от сна дурного  
И проснулся, тяжело скорбя:  
Снилось мне, что ты любишь другого  
И что он обидел тебя.

Бредил я тогда и другим стихотворением этого поэта «Мои читатели», прямо воспевавшим победительное мужество, но в приведенном четверостишии это проявляется с неожиданной стороны и с особой остротой. Короче, это *übermensch*ество имело для меня тогда и положительное значение — оборачиваясь культом мужества и ответственности<sup>37</sup>.

Из обратившихся в это время к казненному поэту назовем и Вячеслава Всеволодовича Иванова (1929–2017). Как можно угадать, именно в связи с интересом своего юного собеседника стоит признание Пастернака:

...Борис Леонидович подошел ко мне и рассказал о недавнем впечатлении от перечитывания Гумилева. Он говорил про себя, что человек он не книжный, у него нет библиотеки (это так и было на самом деле, в московской квартире я помню только тома академического издания Льва Толстого). Но перед тем как ехать на дачу, он нашел «Огненный столп» Гумилева и стал читать в поезде. «Кое-что мне не понравилось, иногда тяжеловесный пятистопный ямб — этого я не люблю и у себя. Но потом



такое чувство — как движущаяся армия, проходящая завоевательным маршем. Это поэт!»<sup>38</sup>

В своих стихах 1950 года «Кома» Иванов говорил:

В нашем столетье нигде на Земле  
Нет частной собственности на свободу.  
Раз соотечественники во мгле,  
Несдобровать мне — как их антиподу.

Жаром поэзии я опален,  
Ревностный апологет Аполлона,  
Полностью освобождаясь от пелен,  
Вражеского не боюсь я полона:

Связан теперь с краснокожими я  
Только защитной окраской покрова.  
Кожу я сбрасываю, как змея, —  
Верный последователь Гумилева.

Рты стихотворческие затыкать  
Издавна матушка-Русь мастерица.  
Я все равно не проникну в печать,  
Мне позволительно поматериться<sup>39</sup>.

Впоследствии Вяч. Вс. Иванов писал о развитии поэтического дара Гумилева:

Оно напоминает взрыв звезды, перед своим уничтожением внезапно ярко вспыхнувшей и пославшей поток света в окружающие ее пространства. Стало привычным думать о больших поэтах как об очень рано формирующихся. Действительно, даже если отвлечься от нескольких вундеркиндов, начинавших, как Рембо или Леопарди (занимавший Гумилева, посвятившего ему набросок своих терцин), с весьма совершенных стихов (и поэтической прозы), многие крупные поэты почти с самого начала обнаруживают себя; иногда исключение составляют самые первые книги (но уже не следующие за ними),

и то, скорее всего, для невнимательного или неразборчивого читателя<sup>40</sup>.

Несколько беллетризованное описание жизни гумилевского стиха среди московских филфаковцев дано в мемуарах одного из них:

Я с предельной отчетливостью помню вечера и ночи в Геленджике, университетском доме отдыха на Черном море. Сырая, пахнущая водорослями ночь. Море. Собираются, сбиваются в кучки пять или шесть человек, доверяющих друг другу. Пограничники выгоняют студентов с ночного пляжа. «Не положено! После 10 вечера пляж — запретная зона...» Студенты вновь и вновь просачиваются в запретную зону, поближе к морским брызгам и светящейся шуршащей воде, и по очереди читают, читают, читают. Оказалось, есть ребята, которые помнят всего Гумилева...

До войны я знал несколько мальчишек, которые декламировали наизусть всего Пушкина, продолжали с любого места, Лермонтова. И вот прошло всего каких-то пять или шесть лет, и такие ребята почему-то декламировали в ночи уже не Пушкина и Лермонтова, которых «проходили» по официальной программе, хотя вспоминали и их, а более всего — Гумилева, Цветаеву, снова Гумилева. Юношеские голоса читали стихи и час, и два, и три. Одни сменяли других, продолжая с оборванной забытой строфы. Стихи, изъятые из всех библиотек и, казалось вытравленные из сердца поколений, снова звучали в сырой ночи, вопреки всему. Строфы о дальних морях и капитанах,

... открывателях новых земель...

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий, —

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь...

Стоило чтецу замолчать, перевести дух, и тут же высокие голоса подхватывали упоенно:

... Пусть безумствует море и хлещет,

Гребни волн поднялись в небеса, —

Ни один пред грозой не трепещет,  
 Ни один не свернет паруса.  
 Разве трусам даны эти руки,  
 Этот острый, уверенный взгляд,  
 Что умеет на вражьи фелуки  
 Неожиданно бросить фрегат.  
 Меткой пулей, острой железной  
 Настигать исполинских китов.  
 И приметить в ночи многозвездной  
 Охранительный свет маяков?

Бог мой, какие мысленные клятвы, какие надежды вкладывали молодые люди в романтические строки!

Прямо с поезда я побежал к морю окунуться и услышал взволнованное, порывистое, как признание:

Да, я знаю, я вам не пара...

Тут заплакала какая-то девушка, навзрыд, ее пытались успокоить, увели...

Стихи, читавшиеся дрожащими от волнения голосами, тоже были прекрасными, и тоже — запретными. Враждебными. Всегда. И до десяти вечера, и после... <...> наши однокурсники стали пропадать один за другим. Прежде всего — самые талантливые: Костя Богатырев, Геня Файбусович...

Оказалось, МГБ выдумало целый студенческий заговор и, конечно же, террористический.

...Мы долго молчали, подавленные. Затем один из нас снова начал декламировать, сперва вполголоса, потом все громче, декламировать так созвучное нашим мыслям и нашему настроению:

Он стоит пред раскаленным горном...

Он замолчал, читавший паренек, и никто не подхватил, как обычно; предвиденье Гумилева было ужасающе реально: он написал, оказывается, это свое стихотворение «Рабочий» не только о собственной судьбе...

Все удрученно молчали, и тогда паренек продолжил едва слышно:

Пуля, им отлитая, просвищет...

Так совершенно естественно пришла, вслед за предвоенной романтикой Багрицкого и Михаила Светлова, мужественная и горькая романтика Гумилева...<sup>41</sup>

В самом Московском университете была одна ниша, под сводом которой звучали стихи Гумилева — семинар Дувакина, выходца из «Бригады Маяковского»<sup>42</sup>: []

Но при всей своей сосредоточенности и поглощенности Маяковским Виктор Дмитриевич не был в этом смысле «однолюбом». Он постоянно приобщал нас к высокой поэзии, очень живо, эмоционально вводил слушателей в самую атмосферу Серебряного века, читал стихи Александра Блока и Константина Бальмонта, Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Велимира Хлебникова, Игоря Северянина, Бориса Пастернака и многих других, что было, скажем так, далеко не просто в те «сороковые, роковые» и в начале 50-х годов. Ведь еще совсем недавно прозвучал известный доклад А.А. Жданова и разгромное постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», в котором А.А. Ахматова и М.М. Зощенко были отлучены от литературы, объявлены «несоветскими писателями» и т.д. И вот в такое, отнюдь непростое, нелегкое для истинных поэтов время Виктор Дмитриевич удивительно умел «заражать» нас своим энтузиазмом, любовью к Маяковскому, к русской поэтической классике Золотого и Серебряного века. Он буквально «зачитывал» нас стихами, произносил страстные, вдохновенные монологи в защиту подлинной поэзии<sup>43</sup>.

Разумеется, эти чтения сопровождались дежурными оговорками, как это видно по конспектам, сохраненным Станиславом Лесневским:

Н. Гумилев пользовался наибольшим успехом. Он в 1921 г. был расстрелян за участие в белогвардейском мятеже. К нему привлекала его волевитость. <...> Большие человеческие качества утверждаются у Гумилева безотносительно к цели. «Сильные, злые и веселые» — прообраз фашиста, его эстетизация. Запоминаются брабантские манжеты, а не бунт. Это не прекрасное, ибо не человеческое<sup>44</sup>.

В семинаре занимались филолог Инна Амнуэль (Правдина), поэтесса Нина Бялосинская<sup>45</sup>. Звездой семинара был Андрей Синявский, рассказавший в автобиографическом романе:

Поминая главаря и горлопана Революции, наш семинар по временам, сверх докладов, собирался за бутылкой. Трезвость, поскольку пить, как водится, мы еще не научились, длилась до рассвета. Стихи, кто во что горазд, воспроизводились по кругу, всю ночь, и это было ритуалом. Это было, как я сейчас определяю, радением, призванным гальванизировать поэзию, синевшую за окнами. Мы не читали стихи, мы жили ими — изо всех сил. На каждого поочередно накатывало то Блоком, то Гумилевым. Водка оканчивалась на первой рюмке, а мы шаманили и шаманили...<sup>46</sup>

Читали и размножали Гумилева в Свердловске, в университетском кружке «Рыцари круглого стола». Как сообщалось 5 августа 1947 года в докладной записке Управления МГБ по Свердловской области «О фактах идейно-политического и морального разложения среди части преподавательского состава и студентов Уральского государственного университета им. Горького»,

...в результате проведения активных агентурно-оперативных мероприятий, было установлено, что в Уральском государственном университете в течение 1945–1947 годов существует группа студентов филологического факультета и факультета журналистики, увлекающихся поэзией, являющихся авторами безыдейных и упадочных стихов, которые оформляются в рукописно издаваемые и распространяемые среди студенчества сборники. <...> Среди этих лиц распространялись и переписывались стихи враждебных советской поэзии поэтов Гумилева, Гиппиус, Ахматовой, Мандельштама и др. <...> Постановление ЦК ВКП(б) о литературе и искусстве на филологическом факультете и факультете журналистики были изучены формально и недостаточно глубоко<sup>47</sup>.

Вдохновителем кружка был Виктор Сергеевич Рутминский (Фалеев; 1926–2001); списками с его списков, сделанными его однокашником Юрием Абызовым, пользовался пишущий эти строки в свои студенческие годы. В деле В. Рутминского, приговоренного к шести годам лагерей за антисоветскую

деятельность, фигурировали его стихи (рукописные книги «Ы! Футуро-поэзы» (1944), «Сердце-печень 2-я книга» (1944), «Парнас дыбом 1926–1945», «Избранное 1946») и «Выписки из самых разнообразных книг. Тетрадь 1. 1942–1946». В 1943 году он написал ответ на симоновское «Жди меня»:

Брось, она не будет ждать!  
 Истины — грубы  
 Не пытайся побеждать  
 Логику судьбы  
 Только вряд ли, мой пиит,  
 Твой слащавый бред  
 Каплей меда подсластит  
 Деготь наших лет  
 и т.д.<sup>48</sup>

При аресте Рутминского-Фалеева следствие квалифицировало этот текст как клевету на советскую действительность и советскую женщину.

В. Рутминский отстаивал имя Гумилева, и возможно, он и со следователем спорил об этом:

Цитируется четверостишие

Манит прозрачность глубоких озер,  
 Смотрит с укором заря.  
 Тягостен, тягостен этот позор —  
 Жить, потерявши царя!

И не принимается во внимание, что это стихи 1908 года и, следовательно, к убиенному царю не имеют ни малейшего отношения, а кроме того они называются «Воин Агамемнона». Это греческий воин скорбит о своем полководце, вернувшемся домой и зарезанном собственной супругой. «Царем» греческого базилевса можно назвать лишь с большой долей условности<sup>49</sup>.

Была еще одна группа читателей, которая могла себе позволить признание в любви к Гумилеву. Как вспоминал о Д.А. Франк-Каменецком его ученик Ю.А. Трутнев:

У нас тогда было тесно, маленькие комнаты, и он посадил меня напротив. И просто начал незаметно учить, как надо работать. Одновременно приносил книги, не имеющие к нашему делу прямого отношения, мог в разгар рабочего дня читать стихи Гумилева... По-отечески относился к нам, я от него многое почерпнул в научном и житейском смысле.

— Простите, какой Гумилев в то время?! Вы живете в закрытом городе, вас прослушивают не только на работе, но и дома!

— Прослушивали или нет — не знаю. На нас это не отражалось. Более того, политические вопросы у нас обсуждались гораздо откровенней, чем на «Большой земле». Мы работали над проблемой государственного значения, а потому отношение к нам было иное, чем к остальным<sup>50</sup>.

Особенно личное отношение было у одного из создателей советской водородной бомбы:

Академика Харитона в посвященном ему фильме спрашивают, какие у него увлечения, кроме физики.

— Конечно, поэзия, — отвечает он. — Гумилев.

И читает первые строфы «Заблудившегося трамвая». Я такого страстного чтения не слышал!<sup>51</sup>

В этой же статье покойный Вадим Баевский приводил в числе имен любителей Гумилева еще и Льва Ландау<sup>52</sup> и Андрея Колмогорова<sup>53</sup>.

Физик Юлий Харитон видел в детстве Гумилева вживе, а отец его, один из руководителей Дома Литераторов (с которым сын расстался навсегда в 1922 году), хорошо знал поэта и оставил о нем краткие воспоминания:

В годы большевистского разгула Гумилев тоже не подался мимикрии, носил чистое крахмальное белье и галстук, от которых многие — не только из материальных причин — отказались. На парадное пушкинское заседание явился во фраке — это в Петербурге, в феврале 1921 года! — и с опозданием, когда все уже сидели на своих местах, отчего его фрак сразу был всеми замечен.

И одними этот фрак был принят, как презрительное: «я плюю на большевиков», другими — как внешнее проявление почти-тельного отношения к событию, связанному с именем Пушкина. Думаю, что у него была и та, и другая цель. Было это и дерзко, и красиво.

<...> В ясном смысле поэзии Гумилева уже была заложена для него опасность не выбраться из чеки. Конечно, невежественный председатель петербургской чеки, рабочий Семенов, был вполне искренен, когда говорил с делегацией союза писателей о Гумилеве только как о контрреволюционере, ссылаясь на материалы следствия по Таганцевскому делу. Для Семенова и других чекистов, чтобы расстрелять Гумилева, может быть, было достаточно и тех нескольких кронштадтских прокламаций, которые, вероятно, были найдены у поэта при обыске: эти прокламации показывал мне Гумилев в дни кронштадтского восстания и не соглашался передать их на хранение в одно безопасное, нейтральное место, потому что был он человеком большого бесстрашия, любил риск, искал неизведанного и неиспытанного. Но о Гумилеве хлопотали у самых сильных людей большевистского мира, которые не спасли его потому, что они видели в нем злейшего врага не из-за Таганцевского дела, а по его стихам, по всему его духовному облику. Недаром в оповещении о расстрелянных «таганцевцах» после фамилии Гумилева было сказано, что он поэт и монархист, но о том, какое отношение он имел к делу, не было ни слова. Возможно, что и не имел никакого отношения, но все же расстреляли.

Неведомым путем дошло до друзей Гумилева, что он «не дрогнул перед казнью». В этом не может сомневаться никто, кому приходилось с Гумилевым встречаться. Каковы бы ни были его переживания в те страшные часы, которые в его сознании уже были последними мгновениями жизни, Гумилев по натуре своей не мог не оставаться внешне спокойным, подающим пример мужества остальным, обреченным на смерть, и полным презрения к палачам. <...> Впрочем, может быть, тот же, воспевавший раньше царя, Сергей Городецкий — бывший когда-то другом Блока и Гумилева — на нескольких стихотворениях Гумилева построит доказательство закономерности и целесообразности применения к поэту «высшей меры наказания». И с



большевистской точки зрения Городецкий будет прав.

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей, — говорит Гумилев.

«Золотое сердце» Дзержинского, вероятно, и не знавшего этих строк, чувствовало это, понимало, боялось этого — и не могло снести<sup>54</sup>.

Наконец, до кого-то стихи подземных классиков доходили на школьной парте:

... как это ни странно, в школе еще существовали и старорежимные учителя, с нежностью вспоминая нашего литератора Алексея Сергеевича Лазникова. Это был высокий худой старик с длинными седыми волосами, всегда в безукоризненном темно-синем костюме и крахмальной рубашке с галстуком. В своей любви к русской литературе (а иностранной мы тогда не изучали) он не ограничивался только Пушкиным и Маяковским, которые были превращены в те годы в идолов почти наравне с Марксом и Энгельсом. Алексей Сергеевич явно исподтишка подкармливал нас и Блоком, и даже Иннокентием Анненским, которого тайно боготворил и на которого, как мне теперь кажется, старался даже внешне быть похожим. Ему под стать был географ Иона Титович Коцюбинский. Его морской китель, офицерская выправка, седой ежик и тщательно ухоженная щеточка усов наводили на мысль о дореволюционном гвардейском морском экипаже. Его увлекательнейшие рассказы о Китае и Вест-Индии звучали так, как будто он бывал там самолично (что, впрочем, я не исключаю). Мы слушали его раскрыв рты. Даже мои одноклассники-детдомовцы, абсолютно дикие люди, для которых не существовало иных понятий, кроме «бляха», «мойка» (то есть бритва), «поштевкать» (то есть поесть), затихали при его рассказах. В них он часто вставлял литературные цитаты, что свидетельствовало о его высококачественном дореволюционном образовании (гимназия, морской корпус?). Однажды он совершил рискованный прокол. Рассказывая об Африке, вдруг произнес:

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,  
 Дробясь и качаясь на влаге священных озер.  
 Вдали он подобен цветным парусам корабля...

Но на этих словах вдруг осекся, как будто бы сообразив, что вторгся в какую-то запретную зону. Эти очаровательные строчки запали мне в память, и лишь спустя некоторое время я обнаружил их в растрепанном сборнике строжайше запрещенного в то время Гумилева «Романтические цветы», хранившемся в книжных завалах в шкафу у деда<sup>55</sup>.

От школы — и до шалмана:

— Ребята, подержите горшок с примулой. Я скатерку заменяю...  
 Чуть подвыпившая официантка стягивает со стола белую скатерть с желтыми кругами от пивных кружек. Стелет чистую. И никакого следа не остается от предыдущей компании. А ведь как спорили и до каких высоких материй доходили! Так ушли 40-е и 50-е, когда за одним столом читали Есенина, за другим — Волошина, за третьим — Блока. Даже экзотичный Гумилев витал порой в табачном дыму. Почему-то популярен был его африканский мотив —

Послушай: далеко, далеко на озере Чад  
 Изысканный бродит жираф.

Публика менее экспансивная смаковала:

Слышен свист и вой локобилей.  
 Дверь лингвисты войлоком обили<sup>56</sup>.

Тем временем, ждановским временем, в секвенции идеологических кампаний при желании заработать дополнительные очки по основам сталинизма Гумилеву всегда находилось козырное место (может быть, добавляли одиозности этой фамилии долетавшие из-за железного занавеса знаки величания<sup>57</sup>). Он всплыл, когда очередь дошла до Бориса Эйхенбаума, некогда призываемого Гумилевым в теоретики акмеизма<sup>58</sup> и посетившего одно заседание Цеха поэтов<sup>59</sup>:

Эйхенбаум пишет: «Н. Гумилев звал меня в акмеисты и напечатал два моих стихотворения в “Гиперборее”. Я не был ни символистом, ни акмеистом, потому что жил чувством исторической

случайности и ждал неожиданностей. Приближалось время восстаний и кризисов. Неподвижная во времени, история делала мышечные движения, как поворачивающийся в берлоге зверь. Против культуры шла природа». Так воспринимается Эйхенбаумом революция. Характерно, что именно так воспринимали революцию акмеисты Н. Гумилев и А. Ахматова.

Отгораживая себя на словах от акмеизма, на деле Эйхенбаум писал типично акмеистические стихи:

Убийственные дни!  
 Под грохот урагана  
 Колеблются огни  
 И трубы у органа  
 <...>  
 И внемлет им народ,  
 Не зная, где отчизна:  
 Давно из рода в род  
 Поется эта тризна!<sup>60</sup>

Ср. выступление литературоведа Е.И. Наумова:

Вообще, если заглянуть в эту книжонку, то это просто энциклопедия формализма от начала до конца, причем воинствующего формализма, не уступающего ни одной пяди. Начинается она с биографии, где упоминается Гумилев (расстрелянный белогвардеец), где высказываются ламентации насчет Ахматовой, где Хлебников квалифицируется как великий мыслитель и т.д.<sup>61</sup>

Имя Гумилева было под рукой то в разоблачении окопавшихся в журнальных редакциях врагов,

И там, где завязывалась круговая порука и семейщина, против которых предостерегали нас исторические постановления партии, там, где взаимная выручка эстетов не находила отпора, там рождалась и находила себе приют подопечная враждебная литературная практика. Это и произошло, например, в журнале «Знамя», где известное время царил тесная семейка, которая свои домашние увлечения Гумилевым и Ахматовой, свои домашние привязанности друг к другу тащила на страницы журна-

ла. <...> Мы помним, с какой ненавистью эти подонки эстетства относились к нашей поэзии в самом ее начале и как боялись ее и как хотели всю ее отдать в плен Ахматовой и Гумилеву, в плен заграничному декадансу<sup>62</sup>.

то в истреблении неправильного «стиха»:

Ощутителен на стихах многих поэтов, таких, как Чивилихин, Шефнер, Ботвинник, Хаустов, налет декадентской поэтики, застоявшихся форм старой, предреволюционной школы. Они порой не видят разницы между великим наследием Пушкина и зализанным, вымирающим и нежизненным стихом Гумилева и Мандельштама<sup>63</sup>,

то в очередном оттенении величия Маяковского:

бледная салонная дребедень Гиппиус и Гумилева<sup>64</sup>,

то когда постыдным именем можно было задним числом мазнуть покойников, как неназванный расстрелянный Константин Большаков:

некий эстетствовавший поэт — эпигон Игоря Северянина и Гумилева<sup>65</sup>,

то в мазохистском упоении двоемыслием (как раз в год написания орвелловского романа) и в роковой усладе попирания предметов эстетического вожделения собирателя книжек казнувших в Лету, как говаривал Жданов, модернистов:

Странные вулканические пейзажи Рериха с равным основанием могут быть соотнесены с Огненной Землей и Новой Зеландией, с Памиром и Гималаями. В этом смысле они очень схожи с беспредметно таинственным фоном стихов Бальмонта или Сологуба. Демонизм Врубеля, с его странной византийской окраской, туманный и призрачный пейзаж первого тома блоковских стихов, абстрактные дьяволы, царицы и конквистадоры Гумилева — весь этот реквизит русского декаданса ничем не напоми-

нает той реальной обстановки России, в которой это искусство возникало, росло и распространялось. Вслед за своим учителем Оскаром Уайльдом декаденты проповедывали искусство как «ложь»<sup>66</sup>,

то в инициативе с передней парты не то влиятельного подхалима, не то без лести преданного сталиниста<sup>67</sup>, когда вождь указал на первоочередную важность вопросов языкознания для социалистического строительства, и в риторику ненависти был почем зря вплетен вечно виноватый мученик:

Порча и разрушение языка осуществлялась в этот период в самых различных формах. К этому антинациональному делу приложили руку эстеты и формалисты, футуристы и символисты, продажные журналисты и дипломированные лакеи буржуазии — низкопоклонствующие перед капиталистическим Западом реакционные профессора и приват-доценты. Глубоко равнодушные к национальным особенностям русского языка, его своеобразию, его неповторимому лексическому и интонационному богатству, красоте, выразительности, силе, они настойчиво изошрялись в стремлении насытить русский язык чуждыми ему оборотами и терминами, «подделывать» могучий и вольный русский язык под иностранные образцы. Стоит только вспомнить парфюмерные «поэзы» Игоря Северянина или многие стихи Бальмонта и Гумилева, чтобы понять, какому чудовищному надругательству подвергался русский язык со стороны одержимых духом низкопоклонства буржуазных литераторов<sup>68</sup>.

Все это было рассчитано на то, чтобы попасться на глаза вождю советских народов.

1 См., напр., в стихотворение Юстины Крузенштерн-Петерец:  
 Но старость — в ней тоже есть что-то новое,  
 Глядишь умиленней и любишь полней,  
 И если еще я храню Гумилева,  
 То Симонов стал мне гораздо родней  
 (цит. по: Штейн Э. Николай Гумилев и поэты русского Китая // Рубеж. 1998. № 3. С. 36).

- 2 Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 198.
- 3 Итоги. 2001. № 33(271). С. 42.
- 4 *Вольнец А.Н.* Жданов. М., 2013. С. 286. Воспоминания О.Л. Делла-Вос Кардовской о Гумилеве, записанные Л.В. Горнунгом в 1925 году, см.: Панорама искусств. М., 1988. Вып. 11. С. 188–197 (публ. К.М. Поливанова); воспоминания ее дочери: *Кардовская Е. Н.С.* Гумилев и А.А. Ахматова // Московский литератор. 1989. 9 июня.
- 5 См. инскрипт на сборнике «Звучащая Раковина» (под типографским текстом: «Памяти нашего друга и учителя Н.С. Гумилева»): «Наташе, “маленькой подружке”, на память о зимних вечерах, когда мы читали стихи и о концертах, где слышали голос единственный и неповторимый, навсегда умолкнувший... В. 14/I-46 г.» (выставлялось на аукционе М.Я. Чапкиной в Фотоцентре 24 ноября 2007 года).
- 6 *Пантелеев А.* Из записных книжек (1948–1978) / Публ. С. Лурье // Звезда. 2013. № 8. С. 106; см. в интервью Аделе Камбриа: «Это было время, когда уже создавались легенды о ее лике послушницы, о серых не улыбающихся глазах, о темных ситцевых платьях или, наоборот, парижских с юбкой с разрезом; или о гибкости ее тела, и как она танцевала, или об искусности в играх, которые устраивал ее муж, литератор-сноб Николай Гумилев, и где Анна выступала в роли женщины-змеи» (*Обухова О.Я.* Анна Ахматова глазами итальянской журналистки // *Donum homini universalis*: Сб. статей в честь 70-летия Н.В. Котрелева. М., 2011. С. 249).
- 7 В черные списки развернувшейся кампании он и без того вошел: «Революция заставила последних представителей дворянской интеллигенции решительно пересмотреть и четко определить свой путь. Некоторые, как Зинаида Гиппиус и Марина Цветаева, Мережковский, Гумилев и Ходасевич, порвали со своим народом и стали активными врагами Советской России» (*Трифонова Т.* Поэзия, вредная и чуждая народу // Ленинградская правда, 1946. 14 сентября); «Уже в первые годы революции, в трудной и суровой обстановке гражданской войны и интервенции, в пору, когда Ахматова, Кузьмин <так>, Гумилев, Белый изображали нашу революцию только как опустошительную стихию, в пору, когда потоки лжи и клеветы изливали на нашу страну открытые и тайные враги, Маяковский с великолепной силой и мужеством боролся стихом своим за утверждение и победу нового социального строя» (*Плоткин Л.* Сила со-

- ветской литературы // Против безыдейности в литературе. Л., 1947. С. 45).
- 8 *Костырченко Г.В.* Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., 2001. С. 538.
- 9 «В предисловии сообщается, что в основу антологии легли произведения авторов, “которые сыграли выдающуюся роль в истории русской поэзии. Редакторы антологии усматривали в этих авторах не только представителей определенной литературной формы, творцов определенных новых поэтических направлений, смотрели на них не только под углом зрения эстетическим, но также с точки зрения их общественной роли”. К сожалению, редакторы не до конца придерживаются этого совершенно правильного положения. Чем же иным можно объяснить наличие в антологии произведений таких поэтов, которые не только не занимали выдающегося места и не сыграли сколько-нибудь заметной положительной общественной роли, но, напротив, выступали с антиобщественных, антидемократических, а то и прямо реакционных позиций, как, например, Гумилев, Кузмин, Мандельштам, Вяч. Иванов и некоторые другие? ... такие видные советские поэты, как Д. Бедный, А. Сурков, М. Исаковский, А. Прокофьев, М. Алигер и другие, в антологии не представлены. У польского читателя, таким образом, составляется далеко не полное и не вполне верное представление о современной русской советской поэзии» (*Первомайский Л.* Дружба славянских народов [Рец. на.: Dwa wieki poezji rosyjskiej: Antologia / Ułożyli i opracowali Mieczysław Jastrun i Seweryn Pollak. posłowiem opatrzył Leon Gomolicki. Warszawa, 1947] // Литературная газета. 1948. 17 апреля). Позднее на встрече польских писателей с советским писательским начальством (К. Симонов, В. Вишневский и др.) М.С. Живов говорил: «Из советской поэзии там представлены значительно и полно Маяковский, Блок. Наряду с ними большое место занимают Гумилев, Мандельштам, Кузьмин <так> и т.д., которые, опять-таки, дают не то представление о развитии, об основных направлениях, основных тенденциях развития русской поэзии. Поэтому я думаю, что это нужно продумать более глубоко и на предстоящем совещании подумать о том, как это сделать, чтобы, действительно, польский читатель получил представление об этом периоде русской поэзии» (Стенограмма встречи Секретариата СП с польскими писателями 11 ноября 1948 года — РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 789. Л. 17). До других публикаций из Моск-

вы было дотянуться труднее, в Париже Гумилева все-таки печатали, правда, и там «умалчивается о расстреле Гумилева, гибели Мандельштама, самоубийстве Цветаевой, которая показана как советская поэтесса» (*Берберова Н.* Антология русской поэзии [Рец. на.: *Anthologie de la poésie russe du XVIIIe siècle à nos jours / Emmanuel Rais, Jacques Robert.* Paris, 1947 // Русская мысль. 1948. 24 января. В антологию Э. Райса и Ж. Робера вошли «Змей», «Лес», «Шестое чувство» (заметим, что благодаря эрудиции Эммануила Райса в эту антологию вошли и стихи Василия Комаровского). Ранее во французских антологиях русской поэзии печатались «Камень», «Основатели», «Попугай», «Озеро Чад» (*Chuzeville J.* *Anthologie des poètes russes.* Paris, 1914), «Заблудившийся трамвай» (*Goriely B. et Baert.* *La poésie nouvelle en URSS.* Bruxelles, 1928), «Я и вы», «Солнце духа» (*Mongault H.* *Dans l'ouvrage de Marc Slonim et Georges Reavey: Anthologie de la littérature soviétique 1918–1934.* Paris, 1935), «Царица», «Беатриче», «Озера», «Одиночество» (*David J.* *Anthologie de la poésie russe (de 1900 à nos jours).* Т. 2. Paris, 1948).

- 10 См. наблюдение о том, что конструктивистский ритм и синтаксис сочетается у него с акмеистической лексикой и фразеологией:

Був він молодий і йшов на загибель  
Тільки тому, що червона зоря  
Така ще далека, близько ніби  
Світила на ріки і на моря —

«Это уже напоминает больше Н. Гумилева, чем И. Сельвинского». Приводятся и другие строфы «акмеистичной» поэзии:

Був кожний двір, як темний ліс...  
Грак по дворах блукав  
І всюди колун з собою ніс  
І робити просила рука

.....

Він ніч не спав, працював весь день,  
Працюйте й ви так,  
Як працював пролетарський студент,  
Стипендіянт Грак

.....

Перерветься останній нерв —  
Телефонний дріт до серць —  
І холодний, нікчемний мрець  
Я впаду під сиренний рев.



- (*Державін В.* [Рец. на:] Леонід Первомайський. Терпкі яблука. Поетичне інтермеццо. Всеукраїнська Спілка Пролетарських Письменників. 1929. Стор. 88. Ціна 90 коп. // Критика (Харків). 1929. № 12. С. 129–130.
- 11 См. его наброски к выступлению 3 сентября на заседании президиума Союза советских писателей с сеговониями на то, что вовемя «не изучили групп, которые уводили литературу в сторону от революции»: «Группа 1912 г. — Гумилев, О. Мандельштам, Ахматова и пр. Расхождение в 1922 г. — возобновления, нек<оторые> ответвления...» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 1886. Л. 8). Источник датировки «расхождения» — статья В. Совсуна «Акмеизм» в «Литературной энциклопедии»: «Выражая психологию господствующих классов предоктябрьского периода, акмеисты должны были отрицательно отнестись и к Октябрьскому перевороту. Это сказалося на творчестве и привело их группу к распаду (1922), т.к. они не могли найти в новых условиях социальной жизни источников для их поэтической продукции. В настоящее время за границей продолжают писать эпигоны акмеизма: Ходасевич, Марина Цветаева (см.) и др. Последним представителем акмеизма в Сов. России является О. Мандельштам».
  - 12 РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед.хр. 2241. Лл. 1–15. См. запись в дневнике А.К. Гладкова 31 марта 1961-го: «Читаю 6-й том (дневники и письма) Вишневского. Все-таки очень интересно, хотя Вишневский очень недалек и часто наивен до глупости. Думаю, что он был человеком хорошим, т.е. добрым: сознательно подлости никому не делал. Вот по словам Н.Я. Мандельштам, даже помогал Осипу Мандельштаму деньгами, когда тот бедствовал в Воронеже в 1936 г.» (Новый мир. 2015. №5. С. 140). Ср. письмо В. Вишневского Петру Павленко 12 сентября 1948-го: «Опять в багрец и золото одетые леса. Светло на душе. Честно, просто... Есть Сталин на свете» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед.хр. 2410. Л. 310б.).
  - 13 Ср. подробнее: *Купченко В.* Три письма Всеволода Вишневского // Новый журнал. 1989. № 176. С. 299–301.
  - 14 См. в этом письме: «В списках декадентов и “наследников” болтаются еще Пастернак, О. Мандельштам, Петников, Айхенвальд, Лифшиц Б., <так> Эльснер и пр. и пр. Не нужно останавливаться на этой публике, совсем скатившейся в индивидуализм, в черные провалы...». В письме к тому же В. Азарову от 23 сентября 1948 года Вишневский добавлял: «Вы ведь не один:

рядом целые ряды поэтов. То минор О. Берггольц или Алигер. То — царскосельские парки Рождественского. То “усложнения” Межирова (Только что анализировал его новый ленинградский цикл 1948 года, — весь от символизма, акмеизма и пр. “измов”. Побеседовали, поэт взял цикл на пересмотр...)... Почему “даже” на фронтовых работников, поэтов явно влияют старые, враждебные школы?...» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед.хр. 2241. Л. 58). А. Межирова тогда за «акмеизм» журил и благонадежный Н. Вильям-Вильмонт (см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. М., 2017. С. 640). Помянутому Пастернаку три года спустя Вишневский, как известно, в лицо пожелал стать советским поэтом, за что был послан глубоко.

- 15 Всеволод Витальевич Вишневский (1900–1951) был женат на Софье Касьяновне Вишневецкой (1899–1963) — художнице, киевлянке, товарке Н.Я. Мандельштам по учебе у А.А. Экстер, до того бывшей женой Е.Я. Хазина, брата Н.Я. Мандельштам. 2 января 1936 года Н.Я. Мандельштам писала мужу из Москвы: «Вчера видела Всеволода. Соня мне звонила 10 раз, пока я собралась зайти (вполне сознательно). Большое впечатление от стихов. Особенно: чернозем, день стоял о пяти головах, и веннок. Цитируют. Вернее он цитирует. Спрашивает, куда я сдала стихи. Расспрашивает. Волнуется, читая заявление. Он сейчас сильно у дел. Один из заправил. Я ничего его не просила. Наоборот, говорила, что хлопоты — нелепая и ненужная вещь. Он сам взялся выяснить, что могут сделать для тебя, вернее с тобой. Это очень показательно» (*Тименчик Р.Д.* Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 61). Ср. также: «К нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим “приверженцам” новые приказы правительства. Его пускали в ЦК, и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду-минимум: требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом — через моего брата — в Воронеж» (*Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. М., 1989. С. 251); «Вишневский был сравнительно приличный человек» («Любил, но изредка чуть-чуть изменял»: Заметки Н.Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама / Подг. текста, публ. и вступит. заметка Т.М. Левиной; прим. Т.М. Левиной и А.Т. Никитаева // *Philologica* (М.). 1997. Т. 4.

- С. 186). О его поведении в 1946 году см. также: *Громова Н.* Распад. Судьба советского критика: 40–50-е годы. М., 2009. С. 94, 96, 100–101, 112.
- 16 К Лидии Аполлоновне Аренс (1889–1976) обращены стихотворения «Не медной музыкой фанфар» («Уходящей») и «Сегодня ты придешь ко мне...» («Свидание») (*Лукницкий П.Н.* Асуміана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I: 1924–1925 г.г. Париж, 1991. С. 265); ср. об этих стихотворениях: *Гумилев Н.С.* Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 1. М., 1998. С. 456; о романе Гумилева с Л.А. Аренс: *Лукницкий П.Н.* Асуміана. Т. I. С. 264–265. Ср.: «Недавно, 1963 г., Лида Аренс сказала мне, что стих<отворение> “Андрогин” относится к ней» (*Ахматова А.* Записные книжки. М.; Torino, 1996. С. 366), ср.: *Гумилев Н.С.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 420–421. См. об Аренс в предисловии О.Г. Андреевой к публикации ее лагерных воспоминаний: «В первый раз она была арестована в 1935 г. Тогда она расхохоталась, услышав предъявленные ей обвинения в шпионаже в пользу Франции. Будучи человеком очень смешливым, она откровенно потешалась над своими перепуганными сокамерницами, такими же “шпионками”, как и она сама, уверяя их, что обвинение настолько абсурдно, что через пару дней все они будут на свободе. Действительно, через неделю Л.А. отпустили, извинившись, и она рассказывала с большим юмором всем своим друзьям о том, как она была шпионкой; вскоре выяснилось, однако, что своим быстрым освобождением она обязана заступничеству своего пасынка, драматурга Вс. Вишневского, жившего в ее доме до переезда в Москву. Когда Л.А. арестовали в 1941 г., ее друзья снова обратились к Вишневскому, но тот отказался на сей раз вмешиваться, сказав, что он давно не живет в Ленинграде и не может теперь ручаться за лояльность Л.А. Этого Л.А. не простила ему никогда. Если при первом аресте в доме Л.А. ничего не было тронуту, то при втором аресте был обыск, и все было конфисковано. Так пропал ее богатый архив, и об этом она жалела всю жизнь» (*Сумерки.* 1989. № 6. С. 91).
- 17 Ср. в выступлении Вишневского 3 сентября 1946 года: «Несколько слов об Ахматовой, которая начинала в 1909 г. Меня как редактора и как работника Союза советских писателей удивляет и поражает, почему она сейчас молчит. Почему на мнение народа, мнение партии и на все то, что сказано в наших стенах она не отвечает? Если она так пренебрежительно ведет себя по отношению к Союзу, неправильно ведет, неверно, по-

лагаю — надо ставить вопрос о дальнейшем ее пребывании в Союзе, так же, как и Зощенко» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 771. Л. 93). Подготавливая стенограмму для печати, Вишневский поправил: «Неправильно ведет себя, сугубо индивидуалистически, враждебно» (Литературная газета. 1946. 7 сентября). Ср. запись в дневнике Б.М. Эйхенбаума: «В “Лит. газете” — ужасные выступления писателей. Нападение на Пастернака. Вишневский негодует, что Ахматова “молчит”» (Петербургский журнал. 1993. № 1–2. С. 193). См. подробнее: *Тименчик Р.* Из Именного указателя к записным книжкам Ахматовой // *Russica Romana*. 2010. Vol. XVII. P. 205–212.

- 18 *Перцов В.* Маяковский. Жизнь и творчество (До Великой Октябрьской социалистической революции). М.;Л., 1950. С. 190–191; «соратник» — М. Зенкевич.
- 19 Ср. о дебюте Веры Инбер: «...в то предвоенное время сладковатый вкус ущербности мира определял тогдашнюю поэзию. Хотя уже в литературных салонах раздавался “простой, как мычание” рык Маяковского, хотя уже капризно, но чувственно и бездумно пел Игорь Северянин, но стиль Бальмонта, Блока, Белого, Соллогуба считался общепризнанным комильфо. В “женской” поэзии царила Анна Ахматова. Символизм и настроения раннего декадентства уже подходили к своему эстетическому рубежу, сникали и гасли. <...> Захотелось больше простой, пусть иногда неглубокой, душевной теплоты, большего житейского разнообразия, больше житейских впечатлений, пестрых и нежных, не нанизанных на умственный вертел, а скрепленных какой-нибудь остроумной максимой, легким узлом мысли, как завязывают носовой платок “на память”. Так пришел Гумилев, его школа акмеизма. Она делала мир более интимным, более примиряющим и, вместе с тем, занимательным и неразгаданным.

Вера Инбер родилась на переломе, посередине.

Точно голос Гумилева сказал юной поэтессе, когда она (“Чистая Гамсуна”) написала:

Я подарил ей ручного фазана,  
С грудью пестрей, чем коллекция марок,  
С хохлом густо красным, как кожица перца,  
Как туфли татарского хана

(*Зелинский К.* Поэзия как смысл: Книга о конструктивизме. М., 1929. С. 255–256).

- 20 Протокол заседания секции поэзии ССП 9 октября 1946 года — РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 786. Л. 43.

- 21 Об этом авторе, как и ряде других, упоминаемых в книге, см. вздох исторического читателя на исходе века: «Разве мало было в России слабых, тусклых, прочно забытых, даже бездарных стихотворцев? Кто сегодня станет читать поэтов, когда-то — несколько десятилетий назад — печатавшихся во всех журналах, толстых и тонких, и выпускавших сборник за сборником? Назову наудачу Бронислава Кежуна, Виссариона Саянова, Льва Ошанина, Алексея Суркова (кроме стихотворения «Землянка» — «тлеет <так> в тесной печурке огонь», без которого не обойдется ни одна антология), Степана Шипачева, Анатолия Софронова, Николая Грибачева, Александра Коваленкова» (*Эткинд Е.* Литературное самоубийство Николая Тихонова // *Revue des Études Slaves.* 1999. Vol. 71. № 3. P. 675).
- 22 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 782. Лл. 131–136. Ср. его отклик на смерть Жданова: *Кирсанов С.* Пропагандист бессмертных идей // *Литературная газета.* 1948. 1 сентября.
- 23 РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед.хр. 608. Л. 700б.
- 24 Стенограмма заседания русской секции ССП Узбекистана по обсуждению постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 30 октября 1946 года — РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 34. Ед.хр. 72; Сергей Александрович Кашеваров, автор поэмы «Энвер-Паша», в 1934 году переехал в Москву, работал переводчиком, одно время служил редактором в Госиздате; далее Станишевский говорил о «влиянии группки неоакмеистов среди проходимцев в русской секции — Бессонова, Лаврентьева и др.».
- 25 «Надо сказать, что над вопросами стиля пролетарской поэзии Саянов размышлял очень много и очень серьезно. Результатом этих размышлений являлся ряд его теоретических работ («Начало стиха», «От классиков к современности», «Очерки по истории поэзии XX века» и др.). Через все эти работы Саянов настойчиво проводит мысль о преемственности поэтической культуры, о необходимости для пролетарского поэта овладеть всем предшествующим поэтическим наследством, включая поэзию эпохи империализма. В частности разработке проблем, связанных с критическим освоением наследства символизма, футуризма и особенно акмеизма, Саянов уделил особое внимание.
- В своей педагогической практике в качестве руководителя начинающими поэтами и в своих теоретических работах Саянов одно время подчеркивал особое значение поэтического наследства акмеистов, в первую очередь Гумилева, для проле-

тарской поэзии. Он обосновывал свою идею такими качествами акмеистического стиха, как “предметность”, такими сторонами акмеистического мировосприятия, как “активность”, в противовес пассивности эпигонов символистской школы, наконец, своеобразным “материализмом” акмеистического мировоззрения (опять-таки по сравнению с мировоззрением символизма). Не вступая сейчас в теоретическую полемику с Саяновым по этому уже исторически снятому вопросу, я хочу лишь отметить, что теоретической позиции Саянова не вполне соответствовала его творческая практика. Влияние акмеистической поэзии на его лирику оказалось значительно меньшим, чем влияние символистов, главным образом Блока, и футуристов, главным образом, Маяковского и Асеева. “Конкретные” детали, предположим, акмеистические по своему генезису, в стихах Саянова 1926–1929 гг. тонут в типично-блоковском напевном ритме и синтаксисе с романтическими повторами, с романтической заумью, со смещением двух планов (у Блока второй план — мистический, у Саянова — условно-романтический). <...> Та “интеллектуальная жадность”, о которой я писала выше в связи с характеристикой идейной позиции Саянова, определила необычайную широту литературных влияний, впитанных Саяновым. Наряду с элементами Блока, Маяковского, Асеева, Гумилева (примеров последних я не приводила, так как они менее численны и характерны), мы можем столкнуться с таким стихотворением, как “Утро”, чрезвычайно близким по интонации к стихам В. Казина» (*Мустангова Е.* О стихах В. Саянова // *Литературный современник.* 1934. № 9. С. 111, 114). См. также про приобретенные В. Саяновым при учебе у Гумилева «точную, выразительную, скульптурную пластичность деталей, выверенность ритмики, мужественную волевую интонацию» (*Тарасенков А.* Поход за культурой // *Художественная литература.* 1935. № 5. С. 7). См. эпиграмму на него (вероятно, А. Безыменского):

В книги акмеистов глянув  
И Асеева узрев,  
Мы поймем, что В. Саянов

Не пролет,  
Не ак,  
Не леф,  
А жених для старых дев

Гумилефейших романов  
На чумандринский напев.

- (Литературный паноптикум (Краткострочное описание экспонатов) // Удар за ударом. Удар второй. Литературный альманах / Под ред. А. Безыменского. М.; Л., 1930. С. 335).
- 26 Саянов В. Поэты великого идеологического наступления // Звезда. 1949. № 3. С. 201–202.
- 27 Разговор о поэзии: Дискуссия в Союзе писателей // Литературная газета. 1948. 22 марта.
- 28 «В поэзии Ленинграда долгое время ощущались рецидивы декаданса, формализма, эстетства <...> Интересен цикл стихов А. Гитовича о Северной Корее.<...> Прав поэт, останавливая свое пристальное внимание на лучших, передовых людях Кореи — наших чутких, благодарных и верных друзьях. Стих А. Гитовича, с некоторой склонностью к повествовательности, прост и красочен. Но не обошлось в данном случае и без серьезных художественных срывов. <...> часто слово для автора перестает быть средством изображения, превращаясь в самоцель, в своеобразную игру эпитетами» (Грибачев Н. Сближение с жизнью: Об отделе поэзии в журнале «Звезда» // Литературная газета. 1950. 15 марта.
- 29 Зарецкий В.А. Из воспоминаний о Б.О. Кормане. Очерк второй: Годы 1947–1948: Взялся за гуж // Кормановские чтения. Вып. 7 / Ред.-сост. Д. И. Черашняя. Ижевск, 2008. С. 389. Адепт советских «критериев художественности» С.К. Гречишко как был как раз гонителем Б.О. Кормана.
- 30 Розенблюм О. Путь в литературу Булата Окуджавы: между официальной культурой и культурной периферией // Вопросы литературы. 2007. № 4. С. 184. Упомянут Георгий Владимирович Крейтан (Попов; 1900–1951).
- 31 Кудрова И. Прощание с морокой. СПб., 2013. С. 47 (упомянута Ада Абрамовна Амстердам). Ср. также: «Я очень дружила с одним мальчиком, сейчас он — известный ученый. Мы гуляли, читали Гумилева, читали Ахматову, роман Честертона “Возвращение Дон-Кихота”. И тут появилось это постановление о журнале “Звезда” и “Ленинград”. Я очень любила Ахматову. Я помню, как я стояла на Кронверкском проспекте, читала эту газету с похабными ждановскими словами, и мне стало так плохо, что просто ноги подгибались от отвращения и ужаса» (Трауберг Н. Противление страданием / Беседовала Анна Курт // Истина и жизнь. 1997. № 10. С. 10).

Ср. также: «Я рассказал ей [Ахматовой], как в черные для меня университетские годы мой друг и однокурсник Евгений Левитин (впоследствии известный в Москве историк искусства) приобщил меня впервые к потаенной поэзии, частью печатавшейся когда-то или где-то, частью же и рукописной. Так я узнал Гумилева, “Европейскую ночь” Ходасевича, пастернаковские “Стихи из романа”» (*Маркиш Ш. Могучая евангельская старость // Знамя. 1997. № 11. С. 121*).

- 32 *Никулина О.* Лаврушинский 17: Семья и книги, друзья и враги. 2-е изд., перераб. и доп. Кн. 2. М., 2014. С. 324.
- 33 У театроведа Симона Дрейдена стихи Гумилева и Ахматовой были изъяты при аресте 21 декабря 1949 года, в день семидесятилетия Сталина: (Распяты: Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 4. СПб., 1998. С. 121).
- 34 *Вирта Т.* Родом из Переделкино. М., 2012. С. 87; мемуаристка — дочь четырежды лауреата Сталинской премии. Ср. о нем: «Ничего не читал, не любит ни поэзии, ни музыки, ни природы. Он очень трудолюбив, неутомимо хлопочет (и не всегда о себе), не лишен литературных способностей (некоторые его корреспонденции отлично написаны), но вся его природа — хищническая. Он страшно любит вещи, щегольскую одежду, богатое убранство, сытную пищу, власть» (*Чуковский К. Собр. соч. в 15 тт. Т. 13. М., 2013. С. 56–57*).
- 35 *Луговской В.* Раздумье о поэзии. М., 1960. С. 195.
- 36 *Сарнов Б.* Скуки не было: Первая книга воспоминаний. М., 2004. С. 441, 450–451. Ср.: «Коридоры Дома Герцена, как часто называют наш институт, всегда гудели от стихов, но выражению одного из студентов первых поколений — Михаила Луколина. Взахлеб читались “свежие”, свои — и давние чужие, которыми восторгались, даже если их авторы в ту пору находились в опале и забвении, будь то Гумилев, Мандельштам, Цветаева, Корнилов. “Петербург, я еще не хочу умирать,” — рубил рукой воздух Эмка Мандель. “На земле нас не так качало!” — гремел Солоухин. Да ведь и “Сан Саныч” (Реформатский) преспокойно цитировал как пример особого, “питерского” произношения, гумилевские:

И умру я не на постели  
 При нотариусе и враче,  
 А в какой-нибудь дикой щели,  
 Утонувшей в густом плюще»

(*Турков А. Что было на веку... М., 2009. С. 70*).



- 37 *Коржавин Н.* Опыт сороковых // По прихоти судьбы...: альманах / Сост. С. Блох, В. Ройтман. М., 2006. С. 296 (цитируется по памяти, первая строка: «Застонал я от сна дурного»). Ср.: «Мы все время читали о свободных людях и поступках, о борьбе за свободу, о приключениях на свободе, о свободных поисках своего места в жизни. Сытое и ровное существование, которое мы вели и которое видели вокруг, было предельно несвободным, огосударствленным, оказанным, до мелочей регламентированным, для всех унифицированным, со всех сторон стиснутым. Мы противопоставляли ему свой стилизованный и вместе с тем живой для нас Мир Приключений. Откуда-то (не от отца ли?) я подхватил неизвестно чьи завожившие меня строки:

Мы были моряки, мы были капитаны,  
Водители безумных кораблей, —

И твердил как молитву. (Через много лет выяснилось, что это неточная цитата из Гумилева...)» (*Портнов В.* Нищая идиллия. Иерусалим, 2017. С. 134–135; ср.:

Нас было пять... мы были капитаны,  
Водители безумных кораблей,  
И мы переплывали океаны,

Позор для Бога, ужас для людей (1907).

- 38 *Иванов Вяч. Вс.* Перевернутое небо: Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 11. С. 120.
- 39 *Иванов Вяч. Вс.* Стихи разных лет. М., 2005. С. 79.
- 40 *Иванов Вяч. Вс.* Звездная вспышка (Поэтический мир Н.С. Гумилева) // Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. М., 1988. С. 336.
- 41 *Свирский Г.* На лобном месте: литература нравственного сопротивления (1946–1975 гг.). Лондон, 1979. С. 94–98. Поэт, переводчик Константин Петрович Богатырев (1925–1976) был арестован в 1951-м на третьем курсе филфака МГУ, приговорен к смертной казни, замененной 25 годами лишения свободы, в 1956-м реабилитирован. Эссеист и прозаик Геннадий Моисеевич Файбусович (псевдоним «Борис Хазанов») учился на классическом отделении филфака МГУ, арестован в 1949-м по обвинению в антисоветской агитации, освобожден в 1955-м. Писатель Григорий Цезаревич Свирский в 1946–1951 годах учился на филфаке МГУ и в Литературном институте.
- 42 Участница Бригады будущий театровед Наталья Крымова вспоминала о вечерах свободной читки в ней: «И еще поэзия где-то рядом стережет и сторожит тебя, не дает тебе быть безвкусным, бестактным, грубым, вульгарным, пошлым, глупым.

Понимаете, нас сторожили такие люди, как Маяковский, Блок, Брюсов, Гумилев, которого читали, кстати, не раз тогда в Бригаде» (Возвышенный корабль: Виктор Дмитриевич Дувакин в воспоминаниях. М., 2009. С. 73)

- 43 Там же. С. 157 (воспоминания В.А. Зайцева).
- 44 Там же. С. 151–152.
- 45 См. ее воспоминания: «Против Библиотеки Ленина, там, где сейчас вход в метро, был букинистический магазинчик — я там купила, например, “Жемчуга”, в совершенно свободной продаже, в то время как Гумилева... Ну, понятно...» (Там же. С. 129).
- 46 Терц А. Спокойной ночи // Терц А. (Синявский А.Д.). Собр. соч. в 2 тт. Т. 2. М., 1992. С. 581.
- 47 Русина Ю.А. Рифмы жизни. История студенческого литературного кружка УрГУ (40-е годы) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2011. № 4(96). С. 269–285.
- 48 О феномене симоновского стихотворения см.: Чудакова М. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня...» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 223–259. В 1950-е в городских легендах появилась история о том, что Симонов для своего стихотворения взял да воспользовался черновиком Гумилева.
- 49 Рутминский В. Поэты серебряного века: Монография. Т. 2. Екатеринбург, 2000. Т. 2. С. 200.
- 50 Губарев В. От сохи до ядерной дубины. М., 2016. С. 164–165.
- 51 Баевский В. Стихотворение Николая Гумилева о водородной бомбе // Звезда. 2009. № 4. С. 223; ср. воспоминания о прогулках с Ю.Б. Харитонов: «...начинал обычно Ю.Б. с Пастернака, Игоря Северянина, Гумилева» (Азарх З.М. Моих друзей прекрасные черты // Юлий Борисович Харитон: путь длиною в век. М., 2005. С. 511).
- 52 См. свидетельство актрисы Клавдии Пугачевой, читавшей Ландау стихи Гумилева: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 604.
- 53 См.: «В 1984 г., когда уже значительно утяжелилась его предсмертная болезнь (паркинсонизм), я приехал к нему в академический санаторий “Узкое” на дежурство. В тот период главная обязанность дежурного заключалась в помощи при прогулке. Гуляя по парку, мы заговорили о поэзии, и я сказал, что люблю Гумилева. Колмогоров сразу же процитировал: “Из-за свежих

- волн океана красный бык приподнял рога. И бежали лани тумана под скалистые берега". Я признался, что не знаю, что это такое. "Гумилев. Поэма 'Дракон'", — сказал Колмогоров и потерял интерес к продолжению беседы. Каким-то образом эта поэма (а если быть точным, то первая часть задуманной Гумилевым 12-частной "Поэмы начала") не отложилась в моей памяти, и именно в нее Колмогоров и сунул меня носом с первого же попадания» (*Успенский В.А.* Предварение для читателей «Нового литературного обозрения» к семиотическим посланиям Андрея Николаевича Колмогорова // *Новое литературное обозрение.* 1997. № 24. С. 177).
- 54 *Харитон Б.* Гумилев — каким мы его знали (К пятилетию со дня расстрела) // *Сегодня.* 1926. 28 августа.
- 55 *Петров М.* Послевоенное: Школьные годы, Ленинград 1945–1953 гг. // *Звезда.* 2017. № 6. С. 195; «дед» — Николай Сергеевич Норкин (1883–1962), в момент первого издания «Романтических цветов» — чиновник особых поручений при Министерстве путей сообщения.
- 56 *Хромов В.* Вулкан Парнас. Самография // *Зеркало: Международный литературно-художественный журнал (Тель-Авив).* С. 124; панторифма Гумилева давно вошла в учебник:  
 «Панторифмы Николая Гумилева:  
 1) Слышен свист и вой локобилей.  
 Дверь лингвисты войлоком обили.  
 2) Возьми сей боб, натри иначе ты, Ревекка,  
 Хватило чтоб на три и на четыре века».  
 (*Шульговский Н.* Прикладное стихосложение. Л., 1929. С. 16).  
 Источником сведений был, вероятно, В. Пяст: «Не он ли [М.Л. Лозинский] вместе с Гумилевым сочинил и такой вариант панторифмы?  
 Первый гам и вой локобилей...  
 Дверь в вигвам вы войлоком обили...  
 (дело происходит, конечно, в Клондайке)» (*Пяст В.* Встречи. М., 1929. С. 260) «Локобиль — передвижная, на колесах, паровая машина, для передачи паровой силы при различных работах» (*Карманный словарь иностранных слов / Сост. Н.Я. Гавкин.* Изд. 21-е. Киев, 1904. С. 343).
- Однако Ирина Одоевцева вспоминала, что Гумилев «считал ее авторами каких-то, мне неизвестных, студентов-словесников» (*Новый журнал.* 1966. № 84. С. 288). Память об этих кунштюках жила в профессиональном фольклоре стихописцев: «Гумилеву

приписывают двустишие, в котором смысл принесен в жертву богатой рифме, но рифма в котором, действительно богата:

Шагу не ступишь в этом пристанище.

Ну-ка, ты к нам с балетом пристань еще!

К сожалению, я не помню, кому приписывают еще две рифмы, даже более богатые, чем приведенная:

Слышен свист и вой локобилей,

Дверь лингвисты войлоком обили.

И вторая —

Возьми сей боб, натри иначе ты, Ревекка,

Хватило чтоб на три иль на четыре века»

(Нароков Н. Шуточки // Новое русское слово. 1961. 30 июня).

Двустишие про обитую войлоком дверь без имени автора гуляло и по советской печати: «Как ни печально, в этом есть зерно истины. Увлеченные историей языка, лингвисты явно недостаточно изучают тот язык, на котором люди сегодня говорят на улице, дома, на работе» (Костомаров В. С точки зрения иностранца // Неделя. 1966. 9–15 августа).

57 См. разговор с Ахматовой 19 сентября 1949 года: «Гумилев был расстрелян 25 августа, Пунин арестован 26-го. «Отбросив всякие суеверия, — говорит А.А., — все таки призадумайся. А эти милые американцы не унимаются, “Толос Америки” 25 августа возвестил: сегодня исполняется 28 лет со дня смерти большого русского поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками, — и затем обо мне. Вы понимаете, как это неприятно Леве. Но американцы были бы счастливы, если бы меня в мясорубке искрошили, это бы дало им лишь новый повод для возмущения и пропаганды» (Шапорина Л.В. Дневник. В 2 тт. / Вступит. статья В.Н. Сажина. М., 2012. Т. 2. С. 139).

58 Ср. в письме Б.М. Эйхенбаума Г.О.Винокуру (1924): «мысль о том, что я прирожденный критик, мне кажется неверной. Мне это говорили, а Гумилев когда-то соблазнял меня предложением “возглавить” акмеизм. К литературным школам, как и к политическим партиям, я относился всегда с недоверием и осторожностью — как прирожденный теоретик и историк. Пафоса пропаганды новых литературных течений у меня никогда не было. Да такая критика после символизма, пожалуй, и невозможна. Футуризм сделал нас трезвыми скептиками по отношению ко всему новому. Критика и наука сблизилась, как это было в 30-х годах» (Чудакова М., Тоддес Е. Наследие и путь Б. Эйхенбаума // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987. С. 18).

Б. Эйхенбаум — автор рецензии на «Колчан» (Русская мысль. 1916. № 2. Отд. III. С. 17–19; Н.С. Гумилев: pro et contra. СПб., 2000. С. 428–432). Откликаясь на доклад В.М. Жирмунского о «преодолевших символизм», Эйхенбаум возражал: «Ты смотрел на слова так, как они написаны, и потому решился сказать, что в военных стихах Гумилева есть большое религиозное чувство. Я не знаю, есть ли у него это чувство, но слова его придуманы, преувеличены, взяты большие нарочно, п. ч. душа не подсказала малых, подлинных» (Переписка Б.М. Эйхенбаума и В.М. Жирмунского / публ. Н.А. Жирмунской и О.Б. Эйхенбаум; вступит. ст. Е.А. Тоддеса // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 288).

- 59 См. его письмо к Л.Я. Гуревич от 11 января 1914 года: «Вчера был в “цехе поэтов”, многих повидал — от Городецкого вплоть до... Хлебникова. Был Василий Гиппиус, Мандельштам, Зенкевич, Гумилев, Верхоустинский, Моравская, были и еще какие-то, был даже Дмитрий Цензор. Была и очаровательная Ахматова. Читали стихи — прочитал и я два. Похвалили. На меня все эти знакомства, видимо, хорошо повлияют. Много говорили с Моравской — очень искренний человек. Тягостное впечатление произвел на всех Хлебников. Юноша в сером костюме, с серым лицом и обвислыми губами, с блуждающими и совершенно глупыми глазами. Когда пришел его черед, он беззвучным голосом, точно загипнотизированный, заявил, что русский футуризм после отрицания смысла и звуков пришел к выводу, что возможно стихотворение из одних знаков препинания, и затем, секунду помолчав, продиктовал: ? — ! — ... Его попросили повторить — он сбился и назвал в другом порядке. Горячо, хотя и не умно, заговорил Городецкий.

Потом и другие поговорили. Интересно, что вне этого Хлебников не проронил ни звука. Мне очень понравились стихи В. Гиппиуса. Городецкий прочитал плохое стих-ие. Гумилев, как всегда, парнасен. Я запомнил первую строфу:

Над этим островом какие выси,  
Какой туман!  
Здесь Апокалипсис написан  
И умер Пан.

Дальше — о скрипке, которая превращается в девушку. — Следующий раз принесу к Вам “Гиперборей” — у меня полный комплект. Моравская обещала прислать мне свой сборник детских стих-ий — я тогда напишу отзыв в “Русск. Мысли”. Ахма-

това готовит второй сборник» (РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед.хр. 201. Л. 86). Ср. заметку «В «Цехе поэтов»: «На днях в собрании кружка “Цех поэтов” авторами было прочитано много новых стихотворений. Причем в дебатах по поводу прочитанного поэт Н. Гумилев отметил в творчестве новейших поэтов любопытное явление, требующее исследования психологов. Это — стремление уйти из времени и обосновать свои переживания вне понятий: настоящее, прошедшее и будущее. Футурист Хлебников, когда до него дошла очередь читать стихи, заявил, что кубо-футуризм, к которому он примыкает, дошел до отрицания понятий, слов и букв. И поэтому он прочтет стихотворение состоящее из знаков препинания. И он прочел:

! — ? — : ...

Поэт Сергей Городецкий резко высказался против дурачеств и нелепостей футуристов: своими выходками они заслоняют истинные черты искусства и мешают к футуризму относиться как к серьезному явлению» ([*Цензор Д.*]. В «Цехе поэтов» // Златоцвет. 1914. № 3. С. 16). Об упомянутом стихотворении «На острове» ср.: «one of most remarkable poems ever written in the opinion of Vladimir Nabokov, the talented contemporary poet» (*Strakhovsky L. Craftsmen of the Word. Three Poets of Modern Russia: Gumilyov, Akhmatova, Mandelstam. Cambridge, 1949. P. 35*). В экземпляре издания с первой публикацией этого стихотворения (Альманахи стихов, выходящие в Петрограде / Под ред. Дмитрия Цензора. Пг., 1915; собрание Л.М. Турчинского) против последних трех строф —

Да! Это только чары, что судьбою  
Я побежден,  
Что ночью звездный дождь над головою,  
И звон, и стон.

Я вольный, снова верящий удачам,  
Весь мир мне дом,  
Целую девушку с лицом горячим  
И с жадным ртом.

Но лишь на миг к моей стране от Вашей  
Опущен мост.  
Его сожгут мечи, кресты и чаши  
Огромных звезд

— помета филолога С.И. Бернштейна: «В. Брюсов».

- 60 Папковский Б. Формализм и эклектика профессора Эйхенбаума // Звезда. 1949. № 9. С. 169. Борис Васильевич Папковский (1908–1950) стал героем двух эпиграмм Эйхенбаума:

В созвучии имен и слов  
Есть некий смысл философский  
Мне орден выдавал Попков,  
А затевал сгубить Папковский.

Мой совет вам, господа,  
На меня не врите,  
И не будете тогда  
Умирать в нефрите.

См. также запись 1943 года: «У нас же недавно, на конференции критиков, редактор “Звезды” Папковский, в котором заключается “быть или не быть” всех ленинградских писателей, объявил такое (заметьте, в публичном докладе!):

— Нам теперь не нужны исследования о Данте и изучение его эпохи. А вот если бы кто-нибудь мог доказать влияние русской литературы на Данте и его эпоху — это было бы интересно и своевременно...

Все так обалдели, что встретили эту “милую шалость” гробовым и покорным молчанием. Один Реизов открыто и дерзко захохотал — и смеялся долго, но один» (*Островская С.К.* Дневник / Вступит. ст. Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и комм. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. М., 2013. С. 460).

- 61 Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование. М., 2012. Т. 2. С. 303; ср. письмо А. Гитовича к В. Лифшицу (1960-е): «Ко мне сейчас иногда заглядывает Гранин. Как-то он рассказал мне поразительную вещь о том, как ректор нашего Университета, ныне академик, А.Д. Александров публично уничтожил доктора наук, знакомого нам Наумова. Назвав его доносчиком и подлецом (дело шло о поэзии!)» (*Кичанова-Лифшиц И.* Прости меня за то, что я живу. New York, 1982. С. 149).
- 62 Луконин М. Проблемы советской поэзии // Звезда. 1949. № 3. С. 183; вариант статьи см.: Литературная газета. 1949. 19 марта; отклик на нее:

«В “Литературной газете” находим обширную статью, в которой красной нитью проходит мысль о том, что необходимо выкорчевать последние остатки “блоковских” настроений из

советской поэзии. Эти настроения все еще существуют, после 32 лет советского режима, и настала пора их вымести железной метлой. Они сказываются в “мотивах уныния” поэтов, когда к такому унынию нет никаких поводов. “Эстеты”, любящие подобную поэзию, льстят поэтам, вместо того, чтобы их учить, чем еще больше вредят делу. Между тем, добрый совет, данный вовремя, может еще спасти человека. Луконин приводит в пример Маргариту Алигер, поэтессу талантливую, которая некоторое время тому назад обнаружила “уклон”. Но критика ей пригрозила, и она послушно “отдалилась от ахматовских настроений”.

Такие критики, как Данин и Зелинский, особенно повинны перед советской поэзией. Они годами призывали писать “неизвестно о чем”. “В исторической речи Жданова, — пишет Луконин, — он запретил копать в своих мелких душонках”. А потому пора, наконец, одуматься! Но наряду с вредителями, существуют, конечно, и настоящие поэты, которые пишут о “промышленном и колхозном труде”. Таков Н. Грибачев, воспевающий “парторга” колхоза “Победа”. Таков К. Мурзиди, воспевающий уральских индустриальных рабочих, или С. Васильев, пишущий о шахтерах Мосбасса. “Каждое стихотворение, — пишет с восторгом Луконин, — сопровождается даже фотодокументом!” — настолько оно правдиво. Это, действительно, невиданное никогда новшество, которое, несомненно, приветствуется в советской поэзии. Тема взаимоотношений СССР с капиталистическим Западом привлекла внимание К. Симонова и В. Инбер. Эта последняя пишет о социальных несправедливостях в Иране, а В. Луговской, поэт с именем, и занимающий крупное общественное положение, высказался в своей поэме о “рядовых работниках ЦК”. Из более молодых, Е. Долматовский, С. Щипачев и С. Смирнов “уяснили себе важность директив партии”. Что же касается других начинающих, издавших в этом году свои первые книги <далее следуют имена>, то они “не видят разницы между великим наследием Пушкина и зализанным, вымирающим стихом Гумилева, Мандельштама и Бунина (!!!)”. Особо достается поэту Павлу Антокольскому (уже не молодому, начавшему незадолго до революции), он совершенно пришелся в текущем году не ко двору. Его стихи проникнуты “сионизмом и буржуазным национализмом”, — пишет Луконин, а его статья о Блоке “Совесь русской поэзии”, — в корне ложна. “Да, — замечает с некоторой грустью советский критик, — далеко нам, поэтам, до стахановцев и колхозников”»



(И. [Берберова Н.] Советская поэзия в текущем году // Русская мысль. 1949. 13 мая); неточности: П.Г. Антокольский дебютировал в печати в 1918 году; у Николая Грибачева, певца парторгов, коллеги находили в числе прочих влияние вымирающего стиха Гумилева (Тименчик Р.Д. Подземные классики. М., 2017. С. 610). Ср. о Михаиле Кузьмиче Луконине (1918–1976): «Даже в сталинские времена хвалили скорее замыслы произв. Л., чем их исполнение, позднее сов. критики писали о его беспомощности, недостатке концентрации и искусственной усложненности. Сб. “Необходимость” был все же отмечен некоторым признанием: Гос. премией СССР за 1973. После смерти Л. о нем было сказано много положительного». (Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М., 1996. С. 241); см. также: Тименчик Р.Д. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы. М., 2014. Тт. 1–2 (по именному указателю).

- 63 Луконин М. Проблемы советской поэзии. С. 194; ср. в варианте «Литературной газеты»: «между великим наследием Пушкина и зализанным, вымирающим стихом Гумилева, Бунина и Мандельштама. Неужели надо доказывать, что наше содержание не может уместиться в рамки вялого, расслабленного стиха, за который еще держатся некоторые поэты?!»

О таком укорененном в читательском сознании конструкте, как «стих акмеистов» см, напр., высказывание о «фоне застывших интонаций стиха мандельштамовско-гумилевского» (Друзин В. [Рец. на.: Красная новь. 1925. № 1 и 2] // Звезда. 1925. № 2(8). С. 289); ср. о нем же: «Теперь, когда акмеизм стал прошлым, и довольно далеким, и когда позволительно к его “богам” подойти без искусственного фимиама, можно заметить, что и у акмеистов звучит некоторая дисгармония, но только иного порядка. Оговорюсь, что хотя Гумилев, Ахматова, Мандельштам и Кузмин для меня и не принадлежат к тем “непогрешимым” десяти, о которых я сказала вначале, но они идут сейчас же за ними, как большие поэты нашего века, наши бессмертные забытые, наши великие запретные. Дисгармония, которую не изжили (видимо не успели изжить) акмеисты, касается не словаря образов, как у Некрасова, но находится между словарем и образами с одной стороны, и ритмикой — с другой. В этом отношении белые стихи Кузмина и паузник Ахматовой более органичны, в то время как традиционный стих Гумилева и Мандельштама как-то не вяжется с той революционностью, которую, казалось бы, они несли с собой. Ставя Гумилева и

Мандельштама очень высоко, я все же не могу не удивляться, как эти два больших поэта прошли мимо новых возможностей ритма, не сломали старые, конвенциональные двух и трехстопные метры, не отбросили рифму, вообще в конечном счете оказались более консервативными, чем некоторые из символистов (как напр. Белый), против которых они подняли бунт. Сейчас, 40 лет спустя после акмеизма, не верится, что многие стихи акмеистов были написаны после “Первого свидания” Белого. Они кажутся такими “причесанными”» (*Берберова Н.* Ключи к настоящему // Новый журнал. 1961. № 66. С. 116).

- 64 *Лукин М.* Певец советской Родины // Литературная газета. 1949. 13 апреля. Ср.: «Резким скачком поднялся Маяковский от трагического пацифизма первых месяцев войны к активному антивоенному протесту. Глава акмеистов Н. Гумилев писал в начале 1915 года такие стихи:

И воистину светло и свято  
 Дело величавое войны.  
 Серафимы, ясны и крылаты,  
 За плечами воинов видны...

Презираемые в “Бродячей собаке” буржуазные дельцы — “фармацевты” могли бы только аплодировать этим акмеистическим “серафимам”» (*Перцов В.* Маяковский. Жизнь и творчество (До Великой Октябрьской социалистической революции). С. 278–279); ср. также: «В. И. Ленин писал об этом периоде: “Годы реакции (1907–1910). Царизм победил. Все революционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики. Усиление тяги к философскому идеализму; мистицизм как облачение контрреволюционных настроений”. С циничной откровенностью эти контрреволюционные настроения выражены в романах Арцыбашева и в публицистическом сборнике “Вехи”. Более завуалированно они проявляются у акмеистов. Акмеизм — не новая школа, “преодолевшая символизм”: акмеизм — это по сути дела тот же символизм, но в новых исторических условиях. В нем сохранилась и мистика — у Гумилева и в особенности у Ахматовой, и экзотика, и — главным образом у Гумилева — развернутая программа империалистической экспансии. Установка акмеистов на большую конкретность, предметную осязаемость изображаемого, “вещность” их стихов является развитием исканий тех же символистов, в частности В. Брюсова. Акмеизм — наиболее целостное и последова-

- тельное выражение идеологии империализма в художественной литературе. Мировая война 1914 года до конца разоблачает классовую природу символистов и акмеистов. Все они, кроме Блока, в 1915–1916 годах включаются в хор певцов и пропагандистов войны. М. Горький в докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей, говоря о литературе предреволюционного десятилетия, отметил, что оно “вполне заслуживает имени самого позорного десятилетия в истории русской интеллигенции”» (*Маслин Н.* Владимир Маяковский. М., 1949. С. 31); «После Октябрьской революции акмеисты неприкрыто выражали свою звериную озлобленность против советской власти. Так, например, некий Н. Оцуп цинично и развязно писал о своем бегстве от революции “в избу... крестьянина — Вандейского потомка” и о том, очарованный “медлительным движением на пахоте навозного жука”, он забывает “об эпохе нашей”. “Все расхищено, предано, продано”, — вторила ему акмеистка Ахматова, оплакивая безвозвратно канувшую в вечность буржуазно-помещичью жизнь. Какова была политическая позиция этой группы, с бесспорной очевидностью доказывает тот путь контрреволюции, на котором оказался ее глава Н. Гумилев — активный участник белогвардейского заговора в Петрограде против советской власти» (*Наумов Е.* Маяковский в первые годы советской власти (1917–1922). М., 1950. С. 96–97).
- 65 *Перцов В.* Маяковский. Жизнь и творчество (До Великой Октябрьской социалистической революции). С. 351.
- 66 *Тарасенков А.* Космополиты от литературоведения // *Новый мир.* 1948. № 2. С. 125.
- 67 Ср.: «Человек талантливый, умный, <...> образованный, он избрал для себя стезю преданного, горячего и безотказного служения режиму <...>. Был бескорыстен. <...> Нет, любовь Суркова к власти носила сугубо духовный, никак не прагматический характер. (*Зоркая Н.* 70-е: Хитроумные годы // *Искусство кино.* 2001. № 1. С. 32).
- 68 *Сурков Е.* Вопросы языкознания и советская литература // *Новый мир.* 1951. № 1. С. 227.



И. Гумилев. Стихи	стр. 5
Глава I. НОВАЯ ИДЕЯ	
Росийский кризис	15
Человеческая личность	18
Бытие и сознание	19
Человеческое общество	19
Роль идеи и личности в истории	20
Основные противоречия марксизма	21
Сущность общественного развития	23
Сущность общественной жизни	24
Сущность социализма	25
Сущность СССР	28
Сущность индустриализма	29
Сущность культуры	31
Сущность свободы	33
Сущность равенства	34
Сущность борьбы	36
Сущность войны	36
Сущность революции	36



# VIII

# В ОЖИДАНИИ ГОДО, ИЛИ ВРЕМЯ ГОДИТЬ

ПОСЛЕДНИЙ ЖИРАФ  
(ФРАГМЕНТ РИСУНКА  
И.А. ИЛЬФА)

ИЗДАНИЕ НТС

ОБЛОЖКА  
ЖУРНАЛА  
«ОГОНЕК»  
(1986. №17.  
АПРЕЛЬ;  
ЛИТОГРАФИЯ  
Н.Н. ЖУКОВА)

ПОСЛЕДНИЙ ЖИРАФ  
(ФРАГМЕНТ РИСУНКА  
И.А. ИЛЬФА)

Смерть «упыря», как называл его Анатолий Клещенко<sup>1</sup>, развязала народу языки. В числе прочих возвращений ленинских норм предполагалось бы и печатание Гумилева, но с этим пришлось погодить на былинные тридцать лет и три года, совсем по совету из «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина:

Русские вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается....

Страхи медленно бледнели, замерзшие имена оттаивали. Читатели со всей страны потянулись к носительнице памяти о поэте.

В марте 1955-го Ахматова получила письмо от Светланы Леонидовны Царевич, учительницы истории 35 лет из Симеиза. Она представилась почитательницей поэзии Гумилева, просила рассказать о нем: и о творчестве и о самом как человеке<sup>2</sup>.

3 сентября 1956 года Ахматовой было отправлено письмо врача городской больницы из Семипалатинска. Николай Троицкий просил помочь найти ему правильный текст стихов, которые в местном кружке любителей поэзии восстановили по памяти: «Конквистадор», «Озеро Чад», «Мои читатели», «Дракон». Имя автора не было названо<sup>3</sup>. Николай Александрович Троицкий (1913–1995) воевал, попал в плен в Германию, освобожден американскими войсками, отказался от предложения гражданства США, переведен в советскую зону в Прагу, приговорен к 8 годам лагерей. Освобожден в 1952-м, в 1954-м отпущен с пожизненного поселения к родным в Семипалатинск. Поэтесса М. Ногтева вспоминала его:

...более всего он любил поэзию Николая Гумилева, поэта запрещенного в годы тоталитаризма, но чрезвычайно близкого ему по духу и судьбе, отмеченного «знаком высшего позора». А стихотворение Н. Гумилева «Портрет мужчины» он декламировал с такой силой проникновения, что казалось, поэт посвятил эти стихи ему лично, доктору Троицкому:

Ему в веках достался странный жребий —  
Служить мечтой убийцы и поэта,  
Быть может, как родился он, на небе  
Кровавая растаяла комета<sup>4</sup>.

Сам он в своих мемуарах несколько раз обмолвился о любимом поэте, например:

Вот Клавдий Иванович Рыжиков, заместитель редактора журнала «Новый мир». Он уже отбыл на Колыме свои 10 лет. Получил новую десятку, но его хватил паралич, и к тому же он ослеп. Целыми днями сидел он на нарах, поджав под себя ноги. Носил он большие черные роговые очки. Ум, однако, у него остался ясным, но периодически у него возникали приступы какого-то бешенства, и он, с пеной у рта, громогласным голосом начинал ругать всех, кто довел его до такого скотского состояния. Доставалось заодно и соседям по нарам, и всем обитателям барака. Потом он успокаивался и лицо его принимало то умиротворенное выражение, какое бывает у всех слепых, и он хорошо говорил о литературе.

Я читал ему по памяти стихи разных авторов. Помню, прочитал стихотворение Н. Гумилева «Я закрыл Илиаду»... Он изумился: «Николай Александрович, какая сила! Какая мощь! Какие сочные краски!»<sup>5</sup>

В 1958 году пришло странное по тому времени письмо из Калуги:

Глубокоуважаемая Анна Андреевна,

Я прошу заранее простить меня за то, что я не будучи с Вами лично знаком, обращаюсь к Вам с несколько необычной просьбой. Я убежденнейший и искреннейший поклонник и почитатель таланта покойного Николая Степановича Гумилева.

Веря, что настанет пора, когда его творчество будет широко известно и доступно всем, уже более двадцати пяти лет я работаю над большой книгой, посвященной его жизни и творчеству.

Считаю, что в истории русской литературы такие явления как русский символизм и акмеизм незаслуженно подвергнуты несколько своеобразному освещению, а творчество многих славных поэтов России (в том числе и Ваше, Анна Андреевна), попросту говоря — большинству незнакомо.

Если Вам было бы интересно, я готов поделиться с Вами некоторыми соображениями.

Мне хотелось подобрать для основного портрета, украсившего бы мою книгу наиболее характерную фотографию Николая Степановича, так же, как и для 2–3 портретов внутри книги, также характерных для определенных периодов его жизни.

Я хотел бы, чтобы Вы посоветовали мне: где такой иконографический материал хранится (Пушкинский дом, литературные музеи?), можно ли там заказать эти фотографии?

Буду весьма признателен Вам за Вашу помощь мне советом в этом вопросе.

Возможно, в Вашем распоряжении есть фотографии, с которых Вы разрешили бы сделать копии?

Заранее приношу глубокую благодарность за Ваш ответ мне.

Чтобы не затруднять Вас — я вкладываю конверт с уже готовым моим адресом.

Еще раз простите за беспокойство<sup>6</sup>,

писал Алексей Николаевич Топорнин (1897–1974), музейвед, этнограф (и обожатель А.Вертинского), арестованный в 1943-м, осужденный за «антисоветскую агитацию» на 10 лет лагерей; был освобожден в 1954-м и отправлен в ссылку; реабилитирован в 1957-м. Сидевший с ним в лагере вспоминает о его мюнхаузеновских рассказах, которые продолжались и на воле:

Алексис торжественно сел и, как бы радуясь тому, что наконец-то появилась аудитория, продолжал:

— Но больше всего я сейчас поглощен «Голубой Лилией» — это моя любовь еще с тех лет и большой долг перед другом...



— Так вы бы хоть нам рассказали, что это такое.

— Разве вы не помните этих строк у него: «И может быть, рукою мертвеца я Лилию добуду Голубую»?

— Так это же Николай Гумилев!

— Да, господа, — откинулся он на спинку кресла. — Теперь уже можно и об этом. Ведь с Колей мы были на «ты».

У Павла опять зачесался подбородок, а я, чтобы не спугнуть Алексиса, сделал удивленные глаза.

— Ведь я специально вернулся в двадцатом из Парижа, чтобы быть среди них...

— Среди кого же?

И здесь он, немного наклонившись, перешел на заговорщический тон:

— Среди Общества Освобождения России, организованного профессором Владимиром Таганцевым в Петербурге. Я приехал по чужому дипломатическому паспорту. Я привез им деньги и документы. Уже тогда мы знали, что их скоро схватят и они должны бежать.

Было видно, что Алексис «взял след» и быстро с него не сойдет.

— Таганцев, скажу я вам, был честный офицер, но никудышный руководитель. Он отговаривал их от побега. О заговоре уже знало ЧК, арест был вопросом времени. Тогда я стал уговаривать одного Колю бежать со мной. Как сейчас помню, мы стояли на гранитной набережной Невы, когда он тихо сказал мне: «Я знаю, что погибну, но бросить товарищей не могу». На следующий день он передал мне портфель с бумагами и сказал: «Алексей, тут есть кое-что, напиши о нас». Мы обнялись и больше уже не увиделись, вскоре они все были расстреляны ЧК. «Голубая Лилия» — это исследование, если хотите, песня о нем. Сейчас я над ней работаю по разным документам и воспоминаниям.

Он встал, распахнул окно, чтобы свежий воздух наполнил комнату, затем подошел к одному из стеллажей, раскрыл его и провел рукой по ряду действительно голубых папок.

— Не просите, — еще не готово.

Мы с вождением и сомнением уставились на эти папки, и он закрыл дверцу.

— А как же портфель? — осмелился я его спросить.

— Он так и остался в Париже, нужно еще немного подождать, они обо мне уже знают.

О том, кто такие «они», мы спрашивать уже не решались.

— Расскажите же, Алексис, как вы познакомились с Гумилевым?

— Он был в Париже проездом в Африку...<sup>7</sup>

Фоном за этими письмами стояла надежда на милосердие и умиротворение, порождавшая ложные известия. В декабре 1955-го Лидия Чуковская записала разговор с Ахматовой: «Сообщила слух о предполагаемом издании Цветаевой и Гумилева. Дал бы Бог»<sup>8</sup>. Синдик Цеха поэтов окончательно утвердился в существовании в режиме ожидания, в уповании на побледнение или даже отмену ждановских инвектив Серебряному веку. На обсуждении планов издательства «Советский писатель» в сентябре 1956-го Вера Кетлинская после того, как В.Н. Орлов говорил о «Библиотеке поэта»: «В настоящее время план пересматривается в сторону издания целого ряда поэтов, занимающих видное место в истории русской поэзии: Сологуб, Белый, Ахматова, Бунин — в этом году, Саша Черный — в будущем году, Хлебников и целый ряд крупных поэтов народов СССР<sup>9</sup>», спросила —

*Кетлинская.* А как с Гумилевым?

*Орлов.* Он фигурирует в сборнике начала XX века. Там будут поэты малого масштаба, которые должны быть представлены тоже<sup>10</sup>.

На этих надеждах на вот-вот грядущую легализацию сыграл эмигрантский НТС, изготовивший долженствующий привлечь внимание советского моряка или заграникомандировочного артефакт — *Николай Гумилев. Стихотворения.* Ленинград, 1953. Библиотека поэта. Малая серия. Редактор И. Груздев. 138 страниц. Редакционная коллегия: Дементьев, Друзин, Еголин и проч. Художник Л.С. Хижинский. Технический редактор Р. Сквирская. Цена 6 р.

Эта «библиотека поэта» была безо всякой вступительной статьи, в начале шли пять стихотворений, последнее из

них — знаменитейшие «Капитаны», с разночтениями противу канонического текста («Продавать им обезьянок с малым обручем в носу» вместо «с медным обручем» и др.) Дойдя до строк «Где капитана с ликом Каина легла ужасная дорога» и перевернув страницу, советский моряк должен был прочесть:

В твоих руках брошюра, открывающая неизвестный тебе мир подпольной революционной борьбы. К тебе обращается Национально-Трудовой Союз (Н.Т.С.) — революционная боевая организация, поставившая себе задачей свержение коммунистической диктатуры и построение новой жизни на основе новой идеи.

Решай по совести: примешь ли ты на себя долг революционного служения Родине. Не торопись с решением. Прочитай внимательно, продумай все, что здесь сказано.

Со страницы 135 начинается глава «Простейший шапирограф» («500 грамм глицерина, 100 грамм столярного клея, 15 гр. каолина в порошке» и т.д.), завершающаяся на 136-й странице:

Когда шапирограф загрязнится и станет плохо печатать, смесь можно выковырять из рамки, вскипятить, снять сверху комки и грязь и, вылив смесь в рамку, снова получить новый шапирограф. Примечание: Каолин желателен, но не обязателен, он придает лишь большую твердость составу, что удобней для работы. Его можно купить в аптеке. Он употребляется как слабительное для младенцев.

Сколько экземпляров этой книжки-увертки для поверхностного досмотра советскими таможенниками попало на территорию СССР, нам неизвестно, два экземпляра хранятся в американских университетских библиотеках<sup>11</sup>.

Меж тем, по-прежнему в школьных учебниках акмеисты ходили в реакционерах<sup>12</sup>, Гумилеву поминали приговор<sup>13</sup> и вменяли экзотику<sup>14</sup>.

По-прежнему гнул свое профессиональный деконструктор акмеизма А. Волков (как иронизировала в своих заметках

Ахматова, «Волков в весьма смягченном виде в каком-то там IV-ом изд<ании> продолжает витийствовать о связи акмеистов с крупной буржуазией, забывая, что “культ личности” довольно давно сдан на слом»<sup>15</sup>). Но были коллеги и еще бдительнее:

...важный для оценки декадентских направлений вопрос — это вопрос об их роли в развитии русской литературы. Автора книги и здесь подводит отсутствие четких формулировок. Так на стр. 457 мы находим такие строчки: «В. Брюсов, уже после Октябрьской революции, ничуть не преувеличивая, писал: “Как ни безуспешны остались притязания акмеистов, все же [это] семилетие [в значительной мере] характеризуется в жизни нашей поэзии их усилиями”. Хотя это утверждение и принадлежит В. Брюсову, оно искажает истинное положение, так как несомненно это семилетие в русской поэзии характеризовалось «усилиями» Маяковского, Бедного, Блока и самого Брюсова»<sup>16</sup>.

За железным занавесом жили надеждами на возвращение положенного под спуд имени и выискивали «учеников Гумилева»<sup>17</sup> и «гумилевские нотки»<sup>18</sup> в дежурной стихотворной продукции на страницах советских изданий:

Даже среди «стихов», посвященных новостройкам, правда, чрезвычайно редко, но попадаются настоящие стихи; как правило, железобетонные мешалки и дымные крапы фигурируют в них лишь для соблюдения благопристойности, взяв на себя роль Нептунов, Бореев и Фебов у одописцев XVIII в. Одним таким счастливым исключением кажется нам «Северное сияние» Владимира Автономова. («Звезда» № 7, 1954 г.) Читатель без труда почувствует в нем гумилевские нотки: в ритмике, в настроенности, в самой «экзотической» тематике.

Где отвесные скалы встали,  
Где хребта ледяная тишь,  
Темной ночью на перевале  
Останавливается аргиш<sup>19</sup>.

Тундра в дымке морозной тонет,  
Стынет снежная целина,

Но отсюда, как на ладони,  
Кромка света вдали видна.

Нам ее сквозь все расстоянья  
Хорошо наблюдать с хребта,  
Словно северного сиянья  
Переменчивые цвета.

И на гребне крутого склона  
Мы становимся к ней лицом,  
Мы откидываем капюшоны,  
Оттороченные песцом,

И глядим, как, вдали маяча,  
Отражаясь на льду реки,  
Нас зовут в городок рыбачий  
Электрические огоньки.

Поневоле бежит усталость,  
Легче путь и не крут подъем,  
Словно к нам, к высоте перевала,  
Вдруг пахнуло людским теплом,

Словно мы за огней игрою  
На хребте, что от стужи сед,  
Видим нового гидростроя  
Дорогой и желанный свет.

Тут есть что-то от променявших моря на тайгу «Капитанов», от Музы Дальних Странствий, от спрятавшей меч в ножны воинской романтики. Неужели совпадения? И Владимир Автономов слыхом не слышал о своем расстрелянном в 1921 году собрате?

Что-то гумилевское, что-то от ритмики и порыва «Открытия Америки» слышится и в стихотворении Льва Черноморцева «Просторы Енисея» (Октябрь. № 10, 1955 г.)

Мы вдвоем с охотником Алигаем  
Утренние зори здесь встречаем  
Под высоким небом у костра.

Выстрел будит тишину берложью...  
На медвежью голову похожа  
Бурая лохматая гора.

...В синеве небесной взор мой тонет;  
Яблоко лежит в моей ладони,  
Круглое, как будто шар земной...  
Мех зверей, игольчатая хвоя, —  
Это то прекрасное, живое,  
Что на всех путях моих со мной;

Это с ним, душою молодея,  
Я смотрю в просторы Енисея,  
Где закат встречается с водой.  
Кто сказал, что наступает старость,  
Если в сердце — песенная ярость,  
И весло в руке, и полон парус  
Ветром жизни вечно молодой.

И снова Гумилев, уже не как поэт — до Гумилева автору далеко, — а как человек (представляющие себе живой облик Н.С. Гумилева меня поймут) — произвольно возникает в памяти, когда читаем следующие строки Сергея Наровчатова «Из фронтальной тетради»:

...Земля моя! Судьба моя!  
Безмерный свете мой!  
Живая радость бытия,  
Цветок мой голубой!

Пусть я страдаю и скорблю,  
Но, слабый человек,  
Я жалобой не оскорблю  
Крутой и быстрый век.

Но всем дыханием своим  
Я славлю эту жизнь,  
Где празднеств шум неразделим  
С печальным шумом тризн.

Я славлю путь земной любви,  
 Сошедший в черный лоб,  
 Я славлю пеплу и крови  
 Несдавшийся цветок<sup>20</sup>.

В эти годы возрождается и ширится собирательская деятельность одиночек<sup>21</sup>. Товароведы магазинов старой книги знали их поименно. Таким был знаменитый киноактер Михаил Михайлович Названов (1914–1964)<sup>22</sup> (красавец-военный в «Жди меня», демонический Курбский в «Иване Грозном», статные русские императоры в биографических фильмах), своей биографией подготовленный к этому увлечению: сын знакомицы Ахматовой певицы Ольги Бутомо-Названовой, пение которой воспели в стихах Сологуб и Мандельштам<sup>23</sup>, он в 1935-м попал на пять лет в Ухтпечлаг<sup>24</sup>. Собирателем автографов Гумилева был Всеволод Григорьевич Данилевский (1897–1961)<sup>25</sup>. Различные автографы бродили от одной коллекции к другой, сопровождаемые легендами, свойственными собирательскому фольклору<sup>26</sup>. Например, пишущему эти строки довелось в начале 1980-х видеть у московского коллекционера П.С. Романова (1920–1993)<sup>27</sup> листок из альбома для стихов (предположительно, А.А. Кондратьева; на обороте — сонет Якова Година «Подруга»): над стихотворением Ивана Умова «Я бреду в пустыне знойной...» пририсована египетская пирамида, надписано

Невольно к этим грустным берегам  
 Меня влечет неведомая сила.... (Пушкин)

и переавторизовано: «Н. Гумилев».

Книги Гумилева становятся твердой валютой при книгообмене, дубликаты составляют стратегический запас личных библиотек — в 1962 году Н.П. Смирнов Сокольский «небрежно подарил» «Огненный столп» стихолобу М.В. Хвастунову, заведующему отделом науки «Комсомольской правды»<sup>28</sup>.

Одного собирателя надо выделить особо:

Были также и коллекционеры — люди, как известно, фанатичные, ходившие по краю пропасти, как бы ее не замечая; некото-

рые из них (например, М.В. Латманизов) ценою лишений собрали многое, относящееся к Н. Гумилеву, так что, когда, наконец, настала пора приступать к изданию его сочинений, вклад этих бескорыстных людей оказался совершенно бесценным<sup>29</sup>.

Летом 1956 года как бельгийская туристка приехала в Москву писательница и поэтесса Зинаида Шаховская, она устремилась в букинистические магазины:

Когда я спрашивала книгу, которая могла быть опубликована только при старом режиме — историческую, литературную или религиозную — все вокруг меня посматривали с любопытством и настороженностью. Кто она такая, — спрашивали они себя, — что осмеливается признаться в опасных предпочтениях, не понижая голоса?

Один раз, когда я собиралась покинуть книжный магазин после безнадежной попытки купить Вигеля, мемуариста пушкинской эпохи, ко мне обратился молодой человек, последовавший за мной на улицу.

«У меня дома есть несколько интересных книжек, — сказал он. — Такого рода, которым не торгуют. Вас это заинтересует?»

Я была настороже, опасаясь провокаторов (покупка с рук подержанного товара является противозаконной), и несколько раз отклоняла предложения такого рода, и в букинистических магазинах и в антиквариатах.

«Какого рода книжки?» — тем не менее спросила я.

«Гумилев, например. Шатер. Она очень редкая».

«У меня есть все книги Гумилева», — сказала я.

Молодой человек недоверчиво посмотрел на меня.

«Это невозможно!»

«О, возможно. Я иностранка, а Гумилева печатали за границей».

«Здорово! Вы определенно счастливица! Здесь бы вам пришлось заплатить фантастическую цену, чтобы купить их все»<sup>30</sup>.

Табу, как положено, порождало эвфемизмы. Участник дискуссий молодых ленинградских поэтов под эгидой Глеба Семенова вспоминал:



Имена расстрелянного в 1921 году Гумилева или эмигранта Ходасевича прилюдно не упоминались или подменялись в дискуссиях именами их учеников и эпигонов, как Н.С. Тихонов...<sup>31</sup>

Рассказ критика Натальи Рубинштейн в ответ на вопрос автора этой книги:

Дома от времен родительской молодости был «Огненный столп». Мама с теткой декламировали «Шестое чувство». Дядя Генрих [Пузис]— «Память». Было ясно, что это вещи для сугубо домашнего употребления. Я понимала это отлично, но расширительно толковала сферу «домашнего». Году в 1954–55 (9 класс) две мои доверенные подруги у меня дома списали весь сборник в свои тетрадки. Родители одной из них забеспокоились и пришли к моим объясняться. Это я к тому, что имя и стихи Гумилева, и запрет на него были нам известны. Но вот в 1956, весной, в год окончания школы я оказалась на Дне открытых дверей в Горном институте, сопровождая как раз одну из упомянутых выше подруг. Пожилой, по моему тогдашнему пониманию, профессор, страшая и соблазняя аудиторию геологической профессией, эффектно закончил свое выступление цитатой «из забытого сегодня поэта, которого хорошо знали во времена его молодости»:

Пусть безумствует море и хлещет,  
Гребни волн поднялись в небеса —  
Ни один пред грозой не трепещет,  
Ни один не свернет паруса.

А некоторые и называли, как искусствовед А.Н. Савинов:

Ему нравились люди «серебряного века», их привычки и судьбы, он обладал вкусом к слегка недозволенному. <...> Помню, показывая картину Лансере, он вдруг стал читать нам Гумилева:

Только глянет сквозь утесы  
Королевский старый порт...

<...> Я сидел потрясенный: Гумилев был решительно под запретом, только мама читала мне его на память, а тут «на миру»... Все же это был маленький взрыв отчаянной смелости, плевать было в этот момент робкому и осторожному Алексею Никола-

евичу на вечный ужас. Конечно, уже были хрущевские времена, но кто осмеливался поминать Гумилева...<sup>32</sup>

Те, кто помоложе, были еще смелее. 1 апреля 1955 года на обсуждении стихов Е. Евтушенко в Литературном институте студент Геннадий Лисин (Айги) вдруг сказал:

Если взять Гумилева, он был настоящий поэт, но, может быть, его не понимали<sup>33</sup>.

И в литобъединении «Магистраль» тоже вдруг сказал Игорь Дуэль:

— А почему это тут <...> ругают интеллигенцию? В моем представлении — интеллигенты не хлюпки. Это о них написал Николай Гумилев:

Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так, что золото сыплется с кружев, <так>  
С розоватых брабантских манжет

Григорий Михайлович аж побледнел. Он долго объяснял всем нам, что Игорек так, не со зла, что он по сути наш, хороший, что он имел в виду какого-нибудь Железного Феликса, а вовсе не белогвардейщину непечатаемого тогда Гумилева. Наконец он счел, что убедил нас, сам себя и возможного, да и, пожалуй, неизбежного шпиона КГБ, и мы продолжили наше занятие<sup>34</sup>.

В стенгазете филфака МГУ, как информировал преподаватель В.И. Кулешов на закрытом партсобрании 29 ноября 1956 года,

...дана объективистская, политически неверная характеристика акмеизма (не сказано, что это направление было выражением империалистической идеологии). Назван Гумилев как вождь акмеизма («мастер стиха») и забыто (редактор сказал, что не знал об этом), что Гумилев был расстрелян советской властью как белогвардеец за связь с кронштадтским мятежом<sup>35</sup>.

Облик московского студенческого читателя образца 1956 года рисует в своих мемуарах «Что вспомню» математик Михаил Белецкий:

Появлялось все больше книг неизвестных нам западных авторов, а главное — начал выходить журнал «Иностранная литература», и мы с друзьями с нетерпением ожидали выхода каждого нового номера. Вообще-то, это знакомство давалось с трудом. Едва ли не первым относительно современным автором для меня был Хемингуэй, которого я читал еще на Моховой. Мне, привыкшему к литературной традиции XIX века, он показался слишком большим модернистом и потому совсем не понравился: какие-то пустые обрывочные диалоги ни о чем, нет размышлений героев, описываются их мелкие действия и т.п. Не легче пришлось и с Фолкнером, «Деревушка» которого появилась в «Иностранке», — здесь еще были трудности с языком. (Излишне сообщать, что впоследствии обоих авторов я многократно читал и перечитывал, а «По ком звонит колокол» считаю одной из лучших книг XX века.)

Много легче пошли немцы — Ремарк и Белль. Первой появившейся книгой Ремарка было «Время жить и время умирать», и мы увидели войну с той, немецкой стороны — помню, как это поразило Иру Бородину. Тогда же появились книги двух замечательных авторов — недавно погибшего и современного. Ошеломила романтика Сент-Экзюпери. А «451 по Фаренгейту» открыл для нас жанр антиутопии, к которому литература так часто обращалась впоследствии; и хотя формально там речь шла о другом, американском, мире, но было понятно, как он похож на наш. Еще из полюбившихся мне в этот период западных авторов назову Стефана Цвейга.

Мы так рвались к этим книгам, потому что чувствовали, как они расширяют наше видение мира. Мы как бы своими глазами видели другую цивилизацию, другой способ мышления и изображения жизни.

Ну, это о тех литературных открытиях, которые я делал вместе со всем своим поколением. Но было для меня немало и личных, индивидуальных открытий.

Именно в это время я познакомился с рядом замечательных поэтов, которых называл, говоря о Крониде [Любарском]

(А.К. Толстой, Тютчев, Хайям, Уитмен, Лорка). Добавлю в этот список Верхарна.

Тогда же, к своему удивлению и радости, я открыл двух «порядочных» советских писателей — Тынянова и Паустовского. Пишу «к удивлению», потому что с детства находился под влиянием предубеждения, что «порядочность» и «современный советский писатель» — понятия несовместимые. Ну, Тынянов-то был не совсем современный, так что удивляться оставалось только нашему современнику Паустовскому. Его мне порекомендовал кто-то из старших факультетских туристов, и он восхитил меня любовью к природе и путешествиям, и главное — отказом от дежурной лжи: в то время трудно было назвать писателя, который не отдал бы ей обязательной дани.

Замечу, что, исходя из представлений о лживости советской литературы, я полностью исключал из нее писателей гонимых, как Зощенко и Ахматова, — я как бы не считал их советскими писателями. Странно, и я не могу найти этому объяснения, но как раз их произведений я не пытался разыскать и прочесть.

Зато я начал интересоваться Гумилевым, и был в этом отношении не одинок — Гумилев становился культовым поэтом на мехмате. Вдруг вокруг стали появляться его стихи. Как ни странно, но его сборники сохранились в Ленинской библиотеке, и я был среди тех, кто их переписывал. Многие из них легко заучивались наизусть. Меня больше всего восхитил «Дракон»:

Из-за синих волн океана  
Красный бык приподнял рога,  
И бежали лани тумана  
Под скалистые берега.

До чего прекрасные стихи! Стихи Гумилева мы переписывали друг у друга — можно сказать, что это было предвестие самиздата.

Другим полулегальным поэтом стал для меня Волошин. Им я обязан Крониду [Любарскому], который, будучи крымчанином, хорошо знал и пропагандировал Волошина, имел в списках его стихи и поэмы, а я, да и другие у него переписывали. Впрочем, в то время его популярность на мехмате была значительно меньшей, чем у Гумилева<sup>36</sup>.

Стихи появлялись не только на мехмате, но и, естественно, на филфаке. Людмила Сергеева, ученица В.Д. Дувакина, недавно вспоминала:

Благодаря теме моего диплома — «Дооктябрьское творчество В. Маяковского и лирика А. Блока 1907–1917 гг.» — я с легкостью получала от замдекана М.Н. Зозули бумагу для пользования спецхраном. А там были такие богатства — вся поэзия начала XX века! С жадностью неопфита поглощала я тамошние книжные раритеты. В спецхране я впервые прочла сборники стихов Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Михаила Кузмина, Максимилиана Волошина (еще дококтебельские) стихи о Париже, Андрея Белого, Федора Сологуба, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и даже Игоря Северянина — «Ананасы в шампанском». Читая, выписывала в свою тетрадь понравившиеся мне стихи. И спешила поделиться с друзьями-сокурсниками выписанными стихами. Так во второй половине XX столетия составлялись девичьи альбомы. Уже в двадцатые годы XX века Максимилиан Волошин в своем знаменитом стихотворении «Дом поэта» предвидел в нашей стране распространение самиздата:

Почетней быть твердым наизусть  
И списываться тайно и украдкой,  
При жизни быть не книгой, а тетрадкой...

В спецхране я прошла дополнительный университетский курс, да еще какой! Там я наткнулась на сборник Николая Гумилева «К синей звезде», напечатанный в Берлине после гибели поэта. Это были мужские стихи о страсти, о неразделенной любви — «мой альбом, где страсть сквозит без меры...». Этот «альбом» посвящен Елене Д., полурусской-полуфранцузской красавице, и написан в Париже 1918 года «...о любви несчастной Гумилева / в год четвертый Мировой войны». С разбитым сердцем, через Англию, и дальше по морю, Николай Гумилев, поэт, дворянин и русский офицер, вернулся в уже большевистскую Россию, где в 1921 году был расстрелян в Петрограде как контрреволюционер, по так называемому Таганцевскому делу, насквозь выдуманному, как мы теперь знаем. Елена Д. в 1918 году вышла замуж за американца. «Должно быть, плохо я стихи писал и Вас несправедливо просил у

Бога», — признавался Н. Гумилев Елене Д. Могло ли хоть чье-то девичье сердце не дрогнуть от этого? Мое — дрогнуло, и я переписала целиком «К синей звезде» в свою тетрадку. И дала переписать своим друзьям, а те — своим. Мы с моей подругой-однокурсницей Люсей Мякинковой (в замужестве — Абакумовой), занимавшиеся от профкома филфака культурными связями с нашими сверстниками в Щепкинском театральном училище, дали им почитать переписанный моей рукой сборник Н. Гумилева «К синей звезде». Это был курс Светланы Немоляевой, но мы общались не с ней, а с Виталием Коняевым и Володей Наумцевым, с которым особенно подружились. Будущие актеры пришли в восторг от Николая Гумилева и какие-то стихи из этого сборника стали читать публично на концертах, выдавая их за стихи Константина Симонова. Выступления проходили на ура. Слава Богу, никто не пострадал — тогда мы даже не подозревали, что занимаемся изготовлением и распространением самиздата<sup>37</sup>.

По части извлечения укрытых от читателей текстов одним из наиболее значительных фигур был другой ученик В.Д. Дувакина — Андрей Синявский. Французский славист рассказывал о 1950-х:

Андрей <...> подарил им самим переписанные стихи Гумилева, заметив, что подобный вид передачи неизданных произведений называется «самиздатом»<sup>38</sup>.

Год-другой спустя после этого подарка можно было говорить о победе самиздата:

А по всей Москве в учреждениях и конторах пишущие машинки были загружены до предела: перепечатывались для собственной потребности или для друзей стихи Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака. И было такое чувство, словно понемножку, осторожно все расправляют затекшие от долгого сидения члены, пробуют шевелить конечностями, переменять позу, а все тело от этого покалывает будто тысячами иголок. Ничто вроде бы уже не держит — можно и встать, да отвыкли, отучились стоять на двух конечностях<sup>39</sup>.

Те, кто закладывали основы политической и эстетической контркультуры, с неизбежностью набредали на заклеянное проклятием имя.

В ленинградском антигосударственном кружке Револьта Пименова в 1956 году

...распространяли разного рода стихи: Берггольц, Мандельштама, Н. Гумилева (несколькими стихами мы были обязаны Никите Дубровичу) <...> Его мать — Гнучева — была близка с Анной Ахматовой и в ту пору не раз встречалась с только что освобожденным Львом Николаевичем Гумилевым. <...> Но все-таки благодаря им я познакомился с Л.Н. Гумилевым, а стихи его отца я любил и раньше<sup>40</sup>.

В каждом из неофициальных молодежных кружков бывало по одному или по несколько приверженцев убитого. В кружке «Мансарда» (он же т.н. «круг Леонида Черткова») таким был Николай Шатров, написавший в 1955 г. стихотворение «По следам Гумилева»:

Забвенья нет... Вино забвенья  
 Бог расплескал росой звезд.  
 Неумирающие тени,  
 За вас провозглашаю тост!

За белизну нетленных лилий,  
 За Музы девственную кровь,  
 За всех, которые любили,  
 Иди на крест, моя любовь!

Нас Ад послал дорогой моря  
 К артисту в платье короля.  
 Назад к Содому и Гоморре  
 Крутись, проклятая земля!

Потом он, по меньшей мере дважды, возвращался к своему кумиру:

### **Влюбленный рыцарь**

Памяти Н.С. Гумилева

Я лежал, сердце болью пронзя,  
Словно спал у возлюбленной двери.  
Разбудить меня было нельзя,  
Пораженного Ангелом зверя.

И невидящих глаз не сомкнем,  
На пороге любви изнывая:  
Там, за дверью, за узким окном, —  
Власть не мертвая и не живая.

Я не принц — издыхающий пес  
От поэзии, лживой отравы:  
В золотистой короне волос  
Ты — владычица лучшей державы.

Боже! Семирамиды сады,  
Небеса океанов бездонней —  
Все бы отдал за чашу воды  
Из ее равнодушных ладоней<sup>41</sup>.

Спустя несколько дней после 85-летия уничтоженного поэта Шатров завершил стихотворение «Памяти Гумилева»:

Там будет лучше — в это верю:  
В небесный райский зоосад,  
Где птицы, и цветы, и звери  
Вполне святые — все подряд...

Там в реках не уснула рыба  
От пленки нефти на воде,  
И ангел говорит спасибо  
Ему молящейся звезде.

А змеям — ленточкам на шляпах —  
Над ухом нравится свистеть  
И испускать не яд, но запах:  
Ведь дух не может умереть.



Там мы с тобою оба будем;  
 Войдем в небесный зоосад  
 Не в тягость ни Богам, ни людям  
 Смотреть немеркнувший закат.

Самый невероятный из поэтов этого кружка Станислав Красовицкий вспоминал:

Я короткое время очень увлекался Пастернаком. Ахматова на меня не оказывала никакого влияния, не производила никакого впечатления. Цветаеву я просто не люблю, из Серебряного века мне нравится Гумилев. И есть такой очень хороший поэт — Василий Алексеевич Комаровский, его вспоминает Георгий Иванов в своих «Петербургских зимах». Я футуристов люблю. <...> Но вообще я прошел символизм, а акмеизм Гумилева я люблю. Ничего особенного мне искать не приходится в его гармоническом устройстве, оно такое ровное и хорошо сделанное.

Больше всего мне нравится цикл «Возвращение Одиссея», и лучше всего заканчивается «Избиение женихов»:

Ну, собирайся со мною в дорогу,  
 Юноша светлый, мой сын Телемах,  
 Надо служить беспощадному богу,  
 Богу Тревоги на черных путях.

Он вообще слово «черный» использует много раз очень интересно. Одну строфу Гумилева я для себя исправил. Он пишет так:

Или, бунт на борту обнаружив,  
 Из-за пояса рвет пистолет,  
 Так что сыплется золото с кружев,  
 С розоватых брабантских манжет.

Я читаю по-другому, у Гумилева стерто и проходит по линии, надо, чтобы было более выпукло. У меня написано то же самое, но исправлены акценты и вариант интонации<sup>42</sup>.

На площади Маяковского, где в 1958 году начались чтения стихов у памятника поэту, звучало и имя оппонента Маяковского. Студент ГИТИСа В. Могилевский читал стихотворение Павла Когана «Поэту» под названием «Памяти Гумиле-

ва» (правда, выдавал за свое)<sup>43</sup>. К этому кругу принадлежал и будущий американский славист, автор магистерского сочинения о Гумилеве, одного из первых в той стране. Владимир Осипов, один из «маяковцев», вспоминал о нем (правда, спутав имя):

На третьем курсе я познакомился с Анатолием Ивановым (впоследствии получившим кличку Новогодний). На факультетском фоне он был очень яркой фигурой. Публично пел песни Ива Монтана на французском языке. Главное же, не вступал ни в профсоюз, ни в комсомол. Говорил, что не может этого сделать, потому что он христианин. (Хотя на самом деле им не был.) У него был приятель Владимир Краснов. Мы втроем стали довольно регулярно встречаться, обмениваться мнениями — мы были настроены против этого строя и этого диктаторского режима и чувствовали себя единомышленниками<sup>44</sup>.

В одном из первых самиздатских альманахов появилось стихотворение «Гумилеву», подписанное «В.М.»:

И в Евангелии от Иоанна,  
Сказано, что Слово это Бог  
Гумилев («Слово»)

И проповедники в лачугах,  
И дипломаты во дворцах,  
Рядясь в газетные кольчуги,  
Могильный роют прах.

Нет слов живых у трижды мертвых,  
Убийцу жизни вопросив,  
Поймешь, что будущее стерто,  
Что прошлое превыше сил.

А знанье душит, как лиана,  
И дел людских тугой поток  
Сильней, чем правда Иоанна;  
Убито слово, умер бог<sup>45</sup>.

Молодежная субкультура реагировала таким образом на продолжающееся отсутствие Гумилева в культуре официальной. Оно было замечено в литературном приложении к лондонской «Таймс», когда вышла «Антология советской поэзии»:

Два тома этой антологии превышают полторы тысячи страниц, на которых представлены 215 поэтов. В целом средний уровень исполнения низок. Не только полностью игнорированы такие важные фигуры 20-х, как акмеисты Николай Гумилев и Осип Мандельштам, но и подборки лучших из включенных поэтов крайне робки<sup>46</sup>.

Одному из тройки составителей (в их числе был и Борис Слуцкий) было поручено ответить на критику:

Ведь всякому известно, что после XX съезда партии мы, исправляя ошибки прошлого, получили возможность включить авторов ряда хороших произведений в последнюю антологию. Таким образом, история работала на хорошую поэзию, а не против нее, как это получается у критика газеты «Таймс», который хочет уверить читателя, что он руководствуется в своих оценках только одним, а именно — эстетическим критерием.

Каковы бы ни были частные недостатки последней антологии, — а я мог бы указать их гораздо больше, чем английский критик, — правильно оценить ее в целом можно только с точки зрения тех идейно-художественных принципов, которые были положены редакторами ее в основу отбора и которые составляют душу советской поэзии. В чем же было для нас главное? В том, чтобы представить поэзию нового общества как поэзию, выражающую чувства и мысли новых советских людей, показать ее в движении, в наиболее типичных и индивидуально значительных образцах эстетики социалистического реализма.

Автор статьи в литературном приложении к «Таймс» видит «робость» составителей советской антологии, между прочим, в том, что в ней «игнорируются» поэты-акмеисты, например Николай Гумилев. Но эта претензия была бы правомерной, если бы составлялась книга по истории русской поэзии XX века —

до Октября. Можно по-разному оценивать вклад акмеистов в русское поэтическое искусство, но странным было бы видеть в советском собрании стихов Гумилева — поэта, еще мечтавшего в 20-х годах о некоей «Индии Духа», которую он, как известно, противопоставлял советской действительности. Других стихов он не создал. Поскольку речь идет об акмеистах, нельзя не сказать о вошедших в антологию новых стихах Анны Ахматовой с ее знаменитым «Мужеством» и другими, созданными в эпоху Отечественной войны, в которых поэтесса, начинавшая в давние времена и в среде, далекой от общественных вопросов, вышла из прежней камерности и с таким воодушевлением поднялась к темам советской гражданственности<sup>47</sup>.

Редакторы не только отбивались от перепечатки стихов Гумилева, но и чурались самого его имени. Так, следы какой-то заминки с проблематичной фамилией можно усмотреть в истории издания библиографии русского Гейне (сдано в набор 21 декабря 1957-го, подписано в печать 25 марта 1959-го). Гумилевский перевод «Атта Тролль» сюда включен, но добавлен уже после того, как нумерация сложилась, и получил добавочный номер — 4879а<sup>48</sup>.

В 1960 году в альманахе «Наш современник» было напечатано без всякой дедикации стихотворение Ахматовой «Все это разгадаешь ты один...», посвященное памяти расстрелянного в 1937-м Бориса Пильняка. Но строки «Кто может плакать в этот страшный час о тех, кто там лежит на дне оврага» могли читаться, как говорящие о ее первом муже. Поэт и переводчик М.З. Гордон по прочтении этого стихотворения написал Ахматовой 22 июля 1960 года:

За последние годы нашим читателям был возвращен ряд замечательных русских поэтов. Я уже не говорю о Бунине, но в прошлом году был издан заново Ин. Анненский, а в этом году — Саша Черный, о чем несколько лет тому назад нельзя было и думать. Я замечаю, что все чаще упоминается имя Гумилева, прежде всего, как переводчика, но и это уже кое-что. Но хотелось бы услышать о полной реабилитации его имени. Мне приходилось слышать от весьма уважаемых и знавших лично его людей. Они утвер-

ждают, что он пострадал случайно и что, узнав об этом, Владимир Ильич пытался его спасти, но уже было поздно... Если это так, нельзя ли предпринять какую-нибудь попытку как-то все это засвидетельствовать? Я думаю, что это можно было бы предпринять. Ведь смотрите: стихи Гумилева свободно выдаются по первому требованию читателей в биб<лиоте>ке им. Ленина и Салтыкова-Щедрина. Его стихи и переводы свободно продаются, правда, за баснословную цену в наших букинистических магазинах. Недавно мой друг приобрел в букинистическом магазине «Эмали и камеи» Готье в переводе Гумилева за 200 рублей. Но зачем грабить читателей? Не лучше ли переиздать эту книгу? Вот вопросы, которые невольно приходят в голову. Я думаю, что сохранилось немало неизданных стихотворений и переводов Гумилева. Как интересно было бы увидеть их в печати! Я надеюсь, что Вы меня простите за то, что я затронул этот наболевший и для Вас вопрос, думаю, что если бы кто-нибудь поднял бы его, то встретил бы единодушную поддержку многих читателей и любителей русской поэзии<sup>49</sup>.

Наболевший вопрос был вскоре затронут на странице одной из центральных газет.

\* \* \*

Как вспоминала (уже в 1987-м) бывшая соседка Ахматовой по квартире:

Я получала в то время газету «Известия», которую читали все, кому было интересно. Однажды возвращаюсь домой вечером. Опять все общество в кухне. Услышав мои шаги, Анна Андреевна воскликнула: «Победа! Победа!», размахивая газетой. Оказывается, в «Известиях» была напечатана статья И. Шкловского об установке на Венере прибора для наблюдений. Статья начиналась словами: «Знаменитый русский поэт Гумилев написал “Мы полетим на Венеру. Там листья синие растут...”» Анна Андреевна обрадовалась, что после долгого периода впервые в печати упоминается имя Гумилева. Анна Андреевна попросила меня оставить ей эту газету, на что я с удовольствием согласилась<sup>50</sup>.

Незадолго до этого дня, в начале января 1961-го происходил разговор с Лидией Чуковской:

Почему-то мы заговорили о конце Гумилева.

— Его ведь тогда в Петербурге мало знали, то есть знали очень хорошо, но только в самом узком кругу. Вожди, конечно, и имени его не слыхивали, об этом нечего и говорить. А читатели — только интеллигенция, узкий петербургский круг. Не спорьте, я вооружена: ни одна книга его не была переиздана. Николай Степанович был человек очень деловитый; если бы он мог — он добился бы переиздания. Но не мог. О нем не появилось ни одной статьи. Правда, на юге существовала его школа; но до Петербурга еще не дошла. Слава ждала его через несколько дней<sup>51</sup>.

Обещанием новой славы, после сорокалетней «двусмысленной», стала напечатанная вечером 13 февраля 1961-го в «Известиях» заметка «На далекой планете Венере»:

На далекой планете Венере  
Солнце пламенной и золотистой,  
На Венере, ах, на Венере  
У деревьев синие листья...

Эти стихи написаны сорок лет назад русским поэтом Гумилевым. Синие листья Гумилева — это поэтическая метафора. Он был прекрасным поэтом, но не мог предвидеть появления новой науки — астроботаники. Согласно основателю этой науки, Г.А. Тихову, «синие листья» должны иметь марсианские растения, приспособившиеся за долгие эпохи эволюции к суровым условиям этой планеты. А на Венере, как раз по причине того, что там «Солнце пламенной и золотистой», листва деревьев, по Тихову, должна быть оранжевой и даже красной. Впрочем, в настоящее время даже писателям-фантастам придется отказаться от образов восхитительных пейзажей нашей космической соседки. Увы, наблюдения последних двух лет разрушили наши иллюзии относительно роскошной флоры и фауны Венеры...

Поминавшийся уже выше популярный конференсье и книголюб Н.П. Смирнов-Сокольский (1898–1962) тут же написал Ахматовой:

14 февраля 1961 г.

Глубокоуважаемая Анна Андреевна,

По совету нашего общего знакомого Виктора Ардова беспокою Вас нижеследующим:

В газете «Известия» за понедельник 13-го сего февраля напечатана статья профессора И. Шкловского «На далекой планете Венере». <...> Вы могли случайно пропустить эту статью, а нам показалось, что начало ее может быть Вам небезынтересным.

Еще раз прошу простить за беспокойство<sup>52</sup>.

А 16 февраля отправил письмо сам автор статьи:

Глубокоуважаемая Анна Андреевна!

Это пишет Вам незнакомый человек, не литератор, а астроном и физик. В ранней юности, еще до отечественной войны, я был очарован стихами Николая Степановича. И это осталось у меня навсегда. Жестокая несправедливость судьбы по отношению к такому поэту меня всегда оскорбляла. И вот представился неповторимый случай. Я сделал попытку, если можно так выразиться, реабилитировать его через Космос и этим, в меру моих скромных сил, отметить 75 годовщину его рождения. Как видите, попытка увенчалась успехом.

Я знаю, что это — его последнее стихотворение. Я представляю, как оно писалось... Простите меня, дорогая Анна Андреевна, что я допустил вольность, исказив текст: вместо «на далекой звезде...» написал «на далекой планете...». Иначе ничего не вышло бы. Весь расчет строился на этом и еще на ужасном цейтноте, в котором оказалась газета...

Насколько я знаю, статья имела успех и многие, имеющие уши, услышали. Через полчаса придут ко мне из радио, и я продиктую им текст статьи. И на этот раз уже будет «звезда»... Обещают передать в субботу. Боюсь, только, что письмо запоздает.

Может быть, теперь, друзья русской поэзии смогли бы пробить издание избранных его стихов, скажем в «библиотеке поэта».

Ведь издали же Сашу Черного. Со своей стороны, я предприимчивую попытку, хотя шансы, как Вы понимаете, мизерные. Все-таки, хорошо, что впервые за эти десятилетия в центральной газете полным голосом прозвучали его стихи, и по поводу замечательного события, которое должно быть сродни его героической натуре. Не правда ли, Анна Андреевна?

Я желаю Вам всего самого хорошего и прежде всего — здоровья.

Ваш И. Шкловский<sup>53</sup>

Публикация была замечена в эмиграции:

...Говорят ангелы на Венере

Языком из одних только гласных...

— вспоминается мне строчка из этого стихотворения Гумилева, полного текста которого, к сожалению, у меня сейчас нет под рукой.

Ирина Одоевцева рассказывала мне, что вопрос о существовании жизни на других планетах всегда чрезвычайно интересовал Гумилева и что в последние годы своей жизни он читал теософические и антропософические книги.

Быть может, в этой литературе, в каких-либо индусских или тибетских преданиях, он нашел и описание жизни на планете Венере?

Сейчас в сознании современников происходит грандиозный сдвиг, значение которого, вероятно, мы еще не умеем оценить по-настоящему.

Сказочное становится действительностью, но в то же время явилась возможность проверить на деле многие мифы и представления, созданные творческой фантазией.

Есть ли «ангелы» на Венере, какого цвета там растительность (и существует ли она там вообще?) — скоро выяснит — если не эта летящая сейчас на Венеру первая «автоматическая межпланетная станция», то уж, конечно, четвертая или пятая.

Станем ли мы внутренне богаче от этого, или счастливее — вопрос.

...Исчезнули при свете просвещения  
Поэзии ребяческие сны,



И не о ней хлопочут поколения,  
 Промышленным заботам преданы... —  
 говорит Баратынский в стихотворении «Последний поэт».

Сейчас, более чем через сто лет (это стихотворение датировано 1834–1835 гг.) «век шествует путем своим железным» и, быть может, вскоре, действительно, нам придется расстаться со многими любимыми «ребяческими снами»<sup>54</sup>.

А сведения о тиховской науке попали в русские стихи:

Астроботаника основана на вере.  
 В обсерваториях ночами тихо-тихо.  
 Астроботаника — про астры на Венере.  
 Среди академиков всех лучше старый Тихов.  
 Фотографированье звезд на расстоянье  
 В десятки светолет не труд, а мука:  
 Над телескопами качнется мирозданье —  
 И затуманится прекрасная наука.  
 У круглой линзы радужный мениск,  
 Как у прозрачной жидкости в сосуде.  
 Астроботаника предполагает риск  
 Гипотез, призрачных уже по самой сути.  
 Выходим в ночь, распахивая двери,  
 К ночному небу обращаем лица:  
 Рычат вверху неслыханные звери,  
 Трясет хвостом невиданная птица.  
 Какие формы ожидают нас!  
 Быть может, не растения, а нечто,  
 Чему и нет названия сейчас,  
 Так призрачно оно и быстротечно<sup>55</sup>.

Еще помня советскую бытность, можно с высокой долей уверенности сказать, что имя, типографски набранное на полосе «Известий», придало смелости и пишущим, и редактирующим, особенно когда речь заходила о межпланетных путешествиях. Спустя два года (13 февраля 1963-го) основатель евразийства П.Н. Савицкий писал Л.Н. Гумилеву из Праги в Ленинград:

В журнале «Знание — сила», 1961, № 10, стр. 51 и сл. Ника обнаружил в рассказе Г. Альтова «Генеральный конструктор» следующее место:

«Книга была открыта на других стихах, но пилот узнал автора и вспомнил эти строки:

Он умер, да! Но он не мог упасть,  
Войдя в круги планетного движенья.  
Бездонная внизу зияла пасть,  
Но были слабы силы притяженья.

Пилот мягко сказал: “Это — поэзия”. — “Да, это поэзия”, — машинально повторил врач...» Ника, подобно пилоту, тоже «узнал автора». Ника с давних пор очень любит это четверостишие (он весь в проблемах «космических исследований»). Любит он и другие стихи того же поэта<sup>56</sup>. [Письмо Савицкого]

И хотя к имени все еще надо было предъявлять комментаторскую подорожную

Гумилев Николай Степанович (1886–1921) — поэт, глава декадентской поэтической группы акмеистов, занявший после Октября контрреволюционную позицию<sup>57</sup>,

уже в июне 1961-го просчитывавший все выгоды и опасности Корнелий Зелинский пишет для печати за границей обзор советской поэзии, где, в частности, говорится:

В русской поэзии накануне социалистической революции господствующее положение занимали символисты во главе с Брюсовым и Блоком. И акмеисты во главе с Гумилевым. <...> Против был глава акмеистов Николай Гумилев, певец русской экспансии, заставляющий вспомнить Киплинга. Это мастер чеканных строк, в которых искрится жизнь, как хмель в бокале вина. Но Гумилев, в отличие от символистов, резко отвернулся от народа в эти годы революционной грозы. Более того, прекрасный поэт, он стал участником контрреволюционного заговора, и как Шенье заплатил жизнью за это<sup>58</sup>.

Статья была разрешена Главлитом для публикации за рубежом, и когда она в начале следующего года появилась в

журнале «Survey», далеко не просоветском, Глеб Струве написал Б.А.Филиппову 10 февраля 1962-го:

Я не удивлюсь, если вскоре в Сов<етском> Союзе будет объявлено о выходе «Избранного» Гумилева. В одном английском журнале напечатана авансом любопытная и симптоматичная статья Корнелия Зелинского (экс-конструктивиста). <...> Едва ли не на первое место выдвинуты такие поэты, как Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева. При этом о судьбе трех последних скромно умалчивается<sup>59</sup>. []

В английском журнале (в советской печати статья не появлялась) Корнелий Зелинский был предварен врезкой, подписанной «Г.К.» (видимо, оксфордским историком Г.М. Катковым):

Вероятно, эрозия воинственной концепции, выдвинутой Ждановым в 1946 году, зашла так далеко, что исходная точка зрения Зелинского может сейчас не вызвать даже изумленного вздымания бровей, не говоря уже о лязге тюремной двери, к которому она привела бы пятнадцать лет назад. Ибо, согласно Зелинскому, советская поэзия есть не разрыв с русской традицией девятнадцатого — начала двадцатого века, а наоборот часть той самой поэзии, к которой принадлежат Пушкин, Некрасов, Ахматова (и как мы сейчас узнаем, впервые из советских источников, даже Гумилев). <...> Его признание технического совершенства поэтических достижений Гумилева в сочетании с упоминанием о казни поэта, похожей на казнь Андре Шенье, удивит советского читателя, даже после того, как «Правда», нарушив традиционное молчание о «контрреволюционном поэте», назвала это имя в связи с полетом космической ракеты на Венеру. Его признание, что без стихов Анны Ахматовой советская поэзия была бы беднее, не взирающее на резкую критику, которой ее подверг Жданов, не удивит никого в Советском Союзе теперь, когда ее стихи появились в массовых изданиях. Но вряд ли то же относится к предъявлению ее как представителя современной советской поэзии наряду с еще более проблематичной личностью, с Борисом Пастернаком. <...> И тем не менее есть во всем этом

нота фальши, ибо Зелинский провозглашает эти часто бесспорные, хоть не всегда оригинальные мысли, как если бы они были общепризнанными и общепринятыми в его стране. <...> Следует усомниться в его искренности, коль скоро он избегает упоминать о самоубийствах Есенина, Маяковского и Цветаевой, о смерти Мандельштама в концлагере, о трагическом конце жизни Пастернака, о бесчисленных страданиях Ахматовой, если назвать только некоторых поэтов из тех, о ком он говорит. Он совершенно прав, утверждая, что они никогда не стремились укрыться в башне из слоновой кости, но именно это их желание быть ближе к жизни и отстоять свою независимость от «партийности» было причиной их личных несчастий и основой многого трагического в сложной истории современной русской поэзии.

На самом излете года, 29 декабря 1961-го, Лев Горнунг написал поэту Дмитрию Голубкову:

Знаете ли Вы, что в Ленинграде вышла книга стихов Гумилева? На днях книга должна появиться в Москве, ждут со дня на день<sup>60</sup>.

Этот слух оказался ложным, как и много ему подобных, по вехам которых мы ступаем в этой книге, но весь тот год читатели гадали о заметке И. Шкловского:

останется ли гласом вопиющего в пустыне или началом подготовки к посмертной амнистии? Трудно сказать<sup>61</sup>.

Теперь самого Бунина там издают, на него ссылаются, поют ему дифирамбы. Не удивлюсь, если через некоторое время «там» будут издавать и превозносить покойного Пастернака, будут печатать Гумилева и т.д.<sup>62</sup>

Последнее соображение, видимо, и подвигло старинного поклонника Гумилева, бывшего петербуржца, берлинского русского поэта, американского химика обратиться в начале февраля 1962 года к главе коммунистической державы через советского посла:

Многоуважаемый Никита Сергеевич,

Разрешите зарубежному ценителю Ваших реформ обратить Ваше внимание на ненужный пережиток сталинских времен, все еще (насколько мне известно) не устраненный.

Гумилева не переиздают в СССР. Н.С. Гумилев был замечательным поэтом. Его расстреляли в 1921 году и, очевидно, поэтому он и по сю пору в опале. Но теперь никаких оснований для опалы нет. Гумилев, как и многие другие «контрреволюционеры» был не за капитализм, а за Россию. Тогда ведь не полагалось любить Пушкина, оттого что Пушкин был крепостником, рабовладельцем и придворным; тогда полагалось ненавидеть Петра Великого, оттого что он был помазанником божьим: немудрено, что русские люди зароптали. Теперь народу позволено гордиться величием его великих предков, и Гумилеву незачем было бы ссориться с правительством. Если бы его так нелепо не убили на 36-ом году жизни, он защищал бы Россию в 1941 году, как бросился защищать ее — добровольцем — в 1914 году, и написал бы во время второй мировой войны стихи о родине лучше, чем Рыленков или Симонов.

Стихи у Гумилева такие, что всякому правительству понравятся: никакой упадочности в них нет, а есть мужество, крепость, патриотизм, сознание долга и, конечно, красота.

Гонение на Гумилева тем страннее, что ведь И.А. Бунина перепечатают в Союзе, а Бунин был более последовательным противником Советской власти, чем Гумилев; Бунин уехал из России, а Гумилев в нее вернулся после октябрьской революции.

Каков бы ни был Гумилев, его теперь ни обидеть, ни обрадовать нельзя, а Россию Вы обрадуете, если вернете ей самого мужественного из русских поэтов.

С совершенным уважением

Яков Иосифович Бикерман<sup>63</sup>

Буквально в эти же дни произошло следующее событие. Как вспоминала соседка Ахматовой по Дому творчества писателей в Комарове литературовед Анна Саакянц (она жила там с редакторшей Верой Фридлянд):

Однажды Любочка [Большинцова] постучала к нам довольно поздно — мы уже легли: «Девочки, приходите, Анне Андреев-

не привезли шампанское и шоколад» — и, предупреждая нашу стеснительность: «Ей ведь это нельзя». И мы, накинув поверх ночных рубашек шубы, помчались в противоположный конец коридора, в просторный номер Анны Андреевны, — до сих пор не перестаю восхищаться этой сверхнепосредственностью отношений.

В ту ночь Анна Андреевна поделилась с нами своей огромной радостью: гость, приехавший к ней, привез журнал (или газету), где впервые за много лет был упомянут Николай Гумилев. Думаю, нет нужды объяснять, что значило для Анны Андреевны это упоминание, пусть и в соответственном (по тем временам) контексте. Шампанское мы распили<sup>64</sup>.

Газета, привезенная в Комарово, содержала статью Виктора Перцова, который в эти годы своим коллегам «говорил, как много вранья в его книгах. Мне казалось, что он смакует эту тему»<sup>65</sup>:

Многим молодым поэтам последнего призыва бесконечно близок и дорог А. Блок. У них обостренное внимание к творчеству таких поэтов, как Иннокентий Анненский, О. Мандельштам, Н. Гумилев. Сейчас читатели получили возможность познакомиться с творчеством Марины Цветаевой, правда, не со всем, что есть у нее лучшего. При этом дело не обходится без издержек: у некоторой части поэтической молодежи вызывают интерес не столько ее антифашистские «Стихи к Чехии», ее голос поэта-трибуна огромной силы, неслыханного поэтического звучания, сколько «верчение стиха» вокруг тем одиночества, отверженности<sup>66</sup>.

На эту статью указал Глеб Струве в дописывавшемся им в марте 1962-го предисловии к первому тому вашингтонского собрания сочинений Гумилева:

Упомянув о том, что советский читатель недавно получил стихи Марины Цветаевой (а Анненского он получил еще до того), советский критик как бы намекал, что теперь очередь за Мандельштамом и Гумилевым.

На нее жеотреагировал один из официальных герольдов государственного художественного метода:

Даже убежденные и яростные противники социалистического реализма (вроде американского профессора Дж. Гибиана, не останавливающегося ни перед чем, чтобы дискредитировать советскую литературу в глазах людей, ищущих в ней ответа на большие вопросы эпохи) порой вынуждены с прискорбием признаваться, что эта литература открыла новые моральные и эстетические горизонты. Так, Гибиан, сокрушаясь о том, что советские писатели проходят мимо Пруста, Джойса, Кафки, Т.С. Элиота, Д.Х. Лоуренса, Фрейда, и не замечая, как сам себя сечет розгами, отмечает, что, если в центре западного романа обычно стоит индивидуум или группа индивидуумов, думающих лишь о себе, то в советском романе внимание сосредоточено на героях, воодушевленных большой общественной целью. Американский профессор решается даже на то, чтобы посоветовать идолопоклонникам бизнеса «поучиться у русских». «Мы часто живем изолированно друг от друга, лишены чувства общих целей, которые показали бы нам, к чему стремиться, ради чего работать и жить», — жалуется он, наивно полагая, что «чувство общих целей» может расцвести в буржуазном мире. <...> Короче говоря, пока что учеба у «поэтов-модернистов» привела не к новаторству, а к эпигонству, притом не лучшего сорта. Возможно, и найдутся отдельные талантливые поэты, которые смогут более или менее удачно использовать версификационные находки М. Цветаевой, В. Хлебникова, Н. Гумилева. Что ж, как говорится, дай бог! Но это не докажет, что именно здесь пролегает путь новаторства. В искусстве, как и во всякой другой области, бывают и негаданные открытия, счастливые находки, обязанные стихии таланта. Их можно найти и у названных поэтов. Но непростительно сосредоточивать молодую поэзию на небольшой кочке, к которой нужно добираться по болоту, тогда как рядом — бескрайний плодоносный целинный край «неписаной жизни», богатейший опыт новаторского искусства социалистического реализма, наконец, протяни лишь руку — и загребай пригоршнями золотые россыпи мировой поэзии всех веков и народов... <...> Нет, речь идет не о том,

чтобы пугать именами Гумилева или Цветаевой! Это ни к чему. А о том, чтобы предостеречь от опасности утратить ощущение главного, действительно передового<sup>67</sup>.

Но при этом В. Перцову было разрешено ответить в рубрике «В спорах рождается истина»:

Модернизм как художественное направление нам чужд, враждебен. Но, ведя борьбу с ним и помогая молодежи искать новое на почве реализма, нельзя игнорировать полезные элементы индивидуального опыта и у тех талантов в среде модернизма, которые не порвали с ним и не стали на демократический путь. Ведь факты говорят, что у них есть интересные художественные достижения — у того же Н. Гумилева или О. Мандельштама<sup>68</sup>.

Записной охранитель А.Л. Дымшиц был недоволен тем, что за В. Перцовым осталось последнее слово, и в тот же день сочинил нотацию редактору газеты, упрекнув его в том, что он не завершил дискуссию публикацией стенограммы обсуждения первой перцовской статьи, которое было проведено в редакции журнала «Октябрь» 10 апреля, где статью осуждали присяжные гонители модернизма С. Трегуб, В. Друзин, Б. Соловьев:

Стало бы ясным, что А. Метченко спорил с В. Перцовым вовсе не относительно Блока, как это пытается изобразить В. Перцов, а относительно Цветаевой, Гумилева, Мандельштама и других поэтов декаданса<sup>69</sup>.

Меж тем, незадолго до этого известный ленинградский книжник А.Я. Рабинович показал Ахматовой в букинистическом магазине стопку сборников Гумилева, которые было после многолетнего запрета разрешено закупать у населения<sup>70</sup>. На эту сенсацию книготорговли отозвался влиятельный в ту пору журналист:

Ажиотаж творится вокруг Н. Гумилева. Цены на его стихотворные сборники взвинчены до 10, 20 и даже 25 рублей. Право, ради



одного того, чтобы пресечь эту узаконенную спекуляцию, стоит, наконец, издать избранные стихи Гумилева и продавать их за нормальную цену — за рубль или полтора — да еще и с дельным предисловием, в котором точно было бы определено место, какое этот поэт занимает на русском Парнасе<sup>71</sup>.

Недоступность дорогого удовольствия взывала к «преодолению Гутенберга». Поэт Юрий Линник вспоминал об этом годе в Литературном институте:

Вместе с Леней [Черевичником] мы перепечатали на машинке все книги Николая Гумилева. Я отнес их в переплетную мастерскую — выбрал цвет *морской волны*. Почему-то запомнилось это выражение переплетчика<sup>72</sup>.

И навстречу всем чающим движения воды нечто вроде знака снизошло, — как казалось, свыше.

30 апреля 1963 года собиратель материалов по Ахматовой («мой биограф» — цитатой из Гумилева называла его Ахматова) и Гумилеву М.В. Латманизов записал свой первый разговор с Ахматовой:

А. — Вас интересует также и творчество Николая Степановича Гумилева?

Я. — Да, я очень интересуюсь и его творчеством. Я собрал почти все его сборники, тоже стараюсь собрать все, что относится к его жизни и деятельности.

А. — Это очень большой поэт.

Я. — К сожалению, он не дал всего того, что мог бы сделать.

А. — Да, он очень рано ушел. Но и так он много сделал.

Я. — В первых сборниках Н.С. Гумилева еще чувствуется влияние символистов, но уже начиная с третьего, с четвертого сборника он уже находит себя и полностью открывает свое творчество. Но в первых сборниках, наряду с символистскими стихами...

А. (*перебивая*) — Почему наряду? Все, что он сделал, — все значительно. А в «Колчане» и в «Костре» — все свое, здесь он достигает вершин. Его долго не печатали и его очень мало знают. Но сейчас начали печатать. О творчестве Гумилева надо судить

не по «Капитанам». У него много очень серьезных и важных стихотворений. «Капитаны» — это игрушка. Вот сейчас напечатали ряд стихотворений Гумилева в хрестоматии.

Я. — Да в хрестоматии, составленной Тимофеевым для педагогических училищ.

А. — Его скоро начнут печатать. Мне сейчас предложили составить, отобрать его стихотворения и прокомментировать их. Но мне не очень удобно это. Может быть, Вы взяли бы составить свод его ранних стихотворений и прокомментировать их?

Я. — ?!

А. — За границей Гумилева много издают. Вот посмотрите — сзади Вас — мне прислали первый том сочинений Гумилева, которые издают сейчас в Америке, в издательстве Чехова<sup>73</sup>.

Здесь описка. Речь о составленной Николаем Алексеевичем Трифоновым (1906–2000) хрестоматии для педагогических вузов «Русская литература XX века (дореволюционный период), сданной в набор 11 ноября 1961-го, гумилевского «известинского» года, и подписанной к печати 29 августа 1962-го. В книгу вошли куски из акмеистического манифеста и восемь стихотворений «самого мужественного из русских поэтов», как написал генсеку эмигрант: по одному из циклов «Озеро Чад» и «Капитаны», «Помпей у пиратов», «В пути», «Старый конквистадор», «У камина», вечно выигрышная, «покуда на земле последний жив невольник», как сказал Мандельштам, «Невольничья»<sup>74</sup> и «Мои читатели».

Зарубежье сквозь зубы констатировало:

Эра оттепели сказала и на этой заскоружлой книге: в ней приведено несколько стихотворений Гумилева<sup>75</sup>.

Сам Н.А. Трифонов, один из редакторов «Литературного наследства», 11 мая 1964 года обратился к Ахматовой и попутно спрашивал, не попадалась ли ей его хрестоматия и

Ваше мнение, насколько удачно сделан подбор Ваших стихов<sup>76</sup>

— имя Гумилева по обыкновению осталось в умолчании.

Хрестоматия выдержала несколько переизданий, проходивших не всегда гладко: в конце 1970-х потребовали убрать из ее четвертого издания Мережковского, Гиппиус, Гумилева. Трифонов писал в ЦК и четвертое издание вышло без сокращений в 1980 году<sup>77</sup>.

Публикации И. Шкловского, К. Зелинского, В. Перцова, В. Орлова, Н. Трифонова сделали свое дело, и как некоторое следствие колеблемой конъюнктуры в июне 1963-го случайно (?) встреченная американским историком в аэропорту в Тбилиси дама, выпускница Литературного института, завела разговор о том, что хочет заниматься Гумилевым<sup>78</sup>.

В это же время Лубянка расследовала дерзкую акцию, как явствует из записки председателя КГБ В. Семичастного в ЦК КПСС:

Докладываю, что, по имеющимся в Комитете госбезопасности данным, за последнее время в Москве получила широкое распространение нелегальная торговля идеологически вредной литературой. На «книжном рынке» перепродаются произведения русских и эмигрантских поэтов Цветаевой, Гумилева, книги: «Доктор Живаго» Пастернака, «Эротические сонеты» Эфроса, «Литература и революция» Троцкого, мемуары русских эмигрантов, порнографические и другие издания.

Установлено, что часть этой литературы издана различными эмигрантскими центрами за границей и ввезена контрабандным путем в нашу страну, а некоторые книги напечатаны нелегально в Советском Союзе и продаются спекулянтами-книжниками по высоким ценам.

По своему содержанию отдельные из них антисоветского толка, возводят клевету на наш строй, разлагающе влияют на советских граждан, особенно на молодежь, порождая у них пессимистические настроения и склонность к разврату.

Комитетом госбезопасности выявлена группа лиц, занимающихся незаконным изготовлением и распространением подобной литературы.

Наиболее активную деятельность на этом поприще развил житель г. Москвы Архипов Константин Николаевич, 1915 года рождения, русский, член КПСС, референт Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства.

Архипов арестован. При обыске у него изъяты изготовленные нелегально 14 экземпляров сборника стихов Гумилева «Забывтое», 12 экземпляров книги Цветаевой «Приключение», «Притча о банщике» эротического содержания, исключенная из «1001 ночи» при ее издании, большое количество суперобложек, клише и другие приспособления, используемые им для печатания, а также свыше 500 чистых бланков с печатями и штампами различных организаций и ведомств.

В процессе следствия установлено, что Архипов работал длительное время в «Госстройиздате», а затем в аппарате Госстроя СССР, используя свое служебное положение, в преступных целях установил связь с некоторыми работниками типографий Госстроя и, пользуясь их беспечностью, в течение ряда лет печатал различную литературу и сбывал ее на черном рынке.

Так, книги «Забывтое» и «Приключение», отпечатанные в типографии № 3 Госстроя СССР, Архипов выдавал как библиографические редкости, продавая их соответственно за 50 и 100 рублей (в новых ценах).

Следствие по делу Архипова продолжается в направлении вскрытия каналов поступления из-за границы в СССР идеологически вредной литературы, выявления лиц, распространяющих ее, и установления типографий, в которых нелегально печатались и размножались книги, запрещенные к изданию<sup>79</sup>.

В книге «Забывтое» содержалось семь текстов: стихотворный инскрипт (надпись на «Романтических цветах» В.-Анненскому>Кривичу («Вот книга странная...») и переводы из Оскара Уайльда плюс «Предостережение хирурга» Роберта Саути.

В том же 1963-м дело К.Н. Архипова, обвинявшегося в злоупотреблении служебным положением и антисоветской пропаганде, было прекращено<sup>80</sup>. Отголоском этого расследования, видимо, стала статья в «Вечерней Москве» (о которой были оповещены даже читатели «Нью-Йорк Таймс»<sup>81</sup>), где рассказывалось об изготовлении нескольких книг подделок (назывались «Эротические сонеты» А. Эфроса и «Приключения» Цветаевой), говорилось о приобретении научным работником В. Бронгулевым книг у Клыка и Короля<sup>82</sup>. Именно в собрании В. Бронгулеева находился инскрипт Валентину

Кривичу: вероятно, он и был составителем книги, «запрещенной к изданию».

Имя Гумилева стали смелее называть в письмах к Ахматовой. 18 мая 1963-го. В.В. Павчинский просит ее прислать портрет Гумилева<sup>83</sup>. 19 декабря Е.Е. Тимошенко из Токсова направляет ей письмо, в котором рассказывает свою биографию как читателя русской поэзии — ценный документ для рецептивной истории литературы прошлого века. В числе прочего он упоминает: «У меня была вырезка из псковской газеты “За Родину” (оккупационная газета 1941–43 гг. — я был в оккупации) со стихотворением Гумилева “Крест”»<sup>84</sup>. Наконец, 5 января 1964-го почта приносит письмо:

Добрый день

Многоуважаемая Анна Андреевна!

Извините неизвестного Вам человека за такое письмо, Анна Андреевна, я буду говорить прямо.

Весь смысл этого письма сводится к тому, что я хочу знать, где находится могила Н.С. Гумилева, конечно, мне очень многое неизвестно из его жизни, но это совсем другое. Мне очень нравится его поэзия и т.д.

Анна Андреевна, извините, тысячу раз извините, но что не сделаешь, любя стихи и поэта.

Я знаю, что Вы заняты, я много раз это себе говорил, но ведь Вы и только Вы можете ответить мне на этот вопрос.

Ведь Вы столько видели и столько слышали.

Извините, Анна Андреевна,

простой человек

Гувенькин Иван Титович

не дипломат<sup>85</sup>

Побывавший в Москве летом 1964-го иностранец, югославский филолог Михайло Михайлов свидетельствовал:

Внимание между тем привлекают многочисленные реабилитации до сих пор проклинавшихся модернистов и эмигрантов. Если события будут развиваться в этом направлении, а все говорит за то, что именно так и будет, недалек день, когда со-

ляются Союз советских писателей и Союз русских писателей в Париже, председателем коего является известный новеллист Борис Зайцев.

В первом номере журнала «Москва» за 1964 год реабилитирован Пильняк, опубликован его рассказ, до сих пор не известный. В восьмом номере журнала «Знамя» опубликованы неизвестные еще рассказы Исаака Бабеля, а в журнале «Москва» воспоминания Николая Чуковского об Осипе Мандельштаме и несколько стихов Мандельштама. В печати сборники стихов Мандельштама и Гумилева. Ощущается увеличение популярности Николая Гумилева (1886–1921), большого и талантливого русского поэта. Я слышал славословия молодых студентов-поэтов в адрес Гумилева. Поэт этот у нас почти неизвестен, хотя он, наряду с Маяковским, Цветаевой и Есениным, один из самых значительных русских поэтов двадцатых годов нашего столетия, вождь движения акмеистов, муж Анны Ахматовой, расстрелянный в 1921 году за участие в контрреволюционном заговоре. По этой причине этот крупный поэт замалчивался на своей родине. В Большой Советской Энциклопедии издания 1952 года имя Гумилева даже и не упоминается.

Гумилев был очень живой, целостной и мужественной личностью. Он окончил Сорбонну, руководил двумя экспедициями в Африку, основал «Русское общество охоты на львов», пошел добровольцем на фронт во время первой мировой войны, активно боролся против советской власти. Поэзия Гумилева полна силы и жизненной энергии, это поэзия, прославляющая бесстрашных конквистадоров, завоевателей, мореплавателей, всех тех, кто ежедневно без страха смотрит смерти в глаза. И его сегодняшняя популярность в стране чрезвычайно симптоматична.

Своим бесстрашием и дерзким поведением на допросах в ленинградской ЧК Гумилев привел следователей в такую ярость, что они, узнав о том, что Горький поспешил к Ленину и получил от него гарантию, что Гумилев не будет расстрелян, поторопились и тут же ликвидировали поэта. Замятин в своих воспоминаниях о Горьком пишет:

«Случилось так, что незадолго до его отъезда (из России, прим. М.М.), я, возвращаясь из Москвы в Петербург, оказался в одном вагоне с Горьким. Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем

мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилеве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически и литературно чужой Горькому, но тем не менее Горький сделал все, чтобы спасти его. По словам Горького, ему удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилева, но петербургские власти как-то узнали об этом и поспешили немедленно привести приговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь». (Е. Замятин. «Лица». Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 93-я)<sup>86</sup>.

В июне 1964-го Ахматова, к которой в эту пору обращались разные собиратели наследия Гумилева<sup>87</sup>, рассказывала главному из них — М. Латманову о визите В.В. Гольцева:

Недели за три до моего отъезда в Ленинград ко мне пришел один очень высокопоставленный человек. Он близок к Аджубею, к редакции «Известий». С ним очень считаются, он пользуется большим авторитетом. И он мне сказал, что собираются реабилитировать Гумилева, и спросил, как бы я к этому отнеслась. Я сказала, что никогда не верила в виновность Гумилева. Он, конечно, ни в чем не виноват и его реабилитация была [бы] только восстановлением справедливости. Дальше он рассказал, что были подняты дела, связанные со следствием по делу Гумилева, по делу «таганцевского заговора», по делу самого Таганцева, и выяснилось, что собственно никакого «таганцевского заговора» не было. Что Гумилев ни в чем не виноват, не виноват и сам Таганцев ни в чем. Никакого заговора он не организовывал. Он был профессор истории в университете в Ленинграде. Был большим оригиналом, но политикой, а тем более заговорами, не занимался. А было следующее: действительно была группа — пять моряков, которые что-то замыслили и, чтобы отвести от себя подозрения, составили списки якобы заговорческой группы во главе с профессором Таганцевым. Включили в эти списки много видных лиц с именами, в том числе и Гумилева, отдавая каждому свою определенную роль. Для того, чтобы самим, таким образом, остаться в тени при любых обстоятельствах. Всего

ими в списках был упомянут 61 человек. Из них казнили — 51 (?). Так вот, весь этот заговор оказался несуществовавшим и теперь, после рассмотрения всех материалов, Гумилев будет реабилитирован. И даже сам Таганцев будет тоже реабилитирован. Вот так мне сказал этот человек, которому нельзя не верить: он слов на ветер не бросает. Потом он увидел у меня 1-й том четырехтомника Гумилева, сказал, что он эту книгу еще не видел, что эту книгу они еще не получали, и попросил у меня ее на несколько дней посмотреть. Я дала. Он ушел, и долго о нем я ничего не слышала. Я уже начала беспокоиться. Недели через две он снова пришел ко мне. Вернул книгу. Я у него спросила: «Ну, как же с реабилитацией Гумилева, Вы не ошиблись?» «Нет, — говорит он, — это вопрос решенный. И в самом скором времени это будет сделано». Далее он сказал, что решено издать сочинения Гумилева, и просил меня порекомендовать — кого из писателей следовало бы поставить редактором<sup>88</sup>.

Слух о проекте известинцев дошел до И. Шкловского:

Аджубей в 1964 году очень старался, чтобы книга стихов погибшего поэта вышла — видать, история с Венерой пошла ему впрок, тем более что отгремел XXII съезд партии. Увы, даже запоздалое заступничество зятя не помогло, ибо в том же году тень прекратил свое политическое существование<sup>89</sup>.

6 июля 1964 года сотрудник «Краткой литературной энциклопедии» В.В. Жданов, которому предстояло выпускать в свет том с соответствующей персональной статьей (сдан в набор 6 апреля, подписан в печать 21 сентября 1964-го), писал Ахматовой:

Нет ли каких новых данных о судьбе Гумилева? До меня дошли об этом весьма неясные слухи<sup>90</sup>.

Позднее, когда звезда Аджубея закатилась, Ахматова 26 ноября 1964-го, похоже, мягко попеняла Ю.Г. Оксману, патрионировавшему редакцию «Энциклопедии»:



А.А. понятия не имеет, почему ей приписывают чепуху о смертной реабилитации Н.С. Гумилева<sup>91</sup>.

В ноябре 1964-го, когда собратья по перу выталкивали Ю.Г. Оксмана из писательского союза, опять говорили об издании двух акмеистов:

*Н. Рыленков.* <...> Можно ли считать обвинением в хранении антисоветской литературы то, что у него были книги Гумилева или Мандельштама?

*(Г.М. Марков: Разве об этой литературе говорится?)*

Речь идет о том, что создан нездоровый интерес вокруг некоторых имен нашей литературы, выведенных за пределы советской литературы неправомерно и не закономерно. Не будь этого, никакого нездорового интереса не было бы. <...> Но мы должны убить нездоровый интерес к некоторым именам советской русской литературы, который нам подбрасывают с запада, тем, что мы сами их будем издавать со своими комментариями. И этим мы фактически отведем то, что они делают. <...>

*В. Перцов:* Я к Вам относился с симпатией, как к человеку, который пострадал в тех условиях. Вы очень хорошо эрудированы. Я Вас уважал и уважаю как знатока. Но то, что я узнал — это же система! Здесь кто-то говорил, что Вам стыдно перед нами. А мне сейчас стыдно за Вас! <...> Действительно обидно, что мы не издаем какие-то книги, и нужно издавать и развязаться, чтоб эти сволочи не привязывали к Гумилеву.

*(В.М. Кожевников. Издадут полное).*

*(И.И. Анисимов. Все равно будут привязываться). <...>*

И я прямо скажу: мне очень трудно общаться с Вами, зная, что Вы за моей спиной это делали. Я считаю, что Вы меня предали своим поведением.

*Н.К. Чуковский:* <...> Я согласен с тем, что говорили т. Рыленков и Перцов, я согласен, что мы слишком много отдаем врагам без всякой нужды. Я знал Мандельштама и уверен, что он не был антисоветским человеком, хотя и не был 100%-но советским человеком. Но тут не дело в том, что хочет Струве от него и что он о нем пишет. Но дело совсем не в этом. Мы будем эти книги издавать, а Струве будет к нам относиться совершенно так же. Поэтому ду-

мать, что если мы это будем издавать, то к нам эти белогвардейцы будут относиться лучше, это совершеннейшее заблуждение. <...>

*А.Б. Чаковский:* <...> Издавать надо, но если издадите Мандельштама, потом будет статья, что издали фальсифицированно. С этим трудно бороться<sup>92</sup>.

Как раз в эти дни в парижской газете появились куски мемуарной книги И. Одоевцевой, противоречившие снисходительной версии В. Гольцева:

Я иду с Гумилевым по Дворцовой набережной, после его лекции в Доме искусств. Он вдруг останавливается и, перебивая самого себя на полуфразе, говорит:

— Поворачивайте обратно. Дальше вам меня провожать неудобно. Ведь там конспиративная встреча. О ней никто не должен знать. И вы забудьте. Идите себе домой с Богом. Через Летний Сад. Кланяйтесь от меня статуям и деревьям. Дайте мне только на прощанье ветку сирени.

<...> Я протягиваю Гумилеву ветку сирени.

— До завтра, Николай Степанович.

— До завтра. Не забудьте, кланяйтесь от меня деревьям и статуям Летнего Сада. — И, понижая голос, добавляет: — Никому не говорите, куда я иду.

По-моему, ему вообще не следовало сообщать мне о «конспиративной встрече», раз о ней никто не должен знать. Все это не серьезно, а только игра в заговоры, театр для себя. Но я и вида не подаю, что не верю ему. Я говорю:

— Будьте осторожны, Николай Степанович. Ведь всюду провокаторы и даже у стен уши.

— Не бойтесь за меня. Я в огне не горю и в воде не тону. — И он, самоуверенно улыбаясь, удаляется, размахивая веткой моей сирени<sup>93</sup>.

16 января поэт-любитель П.А. Дубровский писал Глебу Струве из Парижа:

Сообщаю Вам одну подробность, связанную с Вашим изданием и не лишнюю, на мой взгляд, интереса. Я нахожусь в ре-

гулярной переписке с одним из моих племянников, живущим в Москве. От него я знаю, что в Сов. Союзе существует категория людей, довольно многочисленная, уже имеющая в своем распоряжении 1-ый том и ждущая с нетерпением выхода следующих. Интерес к Гумилеву там очень большой. С год тому назад им был обещан однотомник избранного Гумилева, но, по-видимому, это решение было отложено в долгий ящик<sup>94</sup>.

И в том же январе 1965-го вышел в свет второй том «Краткой литературной энциклопедии» со статьей А.Д. Синявского о Гумилеве, прошедшей, надо полагать, несколько раундов переговоров об утряске и балансе и с обескураживающей иных современников характеристикой его творчества:

В поэзии Г. значительное место занимает апология волевого начала, «сильной личности» ницшеанского толка... Выраженная в некоторых его стихах мечта о «подвиге и героизме» носит реакционный характер<sup>95</sup>.

Еще не развеявшееся «оттепельное» ощущение свободы в обсуждении ранее запретных фигур, в том числе и свободы вдохновенно критиковать их, не боясь быть заподозренным в корыстной ждановщине, пронизывает и страницы об акмеистах в монографии А. Синявского (совместной с А. Меньшутиным) о поэзии послереволюционных лет:

...в противовес всему современному искусству (а вместе с тем — как прямой политический выпад против революции), сооружается постамент вождю акмеистов, организатору и вдохновителю «Цеха Поэтов» — Н. Гумилеву: «Гумилев, — утверждает Адамович, — есть одна из центральных и определеннейших фигур нашего искусства и, добавлю, героическая фигура среди глубокого и жалкого помрачения поэтического и общехудожественного сознания в наши дни». Это выдвижение Гумилева в качестве центральной фигуры и, больше того, чуть ли не единственной — на фоне всеобщего «помрачения» — объяснялось не одними лишь групповыми интересами или преданностью ученика, влюбленного в своего наставника. Не только среди

акмеистов, но и в более широких кругах имя Гумилева проносилось с восторгом и служило знаменем оппозиции. Его враждебность новой власти (достаточно известная в писательской среде), литературные убеждения и биография фронтовика (он принял активное участие в мировой войне), офицерская выправка, которую он сохранял даже в своих стихах, — все это создавало вокруг Гумилева в глазах его сторонников некий героический ореол. Для антидемократического, враждебного революции лагеря русской поэзии эту фигуру, действительно, можно считать центральной. <...> В дальнейшем, однако, поэтическое влияние Гумилева несколько расширилось и, перейдя на иную общественно-историческую почву, в измененном виде, коснулось ряда советских поэтов, выступавших под знаменем военной романтики и боевого мужества, — с политических позиций, ему противоположных, враждебных. В то же время эта связь с поэтикой Гумилева не могла быть прочной и легко прерывалась вместе с обретением своего голоса, отказом от книжных влияний и более полным приобщением к материалу современности. Поэтому отраженный «блеск» романтики Гумилева чаще всего заметен у начинающих авторов, очарованных внешней красотью и эффектностью его стиля, пестротой красок, кокетливостью позы и т.д.<sup>96</sup>

Известную легализацию имени заметка в литературной энциклопедии обозначала, и может быть, потому Глеб Струве послал запрос по библиографии поэта консультанту группы библиографии Пушкинского Дома К.Д. Муратовой. Она ответила информацией, уже известной адресанту. Он продолжал доискиваться сведений о первопубликациях прозы Гумилева для комментариев к четвертому тому собрания сочинений. «Может быть, об этом знают М. Зенкевич или А. Ахматова, но я не хочу беспокоить их запросом». К.Д. Муратова поручила выполнение этих разысканий библиографу А.Д. Алексееву, который был пылким поклонником Гумилева. Его младший коллега М.Д. Эльзон вспоминал:

А.Д. Алексеев неоднократно мне говорил, что, по его мнению, великая русская литература ушла в изгнание, а литература, «ос-

вященная» идейностью и партийностью, таковой, собственно, не является, так сказать, находится вне пределов литературы (он делал исключение для Ахматовой, Мандельштама, Заболоцкого, Шефнера и некоторых других<sup>97</sup>).

Алексеев стал переписываться с Глебом Струве через иностранцев, посещавших Пушкинский Дом, в частности, жителя Чехословакии Вадима Морковина. В конце июля 1965-го он писал Морковину по получении второго тома вашингтонского собрания:

...И самое главное — получил заветный второй том — и летел с ним домой, как на крыльях. Я счастливый. Шутка ли — теперь у меня... в двух томах полное собрание стихотворений, ни разу у нас не переиздававшихся, да ещё в таком уникальном издании! Это ли не предел мечтаний для любителя поэзии и скромного библиофила?...

...Ну, а как же мне благодарить Глеба Петровича, который оказался таким добрым и отзывчивым? Буду ему писать...

...«Реквием» обещают у нас издать. В плане выпуска книг в 1965 году значится сборник А. Ахматовой «Бег времени», в который намечено включить (если не передумают) и «Поэму без героя» и «Реквием». Жаль только, что не всегда удастся купить, что хочешь. Спрос на такую литературу огромен, а тиражи ее невелики. Зато всякого бездарья издается и переиздается у нас сколько угодно...

На протяжении двух лет А.Д. Алексеев посылал материалы для дополнений к вышедшим томам (в одном из писем к Г.П. Струве он описал похороны Ахматовой и адресат передал эти фрагменты в печать<sup>98</sup>).

В этом году о Гумилеве уже «шумели», — во всяком случае об этом «шуме» прослышал писательский начальник Тихонов, который говорил осенью 1965-го на писательских курсах:

До революции и после в Петрограде было такое кабаре, где все поэты и прочие собирались. И когда туда входила Ахматова, то

спрашивали, кто это, им отвечали: «Ахматова!» — «А он кто?» — «Ее муж». А это был тот самый Гумилев, о котором сейчас пытаются шуметь. Я Гумилева видел в апреле 21-го года, а в августе он исчез, его арестовали и расстреляли. Ленин требовал его дело и дело архитектора в Москву, но Зиновьев устроил скандал: вокруг заговоры! И не отдал... Гумилев был обвинен в заговоре, хотя у него нет ни одного антисоветского стиха<sup>99</sup>.

И той же осенью в своем последнем в жизни публичном выступлении имя своего первого мужа назвала Ахматова. На юбилейном вечере Данте в Большом театре в октябре 1965-го она предполагала говорить подробнее о тех, «кто был тогда со мною рядом» и для кого

величайшим недосыгаемым Учителем был суровый Алигиери, между двух флорентийск<их> костров Гумилев видит, как

Изгнанник бедный Алигиери

Стопой неспешной сходит в ад. <...>

...и когда недоброжелатели насмешливо спрашивают: «Что общего между Гум<илевым>, Манд<ельштамом> и Ахм<атовой>?» — мне хочется ответить: «Любовь к Данте». Недаром Н<иколай> С<тепанович> хотел чуть не до последней минуты свою книгу «Огненный столп» назвать «Посередине странствия земного» («Nel mezzo del' cammin di nostra vita»), <...> а в «Оде к д'Аннунцио» Гумилев снова обращается к Данте в связи с судьбой поэтов (Цитата.)<sup>100</sup>.

В том же году на эту тему появились спокойные, академичные рассуждения:

Русские поэты под влиянием Пушкина и Веселовского задумывались не только над творчеством Данте, но и над его сложной личностью и трагической судьбой: «...мальчика, влюбившегося в бледность лица Беатриче, неистового гибеллина и веронского изгнанника мы любим не меньше, чем его “Божественную комедию...” — признавался Гумилев. Он стремился проследить, как влияние Данте переплетается в русской поэзии с другими, пришедшими значительно позже. Особенно тонким было замечание

Гумилева о брюсовской поэме «Подземное жилище», «в которой своеобразно-глубоко перекрещиваются влияния Данте и Эдгара По <...>». Гумилев также размышлял об этих скитаниях и о роли спутника-учителя, ведущего доверившегося ему скитальца по неведомым мирам к познанию сущности жизни:

А я уже стою в саду иной земли,  
Среди кровавых роз и влажных лилий,  
И повествует мне гекзаметром Вергилий  
О высшей радости земли.

Как отзвук дантовской поэзии воспринимаются также строки стихотворения «Память» Гумилева:

Я угрюмый и упрямый зодчий  
храма, восстающего во мгле...<sup>101</sup>

Но Ахматова ограничилась только произнесением имен. Присутствовавший в зале вспоминает:

Пользуясь привилегией своего пола и возраста, она не стала выходить из-за стола, за которым сидела, а, поднявшись, прочитала небольшую речь, где, в частности, сказала, что Данте был одним из тех знамен, под которыми вступили в литературу она и ее друзья — и она произнесла «нецензурные» тогда имена Гумилева и Мандельштама. Ясно было, что для этого она сюда и пришла<sup>102</sup>.

1966 год был для Гумилева<sup>103</sup> юбилейным — 10 января Лев Никулин писал В.Н. Орлову:

Известно <так> ли Вам книга Гумилева «К синей звезде», Берлин, 1923 Петрополис? Дело в том, что 80-летие Гумилева, как Вам известно, в 1966 году. Хочется напечатать из книжечки «К синей звезде» 4 стихотворения менее известные, не вошедшие в «Костер», изд. Г<р>жебина (1923 г.), напечатать в «Москве» после съезда в июне-июле. Что Вы знаете о реабилитации Гумилева? Говорят, у сына есть решение. Что слышно со сборником его в «библиотеке» поэтов»? М.б. к 80-летию можно быстрее толкнуть. Черкните мне об этом пару слов<sup>104</sup>.

17 июня 1966-го Виктор Шкловский по получении сборника стихов Елизаветы Полонской отметил:

Гумилев упомянут прямо и путно<sup>105</sup>.

Речь шла о предисловии, где говорилось:

Он давал нам упражнения на разные стихотворные размеры, правил вместе с нами стихи, уже прошедшие через его собственный редакторский карандаш, и показывал, как стихотворение вдруг начинает сиять от прикосновения умелой руки мастера. У него я научилась придавать форму лирическому импульсу<sup>106</sup>.

Книга Полонской вышла в издательстве «Художественная литература», а в издательстве «Советский писатель» В.Н. Орлов боролся с печально известным охранителем Н.В. Лесючевским за томики поэтов русского модернизма в «Библиотеке поэта». 2 сентября 1966-го Ариадна Эфрон подбадривала его письмом:

Что до Лесючевского, то — имя им легион: они — буквально на каждом шагу и, главное — за каждым поворотом; от них страдает каждый; вполне естественно, что и поэты XX века (и прочих веков) — тоже<sup>107</sup>.

В октябрьском номере «Вопросов литературы» появились фрагменты предисловия В. Орлова к будущему изданию. Глава о Гумилеве была полна придинок к этому персонажу, может быть, отчасти, и по известной «синхронистам» (антоним, предложенный В.Шкловским к «современникам») советской издательской практике причине — для проходимости самого имени:

Гумилев научился писать хорошие стихи, хотя и теперь и в дальнейшем, до самого конца, не удерживался ни от банальностей, ни от манерного пустословия. Но истинной бедой Гумилева было не затянувшееся ученичество, не часто прорывавшееся безвкусице, но бездушие. В его нарядных, щеголеватых стихах не



ощущается никакого сочувствия к людям, никакого соучастия в их тревогах, в их горе и счастье. Все о себе, об одном себе, только о себе, о своих «подвигах» и «победах», реже — о своих неудачах. Но даже о себе и о своем Гумилев говорил по большей части холодно и сухо. В его стихах не чувствуется главного, без чего поэзия просто не может существовать: личности самого поэта, его человеческого лица, его живой души.

Завершалась эта главка правильным по советским меркам образом:

Полным отказом от акмеистического «бесстрастия» характерны и такие смутные, тревожные стихи на, очевидно, преследовавшую поэта тему «перевоплощения», как «Заблудившийся трамвай» и «У цыган». Все здесь туманно, бесформенно, смещено во времени и пространстве, намеренно запутано, бессвязно, «остранено», уводит в сферу подсознательного.

Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:  
Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.

«Темная и крылатая буря», бушующая в мире, расшатавшая его устои, рождает у поэта предощущение собственного конца. Как и его трамвай, поэт «заблудился в бездне времен», ему уже «трудно дышать и больно жить», он теряет последнюю иллюзорную надежду на спасительную «Индию Духа». Неотступное предощущение «непоправимой гибели последней» преследует поэта из стихотворения в стихотворение.

Какие бы ни были субъективные намерения и соображения Гумилева, нельзя не признать, что чувство обреченности своего общественного и личного бытия он выразил в своих последних стихах с большой, ранее недоступной ему эмоциональной силой.

В свете «Заблудившегося трамвая» и других стихов такого плана стихотворение «Мои читатели» (очевидно, одно из последних) воспринимается не более как запоздалая декларация человека, стремящегося казаться мужественным и твердым, а на самом деле непоправимо надломленного.

«Огненный столп» внес немало нового в поэзию Гумилева, но уже не мог изменить общего ее облика. В целом она осталась одним из самых характерных и убедительных художественных документов эпохи реакции, опустошавшей души художников<sup>108</sup>.

По получении журнала П.Г. Антокольский писал В.Н. Орлову 3 ноября 1966 года:

Поздравляю от сердца (и от ума) с тем, что «Поэзия начала века» получила хотя бы подобие зеленой улицы. Все-таки легче дышать! А как с Мандельштамом? Ведь он как будто на очереди?<sup>109</sup>

И хотя Гумилев традиционно продолжал попадать в списки вредоносного самиздата, как в докладе С. Павлова, руководителя комсомола, отправленном в ЦК КПСС 3 ноября 1964 года:

Считаем необходимым информировать о том, что в последнее время в Москве распространяются всякого рода «произведения», в которых весьма субъективно, а чаще извращенно толкуются проблемы борьбы с культом личности, различные явления государственной и общественной жизни.

Такого рода материалы распространяются прежде всего среди некоторой части инженерно-технической и научной интеллигенции, работников литературы и искусства, среди студенческой молодежи. В числе их серия неопубликованных рассказов Аксенова и Солженицына, подборки стихов Городецкого, Айхенвальда, Слуцкого, Окуджавы, Пастернака, Гумилева, Алигер, Эренбурга, выступление Паустовского по книге «Не хлебом единым», так называемая аннотация на повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «стенограмма» суда над поэтом Бродским в Ленинграде, письмо Раскольникову Сталину, очерк о развитии советской генетики, ряд зарубежных материалов по еврейскому вопросу и т.п.<sup>110</sup>,

уверенность в скором издании его стихов не утихала. Надежды оставались на идеологические амнистии благостного юбилейного года.

\* \* \*

Юбилейный год пятидесятилетия Октябрьской революции алма-атинский журнал «Простор» открыл сонетом Татьяны Гнедич (датированным 1965–1966 годами) в январском номере:

Тревожится, растет девятый вал  
 Поэзии. Дымится тайна слова.  
 Вот-вот и вспыхнет. Блока час настал...  
 Горит его магический кристалл —  
 Вселенской диалектики основа.  
 Все для большого синтеза готово!  
 Вот — внук того, кто Зимний штурмовал,  
 Любуется бессмертьем Гумилева...

Народный разум все ему простил —  
 Дворянской чести рыцарственный пыл  
 И мятежа бравурную затею —  
 Прислушайтесь: над сутолокой слов  
 Его упрямых бронзовых стихов  
 Мелодии все громче, все слышнее.

Глеб Струве заметил публикацию:

В канун 50-летия Октябрьской революции мы как будто накануне реабилитации одного из первых поэтов, записанных в синодик многочисленных жертв советского режима. Об этом говорит не только стихотворение Татьяны Гнедич, но и статья известного литературоведа В.Н. Орлова, напечатанная еще в октябрьской книжке журнала «Вопросы литературы» за прошлый год. Статья эта представляет собой сокращенную версию предисловия к объявленному в Малой серии «Библиотеки поэта» тому «Поэты начала XX века». Орлов пишет в своей статье о пятерых поэтах: Волошине, Кузмине, Гумилеве, Мандельштаме, Ходасевиче. Все они должны войти в упомянутый выше сборник, а наравне с ними, по-видимому, и некоторые другие (Вячеслав Иванов, Соллогуб, Клюев? Гиппиус?). То, что о них заговорили, то, что их, после долгих лет полного или почти полного молчания и запрета, включают в сборник избранных стихотворений одного из

самых ярких и блестящих периодов в истории русской поэзии, есть само по себе новый и отрадный знак времени, и не стоит поэтому придирааться к разным оговоркам, односторонностям и просто нелепостям в статье Орлова. В разделе о Гумилеве особенно много и неверного и нелепого. Но будем благодарны Орлову хотя бы за то, что он заговорил о Гумилеве и о других поэтах, которых до сих пор советская критика и советская литературная наука почти полностью игнорировали (частичное исключение — вышедшая в 1964 году книга А. Синявского и А. Меньшутина), и за то, что он включил их стихи в подготавливаемый сборник. Если правы Николай Моршен и особенно Татьяна Гнедич, то это нарушение заговора молчания вокруг Гумилева со стороны Орлова и Ко. — лишь запоздалая уступка тем, до кого давно, несмотря на все рогатки, дошли и звуки «упрямых бронзовых стихов» расстрелянного поэта, и стихи других больших поэтов этого времени, надолго вычеркнутых из летописей русской поэзии. Но и вычеркнутые, они не были забыты, и стихи их твердились «вдохновенным шопотом»<sup>111</sup>. Сейчас они звучат — и надо надеяться, будут звучать — «все громче, все слышнее»<sup>112</sup>.

Затем Глеб Струве вдогонку написал подвал о биографии репрессированной поэтессы (в номере той же газеты за 25 марта). Татьяна Гнедич

умна была, убедительна, отзывчива, а с кем нужно язвительна. О ней помнят только хорошее. Славу (впрочем, умеренную) умела нести, как немногие. К советской власти относилась, как нужно. Поощряла гонимую молодежь<sup>113</sup>.

Но когда областное издательство решилось издавать первый сборник ее стихов, едва ли не благодаря отклику Г. Струве, обернувшемуся в ленинградской небрежной околоиздательской молве эпиграфом к фантомному собранию сочинений в Народно-трудовом союзе, стихи о Гумилеве были по неизбежности разрушены:

Издательство «Посев» в Париже издало собрание сочинений Гумилева, а эпиграфом взяло строчки Т.Г. Гнедич из журнала

«Простор». Тут уж определенные органы занялись изучением первоисточника. Поскольку автор, как выяснилось, уже отсидел свое, стали интересоваться: а почему в Ленинграде не напечатан этот венок сонетов? Вообще стихи Гнедич? Чтобы не давать буржуазным толкователям пищу для клеветы на нас... И было дано указание Лениздату — выпустить стихи Т. Гнедич, дабы вышибить у западных клеветников из рук их оружие. <...> С Татьяной Григорьевной много работала редактор Лениздата Нина Чечулина, моя однокурсница. <...> Хорошо, что Нина Чечулина попросила Татьяну Григорьевну, чтобы она сама изменила текст таким образом, чтобы имя Гумилева не упоминалось — так потребовало издательство»<sup>114</sup>:

Тревожится, растет девятый вал  
 Поэзии. Дымится тайна слова —  
 Вот-вот и вспыхнет. Блока час настал —  
 Горит его магический кристалл,  
 Все светлое высвечивая снова.  
 Все для большого синтеза готово.  
 Ни злобный недоучка, ни бахвал  
 Его венца не тронут золотого.

Триада диалектики точна,  
 Уберегла прекрасное она,  
 Стихийно о разумности радея.  
 Прислушайтесь: над сутолокой слов  
 Прекрасных, гордых, пламенных стихов  
 Мелодии все громче, все слышнее<sup>115</sup>. [этюды и сонеты]

На сообщении Глеба Струве откликнулся Владимир Вей-  
 деле:

...как будто Сологуба, Гиппиус, Кузмина, Гумилева, Ходасевича, Волошина собираются читателю каждого по столовой ложке выдать к празднику. Запретов не много, но зато в антологиях и в «Библиотеке поэта» на одну доску поставлены Михайлов и Тютчев, Якубович-Мельшин и Фет, а только что названные пять или шесть поэтов займут все вместе в «Библиотеке» этой один том,

и нужно думать, потоньше, чем тот, что в ней занял единолично Курочкин<sup>116</sup>,

а ожидание возвращения Гумилева, подпитываемое ненадежными слухами<sup>117</sup>, вскоре получило еще один сильный толчок. 22 марта в «Литературной газете» в подборке «Поэты начала XX века», анонсировавшей выход одноименного томика «Библиотеки поэта», появилось гумилевское стихотворение «Невольничья»<sup>118</sup>:

По утрам просыпаются птицы,  
Выбегают в поле газели,  
И выходит из шатра европеец,  
Размахивая длинным бичом.

Он садится под тенью пальмы,  
Обвернув лицо зеленой вуалью,  
Ставит рядом с собой бутылку виски  
И хлещет ленищихся рабов.

Мы должны чистить его вещи,  
Мы должны стеречь его мулов,  
А вечером есть солонину,  
Которая испортилась днем.

Слава нашему хозяину европейцу,  
У него такие дальнобойные ружья,  
У него такая острая сабля  
И так больно хлещущий бич!

Слава нашему хозяину европейцу,  
Он храбр, но он не догадлив,  
У него такое нежное тело,  
Его сладко будет пронзить ножом!

«Выбор именно этого стихотворения для начала определялся, может быть, его “антиколониальной” настроенностью, принадлежащей, разумеется, не самому Гумилеву, а лежаще-

му в основе его стихотворения народному подлиннику», — справедливо предположил Глеб Струве<sup>119</sup>, забыв, впрочем, оговорку Гумилева по поводу всего цикла «Абиссинские песни», опубликованного в московском сборнике «Антология» издательства «Мусагет» в 1911 году: «Четыре абиссинские песни автора этой рецензии написаны независимо от настоящей поэзии абиссинцев»<sup>120</sup>.

Из Москвы писали с оказией в журнал «Грани»:

«Евтушенко, Рождественского и Вознесенского, этих «трех мушкетеров», успешно орудующих поэтическими шпагами в условиях нашего безвременья, я считаю малоинтересными. Клинки у них не из настоящей стали».

«Молодежь очень увлекается поэзией. Юноши бегают по магазинам, стараются раздобыть сборник того или иного поэта, его фотографию... занимаются размножением стихов кустарным способом...»

«Вышедший сборник Цветаевой — куцый, безобразный и никого не удовлетворил. Готовилось более серьезное издание ее стихов, но эти все планы натываются на противодействие. Именно поэтому до сих пор не удалось продвинуть издание стихов Гумилева, а его ждут. Ждет все большее число людей»<sup>121</sup>.

Меж тем имя Гумилева появилось на страницах самого, пожалуй, популярного журнала 1960-х. Очерк Николая Чуковского, бывшего студиста поэтического семинара при Доме искусств<sup>122</sup>, о блоковском посещении этого гумилевского семинара был напечатан посмертно:

Статья Блока «Без божества, без вдохновенья», в которой он выступил против всей поэтики Гумилева, не была еще написана. Но мы, «студисты», знали, что отношения между Блоком и Гумилевым неважные. Гумилев на занятиях иногда разговаривал с нами о стихах Блока, и в словах его, сдержанных, сквозила враждебность. В глазах молодежи, посещавшей «Дом искусств», Блок и Гумилев были соперники, боровшиеся за первое место в русской поэзии. Любители поэзии делились на сторонников Блока и сторонников Гумилева. Конечно, сторонников Блока в широких

кругах молодежи было больше, чем сторонников Гумилева. Но в кругах, тяготевших к «Дому искусств», преобладали сторонники Гумилева. А уж в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторонниками — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете.

Блок явился к нам на семинар в сопровождении двух женщин. Помню, одна из них была его тетка Мария Андреевна Бекетова. Кто была вторая, я забыл; может быть, и не знал. Мы, «студисты», человек двенадцать-пятнадцать, сидели вокруг стола; перед нами лежали расчерченные таблицы, которыми, согласно учению Гумилева, следовало руководствоваться при писании стихов. Стол, стоявший посреди комнаты, был узкий и длинный, и возле узкого его края спиной к двери сидел Гумилев — в длинном сюртуке, в твердом накрахмаленном воротничке, задиравшем его голову кверху. Когда вошел Блок со своими спутницами, он повернулся и встал. Блок и его дамы уселись не за стол, а на стульях, стоявших у стены. Гумилев опять занял свое председательское место. Решено было, что «студисты» прочтут свои стихи.

<...> Пробыв у нас около часа, он ушел с обеими дамами. Так как всем было ясно, что стихи ему не понравились, а между тем все ему прочитанное на семинаре признавалось самым лучшим, то, естественно, участники семинара пришли в недоумение. Глаза Николая Степановича, обычно торжественные, поблескивали насмешливо, и было решено, что Блок либо не понимает в стихах, либо просто относится к «студистам» недоброжелательно.

<...> О смерти его я услышал в Псковской губернии, в бывшем гагаринском имении Холонки. Мой приятель и однолётник князь Петя Гагарин, никогда до тех пор не слыхавший о Блоке, спросил меня:

— А что, Блок твой родственник?<sup>123</sup>

Как заметил парижский обозреватель, «в полемике между Блоком и Гумилевым, по мнению Н. Чуковского, прав был Блок. Во всяком случае, автор воспоминаний всецело сочувствует Блоку и весьма иронически отзывается о гумилевской «Анатомии стихотворения»»<sup>124</sup>.

Свободное проникновение на журнальные страницы, да еще и отмывание в столичной газете имени государственно-



го преступника, оказавшегося в рядах движения «Свободу Африке», побудило ленинградских музейщиков предъявить и лицо его. В Русском музее на выставке старого эстампа в ряду портретов сотрудников «Аполлона», выполненных Н.С. Войтинской в 1909 году (Кузмин, Чуковский, Волошин, Добужинский, Бенуа) появился и портрет Гумилева ее работы<sup>125</sup>, чего не позволили себе годом ранее устроители выставки Е. Кругликовой, не вывесив силуэта 1916 года — Гумилев с двумя георгиевскими крестами<sup>126</sup>. Портрет был воспроизведен в каталоге<sup>127</sup>, но через три дня по распоряжению обкома КПСС портрет Гумилева заменили портретом С. Ауслендера<sup>128</sup>, даром, что говорящая фамилия прозаика-стилизатора, друга Гумилева<sup>129</sup>, была из разряда тех, что не нравились обкомовцам.

И двухтомник поэтов начала века, подготовленный В. Орловым, в свет не вышел. Несколько экземпляров верстки сохранились в разных собраниях (в Российской Национальной библиотеке, в Музее-квартире Блока и др.).

Какое-то прошло по колыбели революции веяние, отголоском которого стала просьба А.Д. Алексева в письме к Г. Струве от 21 ноября 1967-го:

В заключение очень Вас прошу не указывать в последнем томе моего имени как сообщившего или оказавшего помощь и т.п.

Можно думать, что до ленинградского начальства доползли слухи о присутствии имени Гумилева в разговорах подпольщиков из Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа (ВСХСОН). Они были арестованы в феврале юбилейного года. Один из руководителей организации аспирант Института русской литературы Евгений Вагин исподволь занимался гумилевскими биографией и творчеством, копировал материалы в архивах<sup>130</sup>. И, как считалось, заручился поддержкой

Гумилева-сына, кстати, одного из немногих людей, не только знавших о существовании нашей организации, но даже будто бы, если верить Вагину, обещавшего однажды торжественно

вручить организации офицерский палаш Николая Гумилева. По крайней мере, такая легенда была популярна в организации...<sup>131</sup>

Спустя десятилетие Евгений Вагин отвечал на вопрос о причинах популярности своего героя:

Мне думается, что в определенных кругах, романтически настроенных, в кругах молодежи особенно, может быть, решающую роль играет вот это обстоятельство его трагической гибели, его участие с оружием в руках в заговоре. Но для публики более зрелой, более литературной, конечно, открываются все полнее и все глубже сокровища поэтического дарования Гумилева, безусловно, одного из самых талантливых, самых гениальных поэтов начала века<sup>132</sup>.

И, наконец, возможно, к этому же году относится стихотворение, по сути полемизирующее с примиренческой идиллией Татьяны Гнедич. Принадлежало оно молодому поэту, растворившемуся в безвестности — Борису Копчикову:

У смерти литые плоды,  
У Бога высокое слово.  
Бессонницы вещей следы  
В последних стихах Гумилева.  
Какое смешенье времен:  
Советы с Империей вровень!  
И ткани обоих знамен  
По древкам запачканы кровью.  
Матрос золотых каравелл,  
Певец бирюзы и кармина.  
Сейчас он пойдет на расстрел  
И ляжет в балтийскую глину  
И ты помолчи, Петроград,  
Каким бы он ни был на воле.  
Пятном на тебе его взгляд,  
Косящий от гнева и боли<sup>133</sup>.

\* \* \*

Второе пятидесятилетие революции, до столетия не дожившее, отмечено было в советской стране очередным всплеском влечения молодежи к запретному поэту, память о котором искривлялась туманными представлениями о событиях полувековой давности:

Литераторы «второй эмиграции» в свое время говорили нам, что в предвоенные и военные годы поэзия Гумилева увлекала многих тогдашних молодых поэтов. «По гумилевским строкам, как по масонскому перстню, узнают друг друга “единоверцы” в СССР», — писал В. Марков в предисловии к сборнику стихотворений Н. Моршена «Тюлень».

Как мне сообщили недавно, поэзия Гумилева и сейчас пользуется в России большим успехом. Но не «героическая» его тематика, а его романтика и эстетика. “Изысканный жираф” около острова <так> Чад”, носороги и львы, обезьяны и дикири нравятся их экзотичностью и динамизмом. Любопытно, что в отличие от молодежи конца 30-х и 40-х годов, современные читатели часто не знают об обстоятельствах гибели Гумилева. Некоторые думают даже, что он был в Белой Армии, затем попал в плен и, как белогвардеец, был расстрелян на одном из тогдашних фронтов»<sup>134</sup>.

В эмиграции второе пятидесятилетие началось с ожидания новой мемуарной книги. Тираж еще не был отпечатан в американском издательстве Камкина, но уже была помещена статья друга и конфидента мемуаристки:

В частности, ей одной (кстати, автору тоже никем не превзойденной «Баллады о Гумилеве») удалось показать *настоящего* Гумилева.

Легенда о нем, вначале создаваемая самим поэтом — «Открыватель новых путей, конквистадор, мореплаватель, охотник на львов и герой», после трагической гибели Гумилева была подхвачена любителями создавать штампы. Вспомним хотя бы месьняевского «Конквистадора в панцире железном»<sup>135</sup>.

Ирине Одоевцевой, шаг за шагом рассказывающей о ее знакомстве с Гумилевым, пришлось хорошо узнать его, узнать не только как лектора на эстраде или мэтра в студии, но как человека, как «Гумилева без маски». <...>

Один известный поэт, до последнего времени отрицательно относившийся к «позе» и «игре» Гумилева, прочтя Книгу Ирины Одоевцевой, сказал мне:

— Она (Одоевцева) дала мне возможность почувствовать настоящую симпатию к Гумилеву. Теперь я совсем по-новому читаю его стихи<sup>136</sup>.

О выходе тиража сообщила нью-йоркская газета «Новое русское слово» 11 марта. А 14 апреля в ней же был помещен отзыв другого старого приятеля сочинительницы — Георгия Адамовича в свойственной ему неспешной манере *table-talk*'а:

Не раз уже было замечено, что у женщин память развита сильнее, чем у мужчин. Конечно, бывают исключения, — как и во всяком правиле. Но в большинстве случаев женщины лучше запоминают те повседневные мелочи, те случайные впечатления, встречи, разговоры, из которых постепенно складывается жизнь. Не знаю, было ли кем-нибудь дано научное, физиологическое объяснение этого: в порядке не научном, а обывательском, можно было бы в виде объяснения сослаться на то, что мужчины к мелочам менее внимательны. Но утверждение это спорно, а факт большей женской памяти — вне сомнений.

Далее, как представляется, Г.В. Адамович снимает с себя ответственность за некоторые детали повествования:

Читая книгу Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» я чуть ли не каждой странице удивлялся: какая точность, как в целом все верно! В книге рассказано о литературно-богемном петербургском житье-бытье в годы 1919–1921, и если я подчеркиваю, — верно «в целом», — то лишь потому, что в годы эти я приезжал в Петербург только на довольно краткие побывки, а жил в псковской глуши. Значит, ручаться вместе с автором за правдивость каждого воспроизведенного слова я не могу<sup>137</sup>.

К «воспроизведенным словам» относился и разговор с Гумилевым апреля 1921 года:

Об его участии в заговоре я узнала совершенно случайно. Вышло это так:

В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он, удобно расположившись на зеленом клеенчатом диване, водворенном по случаю окончания зимы из прихожей обратно в кабинет, читал мне, переплетенные в красный сафьян «Maximes» Вовенарга.

— Насколько они глубже и умнее, чем «Maximes» Ларошфуко. Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья, они помогают жить, — убежденно говорил он. — А вот пойдите, о маркизе Вовенарге у нас мало кто даже слышал, зато Ларошфуко все знают наизусть. Слушайте и постарайтесь запомнить: «Une vie sans passions ressemble à la mort». До чего верно!

Я, как я это часто делала, слушая то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать, сложа руки.

Не рассчитав движения, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток.

— Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег? — крикнула я, перебивая чтение.

Гумилев вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы.

Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. Боже, что я наделала!

— Простите, — забормотала я, — я нечаянно... Я не хотела... Не сердитесь...

Он как будто не слышал меня, а я все продолжала растерянно извиняться.

— Перестаньте, — он положил мне руку на плечо. — Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна ваша манера вечно все трогать. — Он помолчал немного и продолжал, уже овладев собой. — Конечно, неприятно, но ничего непоправимого не произошло. Я в вас уверен. Я вам вполне доверяю... Так вот...

И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки.

Я слушала его, впервые понимая, что это не игра, а правда. Я так испугалась, что даже вся похолодела.

— Боже мой, ведь это безумно опасно!

Но он спокойно покачал головой.

— И совсем уж не так опасно. Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен. И я ведь очень осторожен.

Но я все повторяла, не помня себя от страха:

— Нет, это безумно опасно. Как бы вы ни были известны и осторожны, безумно опасно!

Он пожал плечами.

— Даже если вы правы и это безумно опасно, обратного пути нет. Я должен исполнить свой долг.

Я стала его умолять уйти из заговора, бросить все. Слезы текли по моему лицу, но я не вытирала их.

— Подумайте о Левушке, о Леночке, об Ане, о вашей матери. О всех, кто вас любит, кому вы необходимы. Что будет с ними, если... Ради Христа, Николай Степанович!..

Он перебил меня. — Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же вы меня знаете. Я вас считал умнее. — Он уже снова смеялся. — Забудьте все, что я вам сказал и никогда ни о чем таком больше не спрашивайте. Поняли?

Я киваю.

— И клянетесь?

— Клянусь.

Он с облегчением вздыхает.

— Ну, тогда все в порядке. Я ничего вам не говорил. Вы ничего не знаете. Помните — ровно ничего. Ни-че-го! А теперь успокойтесь и вытрите глаза. Я вам сейчас чистый носовой платок из комода достану.

И все же, с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков.

Следующий эпизод относится к началу лета 1921 года:

Я застаю Гумилева за странным занятием. Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и перелистав ее кладет на стул, на стол или просто на пол.

— Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой? — спрашиваю я.

Он трясет головой.

— И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.

Я тоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку.

— Проклятая память, — ворчит Гумилев. — Недаром я писал: «Память, ты слабее год от года!»

Мне надоело искать и я спрашиваю:

— А это важный документ?

Он кивает.

— И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится!

Черновик прокламации?? Я вспоминаю о заговоре. Да, он прав. Необходимо найти его. И я продолжаю искать с удвоенной энергией.

— А вы уверены — спрашиваю я снова, безрезультатно просмотрев еще несколько десятков книг — вы уверены, что действительно положили его в книгу?

Он раздраженно морщится.

— В том-то и дело, что совсем не уверен. Не то сунул в книгу, не то сжег, не то бросил в корзину для бумаг. Я с утра тружусь, как каторжник, — все ищу проклятый черновик. Ко мне заходил Жоржик Иванов и тоже искал. Кстати, он просил передать вам, что будет ждать вас в Доме Литераторов с двух часов.

С двух часов? А теперь скоро четыре, и значит, он стоит уже два часа на улице, поджидая меня. Он всегда ждет меня перед входом в Дом Литераторов, а вдруг я — зная, что опоздала, — не найду туда, а пройду мимо.

Гумилев оборачивается ко мне.

— Вам, конечно, хочется бежать? Ну и бегите. Все равно мне не найти проклятого черновика. Верно, я его сжег. И ведь никто здесь не поселится. Ключ от квартиры останется у меня. Я смогу

приходить сюда, когда хочу, — уже улыбаясь, он оглядывается на дверь — смогу назначать здесь любовные свидания. Очень удобно — *piéd-à-terre*, совсем как в Париже.

Он начинает ставить книги обратно, а я торопливо надеваю свою широкополую шляпу и прячу под нее бант.

— До свидания, Николай Степанович.

— Не говорите никому о черновике, — доносится до меня его голос и я, кивнув наскоро Ане [Энгельгардт], готовящей что-то в кухне на примусе, выбегаю на лестницу.

Согласно ленинградскому слуху, об этих страничках стало известно московскому начальству, и все последующие гонения на имя Гумилева связывались с «показаниями» Одоевцевой. Раздраженный Павел Антокольский писал В.Н. Орлову:

Черт с ней, с Ириной Одоевцевой, небось, была блядью, а на старости лет стала мещанской ведьмой и сплетницей<sup>138</sup>.

В этом же году участники ВСХСОНа в исправительно-трудовом лагере провели тайный вечер памяти Гумилева:

Кто-то (не помню, скорее всего, Евгений Александрович Вагин) сделал короткий доклад о судьбах и Гумилева-отца, и Гумилева-сына <...> Потом каждый читал свое любимое из Гумилева. Много было прочитано. Конечно, и «Капитаны», и «Жираф», и «Рабочий», и «Та страна, что должна быть раем...», и кто-то из литовцев великолепно прочитал «Царицу»...

Причуды памяти... Лицо помню, голос помню: «Твой лоб в кудрях отлива бронзы, как сталь, глаза твои остры...» Почти напротив каждого барака — беседки, где на скамьях по периметру могло разместиться не менее двадцати человек. В одной из таких беседок и проходил наш гумилевский вечер. Синявский сидел напротив меня, лицом к закату... Пока другие читали стихи, я его даже не помню. Но вот дошла очередь до него. Он поднял на меня — я ж напротив — свои страшные, разносморящие глаза, потом как бы полуоглянулся, как мне показалось, людей вокруг себя не заметив, и сказал... Именно сказал с искренним недоумением в голосе:



У меня не живут цветы, —  
ладони развел, —  
Красотой их на миг я обманут,  
Постоят день, другой и завянут...  
И совсем глухо, даже хрипло:  
У меня не живут цветы.  
Вскинулся своей вечно нечесаной бородой...  
Да и птицы... —  
пауза, та же полуоглядка, —  
...здесь не живут,  
Только хохлятся скорбно и глухо,  
А наутро — комочек из пуха...  
Даже птицы здесь не живут.

Я, конечно, знал эти стихи, но никогда не чувствовал в них никакого особого трагизма. Скорее этакий эстетский выпендраж...

Только книги в восемь рядов,  
Молчаливые, грузные томы,  
Сторожат вековые истомы,  
Словно зубы в восемь рядов.

Ей-богу, меня потрясли эти «грузные томы», «словно зубы в восемь рядов»!.. Повторяю, я знал эти стихи, но книги... убивающие жизнь... во имя «вековых истом» — именно так «рассказывал» об этом Андрей Синявский.

Мне продавший их букинист,  
Помню, —  
тут он даже кивнул бородой, что, мол, и верно — помнит, —  
...был и горбатым, и нищим...  
...Торговал за проклятым кладбищем  
Мне продавший их букинист.

Не менее двух минут длилось молчание. Почему другие молчали, не скажу, не знаю. Лично же я был просто потрясен. Еще и потому, что не увидел, не уловил в манере чтения даже намек на театрализацию, чем грешили многие другие исполнители гумилевских стихов. То было его личное, может быть, даже очень личное восприятие фантастической истории, придуманной самым странным русским поэтом — Николаем Гумилевым.

Еще он прочитал «Заблудившийся трамвай» — «Шел я по улице незнакомой...»<sup>139</sup>.

Леонид Бородин пояснял:

Это было 20 августа 1968 года, как мы тогда считали, в день расстрела поэта Николая Гумилева. Было воскресенье — день нерабочий, и в нерабочий этот день намечен был нами, конкретно кем — и не припомнить, вечер памяти расстрелянного русского поэта, которого то ли по незнанию, то ли по недоразумению эки разных национальностей считали поэтом лагерным и, соответственно, своим. Таким культом почитания не пользовался в наши, послесталинские времена ни один из действительно лагерных поэтов: ни Слуцкий, ни Берггольц, ни Мандельштам. Удивительно ведь и другое: у Гумилева нет ни одного стиха собственно о России, по крайней мере, в том ключе, как это у Тютчева или Блока, у него вообще нет стихов о реальной жизни — вот уж, казалось бы, поэт-интернационалист.

И вдруг как бы в диссонанс...  
 В Константинополе у турка  
 Валялся, скомкан и загажен,  
 План города Санкт-Петербурга —  
 В квадратном дюйме триста сажен.  
 И снова я как бы в тумане,  
 Мне снова больно, взор мой влажен...  
 В моей тоске, как и на плане, —  
 В квадратном дюйме триста сажен.

Как раз это стихотворение читал на том допоздна затянувшимся вечере мальчик-литовец (имени, к сожалению, не помню), арестованный за воинствующий литовский национализм<sup>140</sup>. [Бородин 114–115]

На следующий, рабочий день, советские танки пошли на Прагу. Идеологический климат резко ухудшился. В повестку дня опять попали фигуры из «черного пантеона», и во главе их — Гумилев. Ефима Эткинда попросили изъять его из тома «Мастеров стихотворного перевода» в «Библиотеке поэта»:

Я всем навязывал справку, которую долго составлял и которая мне казалась неотразимой. — Вот, смотрите, — уверял я начальников, — во втором томе Краткой литературной энциклопедии о Гумилеве есть большая статья, и там даже сказано: «Некоторые черты творчества Г. — яркая декоративность изображения, поэтическая ясность языка, романтическая театральность жеста, волевой напор интонации — оказали известное влияние на творчество советских поэтов...», и ведь это было так недавно, четыре года назад, в 1964 году, что с тех пор изменилось? (Я-то понимал, что изменилось; например, эту статью написал для КЛЭ А.Д. Синявский, во время «дела о фразе» отбывавший лагерный срок, — об этом я помалкивал.) Есть переводы Гумилева в сборнике «Зарубежная поэзия в русских переводах», вышедшем в Москве только что, в 1968 году (впрочем, там составители случайно перепутали и под именем Гумилева опубликовали чужой перевод баллады Франсуа Вийона); в книге П. Громова «Блок, его предшественники и современники», опубликованной в том же самом ленинградском «Советском писателе» только что, в 1966 году, стихи Гумилева разбираются подробно, на двенадцати страницах, с 538-й по 550-ю, и не переводы, а собственные его стихи; во всех учебниках и хрестоматиях Гумилев имеется; в университетском пособии «Литература XX века» ему отведено 11 страниц. В книге «Теория стиха» 1968 года примеры из Гумилева приведены на страницах 62, 92, 93, 101, 225... Чего это вы на него взъелись? Он погиб в 1921 году и никаких новых проступков совершить не мог. В той же справке я цитировал характеристики, данные Гумилеву в упомянутой книге Павла Громова:

«...Гумилев как поэт именно в эти годы чрезвычайно вырастает, становится крупной художественной величиной...» (с. 539; речь идет, кстати сказать, о сборнике «Огненный столп», 1921!). И еще:

«...новое художественное качество, вдвигающее Гумилева в большую русскую поэзию, оказывается сопряженным с чувством трагической тревоги...»

«Такие гумилевские шедевры, как “Память” или “Заблудившийся трамвай”...»

Все эти цитаты — из книги 1966 года. Значит, два года назад было можно — а теперь нельзя? Недавно это было правильно, а теперь стало неправильно? Что случилось?

Замечу, что не только мне одному оказалось нельзя: заодно и книгу Ефима Добина «Творчество Анны Ахматовой», выходящую в том же ленинградском «Советском писателе», всю искорезили — даже, кажется, уничтожили весь десятитысячный тираж, а потом напечатали другой, лишь бы имя Гумилева не пачкало ее страницы; поэтому, например, о руководстве «Цеха поэтов», во главе которого стояли «синдики» Городецкий и Гумилев, в книге Добина читаем: «Во главе “Цеха” стали три “синдика”, в том числе Сергей Городецкий. Они торжественно открывали и закрывали заседания...» (с. 30). Три — это неправильно, синдииков было два; но ведь совсем уж нельзя было написать: «...два “синдика”, в том числе Сергей Городецкий». Какой срам!

Да и у меня выбросили переводы Гумилева из корректуры другой книги — двуязычной антологии «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв.» (М., 1969); и сколько я ни взывал к совести и логике, ничего не помогло. А жаль! Я там впервые, по случайно попавшейся мне рукописи, хотел опубликовать гумилевский перевод «Сонета» Рембо о цветных глазных. Несколько месяцев спустя мне с горечью говорил академик В.М. Жирмунский, что в еще только задуманной статье об Анне Ахматовой для Большой серии «Библиотеки поэта» ему заранее запретили упоминать имя Гумилева. «Как же мне написать, — сетовал Виктор Максимович, — за кого Ахматова вышла замуж? За какого-то безымянного руководителя акмеизма?»

К тому же, твердил я всем и каждому, в моих «Мастерах русского стихотворного перевода» Гумилев фигурирует своей самой безобидной стороной: здесь он — переводчик Теофиля Готье и французского фольклора; какой идеологический вред от песни «Мальбрук в поход собрался»?

Все это оказалось впустую. Никто меня не слушал, моих справок не читал: «Обойдемся без Гумилева!» А ведь изъятие его имени, например, из книги Е. Добина государству обошлось во много тысяч рублей!<sup>141</sup>

Перенабор книги Ефима Добина был почти беспрецедентным событием по тем временам. Лидия Чуковская записывала 2 декабря 1968-го:

Был Адмони. Рассказал историю с Добиным. <...> Он купил в Лавке Писателей 250 экз., привез домой, начал надписывать... На следующий день к нему на дом явилась зав. Лавкой и заявила, что ей приказано забрать все экземпляры обратно... В книге перепечатываются 2 первых листа, где поминается Гумилев... Мания в действии...<sup>142</sup>

У автора сохранилось несколько неисправленных экземпляров, один из них он послал К.И. Чуковскому, который писал дочери:

Получил книжку Добина. Аккуратная книжка. Хорошая. Вдумчивая. Но ее появление невероятно. Человек свободно говорит о Гумилеве, о Мандельштаме и цитирует “Реквием”!!! Что за чудо!!! Чего смотрит тов. Толстиков!<sup>143</sup>

Однако большинству читателей свободного разговора о Гумилеве не досталось. Ежи Литвинов, познанский русист (1940–2015), возможно, знакомый с обстоятельствами прохождения добинской книжки, но выдерживая хороший тон коллеги из страны народной демократии, мягко попенял автору:

Добин в принципе недооценивает роль акмеизма в истории русской поэзии XX века. Акмеизм — это не просто одна из мутаций символизма, как утверждает критик, но направление, противоположное символизму, особенно в смысле поэтики, которое внесло в русскую литературу непреходящие ценности. В результате критик не рассмотрел также вопроса о роли Н. Гумилева — одного из организаторов этого направления — в жизни и творчестве Ахматовой. Брак с этим наиболее активным акмеистом не был для поэтессы только биографическим эпизодом, а оказал известное влияние и на ее творчество. Также и в поэзии Гумилева эта связь оставила свой след. Читая их стихи, опубликованные в свое время в журнале «Аполлон», нельзя не ощутить в них присутствие огромной драматической нагрузки биографизма, скрытой в контексте интимной и мучительной переключки этих двух художественных индивидуальностей. Это ощущение подтверждается и стихами Ахматовой 20-х годов. Однако критику

не удалось, несмотря на это меткое наблюдение, тесно связать творчество поэтессы с ее эстетической программой и с эпохой, в которую она жила. Не удалось потому, что он не связал в должной мере творчество поэтессы с историей русского литературного процесса. Это особенно касается проблемы акмеизма и его роли в творчестве Ахматовой. Правда, критик упомянул о связи ее поэзии с предшественником акмеизма И. Анненским (выдающимся, но забытым поэтом рубежа столетий), но не принял во внимание общих черт у остальных членов группы. Неверно также сводить связь Ахматовой с акмеизмом к юношескому эпизоду, поскольку эта связь сказывалась в поэтике Ахматовой вплоть до последних ее стихотворений. Умолчание о существенном значении эстетических концепций акмеизма в поэзии Ахматовой, несомненно, снижает познавательную ценность работы Добина. Именно таким способом интерпретации следует объяснить то обстоятельство, что автор не дает нам указаний на источники трагизма и пессимизма поэзии Ахматовой и одновременно — ее связи с основными проблемами эпохи<sup>144</sup>.

Помимо книги И. Одоевцевой молвой назывались и другие причины жестокого запрета. Е. Эткинд писал:

Будто бы высокое начальство узнало о предсмертном стихотворении Гумилева, в то время появившемся в кругах интеллигенции; а там есть такие строки: «Знаю, сгустком крови черным / За свободу я плачу»<sup>145</sup>.

Что тут могло задеть начальство? Накануне расстрела — можно ли ожидать лучезарных стихов? А что он палача назвал палачом, так он ли виноват? Эта гипотеза не казалась мне правдоподобной; впрочем, кто-нибудь, прочитав эти страшные строки, мог вспомнить о судьбе Гумилева и запретить его как жертву революционного трибунала, расстрелянного безо всяких оснований: стоит ли напоминать о тех кровавых днях?

26 октября 1968 года Л.К. Чуковская записала в дневник:

Уволен из библиотеки (то-то рад Лесючевский) — Орлов, И.В. Исакович и какая-то женщина на Бух. <К.К. Бухмейстер>.

Увольняли их с треском и громом — председательствовал наш друг по делу Бродского, Толстиков. Какой-то болван за границей, мемуарист, написал где-то, что Гумилев был английским шпионом. Это — собачья чушь, потому что Гумилев — офицер, патриот, мог быть кем угодно, кроме шпиона. Но этой чуши пожелали поверить. А в книге, составленной Эткиндом — «Русские поэты-переводчики» — дан Гумилев, и в книге, составленной Орловым — «Поэзия XX века» — тоже есть Гумилев. Это названо идеологической диверсией; кроме того, Эткинд в предисловии написал правду, т.е. что наша переводческая школа сильна, потому что поэты не имели возможности писать свое и вынуждены были переводить. Это тоже диверсия. Эткинда собираются выгнать из Института Герцена и может быть даже лишить профессорского звания (слухи), хотя книга с выдирками выйдет. (Переводы Гумилева заменяются Маршаком и Лозинским). <...> С докладом о Библиотеке Поэта выступил известный ленинградский прохвост Выходцев. Орлов искажал представление о советской поэзии, печатая Мандельштама, Цветаеву, Заболоцкого... Словом мы снова погрузились во мрак средневековья<sup>146</sup>.

Слух об английском шпионе пошел гулять по Ленинграду. Тогдашний сотрудник Публички Арсений Рогинский писал мне в конце 1968-го:

[Л.А. Мандрыкина] рассказала, как запрещали уже отпечатанную книгу Добина из-за Гумилева. Тогда в ЦК одновременно поступили требование Лукницкого реабилитировать Гум-а (с версией про Ленина), и статья эмигрантская про Рейли, где говорилось о связи Рейли с Гум. Отсюда все гонения на Н.С.Г., а заодно на всех, кто его поминает. Впрочем, Добин книжку охотно переписал и фамилию отовсюду выкинул. Слыхал ли эту историю? — пишу на всяк<ий> случай<sup>147</sup>.

Борьба за Гумилева еще немного продолжалась, и 9 декабря 1968-го, на следующий день после заседания секретариата Союза Советских писателей, Павел Антокольский писал В.Н. Орлову:

Но каков удалец Сурков, он оказался самым рьяным защитником Гумилева (в ущерб Бунину) — это само по себе интересный феномен, психологический что ли...<sup>148</sup>

Но, как рассказывал мне покойный П.Н. Лукницкий, после вторжения в Чехословакию ему дали понять безнадежность его усилий<sup>149</sup>.

И все это повышало рыночную цену поэта — вспоминает о 1968/69 годах бывшая студентка московского пединститута им. Ленина:

У нас в институте всю продавали самиздатовские книги. Это были перепечатанные на машинке (иной раз почти слепые экзemplяры), переплетенные или просто в виде пачки бумаги в картонной папке (от этого сильно менялась цена).

Ребята, которые занимались продажей, таким образом зарабатывали. Это действительно труд: перепечатать (а пишущая машинка могла сделать от силы семь экземпляров, если не на папиросной бумаге), переплести. Но и стоило это немало.

Первое, что я купила, — сборничек «Огненный столп» Гумилева. Дорого. Но самодельная книга эта подарила мне счастье знакомства с поэтом, который стал одним из самых моих любимых<sup>150</sup>.

\* \* \*

Весть о новых гонениях на неназываемого поэта прошла, вероятно, по всем редакторам СССР<sup>151</sup>. Наиболее смелые из них пропускали в печать анонимные цитаты:

Зоопарк — это место детей. И взрослых, которые не забыли, что они дети.

Люди и звери стоят у входа в зоологический сад планет<sup>152</sup>.

...главный вопрос <...> который проходит сквозь всю почту, полученную редакцией, можно было бы вкратце сформулировать так: «Как сохранить красоту выступлений Белоусовой и Протопопова, как остановить мгновение?». В самом деле, ведь речь идет о том, близком высокому сценическому искусству роде



красоты, которое воспринимается и сохраняется неким, воспользуемся словами поэта, «шестым чувством», то есть о том роде прекрасного, которое и вправду

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать,  
Мгновение бежит неудержимо...<sup>153</sup>

Один раз их произносил классовый враг:

Но я — один. А где все те, кто в трудную минуту спасал свои сундуки, кто пьянствовал без просыпу, кто рылся в барахле расстрелянных, кто променял первородство и честь спасителя отечества на чечевичную похлебку из большевистского котла? Я был всегда другим. Да, был другим. Меня поразили когда-то слова: «Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек». Это было верно, это была истина, истина моя и горстки таких, как я. Ваши друзья расстреляли автора этих строк, но, вспоминая те кисельные души, из-за которых все погибло, я и сегодня злюсь, я и сегодня тот самый металлический идол, идол кованный; мятый, битый, катанный, но живой и с живой надеждой<sup>154</sup>.

О единоборстве публикаторов с издателями рассказала участница борьбы за сохранение достойных имен:

Издательский редактор (я была рабочим редактором, готовя текст 33-го выпуска «Записок Отдела рукописей» для сдачи в издательство) был неприятно поражен количеством (именно количеством: смысл ее не волновал) упоминаний имени Гумилева (хотя письма были 1910–12 гг., когда расстрел Гумилева большевиками мог разве что присниться в горячечном бреду). Можно было подумать, что каждое повторение злосчастного имени понижает боеспособность страны. В скрупулезных обсуждениях с авторами мы решали, какими упоминаниями можно пожертвовать; так появилось домашнее «в письме Ахматовой к мужу» и несурзные отточия в цитатах<sup>155</sup>. Ср., например, в письме Брюсова 1913 г.: «...Ничего серьезного в проповеди и притязаниях “акмеистов” не вижу. Это не мешает мне, однако, считать... Городецкого, Анну Ахматову — поэтами интересными

и талантливыми...». Расчет был на эрудицию читателей — они должны были сами догадаться, кем должен открываться перечень акмеистов<sup>156</sup>.

На 1971 год прихлась очередная годовщина смерти (и пятнадцатилетняя годовщина несбывшейся надежды). Зинаида Шаховская в своей газете отметила ее:

Не к Гумилеву пришла победа и «неблагородные воины», расстрелявшие поэта, закона святой победы и милости не признавали. За это осуждены они современниками, потомками и историей.

В Испании, недалеко от Мадрида, находится величественный памятник-усыпальница, где погребены останки всех безымянных воинов, погибших во время гражданской войны: и «белых», и «красных», объединенных братской могилой. Стихи и пьесы Гарсии Лорки издаются многотиражно в Испании, как издаются во Франции книги Роберта Бразильяка. Но в СССР пятьдесят лет после убийства Гумилева неизвестно место его погребения и недоступно читателям то важное литературное наследство, которое он завещал России.

Когда ж забрезжится восток  
Лучами жизни обновленной?<sup>157</sup>

Литературное наследство все же продолжало доходить до иных читателей, и не только в переизданиях трифоновской хрестоматии, как записал А.К. Гладков в дневнике 29 февраля 1972 года,

Шаламов показывал мне купленную им книгу — хрестоматию «Русская литература. XX век», выпущенную изд. «Просвещение», где есть стихи Гумилева, Мандельштама, Кузьмина <так>, Ахматовой. Составитель — Н. Трифонов. Теперь можно поверить, что выйдет Мандельштам в «Библ. поэта». Странное время! Все время происходят какие-то изменения в разные стороны и очень непоследовательно. Давно ли зарезали книгу В.Н. Орлова и антологию стихов этих авторов в той же «Библ. поэта» и кого-то снимали за нее в издательстве<sup>158</sup>.

но и самосильным размножением:

Вспоминается начало семидесятых. Я — студент. Мне (по секрету!) дают листки с напечатанными на машинке стихами — прекрасными стихами! Есть и заглавие — «Жемчуга». Об авторе — Гумилеве — я что-то когда-то слышал. Стихи, восхищавшие не одно поколение, сразу берут за душу: «Капитаны», «Заклинание», «Озеро Чад»... Это была подборка из разных сборников, и венчало ее знаменитое — «Старый бродяга в Аддис-Абебе...» Расстаться с этим потрясением было невозможно, но стихи необходимо было быстро возвратить. Решение пришло само собой: за одну ночь на старенькой «Москве» я перепечатал под копирку четыре экземпляра и три подарил хорошим друзьям. Слово «Самиздат» как-то не пришло мне тогда в голову. Вообще, казалось невозможным, чтобы с этими дивными романтическими стихами связывалось что-то недозванное...<sup>159</sup>

Если говорить о содержательном уроке этого чтения, то воспользуемся самонаблюдением читателя этого поколения:

Действительность была такова, что и молчание осознавалось и истолковывалось (учениками, читателями и, конечно же, властью) как акт гражданского выбора, как недвусмысленная политическая позиция. У стремления быть всего лишь вежливым «с жизнью современной» — одна цена в 1912 году, когда писались эти строки. И совсем иная — в дни, одним представлявшиеся концом всемирной истории, а другим — только ее началом. В «Слове», в «Памяти», в «Заблудившемся трамвае», в «Шестом чувстве», в «Звездном ужасе», в других вершинных созданиях Гумилева с явственностью угадывалось то, что и было вложено, впрессовано в них поэтом, — мужество неприятия, энергия неповиновения, этика сопротивления.

В этом смысле Гумилев — и именно Гумилев, не написавший ни строки, которая могла бы быть названа «антисоветской», вернувшийся в Россию тогда, когда его единомышленники уже покидали ее, не участвовавший ни в Белом движении, ни в контрреволюционных заговорах, — был обречен. «Сновидцу» и «снотворцу», или, как говорили раньше, визионеру, не было

места в советской действительности, и его гибель при всей ее кажущейся случайности и трагической нелепости — глубоко закономерна<sup>160</sup>.

В 1972 году в предоставленную Евгением Тагером для коллективной монографии главу о модернистской поэзии межреволюционного десятилетия вмешалось издательство. Предваряя посмертную публикацию этой главы, В.А. Келдыш писал об очерке о Гумилеве:

В первой публикации 1972 года сюда были внесены против воли автора коррективы (вычерки и вставки), которые, хотя в целом и не меняя общей мысли, огрубляли изложение отдельными прямолинейно негативными аттестациями. Тагер решил выступить в этом случае под псевдонимом (Евгеньев). В настоящем издании восстановлен первоначальный текст. Но и в нем явно заметен холодок отчужденности, нередко ироничной, по отношению к поэту, вклад которого в русскую поэзию исследователь полагал значительно меньшим, нежели вклад ряда его выдающихся современников (таких, к примеру, как Ахматова и Мандельштам). И не находил нужным давать перевес в своих оценках посторонним соображениям — даже самым почтенным с точки зрения момента — перед тем, что считал истиной<sup>161</sup>.

В отличие от иных, отведенных Гумилеву разделов в историко-литературных обзорах, в очерк Е.Б. Тагера были включены содержательные наблюдения:

Но в целом акмеизм утратил перспективу, которая обогащала поэтический образ символистов. Это можно проиллюстрировать некоторыми сопоставлениями, почти случайными и тем не менее весьма выразительными.

Строка одного стихотворения Гумилева: «Жизнь печальна жизнь пустынна...» — невольно ассоциируется с блоковским стихом: «Жизнь пуста, безумна и бездонна!» Но у Блока в его гениальных «Шагах командора» этот стих существует в контексте высокой и общезначимой человеческой трагедии: «Выходи на битву, старый рок!» А строчка Гумилева открывает стихотво-

рение под названием «Старая дева», вводит в микродраму частной, унылой судьбы:

Жизнь печальна, жизнь пустынна,  
И не сжалится никто;  
Те же вазочки в гостиной,  
Те же рамки и плато.

<...> В стихотворении Гумилева «Рай» дан следующий разговор поэта с апостолом Петром:

Апостол Петр, бери свои ключи,  
Достойный рая в дверь его стучит.

И далее следует перечисление заслуг «достойного рая»: отцы церкви подтвердят твердость в вере, святой Георгий — воинскую храбрость, святая Цецилия — чистоту души, и даже искушения плоти будут санкционированы святым Антонием. Аналогичный разговор находим мы в одном позднем стихотворении Ф. Сологуба:

Когда меня у входа в Парадиз  
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:  
— Что сделал ты? — меня он вниз  
Железным посохом не сбросит.

Скажу:— Слагал романы и стихи  
И утешал, но и вводил в соблазны,  
И вообще мои грехи,  
Апостол Петр, многообразны.

Но я — поэт. («Я испытал превратности судеб»).

Показательно различие мотивировок права на вход в рай. Для Гумилева этим основанием служат добродетели, вполне почтенные, но, так сказать, рядовые, доступные каждому. Сологуб, наоборот, не отрицает своей «человеческой» греховности, «но он — поэт», он носитель высшего творческого дара. Здесь сталкиваются разные концепции человеческой личности, концепции «малого» и «большого» мира<sup>162</sup>.

В 1976-м читатели снова получили портрет Гумилева, исполненный ворчливым В. Орловым. Он добавил уколов, —

На всем, что писал тогда Гумилев, лежит неизгладимая печать декоративной красоты, нарочитого украшательства. Показательны в этом отношении его «Капитаны»:

Так, что сыпется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет...

Между прочим, даже этот изысканный образ у Гумилева не оригинален, ибо за шесть лет до того Андрей Белый уже написал:

И с буклей посыпалась пудра  
На золотом шитый камзол...,

и, видимо отвечая на упреки к статье 1966 года, вставил цитату из неназванной Ирины Одоевцевой:

Он так и застыл в своей натянуто-театральной позе «сверхчеловека», стоящего «выше толпы» и совершенно равнодушного к чужой беде. Человек, близко, знавший поэта, передал такие его слова: «Люди, не умеющие переносить несчастье, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие»

о бездушии Гумилева, отослав и к авторитетному ученому:

На «бедность эмоционального содержания» и скудость лиризма Гумилева давно уже указал В.М. Жирмунский (Русская мысль, 1916, № 12, с. 50, пагинация вторая),

а по части разочарования читателей — сославшись на внимательного критика:

Д. Выгодский писал в «Летописи» (1917, № 1), что вместо обещанного «первозданного мира» в «Колчане» — «экзотический сад» и каталог заемных образов: «Все это изобличает человека XX века, живущего воздухом библиотек и солнцем, нарисованным на холстах старинных картин»,

и в довершение разоблачений встрял в перебранку между покойниками:

В январе 1917 года в «Русской мысли» появилась драматическая поэма Гумилева «Гондла», которой и сам автор, и его апологеты придавали важное значение, но которая по справедливости была оценена М. Кузминым как произведение «наивное и во всех отношениях мертвенное»<sup>163</sup>.

В воскресенье, 15 января 1978 года, в 20 ч. 10 м. по первой программе всесоюзного радио прозвучали воспоминания Ник. Тихонова «Устная книга»:

Когда Гумилев привез «Шатер» и появился с ним в доме Мурузи, его сразу же обступили поклонники, особенно члены «Звучащей раковины», и стали просить у него книгу. И он ее раздавал. Я держался в стороне. Гумилев подошел ко мне, надписал одну из книг и сказал:

— Я хочу вам подарить свою книгу.

Я поблагодарил и с удивлением прочел сделанную им краткую надпись: «Отличному поэту, Николаю Семеновичу Тихонову. Гумилев».

По моим стихам Гумилев прекрасно понимал, что я не разделяю взглядов «Цеха поэтов», и, в общем, мои стихи не должны были ему нравиться из-за своего революционного содержания. Но он всегда подчеркивал свое внимание. Мы же, зная его стихи, никогда не могли себе представить его чуждым, враждебным или врагом революции, потому что в книгах Гумилева, которые издавались при Советской власти, я не встречал ни единого антисоветского стихотворения — просто их не было. А единственный его сборник, который вышел за границей в это время — «К синей звезде» — был лирической книгой, посвященной какой-то девушке.

Тем более нас ошеломила весть об его аресте. Ничего не было известно о его причинах.

В это время 7 августа умер Блок.

Это событие заняло умы и явилось как бы концом целого периода русской поэзии, ознаменованного появлением «Двенадцати» и «Скифов».

Не успело улеться волнение, вызванное смертью Блока, как из газет, расклеенных на стенах, мы узнали об участии Гумилева

в так называемом Таганцевском заговоре и о суровом приговоре. В Постановлении суда против фамилии каждого обвиняемого было подробно написано об его участии в заговоре и об его роли в действии заговорщиков. О Гумилеве было сказано, что он дал согласие в случае переворота писать прокламационные листки.

Были слухи о том, что Москва потребовала выделить из дела бумаги о Гумилеве, но что Зиновьев настоял на приведении приговора в исполнение. Вскоре после смерти Гумилева в Петрограде вышли две его книги: «Письма о русской поэзии» и сборник посмертных стихотворений. И в них не было ничего антисоветского<sup>164</sup>.

Публика приняла слова сановного писателя за ободряющий сигнал. Глеб Струве писал мне 25 мая 1978 года:

Верно, что у вас будут теперь издавать Гумилева? Об этом недавно говорил Эткинд, ссылаясь на Н.С. Тихонова. М.б. это как-то связано с интересом сейчас к Эфиопии.

А 12 декабря 1978-го шведский славист Магнус Юнгрен сообщил Глебу Струве из Москвы о местных пересудах:

Между прочим, Тихонов 10 минут по радио говорил о Гумилеве и о их знакомстве: «в поэзии Гумилева нет ничего антисоветского»...

К последствиям тихоновского публичного благодушия (заметим, что при посмертной публикации «Устной книги» в журнале «Вопросы литературы» два года спустя самые «адвокатские» заявления Тихонова были купированы) можно, возможно, отнести пристальность и сравнительно спокойный тон заметки Н.И. Хомчук в «Лермонтовской энциклопедии», возглавлявшейся В.А. Мануйловым:

В центре поэтического внимания Н.С. Гумилева, как и у М.Ю. Лермонтова, — жизненная активность человека. Знаток Востока, путешественник, натура, соединявшая в себе воина и поэта, Гуми-



лев находил определенные психологические и биографические параллели между собой и Лермонтовым, указывая на такие точки соприкосновения с поэтом, как раннее знакомство с Кавказом, обусловившее становление обоих поэтов, их пристальное внимание к теме Востока. М.Ю. Лермонтов в значительной мере определил отношение Гумилева к миссии поэта, к поэтическому слову, обладающему огромной силой нравственного воздействия. Идеи Лермонтова по-своему преломились в стихотворениях Гумилева «Пророки», «Правый путь», «Восьмистишие», «Естество», «Слово», «Молитва мастеров», в критических статьях «Жизнь стиха» (1910), «Анатомия стихотворения» и др.

Итогом многолетних раздумий над творчеством Лермонтова, его судьбой является признание, сделанное, по свидетельству И. Одоевцевой, зрелым Гумилевым в дружеской беседе: «Я с самого детства и сейчас еще больше всех поэтов люблю Лермонтова... Давно пора понять, что Лермонтов в поэзии явление не меньшее, чем Пушкин, а в прозе несравненно большее... Это мое искреннее, глубокое убеждение. Русская проза пошла... с “Героя нашего времени”. Проза Лермонтова чудо. Еще большее чудо, чем его стихи... Перечтите “Княжну Мери”. Она совсем не устарела. Пока существует русский язык, она никогда не устареет. Если бы Лермонтов не погиб!»

Интересные суждения о Лермонтове, тонкие наблюдения над его поэтической манерой содержатся в отзыве Гумилева на сборник стихотворений Вячеслава Иванова «*Cor ardens*» (1911) и в рецензии на «Ночные часы» А. Блока (1912).

О волшебной силе стихотворения «Выхожу один я на дорогу» говорится в статье «Жизнь стиха»; в статье «Теофиль Готье» (1911) с восхищением упоминается «Ангел» и дается высокая оценка поэзии Лермонтова 1840–1841 годов.

Романтический герой Н.С. Гумилева — «избранник свободы», скиталец, «блудный сын», любимец «Музы Дальних Странствий», «отступник... обретший все и вечно недовольный» (напр., в поэме «Открытие Америки», 1910, стихотворениях «Я в лес бежал из городов», «Да, мир хорош, как старец у порога», «Снова море», «Рыцарь счастья», «Мои читатели» и др.) — обнаруживает некоторые черты сходства с мятежными героями М.Ю. Лермонтова. Однако устремления героев Гумилева в со-

циально-историческом и этическом плане противоположны героям Лермонтова; принципиальное различие поэтической позиций наглядно проявляется в решении патриотической и батальной темы.

Тенденция стихотворений Гумилева «Наступление», «Война», «Солнце духа», «Старые усадьбы», «Барабаны, гремите, а трубы — ревите, а знамена везде взнесены...» (1914–1920) и фронтовых очерков 1915–1916 «Записки кавалериста» не была исторически прогрессивной. Война для Гумилева — жертвенная мистерия или повод для проявления индивидуального героизма, самоутверждения. Из-за превратного понимания любви к родине Н.С. Гумилев оказался в лагере врагов Советской власти<sup>165</sup>.

Но для вопроса о гумилевских текстах мимолетная радиопередача и публикация ее в узкопрофильном литературоведческом журнале были не указ. Как вспоминал весьма инициативный участник литературной жизни эпохи застоя:

Составление «Дня поэзии» — кропотливое и нервное дело: всем хочется опубликоваться. Наша задача — отстоять качество публикуемого. Рядом со здравствующими авторами вставали ушедшие. Во многих случаях их стихи звучат как камертон в общем настрое книги. Но и здесь не все просто. Цензура разрешает Николая Клюева и Осипа Мандельштама, а Николая Гумилева железно не разрешает. Верховная память цензуры непреклонна, никакие письма не помогают. Так нам и в 1981 году не удалось его опубликовать. Только в 1986, на заре горбачевского времени, в «Дне поэзии» мы широко представили Николая Гумилева и заметки о нем Корнея Ивановича Чуковского — не опубликованные ранее страницы «Чукоккалы»<sup>166</sup>.

Может быть, к этому эпизоду относится воспоминание Льва Озерова:

Попытка издать Гумилева даже в специальных сборниках, вроде «Дня поэзии», не дала желаемых результатов. Отказы были немногословны, односложны: «Нет!» Еще чаще — молчание, решительно сомкнутые губы, стальной взгляд<sup>167</sup>.

Эмиграция наблюдала за неистребимым «полушепотом» с привычной уже меланхолией:

Творчество Гумилева, как и его яркая и трагическая биография, стали теперь «недавней дальностью». Ведь — верится с трудом — прошло уже около шестидесяти лет с того темного для всей русской литературы дня, когда по приговору петербургской «чеки» был расстрелян большой русский поэт. Многие с тех пор переменялось в мире, однако на берегах Невы, где-то неподалеку от тех мест, где поэт встретил свою преждевременную смерть, и поныне «нет на его могиле ни холма, ни креста — ничего». Но все же некоторым утешением может служить то, что память о нем не удалось предать забвению, и среди последующих поколений число людей, которым дорого его поэтическое наследство, не перестает расти. Тех, которые лично знали его, даже тех, которые могут помнить ту обстановку, в которой появлялись его прижизненные поэтические сборники, можно пересчитать по пальцам. Между тем, хотя его творчество до сих пор находится в Советском Союзе под запретом и имя его произносится полушепотом, а в научных трудах набирается петитом, да и то преимущественно в сносках, все же какими-то неведомыми путями — из уст в уста — его стихи доходят до современного читателя, до читателя молодого, а его книги, как рассказывают свидетели, расцениваются там на «вес золота». Впрочем, удивляться тут нечему: дело не только в том, что, вероятно, каждый человек, для которого поэзия что-то значит, думая о Гумилеве, не может не испытывать хоть каких-то «угрызений совести»<sup>168</sup>.

В брежневские годы продолжалось неофициальное собиранье гумилевских материалов с попытками хоть как-то дать о них знать в советской печати. Успех последнего зависел от решительности и сравнительной независимости редакторов, которых, впрочем, было вряд ли многим больше, чем один И.С. Зильберштейн. В вышедших под его руководством в 1980–1982 годах первых трех книгах 92 тома «Литературного наследия», посвященного Блоку, содержалась сотня упоминаний Гумилева<sup>169</sup>. Архивные розыски были часто затруднительны, и пишущий эти строки мог узнать себя в словах

последней речи на суде составителя вышедших за рубежом сборников архивных материалов «Память» Арсения Рогинского, говорившего в декабре 1981-го о тех, кто вынужден

прибегнуть к окольным путям, чтобы все-таки выполнить поставленную перед собой задачу. Например, попытаться получить ходатайство по теме, которая интересует какую-нибудь редакцию, и действительно этой темой заняться, надеясь параллельно познакомиться в архиве хотя бы с частью материалов по вашей собственной теме. Я знаю многих людей, которые, интересуясь Гумилевым, занимаются Блоком, а интересуясь Катковым — занимаются Чернышевским<sup>170</sup>.

И все эти брежневские годы имя и тексты Гумилева продолжали жить в подсоветской контркультуре. В 1969-м арестованному Н.Н. Брауну (сыну Н.А. Брауна) ставили в вину стихотворение о казни «участника белогвардейского заговора»<sup>171</sup>. В протоколе изъятия в помещении Вычислительного центра ЛатвГУ по делу рижских распространителей Самиздата (1973) фигурирует «<...> стихотворный текст <...> без заглавия, автором его указан ГУМИЛЕВ. Стихотворение о капитане корабля»<sup>172</sup>. «Еще в начале 80-х Гумилева отбирали на обысках»<sup>173</sup>.

В сентябре 1971-го бывший посетитель площади Маяковского В.Н. Осипов, сошедшийся в лагере в 1967–1968 годах с членами ВСХСОН и ставший поэтом, по собственному определению, «убежденным православным монархистом и русским националистом», посвятил чтимому всхсоновцами поэту панегирик в своем самиздатском журнале:

Несмотря на полувековое забвение, на смену поколений, вопреки всяческому контролю всемогущих духоведов трагическое имя поэта-визыя, поэта-идальго произносится с благоговением. <...>

Брюсов назвал тогда Николая Степановича «упадочным империалистом». Может быть, и так. Может быть, поэт Гумилев еще и империалист. Но что из этого? Мы утверждаем, что политический приговор не равен эстетическому. К сожалению. Популярна совершенно ложный догмат о том, что только прогрессив-

ного умозрения художник бессмертен в культуре... <...> Творчество Кнута Гамсуна, Луи Селина, Эзры Паунда не потускнело от того, что им пришлось по душе национал-социализм. И даже Андре Жид продолжает пользоваться спросом на мировом рынке. <...> Поэты умирают по-разному. Г. Лорка плакал и молил о пощаде. Гумилев не пытался переиграть свой жребий. Сосватавшие его с пулей свидетели последних земных часов и минут поэта доносят до нас воспоминания о беспримерном мужестве и силе духа, с которыми Николай Степанович взглянул в лицо смерти. Его мужество из той же субстанции, что и мужество великого Гельдерлина, просто сказавшего: «Безбожно и противостоительно стремиться прожить свою жизнь без катастроф и потрясений». <...> Так получилось, что миру дано только то, что смогла восстановить русская эмиграция.

Платон учил когда-то: «Красота души должна быть в вечном движении роста, чтоб обрести дар видеть Бога».

В сохранении, развитии, становлении этой красоты роль поэзии божественна и едина в своем роде<sup>174</sup>.

16 апреля 1976 года поэт Олег Александрович Охупкин (1944–2008) и православный диссидент, филолог-романист Владимир Юрьевич Пореш провели на квартире вечер памяти Гумилева, из этого начинания выросли ленинградские подпольные Гумилевские чтения (с 1978-го): первый самиздатский выпуск «Гумилевских чтений» датирован 1980-м, воспроизведен в 1982 году в девятом выпуске «Wiener Slawistischer Almanach»<sup>175</sup>.

В официальной культуре, помимо избранных научных публикаций, год от года закреплялось правило не говорить о Гумилеве «по умолчанию». Л.В. Горнунг несколько даже наивно писал мне 5 апреля 1985 года о книге А.В. Федорова «Иннокентий Анненский. Личность и творчество» (Л., 1984):

Странно, но Федоров нигде даже не упомянул фамилии Николая Степановича.

Застой крепчал, и В. Рудинский в обзоре эмигрантской печати высказался по поводу 146-го номера «Вестника Русского Христианского Движения»:

В связи со 100-летием со дня рождения Н. Гумилева Н. Струве выражает сожаление, что сия годовщина будет замолчана у нас на родине. Право, не стоит жалеть! Сколько лжи было бы сказано... Пожалеет о другом: его и за рубежом, на свободе, не умеют ни понять, ни оценить. Сам Струве констатирует: «К Гумилеву-поэту принято в некоторых интеллигентских кругах относиться с некоторым, я бы сказал, снисхождением». Да и он от такого вот отношения не свободен; и не сознает, что речь идет о великом поэте, одном из величайших в нашей литературе<sup>176</sup>.

\* \* \*

В пятницу, 15 апреля 1986 года Сергей Довлатов говорил по радио «Свобода»:

В апреле исполняется сто лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева, а еще через четыре месяца исполнится 65 лет со дня его гибели, но я почти не сомневаюсь, что ни первая дата, ни, тем более, последняя не будут отмечены в советской печати даже беглым упоминанием<sup>177</sup>.

И в этот же день в издательстве «Советская энциклопедия»:

На совещании у директора издательства утрясаи дела по второму тому. Хуже всего было то, что в нем оказалась статья о Гумилеве. Начальство трепетало. Тут была еще и своя специфика. Замдиректора энциклопедии [И.М.] Терехов, огромный краснолицый мужчина, когда-то уже поплатился за Гумилева: в 60-е годы, будучи директором издательства «Просвещение», он выпустил антологию поэзии XX века, где было два стихотворения Гумилева. Терехова посчитали Робеспьером и понизили в должности. К 80-му году он все-таки поднялся до замдиректора издательства «Советская энциклопедия». И вот опять на его пути встал проклятый Гумилев.

В тот день все складывалось очень плохо. Редакция в полном составе сидела в кабинете главного редактора издательства Нобелевского лауреата по физике Александра Михайловича Прохорова. Это был уже очень пожилой господин. На его худой фигуре, как на вешалке, болтался пиджак, в глазах плавали то-

ска и уныние. Интересно, что теперь, проходя по Ленинскому проспекту, где в начале одного из скверов Прохоров восседает как памятник, я вижу его во главе длинного блестящего стола, грустно смотрящего в нашу сторону. Он абсолютно не понимал, что делать с редакцией, с этим томом словаря, с Гумилевым и прочими идеологическими заковыками, которые, кроме неприятностей, ничего ему не сулили. Собрание шло рывками. Выступал с обоснованиями [К.М.] Черный, что-то кричала Люся [Щемелева], строго говорил [Ю.Г.] Буртин. Но лица Прохорова и Терехова ничего не выражали. Все понимали, что падение несчастного Гумилева — уже в какой раз — дело времени. И вдруг случилось нечто невероятное. Из-под двери появилась газета. Сначала было непонятно, зачем ее просунули, но, посмотрев внимательно вниз, все по очереди теряли дар речи. На странице «Литературной России» красовался портрет поэта с подписью — «К столетию Гумилева». Теперь газета, как живая, ползла по поверхности стола. Каждый, мимо кого она проплывала, менялся в лице — на нем возникала безумная улыбка. Терехов заволновался.

— Что у вас там, товарищи? Почему отвлекаетесь?

Перед ним развернули газету с огромным портретом Гумилева. Сначала он смотрел на нее с абсолютно непроницаемым лицом, затем приблизил к глазам. Кажется, он даже попытался ее понюхать. Видно было, как ему тяжело. Он вздохнул и молча положил газету перед Прохоровым.

Академик оказался сообразительным.

— Ну, это другое дело, товарищи, — радостно возвестил он. — Если имя Гумилева принято на самом верху, то у нас не будет возражений, — и он посмотрел на Терехова.

Тот только промычал что-то в ответ. Нельзя было описать, как мы отмечали тот день в редакции. Какие тосты подымали и как пили за наше счастливое будущее<sup>178</sup>.

Через несколько дней появился «Огонек» с ленинской телефонной трубкой на обложке и щедрой подборкой стихов столетнего юбиляра<sup>179</sup>.

Как писал когда-то в стихах Михаил Кузмин:

Апофеоз. Апофеоз!<sup>180</sup>

И здесь следует *mutatis mutandis* повторить то, что было сказано (Борисом Эйхенбаумом) за 50 лет до того: «мы делали свое историческое дело, которое теперь прекращено».

Миссия панегиристов, обожателей обоего пола, фанатиков, переписчиков, толкователей, собирателей, книголюбов, архивных сыщиков и библиотечных крохоборов была выполнена.

Остались технические подробности.

- 1 Стихотворение «Канал имени Сталина»: «Ржавой проволокой колючей / ты опутал мою страну. / Эй, упырь! Хоть уж тех не мучай, / кто, умильно точа слюну, / свет готов перепутать с тьмою, / веря свято в твое вранье...». В доносе 1954 года на А. Клещенко фигурировало чтение стихов Гумилева и Ахматовой (сообщено Бэллой Клещенко).
- 2 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1370.
- 3 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1368.
- 4 *Ногтева М.* «И врач в нем тихо умирал, а Чехов не рождался» // *Троицкий Н.А.* Тяжелые сны. Красногорск, 1998. С. 8.
- 5 *Троицкий Н.А.* Тяжелые сны. С. 43.
- 6 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1127; по-видимому, он и позднее писал Ахматовой — см. его имя в списках «Ответить на письма» и «благ<одарить>» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Тогіно, 1996. С. 583, 511). См. также: *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // Анна Ахматова: Эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 11. Симферополь, 2013. С. 160–161.
- 7 *Сомов Е.* Обыкновенная история в необыкновенной стране: Документальный роман. СПб., 2001. С. 389; о том, что собирает Гумилева, писал Ахматовой и художник Юрий Гаврилович Когбетлиев (1903–1960) (ОР РНБ. Ф. 1073. № 848). В 1928–1929 годах он посылал Горькому свои стихи, в ответ получив подробный разбор (опубликован: Литературная газета. 1959. 28 марта). См. также о его стихах на смерть Сталина: «Хорошо сказал художник Ю. Когбетлиев:

Знамена склонены, овейные славой,

Но и склоненные, они врагов приводят в страх»

(Голос сердца: Обзор стихов читателей // Литературная газета. 1953. 19 марта).



- 8 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2: 1952–1962. М., 1997. С. 167.
- 9 То есть репрессированные Тициан Табидзе, Егише Чаренц и др.
- 10 Тименчик Р.Д. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы. М., 2014. Т. 2. С. 111.
- 11 См. подробнее: Тименчик Р. О возможностях невозможного // Non multa, sed multum, или Радости и страсти литературного старателя: К 75-летию Е.Б. Белодубровского. СПб., 2016. С. 307–309. С такой же камуфляжной обложкой были произведены: Библиотека поэта. С. Есенин. Стихотворения. Советский писатель. Ленинград, 1956 (Стр. 5: «Мелколесье. Степь и дали...» и проч., и снова инструкция: 500 грамм глицерина, 100 грамм столярного клея и т.д.); К.М. Симонов. Стихотворения. Библиотека поэта. Советский писатель, 1953; Библиотека писателя <так>. Малая серия. И. Эренбург. Оттепель. Советский писатель. Ленинград, 1956 (немного из либеральной повести, а затем опять про слабительное для младенцев как ингредиент для шапирографа).
- 12 «...в поэзии возникло еще одно реакционное течение — акмеизм (Гумилев, Ахматова и др.). Поэты этого течения, как и символисты, порывали с патриотическими традициями русской литературы, клеветали на революцию; искусство они определяли как “веселое ремесло”, стремились укрыться от неприятной действительности...» (Тимофеев А.И. Русская советская литература: Учеб. пособие для 10 класса сред. школы. 10-е изд. М., 1955. С. 128 ; ср. рассказ Ахматовой 14 сентября 1957-го: «На днях вбегает ко мне Аничка [А.Г. Каминская]. “Акума, мы проходим враждебные группировки, там ты и Гумилев!”» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 260).
- 13 «Далеко не все “плакальщицы об умершем” и “прихлебатели” эмигрировали за пределы Советской республики. Многие из них остались в России, маскируя свою враждебность революции декларациями о “нейтральности”. Иногда они доходили до прямого участия в контрреволюционных заговорах, как было, например, с поэтом Гумилевым. Советская власть поступала в таких случаях в соответствии с лозунгом: “Никакой пощады врагам народа”» (Иванов В. Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы. М., 1953. С. 26–27). Этот автор повторял свой текст из года в год; Иванов В. О литературных группировках и течениях 20-х годов // Знамя. 1958. № 5. С. 193; Иванов В. Формирование идейного единства советской литературы, 1917–1932. М., 1960. С. 77.

- 14 «Экзотическая фантастика Гумилева была своеобразной формой протеста против революции» (Плоткин Л. В.И. Ленин и литературное движение первых лет советской власти // Звезда. 1957. № 11. С. 254; здесь же поминалось злополучное стихотворение Н. Оцупа «В деревне», обязательное блюдо советской литературной критики в разговоре об акмеизме).
- 15 Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 7.
- 16 Шишкина А. Рец. на кн.: Волков А., Очерки русской литературы конца XIX и начала XX веков, М., 1952 // Звезда. 1953. № 11. С. 186; во втором, исправленном издании «Очерков» (1957) автор снял цитату из статьи Брюсова «Суд акмеиста: Русская поэзия за семилетие 1909–1915 гг.» (Печать и революция. 1923. № 3. С. 96), подлинный вид которой мы восстанавливаем квадратными скобками.
- 17 Ср.: «Довоенные издания, в частности, книги стихов и критические заметки Гумилева (в “Аполлоне” и др. изданиях) из-под полы доступны, как мы знаем, в советской России всякому интересующемуся поэзией. Было бы интересно проследить, насколько влияют именно в послевоенные годы на советских молодых поэтов принципы Гумилева...» (Терапиано Ю. Школа Гумилева // Новое русское слово. 1955. 2 октября).
- 18 См., например, о стихах в «Литературной Москве»: «Алексей Сурков вне всякого сомнения хорошо знаком с поэзией Гумилева. Его песни об Индии напоминают Гумилева» (Грот Е. О советских поэтах // Новое русское слово. 1958. 23 февраля). В социалистической ориенталистике А. Суркова отзвуки Гумилева различаются без специальных усилий. См., скажем, его «Шираз»:

Желтый лев на фуражке сарбаза.  
Тень сарбаза плывет вдоль стены.  
Знаменитые розы Шираза  
Увядают, жарой спалены.

Позолотой покрыв минареты,  
Солнце медленно падает вниз.  
В этом городе жили поэты  
Саади, Кермани и Хафиз.

А теперь в этом городе старом,  
Что от пыли веков поседел,

Проза жизни шумит над базаром  
Суматохой обыденных дел.

Как среди этой прозы жестокой  
Нежность речи певучей сберечь,  
Если бархатный говор Востока  
Заглушает английская речь;

Если нищий народ бессловесен,  
А в богатых домах напоказ  
Вместо старых, задумчивых песен  
Ржет, скрежещет, мяукает джаз;

Если рыжим заморским банкирам  
Льва и Солнце стащили в заклад;  
Если нынешним Ксерксам и Кирам  
Сшит в Нью-Йорке ливрейный наряд.

Старый город, воспетый в поэмах,  
Дремлешь ты, о прошедшем скорбя.  
Благодетели в пробковых шлемах  
Опоили отравой тебя.

От недоброго, жадного глаза  
Осыпаются роз лепестки.  
И к могилам поэтов Ширази  
Из пустынь подступают пески.

(Сурков А. Миру — мир! Стихи 1946–1949 гг. М., 1950. С. 42–43; книгу автор надписал «Анне Андреевне Ахматовой от одного из подмастерьей русского языка. 21/4. 1950» (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме).

19 Олений обоз.

20 *Неймирок А.* О современной русской лирике в Советском Союзе // Грани. 1956. № 3. С. 134–136; Автономов Владимир Михайлович (1917–1972) учился на филфаках педагогических институтов, в 1937 году на 12 лет попал в лагеря. Черноморцев Лев Николаевич (1903–1974) — автор пяти сборников стихов. Неймирок Александр Николаевич (1911–1973) — киевлянин, затем в Югославии, член союза солидаристов, в 1943–1945 годах в немецких тюрьмах и концлагерях; см. о нем: Словарь поэтов Русского Зарубежья. СПб., 1999. С. 167–168. Стихотворение На-

ровчатова воспроизведено с опечатками, надо: «...земной любви, сошедшей в черный лог». В свою очередь в журнальной публикации был представлен цензурный вариант строки «Свой злой и быстрый век».

- 21 В одном НИИ, напр., служил «экономист, тайной, всепожирающей страстью которого был поэт Гумилев. Он не жалел на его книги никаких денег и был обладателем всего, что написал этот поэт, расстрелянный в 1921 году. Он знал Гумилева наизусть» (*Агурский М.* Пепел Клааса. Иерусалим, 1996. С. 339). Из многих других свидетельств см., например, о доставшемся в 1950-е от преподавателя литературы И.И. Севастьянова коллекционном экземпляре: «тоненькая тетрадка с золотым обрезом, переплетенная в крокодиловую кожу. Это переписанные рукой И.И. Севастьянова стихи М. Волошина из сборника “Демоны глухонемые”. <...> Кроме стихов М. Волошина в тетрадь каллиграфическим почерком переписаны стихи Н. Гумилева и А. Ахматовой. Особенно выделялись строчки Ахматовой: “Дай мне горькие годы недуга...”» (*Боярский, Иосиф Яковлевич.* Литературные коллажи. М., 1996. — [www.pereplet.ru/text/boyarskiy.html](http://www.pereplet.ru/text/boyarskiy.html)).
- 22 *Глезер Л.А.* Записки букиниста. М., 1989. С. 94.
- 23 *Кац Б., Тименчик Р.* Ахматова и музыка: Исследовательские очерки. Л., 1989. С. 25–27; ср. письмо В.К. Шилейко к Ахматовой весны 1925-го: «Я узнал здесь О.Н. Бутомо, которая страшно меня изругала за тебя...» (*Шилейко В.К.* Последняя любовь: Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой, и другие материалы / Сост., предисл., прим. А. и Т. Шилейко. М., 2003. С. 26).
- 24 О Михаиле Михайловиче Названове (1914–1964) см.: *Гаврилов И.* Светлый путь Михаила Названова // Искусство кино. 2000. №№ 5–6.
- 25 См. о нем: *Зак Я.Г.* О тех, кто любит собирать...: Поэма о коллекционерах. М., 2011. С. 517–518.
- 26 См., например, легенду о спасении архива Гумилева безымянным чекистом (*Луценко А.* Опаленный Серебряным Веком. СПб., 2010. С. 91).
- 27 См. о нем: *Зак Я.Г.* О тех, кто любит собирать... С. 537–538.
- 28 *Голованов Я.К.* Заметки вашего современника. Т. 1. М., 2001. С. 149.
- 29 *Павловский А.* О творчестве Николая Гумилева и проблемах его изучения // Николай Гумилев: Исследования; Материалы;

- Библиография. СПб., 1994. С. 4. Картотека с гумилевской библиографией, составлявшейся доцентом Политехнического института Михаилом Владимировичем Латманизовым (1905–1980), хранится в Музее Анны Ахматовой.
- 30 *Schakovskoy, Zinaida, princessse*. The privilege was mine; a Russian princess returns to the Soviet Union / Translated by Peter Wiles. N.Y., 1959. P. 20.
- 31 *Лосев Л.* Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 50.
- 32 *Герман М.* Сложное прошедшее. СПб., 2000. С. 278–279; речь, возможно, идет о картине Евгения Лансере «Прогулка на молу» (1908).
- 33 *Огрызко В.* Неуживчив по характеру: К истории пребывания Евгения Евтушенко в Литинституте // Литературная Россия. 2017. 21 апреля. Геннадий Айги вспоминал о том времени: «Вся моя жизнь тогда проходила в Ленинской библиотеке, где был сложившийся круг книголюбцев, я со многими познакомился. Я спросил у одного из них, есть ли у него Ницше. Ленинка не выдавала таких авторов, как Ницше, Ахматова, Гумилев... “Пожалуйста, — говорит, — у нас в библиотеке ВГИКа можно взять”. Во ВГИКе было посвободнее, чем в других институтах» (*Врубель-Голубкина И.* Разговоры в зеркале. М., 2014. С. 171).
- 34 *Аронов А.* Поговорим? Пыльная весна // Московский комсомолец. 1995. 22 марта. № 53(17065). С. 7; Александр Яковлевич Аронов (1934–2001) — поэт; Игорь Ильич Дуэль (р. 1937) прозаик-документалист; Григорий Михайлович Левин (1917–1994) — поэт, руководитель литобъединения «Магистраль». Среди читателей 1950-х — 1960-х было популярно его стихотворение о ландышах:

На привокзальной площади  
Ландыши продают.  
Какой необычный странный смысл  
Ландышам придают.  
Ландыши продают  
Почему не просто дают?  
Почему не дарят, как любимая взгляд?..

Ср. также другое его стихотворение 1956 года:  
...Уже нет сил мне видеть разноречье  
Меж тем, что ведают и что творят.  
И ходят, толстокожи и нечутки,  
На прочих смертных глядя свысока

Эпохи культа личности ублюдки,  
Цепляясь жадно за конец древка.

(День поэзии 1989. М., 1989. С. 26). См. о нем: *Евтушенко Е.* Строфы века: Антология русской поэзии. Минск; М., 1995. С. 596; *Сергеев А.* Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания. М., 1997. С. 307; *Вознесенский А.* На виртуальном ветру. М., 1998. С. 239–240.

- 35 *Чудакова М.О.* 1956 год // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 811.
- 36 Цит. по: [www.poesis.ru/almanah/almanah2/Beletskij/chapter7](http://www.poesis.ru/almanah/almanah2/Beletskij/chapter7); <http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/memoir/beletsky/part2/1212667528.html>.
- 37 *Сергеева Л.* Триумвират: Андрей Синявский — Абрам Терц — Мария Розанова // Знамя. 2017. № 8. С. 106–107.
- 38 *Мартинез Л.* Promenades avec Siniavski: Прогулки с Синявским // Октябрь. 2005. № 11. С. 186. В это же время слово «самиздат» дошло до другого французского филолога в Москве, который сообщил его парижанам (*Тименчик Р.* Заметки комментатора // Литературный факт. 2017. № 3. С. 289–291).
- 39 *Буковский В.К.* «И возвращается ветер...». Нью-Йорк, 1978. С. 124.
- 40 *Пименов Р.И.* Воспоминания. М., 1996 (Документы по истории движения инакомыслящих. Вып. 6–7). С. 81–88; о Никите Аркадьевиче Дубровиче и Вере Гнучевой (1914–1980), библиографе Публичной библиотеки в 1944–1962 годах, см.: *Смирнов И.* Действующие лица. СПб., 2008. С. 92–101.
- 41 Новый мир. 1994. № 4. С. 130; о Николае Владимировиче Шатрове (1929–1977) см.: «без царя в голове, но очень талантливый» (Мансарда окнами на запад / Беседа А. Сергеева с В. Кулаковым) // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 291); *Сергеев А.* Omnibus. М., 1997. С. 288–322; *Алейников В.* Присутствие Шатрова; *Соколовский Р.* «Я тот поэт, которого не слышат...»: Из воспоминаний о Николае Шатрове // Новое литературное обозрение. 1997. № 24. С. 304–330.
- 42 *Врубель-Голубкина И.* Разговоры в зеркале. С. 109, 119.
- 43 *Поликовская Л.В.* Мы предчувствие... предтеча... Площадь Маяковского 1958–1965. М., 1996. С. 143; Владимир Юзефович Могилевский (р. 1943) — впоследствии в эмиграции
- 44 *Поликовская Л.В.* Мы предчувствие... предтеча... С. 173 (ср. там же: С. 264). Анатолий Михайлович («Новогодний»; псевд.: Манулин, В. Скуратов; р. 1935) — один из инициаторов замысла

- теракта против Н.С. Хрущева. Арестовывался в 1959, 1961, 1981 годах (в последний раз за национал-патриотические статьи в самиздате). Владислав Георгиевич Краснов (р. 1937), выпускник истфака МГУ, в 1962-м получил политическое убежище в Швеции. В США закончил Чикагский университет. Ю.П. Иваск 16 августа 1968-го сообщал Глебу Струве: «Жду 4-го тома Гумилева. У нас большой его поклонник — В.Г. Краснов, пишет о нем магистерскую диссертацию и, кажется, недоволен моим несколько прохладным отношением к нему».
- 45 Литературный альманах. 1961. № 1. С. 4 (см.: <http://samizdat.library.utoronto.ca/content/literaturnyi-almanakh>). О филологе и переводчике Владимире Сергеевиче Муравьеве (1939–2001) см.: Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова / Сост., комм. Рубинчик О.Е. СПб., 2001. С. 36–73: ср. в этой публикации запись беседы с Муравьевым о встречах с Ахматовой: «О Гумилеве, которого я любил и неплохо знал, тоже довольно часто у нас заходила речь. И тут я точно помню ее фразу, которую она любила повторять: “Коля как поэт только начинался”. (С чем я, кстати говоря, согласен. Однако, хотя “Заблудившийся трамвай”, действительно, шедевр его лирики, в “Колчане” и даже в “Жемчугах” можно найти не уступающие ему стихотворные перлы). Это, впрочем, была фраза более или менее дежурная, а особенно подробно о Гумилеве не говорилось; вот о Мандельштаме речь заходила сплошь и рядом» (*Там же*. С. 62–63).
- 46 Soviet Poetry // Times Literary Supplement. 1958. May 30.
- 47 *Перцов В.* Голоса жизни: Ответ критику из «Таймс» // Литературная газета. 1958. 9 сентября.
- 48 Генрих Гейне: библиография русских переводов и критической литературы на русском языке / Сост. А.Г. Левинтон; отв. ред. Я.М. Металлов. М., 1958. С. 492; перевод Гумилева печатался в однотомниках Гейне издательств «Academia» (1931) и ГИХЛ (1934).
- 49 *Тименчик Р.Д.* Последний поэт. Т. 2. С. 291–292; под титулом «знавших лично» скрывается, полагаю, друживший с Марком Захаровичем Гордоном (1911–1997) Всеволод Рождественский.
- 50 *Анаксагорова А.К.* В квартире на улице Красной Конницы // Об Анне Ахматовой: Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма / Сост. М.М. Кралин. Л., 1990. С. 293–294.

Эта цитата продолжала жить в изданиях известинского концерна и в брежневские годы, но уже, разумеется, анонимно:

«На далекой звезде Венере у деревьев синие листья», — писал поэт в начале XX века, и ни один астроном не мог в те времена опровергнуть это утверждение» (*Гинзбург А., к.ф.-м. наук. Признания утренней звезды // Неделя. 1975. 27 октября — 2 ноября*).

51 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 453.

52 ОР РНБ. Ф. 1073. № 999.

53 См.: *Тименчик Р.Д.* Последний поэт. Т. 2. С. 351. Спустя два десятка лет И.С. Шкловский вспоминал: «Позвонила Женя Манучарова: “Мне срочно нужно Вас видеть. Не могли бы вы меня принять?” Манучарова — жена известного журналиста Болховитинова — работала в отделе науки “Известий”. Только что по радио передали о запуске первой советской ракеты на Венеру — дело было в январе 1961 года. Совершенно очевидно, что Манучаровой немедленно был нужен материал о Венере — ведь “Известия” выходят вечером, а “Правда” — утром, и органу Верховного Совета СССР представилась довольно редкая возможность опередить центральный орган... “Известия” тогда занимали в нашей прессе несколько обособленное положение: ведь главредом там был “зять Никиты — Аджубей” (цитирую популярную тогда эпиграмму — начинались звонкие шестидесятые годы — расцвет советского вольномыслия).

Когда я усадил гостью за мой рабочий стол, она только сказала: “Умоляю Вас, не откажите — вы же сами понимаете, как это важно!” Не так-то просто найти в Москве человека, способного “с ходу”, меньше чем за час, накатать статью в официальную газету. Осознав свое монопольное положение, я сказал Манучаровой: “Согласен, но при одном условии: ни одного слова из моей статьи вы не выбросите. Я достаточно знаком с журналистской братией и понимаю, что в вашем положении вы можете наобещать все что угодно. Но только прошу запомнить, что ‘Венера’ — не последнее наше достижение в Космосе. Если вы, Женя, свое обещание не выполните — больше сюда не приходите. Кроме того, я постараюсь так сделать, что ни один мой коллега в будущем не даст в вашу газету даже самого маленького материала”. “Ваши условия ужасны, но мне ничего не остается, как принять их”, — без особой тревоги ответствовала журналистка. И совершенно напрасно! Я стал быстро писать, и через 15 минут, не отрывая пера, закончил первую страницу, передал ее Жене и с любопытством стал ожидать ее реакции. А написал я буквально следующее: “Много лет тому назад за-



мечательный русский поэт Николай Гумилев писал: «На далекой звезде Венере солнце пламенной и золотистой; на Венере, ах, на Венере у деревьев синие листья...» Дальше я уже писал на привычной основе аналогичных трескучих статей такого рода. Правда, вначале пришлось перебросить мостик от Гумилева к современной космической эре. В качестве такового я использовал Гавриила Андриановича Тихова с его дурацкой «астроботаникой». Что, мол, согласно идеям выдающегося отечественного планетоведа, листья на Венере должны быть отнюдь не синие, а скорее красные — все это, конечно, в ироническом стиле. После такого вступления написание дежурной статьи никаких трудов уже не представляло.

Прочтя первые строчки, Манучарова схватила за сердце. «Что вы со мной делаете!» — простонала она. «Надеюсь, вы не забыли условия договора?» — жестко сказал я. Отдышавшись, она сказала: «Как хотите, но единственное, что я вам действительно реально могу обещать, — это донести статью до главного, ведь иначе ее забодают на самом низком уровне!» — «Это меня не касается — наш договор остается в силе!» <...> «Известия» тогда я не выписывал. Вечером я звонил нескольким знакомым, пока не нашел того, кто эту газету выписывает. «Посмотри, пожалуйста, нет ли там моей статьи?» — «Да, вот она, и какая большая — на четвертой полосе!» — «Прочти, пожалуйста, начало». Он прочел. Все было в полном ажуре.

Более того, над статьей «сверх программы» — огромными буквами шапка: «На далекой планете Венере...» Они только гумилевское слово «звезда» заменили на «планету». Ведь для чего-то существует в такой солидной газете отдел «проверки»: посмотрели в справочнике — нехорошо, Венера не звезда, а планета. Поэт ошибался — решили глухие к поэзии люди. Ну и черт с ними — это, в сущности, пустяки. Главное — впервые за десятилетия полного молчания имя поэта, и притом в самом благоприятном контексте, появилось в официальном органе! Забавно, что я потом действительно получил несколько негодующих писем чистоплюев — любителей акмеизма — с выражением возмущения по поводу замены *звезды* на *планету*» (Шкловский И. Эшелон: невыдуманные рассказы. М., 1991. С. 120–123).

- 54 *Терапиано Ю.* «На Венере, ах, на Венере»... // Русская мысль. 1961. 4 марта. См. также отклик в тель-авивской газете: «Венера (также «сияние») отбеливает грехи... Русский поэт Николай

Гумилев, расстрелянный в 1921 году за “контрреволюционную деятельность” был косвенным образом реабилитирован на этой неделе газетой “Известия” по случаю запуска космической станции на Венеру» (Херут («Свобода»). 1961. 17 февраля (сообщено Зоей Копельман)).

- 55 *Кушнер А.* Первое впечатление. М.; Л., 1962. С. 74.
- 56 Письмо П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву / Комм. С.В. Селиверстова // Алтайский вестник. 2007. № 3(9) С. [10–17]. Г. Альтов — псевдоним писателя-фантаста Генриха Сауловича Альтшуллера (1926–1998), в 1950-м приговоренного к 25 годам лишения свободы (в 1954-м реабилитирован); Николай Петрович Савицкий (р. 1935), сын П.Н. Савицкого; цитата — из стих. «Орел». Это же стихотворение в 1961 году в связи с актуализовавшейся космической темой вспомнила Ахматова («Я не такой тебя когда-то знала...»: материалы к творческой истории / Изд. подгот. Н.И. Крайнева. СПб., 2009. С. 1296; *Тименчик Р.Д.* Последний поэт. Т. 1. С. 247).
- 57 Примечание П.В. Куприяновского к записи Д. Фурманова за 1921 год: «5 июля. Во Всероссийском союзе писателей. Я зашел туда только узнать, что представляет собой Союз, справиться об условиях вступления, не больше. А попал как раз на очередной “Понедельник”, читали Глоба и Гумилев свои произведения... Потом критиковали. Было сказано: “Рифма ни причем, за рифмой гнаться не надо — мы не футуристы...” <...> После окончания, когда я подошел к Сологубу, он сообщил, что для вступления в Союз нужно иметь книгу своих произведений. А у меня, кроме политических брошюр, до сих пор еще ничего не издано» (*Фурманов Д.* Собр. соч. в 4 тт. Т. 4: Дневники. Литературные записи. Письма. М., 1961. С. 256; подписано к печати 9 декабря 1961-го).
- 58 *Zelinski K.* Russian Poetry Today // Survey (London). 1962. № 40. P. 51. См. подробнее: *Тименчик Р.* Из именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой. М., 2012. С. 430–452.
- 59 Библиотека Бейнеке Йельского университета, Нью-Хейвен; сообщено А.А. Долининым. Отклик на сопоставление Гумилева с Андре Шенье см. в статье Г. Струве: «Скрытый смысл [этой фразы] в том, что нет причин не возвращать Гумилева в литературную жизнь» (*Struve G.* The Aesthetic Function in Russian Literature // Slavic Review. 1962. Vol. 21. № 3. P. 424).

- 60 Из архива писателя / Публ. М. Голубковой и В. Грачева-мл. // Наше наследие. 2017. № 121. С. 109.
- 61 *Завалишин В.* Опальный юбилей (К сорокалетию расстрела Гумилева) // Новое русское слово. 1961. 27 августа.
- 62 *Трубецкой Ю.* Александр Блок, символизм и акмеизм // Новое русское слово. 1961. 30 июля.
- 63 В сопроводительной записке Бикерман пояснял Н.С. Хрущеву: «Я мог бы его отправить просто по почте, но боюсь, что ему не проскользнуть сквозь две цензуры»; см. подробнее: *Степанов Е.Е.* Поэт на войне: Николай Гумилев, 1914–1918. М., 2014 (по указателю); *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. М., 2017. С. 683–686, 693–694; см. одно стихотворение Бикермана и справку об авторе: Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) / Вступит. ст., сост., подгот. текста и прим. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006. С. 141, 594.
- 64 *Саакянц А.А.* Спасибо Вам! Воспоминания. Письма. Эссе. М., 1998. С. 292.
- 65 *Мацкин А.* По следам уходящего века. М., 1996. С. 105.
- 66 *Перцов В.* Поиски нового и великие традиции // Литературная газета. 1962. 27 февраля.
- 67 *Метченко А.* Новаторство и критика // Литература и жизнь. 1962. 1 апреля.
- 68 *Перцов В.* Понять — не значит принять // Литература и жизнь. 1962. 15 апреля.
- 69 *Огрызко В.* Держать или лизать. М., 2012. С. 456–457. За четыре месяца до того К. Поздняев, посылая А.Л. Дымшицу на суд свою статью, писал: «...умоляю не выбрасывать ссылку на Николая Гумилева» (*Там же*. С. 472). Не умолил.
- 70 *Тименчик Р.* «Записные книжки» Анны Ахматовой. Из «Именного указателя». I // Эткиндовские чтения. II–III. Сборник статей по материалам чтений памяти Е.Г. Эткинда. СПб., 2006. С. 259.
- 71 *Орлов В.* Цена «тайны старой девы» // Литературная газета. 1962. 17 мая; Владимир Иванович Орлов (1916–1974) — журналист, лауреат Ленинской премии (1960).
- 72 Воспоминания о Литературном институте. М., 2008. С. 212; поэт и переводчик Леонид Константинович Черевичник (Гордин; 1937–2001) — впоследствии заведующий отделом поэзии в журнале «Даугава»; его и линниковскими перепечатками пользовался в университетские годы пишущий эти строки.
- 73 *Латманизов М.В.* Разговоры с Ахматовой (предисл., публ. и прим. А.Г. Терехова) // Русская литература. 1989. № 3. С. 73–74.

Издательство им. Чехова названо по ошибке. В отличие от последующих собраний сочинений Ахматовой и Мандельштама собрание гумилевское еще не субсидировалось спецслужбами США. 19 июня 1963 года Борис Филиппов писал Глебу Струве: «Если уже в период работы над Пастернаком мне удалось уверить некоторых американских деятелей, так или иначе связанных с психологической стратегией, что книга, и именно серьезная книга, является сейчас одним из самых важных факторов психологического диалога с советскими гражданами (почему и удалось издать Пастернака, как Вам, очевидно, уже сообщено, на средства не вполне университетские), то все-таки, основная моя работа была отнюдь не в книгоиздательской и редакторской области. Тому пример: Гумилева, например, пришлось уговорить издавать Камкина. Но сейчас произошли большие изменения в моей работе. Сейчас я государственный служащий, хотя и не штатный, и имею дело с людьми, значительно более интересующимися книгоиздательством и выпуском журнала, как основными в настоящее время методами глубокой идеологической войны».

- 74 «Некоторые стихи попадали тогда даже в сборники, различные “чтецы-декламаторы” и т.п., предназначенные массовому читателю, что опять-таки немислимо в отношении других репрессированных поэтов, вплоть до такого специфического, как “красноармейская хрестоматия” “Военный вестник” (М., 1928). В разделе “В странах эксплуатации и угнетения” неожиданно помещено стихотворение Н.С. Гумилева, названное “Абиссинской невольничьей песней” (точное название “Абиссинские песни. Невольничья”))» (*Блюм А. Игры в аду: Заметки о посмертной судьбе поэта в стране большевиков. К 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилева // Нева. 2011. № 4. С. 170*). Две «Абиссинские песни» («Пять быков» и «Невольничья») входили в репертуар В.И. Качалова (Архив МХАТ. Ф. 43. Оп. 1. Ед.хр. 145).
- 75 *Аронсон Г. По советским книгам и журналам // Новое русское слово. 1964. 2 февраля.*
- 76 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1663; письмо содержало приглашение участвовать в томе «Литературного наследства», посвященном литературе периода Великой Отечественной войны.
- 77 *Трифонов Н.А. Свидетель отошедших дней: Из воспоминаний старого литературоведа. М., 1997. С. 47.*
- 78 *Don Levine I. I Rediscover Russia. N.Y., 1964. P. 140.*
- 79 Коммерсант-Власть. 2008. 24 ноября.

- 80 58–10: Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Аннотированный каталог. Март 1953–1958. М., 1999. С. 641.
- 81 Moscow Uncovers Illegal Publishing Of Erotic Literature: Moscow paper reports black market in erotic, anti-Semitic and anti-Government books in Moscow bookshops; books published secretly in one of Government's closely guarded printing plants // The New York Times. 1964. May 17.
- 82 Карпов Я., Марьяновский В. Чернокнижники // Вечерняя Москва. 1964. «Клык» — Александр Дмитриевич Евдокимов (1927–1998), известный московский книжник, «Король» — коллекционер, библиофил Изольда Аркадьевич Полонский (1914–1984). Многолетний собиратель гумилевяны геолог Вадим Васильевич Бронгулеев (1915–1994) не успел при жизни выпустить свою книгу «Посредине странствия земного: документальная повесть о жизни и творчестве Н. Гумилева: годы 1886–1913» (М., 1995). В свое время он приобрел у В.Г. Данилевского две тетради неопубликованных африканских записей Гумилева, которые по легенде Данилевский хранил в старом чемодане на проходной Московского карбюраторного завода на Шаболовке.
- 83 ОР РНБ. Ф. 1073. № 940.
- 84 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1204. О Евгении Евгеньевиче Тимошенко см.: Мамиков В. «Дон Кихот» из Токсово: К 100-летию со дня рождения Е.Е. Тимошенко // Костер. 2012. № 11–12; ср.: «В 70-х годах существовала Ленинградская самодеятельная организация литераторов области. Возглавлял ее известный книголюб из поселка Токсово, что во Всеволожском районе, Евгений Евгеньевич Тимошенко. Он был инженером, но страстью его всегда были книги. Эта любовь началась в раннем детстве, когда Евгений жил в Сибири, в городе Тара. И однажды он решил написать Максиму Горькому в Италию, на Капри, попросил всемирно известного писателя прислать ему марки с конвертов писем, которые тот получал из разных стран. А вскоре пришел ответ. Горький марки прислал, но в письме указал на более достойное занятие — чтение книг. “Хочешь, пришлю?” — предложил писатель. Через некоторое время будущий книголюб получил посылку с несколькими книгами... Так началась у юного Жени любовь, которая продолжалась всю жизнь — до самой его трагической смерти: он погиб в огне, спасая в пожаре свою библиотеку!» (Солохин Н. «Талантливых людей у нас так много,

что они не могут не встретиться...» / Беседу вел А. Нестеренко // Царскоесельская газета. 2000. 28 ноября).

85 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1180.

86 Михайлов М. Лето московское 1964. [Мюнхен, 1965]. С. 9.

87 Например, поэт Игорь Леонидович Михайлов (1913–1994) показал составленный им машинописный двухтомник: «Она сказала, что видела множество различных его машинописных изданий, но мое резко выделяется среди всех. Перелистала оба тома, хотя и не очень внимательно. Попав на акростиhi, спросила: “А вы знаете, что тут читается?” Особо заинтересовалась “Отравленной туникой” — она знала другой вариант. О панторифме сказала, что не знает о ее происхождении ничего. <...> Отрицательно отозвалась о собрании сочинений, вышедшем недавно в Америке: “научообразно и несерьезно” (Михайлов И.А. Встреча с Ахматовой / Вступит. зам., подгот. текста и прим. Н.И. Крайневой // «Я всем прощение дарю...»: Ахматовский сборник. СПб., 2006. С. 62). См. о нем заметку Л.И. Михайлова: Литературный Санкт-Петербург. XX век: Энциклопедический словарь. В 3 тт. Т. 2. СПб., 2015. С. 628. Николай Иванович Котов из Петродворца 17 сентября 1965 года писал, что собрал почти все стихи Мандельштама, читал книжку Л. Страховского «Ремесленники слова» и собирает материалы по Гумилеву и Ходасевичу (ОР РНБ. Ф. 1073. № 1191). По стране ходили перепечатки, напр.: Гумилев Н. Стихи из сборников. В 3-х кн. Новосибирск, 1965 (Архив Геннадия Михайловича Абольянина в фонде культурного центра «Дом Цветаевой» Новосибирской государственной областной научной библиотеки).

88 Латманизов М.В. Разговоры с Ахматовой. С. 85; См. об этой затее запись П.Н. Лукницкого: Полян П., Нерлер П. Летописец: К 100-летию П.Н. Лукницкого // Русская литература. 2000. № 4. С. 191–192; ср.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3: 1963–1966. М, 1997. С. 192, 235. Пять лет спустя В. Гольцев прислал Твардовскому эту «статью о Гумилеве, критикующую американское издание его сочинений (при отсутствии дурного или хорошего у нас). Статья была затеяна при Аджубее и не успела появиться» (Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2004. № 10. С. 141).

89 Шкловский И. Эшелон: невыдуманные рассказы. С. 123–124; тень — Н.С. Хрущев.

90 ОР РНБ. Ф. 1073. № 1656.

- 91 Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 645. Ср. письмо А. Рогинского Г. Суперфину 13 апреля 1966 года о Ю. Оксмане: «Еще, может, в Тарту прочтет доклад про гибель Гумилева, где будет говорить, что королевство таким всегда и было».
- 92 *Тименчик Р.Д.* Последний поэт. Т. 1. С. 401–402.
- 93 *Одоевцева И.* На берегах Невы // Русская мысль. 1964. 15 октября.
- 94 В рецензии на его сборник «Пересечение параллельных» (Париж, 1965) Ю. Терапиано писал: «сборник стихотворений П. Дубровского полон эпитафий почти над каждым стихотворением, от Пушкина, Лермонтова и Блока до Браславского, что свидетельствует о некоторой претенциозности. Претенциозно и обращение к Сергею Есенину “дорогой Сережа”, <...> а тем более такое утверждение:

Я никому не подражал  
За исключением Сережи,  
Самоуверенность я взял  
И скромность у него же...

Самоуверенность П. Дубровский действительно проявляет повсюду, а также и рассудительность, от этой рассудительности просто некуда деваться, и это, к сожалению, портит многие стихи сборника» (*Терапиано Ю.* Новые книги // Русская мысль. 1968. 4 января). О Павле Алексеевиче Дубровском см.: *Степанов Е.Е.* Поэт на войне. С. 524, 577, 795.

- 95 *Синявский А.Д.* Гумилев, Николай Степанович // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1964. С. 444.
- 96 *Меньшутин А., Синявский А.* Поэзия первых лет революции, 1917–1920. М., 1964. С. 79–80, 87.
- 97 Русская мысль. 1990. 2 ноября. Литературное приложение № 11.
- 98 «9-го марта к 6 часам вечера я был в соборе. Шла обычная служба по случаю великого поста, молящихся было много, и, конечно, никому из них не было дела до умершей поэтессы. А гроб ее, открытый, в цветах, уже стоял в правой полуосвещенной стороне храма, и около него уже стояло в скорбном молчании несколько десятков человек. Эти первые минуты оставили особенно сильное впечатление. Я стоял в двух шагах от гроба и долго смотрел на красивое, неискаженное смертью, скорбное лицо с весьма характерным профилем, сразу же напомнившим прекрасный портрет работы Н. Альтмана. При жизни мне ни разу не пришлось увидеть Ахматову, и это было первое мое свидание с ней...

Сразу же была отслужена панихида, через час — вторая.

После первой панихиды прошел сквозь толпу и стал у гроба

Лев Николаевич Гумилев — среднего роста, средних лет, с заметно седеющими волосами, с чертами лица очень похожими на мать...

Ко второй панихиде было уже порядочно народу, хотя никаких сообщений не делалось.

На следующий день, к 11 часам, я снова был в соборе. Шла обычная служба. Теперь гроб стоял в центре собора, перед алтарем.

Народу было уже так много, что пробраться к гробу было трудно. Так же стоял у гроба Гумилев. Братьев-писателей никого не было, а если кто и был из малоизвестных, то держались в стороне. Через каких-нибудь полчаса собор был до отказа наполнен людьми, так что трудно было повернуться. Народ стоял на улице, у входа. И что это был за народ! — Почти исключительно молодежь, студенчество» (Выдержки из писем о похоронах Анны Ахматовой // Вестник русского студенческого христианского движения. 1966. № 80. С. 50–51; *Ахматова А.* Сочинения. Т. II. [Мюнхен], 1968. С. 351–352).

99 *Корсунов Н.Ф.* С Шолоховым... Встречи. Беседы. Переписка. Оренбург, 2000. С. 71.

100 Записные книжки Анны Ахматовой. С. 678.

101 *Бэлза И.Ф.* Данте и славяне // Данте и славяне: Сб. статей под общей ред. Игоря Бэлзы. М., 1965. С. 41–42.

102 *Толмачев М.В.* Бутылка в море: Страницы литературы и искусства. М., 2002. С. 44–45.

103 Из читателей, приобретенных им в этом году, назовем одного: «Однажды Б. Ахмадулина читала стихи в Музее Изобразительных Искусств им. Пушкина. Там есть такой лекционный зальчик. После чего к ней подошел какой-то неизвестный старик и подарил ей бежевую папку с широкими тесемками. А она подарила эту папку мне. Я развязал тесемки. Там на первой странице было написано: “Н. Гумилев. Избранные стихи из разных книг”. Толстая пачка машинописи. Хорошая белая бумага. Первый экземпляр. Я никогда не слышал про такого поэта. Раскрыл наугад посередине.

И прочитал:

“Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв...”

На всякий случай я захлопнул папку.

Посидел минуты три. Раскрыл снова. И увидел:

“Созидающий башню сорвется,

Будет страшен стремительный лёт,



И на дне мирового колодца  
 Он безумство свое проклянет...”  
 Я помотал головой. И в третий раз раскрыл наугад:  
 “Милый мальчик, ты так весел, так нежна твоя улыбка,  
 Не проси об этом счастье, изменяющем миры.  
 Ты не знаешь, ты не знаешь, что за чудо эта скрипка,  
 Что такое темный ужас зачинателя игры...”

<...> Я узнал, что он был расстрелян в 1921 году. Об этом было написано в Лит. Энциклопедии. Автором энциклопедической статьи был Андрей Синявский. Которого совсем недавно посадили за антисоветскую клевету. Все сплелось в общий узел.

Я читал Гумилева у костра ребятам. Меня слушали полчаса, час, полтора. И так по несколько раз. Мои товарищи учили Гумилева со слуха. С моих слов. Я знал наизусть — и до сей поры помню — двадцать, наверное, его стихотворений. И столько же — в кусках и отрывках» (*Драгунский Д.* Нет такого слова. М., 2009. С 147–149).

- 104 РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 204. Л. 24 (XXIII съезд КПСС проходил с 29 марта по 8 апреля 1966 года).
- 105 *Фрезинский Б.* Судьбы Серапионов (Портреты и сюжеты). СПб., 2003. С. 375.
- 106 К моим читателям // *Полонская Е.* Избранное. М.;Л., 1966. С. 8; в литературный паспорт Е. Полонской акмеизм был вписан в 1920-х: «Так называемая “петербургская школа” поэтов — наследники акмеистов — все более теряет свои специфические особенности формы, а в отношении тематики и Всеволод Рождественский, и Елизавета Полонская давно ушли от своих бывших учителей» (*Оксенов И.* Ленинградские поэты // Красная газета. Веч. вып. 26 ноября).
- 107 *Эфрон А.* «Моей зимы снега...»: воспоминания, рассказы, письма, стихи, рисунки. М., 2005. С. 782.
- 108 *Орлов В.* На рубеже двух веков: Из истории поэзии начала нашего века // Вопросы литературы. 1966. № 10. С. 130, 132–133.
- 109 РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 65. Л. 320б; ср. в последующем письме от 3 мая 1969-го: «Бог мой, что творится с Мандельштамом!!! За что на него такие гонения? — Когда-нибудь расскажешь» (*Там же.* Л. 111).
- 110 *Огрызко В.* На фоне процесса над Синявским // Литературная Россия. 2015. 27 марта. Появление имени «Городецкого» — видимо, ослышка информатора. Разве что кто-то попался на переписывании текстов песен Александра Городницкого?

- 111 Из стихотворения Н. Моршена о «единоверцах», преданных Гумилеву. См. подробнее об этом стихотворении: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 538–540, 587. Ср. также: «Думаю, что можно смело утверждать, что стихи Моршена чрезвычайно понравились бы Гумилеву. Это и не удивительно, ведь как В. Марков правильно замечает, Моршен многому научился у “точнословной музыки царскосельского метра русской поэзии XX века, все еще негласно царящего в России”. Но — и это особенно оценил бы Гумилев — Моршен сумел сохранить всю свою самобытность и оригинальность, избежать соблазна не только подражания, но даже формального влияния метра, которого чтит превыше всего и по запретным строкам которого, как по масонскому перстню, —

...друг друга узнают

В моей стране единоверцы.

Примером крайней самобытности и самостоятельности Моршена может служить его стихотворение “На Первомайской жду трамвая”, перекликающееся с “Заблудившимся трамваем” Гумилева. Ведь оба трамвая — и гумилевский и моршевский — нереальны. Но тогда как трамвай Гумилева странствует по фантастической многопланности пространства, времени и переселения душ, трамвай Моршена увозит по рельсам дурного сна к самому реальному ужасу “закона об опоздании”.

Всем шепчет серое пальто:

— Ты, вы, они, мы опоздали, —

к ужасу, от которого Моршен, “мыча, как раненый глухонемой”, просыпается не в фантастическом, а в реальном, трехмерном “Страшном Мире”» (*Одоевцева И.* О Николае Моршене // *Новый журнал.* 1959. № 58. С. 118–119). Возможно, откликом на эту рецензию являются слова Ю.Терапиано в письме к В.Ф. Маркову от 24 июня 1959-го: «в общем он вполне заслуживает похвал — и серьезных похвал. Думаю, что и с Гумилевым он не в столь уж близком родстве, Гумилев “метафизичнее”, т.е. многопланнее его, духовнее, а у Моршена больше “terre à terre”, но зато он имеет больше иррациональной поэтической прелести (прирожденной, “Богом данной”), чем Гумилев» («Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и прим. О.А. Коростелева. М., 2008. С. 299). См. цитируемое стихотворение:

На Первомайской жду трамвая.

Вокзал гудит передо мной.

Калека-нищий, завывая,  
Сидит у самой мостовой.

Трамвай подходит, но не мой.

Идет безбровый и прыщавый  
Полудешевой пудры слой,  
А рядом чубчик кучерявый  
И зуб с коронкой золотой.

Трамвай подходит, но не мой.

Платочек в серенький горошек  
Людской выносится волной  
И, пометавшись у подножек,  
Вдруг исчезает на одной.

Трамвай подходит, но не мой.

Тень на сугробе под часами  
В высокой шапке меховой.  
Она с другими голосами  
Смеется за моей спиной.

Который час? Уже восьмой.

Гудят заводы. На вокзале  
Всем шепчет серое пальто:  
«Ты, вы, они, мы опоздали!»,  
И, глядя с ужасом на то,  
Как ужас искажает лики,  
Которых нет передо мной,  
Я вдруг мычу нелепым криком,  
Как раненый глухонемой,

И просыпаюсь. Боже мой!

- 112 Струве Г. Советский поэт о Гумилеве // Русская мысль. 1967. 18 марта. Татьяна Григорьевна Гнедич (1907–1976) в 1944-м была арестована, приговорена к 10 годам лагерей; в 1956-м реабилитирована. Перевела в заключении байроновского «Дон-Жуана». Как вспоминал В.П. Бетаки, «Т.Г. сделала все, от нее зависевшее, чтобы пробить полного Байрона, она даже поехала на

прием к всеильному тогда Суркову и взяла с собой меня, как сказала, “для храбрости”. Сурков не стал, как мелкие издательские сошки, ссылаться на нехватку в стране бумаги, а прямо заявил: “Байрона полностью издавать не будем. Идеологически неподходящий момент”. “Но все равно есть ведь старые издания, — возразила Т.Г., — прежде всего венгеровское!” “Ну это нас не беспокоит, — цинично усмехнулся Сурков — мало экземпляров сохранилось, да и в таких переводах, что никто не читает, только держат на полках из-за золотого обреза и тиснения. А Байрона пропагандировать не стоит: он все же изменник родины”» (*Бетаки В. Снова Казанова (Мее...! МУУУ...! А? РРРЫ!!!)*. München, 2011. С. 194).

- 113 *Колкер Ю.* Подвиг в шоколаде // Нева. 2007. № 1. С. 248.
- 114 *Усова Г.* И Байрона в соавторы возьму: книга о Татьяне Григорьевне Гнедич. СПб., 2012. С. 183–184.
- 115 *Гнедич Т.* Этюды и сонеты. Л., 1976. С. 24. О гнедичевских разговорах о Гумилеве см. запись 1938 года: «Июль, 5-го, вторник. Город Пушкин. Дождь. Аллеи Александровского парка. Гнедич. Розовое варьете. Разговоры о Гумилеве, о Мартине Лютере, об итальянском Возрождении и о мистификации» (*Островская С.К.* Дневник / Вступит. ст. Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и комм. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. М., 2013. С. 213), а также запись о разговорах с Гнедич во время артобстрела 18 июля 1943-го: «За два года войны не было еще такого обстрела (я говорю о нашем районе) по длительности и по силе: все кончилось около 7 часов вечера. И за два года войны я не знала такого физического смятения при спокойной и нормальной работе рассудка. Тело кричало от страха, томления, ужаса перед ежеминутной возможностью гибели. Мозг слушал стихи Шиллера и рассуждал об эллинстве, об отростках эллинского элемента в русских поэтах — легкие отцветы эллинизма в Пушкине, несомненные (мужественные и свободные от греха и грешной чувственности) в Гумилеве, безусловные (ибо “meine Freude schaute sich nicht der Gott” [на мою радость смотрел не Бог]) в Кузмине и странные по вероятностям создания русского вида эллинства в Есенине» (*Там же.* С. 432).
- 116 *Вейдле В.* Наследие России // Воздушные пути. Альманах V. 1967. С. 124; при перепечатке в сборнике статей Вейдле обострил формулировку «собираются читателю всех в одной миске и каждого по столовой ложке выдать к празднику. Выдадут ли еще? Неизвестно» (*Вейдле В.* Безымянная страна. Paris, 1968. С. 41). В том же «юбилейном» году Нина Берберова писала:

- «И наконец что будет с нереабилитированными, которых невозможно вычеркнуть из истории русской литературы, имена которых изредка упоминаются в печати, но произведения которых не переиздаются: Гумилев, Замятин, Клюев, Иванов-Разумник?» (*Берберова Н.* Советская критика сегодня // Новый журнал. 1967. № 86. С. 106).
- 117 См. запись в дневнике А.К. Гладкова о встрече в Доме творчества писателей в Комарове 1 марта 1967-го: «...вижу в холле внизу курящих [М.Л.] Слонимского и Орлова. Подхожу, и Орлов сам просит нас познакомиться, назвав меня по имени-отчеству. Сидим еще с полчаса. Забавные анекдоты о Лавреневе и рассказы о Гумилеве. Лев Никулин пишет роман о Чека и ему дали для ознакомления “дело Гумилева”» (Новый мир. 2015. № 5. С. 153).
- 118 См. запись в дневнике А.К. Гладкова: «В “Лит.газете” в публикации Орлова — стихи Кузмина, Волошина, Сологуба и даже Гумилева» (Новый мир. 2015. № 5. С. 155).
- 119 *Струве Г.* Гумилев в «Литературной газете» // Русская мысль. 1967. 9 мая.
- 120 Аполлон. 1911. № 7. С. 76. См. новейшую работу в манере т.н. постколониальной теории: *Walker G.* Songs of Africa: The Native Voice in Four Poems by Nikolai Gumilev // *Ulbandus Review*. Vol. 7: Empire, Union, Center, Satellite: The Place of Post-Colonial Theory in Slavic/Central and Eastern European/(Post-)Soviet Studies (2003). P. 73–106. Советское социологическое литературоведение решило этот вопрос еще в 1920-е: «Кем-то из критиков высказано вздорное утверждение о том, что экзотика Гумилева — уход от реальной жизни. Наоборот, именно экзотика Гумилева подтверждает мое мнение о том, что Гумилев был подлинным поэтом поднимающейся буржуазии, если организационно с буржуазной общественностью и не связанным, то психологически отражающим ее тенденции. <...> Гумилев был подлинно колониальным поэтом, но он воспевал не поднимающихся к великим социальным боям будущего колоний, он был поэтом агрессивного капитализма, перерастающего в империализм. Философское возвеличение войны, данное Гумилевым, лишний раз подчеркивает эту мою мысль.

Некоторые остряки, прочитав мою статью об акмеизме, усиленно доказывали, что стихи о том, как

На озере Чад  
Изысканный бродит жираф...

и др. никак не оправдывают моего положения о социальной природе творчества Гумилева. К их сведению сообщаю, что, во-первых, в творчестве Гумилева был значительный декадентский период, а во-вторых, что поэту любой эпохи могут быть свойственны самые разнообразные эмоции и что в учете социального лица писателя решающую роль играют не отдельные произведения, а общие тенденции развития, роста, мирозерцания и творческого метода» (*Саянов В.* Очерки по истории русской поэзии XX века. Л., 1929. С. 76).

- 121 Из переписки с Россией // Грани. 1967. № 65. С. 216.
- 122 Об отношении юного Николая Чуковского к Гумилеву см.: *Тименчик Р.Д.* Подземные классики. С. 547–548.
- 123 Новый мир. 1967. № 2. С. 231–232; в журнале не была напечатана последняя фраза соответствующей главки: «Помню, как я в тот день говорил с детской опрометчивостью, что лучше бы уж умер Гумилев, чем Блок».
- 124 *Слизской А.* Новый мир. № 2 // Русская мысль. 1967. 23 мая.
- 125 См. воспоминания Н.С. Войтинской-Савельевой о Гумилеве периода работы над этим портретом: «Он готовился быть мэтром. Он благоговел перед поэзией Вячеслава Иванова гораздо больше, чем перед поэзией Брюсова. В смысле поэзии считал меня варваром. Живописью совершенно не интересовался, французской — немного. Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все — только для поэзии. Он любил экзотику. Я экзотики не любила, и он находил это непростительным и диким <...> Он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности. Было его стихотворение о Даме, и он меня всегда называл “Дамой”. Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра. Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя, в талию, “а-ля Пушкин”, пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед... “Вот, рыцарь, достаньте эту штуку”. Лед подломился, и он попал в холодную воду в хороших ботинках. <...> я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно. Очень сильная мимика рта, глаза полузакрыты, сильно паль-

- цами двигал, у него были длинные выразительные руки. В его репертуаре громадную роль играло самоубийство: “Вы можете потребовать, чтоб я покончил самоубийством” была мелочь...» (*Лукницкая В.К.* Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 101–102).
- 126 *Е.С. Кругликова*: Каталог выставки к 100-летию со дня рождения / Сост. В.А. Наумов. Л., 1966; там были выставлены силуэтные Мандельштам, Георгий Иванов, В. Ходасевич в 1916 году. Об истории гумилевского силуэта см.: *Степанов Е.Е.* Поэт на войне. С. 721.
- 127 *Русский эстамп конца XIX — нач. XX в.* / Сост. С.С. Шерман и Е.Ф. Ковтун. Л., 1967. С. 28; правда, назван он «Николаем Семеновичем» (С. 27).
- 128 *Демидова О.* Войтинская Н.С. 1886–1965 // *Литературный Санкт-Петербург. XX век: Энциклопедический словарь.* В 3 тт. Т. 1. СПб., 2015. С. 436.
- 129 *Воспоминания С.А. Ауслендера о Гумилеве, записанные Л.В. Горнунгом* (публ. К.М. Поливанова), см.: *Панорама искусств.* Вып. 11. 1988. С. 197–202.
- 130 См.: *Материалы для биографии Н. Гумилева* / Публ. и комм. Е. Вагина // *Russica-81: Литературный сборник.* New York, 1982. С. 361–378; *Вагин Е.* Поэтическая судьба и миропереживание Н. Гумилева // *Беседа* (Париж). 1986. № 4. С. 172–190; Н.С. Гумилев: pro et contra. СПб., 2000. С. 592–603.
- 131 *Бородин Л.* Без выбора: Автобиографическое повествование. М., 2003. С. 122.
- 132 *Беседа обозревателя Радио «Свобода» Кирилла Хенкина и недавнего эмигранта Евгения Вагина.* Мюнхенская студия, запись 17 декабря 1976 года.
- 133 *Шаповалов М.* Статьи. Литературные силуэты. Подольск, 2009. С. 84; посмертная подборка стихотворений Бориса Копчикова — в сборнике четырех авторов «Побратимы Икара» (М., 1983).
- 134 *Терапиано Ю.* О поэзии Д. Семеновского // *Русская мысль.* 1968. 23 мая.
- 135 *Григорий Валерианович Месняев (1892–1967)* — доброволец офицерского Марковского полка, последующие годы прожил в СССР, во время войны ушел с немцами из Ростова. Автор биографической повести о Гумилеве. См. образчик ее:  
 «Уроки кончены. Обычный, уже надоевший, путь из гимназии. Сырой мартовский день, тает, звонко бьются, падая с

крыш, ледяные сосульки. Обычная, жданная встреча с высокой, смуглой, худенькой и угловатой гимназисткой. Это Анна Андреевна Горенко. Форменное коричневое платье, форменная барашковая шапочка с серебряным гимназическим гербом, книги, тетради и пенал в ремнях, запачканные чернилами пальцы прячутся в пушистой муфте. Все милое, трогательное.

Разговор о поэзии и о житейских пустяках, о гимназических делах и событиях. О другом, о самом главном, что понемногу начинает волновать обоих, еще не говорится. Застенчивость, неловкость в каждом движении, в каждом слове.

Хотя, по законам дэндизма и русского печоринства, Гумилев должен в своих отношениях к женщине сохранять оттенок мужского превосходства, даже пренебрежения, холодности и властности, это ему пока удастся плохо, хотя он к этому всячески и стремится. К ее стихам — Анна Горенко тоже пишет стихи — он, следуя тому же печоринскому правилу, относится свысока, снисходительно. Они, эти стихи, неплохи — думает он — они не шаблонны. Мало того, в них есть нечто, чего не достаёт ему самому, чему можно позавидовать: какая-то чарующая разговорная простота, душевность, свежесть» (*Месняев Г. В панцире железном // Возрождение. 1961. № 118. С. 33–34.*)

- 136 *Терапиано Ю.* На берегах Невы // Русская мысль. 1968. 1 февраля.
- 137 *Адамович Г.* Мечты и жизнь (о книге И. Одоевцевой) // Новое русское слово. 1968. 14 апреля.
- 138 РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 65. Л. 116.
- 139 *Бородин Л.* Без выбора: Автобиографическое повествование. М., 2003. С. 122–124; в лагере находился и А. Петров-Агатов, который претворил легенду всхоновцев о палаше Гумилева в небольшой силы стихотворение: «Давно за Россию расстрелян поэт, / И скомкано русское слово. / Но жив и пылает во тьме, как Рассвет, / Гусарский палаш Гумилева» (Посев. 1971. № 5. С. 54).
- 140 *Бородин Л.* Без выбора. С. 114–115; стихотворение на самом деле принадлежит Н. Агнивцеву.
- 141 *Эткинд Е.* Записки незаговорщика; Барселонская проза. СПб, 2001. С. 164–165; насчет синдиков Цеха поэтов Е.Г. Эткинд, строго говоря, неправ: Д.К. Кузьмина-Караваева иногда именовали одним из трех синдиков.
- 142 *Чуковская Л.* Собр. соч. [Т. 12:] «Дневник — большое подспорье» / Сост., комм. Е.Ц. Чуковской. М., 2015. С. 229.



- 143 *Ефимов Е.* «Большая ответственность: не создавать легенд»: К.И. Чуковский и Л.К. Чуковская о кн. Е. Добиная «Поэзия Анны Ахматовой» // Вопросы литературы. 2001. № 6. С. 261; Василий Сергеевич Толстиков (1917–2003) — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (до 1970-го).
- 144 *Slavia orientalis.* 1971. № 1. S. 90–91.
- 145 Мнение о том, что стихотворение, приписываемое Гумилеву и якобы написанное им в тюрьме, принадлежит С.А. Колбасьеву, было высказано М. Эльзоном (*Эльзон М.Д.* О герое стихотворения «В час вечерний, в час заката...» // Русская литература. 2000. № 4. С. 150–153), но пока не представляется доказанным. Стихотворение это появилось в самиздате в 1960-х — см., напр., рассказ о 1965 году, будто в Ленинграде есть дом, где могут показать одно стихотворение Гумилева (*Халиф А. ЦДЛ. Los Angeles.* 1979. С. 96). Ср.: «Помню, последний наш разговор о Гумилеве был связан с тем, что кто-то принес Ахматовой стихи, которые якобы были написаны Николаем Степановичем в камере. И мы гадали — подлинные это стихи или нет» (*Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 250). Ср. свидетельство Леонида Бородин: «...когда лязгает замок дальней двери, я уже хожу по камере и читаю шепотом (вслух больновато) стих Гумилева, который будто бы написан им в камере перед расстрелом. Доказательств тому нет, и если подделка, то талантливая. <...> Как и прежде, как в молодости, Гумилев действует на меня гипнотически. Мне не холодно, не больно, не одиноко. И я до ужина топаю по камере и шепотом читаю Гумилева — все, что помню» (*Бородин Л.* Без выбора. Автобиографическое повествование. С. 302). В 1970-м это стихотворение было напечатано Никитой Струве в «Вестнике русского христианского движения» и возникла дискуссия (см. Приложение). См. также запись разговора с Ахматовой 21 августа 1961 года:

«Я. Слышали ли вы, что Николай Степанович написал в тюрьме поэму, и где может быть рукопись?

А.А. Вероятно, вранье. Я об этом не слыхала. Он был арестован 3 августа и расстрелян 25 августа. За это время им было послано три открытки: одна Вольфсону, кажется, с просьбой получить или выдать деньги и две открытки Анне Николаевне Гумилевой. В одной из открыток Гумилев сообщает, что написал два стихотворения» (*Лесман М.* Она приглашает меня к себе... // Искусство Ленинграда. 1989. № 5. С. 69).

- 146 Чуковская Л. Собр. соч. [Т. 12:] «Дневник — большое подспорье». С. 226–227.
- 147 Реальный источник этого фантастического слуха еще предстоит установить. Отметим, что в гумилевиане подобные утверждения уже встречались. Н.Н. Брешко-Брешковский, например, пересказывал статью А.Н. Неваховича (возможно, не напечатанную, а возможно, что и написанную): «Целая фаланга опытных разведчиков брошена была и на западный фронт к союзникам, и на турецкий, и на Балканы. В числе их командирован был во Францию и Салоники с целым рядом секретных и важных поручений и молодой кавалерийский прапорщик Гумилев. Те, кто его посылали, знали, что делают. Этот прапорщик совмещал в себе редко совместимое: наблюдательный и гибкий ум, любовь к сильным ощущениям, пламенный патриотизм, неисчерпаемую отвагу и писательский талант. Только теперь стало известно, как блестяще выполнил Гумилев первую часть возложенных на него задач. Приход большевиков к власти застал Гумилева в Париже. Русские вышли из игры, и служебная поездка Гумилева на Балканы сама собою отпала. Английское командование на западном фронте, успевшее оценить и по-своему полюбить Гумилева, предложило ему на выбор три комбинации. Первое — окончательно перейти в Интеллидженс Сервис и уехать на Месопотамский фронт, куда его звал усиленно Лоуренс Аравийский, много о нем наслышанный. Второе — отправиться в одну из белых армий при английском штабе по разведке и контрразведке. Третье — самое жуткое — вернуться в Россию для взрыва большевиков изнутри. Гумилев, как и следовало ожидать, остановился на третьем предложении» (*Матад'ор* [Брешко-Брешковский Н.Н.]. Парижские огни // Для вас (Рига). 1936. № 21. С. 17; *Тименчик Р.* По делу № 214224 // Даугава. 1990. № 8. С. 117).
- 148 РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 65. Л. 103.
- 149 Заявление на имя Генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко (1907–1981) с просьбой рассмотреть дело Н.С. Гумилева и определить возможность его реабилитации в феврале 1968-го подписали вместе с П.Н. Лукницким писатель Владимир Беляев (1909–1990), ценимый службой госбезопасности, и зав. кафедрой советской литературы Литературного института им. Горького Валерий Павлович Друзин (1903–1980). Дело Н. Гумилева изучалось первым заместителем Генерального прокурора М.П. Маляровым. «Результаты рассмотрения —

- в принципе благоприятные, — записал П.Н. Лукницкий, — не были, однако, практически реализованы» (*Лукницкая В.К.* Любownik. Рыцарь. Летописец: Еще три сенсации из Серебряного века. СПб., 2005. С. 340).
- 150 *Артемова Г.* Мне всегда везет: Мемуары счастливой женщины. М., 2013. С. 296.
- 151 Понятным образом в воспоминаниях Эмилия Миндлина «Необыкновенные собеседники» (М., 1968) не дошел до тиснения абзац: «Когда, прочтя в газете, наклеенной на забор о расстреле Н.С. Гумилева, “филолога”, я прибежал с этой вестью к Марине, она сначала молча поникла головой, стала курить папиросу за папиросой, а потом заговорила, но не о Гумилеве, а об Ахматовой. Ей за Ахматову было страшно» (РГАЛИ. Ф. 2552. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л. 83об).
- 152 *Арусинов П.* Пустой вечер: Судебный очерк // Московский комсомолец. 1979. 19 мая (очерк об убийстве кенгуру в зоопарке).
- 153 *Галинский А.* Мгновение, остановись! // Советская культура. 1969. 4 марта. Аркадий Романович Галинский (1922–1996) — спортивный журналист. Олег Алексеевич Протопопов (р. 1932) — пасынок Дмитрия Цензора, с которым литературная жизнь сталкивала Гумилева, чьи письма к нему см.: *Гумилев Н.С.* Т. 8. М., 2007. С. 178, 190–192 — последнее с явно неверной датировкой). Ср. также:
- «А. Блок особенно принял к сердцу судьбу моей книги, долго говорил со мной.
- Издать вас необходимо — я говорю об этом в рецензии. И считаю нужным совсем отклонить рекомендуемых Гумилевым Георгия Иванова и других эпигонствующих, совершенно опустошенных, хотя и одаренных поэтов. У них ничего нет за душой и не о чем сказать» (*Цензор Д.* Воспоминания об Александре Блоке // Ленинград. 1946. № 5. С. 19).
- 154 *Полещук А.* Эффект бешеного солнца // Альманах научной фантастики. Вып. 8. М., 1970. С. 81; Александр Лазаревич Полещук (1923–1979) — писатель-фантаст, преподаватель физики; заметим, что распределение неназванных авторов русского модернизма в цитатах из уст положительных и отрицательных героев в произведениях, рисующих жизнь в ее революционном развитии, может стать темой отдельной таблицы. В позднем романе Льва Никулина беспринципный журналист на прогулке по Петербургу в 1913 году: «Ну где ты такую красоту видел. “А над Невой посольства полумира, Адмиралтейство, солнце,

тишина...” Знакомый поэт сочинил!», а артист-богема (списанный с Н.Н. Ходотова) в 1916 году «смахнул бокал со стола и со слезами в голосе закричал:

— Рабы! Все рабы! Рабы были и есть! — И откинувшись на спинку дивана, с пьяным пафосом прочитал:

А что было у нас на земле?

Чем вознесся орел наш двуглавый!...»

(Никулин А. Московские зори. М., 1975. С. 90, 235).

- 155 См.: *Суперфин Г., Тименчик Р.* Письма А.А. Ахматовой к В.Я. Брюсову // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Вып. 33. М., 1972. С. 272–279. Полный бесцензурный вариант: *A propos de deux lettres de A.A. Ahmatova à V. Brjusov // Cahiers du Monde russe et soviétique (Paris). Vol. 15. 1974. № 1–2. P. 183–200.* П.Н. Лукницкий, поблагодарив меня открыткой за поднесенную публикацию, спросил, что значат отточия в приведенном там письме Ахматовой к И.М. Брюсовой от 3 мая 1925 года: «Многоуважаемая Иоанна Матвеевна, из письма Г.А. Шенгели к М. Шкапской я узнала, что Вы разрешили ... Лукницкому, снять копии с писем Н.С. к В.Я. Брюсову». Отточия означали слова: «биографу Н. Гумилева».
- 156 *Чудакова М.* После утопии: Как мы писали и публиковали в советской печати 1960–80-х годов и как говорили об этом с властью (Материалы к теме «Тоталитаризм в России XX века») // *Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана.* М., 2010. С. 624, 633–634.
- 157 *Шаховская З.* О Гумилеве // *Русская мысль.* 1971. 23 сентября. Цитата из «Осенней песни» (1906). Робер Бразильяк (1909–1945), издатель и главный редактор профашистской газеты «*Je Suis Partout*», расстрелян. В. Рудинский, которому, возможно, вообще претила биография З. Шаховской (княжна участвовала во французском и бельгийском Сопротивлении), касаясь чувствительной для него темы Гумилева, размашисто обличал: «Шаховская глумилась над целомудренной (как смешно!) русской литературой и покушалась развенчать Пушкина; поклепы на Гумилева, на Цветаеву лились волнами. Подстать и язык всего печатного органа, поистине четверть-русский (как говаривал Денис Давыдов): совмещающий забавный франко-русский жаргон со всеми прелестями советского канцелярита» (*Рудинский В.* Обзор зарубежной печати // *Голос Зарубежья.* 1983. № 31. С. 44).

- 158 *Гладков А.* Дневниковые записи. 1972 год // *Знамя.* 2016. № 3. С. 164.
- 159 *Балезин А.С.* «Изысканный жираф» в перекрестье «Россия-Африка» // *Восток = Orients,* 1993. № 4. С. 198 (Рец. на кн.: *Давидсон А.Б.* Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992).
- 160 *Чупринин С.* Из твердого камня: Судьба и стихи Николая Гумилева // *Октябрь.* 1989. № 3. С. 201.
- 161 *Келдыш В.* Уроки ученого // *Тагер Е.Б.* Избранные работы о литературе. М., 1988. С. 15 (речь идет об издании: *Русская литература конца XIX — начала XX в. (1908–1917 гг.).* М., 1972).
- 162 *Тагер Е.Б.* Избранные работы о литературе. С. 424–426.
- 163 *Орлов В.* Перепутья: из истории русской поэзии начала XX века. М., 1976. С. 117–127.
- 164 *Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., авторы комм. Ю.В. Зобнин, В.П. Петрановский, А.К. Станюкович. Л., 1991. С. 173–174.*
- 165 *Лермонтовская энциклопедия.* М., 1981. С. 123; к отголоскам тихоновского прорыва, возможно, относится и снисходительность редакторов к перечислению у Д. Молдавского в статье о Вс. Рождественском: «Как высоко ценил он мастерство Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, как восхищался переводами Верлена, сделанными Ф. Сологубом» (*Молдавский Д.* Притяжение сказки // *Звезда.* 1979. № 11. С. 161).
- 166 *Лазарев В.* Времена жизни: Отрывки из мемуаров // *Новый журнал.* 2010. № 261. С. 170.
- 167 *Озеров Л.А.* Николай Гумилев. Его жизнь и сочинения // *Гумилев Н.С.* «Когда я был влюблен...»: Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избранная проза. М., 1994. С. 6.
- 168 *Бахрах А.* Гумилев и его письма // *Новое русское слово.* 1980. 7 сентября.
- 169 Впрочем, статья пишущего эти строки «Блок и Цех поэтов» была редакцией отвергнута как недостаточно солидаризирующаяся с позицией Блока по отношению к акмеистам, и фактографический материал из нее рассеян по комментариям в разных книгах этого пятикнижия.
- 170 *Исторический сборник «Память»: Исследования и материалы / Сост., комм.: Б. Мартин, А. Свешников. М., 2017. С. 367.*
- 171 *Григорян В.* Поэт-монархист Николай Браун: Тюрьмы и встречи «старого русского» (<http://vera.mrezha.ru/452/5.htm>).
- 172 Сообщено Б.А. Равдиным. О деле Л.А. Ладыженского и Ф.Я. Коровина см.: *Хроника текущих событий.* Вып. 34. 1974.

- 173 *Новодворская В.И.* Зарезанный за то, что был опасен // *Новодворская В.* Избранное. Т. III. М., 2015. С. 497.
- 174 Памятное слово о Гумилеве // Вече. 1971. № 3; Архив Самиздата. Собрание документов Самиздата (Мюнхен). Т. 21. № 1108. С. 68–72.
- 175 К истории Гумилевских чтений // Русская мысль. 1985. 7 марта.
- 176 *Рудинский В.* Обзор зарубежной печати // Голос Зарубежья. 1986. №42. С. 43.
- 177 Расшифровка программы Радио «Свобода»: Поверх барьеров с Иваном Толстым. Николай Гумилев: к 90-летию гибели поэта (30 августа 2011 года).
- 178 *Громова Н.* Именной указатель // Знамя. 2017. № 6. С. 61–62. Нашу статью о Гумилеве см.: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 53–57.
- 179 О закулисной истории этого номера рассказал составитель (совместно с Н.П. Колосовой) подборки стихов Гумилева Владимир Енишерлов: «В то время в Главлите (цензуре) заместителем начальника работал неординарный и порядочный человек В.А. Солодин. Он любил и знал русскую поэзию и иногда помогал появлению в “Огоньке” сомнительных с точки зрения начальства публикаций. Будучи человеком опытным и информированным, именно он посоветовал за разрешением публикации стихотворений Гумилева обратиться с письмом, подписанным крупными учеными и писателями, к тогдашнему секретарю ЦК, ведавшему идеологией, А.Н. Яковлеву. Лишь его секретарское “добро” могло открыть двери Гумилеву и предопределить последующую благоприятную судьбу произведения поэта. Как раз в “Огоньке” освободили одиозного главного редактора А.В. Софронова, и в журнале временно установилось безвластие. Вся эпопея с публикацией Гумилева проходила до назначения на пост главного редактора В.А. Коротича, с чьим именем позже связывали взлет перестроенного “смелого” “Огонька”. Письмо о Гумилеве было достаточно быстро составлено. Его подписали Д.С. Лихачев, В.Г. Распутин, Е.А. Евтушенко, В.А. Каверин, И.С. Глазунов, И.С. Зильберштейн, И.В. Петрянов-Соколов» (*Енишерлов В.* Возвращение Николая Гумилева. 1986 год // Наше наследие. 2003. № 67–68. С. 86).
- 180 В эмиграции отнеслись к этим событиям настороженно: *Крейд В.* Калитка открылась со скрипом // Альманах Панорама Weekly (Лос-Анджелес). 1986. № 213. С. 28–29. См. также в Приложениях анкету «Реабилитированный Гумилев».



# **ПРИЛОЖЕНИЯ**





## Павел Шлейман

Н. Гумилев. Костер. Стихи. И-во Гиперборей. С.-Петербург. 1918.

Мастер стиха, суховатого, но твердого, как гранит норвежского фиорда, Гумилев радуется своей новой книжкой.

В ней собраны стихи, частью напечатанные в течение последних месяцев в разных журналах («Прапамять», «Я и вы», «Норвежские горы», «Творчество»), частью доселе неизвестные.

Нового к характеристике этого определившегося поэта «Костер» не прибавит: та же четкость линий, ясная скульптурность образов, скупость отточенного ценимого слова, производящего порой на мало знакомого с Гумилевым читателя впечатление холодной созерцательной души:

И вот вся жизнь: круженье, пенье,  
Моря, пустыни, города.  
Мелькающее отраженье  
Потерянного навсегда.

На самом же деле Гумилев в «Костре», как и прежде, остался все таким же конквистадором, вечным и неутомимым бунтовщиком, знающим одного Бога-Пана.

Земля, к чему шутить со мною:  
Одежды нищенские сбрось  
И стань, как ты и есть, звездой,  
Огнем пронизанной насквозь.  
(Природа).

Я за то и люблю затеи  
Грозовых военных забав,  
Что людская кровь не святее  
Изумрудного сока трав.  
(Детство).

Во всей книжке нет ничего лишнего, только один образ кажется неудачным:

Не по залам и по салонам,  
Темным платьям и пиджакам, —  
Я читаю стихи драконам,  
Водопадам и облакам.  
(«Я и Вы»).

Стихотворение испорчено этими риторическими «драконами».

Следует отметить насквозь блоковское стихотворение «О тебе», что любопытно в Гумилеве.

Звук замрет в задрожавшей трубе,  
Серафим пропадет в вышине...

эти строки как бы вырваны из Блока.

«Костер» еще раз доказывает, что центр тяжести в творчестве лежит не в том или ином литературном направлении, к которому примыкает поэт, и для чтения прекрасных стихов Гумилева нет необходимости знать об акмеизме.

Традиции и школы проходят, искусство же остается неизменным, требуя от своих жрецов только одного: окрыленного и сильного таланта.

*Новая Россия (Харьков). 1918. 26 декабря.*

### Александр Смирнов

Н. Гумилев. Фарфоровый павильон. Китайские стихи. С.-Петербург. Изд-во Гиперборей. 1918. Стр. 28. Ц. 3 р.

По сравнению со сборником «Костер» (1918), «Фарфоровый павильон» — безделушка, но безделушка, обличающая высокое мастерство и имеющая самостоятельную ценность.

Материал не оригинален: он почерпнут из французских собраний переводов и переложений китайских и индокитайских стихов — Ж. Готье, Юара и др. Задача поэта состояла исключительно в овладении и воспроизведении своеобразной

восточной формы и стиля. Необычайная простота (исключающая как сентиментальность, так и пафос), лапидарность и сухое изящество острой мысли, лаконизм выражения — вот главные свойства восточных 4 и 2-стиший. Не стремясь к точной передаче оттенков китайского стиля, но считаясь лишь с этими основными чертами его, Гумилев дал чрезвычайно удачный русский эквивалент его, в котором оказались сохраненными и многие черты индивидуального стиля автора:

Но Женщина в лодке скользнула  
Вторым отраженьем луны.  
И если она пожелает,  
И если позволит луна,  
Я дом себе новый построю  
В неведомом сердце ее.

Или:

Странник, далеко от родины,  
И без денег и без друзей,  
Ты не слышишь сладкой музыки  
Материнского языка.

Если вспомнить неловкости и шероховатости перевода «Эмалей и Камей» Т. Готье (1914), в котором Н. Гумилев ставил себе сходную задачу усвоения чужого стиля, станет ясным громадный шаг вперед в развитии его мастерства.

*Творчество (Харьков). 1919. № 1. С. 26.*

Н. Гумилев. Костер. Стихи. Изд-во Гиперборей. С.-Петербург. 1918. Стр. 43. Ц. 4 р. 50 к.

Гумилев-поэт раскрылся во всей своей поэтической силе за последние три года. Демонстративные дерзновения его ранних стихов превратились в смелые, уверенные достижения, жесткость стиха — в выразительную сухость, некоторая вычурность с оттенком манерности — в до конца созревшую, самобытную манеру. И очень далеким, устаревшим сейчас кажется то определение своего направления, которое поэт заявлял 3–4 года назад в своей проповеди «акмеизма». За это

последнее время, — перебрать былых «акмеистов», — ясно обнаружилась полная обособленность изумительного творчества Ахматовой, а также слабая связь, соединявшая с Гумилевым Георгия Иванова, Ю. <так> Адамовича и иных былых его сотоварищей. Гумилев остался один, и излишня для его поэзии какая бы то ни было кличка-лозунг, ибо дарование его велико своей чисто индивидуальной мощью.

Вместе с тем, выросло и признание и понимание поэзии Гумилева в широких кругах читателей. Она уже не требует защиты или толкования, ибо нашла справедливую оценку.

В одном отношении, однако, сохранился старый, ложный взгляд на поэзию Гумилева. Ее обычно считают холодной, лишенной лиризма и, с другой стороны, темперамента. В этом кроется недоразумение. В новейшей русской поэзии замечается определенная реакция против внешнего проявления «душевного жара», течение в сторону сдержанности, целомудрия в выражении горячего чувства. Последнее часто скрывается под внешним сухим, ледяным покровом. Но, если оно под ним действительно затаено, то, доходя до читателя, действует в некоторых отношениях сильнее и глубже, чем в случаях своего яркого внешнего выражения. Это — не искусственный прием для оживления притупленной чувствительности, но строгий и законный художественный прием одного из течений в современной поэтике.

Такова в высокой мере поэзия Гумилева. Яснее всего это обнаруживается в сборнике «Костер», стихи которого превосходят все, до сих пор написанное Гумилевым. Каждая строка полна редкой словесной силы, за которой ощущается напряженное, страстное чувство.

Сборник, более чем прежние стихи Гумилева, богат глубокими, часто-скорбными тонами:

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,  
Моря, пустыни, города,  
Мелькающее отраженье  
Потерянного навсегда.

(«Прапамять»).

Нередко встает образ, даже предчувствие, смерти, как в стихотворении «Рабочий»:

И Господь воздаст мне полной мерой  
За недолгий мой и горький век.  
Это сделал в блузе светло-серой  
Невысокий старый человек,

или в заключительном, почти мистическом, стихотворении «Эзбеки».

А рядом со смертью — любовь, для выражения которой Гумилев находит более приподнятый лирический тон. Таковы его три канцоны и 6–7 следующих стихотворений, образующие несомненный цикл:

Ты мне осталась одна. Наяву  
Видевший солнце ночное,  
Лишь для тебя на земле я живу,  
Делаю дело земное.

(Канцона первая).

Это — нечто бесспорно новое в творчестве Гумилева.

Одно из самых сильных, жутких стихотворений — посвящено Г. Распутину («Мужик»), и заканчивается так:

«Что ж, православные, жгите,  
Труп мой на темном мосту,  
Пепел по ветру пустите...  
Кто защитит сироту?  
В диком краю и убогом  
Много таких мужиков,  
Слышен по вашим дорогам  
Радостный гул их шагов».

Наряду с «Двенадцатью» Блока, «Костер» — одна из самых прекрасных и волнующих книг, которые дал нам минувший год.

*Творчество (Харьков). 1919. № 3. С. 27–28.*

**Павел Медведев****Литературный дневник. Н. Гумилев «Костер».**

Русская поэзия, как и русская природа, так же как и русский дух, в изначальных, органических своих стихиях — пассивно мечтательна, созерцательна, женственна.

Наша религия больше религия Богоматери, чем Христа, — верно где-то отметил Н. Бердяев. А наша поэзия, да и вся наша художественная литература в основном русле своем — разве это не лирика чисто-женственной души?

Тип активного, мужественного деятеля на протяжении целого столетия терпит в нашей литературе крах и неудачу.

Где наши Шиллеры и Ибсены?

Вместо людей жизни и дела — «лишние люди», перекаטיפоле и «кающиеся дворяне». Вместо «нового» человека — или выдуманный, сочиненный Марк Волохов, или споткнувшийся о сентиментальность, расплывчатый и жидковатый Базаров, или, наконец, крикливый хвастун, бутафорский разрушитель — Андреевский Савва.

И даже женщины: бесконечно ходульна, до конца программна Вера Павловна в «Что делать?», Горьковская Мальва — всего лишь литературный манифест — и в то же время, как убедительна в своей простой, нехитрой красоте «бедная Таня» Пушкина, как чудесно-жизненны девушки Тургенева с их великой смиренностью, одинокой затаенностью и мечтательной грустью и, наконец, что подлиннее и выше в Льве Толстом его Наташи Ростовской?

Эта пассивно-созерцательная, женственная традиция в русской поэзии, беря начало в мечтательном, рыхлом сентиментализме Жуковского, через музу Пушкина — пленительную «вакханочку» и «уездную барышню», через созерцательное любомудрие Боратынского, похожего на девушку, растет, и крепнет, и углубляется к середине века. Тут она воплощается в элегических переживаниях Тургенева, этого Лемма русской литературы, в мелодических шопотах Фета, в терзаниях Гаршина и Надсона, чтобы к нашим дням резко и выпукло откристаллизироваться в вечно-женственном Вл. Соловьева, Ал. Блока и, наконец, в откровенно-женском, только женском Анны Ахматовой и ее последователей.

В этой жизни я немного видела, —  
Только пела и ждала...

Это характерно не для одной только А. Ахматовой.

Наоборот, противоположной традиции активно-волевой, действенной, мужественной — русская литература почти не знает. Только зачатки, первые ростки ее мелькают в Лермонтове, Гоголе, Тютчеве, Достоевском, М. Горьком, В. Брюсове.

Николай Гумилев, ученик В. Брюсова, интересен и примечателен именно как поэт этого начала.

Активный темперамент, большая волевая энергия, чисто мужественный взгляд на мир, природу и человека, в связи с крупным артистическим дарованием — вот основные черты его художественной личности.

Лицо музы Н. Гумилева строго, немножко черство, чуть-чуть сухо, всегда сдержанно и спокойно, иногда — слишком уж корректно-чопорно.

Он среди наших поэтов — европейский джентельмен, умный, благородный британец хорошей крови, зачитавшийся «Эмалями и камнями» Теофиля Готье.

Все как достоинства, так и предрассудки джентельмена не чужды нашему поэту.

Джентельмен, прежде всего, не смеет быть болтливым и слишком откровенным.

Он, затем, умен здоровым, трезвым умом, «малым» умом, как сказал бы Достоевский, и потому всегда умеет уверенно воплощать свои мысли и настроения в соответствующие пластические образы — четкие, выпуклые, стройные.

Джентельмен чужд мистики, всего потустороннего; он слишком «я», чтобы стать «всем» У джентельмена, наконец, большая культурная традиция, большой духовный кругозор вместе с отвращением ко всему обыденному, каждодневному и, как следствие отсюда — способность сочувственного сопереживания многообразной и разноликой жизни мира и особый вкус к экзотике. Восток для него — отдых от нашей обыкновенности.

Все это в высшей степени характерно и для Н. Гумилева.

Его грамматика никогда не пьяна. Вдохновение для него никогда не равнозначно восторгу. Он не знает того эмоционального вдохновения — «пою, как птица, славя Бога», в



котором, например, расплылось изумительное дарование К. Бальмонта. О себе и о своем личном Н. Гумилев говорить не любит. Вообще ему чужд тот интимный музыкальный лиризм, который составляет такое очарование стихов хотя бы Фета или Блока. Н. Гумилев в поэзии не инструменталист, а пластик. В своих стихах он дает объективную картину жизни средствами ярких, скульптурных, большею частью, чисто зрительных образов. В поисках за этими образами Н. Гумилев нередко тянется памятью к экзотике и Востоку, но его экзотика опрозрачена и умиротворена резиньяцией, она не дурманит ни его самого, ни читателя, Дионис прошел мимо нее, стороной. Вообще, все, в чем бродит хмель экстаза, вся мистика и все подполье человеческой души далеки от Н. Гумилева. Его песни не об изначальном и не о последнем, а о среднем, «нормальном». Любимая им литературная форма — баллада. Во многих стихах Гумилева очень полновесен эпический элемент. Он должен быть хорошим «прозаиком».

Все эти начала остаются незыблемыми и в «Костре», последней книге стихов Н. Гумилева.

Они довлеют и в своеобразном построении «Осени», где очень оригинален пушкинский прием характеристики через подбор соответствующих жанровых образов, и в фламандской живописи «Городка», и в прекрасных, строго выдержанных «Норвежских горах» и «Стокгольме», и в сосредоточенно-экзотических образах поэмы «Эзбекие» и, наконец, хотя бы в следующих ламентациях:

Да, я знаю, я вам не пара.  
Я пришел из иной страны,  
И мне нравится не гитара,  
А дикарский напев зурны.

Я люблю — как араб в пустыне  
Припадает к воде и пьет,  
А не рыцарем на картине,  
Что на звезды смотрит и ждет.

(«Я и вы»)

Все это, если не считать неудавшихся «Мужика» и «Рабочего» с их намеренной грубостью поз и вымученно-прими-

тивной сентиментальностью, хорошо, интересно, ярко, сильно, звучно.

Но есть в «Костре» и новое, не совсем ожидаемое и совсем для Н. Гумилева необычное, что хотя и радует, как находка, но способно вызвать некоторые опасения.

Уже в драматической поэме «Гондла» («Русская Мысль», 1917 г.), можно заметить некоторый сдвиг Н. Гумилева в сторону от его обычных путей и вех. И тема, и стиль поэмы — еще обычно Гумилевские: Скандинавия, викинги во главе с Лаге, ирландские христиане IX века в лице Гондлы, борьба этих двух станов, мерный, стальной стих, величаво-простые и грузные образы. Но внутренне в этой поэме есть нечто совершенно новое для Н. Гумилева. Это — чисто и, может быть, слишком лирическая разработка темы любви Гондлы к Лере, которой отданы одни из лучших строф поэмы.

В «Костре» этот мотив находит свое углубление и дальнейшее развитие.

Уже в поэме «Эзбеки» останавливает внимание следующее признание нашего поэта:

Да, только десять лет, но, хмурый странник,  
Я снова должен ехать, должен видеть  
Моря и тучи, и чужие лица,  
Все, что меня уже не обольщает...

Зрительные образы не обольщают. Что же обольщает теперь поэта?

Ответ в трех «Канцонах», в стихотворениях «Рассыпающая звезды» и «О тебе».

Перед нами в этих стихах — напряженная и словоохотливая лирика любви.

Н. Гумилев — лирик, мечтатель, заглядывающийся в вышину, в небо, поэт любви — это ново.

Первые опыты его в этой области, нами указанные, не дают еще права на какие-либо категорические выводы и заключения.

*Записки Передвижного Общедоступного театра  
в Петербурге. 1919. Вып. № 24–25. С. 14–15.*

## Юрий Никольский

### Поэт-рыцарь

(О Николае Степановиче Гумилеве)

Блок умер от цинги, в сущности от голода, в сущности от большевиков. Гумилев расстрелян большевиками. Я не знал его политических убеждений — но я не удивился: Гумилев был рожден героем и мужчиной.

Он пел немногим — будущее поймет, какой необыкновенный поэт погиб с ним для России. Идею заметить доступнее, чем чистую красоту, которой никаких идей не нужно, она — загадка. Гумилев — чистая красота, красота неожиданных, до боли обжигающих переливов сапфиров, топазов, яхонтов. Сапфиры, топазы, яхонты — это все слова, образы, звуки и их обычные сочетания поэт чуточку как будто передвинул, начал что-то немного не так, как будто странно. А от этого рождаются совсем новые миры. Кто не вхож в красоту — тому Гумилева объяснить так же невозможно, как слепому разницу цветов. Гумилев прежде всего рыцарь. Ходила легенда, что гимназистом Гумилев крал розы с опасностью жизни — для *Нее* в царских садах. Он читает свои стихи «драконам, водопадам и облакам». В предвоенное время он казался то вышедшим из слишком древних времен, то зараженным декадентской экзотикой. Переводчик Теофиля Готье, он как-то походя упоминал в стихах о картинах абиссинских мастеров и о мехах пантер «мне нравились их пятна». В его несколько гнусавом и нарочитом чтении можно было заподозрить напыщенность. Но все это было неверно. Все причудливые изгибы таланта Гумилева были им самим, а следовательно, имели право существовать.

Помню, какая дрожь непонятого счастья пробежала по мне, когда я прочел:

Твой лоб в кудрях отлива бронзы  
Глаза как сталь твои остры  
Тебе задумчивые бонзы  
В Тибете ставили костры.

Когда Тимур в унылой злобе  
Народы бросил к их мете  
Тебя несли в пустыне Гоби  
На боевом его щите.

И ты вступила в крепость Агры  
Светла как древняя Лилит  
Твои веселые онагры  
Звенели золотом копыт...

Но рот твой вырезанный строго  
Таил такую смену мук  
Что я в тебе увидел Бога  
И робко выронил свой лук.

Толпа рабов твоих метнулась,  
Спеша, волнуясь и крича,  
И ты лениво улыбнулась  
Стальной секире палача,

Кто не понимает жуткого смысла, каких-то неопределенных прозрений в строках:

«Тебя несли в пустыне Гоби  
На боевом его щите»...

тот не сможет остановиться в Эрмитаже перед двумя золотыми туфельками у постели рембрандтовской Данаи, в которых, казалось, одних воплотилась красота мира сего.

Центральное произведение первого периода гумилевской лирики — это его «Капитаны». — «По полярным морям и по южным шелестят паруса их кораблей».

Быстрокрылых ведут капитаны —  
Открыватели новых земель  
Для кого не страшны ураганы,  
Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий —  
Солью моря пропитана грудь.  
Кто иглой на разорванной карте  
Отмечает свой дерзостный путь.

И, взойдя на трепещущий мостик,  
Вспоминает покинутый порт.  
Отряхая ударами трости  
Клочья пены с высоких ботфорт.

Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так что сыпется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет.

Гумилев был одним из таких капитанов, открывал страны «куда не ступала людская нога» и где — в не открытом еще до конца мире: «нежен у девушек профиль лица». Детская нежность с женщинами свойственна грубым по наружному виду капитанам. И недаром Гумилев любит Беатриче.

Музы, рыдать перестаньте,  
Грусть вашу в песнях излейте,  
Спойте мне песню о Данте  
Или сыграйте на флейте.

И дальше о Росетти:

Жил беспокойный художник  
В мире лукавых обличий  
Грешник, развратник, безбожник  
Но он любил Беатриче.

Странные грезы поэта  
В сердце его прихотливым  
Стали потоками света  
Стали шумящим приливом.

Когда пришла война, Гумилев нашел себя и преобразился. Один за другим появились три Георгия на его защитной гимнастерке и лицо — необыкновенное, — вышедшее точно откуда-то из Египта — стало одухотворенно покойным.

Как могли мы прежде жить в покое  
И не ждать ни радостей ни бед?

Не мечтать об огнезорном бое  
О рокочущей трубе побед?

Он принял войну как великое очищающее начало жизни и ему было понятно ликующее изображение воинств на старинных русских иконах. «Золотое сердце России мерно бьется в груди моей». И если наш потомок захочет узнать из стихов, что переживала в войне патриотическая часть русского интеллигентного общества — он прочтет этот замечательный памятник — военные стихи Гумилева, где замечен и священник в рясе дырявой, умиленно поющий псалом, и страна, которая из рая стала логовищем огня, и могильный холм.

Пронеся целым свой дух через войну — Гумилев преобразился и в стихах. В поэме «Гондла» и «Костре» — он уже классик. Приведу такие почти пушкинские стихи:

В час моего ночного бреда  
Ты возникаешь пред глазами.  
Самофракийская победа  
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,  
Рождает головокруженье  
Твое летящее, слепое,  
Неудержимое влеченье.

В твоем безумно-светлом взгляде  
Несется что-то пламеня...  
И наши тени мчатся сзади  
Поспеть за нами не умея.

Ушли Блок и Гумилев, где-то мучаются Анна Ахматова и Кузмин. Какие дорогие имена. Можно сказать словами Ахматовой:

Думали нищие мы — нету у нас ничего!  
А как стали терять одно за другим  
Так что каждый стал день поминальным днем!  
Стали песни слагать  
О великой щедрости Божьей  
Да о прошлом нашем богатстве.

Если бы большевики сделали только это дело — умертвили Блока и Гумилева, то и тогда примирения с ними, убийцами лучшего, что дала Россия за последние годы, — не может быть.

*Общее дело (Париж). 1921. № 436. 26 сентября.*

## Виктор Эремита [А.А. Зандер]

### Памяти Гумилева

Лейтмотивом поэзии всегда являлось искание чего-то нового как в жизни, так и в искусстве. В дни мира культурная насыщенность, казалось, достигла своего предела, в эти дни и удивить человека чем-то невиданным было почти невозможно. Гумилев искал этого «нового», бросаясь в самые неожиданные и странные попытки: путешествия по Африке, охота на львов, изучение экзотической природы и быта дикарей — таковы данные, встречаемые нами в его биографии. А с другой стороны — упорная работа на историко-филологическом факультете петербургского университета, внимательное изучение стихосложения и его законов, в признании, что в стихах интересна только форма, а содержание безразлично... Однако эти «музейности» — в виде ли «металлического и каменного стиха» или «африканской ноги» были скорее попытками найти что-то новое, чем самим новым. Гумилев здесь только повторял своих духовных учителей — французских парнасцев. Ибо и Леконт де-Лилль ездил за темами в южную Америку и Теофиль Готье работал только над формой (Гумилев, между прочим, прекрасно перевел его «Эмали и Камеи») — и Гоген учился новым восприятиям у диких... Вследствие этого стихи Гумилева были интересны, талантливы, но за душу не хватали и наизусть не запоминались.

Однако искание формы не притупило в поэте глубины содержания. Новая жизнь, принеся с собою такие события и переживания, о которых раньше невозможно было даже

гадать и предполагать, не осталась Гумилеву чем-то внешним и посторонним. Наоборот: верный идеологии своих капитанов, смелый до забвения, веря, что и теперь в XX веке можно жить так,

Как будто не все пересчитаны звезды,  
Как будто весь мир не открыт до конца.

Он смело и самоотверженно бросился в водоворот событий, отказавшись не только от прежней жизни, но, что для поэта гораздо труднее, от старого стиля своего творчества. Последняя его книга «Колчан» принесла совершенно иные и новые настроения и мысли. Форма уже не интересует поэта исключительно, зато содержание углубляется до пределов экстатического восторга и религиозного созерцания. «Колчан» — книга не только прекрасная, но глубокая и мудрая...

Особенно значительны в ней стихотворения, посвященные войне. Они особенно ценны тем, что в них Гумилеву действительно удалось выразить совершенно новые настроения, на основании которых построится невиданная дотопе в поэзии религиозная концепция войны. Война, правда, всегда была любимой темой как поэтических описаний, так и живописных изображений. Однако в старом искусстве она создала только свой жанр «батальной» поэзии и живописи, лишенный универсального и философского значения. Последнее совершенно понятно: старая война была или династической или государственной, в редких случаях национальной. Но никогда (по крайней мере в новой истории) она не охватывала всей жизни, всего человечества, никогда она не была явлением общекультурным. Поэтому и взгляд художника скользил по ее внешнему одеянию — по ее картинам и красотам, по контрастам жизни и природы — скользил именно, а не проникал внутрь. Батальное искусство экстенсивно, а не интенсивно; оно видит за —

С звездами беседует она,  
Глас Бога слышит в воинской тревоге,  
И божьими зовет свои дороги.  
Честнейшую честнейших херувим  
Славнейшую славнейших серафим,  
Земных надежд небесное свершение



Она величит каждое мгновенье  
 И чувствует к простым словам своим  
 Вниманье, милость и благоговенье...

Великий дар был дан поэту. Забыв и отринув свое я, он прозрел в действительности, в жизни, в войне новый религиозный смысл. Этот свет, осиявший его глазам нашу трагическую, по своему существу, жизнь, в корне изменил его отношение к ней. Все засияло для него новой внутренней красотой. Подобно тому, как в «Синей Птице» — Метерлинка просветленный глаз Тильтия видит в кирпичях дома самоцветные драгоценные камни, в старой вороне сказочную синюю птицу, а в образе своей старухи-матери прозревает божественные черты материнской нежности, подобно этому и поэт видит своими духовными очами ту скрытую красоту, которая всегда лежит за самым обыденным и обыкновенным. Но если в единственный и строгий час смерти —

Свод небесный будет раздвинут  
 Прел душою, и душу ту  
 Белоснежные кони ринут  
 В ослепительную высоту, —

где ее ожидает заслуженное чистым сердцем блаженство, то:

И здесь на земле не хуже  
 Та же смерть — ясна и проста:  
 Здесь товарищ над павшим тужит  
 И целует его в уста.  
 Здесь священник в рясе дырявой  
 Умиленно поет псалом,  
 Здесь играют марш величавый  
 Над едва заметным холмом...

Воистину поэт может повторить:

— «Смерть, где твое жало?.. Ад, где твоя победа?!».

Эта религиозная концепция войны, выходящая за пределы личных переживаний и видящая все в свете божественной красоты; настроение полной примиренности с миром и приятия подвига жизни — составляет огромную заслугу и — исключительное достоинство поэзии Гумилева. Но будучи жизненной и живой — эта поэзия должна быть для нас не только предметом восхищения, но и заветом жизни. Поэт

ушел от нас\*\* , но мысль его жива и должна жить. И если сейчас, после войны, все больно, расслабленно и малодушно, то да будут для нас утешением следующие прекрасные слова покойного поэта:

От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,  
Но сильного слезы пред Богом не правы,  
И Бог не слышал твоего отреченья.  
Ты встанешь завтра и встанешь для славы!

*Русский голос (Харбин). 1922. № 595. 28 июля. С. 2.*

## **Александр Перфильев**

Памяти Н. Гумилева  
(+2-е сентября 1921 г.)

Недавно была одна печальная годовщина: годовщина смерти А. Блока, как уже подоспела вторая. Трагична смерть А. Блока в умирающем пустом городе, от цинги, на почве постоянного недоедания, но не менее трагична смерть Н.С. Гумилева в застенках чрезвычайки Петрограда.

Кажется, скоро для нас, изгнанников, случайно уцелевших от большевизма и его последствий, весь год будет состоять из таких «годовщин»... Эти две смерти незабываемы. Слишком велика потеря для русской поэзии.

Гумилев — крупная величина. Это последний бриллиант чистой воды на замкнувшемся ожерелье рус<ской> классической лирики. Он был один из многих, не увлекшихся общим стремлением стихийного разрушения старых форм, но

\* Он был расстрелян осенью этого года большевиками в связи с так называемым «заговором Таганцева» (прим. Л.А. Зандера; судя по упоминанию «осени» и множеству характерных опечаток, здесь исправленных, в основе текста лежит запись устного выступления, состоявшегося много раньше его публикации; о чтении этого же, судя по пересказу, доклада под названием «Война и изображение Гумилева» см.: *Студентка*. Вечер памяти Гумилева // Владиво-Ниппо. 1922. 12 апреля).

сумевших оживить эти формы музыкальной силой своего большого таланта.

В классически четкую размеренность старинных сонетов он вдохнул острую утонченность переживаний современности, и поэтому образы его, часто переносящие в другие эпохи, всегда жизненны и необычайно ярки...

Поэзия Гумилева, это — причудливо-романтическая сказка, облеченная в строгие классически формы, смягченные и одухотворенные пленительной напевностью.

Гумилев — менестрель средневековья, очутившийся в современной нам обстановке, но не растерявшийся от неожиданности, а продолжавший петь старинные сказания свои на понятном нам языке.

Прелестны переводы Гумилева. Стихи Шелли, Оскара Уайльда и многих других переведены им с безупречным сохранением мысли, размера и всех особенностей авторов...

Особенно хорош перевод Оск. Уайльда «Сфинкс»...

Со смертью Гумилева замкнулся магический круг нашей классической лирики. Бог знает, найдется ли кто-нибудь, сумеющий разомкнуть его.

\* \* \*

3 сентября с. г. в Риге в больнице на Александровской выс<оте> умер брат поэта Гумилева Д.С. Гумилев. Покойный летом прошлого года прибыл из Совдепии.

*Маяк (Рига). 1922. 7 сентября; подпись: «Александр Ли»*

### **Александр Кондратьев**

**Н.С. Гумилев**

В списке расстрелянных по Таганцевскому «заговору» в красном Петрограде я прочел фамилию Гумилева. Последнему инкриминировалось участие в составлении прокламаций и обещание связать в случае восстания заговорщиков с ин-

теллигенцией. Последовавшие вслед за тем новые данные не оставляют сомнения в том, что жертвою пролетарской провокации стал талантливейший из оставшихся в северной столице поэтов, член правления Дома Литераторов Николай Степанович Гумилев. Всякое другое, кроме советского, правительство пощадило бы жизнь человека, столь одаренного свыше, молодого еще поэта, произведения которого уже и теперь составили бы гордость всякой иной европейской страны. Но классовая зависть не знает пощады, и русская революция, не имеющая до сих пор Шарлоты Кордэ, получила наконец своего Андрэ Шенье.

Верный служитель красоты, не унижавшийся подобно другим до угождения толпы и не скрывавший трусливо своих убеждений, Гумилев был достойным преемником традиций наших великих поэтов. Пусть у него отсутствовал волнующий душу кристаллический стих Александра Пушкина или стремление к иным надзвездным мирам тоже безвременно ушедшего из жизни Лермонтова, пусть стихотворения его были менее певучи, чем у Фета или Бальмонта, — у него однако свой собственный, оригинальный талант, свое собственное, что так редко бывает у нас, лицо как поэта и человека. Стихи свои Гумилев писал, вдохновляясь, по крайней мере, в зрелую пору таланта, не чужими стихами, свои яркие образы он брал из широко пред ним развернувшейся, нездешними красками блеснувшей ему роскошной книги тропической природы. И в этом отношении соперником ему может быть только Фрейлиграт.

Гумилева принято было называть учеником Валерия Брюсова. Мне кажется, однако, что это не вполне верно, и гораздо более сильное и культурное влияние имел на него такой эстет и ценитель изящного как покойный Иннокентий Анненский, бывший директор Царскосельской гимназии, которую окончил Гумилев.

Образование свое Николай Степанович завершил в парижской Сорбонне, а отчасти на Истор<ико>-фил<ологическом> факультете СПб. ун-та. Первую книжку своих стихов (если не ошибаюсь — «Путь конквистадоров») поэт издал, еще будучи студентом, в Париже.

Сравнительно с Блоком и Бальмонтом Гумилев писал мало, зато не повторялся и не перепевал самого себя. Несомненно, в юности произвели на него известное впечатление французские поэты парнасской школы. Весьма вероятно также, что слава возвратившегося из Мексики с новыми красками и образами Бальмонта пробудила в молодом человеке жажду соревнования. Красота, как сказал когда-то Пьер Луис, плохо уживается с холодным климатом северных стран. Сами эллины искали и нашли ее на более теплых берегах Малой Азии.

Наш поэт, не желая ходить по чужим следам, отправился через Абиссинию в не исследованные еще европейцами области центральной Африки. Несколько раз повторял он эти путешествия, вывозя из полуденных стран шкуры диких зверей, оружие и песни темнокожих менестрелей. Мне случилось также слышать раз его доклад об искусстве абиссинских художников.

— «Мы рубили лес, мы копали рвы. Вечерами к нам подходили львы. Но трусливых душ не было меж нас. Мы стреляли в них, целясь между глаз», рассказывает он о своих странствованиях. Другие современные писатели-путешественники — Бунин, Бальмонт и А.М. Федоров, — если и бывали в экзотических странах, то любовались природой главным образом с террасы отеля или из окон экспресса. Правда, и Гумилев знал краски и ощущения дневной и ночной жизни портовых городишек, где «в заплеванных тавернах с темноты и до утра мечут ряд колод неверных завитые шулера». Полюбившая избранника своего «Муза Дальних Странствий» рассказывала ему у яркого костра под звездным пологом африканского неба полные пылкой фантазии сказки Востока и Юга, шептала засыпавшему в неизвестных краалях усталому охотнику-поэту ласковые, полные неги слова устами Черной Венеры...

Во время великой войны автор «Жемчугов» поступил добровольцем в гвардейский кавалерийский полк, выслужил унтер-офицерские нашивки, а затем после ряда отличий произведен был в офицеры. После войны жестокий рок судил ему остаться под сенью красных знамен в холодном и жут-

ком Петрограде. И тот, кого пощадили африканские львы, ас-сегаи дикарей и немецкие пули, обносившийся и голодный, в рваных опорках, но с гордо и смело поднятой головою пошел под конвоем напомаженных скотоподобных палачей в свое последнее путешествие. Тех, кто судил его насмерть, поэт презирал не меньше, чем африканских людоедов...

Да успокоится он за пределами жизни от той мерзости, гнусных дел и подлых насилий, которые пришлось ему пережить в последние годы существования. Теперь Гумилев снова свободен. Мир его праху!

*Волынское слово (Ровно). 1921. 26 сентября.*

## **Петр Потемкин**

### **Чека**

(Посвящается памяти Н.С. Гумилева)

#### **I. Камера**

Может быть, нас было тридцать,  
Может быть, нас было три...  
От зари и до зари  
Сердце билось: триста тридцать  
Будут жить, а ты — умри!  
Триста тридцать глупых трупов,  
Позабывших умереть!..  
Научись у смерти впредь  
Жить, как триста тридцать трупов,  
Запертых в земную клеть.  
Знай одну свою утробу —  
И до гробовой доски  
Не ищи святой тоски.  
Поздним гробом тешь утробу —  
Все равно, — придешь ко гробу,  
Только стукнет смерть в виски.  
Сколько здесь — четыре стенки?

Глаз, уймись и сердце, стой!  
Поздно... новый перебой...  
Сколько здесь — четыре стенки?  
Не довольно ли одной?!  
И тягуче кучит думы,  
В тучи, мучась, пленный ум.  
Тяжек гнет тюремных дум,  
Темной тучей скучил думы  
В кручах мозга смертный шум.

## II. Песня караульного

Постреливай, постреливай,  
Поганое ружье!  
Поцеливай, поцеливай  
В затылок да в плечо!  
Помахивай, помахивай  
Революционный кнут!  
Коль он буржуй — так трах его —  
И тут ему капут!  
Разменивай, разменивай,  
Ставь к стенке дряхлый мир!  
Ты в курточке шагреновой,  
Ты — красный командир!  
Колесико истории,  
А где твоя чека?  
Теперь и в Евпатории  
Заведена Че-ка!  
За Лениным, за Лениным,  
За Ленина умрем!  
Не стать же на колени нам  
Пред батюшкой царем!  
По морюшку, по морюшку  
Гуляет красный вал —  
Конец положит горюшку  
Интернационал

## III. Перед расстрелом

«Ставни, ставни закрой!  
Ставни... та-а-а-вни!»

И забылся недавний  
Ключом покой.  
Молчок  
На толчок  
Повернулся  
Мозжечок  
Новичок  
Рехнулся.  
Нос в навозе. В пещерном углу  
Вижу мглу.  
И втыкает кто-то иглу  
Длинную, длинную  
И смертельно невинную  
В позвонок.  
Загудело в ушах:  
— «Не надо! Не надо!»  
— «Тишина! Не кричать!»  
Петров Николай,  
Виноградов,  
Забирай!  
На вещах,  
Что ли, спать  
Собираешься, сволочь!»  
Ай!  
Иголка, Игол Иголыч,  
Игла!  
Колется, колется  
Всё точней, всё исправней...  
В сердце вошла.  
Кто это молится?  
— «Ставни, ставни закрой.  
— Ставни... та-а-авни...»  
Мгла.  
За жратвой  
Смерть пришла.

#### **IV. Карцер**

Седьмая вошь, восьмая вошь,  
Девятую грызу.



Досадно — сердце не стгрызешь,  
Не выкусишь слезу.  
Направо кал, налево кал,  
Ни нар, ни стульчака.  
А там в углу сидит фискал,  
Подсаженный Че-ка.  
Эй, солнце, высади стекло!  
Что можешь — подсуши!  
Тут даве крови натекло  
С порядочный кувшин.  
Воняют падалью портки,  
Рубаха загнила...  
Куды уйдешь из Губчеки?  
Эй, купчики, голубчики,  
Где наша не была...

#### **V. Везут**

Повели на двор и вывели,  
Собирайся на допрос!  
Бранным словом осчастливили  
Вместо папирос.  
Ночь тепла. На небе звездочки  
Не задохнутся сверкать...  
Поднесли бы рюмку водочки —  
Однава ведь помирать.  
Грузовик пыхтит и дуется.  
— «Ну-ка, сволочи, грузись!»  
Всяк бежать антиресуется,  
А поди-ка отгрызись!  
— «Восемь вниз ложись — не двигайся,  
Восемь сверху — поперек.  
Эй ты, сукин сын, не дрыгайся,  
Хочешь, стерва, наутек?»  
А куда он милай денется —  
Сверху туша на семь пуд!  
Из живых людей поленницу  
На размен в гараж везут.

**VI. Гараж**

Из одного куска гараж  
На диво вылит.  
Стреляй, тут промаха не дашь,  
В висок навывает.  
Он не велик и не высок,  
Он меньше боен,  
Но специальный кровесток  
И в нем устроен.  
Коммунистический бетон  
Скрепил железо.  
В нем тухнет каждый смертный стон,  
Он звук обрезал!  
Над ним работал ночи спец  
При политкоме  
И был расстрелян под конец  
В своем же доме.

**VII. Дележ**

Делят руки в восемь пар  
Свежую добычу.  
— «Ванька, дай мне портсигар!»  
— «Я те шиш позычу!»  
Смех скрипуч у шутника...  
Ветер в уши хлещет...  
Ночью был размен в Че-ка,  
Вот и делают вещи.  
Сорок кучек, сорок штук,  
Десять штук на рыло...  
Скрыл пальбу моторный стук,  
Туча кровь прикрыла.  
Алый змей, убойный змей,  
Выполз из берлоги,  
Чешуей прикрыл своей  
Все пути-дороги.  
Нет пути и свету нет...  
Край мой, край родимый,

Проклят ты на много лет  
Клятвой нерушимой.

*За свободу (Варшава). 1922. 5 марта.*

### **Божена Витвицкая**

#### **Памяти Н.С. Гумилева**

2-го сентября 1921 года <так> был расстрелян Н.С. Гумилев, своеобразием своего таланта и высокой культурой пленявший всех близких к литературе и недостаточно еще популярный в более широких кругах читающей публики. Впрочем, у нас, вообще в «широких кругах» известны лишь те поэты, чье имя повторяется без устали в чтецах-декламаторах и слышится с концертной эстрады. Таким Н.С. Гумилев не был. Волшебный мир очарований, который вдохновлял поэта, весь из фантастических образов, как фата-моргана, необычайный и красочный, увлекательный и пугающий, — мир этот чужд той убаюкивающей лирики, которая привлекает толпу поклонников и сразу покоряет их.

Такой популярностью Н.С. Гумилев не пользовался. Но в петербургской изысканно-литературной среде к нему относились с пытливым интересом, как относятся к экзотическим, не исследованным еще странам, где неожиданное может увлечь в заколдованный круг, более прекрасный, чем сны под чудодейственным влиянием наркоза...

Н.С. Гумилев принадлежал к писателям, сгруппировавшимся около Ф.К. Сологуба. Во время мировой войны почти каждую неделю на собраниях поэтов и писателей у мэтра Федора Кузьмича и покойной теперь А.Н. Чеботаревской присутствовал и Н.С. Гумилев.

Последний раз такое собрание было в дни февральской революции. Общее внимание привлекал Гумилев, читавший одну из своих поэм в рукописи. Возле него сидела Анна Ахматова и слушала напряженно чтеца. Когда он останавливался

и устремлял свои раскосые глаза в пространство, плохо разбирая рукопись и будто припоминая что-то, Анна Ахматова подсказывала ему нужную фразу. Поэму она знала уже наизусть.

Помнится, все были очень удивлены этим, кроме самого поэта. «То, что читаете сосредоточенно, будете помнить, если вы поэт, если в душе вашей живут мелодии и краски. Ведь все на свете зависит от внимания и упражнений. Само вдохновение есть плод неустанной гимнастики», — привел Н.С. Гумилев слова Бодлера.

Почему-то эти слова остались у меня в памяти.

И так жутко сопоставить веру в могущество личной воли с тем массовым безумием, которое допустило преступную казнь не допевшего еще своих песен поэта.

*Рижский курьер. 1922. 2 сентября.*

Божена Иосифовна Витвицкая (урожд. Заборовская; ? — 1923) — актриса, театральный критик.

### Юрий Офросимов

Н. Гумилев. «К синей звезде» И-во «Петрополис». Берлин, 1923 г.

«К синей звезде». Небольшой сборник посмертных стихов Гумилева; стихотворения эти были написаны Гумилевым в альбом, во время пребывания поэта в Париже в 1918 г. Печатаются с подлинника.

«Синяя звезда» — это

Девушка с газельими глазами

Моего любимейшего сна,

а вся книжка эта — «монография»

О любви несчастной Гумилева

В год четвертый мировой войны.

В ней все основные черты творчества Гумилева. Внешне — это мастерство формы, выдержанный холод чеканного стиха,

за которым поэт очень часто хочет скрыть прорывающуюся теплоту, погоня за красотой, в ущерб красоте.

Но иные строки, новые для Гумилева, убеждают своей простотой, прорывающейся нежданно и дают сполна жизненный облик той, которую поэт окрестил «Синей звездой».

Неизгладимый, нет, в моей судьбе  
Твой детский рот и смелый взор девический,  
Вот почему, мечтая о тебе,  
Я говорю и думаю ритмически...

Или:

И ты меня забудешь скоро,  
И я не стану думать, вольный,  
О милой девочке, с которой  
Мне было нестерпимо больно...

Или, наконец —

И, таинственный твой собеседник,  
Вот, я душу мою отдаю  
За твой маленький, смятый передник,  
За разбитую куклу твою...

Но Гумилев сам делит свое существо, все «дарованное ему богами», на «воина» и на «поэта», причем «воин» следует на первом месте не даром: как относится Гумилев-воин к Гумилеву-поэту? — По-видимому, первый преобладает и не очень поощряет переживания второго; он старается казаться возможно «ироничнее и суше»;

Точно по сердцу ступаешь ты —

сказано очень хорошо и сильно, но «роковая любовь» Гумилева не убеждает, в особенности после душных, сгущенных блоковских строф, которые оказали несомненное влияние на иные строфы Гумилева. Это только манера, поза, которая чаще всего находит разрешение в ироническом отношении к своему чувствованию; напр.: «мой мир» — говорит поэт —

мог стать Вашим тоже и не стал  
Его Вам было мало или много —  
Должно быть, плохо я стихи писал  
И Вас несправедно просил у Бога —

это очаровательно, но после этого не принимаешь всерьез, что —

даже без ответа  
Я отныне обречен тебе.

Да, должно быть, и сам Гумилев не верит этому, Гумилев-  
воин, характеризующий себя —

Да, я знаю, я вам не пара,  
Я пришел из другой страны,  
И мне нравится не гитара,  
А дикарский напев зурны.  
Не по залам и по салонам  
Темным платьям и пиджакам —  
Я читаю стихи драконам,  
Водопадам и облакам...  
И умру я не на постели  
При нотариусе и враче,  
А в какой-нибудь страшной щели,  
Утонувшей в густом плюще.

*Руль (Берлин). 1923. 9 сентября.*

### Лев Гордон

Н. Гумилев. К синей звезде. Неизданные стихи. Изда-  
тельство «Петрополис», Берлин, 1923 г., 80 стр.

В творчестве Николая Гумилева до сих пор обращали внима-  
ние на его формальную, в лучшем случае — сюжетную сто-  
рону. Он до последних дней своих оставался — для одних —  
«поэтом изысканного жирафа», для других — исключительно  
холодным, внешним мастером, как — в своем искусстве —  
Бенвенуто Челлини или Берлиоз. Не умея вчитаться глубже,  
видели только внешнюю сторону его творчества.

После его смерти положение не улучшилось. Никто не уви-  
дел, как Гумилев, начавший с «толченых рубинов Помпея»,  
перешел к строгому голосу мастера — Великого Мастера ле-  
генд. Его холод, его мастерство, — оказались пронизанными  
культурой, стали высоким творением. За Гумилевым послед-

него периода — огненный столп — уже шла молодая поэзия, он стал духовным вождем, он учил видеть жизнь.

Он первый в русской поэзии сказал:

...Есть бог, есть мир, они живут вовек,  
А жизнь людей мгновенна и убога.  
Но все в себя вмещает человек,  
Который любит мир и верит в бога.

Так, постепенно овладевая формой, находя свой, ему одному присущий голос, Гумилев в своем творческом пути стал поэтом, принадлежащим уже не какой-нибудь из многочисленных школ — вечности.

Особняком от его творчества стоит сборник «К синей звезде». Здесь — только лирика, только личное. И, помогая многое уяснить в поэзии Гумилева, много давая его друзьям, его биографу, сборник немного прибавляет к его достижениям.

Чистая лирика... Гумилев редко вступал на этот путь, но здесь он дает совершенно незабываемые строфы:

В этом мире есть большие звезды,  
В этом мире есть моря и горы,  
Здесь любила Беатриче Данта,  
Здесь ахейцы разорили Троию!  
Если ты сейчас же не забудешь  
Девушку с огромными глазами,  
Девушку с искусными речами,  
Девушку, которой ты не нужен,  
То и жить ты, значит, недостойн.

Или же стихотворение-исповедь, своего рода Grand Testament:

В этой мой благословенный вечер  
Собрались ко мне мои друзья,  
Все которых я очеловечил,  
Выведа их из небытия...

...«Тише крики, смолкните напевы»,  
Я вскричал — «и будем все грустны,  
Потому что с нами нету девы,  
Для которой все мы рождены...»

...Неужели мы вам не приснились,  
Милая с таким печальным ртом,  
Мы, которые всю ночь толпились  
Перед занавешенным окном.

Так Гумилев опровергает упреки в холодности, так он открывает перед нами свою неведомую душу, верней — показывает один из уголков ее.

Гумилев — поэт с многограннейшей душой: авантюрист и тончайший эстет, мыслитель и мастер слова, — он в каждом своем стихотворении становится нам по-новому, по-иному дорог.

Проходят дни, проплывают годы... Мы узнаем его новые строфы, и все ближе он к нам, все жизненнее его влияние на нас. И мы не можем не помнить Гумилева.

Мы не смеем забыть его имя...

*Накануне (Берлин). 1923. № 487. 23 ноября. С. 6.*

## Андрей Ющенко

### Творчество Гумилева

#### Трагедия поэта

Больше, чем поэт, — Гумилев прозорливец. В тумане будущего отчетливо увидел свою гибель и запечатлел ее стихами. И в рамке классической простоты, в спокойном сознании неизбежного, — с трагической силой выступает портрет рабочего, который отливает смертельную пулю поэту:

Все товарищи его заснули.  
Только он один еще не спит.  
Все он занят отливаньем пули,  
Что меня с землею разлучит.

Злая пуля — символ бессмысленности — «пуля дура» — должна была унести от нас навсегда служителя высшего смысла. Какое страшное зрелище: ничтожный ремесленник унич-



тожает первого поэта нашего времени. При одной мысли об этой возмутительной несправедливости закипает негодование — знакомое нам еще с детства — когда впервые услышали мы о трагической кончине Пушкина. Однако, сам Гумилев остается спокоен. Свой расстрел он изображает с бесстрастием постороннего наблюдателя. Он знает, что именно так и должна окончиться его «игра в каш-каш со смертью хмурой». Малодушно роптать против судьбы... Гумилев верит, что судьба его — поэзия; и что именно поэзия с роковой неизбежностью толкает его на гибель. Он называет свою поэзию «заблудившимся трамваем». Когда поэт случайно попадает на его подножку, вагон начинает, как бешеный, носиться по сети линий пространств и времен. «Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон!», — восклицает Гумилев... Напрасно... Трамвай мчится неудержимо, пока, наконец, не въезжает в те жуткие дни, когда голодные люди ели человеческое мясо — кровавые буквы

Гласят — зеленная — знаю тут  
Вместо капусты и вместо брюквы  
Мертвые головы продают.

И сюда, догадывается поэт, скатится и его голова:

В красной рубашке, с лицом, как вымя,  
Голову срезал палач и мне,  
Она лежала вместе с другими  
Здесь в ящике скользком, на самом дне.

Но, присутствуя, как Дон-Жуан, заживо на собственных похоронах, Гумилев не содрогнулся. Он смело пошел навстречу смерти. Он принес себя в жертву на алтарь поэзии.

Трагедия русского Шенья была в том, что сама поэзия подвезла его к эшафоту.

### Поэт революционер

Не всегда поэзия требует жертвы... С грубым миром действительности, правда, не уживается никакая поэзия, потому что она слишком хорошо воспитана. Но пока не объявлена между ними открытая война, поэты не обязаны вступать в смертельный бой. Часто поэзия довольствуется тем, что просто

отворачивается от крикливой жизни. Тогда поэт разворачивает белый флаг, на котором начертано: «Искусство для искусства». Эстет уходит в себя, наслаждается прекрасными фантазмами, с головой окунается в чистое море искусства... Если бы Гумилев пошел по этому пути, он мог спасти свою жизнь. Яростный мир остановился бы перед ним в изумлении, как голодный пес перед втянувшейся под броню черепахой. И минутами казалось, что Гумилев отдается эстетическому эпикуреизму. Этим духом пропитаны многие его ранние вещи. Ароматом этой беззаботности насыщен его драматический этюд «Дитя Аллаха»:

Мудрец живет в тени чинара  
Лаская юношей веселых.

Но эпикурейство — поэзия, которая не хочет бродить в нищенских кварталах жизни и она не понимает своей истинно благотворительной роли. Утопая в роскоши, она вырождается в изнеженное, будуарное стихочерчение. Такая «версификация» в лучшем случае приятна, по меткому слову Державина, как в жаркий день холодный лимонад. И, конечно, не поэзия «приятной наружности» могла покориť сердце Гумилева. Свое минутное увлечение ею поэт клеймит как легкомыслие молодости, с осуждением вспоминая о своем заблуждении,

...любил он ветер с Юга,  
В каждом шуме слышал звоны лир.  
Говорил, что жизнь его подруга,  
Коврик под его ногами — мир.

Гумилев отказывается от художественного самодовольства, отрекается от искусства для искусства. Прекрасные «Жемчуга» его не удовлетворяют, перед ним пламенный «Костер» — «Огненный Столп». Он хочет пылающей красоты. Он молится жгучему солнцу поэзии, чтобы оно спалило все безобразие, все уродство, которым, как сорной травой, заросла земля:

Солнце свирепое, солнце грозящее,  
Бога, в пространство идущего  
Лицо сумасшедшее,  
Солнце, сожги настоящее

Во имя грядущего,  
Но помилуй прошедшее.

Вот подлинно революционный призыв. Поэт бросает перчатку всему наличному миру. Он жаждет разрушения его преобладающей обыденности, старческий маразм которой так очевиден, что поэт только презрительно замечает:

Я не оскорбляю их намеками  
На содержимое выеденного яйца.

Но призывая вырвать из мирового календаря листки будней, — поэт мечтает создать вечный праздник. Подлинный революционер, он хочет творить новый мир, развалины старого нужны только как материал для воздвигающегося строения. И с полным сознанием своей правоты и величия дела, он торжественно заявляет:

Я — угрюмый и упрямый зодчий  
Храма, восстающего во мгле,  
Я возревновал о славе Отчей  
Как на небеси <так> и на земле.

Гумилев был больше, чем поэт, даже больше, чем пророк, он был творцом храма красоты. Вот его преступление, которого не мог простить мир. Вся армия уродства, пошлости и злобы, весь консерватизм действительности с угрозой обступили Гумилева. И эта косная, инертная масса ждала случая, чтобы обрушиться и раздавить поэта. Она подобна камню, который ленив и тяжел на вид, но в действительности хитер и злопамятен:

Он скроет жгучую обиду,  
Глухое бешенство угроз,  
Он промолчит и будет с виду  
Недвижен, как простой утес.  
Но где бы ты ни скрылся, спящий,  
Тебе его не обмануть.  
Тебя отыщет он, летящий,  
И дико ринется на грудь.

Старый мир дождался, наконец, часа мщения. И час этот пробил в вихре русской революции... Здесь на первый взгляд загадка. Почему поэта революционера казнит никто другой, как сама революция. Это какой-то парадокс. Казалось бы,

они должны были подать друг другу руки. Казалось, что в революции осуществится мечта Гумилева, что блеснувшая в грозе молния открыла новые, чудесные горизонты.

Так думал другой большой поэт современности А. Блок. Он тоже, как и Гумилев, мучился в объятиях бесплотной красоты, ибо она оставалась бесплодной. Он тоже понял, что искусство со стен музея должно врезаться в жизнь. И когда над Россией всходила кровавая пятиконечная звезда, — Блок поверил, что время настало. Ему показалось, что он вновь узнал свою незнакомку: падшую революцию, за которой красота возрождения... Впереди апостолов разрушения почудилось ему Евангельское Слово. И тогда Блок бросил бунтующей толпе свое слово, — может быть, в дерзостном замысле, что подобно Евангельскому оно поведет за собою народ.

Но поэт был жестоко наказан. В море революционной многоречивости потонуло его слово. Как ученик волшебника он вызвал неведомые силы, но не сумел совладать с ними.

Этой ошибки избежал Гумилев. Его революционность была иная. Если и он отрицал настоящее, то отрицал целиком, во всех проявлениях и со всеми последствиями, в том числе и с социальной революцией. В ней он усмотрел сгущенные краски, перепечатанный снимок все той же вырождающейся современности. Революция была иной рамкой для той же лубочной картины, переливанием из пустого в порожнее.

А Гумилев хотел подлинно нового. Он мечтал об органическом, а не социальном перерождении мира, он конструировал новое существо... В этом деле и он верил в творческую мощь Слова.

Но, конечно, не в смысле непосредственного воздействия на массы. Ибо в толпах бродят низменные инстинкты, и только низкое слово служа им, разжигая дикие страсти, ведет толпу. Это царство трескучих, но пустых фраз. От них люди становятся звероподобными, впадают в ярость разрушения.

А Гумилев хотел созидательной силы Слова. И он видел ее в красоте. Но острота чувства красоты в массах всегда понижается. Поэтому Гумилев, веря, что через красоту придет новый мир, порвал с толпой, — ибо она порождает одно столпотворение.

Революционность Гумилева не в желании двигать массы, а в личном подвиге. Отсюда понятен аристократизм поэзии Гумилева. Его стихи недоступны в широких кругах, они для избранных. Наркозы слов, как и тайны моря, открываются только тем, кто умеют всматриваться в их глубину...

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,  
 Заветные ваши шептать имена,  
 И вдруг догадаться, какие наркозы  
 Когда-то рождала для вас глубина.

И Гумилев погружается в глубины речи, строит новые сочетания слов, изощренные, капризные ритмы, причудливые созвучия. Он знает, что только в тонкой чеканке слова внешне пробуждаются творческие силы, только после граничения зажигаются волшебным блеском драгоценные камни... И пусть чернь, оскорбленная гордым одиночеством поэта, бросает в него камни. Так, вероятно, обезьяны травили первого человека, когда Он изошел из их среды.

Один против всего мира, Гумилев призывает Красоту. Непреклонная воля к ее пришествию пронзает всю его поэзию. Он верит, что когда Красота воплотится, то вновь восстановлено будет Слово в своем творческом величии, как в первозданные времена.

И великолепными стихами возносит гимн Слову, которое было вначале, жрец его Гумилев:

В оный день, когда над миром новым  
 Бог склонял лицо Своё, тогда  
 Солнце останавливали словом,  
 Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,  
 Звезды жались в ужасе к луне,  
 Если точно розовое пламя,  
 Слово проплывало в вышине.

### Миссия поэта

В этих стихах становится понятной миссия Гумилева, — найти неспорченную, первозданную жизнь, — отыскать юную

душу природы, дать возможность вновь проявиться ей во всем блеске.

Поэту надлежало изучить и овладеть здоровыми силами земли. И, конечно, не теоретически, не сидя за письменным столом. Гумилев понял, что он на деле должен подвергнуться всем опасностям дикой, далекой от культуры, жизни. Ибо только в скитаниях по свету, только в борьбе с девственными силами природы, можно укротить ее.

И вот поэзия Гумилева отправляется в далекое странствование. Минуя калеки-города, сойдя с проезжих дорог цивилизации, она смело вступает в неизведанные области. Гумилев — открыватель новых земель. Он заодно с этими смелыми мореплавателями, которым восторженно посвящает поэму «Капитаны»:

Вы все, паладины Зеленого Храма,  
Над пасмурным морем следившие румб,  
Гонзальво и Кук, Лаперуз и де-Гама,  
Мечтатель и царь, генуезец Колумб!

С ними вместе зарывается Гумилев в недра пространств, в необозримость морей, в глубины времен. Перед восхищенным взором поэта проходят дикие страны, пестрая экзотика, неискушенные, простые, но смелые люди. Он видит, наконец, настоящие дикие племена тропической Африки. Он узнает их вождя — черного, но великолепного:

И блистало лицо у владыки,  
Точно черное солнце подземной страны...

Новое, черное солнце осияло Гумилева в хищной красоте природы. Он потянулся к ее упрямой воле, к ее беззаботной отваге. Он догадался, что смелость — главное оружие природы, и чтобы покорить ее, надо им овладеть. Отныне, смелость, упорство и победа становятся лозунгами Гумилева. И когда — в войне народов — открывается школа смелости, Гумилев проходит ее. Он

Променял веселую свободу  
На священный долгожданный бой.  
Знал он муки голода и жажды,  
Сон тревожный, бесконечный путь,  
Но святой Георгий тронул дважды  
Пулею нетронутую грудь.

Развертываясь веером стихов о войне, выковывается воинственный дух поэта. Воля его, играя со смертью, получает надлежащую закалку. И вооруженный окрепшей, упрямой волей, Гумилев как ланцетом вскрывает тело природы. В глубинной жизни земли открываются для него тогда неожиданные наркозы. И в экстазе поэт призывает землю сбросить лживую оболочку, открыть свою таинственную душу:

Земля, к чему шутить со мною:  
 Одежды нищенские сбрось,  
 И стань, как ты и есть, звездой,  
 Огнем пронизанной насквозь!

Тогда в творческом волении поэта преображается природа. Вещи оживают. В камнях просыпается мстительность и хитрость. В персидской миниатюре скрывается перевоплощенный поэт. Растения наслаждаются полнотой жизни, недоступной людям:

Я знаю, что деревьям, а не нам,  
 Дано величье совершенной жизни,  
 На ласковой земле — сестре звездам,  
 Мы на чужбине, а они — в отчизне.

Звери очеловечиваются, даже являются привидениями, как дух леопарда, мстящий охотнику-убийце. В стихах Гумилева звери напоминают древних кентавров, — хоть с туловищем животного, но смотрят они человеческими лицами.

Так напряжением воли поэт подымает жизненный тон мира. Окаменевшие формы начинают шевелиться. Просыпается Душа Мира.

И тогда вся иерархия чинов земли — вещи, птицы, звери и люди, во главе с поэтом, все служат торжественную мессу о том, чтобы Душа Природы восприняла Творческое Слово. Ибо все они многовидные, пестрые обличья единой, неуклонной воли к Красоте. Разными голосами поют они ту же молитву о воссоединении Земли и Неба:

Храм твой, Господи, в небесах,  
 На земле тоже твой приют

Они знают, что когда сольются небеса с землею, когда Слово снизойдет в мир, тогда наступит Царство Красоты, тогда вновь расцветет Сад Природы несказанно, как было до грехопадения.

## Шестое чувство

Но даже эта интуиция скрытой полноты жизни не удовлетворяет Гумилева. Приведенные в движение персонажи Природы кажутся ему призраками. В изменчивых обликах, на мгновение являясь, вянет красота, — и только дразнит воображение поэта. Его раздражает ускользящая текучесть поэтического:

Что делать нам с бессмертными стихами,  
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.  
Мгновение бежит неудержимо,  
И мы ломаем руки, но опять  
Осуждены идти все мимо, мимо...

Гумилев хочет красоты, которая навсегда осталась бы при нем. И поэтому фантазмы и вымыслы его поэзии недостаточны. Весь этот оживленный стихами мир природы не имеет окончательного значения. Поэт набросал только незавершенный эскиз, в лучшем случае план храма, которого еще не начали воздвигать.

Оригинальность поэзии Гумилева не в том, что он верит в реальное бытие своих созданий, а в том, что они служат ему средством эстетического саморазвития. Построением этого волшебного Мира поэт изоощряет свое артистическое чувство. Он взбирается на труднейшие подъемы красоты. Он превращает себя в музыкальный инструмент, который отзывается на нежнейшее дуновение искусства... И, если красота ослепительно бьет в глаза даже грубую, оmozоленную душу... Если звуки симфонии объединяют в одно целое многоликий концертный зал, — людей, которые вне музыки умеют только враждовать.

Если Орфей укрощал пением диких зверей...

Если даже дельцы приносят деньги и честь на алтарь красоты женщины —

Ведь отрадней пения птиц,  
Благодатней ангельских труб  
Нам дрожанье живых ресниц,  
И улыбка любимых губ.

То что же будет в кругу посвященных в мистерии Искусства? Каким необозримым океаном разольется мощь Красоты



среди избранных. Какие новые области откроются перед изощренной эстетической волей. Подобно аскету, изнуренному подвигами самоспасения, воля, прошедшая все испытания требовательного искусства, созерцает чудесные видения.

Надо только до конца захотеть. Надо до боли напрячь дух в экстагическом подъеме. Натянуть волю как струну, чтобы сорвавшись она зазвенела, — и в волшебном звуке создала шестое чувство.

Так рождается зрение прекрасного. Мучительно прорезаются в эстетическом слепце новые глаза, — вечно влюбленные в Красоту:

Как некогда в разросшихся хвощах  
Ревела от сознания бессилья  
Тварь скользкая, почуя на плечах  
Еще не появившиеся крылья.  
Так, век за веком — скоро ли, Господь? —  
Под скальпелем природы и искусства,  
Кричит наш дух, изнемогает плоть,  
Рождая орган для шестого чувства.

В героическом порыве к Красоте Гумилев возвестил о рождении шестого чувства. Он провидел пришествие нового человека, созерцающего вечную красоту. Он призывал к космическому перевороту, — к созданию в недрах мира существа эстетического:

Тебе никогда не устанем молиться,  
Немыслимо-дивное Бог-Существо.  
Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться,  
Мы верим, мы верим в Твое торжество.

И когда Он придет в мир наш, то раздвинутся рамки времени и пространств и спадут, как вышедшие из моды одежды, — «скудные пределы естества».

Тогда откроются неэвклидовы перспективы. Зазвучит торжественная симфония вращения сфер небесных, — та самая, которую в древности удалось подслушать пифагорейцам. Наступит Великое Преображение Вселенной:

И тогда повеет ветер странный —  
И прольется с неба страшный свет.  
Это млечный путь расцвел неожиданно  
Садам ослепительных планет.

Так, в божественной музыке Слова начнется пляска радости обновленного мира.

Гумилеву не дано было самому открыть Америку Красоты. Пучина враждебных стихий поглотила маленький корабль его поэзии. Но до конца оставался поэт на капитанском мостике...

Оттуда прозрел надвигающуюся гибель... а за ней на горизонте, бессмертными стихами, открылась ему тайна вторичного пришествия Творческого Слова — Христа.

Погибая, — поэт возвестил о грядущей радости.

Исполнив возложенную на него миссию, он имеет право

представ пред ликом Бога

С простыми и мудрыми словами,

Ждать спокойно Его суда.

*Ющенко А. Творчество Гумилева. Сан-Франциско, 1923.*

Андрей Павлович Ющенко (Andrew Uschenko; 1897–1957) некоторое время учился в Харьковском, а затем в Петроградском университете, потом призван на военную службу, в США стал доктором философии. «Заблудившийся трамвай», как видим, цитируется по памяти, — вероятно, вообще эта двенадцатистраничная брошюра является текстом доклада, прочитанного А.П. Ющенко в Литературном кружке в Сан-Франциско в 1923 году: «У докладчика было худое, бледное лицо и такой голос, как у инструмента, когда опущен модератор. Вначале я ловила только отрывки фраз: Гумилев верил, что человек должен органически переродиться... Гумилев — служитель Высшего смысла. За этот Высший смысл он борется, за него идет на подвиг, за него он жертвует жизнью.

«Я угрюмый и упрямый зодчий

Храма, восстающего во мгле,

Я возревновал о славе Отчей,

Как на небесах и на земле».

Может быть, это был голос докладчика, тихий и шедший откуда-то глубже, чем обычные голоса, но через него постепенно нам стала передаваться вся гумилевская героическая тоска по ином человеке, вся его и наша общая тоска по иному «себе». И этот облик иного «себя» вставал перед ним, как

мечта, как надежда, как призыв к борьбе. Но не к той иссушающей жизнь борьбе, какой боролись мы, исчисляя свои дни рабочими часами и долларами, теряя направление и цель.

«А для низшей жизни были числа,  
Как домашний подъяремный скот».

Как героической, гумилевской борьбе с душевной слепотой,

С окаменелостью сердца, со страхом жизни и страхом смерти.

«За то, что не был ты как труп,  
Горел, искал и был обманут —  
В высоком небе хоры труб  
Тебе греметь не перестанут»

Что значит для всех нас этот вечер? Для нас, которых Судьба грубо, как поршнем, толкала все глубже в толщ материи, для нас, начавших среди всех наших забот и тревог забывать даже и о существовании Высшего Смысла...

«И забыли мы, что осиянно  
Только СЛОВО среди земных тревог,  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что Слово, это — Бог».

Как благодарить тех, кто тогда помог нам все это вспомнить?» (Ильина О. Воспоминание о вечере Гумилева // У Золотых ворот: Сборник. Сан-Франциско, 1957. С. 123–126. См. рецензию Ю.Айхенвальда: «Оттуда, из такой дали раздался русский голос, посвященный Гумилеву, “русскому Шенье”. Казненный большевиками поэт нашел себе в авторе меткого ценителя. На нескольких сильно и красиво написанных страницах (не в счет выражение “омозоленная душа”...) дает г. Ющенко верную, на наш взгляд, характеристику поэзии Гумилева, которая “сама подвела его к эшафоту”. В самом деле, явственна связь между жизнью и творчеством застреленного поэта, и есть у него стихотворения, в которых он, силой художественного ясновидения, жутко-отчетливо рисует себе картину своей смерти» (Руль. 1923. 5 мая).

**Французские народные песни****Жалоба Вечного Жида**

Ах, с кем случиться может  
Ужаснее беда,  
Чем та, что сердце гложет  
У вечного Жида?  
Ах, чей печальный рок  
Так жалок и жесток?

У города Брюсселя  
В Брабанте как-то раз  
Два жителя подсели  
К пришельцу в поздний час;  
Он странен был с такой  
Огромной бородой.

Наряд его был грязным,  
Со множеством прорех,  
Как видно, чужестранцем  
Был этот человек,  
Как бы мастеровым  
С передником большим.

Они с поклоном: — здрасте,  
Привет вам, может быть,  
Вы захотите, мастер,  
Часок средь нас побыть,  
Не хмурьтесь только так,  
Замедлите ваш шаг. —

— Вам, господа, придется  
Узнать, что я в беде;  
Что места не найдется  
Ни здесь мне и нигде.  
Я на ногах всегда,  
В жару и в холода.

Войдите хоть в таверну,  
Почтенный старичок,  
Вино у нас не скверно,  
Испробуйте глоток,  
Мы всем вас угостим,  
Что лучшего храним.

Ну что ж, приму вино я,  
Могу и хлеба съесть,  
Но я останусь стоя,  
Не смею я присесть.  
А вашей такой  
Смущен я добротой.

Нам очень любопытно  
Узнать, каких вы лет.  
Ведь по морщинам видно,  
Что им и счету нет,  
Пожалуй, будет сто,  
Похоже ведь на то.

Я старше беспримерно:  
Тысяча восемьсот  
Исполнилось мне верно,  
Двенадцать лет не в счет.  
Я их имел тогда  
В день Рождества Христа.

Не то ли вы создание,  
О ком молва бежит,  
Кто на столбцах Писанья  
Был назван Вечный Жид.  
Действительно ли вас  
Мы видим здесь сейчас.

Мне дали в детстве имя  
Исаак Лакедем.  
Рожден в Иерусалиме,

Стране, известной всем,  
И верный слух бежит,  
Я, дети, Вечный Жид.

О, господа! Как это  
Мне грустно каждый час!  
Хожу я вокруг света  
Уже четвертый раз;  
Все в свой черед умрут,  
А я все тут, да тут.

Я прохожу пучины,  
Озера, ручейки,  
Высоты и равнины,  
Леса и тростники,  
Болота и поля, —  
Иду повсюду я!

Я на полях Европы  
И Азии видал  
Враждебных полчищ скопы,  
Где смерти дух витал,  
Я всех их пересек,  
Не раненный вовек.

И много видел смерти  
В Америке я, да,  
Как в Африке, поверьте  
Мне в этом, господа;  
Но смерть мне нипочем,  
Я убедился в том.

Ах, для таких скитаний  
Моя тоща мошна,  
Лишь пять грошей в кармане,  
Вот вся моя казна,  
И лишь они со мной  
Всегда в стране любой.

Мы верили с опаской  
О вас чему-нибудь,  
Нам представлялся сказкой  
Ваш бесконечный путь,  
И видим мы теперь,  
Что прав сказавший: верь!

Вы, значит, виноваты  
В грехе из всех грехов,  
Что Бог, за нас распятый,  
Вдруг стал к вам так суров.  
Скажите нам, за что  
Присуждено вам то.

Моя слепая злоба  
Мне горе принесла,  
Я буду ждать до гроба  
Час отпущенья зла.  
Я слишком был жесток  
К тому, кто был мой Бог.

Когда в посмех неверью  
Христос влачил свой крест,  
Перед моею дверью  
Он захотел присесть:  
— Друг, он вздохнул чуть-чуть,  
Дай здесь мне отдохнуть.

Я ж, злобою пылая,  
Не помня ничего:  
— Гоните негодяя  
От дома моего!  
Вставай, иди опять,  
Нельзя тебе здесь ждать.

Христос взглянул не строго  
И простонал в ответ:  
— Ты сам пойдешь в дорогу

На тысячи две лет.  
И только в Страшный Суд  
Окончится твой труд.

И в тот же час из дома  
Пошел я в долгий путь,  
Тревога и истома  
Наполнили мне грудь,  
Так я и день и ночь  
Иду все прочь и прочь.

Спасибо за компанию,  
Прощайте, господа,  
Мне этого свиданья  
Не позабыть года,  
Но слишком я томлюсь,  
Едва останавлиюсь.

### Адская машина

Про ужасное коварство  
Мы послушаем рассказ,  
Что подстраивали раз  
На погибель государства,  
Правда о таких делах  
Поселяет в сердце страх.

Это адская машина,  
Лишь недавно создана,  
Разорвалась, и страшна  
Вдруг открытая картина.  
Опрокинуты дома,  
Люди, точно без ума.

Консул в крытом экипаже  
Ехал в Оперу в тот миг,  
Как пронесся гул и крик,  
Мне подумать страшно даже,



Этот взрыв ему грозил,  
Только бог его хранил.

Цуг коней его, испытан,  
Обогнал ужасный взрыв,  
Но коней остановив,  
Обо всем узнать спешит он,  
Не встревоженный ничуть,  
Продолжает он свой путь.

Рвется вся в слезах супруга  
С ним опасность разделить,  
Но приходят известить,  
Что судьба спасла ей друга,  
Что спасен он от врагов,  
Что и жив он и здоров.

Очень скоро, умирая  
Средь невероятных мук,  
Стонут раненные вокруг,  
А другие, покидая  
Свой спаленный дом и сад,  
Убежать в Париж спешат.

Эта адская машина  
В бочке сделана была,  
Много пороха, стекла,  
Пуль хранила середина,  
И была она, о страх,  
На железных обручах.

И от взрыва той машины  
Десять рухнуло домов,  
Пали балки потолков,  
И под ними сплошь руины,  
Стулья, кресла, погребцы,  
Раненые, мертвецы.

Трибунал, исполнен рвения,  
И министры, и Сенат,  
И совет из двух палат,  
Все приносят поздравленья  
И Великий Консул их  
Принимает, благ и тих.

### Речь Начальника Полиции к Первому Консулу

Я машину той же силы  
Захватил в руках у тех,  
Про кого и вспомнить грех,  
Чье намерение было,  
Чтоб злодействовать у нас,  
Отодвинуть мира час.

### Речь Председателя Совета Министров

Да, когда хотят злодеи  
Государства рушить дом  
И убийством и огнем,  
Их преступные затеи  
Мы, как следует, казним,  
Чтобы мир был нерушим.

Бонапарт, храним судьбою,  
От врагов своих тогда  
Нам очистит города  
И с заботою большою,  
Чтоб был каждый нищий сыт,  
Мир повсюду утвердит.

*Из собрания В.Г. Данилевского (НИОР РГБ. Ф. 438. К. 2. № 51. Лл. 2–5). Впервые опубликовано: Тименчик Р. Из именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // From Medieval Russian Culture to Modernism: Studies in Honor of Ronald Vroon. Frankfurt/M, 2012. С. 269–273.*

## Петр Струве

### Память о Н.С. Гумилеве. К пятилетию его смерти

Завтра день, когда от рук врагов России и ее национального призвания погиб великий патриот и большой поэт Н.С. Гумилев. Его, как «контр-революционера», расстреляли большевики. В этом событии, в боевом подвиге активного борца против большевизма и коммунизма есть нечто, духовно бодрящее и пророчески зовущее. Мы не хотим и не должны лицемерить. Гумилев дорог нам и как крупное поэтическое дарование и как человек, который в эпоху, когда столько людей погнулось и согнулось, выпрямился во весь рост и бросил вызов торжествовавшему хамскому злу.

В этом — его слава как человека и русского, и наше утешение и ободрение. В Гумилеве как поэте не все устоялось и дошло до полной ясной красоты. Но в его творчестве есть большая, подчас смутная и жуткая, красота, и есть та личная сила, которая так ярко сказала в его славном жизненном конце.

Многие наши читатели, может быть, мало слышали и знают о Гумилеве. Поэтому мы хотим для них привести здесь два замечательных стихотворения, в которых тяготение души поэта-борца к положительным и творческим началам национальной и личной жизни получило бесподобное выражение. Одно стихотворение содержит ответ на «евразийские» соблазны:

#### Швеция

Страна живительной прохлады  
Лесов и гор гудящих, где  
Всклокоченные водопады  
Ревут, как будто быть беде.

Для нас священная навеки  
Страна, ты помнишь ли, скажи,  
Тот день, как из Варягов в Греки  
Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,  
Чтоб был, свидетель злых обид,  
У золотых ворот Царьграда  
Забыт Олегов медный щит?

Чтобы в томительные бреды  
Опять поникла, как вчера,  
Для славы, силы и победы  
Тобой подъятая сестра?

И неужель твой ветер свежий  
Вотще нам в уши сладко выл,  
К Руси славянской, печенежьей  
Вотще твой Рюрик приходил?

Другое есть мужественная отповедь всем тем, кто ищет новизны ради новизны, всем поклонникам минуты и льстецам гримасы, которые на место сурового мастерства кощунственно ставят озорство и над творческой мерой превозносят распущенную и наглую безмерность.

### **Молитва мастеров**

Я помню древнюю молитву мастеров:  
Храни нас, Господи, от тех учеников,

Которые хотят, чтоб наш убогий гений  
Кощунственно искал всё новых откровений.

Нам может нравиться прямой и честный враг,  
Но эти каждый наш выслеживают шаг.

Их радует, что мы в борении, покуда  
Петр отрекается и предаёт Иуда.

Лишь небу ведомы пределы наших сил,  
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

Что создадим мы впредь, на это власть Господня,  
Но что мы создали, то с нами посегодня.

Всем оскорбителям мы говорим — привет,  
Превозносителям мы отвечаем — нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный  
Равно для творческой святости непотребны.

Вам стыдно мастера дурманить беленой,  
Как карфагенского слона перед войной.

Да будет память о честном поэте-муже Н.С. Гумилеве священным призывом и очистительным напоминанием.

*Возрождение (Париж). 1926. 26 августа.*

### Лев Гомолицкий

#### К 15-летию смерти Гумилева

15-ая годовщина смерти Гумилева почти не отмечена зарубежем. Нельзя же считать два томика, выпущенных «Петрополисом» в Берлине и являющихся переизданием третьей книги стихов «Чужое Небо» и драматической поэмы «Гондла». Вместо того, чтобы подумать, наконец, о полном (пусть даже уж не таком совсем «полном») собрании сочинений (или только стихов) Гумилева, печатать один из случайных сборников — наименее цельных — и еще предварять его предисловием Георгия Иванова, в основе недруга гумилевской стихии... лучше было просто промолчать. Но промолчать было нельзя — уже и в сов. России заговорили о Гумилеве — на издание полного собрания сочинений не было видимо ни желания, ни настоящих средств, и издательство решило отделаться этими книжечками, только бы юбилейная дата была отмечена. На книжечках стоит: «выпущена в свет в день пятнадцатой годовщины смерти Н.С. Гумилева», чего же еще нужно.

В коротеньком предисловьице к «Чужому небу» Г. Иванов свысока объясняет, что Гумилев, от природы человек «робкий, тихий, болезненный, книжный» и «мечтательный, грустный лирик», пожелал стать героем и пророком. В результате он искупил значительную дозу позерства, сумев достойно погибнуть, преодолевая свою дюжинную интеллигентскую природу, но голос своп лирический сорвал. Жертва же его осталась бесполезным подвигом, донкихотским в своей основе.

Само собою напрашивается возражение, что дюжинных людей на войне не отмечает дважды св. Георгий, что они не сходят в подвалы чрезвычайки, встречая смерть со спокойной улыбкой, и, главное, не оставляют после себя такого глубокого следа в жизни и литературе. Гумилев, выросший на французских парнасцах, дорог нам не своим экзотическим романтизмом. В творчестве его была одна глубоко русская черта, усилившаяся с годами, — православного мистицизма. Не мистицизма Блока с его теорий демонов и фиолетовых миров, для которого творчество было одновременно сокасанием мирам иным. Но мистицизма, где перед Богом предстоит человек, не литератор, отдавая высшему всю свою жизнь, а не только минуты сомнительного писательского возбуждения.

Стихи Гумилева дают уверенность, что он имел большой религиозный опыт и что именно религия, а не самолюбие, не поза дала ему силы преодолеть свою перстную природу, что это дух в нем улыбался навстречу чекистским дулам и что именно этой своей божественной частью он остался между нами и после смерти.

*Меч. 1936. № 39(123). С. 6; подпись: «Л.Г.»*

**Иван Савич****Капитаны**

Быстрокрылых ведут капитаны  
Открыватели новых земель

*Гумилев*

Эти строки Гумилева, на первый взгляд — лишь несвоевременный отзвук давно минувших, иных по напряжению, эпох.

Как будто в наш век —

Не все пересчитаны звезды,

Как будто наш мир не открыт до конца...

Действительно, в наши дни еще относительно молодые капитаны идут в казначейства получать свои пенсии, чтоб в тиши, вдали от океанов, доживать свой век. Действительно, может казаться, что в наши дни тем, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, в «умиротворенной» Европе нечего делать... Быть может, это и так для Европы, но для нас, для Русских, еще не наступили мирные дни: Россия для нас закрыта.

Для нас эти, пропитанные древним духом, строки не пустой звук — ведь наша земля закрыта для нас. Наш единственный долг, наша единственная задача, открыть путь на свою Родину, «Новые земли» — для нас — наши родные земли... И для нас поэтому полны смысла гумилевские стихи: капитанам Н.С.Н.П. суждено быть «открывателями новых земель» — суждено открыть путь в Россию.

Это почувствовали все — и близкие, и далекие, и друзья, и враги почувствовали, что Н.С.Н.П. прокладывает путь в Россию, что его революционный дух открывает дорогу к России, к вечному ее облику.

Перед Н.С.Н.П. те же трудности, те же препятствия, как в дни походов «открывателей новых земель»...

В те дни обыватели были убеждены, что нет никаких «новых земель»; а теперь они мнят, что большевизм вечен, что Русь закрыта для нас навсегда, что наши усилия напрасны. Политическое равнодушие наших дней может быть преодолено только — как и в прежние времена — нашей победой.

Как и в те дни, перед нами те же долгие мертвые воды безверия и разочарованности; те же грязные волны провокации,

лжи, предательства и обмана; тот же океан человеческой низости.

И как тогда, из капитанов Н.С.П.Н.

«ни один не свернет паруса»...

Тогда в неведомые моря бросали погибших по пути к «новым землям»; теперь в неизвестных могилах покоятся расстрелянные «за Россию»...

И как тогда была лишь одна мечта о «новой земле», так теперь нас ведет одна лишь мысль — к родной земле...

И как бывало тогда, и теперь перед нами стоят тени «капитанов с ликами Каина», ныне владеющих и правящих Россией...

Потому, все более и более твердой и умелой рукой

— «на разорванной карте» —

— на разорванной большевиками карте России — капитаны Н.С.Н.П.

— «отмечают свой дерзостный путь»

Они знают, как знали их собратья иных эпох, что неизбежно придет день, когда раздастся долгожданный, победный клич. «Земля»...

«Русская Земля»...

*За новую Россию (София). 1936. № 1(45); подпись: «И. Гуптало».*

## Андрей Балясный

### О поэзии Н. Гумилева

Вспомнить о замечательном поэте, к тому же сравнительно мало известном, всегда уместно, а весьма своевременный выход в свет сборника его избранных стихотворений дает для этого лишний повод\*.

Правда, вызывает удивление небольшая вступительная заметка к сборнику, которая не только крайне поверхностна,

\* Н. Гумилев. Избранные стихи. Одесса, 1943. Стр. 60.



но и содержит грубые ошибки и досадные ляпсусы (неправильно указан год рождения Гумилева, не верно сообщение, что он окончил Политехнический институт, не соответствует истине и производит очень курьезное впечатление указание, будто поэт «дрессировал крокодилов в Америке», хотя в действительности он не бывал в Америке и не выступал в качестве укротителя зверей). Кажется, давно пора понять, что нельзя смешивать анекдотов с подлинными фактами; для избежания ошибок и устранения фантазий в данном случае было бы вполне достаточно обратиться к энциклопедиям...

История русской поэзии на редкость богата, хотя и не слишком длинна. Но даже среди сокровищ духа, полных мысли и красоты, многие произведения Гумилева принадлежат к прекраснейшим жемчужинам. Увы, как много людей, даже «образованных», даже «ученых», которым неизвестны именно лучшие страницы из истории русской культуры!

Не только творчество нашего поэта, но и его жизнь заслуживает пристального внимания. Если нашлось бы больше людей, подобных ему, то кровавый коммунизм никогда не добился бы успеха, и огромная страна была бы спасена от хаоса и гнусной тирании.

Своеобразна короткая и бурная жизнь Николая Степановича Гумилева (всего 35 лет, 1886–1921).

Он родился в Кронштадте в семье флотского врача, потомка довольно старинного, но обедневшего дворянского рода. Быстро промелькнули Царскосельская гимназия, волнения, связанные с первыми выступлениями в печати («Путь конквистадоров», 1905), годы парижской жизни, когда Гумилев учился в знаменитом университете (Сорбонна) и переводил изысканные строфы Теофиля Готье, историко-филологический факультет Петербургского университета, неудачный брак с А. Горленко <так> (известная поэтесса Анна Ахматова), ряд далеких заграничных путешествий, богатых опасными приключениями (Италия, Египет, Абиссиния, Центральная Африка, Сомали — в период 1907–1913 гг.).

В те годы Гумилев приобретает известность, по крайней мере среди знатоков (стихотворные сборники «Жемчуга» и «Чужое небо» — 1910–1912), сотрудничает в журнале «Апол-

лон» и становится главою поэтической школы акмеистов. Не кончив университетского курса ни в Париже, ни в Петербурге, этот блестяще талантливый и глубоко-образованный человек, не нуждаясь в дипломах, по справедливости занимает одно из виднейших мест в плеяде деятелей русской культуры.

Как привлекательна фигура Гумилева! Как он мужественен и мудр! Среди почти повального демократически-социалистического безумия, господствовавшего в предреволюционном русском обществе, окруженный пустыми мечтателями, фанатиками лжи, болтунами, неврастениками, Гумилев смело ищет красоту жизни, восхищается грозным величием природы, размышляет о Боге, открыто показывает любовь к своему государю и к своей родине. Как верный паладин, он защищает русскую культуру от нападений со всех сторон, от злобных ударов писаревско-горьковского революционно-хулиганствующего нигилизма.

Грянула война 1914 года. И вот Гумилев — доброволец на фронте, почти все время под огнем на передовых линиях. «Святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь». Ряд тяжелых боев и утомительных переходов, непрестанные труды и опасности, солдатский георгиевский крест, офицерские погоны, орден святого великомученика и Победоносца Георгия — вот жизнь поэта в годы войны.

Революция 1917 года застала Гумилева за границей. Он был послан во Францию, а затем на Салоникский фронт. Многие тогда спасались из большевистского ада за границу. Гумилев вернулся из-за границы в Россию для того, чтобы выполнить свой патриотический долг — бороться против иудобольшевистских поработителей родины.

Его муза не умолкла в грозе и буре великих потрясений. Об этом свидетельствуют стихотворные сборники «Колчан» (1916), «Костер» (1918), «Огненный столп» (1921), поэма «Мик» (1918), посмертно напечатанный сборник рассказов и т.д.

Однако талантливый поэт был прежде всего неустрашимым бойцом. Формально — председатель Петроградского союза поэтов, он вел в действительности крупную подпольную антибольшевистскую работу.

В 1921 году Гумилев был расстрелян ЧК за участие в заговоре Таганцева.

Пролилась «поэта праведная кровь», исполнилось его предчувствие: он умер «не на постели при нотариусе и враче», певец и воин окончил свой жизненный путь мучеником...

Каковы же главные особенности поэзии Гумилева? Какие темы его интересовали? Каково его восприятие мира? Гумилев более, чем кто-либо другой, умел передать и «внутреннее» и «внешнее», соединить пластичность и яркость образов с глубиной философской мысли и искусством раскрытия сокровенных дум и чувств человека. Техника стихотворений изумительна; здесь и разнообразие неожиданных звучных рифм, и богатство оригинальных ритмов, и умение найти своеобразный эпитет. Стих Гумилева энергичен, упруг, мужественен, хотя временами звучит напевно, когда этого хочет автор.

Гумилев любил героически мощные или причудливо-таинственные образы прошлого. В своих «Капитанах» он воспевал тех:

Чья не пылью затерянных хартий, —  
Солью моря пропитана грудь,  
Кто иглой на изорванной карте  
Отмечает свой дерзостный путь.

«Помпей у пиратов» или «Каракалла» воскрешают фигуру древнего героя и странный облик своеобразного римского властителя эпохи упадка. Ничто не было более чуждым Гумилеву, нежели трусость и мягкотелость. Его душа:

Глас Бога слышит в воинской тревоге  
И Божьими зовет свои дороги.

(«Пятистоппные ямбы»)

Недаром поэт всегда хотел «быть стрелой, брошенной рукой Немврода иль Ахилла».

Гумилева всегда восхищало грозное великолепие жизни. Его мужественная душа стремилась к подвигам. В наши кроваво-серые дни он хотел вновь пережить упоение возвышенной доблестью и благородной славой. Искренний порыв души звучат в словах:

Весело думал: если мы одолеем,  
— Многих уже одолели мы,  
Снова дорога желтым змеем  
Будет вести с холмов на холмы.  
Если же завтра волны Уэби  
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,  
Мертвый, увижу, как в бледном небе  
С огненным черным борется бог.  
(«Африканская ночь»).

Гумилев имел право написать:  
Но когда вокруг свищут пули,  
Когда волны ломают борта,  
Я учу их, как не бояться,  
Не бояться, и делать, что надо.  
(«Мои читатели»).

Он мог гордо воскликнуть:  
Всем оскорбителям мы говорим — привет,  
Превозносителям мы отвечаем— нет!

В стихотворении «Леопард» поэт увлекательно рисует пустыню:

Запах меда и вербены  
Ветер гонит на восток,  
И ревут, ревут гиены,  
Зарывая нос в песок.

Он прославляет великую реку Нигер:  
Ты торжественным морем течешь по Судану,  
Бьешься с хищною стаей Сахарских песков,  
Дышишь полной грудью в лицо океану,  
С середины твоей не видать берегов.  
(«Нигер»).

Какое упоение красотою мира чувствуется в замечательной «Канцоне первой»:

И, вступая на кручи,  
Молодая заря  
Кормит жадные тучи  
Ячменем янтаря.

Гумилев был тонким и глубоким мыслителем. В чудесных образах он обрисовывает древнюю идею об изначальном человеческом «я», непосредственно связанном с вечностью, ко-

торое выше не только тела, но и души («Душа и тело»). Как выражает тело свою любовь к жизни:

Люблю в соленой плескаться волне,  
Прислушиваться к крикам ястребиным,  
Люблю на необъезженном коне  
Нестись по лугу, пахнущему тмином,  
И женщину люблю, когда глаза  
Ее потупленные я целую,  
Я пьяно, будто близится гроза,  
Иль будто пью я воду ключевую.

И все же это тело — лишь «бледный отсвет сна». Мудро и прекрасно передает Гумилев изменчивость даже наших глубочайших переживаний («Память»). Незабываема болезненная и вместе с тем иронически-реалистично истолкованная призрачность «Леса». Необычайно изящна тонкая усмешка в неподражаемом «Индюке»...

Мы дали лишь несколько беглых замечаний о жизни и творчестве Гумилева. Грустно становится, когда вспоминаешь о судьбе этого талантливого поэта и выдающегося по мужеству и благородству человека. В течение двадцати лет творчество Гумилева упорно замалчивалось. Сколько всякой дряни всплыло на поверхность! Какой-нибудь Жаров или Уткин почитались даровитыми поэтами, а о Гумилеве молчали. Советская «культура» процветала. Палачи и невежды по-каннибальски плясали над могилами лучших людей, издевались над прекраснейшими созданиями русского духа, забрасывали их грязью или нагло извращали.

Всякому злему делу приходит конец. Если русская культура не погибла в годы жидокоммунистического осмеяния и нигилистического отрицания, то она не погибнет и от сталинского «патриотизма». Русская культура не умрет; и память о Гумилеве не исчезнет. Для всех, кто по-настоящему любит и будет любить Русь и высокое искусство, поэт, воин и мученик — Николай Гумилев — навсегда останется дорогим, благоговейно почитаемым образом.

*Молва (Одесса). 1944. № 331. 14 января.*

## Сергей Аскольдов

### Поэзия Николая Гумилева

В 1921 году, в возрасте 35 лет, советским правительством был расстрелян, как контрреволюционер, талантливейший, а для некоторых даже гениальный, русский поэт, Николай Степанович Гумилев.

Гумилев стоял как-то особняком от современных ему поэтов. Его относили к группе «акмеистов» — довольно неопределенному направлению, возникшему в противовес туманному символизму и звавшему к предельной ясности образов и звучности стиха (акмэ — вершина, расцвет). В поэзии Гумилева был несомненно этот возврат к кристальной четкости образов и поэтических созвучий пушкинской эпохи, но в наибольшей степени он все же отдал дань своему времени и даже тому же символизму. Этот символизм ясно обнаруживается во многих самых многозначительных его стихотворениях, например: «Слово», «Память», «Заблудившийся трамвай». По содержанию своих произведений Гумилев исключительно оригинален и многообразен. Можно отметить три основные пути его творчества.

Первый путь ведет нас в давнюю эпоху смелых завоевателей новых земель и, скажем точнее, его излюбленным термином, «конквистадоров». Если его пленяют эти смелые искатели приключений и опасностей, то его тем самым пленяет и поприще их деятельности — не города культурной Европы, — а неисследованные страны, где живут особой, нам непонятной жизнью и верованиями, дикие племена, нам непривычные животные и растения. Экзотика этих стран, по преимуществу Африка, в которой побывал наш поэт, — экзотика географическая и — скажем шире — экзотика духа — вот что многообразно отражается в поэтических видениях Гумилева. В этой области Гумилев обычно переходит в романтику, то есть он рисует не реальную действительность, как всякий путешественник, а какую-то потенцированную действительность, то, что могло бы быть, иногда просто легендарное. Он фантастически воссоздает образы далекой истории, как, например, в красочном стихотворении «Царица» изображает

какую-то супругу завоевателя Тимура, — рисует сцену неудавшегося покушения на ее жизнь каким-то свободолюбцем покоренного народа, переодетым жрецом.

Но рот твой, вырезанный строго,  
Таил такую смену мук,  
Что я в тебе увидел Бога  
И робко выронил свой лук.  
Толпа рабов ко мне метнулась,  
Теснясь, волнуясь и крича,  
И ты лениво улыбнулась  
Стальной секире палача.

Эта пленительная, почему-то полная страстной муки, женщина рисуется поэтом, как видение из далекого прошлого. Она привычна к убийству, словно дикая пантера, и в то же время исполнена какой-то первобытной одухотворенности.

В четырех стихотворениях о «капитанах» Гумилев от чисто реалистической картинки — стоянки в приморском порту, где изображаются драки матросов и подозрительный люд в портовых тавернах, — переходит к героическим образам смелых мореплавателей — Лаперуза, Де Гама, Кука, — а в последнем стихотворении из этого цикла повествует о каких-то мистических областях океана.

...Там волны с блесками и всплесками  
Непрекращаемого танца,  
И там летит скачками резкими  
Корабль «Летучего голландца».

И это опять не Летучий голландец из немецкой легенды, обработанной музыкально Вагнером, а более жуткий образ «капитана с ликом Каина».

Сам капитан, скользя над бездною,  
За шляпу держится рукою,  
Окровавленной, но железною  
В штурвал вцепляется другою.

И экзотика диких племен Африки упирается у Гумилева в мистически-потустороннее.

Завтра мы встретимся и узнаем,  
Кому быть властителем этих мест:  
Им помогает черный камень,

Нам — золотой нательный крест.  
Весело думать, если мы одолеем —  
Многих уже одолели мы —  
Снова дорога желтым змеем  
Будет вести с холмов на холмы.  
Если же завтра волны Уэби,  
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох, —  
Мертвый увижу, как в звездном небе  
С огненным черным борется бог.

Влюбленный в Африку Гумилев видит ее под особым знаком таинственных, высших сил.

Замечательно то, что это особое мистическое восприятие Африки мы встречаем не у одного Гумилева. В поэзии Вл. Соловьева, в его центральном стихотворении «Три свидания», последнее, наиболее полное видение «Софии» он воспринял в Африке, по голосу: «в Египте будь». Нельзя не припомнить по этому поводу незаурядного, начинающего писателя Франции, погибшего в войну 1914 г., Психари, который в своем оригинальном сочинении «Путешествие центуриона», описывая свой военный поход в Африку, изображает ее, главным образом, со стороны своеобразных мистических восприятий.

Вторая область поэтических вдохновений Гумилева — это область эротики разнообразных ступеней и оттенков. Здесь и любовь в состоянии достигнутого счастья, как, например, в «Сентиментальном путешествии», где поэт изображает свою поездку по Архипелагу и Средиземному морю, как упоительную, свадебную прогулку.

«...И плывем мы древним путем  
Перелетных веселых птиц,  
Наяву, не во сне плывем,  
К золотой стране небылиц».

Но у него же мы найдем неутоленную, но загадочно уверенную в победе любовь. Ей посвящено замечательное по музыкальности стихотворение, написанное «белыми стихами».

«Если встретишь меня — не узнаешь,  
Назовут — едва ли припомнишь.  
Только раз говорил я с тобою,  
Только раз целовал твои руки.



Но, клянусь, ты будешь моею,  
 Даже если ты любишь другого,  
 Даже если долгие годы  
 Не удастся тебя мне встретить.  
 Я клянусь тебе белым храмом,  
 Что видали мы на рассвете,  
 В этом храме венчал нас незримо  
 Серафим с пылающим взором»...

Опять по иному звучит тоска потерянной любви в необы-  
 чайно сложных по своему содержанию «пятистопных ямбах».

«...Твоих волос не смел поцеловать я,  
 Ни даже сжать холодных, тонких рук.  
 Я сам себе был гадок, как паук.  
 Меня пугал и мучил каждый звук.  
 И ты ушла в простом и темном платье,  
 Похожая на древнее распятие».

Но уже самыми нежными тонами звучит эта любовь в сти-  
 хотворении «Нет тебя тревожней и капризней» и в сонете  
 «Храм твой, Господи, в небесах», где религиозная тема пере-  
 плетается с возвышенно-эротической и где поэт просит Бога:

«...Перед той, что сейчас грустна,  
 Объявись, как незримый свет,  
 И на все, что спросит она,  
 Ослепительный дай ответ».

Наиболее трагично звучит тема потерянной любви в «За-  
 блудившемся трамвае»:

«...Как ты стонала в своей светлице,  
 Я же, с напудренною косой,  
 Шел представляться императрице  
 И не увиделся вновь с тобой».

Третья настойчивая тема Гумилева — область религиоз-  
 ных идей и чувств, иногда пафоса, как, например, в конце сти-  
 хотворения «Память»:

«...Я угрюмый и упрямый зодчий  
 Храма, восстающего во мгле.  
 Я возревновал о славе Отчей,  
 Как на небесах, так на земле.  
 Сердце, будь же пламенем палимо

Вплоть до дня, когда взойдут ясны  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны».

Совсем иными, умиротворенными тональностями звучит религиозное чувство поэта в конце тех же «пятистопных ямбов», где некоторые строчки являются парафразами известной Богородичной молитвы:

...Честнейшую честнейших Херувим,  
Славнейшую славнейших Серафим,  
Земных надежд небесное свершенье,  
Она\* величит каждое мгновенье.  
И чувствует к простым словам моим  
Вниманье, милость и благоволенье.

Есть на море пустынном монастырь,  
Из камня белого, золотоглавый,  
Он озарен немеркнущею славой.  
Туда б уйти, покинув мир лукавый,  
Смотреть на ширь воды и неба ширь!  
В тот золотой и белый монастырь»

Мы перечислили только главные этапы поэтических сюжетов Гумилева. Но у Гумилева множество прекрасных по форме и многозначительных по содержанию стихотворений, которые не попадают в намеченные нами рубрики, например, «Рабочий», где поэт пророчески предвидит, что он погибнет от пули:

«Пуля, им отлитая, просвищет  
Над седой, вспененною Двиной,  
Пуля, им отлитая, отыщет  
Грудь мою, она пришла за мной».

Есть несколько стихотворений и их частей, которые можно отнести к категории «военных», насыщенных опытом войны, например, «Наступление», «Смерть», середина «пятистопных ямбов».

У Гумилева есть полное поэтических красот стихотворение «Крест», где поэт изображает страсть игрока, сначала как

\* По контексту стихотворения: она — это душа поэта.

бы потушенную проигрышем, а потом снова вспыхнувшую. Проиграв все, кроме золотого креста, игрок отрезвляется и ему рисуется прекрасная, освобожденная от страстей жизнь в бедности:

«... Я вышел на воздух. Рассветные тени  
 Бродили так нежно по нежным снегам.  
 Не помню я сам, как я пал на колени,  
 Мой крест золотой прижимая к губам.  
 Стать вольным и чистым, как звездное небо,  
 Твой посох принять — о, сестра нищета —  
 Бродить по дорогам, выпрашивать хлеба.  
 Людей заклиная святыней креста...  
 Мгновенье... И в зале веселой и шумной  
 Все стихли и встали испуганно с мест,  
 Когда я вошел, воспаленный, безумный,  
 И молча на карту поставил свой крест».

Вообще тематика стихотворений Гумилева исключительно разнообразна и богата самыми подчас неожиданными, мыслями и психологическими окрасками. В стихотворении, посвященном городу Пизе, поэт начинает с описания внешности города, затем переходит к историческим воспоминаниям, потом бросает несколько метких мыслей о природе времени:

«...Все проходит, как тень, но время  
 Остается, как прежде мстящим,  
 И бывшее, темное время  
 Продолжает жить в настоящем».

И наконец опять дает неожиданное, блестящее картинное заключение:

«...Сатана в нестерпимом блеске,  
 Оторвавшись от старой фрески,  
 Наклонился с тоскою всегдашней  
 Над кривою пизанскою башней».

В этой неожиданности точек зрения Гумилева на всякое явление, в его исключительной изобретательности в развитии всякого сюжета именно и сказывается гений поэта. И все это оформляется в соответствующую музыку ритма и образов. По этому богатству духовного диапазона Гумилева

можно сопоставить более, чем других, с Пушкиным. Напечатанная в настоящем номере драматическая поэма Гумилева «Гондла» уже по чисто формальным основаниям заслуживает особого внимания: поэтических талантов у нас много, но все же их хватает обычно лишь на небольшие стихотворения. Поэма же, да еще в драматической форме — это уже исключительное явление для русских поэтических богатств. Если же учесть внутренние достоинства этого произведения, а именно: сильный и выразительный, как бы кованный, стих и абсолютно оригинальный и острый по драматичности сюжет, то поэму «Гондла» можно отнести к выдающимся произведениям мировой литературы.

Сюжет поэмы в какой-то мере исторический. Дело идет о распространении христианства в IX веке на островах севера: Ирландии и Исландии. В Ирландии христианство уже усвоено и оно перекидывается оттуда в Исландию — остров более суровый и дикий и по климату, и по нравам населения. Вот все, что относится к истории. Далее идет уже богатая фантазия поэта-драматурга. Никто иной, как ирландский королевич Гондла, случайно попавший в Исландию, является передатчиком веры Христовой. Но вот тут же и заложен искусный драматический замысел автора. Гондла в одно и то же время и королевич и ничтожный, слабосильный, некрасивый сын простолюдина. Корона на его голове все колеблется. Он — жертва страшной злобной интриги со стороны исландцев. Он переносит величайшие муки оскорбления и унижения. У него хищнически и обманно отнимают невесту тотчас после свадебного пира. Он побеждает всех своих врагов лишь в конце и добивается обращения в христианство исландцев лишь ценою своей жизни.

Второе по значению лицо драмы — его невеста Лера, она же и Лаик. Ее образ замечателен и глубоко оригинален, в ней как бы две души: дневная, связанная с именем Леры, полна животной силы и страсти и той примитивной грубости, которой отличаются все исландцы. Но ночью в ней просыпается другая душа, связанная с именем Лаик. В этой своей второй половине она романтична и нежна. Как Лаик, она любит хотя и некрасивого, но нежного душою Гондлу, а как Лера, она усту-

пает дикой страсти обидчика Гондлы, сильного и красивого Лаге. В поэму интересно замешан и мистический колдовской элемент. Дикие исландцы, прозванные за свою дикость волками, от звуков зачарованной лютни почти превращаются в настоящих волков. Поэма «Гондла», кроме ее поэтических достоинств, во всех своих действиях полна сильного драматического движения и прямо просится на сцену.

Но разнообразие и многогранность творчества Гумилева не исключают каких-то постоянных и преобладающих черт его поэзии. Гумилев, как и всякий поэт «Божьей милостью», имеет свою поэтическую физиономию. Его лицо всюду и везде дышит какой-то побеждающей силой и бодростью, даже когда он как бы падает в изнеможении под ударами судьбы.

Такою бодростью и глубокими мыслями о плодотворности страданий проникнуто его замечательное стихотворение «Солнце духа». «Как могли мы», — восклицает он, — «прежде жить в покое»:

«И не ждать ни радостей, ни бед,  
Не мечтать об огнезарном бое,  
О рокошущей трубе побед».

И в другом месте какому-то истомленному и упавшему духом больному грозно вещает Св. Георгий:

«От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,  
Но сильного слезы пред Богом неправы,  
И Бог не слышал твоего отреченья,  
Ты встанешь завтра и встанешь для славы».

Гумилев был бесстрашным воином на войне. Об этом свидетельствуют его два Георгиевских креста. Но вся его поэзия и его славный мученический конец от пули подлых советских палачей свидетельствуют, что он был не только доблестным воином на полях сражений, но и был воином духа на всех жизненных поприщах. Поэтому теперь, в годину войны и всех военных испытаний, его поэзия особенно должна быть нам близка и созвучна и служить призывом к духовному подвигу на всех фронтах нашей жизненной борьбы.

*Для всех (Рига). 1944. № 6. С. 28–30.*

*Статья подписана «Очерк проф. С.А. Зырянского».*

**Андрей Альтаментов****Памяти поэта**

Я научу их, как припомнить жизнь

*Гумилев*

Глубины памяти неизмеримы, но она — будто музеи или книгохранилище: если надо, то и отыщешь. Лучшее, драгоценнейшее всегда ближе, и обходишься без усилий, без напряжения. Очень удобно припоминать в хронологическом порядке, располагая события или имена веками.

Но есть имена, которые звучат, как воспоминания. Память и воспоминание — это ведь не одно и то же. Воспоминание только в какой-то части является прошлым, а в основном оно также странствует с нами от детских лет к сединам и сознанию утрат, как материнская ласка, как то, что коротко и туманно называется «я».

Гумилев — воспоминание именно такой категории, неотрывная тень, уголок души, шестое, седьмое или еще какое-то чувство.

Раз услышал бедный абиссинец,  
Что далеко, на севере, в Каире  
Занзибарские девушки пляшут  
И любовь продают за деньги

Как было не пойти абиссинцу в Каир? Всякий (и каждый, и всякий) хочет покинуть скудость бытия ради роскошеств, доступных его фантазии. И абиссинец шел, и дорогой напали на него разбойники, отняли скопленные деньги, и вернулся он восвояси ни с чем, Белые стихи рассказали нам это и спрятались в листках книжечки Гумилева. Они там и сейчас, когда читатель отулыбался.

Осталось смутное — непродажный аромат любовной мечты, абстрагированной от неустойчивой цены реальных продажных женщин Каира,

Храм Твой, Господи, в небесах,  
Но земля тоже Твой приют.  
Расцветают липы в лесах,  
И на липах птицы поют.

Это — тоже гумилевские стихи и написаны они давно-давно, а когда хочешь оправдать свою милую и горестную зем-

лю, нет лучшей формулы для умиротворяющего приговора. Хотелось бы не сомневаться в справедливости благостного приговора:

Если, Господи, это так,  
 Если праведно я пою,  
 Дай мне, Господи, дай мне знак,  
 Что я волю понял Твою.

Дрожащие ресницы стоят канцоны, как и виденье бедного абиссинца, покоренного судьбой.

Можно ли уложить в рамки символизма столь яркое мироощущение? Поэта влекли просторы, и он смастерил инструмент, чтобы высвободиться из пут схоластики — акмеизм. Слава Богу, акмеизм не стал школой и выполнил скромную роль инструмента. Гумилев, конечно, остался символистом (об этом писал В. Брюсов), но и романтиком, реалистом, парнасцем он оставался до конца дней своих.

Гончаров когда-то сказал: «Стремление к идеалам, фантазия — это тоже органические свойства человеческой природы. Ведь, правда, в природе дается художнику только путем фантазии». Так защищал Гончаров реализм против натурализма. Для Гончарова реализм — был последним словом и законом, ограждающим право свободного творчества. Искушенные многими соблазнами, мы отвергли всякие школы и учения, и не видим необходимости производить схоластические изыскания. В Гумилеве и Брюсове, в Тютчеве и Пушкине — самое ценное — художественная правда, за которую и ратовал Гончаров. Разного рода «измы» нужны, как масштабная линейка, только в приложении к эпигонам того или иного отслужившего свой век литературного течения.

Воля к жизни, активная воля, завоевательский инстинкт — в этом художественная правда Гумилева. Диапазон его восхищения бытием огромен: моряк, оборванец или солдат, они крепко держат в душе конец нити, связующей их с бытием. В стихотворении «Капитаны» поэт славословит тех,

Чья не пылью затерянных хартий, —  
 Солью моря пропитана грудь,  
 Кто иглой на разорванной карте  
 Отмечает свой дерзостный путь...

Повинуясь военной дисциплине, вовсе не обязательно быть только сосчитанным перед наступлением бойцом. Мужество предписывается уставом, но рождается в сердце. Если оно родилось,

...Залитые кровью недели  
Ослепительны и легки.  
И так сладко рядить победу,  
Словно девушку, в жемчуга,  
Проходя по дымящему следу  
Отступающего врага. («Наступление»)

С такой пульсацией ничто не страшно и все романтично, даже бездомность и одиночество. Одиночество и бездомность полнее всего открывает душу подлежащему миру; светлеет ум и ширится взор:

Я пройду по гулким шпалам  
Думать и следить  
В небе чистом, небе алом  
Рельс бегущих нить.

Путь-дорога возносится над землей и уходит в закатные небеса. Эти стихи («Оборванец») заканчиваются прозаизмом: друг смеется над романтическим бродягой:

Начитался дряни разной,  
Вот и говоришь!..

И прозаизм — уместен, ибо он ставит грань между той, Гончаровым отмеченной, «правдой в природе» и художественной правдой.

Земля, к чему шутить со мною:  
Одежды нищенские сбрось.  
И стань, как ты и есть, звездой,  
Огнем пронизанной насквозь!

Так отвечает поэт, другу и недругу — точной и совершенной строфой в стихотворении «Природа».

Преображение земли — таково требование поэта. Она должна стать, как и поэзия Гумилева, «огнем пронизанной насквозь». Мы мечтаем о том же. Мы еще живем мечтами Гумилева.



## Вячеслав Завалишин

### Предисловие к собранию сочинений Гумилева

Людей, которые бы не знали, что такое страх, в мире нет. Но человек может быть рабом страха или властелином своих судеб. Преодоление страха создает героев. Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как знаменосец героической поэзии.

Я конквистадор в панцире железном,  
 Я весело преследую звезду,  
 Я прохожу по пропастям и безднам,  
 И отдыхаю в радостном саду...  
 Но я приду с мечом своим  
 (Владеет им не гном),  
 Я буду вихрем грозovým,  
 И бурей и огнем...

Сильные, смелые люди, которых влечет мечта к неизведанным краям, появились еще в «Романтических цветах», раннем опубликованном сборнике Гумилева. Земной мир прекрасен, надо только уметь чувствовать и видеть сияние его искрящихся на солнце красок. Даже в звериных инстинктах человеческой природы есть первобытная чарующая краса.

Гумилев — романтик, но его романтика особенная, она вмещает в себе всю страсть мира, проявившуюся и в героических подвигах и в приступах осатанелой злобы, с которой человек борется, напрягая и мускулы, и силу воли.

На творчество Гумилева оказали значительное воздействие Стивенсон, Райдер Хаггард и особенно Редьярд Киплинг. В советской критике, где вульгарный социологизм стал неизлечимым пороком, эта общность чувств и дум объясняется тождеством мировоззрений идеологов воинственного империализма. Как убоги, односторонни и несправедливы подобного рода формулировки.

И Киплинг, и Хаггард, и Гумилев преклоняются перед величием духа не только завоевателей, но и угнетенных. Помните «Замбези».

Гумилев выработал чеканный мускулистый стих, где динамическая энергия ритма сочетается с музыкальностью.

Гумилев культивировал тоническую систему стихосложения. В этом роде поэзии он не имеет себе равных. Владислав Ходасевич в своих воспоминаниях о Гумилеве утверждает, что изучаемый нами поэт едва ли не самый крупный знаток стиха, более виртуозный и чуткий, чем даже прославленный архитектор поэзии Валерий Брюсов.

Гумилев — подвижник русской культуры, которую он обогатил творческим преображением поэтических идеалов запада. У Гумилева есть много стихотворений, где он выражает впечатления, возникшие в его душе во время осмотра — не поверхностного, а глубокого и вдумчивого — памятников живописи, старинных соборов средневекового искусства. При этом нас поражает необычность точек зрения и исключительно своеобразный подход к прошлому: на старину Гумилев смотрит не как «физиолог», вскрывающий мумии, а как человек, который хочет, чтобы восторги и страдания, бушевавшие в сердцах мастеров искусств далекого прошлого, были бы и для нас, людей 20-го века, понятными и близкими.

«Но все в себе вмещает человек,  
Который любит мир и верит в Бога!»

Любовь к средневековью сочетается у Гумилева с жадой странствий. Поэт путешествует по Африке; возникает новый цикл стихотворений, навеянных негритянским фольклором. Героическая романтика Гумилева становится более земной, жизненно-правдивой. Человек должен учиться преодолевать препятствия, которые стоят на его пути, какими бы тяжелыми эти препятствия не были.

Первая мировая война — новая ступень и в жизни и в творческой деятельности Николая Гумилева. Поэт уходит добровольцем на фронт, в действующую армию. «Он по-настоящему любил и интересовался только одной вещью на свете — поэзией», — пишет о Гумилеве Георгий Иванов. Священная обязанность человека служить родине. Гумилев, награжденный за храбрость двумя георгиевскими крестами, во время войны проявляет себя как талантливый журналист. Его корреспонденции с фронта дают нам основание заключить, что Гумилев сделал журналистику особым жанром художественной литературы.

Советская критика особенно яростно ополчилась на Гумилева за участие в мировой войне. Приверженцы вульгарной социологии хулигански называли его «цепной собакой кровавой монархии».

Это обвинение и гнусно, и жалко.

В стихах о войне Гумилев подчеркивает, что героизм преступно отождествлять с жестокостью. Милосердие к побежденным, уважение к павшим — вот что должно отличать человека, способного на подвиги и на жертву:

Но тому, о Господи, и силы,  
И победу в светлый час даруй,  
Кто поверженному скажет: «Милый,  
На, прими мой братский поцелуй».

Военные стихи Гумилева знаменательны еще и тем, что поэт, всеми силами души влюбленный в Африку, вышел на просторы русских степей:

Словно молоты громовые,  
Или воды гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей.

Вся творческая жизнь Гумилева была рыцарским служением русской земле и ее культуре. Когда в России разразилась гражданская война, Гумилев, находившийся за границей, возвращается в Петербург. Святая Русь распята на кресте злобной и страшной стихией. Долг воина объявить вызов силам зла: Гумилев участвует в таганцевском заговоре, пишет прокламации, содействует как агитатор кронштадтскому восстанию. Жизнь Гумилева превратилась в эти дни в героическую поэму. Поэт преодолевает не страх, а страдание. Его деятельность окончилась в застенках Ч.К. Когда следователь спросил, почему поэт обнажил меч против советской власти, Гумилев ответил: «Потому что я монархист».

«Не беспокойся обо мне, я чувствую себя прекрасно. Читаю Гомера и пишу стихи», — сообщал Гумилев своей жене, зная, что часы его сочтены. На расстрел он шел, улыбаясь, и смерть встретил мужественно.

Годы жизни в Петербурге периода гражданской войны и событий, за ней последовавших, придали поэзии Гумилева

новую окраску. Опыяненный гневом мастеровой поднял топор, чтобы разнести в щепы ту культуру, одним из создателей которой был Гумилев. От сознания этого поэтические образы мастера слова приобретают мрачный колорит, творчество становится каким-то нервным, но вместе с тем психологически углубленным.

Правда, и несколько раньше поэта интересуют провалы чувств и дум у людей, изведавших катастрофы судьбы. Такова, например, маленькая поэма «Крест». Герой проигрывает в карты все, что имел. Возбужденный и мрачный, выбегает он на крыльцо, глотая холодный мартовский воздух. Он подавлен поражением. Воображение рисует мрачные перспективы будущего. Герой с ужасом чувствует, что он стал нищим и вынужден бродить по дорогам, выпрашивая кусок хлеба. Ему душно, он распахивает ворот рубахи и видит на груди золотой крест. Герой входит в комнату, где сидят его партнеры, и молча ставит на карту свой крест.

Человек, которого судьба сбрасывает на дно жизни, если не потеряет присутствия духа, в самый тяжелый момент найдет путь к выходу из тупика. Но так бывает не всегда.

Поэзия Гумилева омрачается предчувствием гибели. Поэт создает «Заблудившийся трамвай», стихотворение, композиция которого имеет отдаленное сходство с «Пьяным кораблем» Артура Рембо. Поэт понял, что недалеко время, когда его голову срубит палач.

Позднее Гумилев перерабатывает драматическую поэму «Гондла», задуманную еще в самом начале творческой деятельности. В хилом теле затравленного грубой силой человека может таиться такое величие духа, которое делает его выше и чище победителей. Точнее, сила и мощь духа превращают побежденного в победителя. В этой идее Гумилев видит величие и красоту учения Христа о любви. «Тело вы можете поработить, но дух свое возьмет».

После смерти Гумилева был опубликован сборник его стихов «К синей звезде».

Поэт героических подвигов оказался нежнейшим и тонким лириком, который много страдал, с болью в душе неся свой крест: «Люди близкие к нему знают, что ничего воинствен-

ного, авантюристического в натуре Гумилева не было. В Африке ему было жарко и скучно, на войне мучительно мерзко, в пользу заговора, из-за которого он погиб, он верил очень мало... Он твердо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человеческом деле будет всегда стремиться быть впереди других, кто глубже других, зная человеческие слабости, — эгоизм, ничтожество, страх, должен будет на собственном примере, каждый день, преодолевать в себе “ветхого Адама”. И от природы робкий, тихий, болезненный, книжный человек, он приказал себе быть охотником на львов, солдатом, награжденным двумя Георгиями, заговорщиком, рискующим жизнью за восстановление монархии, и то же, что со своей жизнью, он проделал над своей поэзией. Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой не особенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзии ее прежнее величие и влияние на души — быть звенящим кинжалом, “жечь сердца людей”», — так охарактеризовал Гумилева Георгий Иванов, один из наиболее способных учеников его.

*Гумилев Н. Собрание сочинений. Т. 1. Регенсбург, 1947. С. 5–11.*

## Николай Ульянов

### Гумилев\*

У Теофиля Готье есть рассказ, горой которого в компании таких же изысканных и утонченно культурных людей, как он сам, устраивает сеанс гашиша в роскошно убранном старинном отеле. Одурманенный зельем, он попадает в мир видений, и вот что ему грезится: музыка Вебера, ожившие плафоны Лемуана с нимфами и головками амуров, персонажи с картин Гойи и с офортов Калло; вместе с масками итальянской

\* В т. 15 «Возрождения» уже была помещена статья Л.И. Страховского, посвященная Гумилеву. Оригинальный подход Н.И. Ульянова к поэзии Гумилева придает теме особый интерес. *Ред.*

комедии танцуют ублюдочные существа с полотен Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Потом прошла вереница женщин, созданных лучшими мастерами Возрождения, химеры, сфинксы, обрывки пейзажей, интерьеров... Только ни одного видения из реального мира, из мира желаний или из темных глубин подсознательного не всплыло в этой оргии снов. То был бред эстета и эрудита. Надобно жить одним лишь искусством и книгой, чтобы бредить так.

Рассказ этот вспоминается всякий раз, когда перечитываешь Гумилева. Не опыт, не наблюдение, не погружение в тайники своего «Я», но книга, картина, старинное здание, музейная витрина лежат в основе его стихов. Не за это ли так не любил его Блок? Эти два человека, чьи имена переплелись так странно, что им суждено, по-видимому, упоминаться всегда вместе — были во всем «различны меж собой». Блоку, остро чувствующавшему жизнь и мир, прозревавшему в них так много страшного, был чужд и враждебен Гумилев, не желавший знать ни человека, ни жизни, ни бездны, окружающей жизнь, живший в выдуманном, вернее, вычитанном мире, да еще мире явно не русском. Он ведь постоянно витает между экватором и сорок второй параллелью — в Африке, на Леванте, в Индии, в Персии, даже в Китае, среди фарфоровых павильонов, языческих идолов, нильских гробниц, «изысканных жираф», львов и леопардов. Часто он среди конкистадоров, мореходов, «открывателей новых земель» времен Колумба и Магеллана. Весь этот мир солнца, крови, соленого воздуха, песков, пальм, смелых подвигов и борьбы порожден не близкой поэту жизнью, не русской отвагой. Отечественных Ермаков, Дежневых, Крузенштернов, Миклухо-Маклаев он либо не знает, либо презирает. Кумиры его — «Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама, мечтатель и царь генуэзец Колумб».

Откуда у северянина-петербуржца такая любовь к «колониальной» экзотике? Причиной тому, конечно, не путешествие в Африку. Поехал он туда уже после того, как возлюбил ее по книгам, и поездка не изменила его эстетического восприятия черного континента. Африка его так и осталась страной, увиденной не глазом путешественника (это не Африка Стэнли, Ливингстона, даже не Африка Маринетти), а навеянной

чужими произведениями искусства. Свой морской и тропический мир Гумилев взял у Кольриджа, Стивенсона, Леконт де-Лиля, Киплинга. Он открыт и отвоеван ими в борьбе с хаосом; наш поэт получил его в наследство. Оттого он и выглядит у него картиннее, наряднее. Если слоны и ягуары Леконт де-Лиля стихийны и плотски убедительны, то в леопардах и жирафах Гумилева есть стилизация. Они изысканные, почти салонные, ими прельщают скучающих петербургских дам. Не Африка их родина, а Монпарнас.

В Гумилеве чувствуется некая упоенность своим французским вкусом, всем своим европейским обликом. Так и кажется, что он простить себе не может своего русского происхождения. И так странно наблюдать упорное стремление обручить его с Россией, т.е. старой сусальной традиции: хороший поэт обязательно должен быть, по-особенному, русским.

У известной части эмиграции есть своя политграмма, не менее плоская и не менее пошлая, чем политграмма советская, только с другим знаком. Есть и свой «социальный заказ». Не этим ли объяснить постепенное обволакивание имени поэта грязноватой оболочкой дешевого политиканства? Он — и великий патриот, и рыцарь монархии, и чуть ли ни столп православия, и певец подлинной России, не в пример большевизанствующему Блоку. И все потому, что кончил дни в чекистском застенке — факт, по-видимому, глубоко посторонний его биографии и особенно его поэзии.

Существовали ли у Гумилева политические убеждения? Стихи его не дают на это ответа. Вернее всего, он принадлежал к тем русским молодым людям, которые своей аполитичностью и своим абсентеизмом наводили Блока на такие печальные размышления. Первый политический лепет стали издавать после того, как разгромили их усадьбы, расстреляли родных и близких, а то и самих посадили на «Гороховую 2». За что попал туда Гумилев? За убеждения? За контрреволюционную деятельность? Это тоже неизвестно. Быть может, — ни за что, как прочие миллионы жертв чекистского террора. Дело Таганцева до сих пор покрыто мраком. Говорят, оно было предтечей тех знаменитых процессов, что ошеломили мир лет 10–15 спустя, когда искусство фабриковать

заговоры в недрах ГПУ достигло предельного совершенства. Только архивы МГБ могли бы пролить свет на тайну гибели Гумилева. Все, что рассказывается о ней друзьями и близкими поэта, недалеко ушло от легенды. И меняются эти легенды в зависимости либо от личных, либо от политических настроений. На протяжении, сравнительно, короткого времени, одно и то же лицо уверяет сначала, что никаким монархистом Гумилев не был, умер за поэзию. А потом поэзия отступает на последнее место, и Гумилев умирает, главным образом, за Россию и за монархию.

Если это и было так, то в творчестве поэта нет к этому ключа.

Та же Россия. Хоть он и утверждает, что ее золотое сердце «мерно бьется в груди моей», но читатель воспринимает этот стих как «кимвал звенящий». Ведь можно по пальцам перечест количество раз, когда она случайно мелькает на его страницах среди драконов, пагод и экзотических стран. Даже и в бреду предсмертных стихов, упоминается она вскользь. Из трех мостов, по которым прогремел его «Заблудившийся трамвай», только один лежал через Неву, остальные — через Нил и через Сену. Пригрезившиеся ему русские образы представлены только куполом Исакия, да простертой рукой медного всадника, остальное не наше, — «Индия духа», роща пальм, нищий старик, умерший в Бейруте, зеленая из сказок Гауфа, где «вместо капусты и вместо брюквы, мертвые головы продают».

Когда вспыхнула мировая война, и все крупные наши поэты откликнулись на нее стихами, полными тревоги за судьбы России и человечества, когда даже Маяковский написал гуманистическую поэму «Война и Мир», — один Гумилев восторженно приветствовал пожар Европы.

Барабаны гремите, трубы трубите,  
И знамена повсюду высоко взнесены.  
Со времен македонцев еще не бывало  
Такой грозовой и красивой войны.  
Кровь лиловая немцев, голубая французов,  
И славянская красная кровь...

Кроме Маринетти, давно воспевавшего войну как гигиену мира, едва ли кто другой в европейской литературе воспри-



нял величайшую из катастроф подобным образом. О родине здесь ни слова. Святыни и устремления, во имя которых началась армагедонская битва народов, не занимают поэта. Пафос сражения, величие зрелища, эстетика войны — вот истинная ценность события. Он не боец одного из борющихся станов, он дух, царящий надо всеми и всех подбодряющий. Лишь бы хорошо рубились и красивее проливали свою многоцветную кровь.

И когда в «Пятистопных Ямбах» он находит себе, наконец, место по одну из сторон фронта, мы так и не знаем, которая это сторона? О родине здесь опять ни слова. Пошел он на войну не из любви к ней, а в силу внутренней опустошенности. Путешествуя по разным Левантам, прожег и проиграл все лучшее в жизни и возжаждал боевых тревог, как средства заполнить образовавшуюся пустоту.

И в реве человеческой толпы,  
 В гуденье проезжающих орудий,  
 В немолчном зове боевой трубы  
 Я вдруг услышал песнь моей судьбы  
 И побежал, куда бежали люди,  
 Покорно повторяя: буди, буди.

Он чужой в этой идущей на битву толпе и сам себя ощущает как пришельца.

Солдаты громко пели, и слова  
 Невнятны были, сердце их ловило:  
 «Скорей вперед. Могила, так могила».

.....  
 Так сладко эта песнь лилась, маня,  
 Что я пошел, и приняли меня,  
 И дали мне винтовку и коня,  
 И поле, полное врагов могучих.

Так поступают и кондотьеры, но не так идут спасать родину.

Нигде не видим, чтобы он страдал за нее или мучительно переживал ее гибель. Ведь он был сыном «страшных лет России», на долю ему выпало быть современником мировой войны и революции. Но даже перед лицом этих циклопических сдвигов и потрясений, когда людям свойственно забывать о

своей личной судьбе, Гумилев занят только собой. В тревоге и зловещих предчувствиях, проникших в его стихи, нет страха за Россию, за высшие ценности, но страх за самого себя. То ему мерещится пуля, «что его с землею разлучит», то палач «в красной рубаше, с лицом, как вымя», который срежет ему голову, то какое-то темное возмездие судьбы за всю несправедно проведенную жизнь.

И мы уже не верим, когда в одном прекрасном стихотворении он уверяет, будто его

Сердце будет пламенем палимо  
Вплоть до дня, когда взойдут ясны  
Стены нового Иерусалима,  
На полях моей родной страны.

Такое горение, да еще с оттенком религиозности, ему не свойственно. С Богом у него не менее неблагоприятно, чем с родиной. Сказать, что он не верит в Бога — нельзя; он всячески старается примирить с ним свою «вселенскую душу».

«Все в себе вмещает человек,  
Который любит мир и верит в Бога».

Но гораздо чаще звучат ноты глубокого разлада. Не так, по-видимому, просто совместить с Евангелием поэзию буйства жизни, хищности, конквистадорской удали и отчаянных дерзаний. «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу», сказано в соборном послании Апостола Иакова. И поэт это чувствует.

Вижу свет на горе Фаворе  
И безумно тоскую я,  
Что взлюбил я сушу и море,  
Весь дремотный сон бытия.

Кроткого, любящего Иисуса не встретить на его страницах; всюду грозный и могучий Саваоф — повелитель титанических сил, похожий на вавилонского Бэла-Мардука или на германского Одина. И серафимов он любит за их трубный глас, гремящий полет и за сходство с Валькириями. Но все это больше дань церковной эстетике. Если искать у него что-то похожее на религиозное мировоззрение, то это будет скорей — пантеизм, что-то близкое к религии Спинозы, Ницше, Дарвина. Разве не она звучит в этих стихах?

Веселы, нежданны и кровавы  
 Радости, печали и забавы  
 Дикой и и пленительной земли.

Не Космосом ли именуется божество, которому поют эти строки? Это в его неисповедимых силах и бесконечных превращениях — тайна, мудрость и святость мира, и котором нет ни добра, ни зла.

Нет конца обетам и изменам,  
 Нет конца веселым переменам,  
 И отсталых подгоняют вновь  
 Плетью боли голод и любовь.

Особенно хорошо это выражено в следующих, изумительных по силе и блеску стихах:

Освежив горячее тело  
 Благовонной ночной тьмой,  
 Вновь берется земля за дело,  
 Непонятное ей самой.  
 Наливает зеленым соком  
 Детски нежные стебли трав  
 И багряным, дивно высоким  
 Благородное сердце льва.  
 И всегда желая иного,  
 На голодный, и жаркий песок  
 Проливает снова и снова  
 И зеленый, и красный сок.  
 С сотворенья мира стократы,  
 Умирая, менялся прах,  
 Этот камень рычал когда-то,  
 Этот плющ парил в облаках.  
 Убивая и воскрешая,  
 Набухать вселенской душой,  
 В этом воля земли святая,  
 Непонятная ей самой.

Конечно, и в этих стихах не душа Гумилева, а только его эрудиция. Взяв свой мир из книг, он не мог не взять оттуда же и религию этого мира. Сделалось обязательным писать о нем, как о певце мужества и подвигов. Он и сам себя считал таковым. Подвиг для него ценность абсолютная, не зависящая

от цели, которую преследует. Ему найдено почти религиозное оправдание. Так, всякая война для него — Божье дело.

И воистину светло и свято  
Дело величавое войны  
Серафимы ясны и крылаты  
За плечами воинов видны.  
Тружеников, медленно идущих  
На полях омоченных в крови,  
Подвиг сеющих и славу жнущих  
Ныне, Господи, благослови.

Попад на войну, поэт почувствовал, что только здесь обретается высшее блаженство:

И счастьем душа обожжена  
С тех пор; веселием полна  
И ясностью, и мудростью о Боге  
Со звездами беседует она,  
Глас Бога слышит в воинской тревоге.  
И Божьими зовет свои дороги.

Не потому Божьими, что они ведут к какой-то высокой цели, а потому, что воевать и побеждать значит уже быть угодным Богу. Под христианской оболочкой здесь проступает религия викинга. Гумилев любил представлять себя в этом образе.

Древних ратей воин отсталый,  
К этой жизни затая вражду,  
Сумасшедших сводов Валгаллы,  
Славных битв и пиров я жду.

Но он родился, когда уже были «все пересчитаны звезды» и наш мир «открыт до конца». Там, где ходили каравеллы Колумба и корсарские брига, — дымят комфортабельные суда пароходных компаний. Арены для блистательных, безумных подвигов не стало. Отсюда разлад его «с жизнью современной», отсюда презрение к девушке, которая не понимает и не любит того безумного охотника, что

«взойдя на нагую скалу,  
в тоске безотчетной  
Прямо в солнце пускает стрелу».

Прекрасные стихи. Кто нынче не знает их наизусть? Но, вероятно, немногие сознают, что пленяют они нас своим чисто

стихотворным очарованием, а вовсе не «героизмом». «Жизнь современная», вопреки Гумилеву, не оскудела ни героями, ни подвигами, но самый подвиг она понимает по-иному, не столь архаично, не столь оперно. Зачем пускать стрелы в солнце?

Бессмысленный, бесцельный героизм не принимался ни одной морально здоровой эпохой. Русскому сознанию и все-му нашему складу он чужд от начала Руси.

Разбить зимой стекло в царскосельской оранжерее, чтобы окровавленной рукой поднести даме букет похищенных роз, пойти добровольцем на войну, ходить в опасные разведки и заслужить два Георгия, подвергнуться аресту, смело держаться на допросе и мужественно встретить смерть — прекрасно и увлекательно. Но горе герою, если хоть одним словом или движением выдаст, что сделано это не ради успеха у женщины, не из любви к родине, а из тщеславия.

И что это за надрывное стремление к неосмысленному, нецелесообразному подвигу у человека, рожденного, по уверениям всех его близко знавших, вовсе не героем? Выбранные доспехи приходились явно не по плечу и тяготили, хотя нес он их с честью. Во имя чего они были надеты?

Сейчас, после стольких канонизаций его как политическо-го борца, с возмущением будет встречена мысль, объясняющая подвижничество и всю героику Гумилева — интеллигентской болезнью начала нашего века, — самовлюбленностью, самообожанием, славолюбием. Но ведь, поистине, другого бога у него не отыщешь.

Какой там патриотизм или монархизм, когда, по словам Г. Иванова, «Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном, как бы прославиться».

Но всего прекрасней жажда славы,  
Для нее рождаются короли,  
В океанах ходят корабли.

Поэт готов сделаться даже персидской миниатюрой, лишь бы утолить

Без сожаленья и страданья  
Мечту старинную свою  
Будить повсюду обожанье.

Жажда славы, жажда обожания, вот тот заветный ларец, в котором заключено сердце поэта. Он старательно укрыт, как

в сказке, — на острове среди океана, на дне колодца, но, не нашедши к нему путей, не понять и поэзии Гумилева.

Он остался незримым для толпы, этот бог славолюбия, но только ему одному молился поэт. Ни одному из тех божеств, чьим жрецом его объявили, он никогда не служил. Они были предметами его поэзии, но не предметами поклонения. Они являлись предлогом для прекрасных стихов. Нет поэтому большей грубости, чем подходить к Гумилеву с критическими приемами аристофановских «Лягушек».

«За что же следует уважать поэта?» — спрашивает «лягушачий» Эсхил.

«За то, что мы улучшаем людей в государствах», — отвечает «лягушачий» Еврипид.

Какую глубокую древность имеет писаревщина!

Советская писаревщина сбрасывает Гумилева с корабля современности, полагая, что он не улучшает людей в ее государстве. Писаревщина эмигрантская возносит его на этот корабль во имя другого государства, носимого еще в сердцах. Та и другая глухи к словам Гете: «Там, где искусству вполне безразличен его предмет, там, где оно становится абсолютным, а предмет остается лишь его носителем, там и есть вершина искусства». Во имя искусства образ поэта должен быть реставрирован.

Настало время снять с него слой за слоем, все подмалевки, подписки, подрисовки вульгарной политики, всю копоть трех десятилетий. Некоторые назовут это «развенчанием». Но это будут люди, далекие от поэзии, не способные понять, что можно любить закаты и после того, как стало известно, что все очарование вечерних зорь происходит от пыли, засоряющей земную атмосферу. Кто писал такие стихи, какие писал Гумилев, того развенчать невозможно, и тот не нуждается ни в ретуши, ни в подмалевках. Жемчуг его поэзии сверкает не меньше от того, что, как всякий жемчуг, является порождением болезни раковины.

М.А. Кузмин, один из его соратников по акмеизму, определял задачу поэта примерно так: — пусть каждый молится своему богу, но пусть это делает хорошо. Гумилев молился своему так, как дай Бог молиться каждому. И если божество его из таких, которых и в Пантеон пускать не принято, то своими стихами поэт вознес его выше всех других богов.

Не будем искажать смысл и образ его поэзии и подменять это божество нашими собственными кумирами.

*Возрождение. 1952. № 19. С. 151–158.*

## Юрий Большухин

### В высоком воротничке

К первому тому собрания сочинений Н. Гумилева под редакцией проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова (Вашингтон 1962) приложено воспроизведение фотографии поэта, перепечатанное, как гласит подтекстовка, из редкой плохо сохранившейся книги «Альманах 17» (1909). Собрание сочинений будет четырехтомное — и, как можно ожидать, судя по первому тому, окажется исключительно солидным, научно точным, глубоко продуманным. Осуществлена большая кропотливая текстологическая работа, крайне трудная в зарубежных условиях; материал расположен умно и удобно — так, что и «обыкновенный» читатель стихов (существо довольно необыкновенное) и особый любитель гумилевской поэзии, и специалист-исследователь — найдут нужное им. Двумя энтузиастами, не побоявшимися тяжелого труда, осуществляется дело, которое по плечу и целому коллективу.

Когда-нибудь выйдет полное академическое собрание сочинений Гумилева, появится и обширная его биография. Будет это, надо полагать, не скоро, и тогда сделанное Г.П. Струве и Б.А. Филипповым по-настоящему поставится им в заслугу.

Есть нечто, неохватываемое самыми тщательными, самыми полными собраниями сочинений, самыми талантливыми работами критиков и историков литературы. Трудно определить это нечто. Может быть, так: какова абсолютная ценность того или иного, скажем, поэта? Ценность, определяемая не какими бы то ни было привходящими качествами («положил начало такому-то направлению», «много сделал для развития стихотворной техники», «звал на борьбу»; «обогастил

поэтический словарь» и прочее), а ценность (если можно так выразиться, самой творческой субстанции. Полезна глина, полезно золото, но золото в столько-то раз дороже глины. Талантлив Батюшков, талантлив и Пушкин, но во сколько раз дороже «гран» творчества Пушкина?

Разные эпохи, разные вкусы, разные критерии. Недавно один настоящий поэт, образованный человек, человек с развитым вкусом, — совершенно серьезно утверждал, что стихи Лермонтова в сравнении с пушкинскими слабы. Однако в сознании ряда поколений все-таки кристаллизуется довольно определенная мысль о Пушкине и о Лермонтове, и довольно определенный вкус к их произведениям. Сообразно с этим определяется место данного мастера в литературе, его удельный вес — во мнении читательских поколений, в конечном счете — во мнении народа.

Не исключено, что эти суждения не совсем верны; многое в них следует отнести и за счет школьного учения, и за счет привычки, и за счет равнодушного присоединения ко мнению большинства.

Мне представляется, что такое общенародное мнение о творчестве Гумилева если и сложится, то разве через много-много лет. Личность поэта соединена с его творчеством — это почти неизбежно, хотя и несправедливо по отношению к творчеству, мешает объективности оценки, затрудняет установить соотношение «золота» с «глиной», вносит путаницу в таблицу о рангах поэтических и литературных. А табель о рангах — вещь вполне реальная.

Хотя имена заносятся в нее не без участия критиков, литературоведов и учителей словесности, однако же это участие — не окончательно решающее.

Поэт может только прозреть или, догадываться, в какой степени и долго ли будет народу он любезен, но проходят годы и века — обнаруживается: да, этот «народу любезен», а тот — безразличен. «Суд глупца» бывает очень чувствителен судимому (как только не судили критические глупцы, напр., Чехова!), да скоро рассыпается прахом. Случаются пересмотры, ниспровержения, реабилитации, иногда признание запаздывает, порой оказывается скороспелым и неглубоким, но



в общей сложности кандидат водворяется на надлежащую вакансию. И вот Николай Гумилев, поэт крупный, широко известный, очень многими страстно любимый, и по сей день (через 42 года после смерти) остается «не имеющим чина». Есть соблазнительная формула: Брюсов — преодоленная бездарность (Белый гневно поправил: непреодоленная!). О Гумилеве такого не скажет даже учиняющий суд глупец. Но сколько у Гумилева романтики с большим нажимом, но какие роскошные декорации, — звучные слова, блестящие эффекты. И притом какая сосредоточенная, [не по] юношески серьезность!

В очень интересном очерке жизни Гумилева, составленном Г.П. Струве и предпосланном первому тому собрания сочинений, рассказывается о пристрастии поэта к импровизированным «играм» (в сущности, евреиновский «театр для себя»), приводится высказывание А.Я. Левинсона: «Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и юмор».

Многие стихи Гумилева прекрасны, но гораздо более красивых. А это губительно для поэзии — красивые стихи.

На фотографии, о которой сказано в начале этой заметки, Гумилев, по моде того времени, снят в высоком крахмальном воротничке — «отцеубийце». Щегольской, серьезный, непреклонный, догматический воротничок удивительно характерен и для личности, и для поэзии Гумилева. Поэт был строжайше последователен в своей жизни, в стихах, как и в забавах — игра затеяна, так уж не отступать от ее правил ни на полшага!

В юношеском возрасте обаянию гумилевских стихов поддаются полностью, поработаются; с годами чары развеиваются, но остается несколько стихотворений на всю жизнь.

Проследив творчество этого поэта по первому тому «Собрания», вспомнив не вошедшее в этот том, ищешь главную тему Гумилева. Охват обширнейший от чистой экзотики и напряженной романтики до самых простых, глубоких и значительных. Что же — главная тема? Поэзия... Не в том смысле, что Гумилев писал стихи о поэзии, а в том, что о чем бы он ни писал, в том содержалось больше всего самого суще-

ства поэзии. Любовь, смерть, природа, религия, история, патриотические, монархические эмоции, — все это, и иное присутствует в его стихах, все это выражено, дано, изображено, почувствовано, но, как в «Ревизоре», по уверению Гоголя, — главное действующее благородное лицо — Смех, так у Гумилева — Поэзия.

У нее никакого «высокого косноязычья», она очень явственна, слишком явственна, нередко — вызывающе нарядна. И все-таки подлинная, живая: ни внешняя красивость, ни нарядность, ни, вероятно, само время ее не одолеют.

Русские поэты не раз поступались поэзией ради чувства, а паче — ради мысли и проповеди. Но не Гумилев.

Это его свойство, позволительно думать, и определяет его немалое, особое и почетное место среди других.

*Новое русское слово. 1963. 11 августа.*

### **Ирина Одоевцева**

#### **О «посмертном стихотворении» Н. Гумилева**

Большим поэтам часто приписывают посмертно стихи-апокрифы.

Так было с Пушкиным, так теперь случилось и с Гумилевым.

Года-два тому назад за рубежом в «Вестнике РСХД», а затем в «Новом Русском Слове» было напечатано стихотворение Гумилева, якобы написанное им перед смертью, найденное в тюрьме, в его камере.

Приходится только изумляться, как могли поверить в подлинность этого стихотворения, не только читатели, но и некоторые литературоведы.

Подделка эта настолько груба и беспомощна, что никакого сомнения быть не может в том, что Гумилев не был и не мог быть ее автором.

После Гумилева вряд ли вообще остались стихи, написанные перед смертью. Он был абсолютно уверен, что ему не

может грозить никакая серьезная опасность благодаря его известности. Об этом он постоянно говорил. Об этом свидетельствует и его знаменитая записка жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы».

По слухам, он проводил время в тюрьме довольно приятно. Следователь Якобсон, ежедневно допрашивавший его, прикидывался (или был на самом деле) ярим поклонником его поэзии, читал ему наизусть его стихи и восхищался ими. Якобсон всячески подчеркивал умственное превосходство Гумилева над ним — даже в игре в шахматы.

Гумилев, чрезвычайно доступный лести, вел с Якобсоном душевные беседы, открывая ему свои политические взгляды и убеждения и даже преувеличивая свои монархические чувства.

По слухам Гумилев не был осведомлен о вынесенном ему смертном приговоре, т.к. его судили заочно. Когда за ним явились в камеру, чтобы вести его на расстрел, он предполагая, что его пришли освободить, очень обрадовался и стал собирать свои вещи и книги. Но услышав, что его ведут на казнь, последовал за тюремщиками, ничем не выдав своего волнения и не проронив ни одного слова.

Возможно, что Гумилев действительно писал в тюрьме стихи, раз он упоминает об этом в записке к жене. Стихов этих никому не удалось обнаружить. Но конечно, это были не те стихи, о которых здесь идет речь.

Мне кажется, лучше всего, чтобы доказать поддельность этого стихотворения, разобрать его, как это сделал бы сам Гумилев во время занятий в Студии, иди пойти еще дальше, вообразив, что сам Гумилев производит разбор.

Представим себе «Студию» в доме Мурузи на Литейном проспекте.

Гумилев величественно и важно сидит за маленьким столиком, на который он, входя, положил свой пестрый африканский портфель, а его ученики-студисты устроились на расставленных рядами, не по росту низких, школьных партах.

Гумилев говорит, обращаясь к студистам:

— Нам сегодня предстоит очень интересная и важная задача.

Он не спеша достает из своего пестрого африканского портфеля исписанный листок и продолжает:

— Вы, по всей вероятности, уже слышали, что в тюремной камере знаменитого поэта X, расстрелянного за его контрреволюционную деятельность обнаружено стихотворение, якобы написанное им перед смертью. Вот оно. Для начала я оглашу его, после чего мы приступим к детальному разбору его и исследуем его. Мы отнесемся к нему со всей серьезностью, добросовестностью и тщательностью, которые требует такое важное событие, как находка не только посмертного, но и последнего стихотворения этого большого поэта. Ведь эта находка, если это стихотворение окажется подлинным, а не кануляром, и нам удастся доказать его аутентичность, будет несомненно драгоценный дар русской поэзии. Ведь X был один из самых замечательных поэтов XX века.

Гумилев встает — он всегда читает стихи стоя из уважения к поэзии. Он подносит листок к глазам и торжественно, отчеканивая каждое слово провозглашает:

В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой  
Проплывает Петроград.  
И горит над рдяным диском  
Ангел твой на обелиске,  
Словно солнца младший брат.  
Я не трушу, я спокоен,  
Я — поэт, моряк и воин,  
Не поддамся палачу.  
Пусть клеймит клеймом позорным —  
Знаю — сгустком крови черным  
За свободу я плачу.  
За стихи и за отвагу,  
За сонеты и за шпагу —  
Знаю, строгий город мой  
В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой  
Отвезет меня домой.

— Вот оно, это предсмертное стихотворение, — говорит он кладя листок на стол и садясь. — Я надеюсь, что вы успели

составить себе надлежащее мнение о нем. Все же, для полной очевидности, разберем его детально. Он прищурившись, что придает его лицу несколько насмешливое выражение, обводит студистов своим косящим взглядом.

— Итак, приступим; прежде всего, вы не могли не заметить, что оно написано четырехстопным хореем, который абсолютно не подходит для такого рода стихов. Четырехстопный хорей размер песенно-плясовой. Это прекрасно сознает народ, широко пользующийся им для своего фольклорного творчества. Пример хотя бы — «Ах вы сени, мои сени», «Гоп, мои гречаники», «Чижик, чижик, где ты был?» и проч. и проч. Чрезвычайно хорош четырехстопный хорей и для сказок — вспомним хотя бы чудесного Конька-Горбунка Ершова. Для трагических, а тем более предсмертных, стихов, он, повторяю, никак не подходит. С ним не мог справиться даже сам Пушкин, взявший его для своего «Утопленника» и «Вурдалака». Это, хотя и не отдавая себе отчета, в чем тут дело, чувствовали даже дети. Я и сам учеником 1-го класса отплясывал во время большой перемены под исполняемое хором:

При-бежа-ли в избу — дети  
В-то-ропях — зовут — отца

или

Это, — верно — кости — гложет  
Красно-губый — Вурда-лак.

Для такого трагического и последнего в жизни стихотворения правильнее и естественнее всего было бы воспользоваться ямбом, излюбленным размером русских поэтов. Ведь три четверти всех русских стихов написаны именно ямбами.

Переходим к форме. Стихотворение это написано шестистишьем и надо сразу отметить, что форма его найдена неудачно.

Шестистишья форма искусственная и изысканная, к тому же несколько устарелая.

Трудно вообразить, что поэт, чьи не только часы, но и минуты сочтены, стал бы тратить время на такое сложное построение. Вернее всего, он для своего последнего стихотворения избрал бы классические строфы или написал его белым стихом без рифм и строф. Но настаивать на этом я не на-

мерен и готов поверить, что у поэта для такого выбора были свои — мне неизвестные основания. И продолжаю разбор. Для удобства разделим все стихотворение на шестистишья. Их всего три.

Первое шестистишье начинается с того, что Петроград каравеллой крылатой проплывает. Спрашивается — мимо чего проплывает? Следовало бы сказать уплывает, а не проплывает. Образ плывущего Петрограда-корабля, по всей вероятности, позаимствован у Замятина. Но перенесенный из прозы в поэзию образ этот подвергся легкой переработке — корабль превратился в «крылатую каравеллу». Сама же «крылатая каравелла» несомненно взята из реквизита поэтических аксессуаров времен моего «Конквистадора в панцире железном». В наши дни поэты уже не выражаются так пышно. «Конквистадоры» и «Крылатые каравеллы» вышли из моды, не проплыли, а уплыли в прошлое.

Продолжаем. Дальше в том же первом шестистишье —

И горит над рьяным диском  
Ангел твой на обелиске  
Словно солнца младший брат.

Ангел твой? Чей ангел? Кто этот таинственный «ты», владыка ангела? Ведь о Петрограде-каравелле говорилось в третьем лице, а здесь неожиданно врывается какой-то «ты» — без дальнейших пояснений.

Заметим мимоходом, что диском и обелиске не являются рифмами. Такая беспомощность даже слегка удивительна, ведь легко было пересадить ангела на «рядный диск», чтобы позволить ему срифмоваться с обелиском и получилось бы правильно — диск — обелиске. Второе шестистишие, которому мы теперь переходим, начинается строчкой:

Я не трушу. Я спокоен.

Но, позвольте, слыханное ли дело, чтобы «моряк, поэт и воин», каким себя в следующей за этой строчкой именует автор этого предсмертного стихотворения — трусил? Трусость чувство низкое и презренное. Страх могут испытывать даже герои, но трусят одни только мелкие и недостойные людишки. Неужели же автор хотел причислить себя к ним?

Опять же, при некоторой поэтической опытности было бы легко исправить этот ляпсус, сказать вместо: «Я не трушу» — «Мне не страшно. Я спокоен», тем же четырехстопным хореем.

Переходим к характеристике, которую себе дает автор.

Я моряк, поэт и воин.

Моряк? Т.е. человек, жизнь которого связана с морем, принадлежащий флоту — морской офицер, матрос, или, в крайнем случае, кочегар. С поэтом деятельность моряка совместить можно. Но оказывается, он еще и воин, т.е. одновременно представитель армии и флота. Такую сухопутно-морскую карьеру представить себе уже трудно.

Но, разумеется, автор хотел, — но не сумел — попросту сказать, что он совершил много морских путешествий, что он мореплаватель. Но в слове мореплаватель пять слогов и автор заменил его словом моряк, в котором два слога, чтобы втиснуть его в строчку своей характеристики.

Далее: «Не поддамся палачу», то есть как не поддамся? Вступлю с ним в драку и отобьюсь от него? Непонятно.

Пусть клеймит клеймом позорным

— опять-таки непонятно. О каком позоре здесь идет речь? Расстрел не считается позорной казнью. Позорная казнь — повешение. Клеймо же здесь явно фигурирует в виде риторического украшения.

Знаю, стуктом крови черной

За свободу я плачу.

Автор называет свою кровь, — кровь моряка, поэта и воина — черной, хотя черной принято считать кровь злодеев. Вспомним хотя бы Лермонтова.

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь.

То, что нельзя рифмовать позорным и черной — слишком очевидно, чтобы на этом останавливаться.

Стуктом крови черной — почему одним стуктом — автор платит за свободу. За какую свободу? Ведь его ждет не свобода, а казнь. Он умирает за свободу, а не платит за нее. Он платит своею жизнью не за свободу, а за контрреволюционную борьбу за свободу.

Переходим, не задерживаясь, к последнему шестистишью. Начинается оно поистине изумительно:

За сонеты и за шпагу

За стихи и за отвагу,

Как? Неужели сонеты не стихи? Вопреки веками установившемуся мнению о них не стихи? Что же, или кто же они такие, эти загадочные сонеты? Узнать нам это, к сожалению, невозможно — эту тайну автор унес с собой в могилу.

Все же ясно, что сонеты что-то важное и ценное, так как в награду не только за стихи, отвагу и шпагу, но за сонеты автор смело высказывает уверенность в предстоящем ему путешествии.

Знаю, строгий город мой

В час вечерний, в час заката

Каравеллою крылатой

Отвезет меня домой.

Тут некоторое недоумение вызывает эпитет «строгий» — в чем собственно автор усматривает строгость «своего города»? Но не будем настаивать, а постараемся разгадать, куда именно строгий Петроград увезет автора.

Домой? Но ведь дом, в котором в последнее время жил автор, находится в Петрограде, как и тюрьма, в которой автор пишет предсмертные стихи в ожидании расстрела. Как же Петроград, пусть даже строгий, может увезти автора после его смерти в Петроград же? Сознаюсь, такой увоз на месте для меня непонятен. Или, как говорится: «сие следует понимать духовно»? И под «домой» автор подразумевает небо — рай? Тогда все становится понятным, даже то, что каравелла крылата. Для полета крылья каравелле необходимы. Опять-таки не настаиваю, но думаю, что я правильно понял мысль автора. Домой — в рай.

Гумилев кладет листок на стол, уже не сдерживая саркастической, злой улыбки. Длительная пауза. И он заканчивает,

— Но, конечно, о путешествии в рай автору, написавшему это посмертное стихотворение, думать рано. Сомнения нет в том, что он, слава Богу, еще здравствует. Посоветуем ему хорошенько изучить сложную науку Поэзии и, главное, никогда больше не браться за такое дурное дело, как писанье



апокрифических стихов больших поэтов, особенно их предсмертных стихов.

Так Гумилев по всей вероятности разобрал бы это стихотворение.

И я была бы с ним согласна.

*Новое русское слово. 1973. 24 июня*

## Никита Струве

### О предсмертном стихотворении Гумилева

Ирина Одоевцева посвятила «посмертному стихотворению» Гумилева, пространную статью, в которой начисто отрицает принадлежность этого стихотворения Гумилеву. Оно было опубликовано впервые мною в 98-ой книжке «Вестника Русского Студенческого Христианского Движения» с довольно обстоятельным текстологическим комментарием, о котором Ирина Одоевцева не говорит ни слова. В нем, на основании тщательного анализа, я пришел к заключению, что это стихотворение действительно написано Гумилевым или же сочинено человеком, усвоившим и манеру, и дух гумилевской поэзии. Лично я склоняюсь к подлинности этого стихотворения, но совершенно очевидно, что пока мы не получим дополнительных сведений о происхождении этого текста, мы можем только приписывать его Гумилеву.

Необычно категоричные доводы Ирины Одоевцевой меня нисколько не убедили, хотя она и вкладывает свои соображения в уста самого Гумилева. Тут вообще ставится общий вопрос, так сказать этически-литературный, насколько знакомство с писателем, которое восходит к полстолетней давности, позволяет так безапелляционно говорить от его имени.

Все рассуждения Ирины Одоевцевой о том, что Гумилев «абсолютно был уверен, что ему не может грозить никакая серьезная опасность», что «он поддался лести следовательно», кажутся произвольно вымышленными. Гумилева расстреляли, а с ним и 61 сообщника. Вряд ли следствие велось так идилично, как рассказывает неизвестно с чьих слов

Одоевцева. Исторически мы располагаем двумя фактами: 1) В тюрьме Гумилев писал стихи. 2) Гумилев был расстрелян. Все остальное, что думал Гумилев, как относился к следователю, плод или рассказней или фантазии.

В подробном, от имени Гумилева, разборе стихотворения Ирина Одоевцева лишь очень мельком касается формальных признаков, а, как нам кажется, им Гумилев уделял первостепенное значение. Основная часть разбора построена на смысле стихотворения, а не на анализе стиха и лексики.

Критические замечания Одоевцевой по отношению формы касаются трех пунктов: размера, строфики и рифмы. Она считает, что четырехстопный хорей годен только для фольклорного творчества, вроде «Чижик, чижик, где ты был» или «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Но это замечание верно (и то с оговорками) только для поэзии XIX века. В двадцатом веке четырехстопный хорей имел куда более широкое применение, не исключая трагические стихи. Приведем, для примера, стихи Мандельштама 1922 года, отнюдь не плясовые и не оптимистические:

Видно, даром не проходит  
Шевеленье этих губ,  
И вершина колобродит,  
Обреченная на сруб...

Четырехстопным хореем написан не только «Чижик», но и такое историсофски-трагическое стихотворение, как «Век» Мандельштама.

Далее Одоевцева считает, что шестистишье «неудачная форма» (?), и что «поэт, чьи не только часы, но и минуты сочтены», не стал бы тратить на нее время. Тут хочется, во-первых, сказать, «parlez vous»; а во-вторых, поставить два вопроса: 1. Почему Одоевцева считает, что это стихотворение написано за несколько минут до казни? 2. Сколько времени нужно, чтобы написать стихотворение, в частности, шестистишьями? Сами эти вопросы показывают, что возражения Одоевцевой несерьезны\*. Гораздо существеннее, для нашей

\* Да и что значит для подлинного поэта тратить время на стихотворение? Создание поэтического произведения не соотносительно со временем...

темы, как мы показали в «Вестнике», что форма шестистишья встречается в творчестве Гумилева очень часто («Сон Адама», «Из логова змиева», «Ослепительное», большая поэма «Открытие Америки», «Пятистопные ямбы», «Снова море», «Видение», «Отражение гор»). В последнем стихотворении, по времени самом близком (оно появилось посмертно и, вероятно, было написано в 1919 или 1920 году), первый стих так же делится на два симметричных полустихья:

Сердце радостно, сердце крылато  
— причем крылато рифмует с заката.

Третье и последнее формальное возражение Одоевцевой относится к двум недостаточным рифмам: диском / обелиске, позорным / черной. Но ассонирующих женских рифм, т.е. таких рифм, где безударный слог не совпадает буквально, у Гумилева сколько угодно. Напомню, к примеру, открытый / мытарь, свете / ветер, гребень / в небе, земно / Агамемнон, вечер / очеловечил и т.д....

Итак, формальные возражения Одоевцевой отпадают как несостоятельные. Еще менее удовлетворителен ее смысловой анализ. Одоевцева подходит к стихам, где «должно быть все некстати», не совсем логически, как к самой утилитарной прозе. Вот несколько примеров ее (придирчивой) критики: «...Петроград каравеллой крылатой проплывает; Спрашивается: мимо чего проплывает? Следовало бы сказать уплывает». Но так же можно было бы спросить: куда уплывает? Ведь ясно, что здесь описывается закатное освещение, скользящее по городу, причем движение света переносится на город. «Не поддамся палачу», то есть как не поддамся? — пишет Одоевцева. «Вступлю с ним в драку и отобьюсь от него? Непонятно». Как странно сужает Одоевцева поэтический смысл образов: ведь, палачу можно поддаться сознавшись в преступлении, выдав сообщников, отказавшись от своих убеждений... Сама Одоевцева считает, что Гумилев поддался на лесть следователя. Придирается произвольно Одоевцева и к отдельным словам. «Я не трушу» ей не нравится: «Позвольте, слыханное ли дело, чтобы «моряк, поэт и воин», каким себя... именует автор этого стихотворения — трусил? Трусость чувство низкое и презренное. Согласно Одоевцевой «трусят одни только мелкие и

недостойные людишки». Тут явная предвзятость. Во-первых, «трусить» означает, согласно словарю «испытывать страх», другого глагола для этого понятия даже нет, а во-вторых, всем известно, что каждый, даже герой, может в своей жизни «струсить». К тому же «трус», «струсить» принадлежит к гумилевскому словарю. «Знаю, сгустком крови черной»: Одоевцевой кажется, что черная кровь бывает только у злодеев, но ведь здесь идет речь о запекшейся крови (сгусток). И иного цвета она быть и не может... И такой псевдо-критикой Одоевцева награждает почти каждое выражение. Таким способом можно вообще высмеять любую стихотворную речь.

В нашем анализе, напечатанном в «Вестнике», мы установили, что почти все слова и образы этого стихотворения принадлежат гумилевской поэзии.

1. Закат — излюбленное время дня у Гумилева и очень часто связано со смертным часом. «Закат» и «крылат» (ой) неоднократно рифмуют у Гумилева, по крайней мере четыре раза.

2. Насколько мне известно, частотных словарей гумилевских слов еще нет. Но самое поверхностное знакомство с поэзией Гумилева позволяет утверждать, что эпитеты «строгий», который у Одоевцевой тоже вызывает недоумение, и «крылатый» — ключевые в творчестве Гумилева. «Крылатый» выражает одну из сторон гумилевского духа.

3. Типично гумилевские образы — корабль (каравелла употреблена в не столь ранней поэме «Открытие Америки», которая имеет большое значение в разгадке основной интуиции поэта), ангел (почти всегда в связи со смертью), солнце, город, дом, младший брат и т.д.

Повторяем; итоги нашего анализа не позволяют утверждать авторство Гумилева\*. Мы лишь констатируем, что это стихотворение по духу и по исполнению вполне гумилевское. Не исключено, что это умелое подражание знатока. Но в пользу авторства самого Гумилева говорят произвольная легкость, простота, непосредственная искренность этих строк.

\* Нам передавали, что сын Гумилева, Лев Николаевич, ознакомившись с этими стихами, не мог решить вопроса авторства ни в положительную, ни в отрицательную стороны.

Нетрудно подделать стиль автора, но крайне редко можно это сделать, не нарушив впечатления искренности. Так воспринял эти стихи Борис Константинович Зайцев. Они ему настолько понравились, что он выучил их наизусть и посвятил им свою, если не ошибаюсь, последнюю, предсмертную, статью в «Русской мысли».

*Новое русское слово. 1973. 19 августа.*

## Ирина Одоевцева

### В защиту Гумилева

Я, к моему большому сожалению, поставлена перед необходимостью ответить на статью Н. Струве.

Если бы статья была направлена только против меня, я бы, конечно, не стала этого делать.

Как и покойный Георгий Адамович, я придерживаюсь правила никогда не вступать в газетную полемику. Но я считаю долгом выступить на защиту Гумилева.

Н. Струве удивлен, что я не отметила его «тщательного анализа» и его «довольно обстоятельного комментария», как он сам о них отзывается.

Я умышленно не коснулась их, не желая поставить Н. Струве в неловкое положение.

Я надеялась, что он, поняв свою ошибку, не станет настаивать на них. Но, оказывается, мои доводы его нисколько не убедили, а, напротив, заставили перейти в контратаку.

Повторяю, я категорически утверждаю, что это «Посмертное стихотворение» — грубая подделка.

Н. Струве в подтверждение своего мнения ссылается на покойного Бориса Константиновича Зайцева, так же, как и он воспринявшего эти стихи. Но Борис Константинович, прекрасный писатель, в поэзии разбирался плохо. Бориса Константиновича я очень уважала и любила, но совсем не считала его, как его не считали и другие поэты, авторитетом в делах поэзии.

Борис Константинович был очень высоко и благостно настроен и, поверив, что стихотворение это написано Гумилевым, по своему понял его и наполнил духовным содержанием.

Я написала о «Посмертном стихотворении» еще при жизни Зайцева, но не печатала эту статью, не желая огорчить и разочаровать Бориса Константиновича.

Я согласна с Н. Струве, что к сведениям о последних днях Гумилева следует относиться с крайней осторожностью, — вполне достоверного о них ничего не известно. Все же, по рассказам другого члена ЧК, посещавшего «Дом литераторов», Дзержибашева, знакомого Гумилева, к которому, как это ни странно, Гумилев относился с симпатией, следствие велось именно «идиллично». Следователь Якобсон, блестяще образованный, умный и обаятельный человек, отличный шахматист, ежевечерне допрашивал Гумилева, вел с ним за чашкой чая бесконечные беседы и играл с ним в шахматы. О том, что Гумилев играл в шахматы, упоминается и в его записке жене.

А с кем он, сидя в одиночном заключении, мог бы играть в шахматы? Если даже соседи по камере и навещали его, то вряд ли тюремные власти на Шпалерной предоставляли бы заключенным шахматы для развлечения.

Н. Струве спрашивает: «Почему Одоевцева считает, что это стихотворение написано за несколько минут до казни?»

Не за несколько минут, а за несколько часов, — если бы Гумилев действительно написал его, — и вот почему. По словам того же Дзержибашева, Гумилева судили заочно и приговор был приведен в исполнение той же ночью. Гумилев якобы до того, как за ним явились, чтобы вести его на расстрел, не знал о приговоре.

Второй вопрос: сколько времени нужно, чтобы написать стихотворение, в частности, шестистишье?

Гумилев писал стихи медленно, с несколькими черновиками, вычеркивая и меняя отдельные слова и целые строфы, добываясь того, «что совершенно и не требует исправления», по излюбленной им формуле Теодора де Банвиля.

Единственное стихотворение, не потребовавшее у него ни труда, ни времени, был «Заблудившийся трамвай», — по его словам, посланный ему как бы свыше.

Обыкновенно он писал стихотворение в течение одного или двух дней.

Сколько нужно времени для написания шестистиший?

Гумилев при мне шестистиший никогда не писал, но понятно, что сложная рифмовка требует больше времени, чем простая.

Нельзя же, в самом деле, предполагать, что Гумилев, в ожидании приговора, заготовил свое «Посмертное стихотворение» на всякий случай — вдруг пригодится?

Н. Струве считает, что я от имени Гумилева очень мало касаюсь «формальных признаков», которым Гумилев, по мнению Н. Струве, уделял первостепенное значение.

Нет, Гумилев не уделял первостепенного значения «формальным признакам». Для него и форма, и содержание были одинаково важны. Ни форме, ни содержанию он не предоставлял главной роли. «Что» и «как» должны гармонично сливаться в законченное целое, — утверждал он.

Н. Струве пишет: «Она (т.е., Одоевцева) считает, что четырехстопный хорей годен только для фольклорного творчества, вроде «Чижик, чижик, где ты был?» или — «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца».

Кстати, с каких это пор пушкинский «Утопленник» стал относиться к фольклорному творчеству?

Отсылаю Н. Струве к моему тексту, чтобы он убедился, как он исказил его. Я привела слово в слово гумилевское определение четырехстопного хорей.

Нет, Гумилев не считал, что это определение четырехстопного хорей относится только к поэзии XIX века и что четырехстопный хорей в XX веке имеет более широкое применение, не исключаящее и «трагических стихов», как утверждает Н. Струве: «Четырехстопным хореем написан не только “Чижик” (?), но и такое историчесофски-трагическое стихотворение, как “Век” Мандельштама».

Но позвольте, ведь «Век» написан в 22 году, Гумилев, умерший в 1921 году, не обладая даром прозрения будущего, не мог, естественно, этого предвидеть.

Н. Струве протестует и против указанных мною неправильных рифм — «черной — позорным», «диском-обелиске»,

считая это придижкой, и дает свое фантастическое объяснение: «Ассонирующих женских рифм, т.е. таких, где безударный слог не совпадает, у Гумилева, — пишет он, — сколько угодно. Напомню, к примеру, “открытый — мытарь”, “свете — ветер”, “гребень — небе” и т.д.».

И как пример приводит... рифмоиды!

Признаюсь, я несколько раз; перечла этот абзац, не решаясь поверить, что Н. Струве принимает рифмоид за «ассонирующие рифмы». Все приведенные им рифмоиды вполне правильны.

Это — рифмоиды, а никак не «ассонирующие женские рифмы». Кстати, рифмоиды бывают с женскими и мужскими окончаниями — «глаза — сказал», «хорошо — порошок» и т.д. Рифмоидов у Гумилева действительно много. Неправильных же или неточных рифм вовсе нет.

Не стану утруждать читателей объяснением, какие рифмы правильные и какие неправильные, и что такое рифмоиды, но с удовольствием, если кто из них пожелает это узнать и напишет мне, объясню им в частном письме.

«Это одни из азов стихосложения, — учил своих студентов Гумилев. — Без знания таких азов нельзя не только писать стихи, но и правильно рассуждать о них невозможно», — говорил он.

«Придирается Одоевцева и к отдельным словам, — пишет Н. Струве. — «Я не трушу» — ей не нравится».

И, тут Н. Струве делает удивительное открытие:

«Трусить, согласно словарю (?), — пишет он, — значит испытывать страх. Другого глагола для этого понятия, даже и нет». (?!).

Неужели? Значит, Даль, приводящий их целый ряд — бояться, страшиться и т.д. — не прав? Тогда, пожалуй, и Лермонтов ошибся, придав слову «трус» оскорбительное значение: «Ты раб, ты трус и мне — не сын».

Н. Струве крайне недоволен моей «псевдокритикой» и находит, что «таким способом можно высмеять любую стихотворную речь».

Смею его заверить, что я, разбирая «Посмертное стихотворение», придерживалась метода самого Гумилева, именно



так «псевдокритиковавшего» и высмеивавшего подобную «стихотворную речь» на занятиях в своей студии. Он, как и я, требовал от стихов ясности и логики. Он, конечно (как сделала я), сузил бы поэтический смысл образа «не поддамся палачу». Рассуждения Н. Струве о том, что «палачу можно поддаться», выдав сообщников и отказавшись от своих убеждений, просто б рассмешили его.

Он объяснил бы, что «поддаться» можно следователю или судьям, а не палачу, палач ведь только приводит приговор в исполнение, чем и ограничивается его функция.

Посмеялся бы Гумилев и над поэтом, считающим сонеты чем-то отдельным от стихов. Замечу, кстати, что Гумилев писал сонеты лишь в молодости и не возвращался к ним в зрелые года.

Непонятно, почему Н. Струве считает закат излюбленным временем для Гумилева. Гумилев любил все часы дня и ночи, но, пожалуй, больше всего рассвет и предрассветный час. Он находил, что и он сам, и его жизнь тесно связаны с ним: «В этот час я родился, в этот час я умру» — говорит он в первой канцоне в «Огненном Столпе».

Н. Струве уверен, что если «Посмертное стихотворение» и не принадлежит Гумилеву, «все же это умелое подражание знатока», — в чем он глубоко ошибается.

Нет, автор подделки вовсе не является знатоком поэзии Гумилева. Все свои образы он почерпнул из раннего периода, творчества Гумилева и совсем не понимает его ни как поэта, ни как человека.

Гумилев как поэт рос и менялся с невероятной быстротой. Он сам сознавал это и говорил: «Когда я теперь читаю мои ранние стихи, мне часто кажется, что не я, а какой-то другой поэт написал их. Я просто не узнаю себя».

Это же ощущение он выразил в своем знаменитом стихотворении «Память», которым открывается, его последний прижизненный сборник «Огненный Столп». В нем он говорит:

Память, ты рукою великанши  
Жизнь ведешь, как под уздцы коня.

Ты расскажешь мне о тех, кто раньше  
В этом теле жили до меня...

Чтобы хоть отчасти представить себе зрелого Гумилева и понять его, лучше всего перечитать его стихотворение «Мои читатели», написанное им в июле 21 года, т.е. в последние дни до его ареста. И обратить особенное внимание на окончание стихотворения:

А когда придет их последний час,  
Ровный красный туман застелит взоры,  
Я научу их сразу припомнить  
Всю жестокую,  
Милую жизнь,  
Всю родную страшную землю,  
И представ пред ликом Бога  
С простыми и мудрыми словами,  
Ждать спокойно Его суда.

Эти поистине потрясающие своим духовным величием строки невозможно читать без волнения. В них Гумилев — поэт и человек — весь отразился как в зеркале. В них он как будто сам надменно защищает себя от оскорбительного и нелепого обвинения в авторстве «Посмертного стихотворения».

Вдумавшись в эти строки, вряд ли можно поверить, что Гумилев, прощаясь со своей героической жизнью, мог заняться сочинением пустозвонных шестистроичников с давно устаревшими образами и всяким риторическим, полуграмотным вздором.

Гумилев, пламенный патриот и глубоко верующий христианин, учивший своих читателей в последний их час ждать спокойно Божьего Суда, если бы в свой последний час и пожелал написать стихотворение, то нашел бы для него — в этом и сомнения нет — простые и мудрые слова, те простые и мудрые слова, с которыми он готовился предстать пред Лицом Бога.

*Новое русское слово. 1973. 19 августа.*

## Лазарь Розенталь

### «Свидетельские показания любителя стихов начала XX века»

Знаменитый коридор Петербургского университета тянулся на добрую треть версты. В перерывах между лекциями, когда толпы студентов подымали облако пыли, из одного его конца не был виден другой. Стены были испещрены объявлениями бесчисленных землячеств, которые свидетельствовали о необъятности Российской империи; извещения всевозможных кружков убеждали заниматься чем угодно, только не политикой. Среди моря этих листков один, приютившийся на двери классического семинара, сообщал о появлении нового журнала стихов «Гиперборей». Петербургский университет кануна мировой войны возвращался к старинным традициям: наряду с науками в нем находили себе приют музы. На германо-романском отделении историко-филологического факультета, строго сохранявшем воспоминания об Александре Веселовском, обучались не только юные поэты, но и почтенные сотрудники авторитетнейшего журнала чистого искусства «Аполлон». На заседаниях германо-романского кружка большие и малые мастера поэтического цеха читали свои новые, еще нигде не напечатанные стихи.

Я помню вечерние заседания кружка, университетский коридор, безлюдный и чисто выметенный, скупо освещенный рядом редких лампочек, тянущимся вдаль, уютную четвертую аудиторию, топорную фигуру профессора Петрова. Он вечно торопился на пригородный поезд к себе на зимнюю дачу, где среди замерзших чухонских болот изучал испанские комедии XVI века и арабскую любовную лирику. Вокруг профессора вились студенты, демонстрирующие эрудитность и изысканность художественного вкуса в противовес литературному невежеству радикальной российской интеллигенции. Вдоль стенок теснились робкие фигуры более скромных любителей литературы вообще и поэзии в особенности. Подобно мне, они боялись подойти ближе к тем, кто уже стал знаменитостью или станет таковой на следующий день. Выступали поэты с новыми стихами. Они читали изумительно хорошо, как

можно читать лишь только что написанные стихи, не утратив еще огня творческого порыва, их создавшего, и лишь в небольшой аудитории, насыщенной поэтическими интересами. <...> Среди этой несуровой петербургской зимы вспоминается фигура другого поэта. Я также знал его не только как сочинителя стихов, но и как чтеца. Его можно было увидеть, правда, не так часто, как Мандельштама, в университетском коридоре. Как на некоего «изысканного жирафа» студенты-филологи указывали друг другу на Гумилева, африканского путешественника, синдика Цеха поэтов, основоположника нового литературного направления. Скромно восседая на университетской скамье, он, однако, был полон снисходительного презрения к другим и спокойной уверенности в собственной значительности. В германско-романском кружке вместо доклада он читал старую, уже напечатанную статью о Теофиле Готье. Как непререкаемый образец мастерства отчеканивал строки:

И сами боги тленны,  
 Но стих не кончит петь,  
 Надменный,  
 Властительней, чем медь\*.

После заседания кружка в ресторанчике, излюбленном студентами, он за кружкой пива благосклонно беседовал со случайным соседом о гимнастике, о бицепсах. А затем в ответ на просьбы всей компании декламировал только что написанную\*\* им «Юдифь»:

Сатрап был мощен и прекрасен телом.

Кончив чтение, он обвел спокойным взглядом почтительных слушателей с полным сознанием своей власти над собственным вдохновением и пояснил: «Пятистопный ямб».

\* Цитируется «Искусство» Теофиля Готье:

Les dieux eux-mêmes meurent,  
 Mais les vers souverains  
 Demeurent  
 Plus forts que les airains.

\*\* «Юдифь», по воспоминаниям Ахматовой и М.К. Грюнвальда, написана в начале 1914 года (Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 355).

Гумилев был очень неприятен своей самоуверенностью и надменностью. Я не любил его и охотно повторял ходячие мнения о мастерстве, лишенном подлинного вдохновения. Его «Жемчуга» трактовались как дешевка. Экзотика, даже подкрепленная личным опытом дальних путешествий, казалась ненужной и банальной. Несравненно ближе была книжная поэзия Мандельштама; она отличалась несомненным своеобразием, особой волнующей остротой.

Но Гумилев не был книжником. Он был человек действия. В первую зиму мировой войны он появился в военной форме с Георгием на груди. Вытянувшись совершенно прямо, подняв вверх безобразно бритую голову, он на очередном поэтическом собрании германо-романского кружка торжественно возглашал:

Мы четвертый день наступаем,  
Мы не ели четыре дня,  
Но не надо нам яства земного...

На фоне тех бедствий, которые претерпевала армия, эти стихи звучали как пародия, как издевательство. Однако и другие выступления в тот вечер были не лучше. Виктор Шкловский выкрикивал патриотическую «рубленную прозу» — «Свинцовый жребий». Глуховатый студент Поваров, сын ветеринара и сельской учительницы, читал рассказы о героизме солдат в окопах (позже Поваров стал большевиком; он застрелился в лето голода в Поволжье)\*. В аудитории рядом со студентами за партами сидели раненые из университетского лазарета. Хорошенькая Наташа Шумкова\*\* обходила слушателей с тарелочкой, собирая в пользу жертв войны. Среди всей этой мути Гумилев чувствовал себя превосходно, мнил себя героем. Он был враждебен, почти ненавистен мне.

Но вот пришла революция. Она научила нас многому. Мир

\* О прозаике, журналисте Николае Сергеевиче Поварове (1892–1921) см.: Изумрудов Ю.А. Нижегородский поэт Иван Ермолаев: портрет на фоне эпохи. Н. Новгород, 2017. С. 198.

\*\* О Наталье Владимировне Гвоздевой-Султановой (1895–1976), урожденной Шумковой, см.: Тименчик Р.Д. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим–М., 2008 (по именному указ.).

потерял свои привычные очертания. Белая булка приобрела неожиданно огромную ценность. В людях стали ценить стойкость. И когда среди желтой мглы несуровой петербургской зимы 1919 года я увидел снова Гумилева, по-прежнему спокойно уверенного, то на этот раз я проникся к нему уважением. В огромной меховой шубе он прогуливался по Невскому проспекту наподобие все того же «изысканного жирафа». Он презирал голодные будни пролетарской революции, и то была единственная для него возможность оставаться мужественным. В ту зиму мне довелось дважды слушать, как Гумилев читал свой «Экваториальный лес». Редко какой-либо другой поэт умел до такой степени всецело овладеть своей аудиторией. Причиной тому было, полагаю, не только общедоступность, почти примитивная занимательность фабулы стихотворения. Дело было не в нехитрой романтике, воздействующей по контрасту с жалким существованием обывателя тех дней. Стихи были внутренне сродни волевому напряжению разгоревшейся борьбы.

Гумилев не сумел сохранить спасительной для него позы игнорирования революции. Он принял участие в контрреволюционной организации и был расстрелян. Одновременно с вестью о его гибели распространялись две новые книжки его стихов. Они свидетельствовали о полном расцвете творческих сил поэта, и это лишь усугубляло сознание трагичности происшедшего. Экзотика Гумилева на этот раз была проникнута подлинным пафосом. Гимны Африке были порождены не прихотливой мечтой эстета, а воспоминаниями путешественника о далеких, некогда им исследованных странах:

Есть музей этнографии в городе этом  
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,  
В час, когда я устану быть только поэтом,  
Ничего не найду я желанней его.  
Я хожу туда трогать дикарские вещи,  
Что когда-то я сам издалека привез,  
Слышать запах их странный, родной и зловещий,  
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

Эти воспоминания свидетельствовали об остроте восприятия и были полны энтузиазма перед радостями бытия.

Единство содержания книги «Шатер» подчеркивалось единообразием анапестических размеров. Совсем иным был мир второй книги, отличавшейся многообразием и тем и ритмов. На первой же странице «Огненного столпа» мы читали:

Память, ты рукою великанши

Жизнь ведешь, как под уздцы коня...

Это был образ необычайной конкретности и четкости, исполненным зрелой мужской силы. Поэт подводил итог жизненному опыту людей, прошедших сквозь горнило стольких потрясений и перемен:

Только змеи сбрасывают кожи,

Чтоб душа старела и росла;

Мы, увы, со змеями не схожи,

Мы меняем души, не тела.

Новая душа поэта, родившаяся среди треволнений военных и революционных лет, нашла свое выражение в стихотворении «Заблудившийся трамвай», которое могло претендовать на значение изобретения в области чувствования. Петербург, город, который обращался в какое-то фантастическое, почти бредовое видение, был показан Гумилевым в сложной системе высоко пересекающихся разнообразнейших восприятий и воспоминаний. По существу, стихотворение лишь варьировало приемы немецкого экспрессионизма, о котором стало известно как раз в том же 1921 году. «Многопланность» и напряженность были характерными чертами нашего (если угодно, мелкобуржуазного) сознания к концу Гражданской войны. Мы готовы были служить молебны за здоровье умерших и панихиды по себе.

Я стал почитателем поэзии Гумилева. Почитателем запоздалым, а потому и не очень преданным. Когда с годами пришло равнодушие к поэзии, то я стал забывать его, как многих других поэтов, как забывал того же Мандельштама. Десятилетие спустя после последней встречи с Гумилевым, на первом году пятилетки мне случайно довелось встретиться с людьми, обнаружившими блестящее знание его стихов, своего рода эрудицию. Они казались мне представителями давно вымершей породы, эти две туберкулезные, веснушчатые девушки, декламировавшие стихи на греческом кладби-

ще сонного Старого Крыма, где, по преданию, под плитой с лилией Бурбонов покоилась госпожа де-ла Мотт, участница знаменитой авантюры с ожерельем Марии-Антуанетты. Со времени этой встречи я все чаще стал наблюдать, как интерес к Гумилеву по какому-то неясному закону психологического контраста нарастал в годы пятилетки.

Я сам начал возобновлять в своей памяти слегка насмешливую улыбку, которую поэт сохранял даже тогда, когда пел канцоны возлюбленной:

Надо бы мне говорить о тебе  
На языке серафимов.

В моем воображении вновь воскресал этот счастливый изобретатель неожиданных образов, торжественно читающий стихи о радости белых медведей в Зоологическом саду, которые уверены, что с ледоходом

Сам Ледовитый океан  
Идет на их освобожденье.

Мне слышался его голос, спокойный и уверенный, говорящий о жажде той полноты существования, которая дана деревьям:

О если бы и мне найти страну,  
В которой мог не плакать и не петь я,  
Безмолвно поднимаясь в вышину  
Неисчислимые тысячелетья.

Конечно, поэт лишь интересничал, жеманничал, мечтая о языке серафимов, воображая медвежье ликование на фоне весенней непогоды общей петербургской хандры, признаваясь в своей зависти к растительному существованию. Надуманны и нарочиты были его пророчества о гибели от пули и размышления о смерти, о Божьем суде. Но мир переменялся, воздух, которым мы сейчас дышим, совсем иной, чем прежде. И вот в то время как простые (позитивные), по-своему непосредственные, добротные стихи Мандельштама обратились в музейную реликвию и больше не звучат, стихи Гумилева стали кое для кого жизненно нужными. Их успех изобличает, конечно, душевную опустошенность и отчаяние тех, кто их читает. Вместе с тем, однако, изобличается и самая наша эпоха. Среди молодежи, партийной молодежи, представителей марксистского



литературоведения я наблюдал не только интерес к этому почти «подпольному классику», но и проявление определенного восхищения его стихами. И тем, чья жизнь переломлена, и тем, кто молод и силен, одинаково хочется почувствовать на своем лице веяние воздуха иных стран. Признак ли то малодушия или естественное восстание против насилия над нашим сознанием — все равно, но мы хотим увидеть новые дали, уверить себя на миг, что есть нечто за тесным кругом нашего горизонта. Для этого нам вовсе не нужны свидетельства тех, кто некогда действительно уверовал в иные миры; эти свидетельства давно истлели и неубедительны. Наше время удовлетворяется декламационным пафосом поэта-эрудита, импонирующего своей самоуверенностью и владеющего к тому же незаурядным стихотворным мастерством. Неоплатоников и гностиков вряд ли кто будет читать, но мы но сейчас упражняем свое воображение на поэтическом образе высшего начала, для которого и тело и душа равно лишь

...слабый отсвет сна,

Бегущего на дне его сознания.

Однако стихи Гумилева дают не только материал для подобного упражнений воображения, составляющих кое для кого отраду среди тягот сегодняшнего дня. В его поэзии есть воля к жизни. И поэтому в конечном счете с благодарностью и любовью я вспоминаю поэта, который был полон страстной жажды выйти за пределы круга обычных чувствований:

Так как за веком — скоро ли, Господь?

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть

Рождая орган для шестого чувства.

В холодных сумерках суровой московской зимы у Китайгородской стены я видел на прилавке букиниста «Огненный столп» рядом с готовальней. И то и другое продавалось по весьма сходной цене; на исходе третьего года пятилетки стихи Гумилева, подобно чертежным инструментам, стали остродефицитным товаром.

*Розенталь А.В. Непримечательные достоверности: Свидетельские показания любителя стихов начала XX века / Публ. и комм. Б.А. Рогинского. М., 2010. 637–638, 644–649.*

## Реабилитированный Гумилев. Анкета.

**Юрий Любимов**

Дело Гумилева столь давнее и столь многим известное, что скрывать его глупо. А потом, выборочно опубликовав стихи поэта, можно хвастать перед Западом, какие мы, дескать, либералы. Всю его трагическую историю они все равно перевернут и перекроют на свой подлый лад.

**Оскар Рабин**

Слухи ходили уже давно, да и приезжавшие в Париж москвичи мне говорили о том, что каким-то театральным деятелям Горбачев обещал послабление — только, мол, пусть дождутся, когда он войдет в силу. Ну, тот же Евтушенко не раз высказывался в своих интервью о повеявшем свежем ветре, имея в виду, конечно, горбачевское время. То, что сейчас реабилитировали Гумилева, — явление, безусловно, отрадное. Однако, ведь сколь многое можно еще в русском культурном наследии реабилитировать. При бытующих в Союзе темпах это займет столько времени, что до современной русской литературы и искусства дело не дойдет. В общем, я никак не могу согласиться с тем, что сам факт реабилитации одного поэта свидетельствует о какой-то либерализации в СССР. Тем более, что Гумилев и без их реабилитаций давно уже присутствует в русской культуре.

*Стрелец*. 1986. № 8. С. 22–23.

## Справка к иллюстрациям

### Художник Юрий Купреянов

На вкладке воспроизведены две рукописные книги стихотворений Гумилева работы Юрия Николаевича Купреянова (12(24) декабря 1899, Кострома — 27 января 1942, Ярославль, расстрелян), младшего брата знаменитого художника-графика Н.Н. Купреянова (1894–1933). Оригинальный размер первой («К синей звезде», 1933) — 15,5 x 11,6 см, второй (с утраченной обложкой) — 19 x 13,1 см. Обе книги находятся в собрании Н.Я. Купреянова (внука Н.Н. Купреянова).

Адресат карандашного инскрипта на книге «К синей звезде» — София Михайловна (урожд. Голикова; 1903–1964), впоследствии вторая жена Ю.Н. Купреянова (брак оформлен 17 января 1938 года).

Как и его старший брат, Ю.Н. Купреянов учился в петербургском Тенишевском училище (1911–1912); затем два года (1912–1913) в гимназии города Сувалки в Царстве Польском (его отец с 1911 года занимал должность сувалкского губернатора); в марте 1913-го переехал в Кострому, окончил 1-ю костромскую гимназию (1918). Специального художественного образования не получал.

Гимназистом два лета подряд (1916, 1917) добровольно служил санитаром на Западном и Юго-Западном фронтах в составе Кинешемско-Вичужского санитарно-питательного отряда № 27 Российского Красного Креста при 46-й пехотной дивизии (фронтальной теме посвящено несколько его рисунков, хранящихся в собрании Н.Я. Купреянова).

В 1918 неоднократно арестовывался, два месяца содержался в тюрьме в связи с ярославским восстанием. Весной 1919 года был мобилизован в Красную Армию в 159 отдельный стрелковый батальон войск внутренней охраны рядовым красноармейцем, в феврале 1920-го переведен в штаб батальона писарем, в том же году демобилизовался.

Согласно показаниям (1930), «с 1923 года по 1929 г. по декабрь м-ц <...> служил в гор. Москве в разных редакциях как художник». Сотрудничал с московскими издательствами («Театропечать», «Земля и фабрика»), журналами «Крокодил», «Искорка», «Лапоть», «Комар» и др.; среди графических работ — обложки и иллюстрации к книге С. Хатунского «На заработок» (М., 1925), «комедии-шутке» А. Хованской-Шефер «Путаница» ([М.,] 1930) и т.п.

На протяжении 1920-х проводил летние месяцы в усадебном доме в селе Селище под Костромой (сейчас в черте города), кото-

рый до революции принадлежал его предкам по материнской линии и оставался во владении семьи до конца 1930 года. Сотрудничал в качестве художника в костромских изданиях: газете «Северная правда», журнале «Бороний зуб» (приложение к газете «Борона»), альманахе Костромской группы РАПП «Стройка» (1930).

О его московской жизни в 1920-х см.: «Юрий Николаевич Купреянов, по прозвищу “Дрозд”, жил со своей женой Ниной Ивановной [Голейзовская (урожд. Сибирякова), театральная художница] в одном из арбатских переулков, выполнял графические работы по заказам книжных издательств. На мой взгляд, он был очень талантлив и по художественной одаренности превосходил своего старшего брата, известного художника-графика Н.Н. Купреянова. Первым мужем Нины Ивановны был балетмейстер Касьян Голейзовский, и она не без гордости иногда демонстрировала нам свое пластическое искусство, очевидно приобретенное под его руководством. Свое прозвище Юрий Николаевич получил за исполнение белогвардейского гимна “Вперед, Дрозды, Россия ждет, ждет мира и свободы...”, написанного в честь генерала М.Г. Дроздовского — одного из организаторов Добровольческой армии, убитого в 1919 году. Юрий Николаевич с необыкновенным искусством щелкал каблуками и козырял, за версту производя впечатление бывшего белогвардейского офицера, хотя в Белой армии никогда не служил. Среди семейных реликвий он гордился фотографией, снятой в момент, когда Николай Второй на перроне вокзала в Сувалках пожимал руку его отцу, царскому генералу. Все это к добру не привело, и свои дни Юрий Николаевич окончил в 30-е годы на строительстве Беломорканала. Эмоционально очень сильными были его иллюстрации к стихотворению Ильи Сельвинского “Рапорт”. Привожу по памяти эти стихи, они того заслуживают: “Председателю тройки господину Долинину, ротмистра Браудэ. Рапорт. За командование мною при интервенции Карелии белым бронепоездом ‘Ревун’, на Кронштадтском равелине, Юго-Запад, в ночь на третье я был расстрелян и погребен во рву. Бдя честь Российского знамени, прошу сей просьбе внять: за дрянную работу — солдат шомполами, меня ж дострелять. Подпись: Браудэ. Деревня Люцерн, марта шестого дня. Входящий номер и резолюция: по пункту второму — внять”. Позднее мне пришлось видеть у Нины Ивановны прекрасно оформленный альбом графических работ Юрия Николаевича формата in folio, датированный “моего заключения год третий”. Беломорканал был открыт в 1933 году» (Соловов А.П. Московское лихолетье // Новый мир. 1997. № 9. С. 164).

Летом 1930-го работал два месяца землекопом на кирпичном заводе в Костроме, с сентября — грузчиком на Волгоразгрузе. 4 ноября 1930 года был арестован в Костроме по сфабрикованному делу «контр-революционной офицерско-белогвардейской организации из бывших руководителей и членов “Союза возрождения

России»». В анкете арестованного в качестве основной профессии указал «художник-журналист», кроме того, в качестве служебной деятельности назвал «водный транспорт матрос» и «гор. театр сотрудник» (свидетели по делу среди прочего показали, что после революции местные активисты устроили в усадебном доме в Селище молодежный сельский клуб имени 3-го Интернационала, однако в начале 1920-х Ю.Н. Купреянов был выбран на должность заведующего этим клубом, а в дальнейшем его родные отхлопотали свой дом обратно).

17 декабря 1930 года в числе 108 обвиняемых по этому делу был осужден тройкой при полпредстве ОГПУ по Ивановской промышленной области по ст. 58–10 и 58–11 и приговорен к заключению «в концлагерь на десять лет со строгой изоляцией» (по этому же делу его мать М.Г. Купреянова (1866–1941) была приговорена к трехлетней высылке в Северный край). Срок отбывал на строительстве Беломорканала (в 1933–1935 годах — в Медвежьей Горе), в заключении оформлял лагерные журналы «Под знаменем Беломорстроя» (1934–1936) и «Беломорско-Балтийский комбинат» (1934–1935).

На этих «реках Вавилонских» и произошло знакомство Ю.Н. Купреянова с С.М. Голиковой (дочь протоиерея из Романова-Борисоглебска, «приехала в г. Котлас к осужденному отцу оказывать материальную поддержку и имела с ним нелегальную письменную связь», в 1931-м арестована «при попытке взять письмо о положении заключенных от еп. Варлаама (Ряшенцева) для отца для передачи в английское посольство» и осуждена по ст. 58-6, 58-10, 58-11 (обвинение: «взялась выполнить поручение епископа В. Ряшенцева и Голикова сообщить о положении заключенных») на пять лет лагерей, «считая срок с 7.03.1931», первоначально отправлена на Соловки). В 1935 году у них родился сын Михаил.

В начале 1937-го Ю.Н. Купреянов вышел на свободу (по всей видимости, с «зачетом», поскольку позднее показывал, что срок по приговору 1930-го отбыл полностью). В 1940-м проживал в Ярославле, «работал в ярославских школах по изготовлению наглядных пособий». 30 ноября 1940 года был арестован за нарушение паспортного режима и 27 января 1941 года приговорен к лишению свободы на полтора года, этот срок отбывал в ИТК № 1 УНКВД Ярославской области, работая в конструкторском бюро чертежником. 7 ноября 1941 года арестован по доносу и 29 ноября приговорен Военным трибуналом войск НКВД Ярославской области по ст. 58-10, ч. 2 к высшей мере наказания. 27 января 1942 года расстрелян в ярославской тюрьме (реабилитирован 26 декабря 2001 года).

### Лагерная «Антология» и ее составители

Составлявшаяся заключенными Орлово-Розовского отделения Сиблага в течение двух лет (1945–1947) рукописная антология русской поэзии, некоторые из страниц которой представлены на вкладке, хранится в архиве Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (Ф. 2. Оп. 5. Д. 10 — «В. Берсенева. С. Потресова. Литературный альманах») и поступила туда от Елены Фридриховны Краузе — дочери одной из двух составительниц антологии, Веры Федоровны Берсеновой (1897–1950).

*В.Ф. Берсенева родилась в Санкт-Петербурге, окончила Выборгское коммерческое училище. С 1924-го работала старшей медсестрой в Лосиноостровском санаторном отделении Дома охраны младенца (позднее Институт педиатрии). В 1928 году вышла замуж за педиатра Фридриха Оскаровича Краузе. В октябре 1930-го семья переехала в Магнитогорск, где В.Ф. Берсенева заведовала библиографическим отделом научно-технической библиотеки Магнитогорского металлургического комбината. В 1942 году Ф.О. Краузе был арестован; спустя 8 месяцев, в декабре того же года была арестована и приговорена к 10 годам ИТЛ и В.Ф. Берсенева, отправленная в Тайшетлаг (Иркутская область). В октябре 1945-го переведена в Орлово-Розовское отделение Сиблага (в районе Маршинска Кемеровской области), где и скончалась.*

Эта тетрадь с 381 пронумерованной страницей содержит около 250 стихотворений, записывавшихся по памяти и потому не всегда точно, а иногда и с неверным указанием автора (например, стихотворение В.А. Злобина «Ни о чем не думал [и жил, как в башне]...» из альманаха «Арион» (1918) приписано другому его участнику, Г.В. Маслову). Значительное место здесь занимают стихи Гумилева и, как вспоминала вторая из составительниц, лагерная медсестра Софья Сергеевна Потресова (1904 — вторая половина 1980-х), именно его строки, услышанные от попавшей в «больничку» В.Ф. Берсеновой, дали импульс к созданию всей антологии.

*С.С. Потресова родилась в Москве, дочь литератора С.В. Потресова-Яблоновского. В 1920-м исключена из РКП(б) как социально чуждая (из дворянской семьи). Окончила 3 курса медфака,*

*работала в Москве «художником-макетчиком по договорам». В ноябре 1937 года арестована и приговорена тройкой НКВД к 10 годам лагерей за «троцкистско-шпионскую деятельность». Освобождена из Орлово-Розово 14 ноября 1947 года, до 1956-го жила в Бийске, после реабилитации (1955) смогла вернуться в Москву, работала корректором в издательстве. Умерла в доме престарелых.*

## Именной указатель\*

- Anemone A. 111  
Beckhofer C.E. 116  
Gomolicki Leon 358  
Harris W.C. 59  
Hodgson Katharine 53  
Jastrun Mieczyslaw 358  
Pollak Seweryn 358  
Reavey George 359  
Rohling H. 111  
Slonim Marc 359  
Spinage C.A. 59  
Vroon Ronald 303, 553
- Абызов Ю.И. 107, 348  
Автономов В.М. 387, 388, 474  
Агапов Б.Н. 107  
Агранов Я.С. 51, 169  
Адалис (Ефрон) А.Е. 75, 130, 131, **151**  
Адамович Г.В. 31, **33, 34, 62, 63, 110, 126, 148, 224, 277, 281, 318, 426, 443, 495, 508, 604**  
Азаров В.Б. 234, 237, 332, 360  
Айхенвальд Ю.И. 83, 104, 360, 433, 546  
Алейников В.Д. 477  
Александров Н.А. 112  
Александров Р.Н. (Рудин Д.) 112  
Алексеев А.Д. 427, 428, 440  
Алексеев В.С. 134, **135, 154–156**  
Алексеев Н.А. 104, 115  
Алехин Ю.В. 111  
Алехина Е.В. 111  
Алигер М.И. 266, 358, 361, 375, 433
- Алымов А. (Ширяев Б.Н.) 51, 322  
Альвинг (Смирнов) А.А. 53  
Альтман Н.И. 278, 486  
Амстердам А.А. 342, 366  
Амстердам А.В. 342  
Андреев Д.Л. **52, 107, 257, 293**  
Андреев Л.Н. 71, 338  
Андреева А.А. 52, 257, 293  
Андреева В.Л. 475  
Андреева О.Г. 362  
Анненков Ю.П. 105  
Анненская Н.В. 73  
Анненский И.Ф. 10, 14, 46, 51, 56, 58, 105, 163, **164, 175, 179, 186, 202, 243, 244, 268, 273, 295, 334, 335, 352, 403, 413, 453, 468, 500, 523**  
Анстей (Штейнберг) О.Н. 66, 294, 303  
Антокольский П.Г. 131, **152, 191, 237, 375, 377, 433, 447, 454**  
Аренс А.Е. 42  
Аренс З.Е. 42, 67  
Аренс Л.А. 333, **362**  
Аренс Л.Е. 42, 67  
Арнольд-Вертер (ур. Жукова) В.А. **42**  
Аронов А.Я. 476  
Аронсон Г.Я. 147, 483  
Аронсон М.И. 13  
Арский (Афанасьев) П.А. 40  
Артизов А.Н. 250  
Архипов К.Н. 418, **419**

\* Номера страниц с многократным упоминанием имени выделены **жирным** шрифтом.



- Архиппов Е.Я. 87, 193, 238, **244**  
 Асеев Н.Н. 53, 201, 236, 327, **365**  
 Аскольдов (Алексеев) С.А. 135, 310  
 Ахмадулина Б.А. 487  
 Ахматова А.А. 18, 21, 33, 35, **36**, 41, 43–45, 52–59, 61–64, **66**, **67**, 72, 73, 75, 92, 104, 105, 110, **111**, 115, **120**, 121, 134, 136, 138, 139, 141, 145, **146**, 156, **157**, **161**–163, 171, 174, 182, 183, 185–187, 199, 201–203, 210, 219–**221**, 223, 224, 228, 229, 234, 236, 237, 242, **244**–246, 249, **255**–259, 262, 267, 274, 276–278, **283**–**289**, **292**, 293, **295**, 298, **301**–304, 310, 315, 317, 320, 323, 325, 331, 332, 335, 338, **339**, 342, 343, 347, 348, **354**, 355, **357**, 360, **362**, **363**, 366, 367, 371–373, 375–378, 381–383, 385, 387, 390, 395–398, 400, **403**, **404**, **406**, 407, **410**–**413**, 415–417, **420**–423, 427–430, **451**–**453**, 456, 457, 459, **471**, **472**, 474–476, **478**, 479, 481–483, **485**–487, 495, **496**, 498, 499, 508, 510, 511, 517, 530, 531, 553, 560, 611  
 Ашукин Н.С. 62  
 Ашукина (Зенгер) М.Г. 62  
 Бабель И.Э. 122, 421  
 Багрицкий (Дзюбин) Э.Г. 45, 46, **72**, 73, 75, 157, 175, **182**, **184**, 186–191, 229, 233–**237**, **267**, 268, 274, 298, 309, **332**–336, 346  
 Багрицкий В.Э. 299  
 Байрон Д.Г. 490, **491**  
 Балагин (Гершанович) А. 27  
 Балезин А.С. 500  
 Бальмонт К.Д. 35, 61, 70, 167, 173, 206, 218, 333, 335, 339, 347, 355, 356, 363, 512, 523, **524**  
 Балясный А.Д. 312, 559  
 Баратынский Е.А. 109, 408  
 Барахович М.Б. 27, 61  
 Бар-Йосеф Х. 72  
 Барскова П.Ю. 303, 320, 374, 491  
 Баскер М. 56  
 Бахрах А.В. 500  
 Бачелис И.И. 299  
 Безъязычный В.И. 111  
 Бекетова М.А. 439  
 Беккер М.И. 190, 237  
 Белецкий М.И. 394  
 Белицкий Г.Е. 212  
 Белодубровский Е.Б. 300, 472  
 Белый А. (Бугаев Б.Н.) 39, 42, **65**, 71, 103, 115, 174, 192, **193**, 206, 218, **238**, **239**, 242, 243, 245, 268, 325, 333, 339, 357, 363, 377, 385, 396, 461, 592  
 Белякова А.П. 341  
 Бем А.А. 70, 71, 105, 219, 246  
 Бенедиктов В.Г. 186  
 Бенуа А.Н. 440  
 Берггольц О.Ф. 266, 308, 320, 361, 398, 449  
 Берман Л.В. 113  
 Бернер Н.Ф. 92, **110**  
 Берсенева В.Ф. 260, 621  
 Бетаки В.П. 298, 490, 491  
 Бехгофер К.Э. 104  
 Бикерман Я.И. 412, 482  
 Блок А.А. 33, **34**, 46, 47, 50, 51, 59, **61**, 62, 65, 67–73, 75, 83, 85, 92, 105, **109**, 112, 115, **122**–124, 135, 136, 141, 153, 164, 167, 170, **174**, 179, 186, 187, 201, 217, **225**, 228, 233, 234, 238, 242, 258, 259, 265, 266, 268, 273, 274, 276–283, 287, 294, 297, 299, 301, 302, 307, 314, 317, **318**, **324**, 325, 335, 338, 347, 348, 351–353, 355, 358, 363, **365**, 369, 374, 375, 378, 387, 396, 409, 413, 415, 434, 436, **438**–440, 449, 450, 459,

- 462, 464, 466, 467, 482, 486,  
493, 498, 500, 506, 509, 510,  
512, 514, 517, 518, 521, 524,  
532, **539**, 557, 581, 582
- Блок Л.Д. 122, 123
- Блох С.Д. 368
- Блюм А.В. 11, 483
- Бобович Б.В. 72, 75
- Бобович И.В. 46, 48, 49, **73**
- Бобров С.Н. 57, 168, 225, 228
- Богомолов Н.А. 10, 153
- Богомолов С.А. 46
- Бодлер Ш.П. 55, 68, 72, 274, 333,  
531
- Болховитинов В.Н. 479
- Борисоглебский М.В. 219, 221
- Браун Н.Л. 128, 129, **149**, 156,  
467, 500
- Браун Н.Н. 148, 467
- Брик (Каган) Л.Ю. 167, 168, 224,  
225
- Брик О.М. 52, 167
- Бродский Д.Г. 75
- Бродский И.А. 13, 36, 65, 433,  
454, 476, 496
- Бродский Ю.И. 110
- Бронгулеев В.В. 419, 484
- Бруни Н.А. 86, 96, 107, 111
- Брыкин Н.А. 163, 289
- Брэм А.Э. 17, 23
- Брюсов В.Я. 19, 35, 54, 56–**58**, 63,  
64, 66, 72, **75**, 76, 109, 115, **151**,  
162, 167, 172, 174, 182, 187,  
194, 234, 237, 239, 242, 302,  
325, 333, 334, 369, 373, 377,  
**387**, 409, 430, 456, 457, 473,  
493, 499, 511, 523, 574, 577, 592
- Брюсова И.М. 499
- Буковский В.К. 477
- Булыгин П.П. 107
- Бунин И.А. 34, 75, 82, 186, 233,  
242, 375, 376, 385, 403, 411,  
**412**, 455, 524
- Бурбоны 615
- Буртин Ю.Г. 470
- Буссенар Л. 112
- Бутомо-Названова О.Н. 390, 475
- Бучина Л.И. 221
- Буш В.В. 171
- Быков П.В. 220, 221
- В.Г. 229
- Вагинов К.К. 111, 126, 148, 226
- Вагнер В.Р. 566
- Вагнер Н.П. 148, 156
- Валиева Ю.М. 111
- Варлаам (Ряшенцев), архиеп.  
620
- Василевский Л.М. 64
- Васильева Л.Н. 298
- Васина Е.Н. 68
- Васко да Гама 18, 43, 208, 541,  
581
- Вебер К.М. 580
- Вебер-Хирьякова Е.С. 71
- Венгеров С.А. 60, 491
- Венцлова Т.А. 478
- Веселовский А.Н. 429, 610
- Виленский С.С. 105, 293
- Виноградов В.В. 527
- Виноградов В.К. 111, 152
- Виньи А. **54**, **55**
- Вирта (Карельский) Н.Е. 342
- Вирта Т.Н. 342
- Вишневский В.В. 332, **333**, 339,  
358, 360–363
- Вознесенский А.А. 438, 477
- Войтинская-Левидова Н.С. 56,  
440, 493, 494
- Волков А. 54, 58, 208, **214–217**,  
243, 247, 248, 250, **251**, 386,  
387, 473
- Волков Б.Н. 107
- Волков П.Н. 148
- Волков С.М. 65, 496
- Волошин М.А. 76, 103, 113, 116,  
150, 170, 176, 199, 202, 210,  
229, 244, 274, **288**, 293, 295,  
303, 313, 333, 353, 395, 396,  
434, 436, 440, 475, 492

- Волошина М.С. 103  
 Вольнец А.Н. 357  
 Волькенау Н.В. 90  
 Воробьева М.З. 110  
 Воронович В.Н. 14  
 Врубель М.А. 355  
 Врубель-Голубкина И. 250, 476,  
 477  
 Выгодский Д.И. 61, 151, 461
- Гаккель (ур. Аренс) В.Е. 42, 43,  
 66  
 Галушкин А.Ю. 148  
 Гамма А. 75  
 Гамсун (Педерсен) К. 98, 112,  
 363, 468  
 Гардзонио С. 51, 108  
 Гарднер В.Д. 107  
 Гартевельд М.В. **60**  
 Гаспаров М.Л. 67, 113  
 Герман М.Ю. 476  
 Герман Э.Я. 130  
 Геронимус Б.А. 57, 157  
 Гиллельсон М.И. 104  
 Гильдебрандт-Арбенина О.Н.  
 110, 187, 237, 301  
 Гинс Г.К. 53  
 Гиппиус В.В. 372  
 Гиппиус З.Н. 71, 173, 174, 178,  
 238, 239, 334, 348, 355, 357,  
 396, 418, 434, 436  
 Гитович А.И. 149, 210–212, **340**,  
**341**, 366, 374  
 Глазков Н.И. 273, 274, **299**  
 Глезер Л.А. 475  
 Глен Н.Н. 45, 46, 72  
 Глинка Г.А. 108  
 Гнедич Т.Г. 434–436, 441, 490,  
**491**  
 Гнучева В.В. 398, 477  
 Гоген П. 72, 518  
 Гоголь Н.В. 71, 137, 184, 322, 511,  
 593  
 Голейзовская (ур. Сибирякова)  
 Н.И. 619
- Голейзовский К.Я. 619  
 Голиков М.А. 620  
 Голикова С.М. она же «Софка»  
 со вклейки 618, 620  
 Голлербах Е.А. 11, 222, 248  
 Голлербах Э.Ф. 107, 164, 198,  
**222**, 223, 232, 234, 244  
 Голубков Д.Н. 411  
 Голубкова М.Д. 482  
 Гольдберг Л. 72  
 Гомолицкий Л.Н. 71, 556  
 Гончаров И.А. 71, **574**, 575  
 Горнунг Б.В. 18, 58, 92, 110  
 Горнунг Л.В. 53, 89, 92, 110,  
 137–140, 156, 223, 225, 255,  
 357, 411, 468, 494  
 Городецкий С.М. 51, 53, 84, 104,  
 126, 129, 130, 133, 151, 208,  
**228**, 238, 247, 333, 351, 352,  
**372**, 373, 433, **451**, 456, 488  
 Горфинкель Д.М. 148  
 Горький М. (Пешков А.М.) 103,  
 113, 116, 217, 282, 338, 378,  
**421**, **422**, 471, 484, 510, 511,  
 561  
 Готье Ж.-П. 506  
 Готье Т. 54, 56, 57, 72, 92, 109,  
 189, 404, 451, 464, 507, 511,  
 514, 518, 560, 580, 611  
 Грааль-Арельский (Петров С.С.)  
**84**, 86, **104**  
 Грабарь (Шполянский) Л.Ю.  
 173, 227  
 Гревениц Д. 128, 148  
 Грей Ш. 56  
 Гречишко С.К. 341, 366  
 Григорьев А.А. 71  
 Гринберг И.Л. 234  
 Гринберг Р.Н. 146  
 Гриц Т.С. 59  
 Громов П.П. 450  
 Громова Н.А. 362, 501  
 Гронский Н.П. 157  
 Грудцова (Наппельбаум) О.М.  
 148

- Груздев И.А. 125, 148, 385  
 Грузинов И.В. 37, 65, 153  
 Грюнвальд М.К. 611  
 Губерман И.М. 111  
 Гузевич Д.Ю. 11  
 Гуль Р.Б. 52, 147  
 Гумилев Л.Н. 64, 295, 296, 303,  
 398, 408, 445, 481, 487, 603  
 Гумилева (ур. Фрейганг) А.А.  
 70, 123  
 Гумилева (ур. Энгельгардт) А.Н.  
 135, 155, 219, 447  
 Гуревич Л.Я. 34, 35, 372  
 Гутнер М.Н. 54, 250  
 Гюго В. 109
- Давид Ж. 52  
 Давидсон А.Б. 11, 500  
 Давыдов Д.В. 499  
 Давыдов З.Д. 229  
 Данилевский А.А. 51, 71, 105  
 Данилевский В.Г. 390, 484, 553  
 Данте Алигьери 31, 35, 374, **429**,  
 430, 487, 516  
 Де Ноай А. 110  
 де-ла Мотт 615  
 Делакура Э. 109  
 Дементьев Н.И. 188, 237, 246,  
 385  
 Демидов О.В. 65, 494  
 Деникин А.И. 40  
 Державин Г.Р. 19  
 Дехтерев А.П. (архиеп.  
 Алексей) 37  
 Дзержинский Ф.Э. 352, 393  
 Длигач Л.М. 209, 210, **249**  
 Дмитренко А.Л. 113, 148, 154–  
 157, 245  
 Дмитриев Н.П. 136–**140**, 148,  
 156, **214**, 216, **251**  
 Дмитриева Е.И. (Черубина де  
 Габриа) 107, 339, 340  
 Доливо-Добровольский А.В.  
 107  
 Долинов Г.И. 75
- Достоевский Ф.М. 12, 71, 511  
 Доценко С.Н. 51, 71  
 Доэрти Д. 11, 111  
 Дроздовский М.Г. 619  
 Дувакин В.Д. 225, 347, 369, 396,  
 397  
 Дуэль И.И. 393, 476  
 Дьяконов И.М. 199, 245  
 Дю-Белэ (дю Белле) И. 92  
 Дюбуше Е.К. 64, 396, 397
- Евдокимов («Саша Клык») А.Д.  
 419, 484  
 Енишерлов В.П. 11, 501  
 Есенин С.А. 19, 32, 33, 63, 109,  
 114, 145, 161, 170, 207, 246,  
 256, 268, **273**, **276**, 287, 294,  
 298, 311, 322, 326, 342, 353,  
 411, 421, 472, 486, 491  
 Ефимов Е.Б. 303, 496  
 Ефимов О.П. 42  
 Ждановский К. 107  
 Живов М.С. 358  
 Жирмунская Н.А. 372  
 Жирмунская Т.А. 65  
 Жирмунский В.М. 36, **37**, 64,  
 162, 203, 217, 251, 372, 451, 461  
 Журбенко А.Г. 78  
 Журин В.В. 39
- Забежинский Г.Б. 227  
 Забелин Е.Н. 191  
 Завалишин В.К. 313, 323, 482,  
 576  
 Заволокин П.Я. 60  
 Зак Я.Г. 475  
 Замятин Е.И. 221, 421, 422, 492,  
 597  
 Зандер Л.А. (Виктор Эремита)  
 518, 521  
 Зарецкий В.А. 366  
 Звенигородский А.В. 244  
 Зенкевич М.А. 78, 98, 105, 132,  
 177, 183, 186, 187, 208, 223,  
**236**, 299, 363, 372, 427

- Зив (Вихман) О.М. 148  
 Зиновьев (Радомысльский) Г.Е.  
     52, 53, 65, 429, 463  
 Злобин В.А. 621  
 Злыднев В.И. 267  
 Зобнин Ю.В. 11, 67, 78, 104, 114,  
     147, 151, 222, 225, 292, 300, 500  
 Золотоносов М.Н. 11  
 Зонин (Бриль) А. (Л.) И. 166  
 Зоценко М.М. 115, 251, 339,  
     347, 363, 395  
 Зыков Л.А. 55, 313, 322
- Иванов А. 401  
 Иванов Вяч. В. 343, 344, **368**,  
     **472**  
 Иванов Вяч. И. 23, **56**, 71, 76,  
     77, 192, 218, 235, 238, 333, 334,  
     335, 358, 434, 464, 493  
 Иванов Г.В. 65, 66, 84, 107, 111,  
     122, 131, 137, 146, **147**, 151,  
     181, 203, 242, 274, **277**, 278,  
     285, 303, 318, 400, 446, 494,  
     498, 508, 556, 557, 577, 580, 588  
 Иванова Л.Н. 293  
 Иванов-Разумник (Иванов Р.В.)  
     492  
 Ивнев Р. (Ковалев М.А.) 60, 228  
 Измайлов А.А. 151  
 Изумрудов Ю.А. 612  
 Ильин (Маршак) Я.Я. 210  
 Ильин В.Н. 14  
 Ильина О.А. 546  
 Исаков С.Г. 55  
 Исакович И.В. 453  
 Исаковский М.В. 358
- Каверин В.А. 52, 255, 292, 293,  
     501  
 Каплун-Спаская С.Г. 55  
 Карпов Я.К. 484  
 Катаев В.П. 46, 50, 51, 73, 75  
 Кашеваров С.А. 364  
 Кёлер (Земмерлинг) Л.Г. 105  
 Кёлер Л.Г. 105
- Кельнер В.Е. 114  
 Кенигсберг М.М. 92  
 Кесельман С.И. 72  
 Киплинг Д.Р. 17, **53**, **54**, 187, 246,  
     261, 268, 270, **271**, 298, 310,  
     409, 576, 582  
 Клещенко А.Д. 381, 471  
 Клаев Н.А. 170, 186, 211, 256,  
     **276**, 434, 465, 492  
 Клаева В.Н. 87, 110  
 Книпович Е.Ф. 59, 317, 318, 320,  
     324, 325, 326  
 Кнорринг И.Н. 69  
 Князев В.В. 104  
 Князев Ф.С. 246  
 Ковалевский В.А. 228  
 Ковалевский С.А. 60  
 Ковтун Е.Ф. 494  
 Коган П.С. 19, 218, 233, 268, 269,  
     400  
 Козловская Г.Л. 56  
 Козырева М.Л. 154, 289, 303  
 Кок Ш.П. 65  
 Колкер Ю.И. 491  
 Колосова М. (Виноградова Р.И.)  
     107  
 Колосова Н.П. 501  
 Колумб Х. 43, 140, 153, 208, 310,  
     541, 581, 587  
 Колчак А.В. 39, 78  
 Комаровский В.А. 122, 140, 164,  
     359, 400  
 Кондратьев А.А. 105, 390, 522  
 Конечный А.М. 156  
 Кони А.Ф. 65  
 Коняев В.А. 397  
 Копелев Л.З. 223  
 Копельман З.Л. 72, 481  
 Корецкая И.В. 56  
 Коржавин (Мандель) Н.М. 343,  
     368  
 Коркина Е.Б. 60, 158  
 Корман Б.О. **366**  
 Корнилов Б.П. 245  
 Корнилов В.Н. 13, 53, 107, 367

- Коростелев О.А. 63, 296, 489  
 Корсунов Н.Ф. 487  
 Костырченко Г.В. 358  
 Котрелев Н.В. 357  
 Коцюбинский И.Т. 352  
 Кравцова И.Г. 59, 62  
 Крайнева Н.И. 67, 481, 485  
 Красильников В.А. 237  
 Краснов В.Г. 401  
 Краснов В.Г. 478  
 Краснов П.Б. 73  
 Краузе Е.Ф. 621  
 Краузе Ф.О. 621  
 Крачковский Д.И.  
     (Кленовский Д.) 28, **62**, 107,  
     243, 265, 296, 313, 322  
 Крейд (Крейденов) В.П. 11, 65,  
     99, 107, 147, 501  
 Крейтан (Попов) Г.В. 343, 366  
 Кровицкая В.Я. 102, 113  
 Кругликова Е.С. 440, 494  
 Крузенштерн-Петерец Ю.В. 69,  
     356  
 Круковский В.В. 60  
 Кудрова И.В. 366, 342  
 Кудрявцев В.В. 66, 104  
 Кудрявцева В.Н. 41, 42  
 Кузмин М.А. 37, 66, 92, 109, 112,  
     170–172, 185–187, 208, 225,  
     235, 239, 249, 268, 274, 276,  
     278, 297, 302, 357, 358, 376,  
     396, 434, 436, 440, 457, 462,  
     470, 491, 492, 517, 589  
 Кузьмин А.П. (Крайский А.) **65**  
 Кузьмин-Караваев Д.К. 495  
 Кукушкина Т.А. 113  
 Кульчицкий М.В. 267, 268, 298  
 Кумов С. 65  
 Кумпан К.А. 104, 156  
 Куняев Б.И. 229  
 Куняев С.С. 237  
 Куняев С.Ю. 237  
 Купреянов М.Ю. 620  
 Купреянов Н.Н. 618, 619  
 Купреянов Н.Я. 618  
 Купреянов Ю.Н. также есть на  
     вклейке 618–620  
 Купреянова (урожд. Мягкова)  
     М.Г. 620  
 Купреянова С.М., см. Голикова  
     С.М.  
 Куприяновский П.В. 481  
 Купченко В.П. 113, 229, 360  
 Курочкин В.С. 437  
 Кускова Е.Д. 53  
 Кучерявкин В.И. 72  
 Кушлина О.Б. 60, 67  
 Кушнер А.С. 149, 481  
  
 Лавренев (Сергеев) Б.А. 57, 140,  
     141, 144, 157, 492  
 Лавринец П.М. 65, 71  
 Лавров А.В. 65  
 Лавров С.Б. 296  
 Лавуазье А.Л. **82**  
 Лазников А.С. 352  
 Лансере Е.Е. 392, 476  
 Лаперуз Ж.-Ф. 43, 208, 541, 566,  
     581  
 Левин Г.А. 86, 87, **107**, 108  
 Левин Г.М. 476  
 Левин Д.С. **296**  
 Левин Ю.Д. **265**, 296  
 Левина Т.М. 361  
 Левинг Ю.П. 73  
 Левинсон А.Я. 592  
 Левинтон А.Г. 478  
 Левинтон Г.А. 156  
 Лекманов О.А. 56, 247  
 Леконт де Лиль Ш. **17**, **18**, 54–  
     **58**, 72, 518, 582  
 Ленин (Ульянов) В.И. 53, 211,  
     **215**, 217, 248, 251, 296, 310,  
     369, 377, 381, 395, 404, 421,  
     429, 454, 455, 470, 473, 482,  
     499, **526**  
 Ленотр Ж. (Госселен Т.) 82  
 Лермонтов М.Ю. 56, 63, **71**, 86,  
     218, 242, 247, 263, 265, 273,

- 280, 324, 327, 345, 463–465,  
486, 500, 511, 523, 591, 598, 607
- Лесман М.С. 105, 496
- Либединский Ю.Н. 59
- Лившиц Б.К. 76, 247
- Линецкая (ур. Фельдштейн)  
Э.Л. 257, 293
- Линник Ю.В. 416
- Липавский А.С. 111
- Липскеров К.А. 103, 104, 131
- Лихачев Д.С. 501
- Лихачев Н.П. 30, 62
- Ло Гатто Э. 62
- Лозинский Г.Л. 64
- Лозинский М.Л. 44, 242, 370,  
454
- Лосский Б.Н. 113
- Лошилов И.Е. 115
- Лубэ С.М. 234
- Луговской В.А. 246, 342, 367, 375
- Лукницкая В.К. 56, 67, 157, 223,  
237, 494, 498
- Лукницкий П.Н. 55, 56, 78, 102,  
107, 113, 136, 138, 139, 141,  
144, 145, 151, 157, 158, 163,  
166, 191, 221–224, 242, 362,  
454, 455, 485, 497–499, 611
- Лурье В.И. 75, 99, 107, 122, 146,  
148, 154
- Лурье С.А. 357
- Лущик С.З. 72–74, 312
- Львов-Рогачевский В.А. 56
- Любарский К.А. 394, 395
- Любимова М.Ю. 221
- Любищев Д.А. 70
- Лютер М. 491
- Магеллан Ф. 18, 581
- Майн Рид Т. 20, 59, 165
- Маковский С.К. 123
- Малахов С.А. 223, 227, 229, 259
- Малина-Онацкая М.Е. 70
- Малкина Е.Р. 35, 266, 277, 299,  
300
- Малларме С. 109, 277, 333
- Мальшкин А.Г. 114
- Мамиков В.Н. 484
- Мандельштам Н.Я. 78, 242, 360,  
**361**
- Мандельштам О.Э. 19, 33, 55, 58,  
78, 107, 120, 132, 146, 150–152,  
161, 162, 166, 170, 172, 177,  
183, 185–187, 211, 223, 226,  
242, 245, 250, 256, 257, 259,  
266, 270, 287, 309, 317, 323,  
325, 326, 328, 333, 339, 342,  
348, 355, 358–361, 367, 372,  
375–377, 390, 396–398, 402,  
410, 411, 413, 415, 417, **421**,  
424, 425, 428, 430, 433, 434,  
449, 452, 454, 457, 459, 465,  
478, 483, 485, 488, 494, 601,  
606, 611, 612, 614, 615
- Мандельштам Ю.В. 68, 70
- Мандрыкина Л.А. 454
- Манучарова Е.Н. **479**, 480
- Мария - Антуанетта 615
- Марков В.Ф. 72, **265**, 266, **296**,  
**297**, 442, 489
- Марков Г.М. 424
- Марков С.Н. 190–193
- Маркс К.Г. 251, 352
- Мартынов И.Ф. 11, 53, 77
- Мартынов Л.Н. 295
- Марьяновский В.А. 484
- Масанов И.Ф. 60
- Масарик Т.Г. 52, 53
- Маслов А.В. (А. Миних) 129–  
132, **150**
- Маслов Г.В. 621
- Масловский В.И. 111
- Мацкин А.П. 482
- Мачтет Т.Г. 134
- Маяковский В.В. 22, 23, 50, 52,  
62, 69, 71, 78, 151, 166–**170**,  
175, 185, 194, 216, **224–226**,  
234, 249, 268, 273, 274, 283,  
**287**, 298, 299, 313, 325–327,  
**338**, 339, 341, **347**, 352, 355,  
357, 358, 363, 365, 369, 377,

- 378**, 387, 396, 400, 401, 411,  
 421, 467, 477, 583  
 Металлов Я.М. 478  
 Метченко А.И. 415, 482  
 Мизинов Н.П. 27, **61**  
 Миллер В.Ф. 148  
 Милютин Т.П. 55  
 Минаев Е.М. 61  
 Минаев Н.Н. 110, **132**, 133, 153  
 Михайлов А.А. 222  
 Михайлов И.Л. 485  
 Михайлов Л.И. 485  
 Михайлов М.Л. 436  
 Михайлов М.Н. 420, 485  
 Могилевский В.Ю. 400, 477  
 Молчанов Н.С. 246  
 Морковин В.В. 428  
 Моррас Ш. 31  
 Моршен (Марченко) Н.Н. 107,  
 313, 435, 442, **489**  
 Мочалова О.А. 60, 107, 151, 224,  
 244  
 Мочульский К.В. 64, 75, 148, 232  
 Мстиславский (Масловский)  
 С.Д. 174  
 Муравьев В.Б. **151**  
 Муравьев В.С. 478  
 Мурашев Г.Т. 69  
 Мякинкова (Абакумова) Л. 397  
  
 Набоков В.В. 120, 146, 233  
 Набоков П.И. 261, 294  
 Набокова (ур. Слоним) В.Е. 146  
 Названов М.М. 390, 475  
 Налегач Н.В. 11  
 Нальянч (Шовгенов) С.И. 71  
 Наполеон I Бонапарт 33, 553  
 Напельбаум И.М. 99, 107, 125,  
 127, 148, 256, 292  
 Напельбаум М.С. 127, 256, 292  
 Напельбаум Ф.М. 99, 124, 126,  
 127, 148  
 Нарбут В.И. 58, 61, 130, 165, 177,  
 183, 186, 187, 208, 234, 236  
  
 Наровчатов С.С. 267, **298**, 389,  
 475  
 Нарциссов Б.А. 104  
 Наседкина Е.В. 65  
 Наумов В.А. 494  
 Наумов Е.И. 354, 374, 378  
 Наумов О.В. 250  
 Наумцев В.М. 397  
 Нежинцев Е.С. 150  
 Неймирок А.Н. 474  
 Некрасов Н.А. 218, 259, 263, 266,  
 376, 410  
 Нелепо Б.П. 10  
 Немировская Е.(Э.) Л. 75  
 Немоляева С.В. 397  
 Несмелов А.И. 69, 107  
 Нестеренко А.М. 485  
 Нешумова Т.Ф. 53, 110, 238, 244  
 Никитин А.Л. 52, 158  
 Никитин И.С. 263  
 Николай I 135  
 Николай II 619  
 Никольская Т.Л. 67  
 Никольский Ю.А. 34, 35, 276,  
 514  
 Никонов В.А. 72  
 Новикова О.Л. 114  
 Новицкий П.И. 221  
 Ногтева М.В. 381, 471  
 Нольман М.Л. 105  
 Норкин Н.С. 370  
 Нюрнберг А.М. 73  
  
 О'Тенри 257  
 Обухов В.Н. 69  
 Огрызко В.В. 323, 476, 482, 488  
 Одоевцева И.В. 59, 107, 121, 146,  
 147, 273, 278, 297, 318, 333,  
 357, 370, 407, 425, **443**, 447,  
 453, 461, 464, 486, 489, 495,  
 593, **600**–607  
 Озеров Л.А. 115, 465, 500  
 Оксенов И.А. 75, 150, 202, **204**,  
 207, 208, 216, 218, 246–248,  
 250, 488



- Олев Ю. (Галь Ю.?) 54, **55**  
Олеша Ю.К. 75  
Олидорт (Оленин) Б.В. 58  
Оль-Оль (псевдоним) 75  
Орлов В.И. 482  
Орлов В.Н. 149, 156, 385, 418,  
430, 431, 433–**435**, 440, 447,  
453, **454**, 457, 460, 488, **492**,  
500  
Орлов Н. 68  
Орлова Р.Д. 223  
Осоргин (Ильин) М.А. 129, 150  
Останин Б.В. 72  
Островская Е.С. 56  
Островская С.К. 303, 307, 317,  
320, 324, 374, 491  
Офросимов Ю.В. 531  
Оцуп Н.А. 66, 107, 111, 121, 154,  
238, **277–279**, 318, 378, 473
- Павлович Н.А. 148, 280, **283**, 301  
Павчинский В.В. 420  
Пакэн (Пакен) И. 50  
Палей А.Р. 156  
Паллада 42, 321  
Панов Н.Н. (Дир Туманный) 88,  
110  
Папковский Б.В. 374  
Парнис А.Е. 42, 62  
Пасквинелли А. 108  
Пастернак Б.Л. 42, 51, 75, 149,  
151, 170, 185, 186, 229, 230,  
**237**, 245, 248, 257, 268, 274,  
310, 321, 323, 326, 343, 347,  
360, 361, 363, 367–369, 396,  
397, 400, 410, 411, 418, 433, 483  
Пеги Ш. 17  
Первомайский Л. (Гуревич  
И.Ш.) 332, 358  
Перелешин (Салатко-Петрище)  
В.Ф. 69  
Перельмутер В.Г. 113, 229, 231  
Перетц В.Н. 36  
Петрановский В.П. 11, 67, 104,  
147, 222, 225, 292, 300, 500
- Петров М.П. 370  
Пивоваров Л.А. 81  
Пильняк Б.А. 122, 333, 403, 421  
Платонов (Климентов) А.П. **214**  
Плеханов Г.В. 171, 228  
Плиско Н.Г. 216, **249**  
По Э. 21, 59, 70, 430  
Поберезкина П.Е. 73, 293  
Поваров Н.С. **612**  
Позднякова Т.С. 62, 303, 320,  
374, 491  
Познер В.С. 30  
Поливанов К.М. 111, 357, 494  
Поликковская Л.В. 477  
Полонская (Мовшенсон) Е.Г.  
101, 113, 152, 431, **488**  
Полонский («Король») И.А. 419,  
484  
Полонский В.П. 169, 228  
Полонский Я.П. 242, 263  
Поляков С.А. 232  
Поляков Ф.Б. 51, 71, 108, 154  
Пономарева Г.М. 55  
Попов В.И. 244  
Попова Л.М. 141, 173  
Попова Н.И. 62  
Посадсков А.А. 61  
Поступальский И.С. 155, 182,  
**236**, 315  
Постышев П.П. **267**  
Потресо́ва С.С. 260, 621–622  
Потресов-Яблоновский С.В. 621  
Пракситель 18  
Прокофьев А.А. 149, 303, 358  
Прокофьев А.А. 149, 303, 358  
Пронин Б.К. **86**, 107  
Прохоров А.М. 469, **470**  
Прюдом С. 109  
Пугачев Е.И. 30  
Пугачева К.В. 369  
Пунин Н.Н. 43, 55, 284, 321, 371  
Пушкин А.С. 33, **63**, **71**, 113, 134,  
**162**, 184, 194, 213, 218, 224,  
240, 242, 257, 259, 263, 273,  
274, 288, 327, 345, 350–352,

- 355, 375, 376, 390, 391, 410,  
412, 429, 464, 486, 487, 491,  
493, 499, 510, 512, 517, 523,  
536, 565, 571, 574, **591**, 593,  
596, 606
- Пшибышевский С. 66
- Пяст (Пестовский) В.А. 72, 111,  
130, 150, 154, 238, 282, 370
- Равдин Б.А. 108, 112, 500
- Рагинский-Корейво Т.Г. 148
- Радлов Н.Э. 78
- Радлова-Казанская Н.Э. 78
- Разумов А.Я. 293
- Райс Э.М. 62, 359
- Раскина Е.Ю. 62
- Распутин (Новых) Г.Е. 509
- Распутин В.Г. 501
- Редер Г.М. 59
- Редько А.М. 66
- Резников Л.Я. 75
- Резникова Н.С. 61
- Резникова Н.С. 69
- Рейсер С.А. 13
- Рейснер Е.А. 152
- Рейснер Л.М. 65, 152, 175, 228
- Рекемчук А.Е. 343
- Ремизов А.М. 19, 58, 174, 228,  
233
- Ренья А. 42, 57, 333
- Решетов А. (Барютин Н.Н.) 110
- Рильке Р.-М. 307
- Рогинский А.Б. 454, 467, 486
- Рогинский Б.А. 616
- Родов С.А. 162
- Рождественский В.А. 107, 149,  
150, 152, 154, 210–212, 222,  
234, 237, 238, 245, 300, 301,  
316–320, 324, 336, 361, 478, 500
- Рождественский Р.И. 438
- Рожицын В.С. 51
- Розанов В.В. 71
- Розанов И.Н. 105, 192, 228
- Розанова М.В. 477
- Ройтман В.А. 368
- Романихин И. 62
- Ромов С.М. (Роффман С.Д.) 115
- Ронсар П. 92, 110, 261, 294
- Ропшин (Савинков) Б.В. 174
- Русина Ю.А. 369
- Рыжей П.Л. 150
- Рындина Л.Д. (в бр. Брылкина,  
Соколова) 323
- Садофьев И.И. 125, 148, 149
- Сажин В.Н. 371
- Салтыков-Щедрин М.Е. 228,  
381, 404
- Самохвалова (Набатова) Я.В.  
11, 53
- Сарданапал 94
- Сарнов Б.М. 237, 343, 367
- Свешников А.В. 500
- Свифт Д. 121
- Святловский В.В. 95
- Святополк-Мирский Д.П. 62,  
182
- Северянин И. (Лотарев И.В.)  
42, 50, 72, 75, 84, 229, 235, **276**,  
347, 355, 356, 363, 369, 396
- Сельвинский И.Л. 185, 234, 248,  
320, 359, 619
- Семенов Г.М. 69
- Семенов Г.С. 391
- Семичастный В.Е. 418
- Сенковский О.-Ю.И. 138
- Сент-Бев Ш.О. **36**
- Сергеев А.А. 154, **477**
- Сергеева Л.Г. 396, 477
- Середа В.Н. 25
- Симонов К.М. 185, 266, 270, 299,  
327, 331, 349, 356, 358, **369**,  
375, 397, 412, 472
- Синявский А.Д. 235, 347, 369,  
397, 426, 435, 447, 448, 450,  
477, 486, 488
- Скоморовский Р.С. 150
- Скромный Л. 67
- Скуратов Б.Б. 46
- Слоним М.А. 224

- Слонимский А.А. 104  
 Слонимский М.Л. 104, 492  
 Слуцкий Б.А. 13, 402, 433, 449  
 Случевский К.К. 186  
 Смирнов А.А. 506  
 Смирнов В.А. 321  
 Смирнов И.П. 477  
 Соболев А.А. 14, 61, 65, **110**,  
 153, 155, 156, 221  
 Соколовский А.С. 75  
 Соколовский М.В. 65  
 Соколовский Р.А. 477  
 Соловов А.П. 619  
 Соловьев Б.И. 166, 235, 415  
 Соловьев В.С. 174, 510, 567  
 Соловьев С.М. 57, 135  
 Сологуб Ф.К. 86, 112, 136, 220,  
 221, 243, 247, 296, 355, 363,  
 385, 390, 396, 434, 436, 460,  
 481, 492, 500, 530  
 Солохин Н.Д. 484  
 Сомов Е. (Leo Vode) 471  
 Сопов Ю. (П.И.) 41, 66  
 Спивак М.Л. 65, 72  
 Спиченко Н.М. 61  
 Срезневская В.С. 29  
 Срезневский В.В. **29**  
 Сталин И.В. 157, 234, 251, 358,  
 360, 361, 367, 433, 471  
 Станишевский А.В. (Азиз  
 Ниалло) 339, 364  
 Станюкович А.К. 67, 104, 147,  
 225, 277, 299, 300, 500  
 Станюкович Н.В. 107  
 Степанов Е.Е. 115, 301, 482, 486,  
 494  
 Степанов Н.Л. 130, 149, 150–  
 152, 207, 216, **248**, **249**  
 Столица (Ершова) Л.Н. 52, 276  
 Столыпин П.А. 202, 203  
 Стояров А.И. 148  
 Сторицын (Коган) П.И. 73  
 Стоюнина М.Н. 102  
 Страховский Л.И. (Л. Чацкий)  
 119–124, 145–**147**, 485, 580  
 Струве Г.П. 30, 33, 44, 57, 62, **63**,  
 107, 145, 276, 299, 300, 310,  
 313, 410, 413, 424, 425, 427,  
**428**, 434–436, 438, 440, 463,  
 478, 481, 483, 490, 492, 590, 592  
 Струве М.А. 51, 78, **107**  
 Струве Н.А. 469, 496, 600,  
**604–608**  
 Струве П.Б. 31, 32, 34, 554  
 Ступницкий А.Ф. 33  
 Судейкин С.Ю. 86, 275  
 Суриков И.З. 315  
 Сурикова О.А. 11  
 Сурина Н.П. 148  
 Сурков А.А. 177, 178, 185, **201**,  
 246, 358, 364, 378, 455, 473,  
 474, **491**  
 Сурков Е.Д. 378  
 Таганцев В.Н. 99, 114, **181**, 182,  
 211, 312, **351**, 384, 396, **422**,  
 423, 463, 521, 522, 562, 578, 582  
 Талалай М.Г. 108  
 Талин В. (Португейс С.О.) 31  
 Тамарченко Д.Е. 214, 216–**218**,  
 250, 252  
 Тарловский М.А.-В. 107, **132**,  
 175–177, **179**, **180**, 187, **229**,  
 231, 233  
 Тарновский Ю.К. 260, 293  
 Твен М. 267  
 Телешов Н.Д. 111  
 Терапиано Ю.К. 76, 77, 120, 145,  
 473, 480, 486, 489, 494, 495  
 Терехов А.Г. 482  
 Терехов И.М. 469, **470**  
 Тикотский Г. 72  
 Тимошенко Е.Е. 262, 420, **484**  
 Тиняков А.И. 104, **247**  
 Тихонов Н.С. 98, 112, 113, 149,  
 177, 183, 185, 194, 210–213,  
 219, 236, 245, 251, 266, 273,  
**298**, 320, 323, 326, 333, 338,  
**339**, 364, 392, 428, 462, **463**,  
 500

- Толстой Л.Н. 71, 174, 242, 343, 395, 510  
Трегуб С.А. 299, 415  
Троицкий Н.А. 381, 382, 471  
Трубецкой (Нольден) Ю.П. 150, 228, 482  
Трушкин В.П. 225  
Тургенев И.С. 35, 221, 510  
Туроверов Н.Н. 107  
Тхоржевский И.И. 30, 63  
Тютчев Ф.И. 68, 129, 174, 242, 259, 273, 395, 436, 449, 511, 574  
Уайльд О. 93, 335, 356, 419, 522  
Укше С.А. 93, 95, 111, 132, 152  
Усов Д.С. 132  
Усова Г.С. 491  
Устинов А.Б. 110  
Ушаков Н.Н. 75, 150, 187, 236  
Файвишевич-Горцев П.Б. 27, 61, 197  
Фалеев (Рутминский) В.С. 348, 349, 369  
Федоров А.В. 468  
Федоров А.М. 524  
Федорова А.И. 148  
Федосюк Ю.А. 298  
Фельдман Д.М. 11  
Фельзен Ю. (Фрейдентштейн Н.Б.) 71  
Фет А.А. 29, 62, 242, 263, 436, 510, 512, 523  
Фигурнова М.В. 78  
Фигурнова О.С. 78  
Фидлер Ф.Ф. 84  
Филиппов Б.А. 295, 310, 410, 483, 590  
Филиппов Г.В. 149  
Фиолетов А. (Шор Н.Б.) 75  
Фиш Г.С. 87, 166, 177, 230, 231  
Флейшман Л.С. 108, 154, 499  
Фортинский С.П. 61  
Форш О.Д. 85  
Фрезинский Б.Я. 113, 301, 488  
Фридман Н.З. (ур. Пресман) 132, 134  
Фурманов Д.А. 481  
Хабибулла, эмир 70  
Хазан В.И. 55, 108, 145, 150, 225, 482  
Хаиндрова Л.Ю. 69  
Харджиев Н.И. 59, 214  
Хатунский (Курнин) С.В. 618  
Хенкин К.В. 158, 494  
Хлебников В.В. 19, 59, 174, 225, 266, 274, 286, 287, 298, 302, 315, 325, 326, 347, 354, 372, 373, 385, 414  
Хованская (Шефер) А.С. 618  
Ходасевич В.Ф. 28, 62, 129, 149, 154, 155, 185, 186, 211, 212, 230, 233, 238, 328, 342, 357, 360, 367, 392, 434, 436, 485, 494, 577  
Холодная (Левченко) В.В. 27, 61  
Хрущев Н.С. 393, 478, 482, 485  
Цагарели Г.К. 74, 75  
Цветаева М.И. 23, 41, 60, 105, 157, 166, 170, 185, 273, 274, 295, 323, 341, 342, 345, 357, 359, 360, 367, 385, 396, 400, 410, 411, 413–415, 418, 419, 421, 438, 454, 485, 499  
Чабан А.А. 56, 247  
Чеботаревская А.Н. 86, 530  
Чепик-Юренева И.А. 112  
Черашняя Д.И. 366  
Черевичник (Гордин) Л.К. 416, 482  
Черкасов Н.А. 104  
Черноморцев Л.Н. 388, 474  
Черный К.М. 470  
Черный С. (Гликберг А.М.) 342, 385, 403, 407  
Черных В.А. 67

- Четвериков Б.А.  
 (Дмитревский М.) 147  
 Чечулина Н.А. 436  
 Чиннов И.В. 109  
 Чудаков А.П. 302  
 Чудакова М.О. 112, 228, 302,  
 369, 371, 477, 481, 499  
 Чуковская Е.Ц. 495  
 Чуковская Л.К. 67, 146, 289, 292,  
 303, 304, 385, 405, 451, 453,  
 472, 479, 485, 495–497  
 Чуковский К.И. 40, 65, 141, 303,  
 367, 440, 452, 465, 496  
 Чуковский Н.К. (Радищев Н.)  
 148, 154, 421, 424, 438, 439, 493  
 Чулков Г.И. 56
- Шамурин Е.И. 152  
 Шаповалов М.А. 113, 494  
 Шварц А.И. 155  
 Шведе-Радлова Н.К. 78, 256  
 Шекспир У. 109  
 Шенгели Г.А. 45, 102, 103, 113,  
 130, 499  
 Шенье А. 17, 82, 83, **85**, 89, 105,  
 184, 409, 410, 481, 523, 536, 546  
 Шерман С.С. 494  
 Шершеневич В.Г. 84, 104, 105,  
 153, 235  
 Шилейко А.В. 475  
 Шилейко В.К. 29, 30, 62, 475  
 Шилейко Т.И. 475  
 Шишов В.И. 88, 110  
 Шишова З.К. 75  
 Шкапская М.М. 103, 113, 499  
 Шкловский В.Б. 46, 51, 67, 109,  
 213, 218, 234, 431, 612  
 Шкловский И.С. 309, 320, 404,  
 406, 407, 411, 418, 423, 479,  
 480, 485  
 Шлейман (Карабан) П.С. 505  
 Шолохов М.А. 487  
 Шор Т.К. 55
- Штейн Э.А. 70, 356  
 Штейнман З.Я. 144, **157**  
 Штырбул А.А. 66  
 Шубин П.Н. 179  
 Шубинский В.И. 11  
 Шумихин С.В. 64, 225  
 Шумкова (Гвоздева-Султанова)  
 Н.В. 612  
 Шумовский Т.А. 56  
 Щемелева Л.М. 470  
 Щербаков Р.А. 58
- Эйхенбаум Б.М. 138, 144, 146,  
 156, 171, 213, 214, 217, 220,  
**250**, 275, 300, 333, 353, 354,  
 363, **371**, **372**, 374, 471  
 Эйхенбаум О.Б. 372  
 Элиот Т.С. 17, 31  
 Эльзон М.Д. 13, 300, 427, 496  
 Эмар Г. (Глу О.) 165  
 Энгельгардт М.А. 59  
 Энгельс Ф. 352  
 Эпикур 208, 537  
 Эрберг К.А. 130  
 Эрберг О.Е. 130, 131  
 Эредиа Ж.М. 18, 56, 57, 274  
 Эренбург И.Г. 75, 76, 104, 286,  
 301, 331, 433, 472  
 Эристов Г.А. **107**, **108**, 197, 198,  
 244, 313, 322  
 Эспронседа Х. 55, 56  
 Эткинд Е.Г. 250, 364, 449, 453,  
**454**, 463, 482, 495  
 Эфрос А.М. 418, 419
- Якобсон Е.А. **594**, 605  
 Якобсон Р.О. 287  
 Яковлева (Ямпольская) М.Н.  
 132  
 Якубинский Л.П. 64  
 Янгиров Р.М. 146  
 Яснов (Гурвич) М.Д. 250, 293

За неоценимую помощь в работе над книгой хочу поблагодарить прежде всего Т.С. Двинятину, Н.М. Иванникову, Н.И. Крайневу, А.Я. Лапидус, Н.П. Пакшину, П.Е. Поберезкину, Б.А. Равдина, О.Е. Рубинчик, А.Л. Соболева, Е.Е. Степанова, Г.Г. Суперфина, Л.М. Турчинского, А.Б. Устинова, Л.С. Флейшмана.

За предоставленные для воспроизведения иллюстрации я сердечно благодарен: Музею Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и занимавшимся их отбором И.Г. Ивановой и Н.О. Рыженок; архиву Forschungsstelle Osteuropa (Bremen) и архивариусу М. Классен; архиву Международного «Мемориала» и архивариусу А.Г. Козловой; искусствоведа Н.Я. Купреянову.

Этой книге предшествовала собирательская работа в течение не одного десятка лет, и я боюсь, что благодарная, но уже не такая цепкая память может не подсказать мне иных имен из помогавших мне советами и разысканиями коллег и друзей, причем далеко не все из сообщенных ими сведений могли войти в эту книгу. Заранее извинившись перед неназванными не по умыслу, назову Андрея Арьева, Анну Бабенко, Ольгу Бакич, Майкла Баскера, Наталью Бешенковскую, Александра Бобосова, Николая Богомолова, Эдуарда Вайсбанда, Елену Васину, Евгения Витковского, Марианну Гельфанд, Зинаиду Годович, Евгения Голубовского, Наталью Громову, Ричарда Девиса, Аминадава Дикмана, Александра Долинина, Олега Ефимова, Сергея Зенкевича, Дмитрия Зубарева, Елену Ильину, Зою Копельман, Николая Котрелева, Ирину Кравцову, Ирму Кудрову, Ксению Кумпан, Александра Кушнера, Павла Лавринца, Александра Лаврова, Юрия Левинга, Георгия Левинтона, Ли Мэн, Игоря Лощилова, Татьяну Нешумову, Маргариту Павлову, Александра Парниса, Ларису Петину, Игоря Петрова, Анатолия Разумова, Владислава Рез-

вого, Милену Рождественскую, Наталью Рубинштейн, Валерия Сажина, Валентина Цветкова.

С чувством неисчерпаемой признательности называю Владимира Нехотина, соавтора совсем не риторической формулы ради, а в самом прямом, едва ль не юридическом смысле. По части терпения и терпимости все собственные рекорды на сей раз были побиты издателем Михаилом Гринбергом — ему и его команде земной поклон.

Жене, дочерям, внукам — спасибо за все виды эмоциональной поддержки.

## Содержание

Самооправдания и предуведомления	8
I. Ante mortem	15
II. Казнь	79
III. Ученики и волонтеры	117
IV. Годы безвременщины (1927–1936)	159
V. По обе стороны колючей проволоки	253
VI. По обе стороны линии фронта	305
VII. Жданов и его современники	329
VIII. В ожидании Годо, или Время годить	379
Приложения	503
Именной указатель	623



**Роман Тименчик**  
История культа Гумилева

Знак информационной продукции 16+

Издатель *М. Гринберг*  
Редактор *В. Нехотин*  
Зав. редакцией *И. Аблина*  
Художественное оформление *П. Адамова*  
Компьютерная верстка *И. Пичугин*  
Составление указателя *А. Кондрашова*  
Корректоры *И. Любавина, Е. Ядренцева*



Мосты культуры, Москва  
Тел./факс: (499)989-87-34  
e-mail: office@gesharim-msk.ru

Gesharim, Jerusalem  
Tel.: (972)-544-993-116  
e-mail: greenberg0@bezeqint.net

[www.gesharim.org](http://www.gesharim.org)

Издательство «Мосты культуры»  
ЛР № 030851 от 08.09.98  
Формат 60 x 90 / 16. Печ.л. 40.  
Подписано в печать 21.11.2017. Заказ №

Серия «Вид с горы Скопус» представляет работы израильских ученых, связанных с Еврейским университетом в Иерусалиме, написанные на разных языках и охватывающие различные отрасли гуманитарного знания – литературоведение, этнографию, искусство, историю, географию, арабистику и т.д.



РОМАН ДАВИДОВИЧ ТИМЕНЧИК – ПРОФЕССОР ЕВРЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИЕРУСАЛИМЕ. ФИЛОЛОГ, ИСТОРИК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ЕГО ПОСМЕРТНЫХ ТРАНСМУТАЦИЙ. В СЕРИИ «ВИД С ГОРЫ СКОПУС» ВЫХОДИЛИ СБОРНИК ЕГО СТАТЕЙ «ЧТО ВДРУГ» (2008), ВТОРОЕ, РАСШИРЕННОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ В 1960-Е ГОДЫ – «ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ» (2014) И КНИГИ «АНГЕЛЫ. ЛЮДИ. ВЕЩИ» И «ПОДЗЕМНЫЕ КЛАССИКИ».

В НЫНЕШНЕЙ КНИГЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТНЯЯ (1921–1986) ИСТОРИЯ ПАМЯТИ О КАЗНЕННОМ ПОЭТЕ – ТО ПОДСПУДНОЙ, ТО ВЫРЫВАЮЩЕЙСЯ ИЗ-ПОД ПРЕССА; ВЕРЕНИЦЕЙ ПРОХОДЯТ ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ И ГАСИЛЬНИКИ, РЕВНИТЕЛИ КУЛЬТА И ГОНИТЕЛИ ВСЕХ ТОЛКОВ.

